Алексей Эйснер. Двенадцатая Интернациональная

SHOUT
SHARE
IT

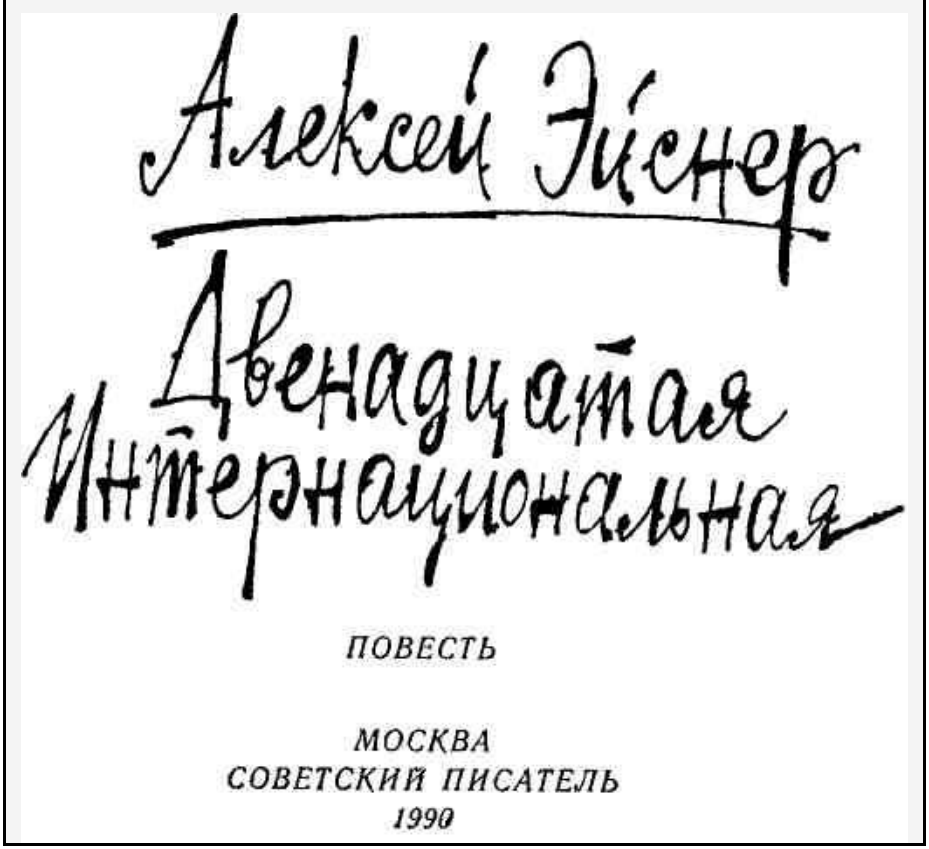
Annotation

Офицер знаменитой Двенадцатой интернациональной бригады, сражавшийся в Испании с франкистскими мятежниками, рассказывает о событиях той грозной и героической войны — провозвестницы великого сражения народов с фашизмом. Повесть — яркий и честный дневник человека, защищавшего свободу и достоинство человечества в одном ряду с легендарными антифашистами-интернационалистами.

- Двенадцатая интернациональная
  -
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - 1
    - 2
    - 3
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43

Двенадцатая интернациональная



КОГДА ИДЕШЬ ТУДА, КУДА ДОЛЖЕН ИДТИ, И ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ, И ВИДИШЬ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ…

Эрнест Хемингуэй

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

До вокзала было недалеко, но я сделал знак шоферу потрепанного «рено», в поисках случайного клиента неторопливо ведущему вдоль тротуара свою вишневого цвета машину. Уж если когда-либо имелось основание потратиться на такси, то именно сейчас, тем более что с этого захудалого вокзальчика никто никуда никогда не уезжал и я даже не слишком твердо помнил, где он находится. Накануне, получая от Васи Ковалева напутствие, я выразил удивление, почему, собственно, надо отправляться не с Аустерлицкого вокзала, откуда едут все нормальные люди, а с никому не ведомого gare d'Orsay[1].

— Конспирация, понятно? — назидательно ответил Вася, но, заметив, что мне не совсем понятно, пояснил: — Народу там поменьше. И поезд подходящий. Незаметный поезд.

Остальное было в том же духе. Можно ли близким приехать проводить? Никаких провожающих. Дома прощайтесь. Незачем обращать на себя лишнее внимание. Что брать? Ничего не брать. Несессер разве или заплечный мешок. Придется ведь пешком топать. Документы, фотографии, записные книжки с адресами и телефонами тоже сдать ему, Васе, или другому кому оставить на хранение, но чтоб в карманах ни единой бумажки…

Я свято выполнил все указания и теперь чувствовал себя в прямом смысле слова облегченно. На мне была коричневая бельгийская блуза с застежкой-молнией; в нагрудном кармане ее кроме трех кредиток по сто франков лежала лишь пачка «Кэмел»[2] с изображенным на обертке одногорбым верблюдом среди светло-желтых песков пустыни; а в кармане брюк — зажигалка. Крохотный чемоданчик с трудом вмещал смену белья со споротыми фабричными марками, носки, полотенце, несколько носовых платков и туалетные принадлежности. Все это вмещалось с тем большим трудом, что укладывавшие чемоданчик заботливые руки на всякий случай втиснули в него еще бутылку хорошего французского коньяку. В общем, я путешествовал, соблюдая самое что ни на есть строжайшее инкогнито, и если бы произошла железнодорожная катастрофа, из-под обломков извлекли бы идеальный труп неизвестного…

В закрытом такси пахло почему-то как в канцелярии: клеем, чернилами и пылью. Покрутив повизгивающую рукоятку, я опустил стекло. Хотя уже кончался октябрь, улицы сияли солнцем и зеленью. Взволнованно смотрел я в последний раз на импрессионистское великолепие парижской осени. Седой шофер со старомодной гнутой трубкой в зубах, похожий в широкой, как

балахон, ливрее на кучера, — должно быть, один из могикан, некогда пересевших за баранку «рено» с облучка фиакра, — сделал крутой вираж, и машина, проскочив под носом роскошного лимузина, испуганно крякнувшего селезнем, вылетела на площадь перед Домом Инвалидов. В ясном небе проплыл его собор; золоченые инкрустации купола и голый четырехконечный крест горели в предзакатных лучах. Потянулся цветущий чертеж безлюдной, как всегда, эспланады. Счетчик время от времени громко щелкал, и тогда цифра на нем подпрыгивала на франк. Шофер опять повернул направо, затем налево, и впереди показалась Сена. Выскочив на набережную и обогнув Дворец Почетного Легиона, такси причалило к длинным ступеням вокзала. На них не было ни души, только по верхней прохаживался взад и вперед полицейский, левым локтем придерживая сложенную пелерину и небрежно помахивая белой каучуковой дубинкой в правой руке. Отодвинув стеклянную сословную перегородку, отделяющую пассажира от шофера, я протянул одну из моих кредиток. Пока он отсчитывал сдачу, я закурил, потом ссыпал с бумажек, никель мелочи ему в пригоршню, хлопнул дверцей и взбежал по ступеням. Еще издали я через портал увидел Васю Ковалева. В лоснящемся темном костюме в полоску он стоял спиной ко входу и, судя по всему, заучивал наизусть выцветшее железнодорожное расписание. Около кассы, хохоча и громко переговариваясь на незнакомом языке, толпилась явно подвыпившая компания белобрысых молодых людей, точно в таких же рыжих спортивных блузах, как моя. Остановившись рядом с Васей, я в свою очередь принялся рассматривать расписание. Вася покосился на меня и возвел глаза на электрические часы.

— Точно, — сказал он вполголоса и протянул руку. — Salut! [3]

Я почувствовал в ладони острые края картонного билета и, зажав его в кулаке, сунул в брючный карман.

— Поезд идет в окружную, через Лион, — заговорил Вася еще тише. — В Перпиньяне он через сутки. Там встретят. В купе с тобой будут наши ребята. Большинство из провинции, ты их не знаешь. Ответственным за группу назначен Семен Чебан, наш повар. С ним ты, верно, знаком, держи, — продолжал Вася без паузы, и в его пальцах появился запечатанный конверт, — тут сто франков.

— Не нужно. Своих хватит..

Бледное, невзирая на цыганскую смуглость, лицо Васи медленно покраснело.

— С ума сошел? — суфлерским шепотом закричал он. — Тебе

кто, я, что ли, даю? Тебе партия на дорожные расходы выделила, а ты ломаешься? Индивидуалист какой выискался!..

Отбросив окурок, я поскорее потянул конверт из его пальцев.

— То-то же, — сразу же успокоился Вася. — «Мне хватит, мне хватит», — передразнил он необыкновенно противным голосом, который должен был изображать мой. — Тоже мне капиталист. Кому какое дело, хватит тебе или не хватит. Всем дается поровну. Может, я, по-твоему, должен в комитет цидульку писать, что товарищ, знаете ли, индивидуалист оказался — от партии ста франков принять не захотел?

Видимо, Вася продолжал сердиться, потому что слово «индивидуалист» он употреблял в качестве ругательства, превосходящего все остальные, в том числе и непечатные.

— Ладно. Не злись.

Вася сделал такое движение, словно собирался обнять меня, но, оглянувшись на ажана, курсировавшего у входа, ограничился тем, что стиснул мне руку.

— Ну, прощай. Бей их там хорошенько. Нашим, кого встретишь, привет. Пусть с оказией шлют письма. И об убитых обязательно сообщать! — закончил он бодрящей нотой.

Я вышел на перрон. Тут было так же пустынно, как на привокзальной площади. Два носильщика в фартуках и в твердых круглых кепи с номерами, сидя на скамейке возле багажного отделения, вместе читали «Paris soir»[4]; ничего утешительного они там вычитать не могли. Готовый состав стоял у ближайшей платформы. Между остальными праздно простирались клавиши шпал. Лишь в глубине на запасном пути разгружался синий вагон, украшенный романтическим почтальонским рожком и заглавными литерами министерства почт, телеграфов и телефонов. Я направился к составу. Указатель над загнутыми, как салазки, рельсами барьера подтверждал, что это и есть поезд на Перпиньян. Ниже указателя на грифельной доске каллиграфически четко было выведено мелом: «Через Шалон сюр Марн, Шомон, Дижон, Шалон сюр Сон, Макон, Лион, Валанс, Авиньон, Ним, Монпелье и Нарбонн». Не поезд, а карусель какая-то! Маршрут под девизом: для милого дружка семь верст не околица! Это бы еще куда ни шло, но в самом низу грифельной доски красовалась писарская с завитушками приписка: «Omnibus». Остановки, следовательно, всюду, у каждой будки. Приблизительно в два раза дальше и в два с лишним раза дольше, чем на обычном скором Париж — Тулуза — Сербер, отправляющемся с Аустерлицкого вокзала. Нет, что касается меня, я не назвал бы такой поезд подходящим.

Только что шумевшая у кассы ватага белокурых туристов в

одинаковых куртках обогнала меня. Интересно, что за язык, голландский, что ли?.. Вытащив из кармана билет, я прибавил шагу. Веселые туристы остановились у одного из вагонов третьего класса, собрались в кружок, подняли сжатые кулаки и нестройно запели «Интернационал» на непонятном своем языке. Когда я с ними поравнялся, они уже лезли в вагон, цепляясь рюкзаками и стуча по ступенькам коваными башмаками. Все стало ясно: ясно, что за туристы, ясно, куда они едут. Да здравствуют конспирация и Вася Ковалев!..

Мой вагон оказался следующим. Перед ним, по-детски держась за руки, прогуливались молодая женщина на высоких каблуках и рабочий парень в кепке. В петлице его поношенного пиджака я заметил значок Народного фронта: три направленные наискось вниз серебряные стрелы социалистов, на них позолоченные серп и молот, а сверху алый фригийский колпак — символ радикалов. Неужели и этот парень тоже?.. Сбив кепку на затылок, он повернулся к своей подруге и порывисто обнял ее. Молоденькая женщина, обхватив под пиджаком его талию и уткнувшись лицом в ковбойку, затряслась от рыданий; он похлопывал ее по спине и приговаривал что-то успокаивающее. «Дома прощайтесь», — вспомнилось мне.

От головы поезда, близоруко всматриваясь в окна, быстро приближалась к вагону маленькая черненькая барышня, но она просеменила дальше, и я поднялся на площадку. В коридоре со мной разминулся сухощавый брюнет. И он был в выделанной под замшу спортивной коричневой куртке на молнии — честное слово, получается нечто вроде формы! Я с досадой повернул ручку дверцы первого купе. В нем слышались голоса. Говорили по-русски. Но едва дверь сдвинулась, они замолкли. Табачный дым заклубился передо мной. Пройдя на свое место к окну, я сунул чемоданчик под грязный деревянный диван. На противоположном, спиной к движению, уже сидело четверо; с моей стороны еще одно место пустовало. Окно, как полагается, было закрыто. Я взялся за ремень.

— Никто не возражает?

Никто не возражал. Все безучастно молчали. Я приподнял раму, и она стукнула, опустившись до конца. Потянуло воздухом, насыщенным железнодорожными запахами. На платформе все еще обнималась прощающаяся пара. Миниатюрная парижаночка, встретившаяся мне перед тем, пробежала обратно, туда, где часто пыхтел паровоз. До отправления поезда оставались минуты. Торопливо прошагали два важных господина в сопровождении нагруженного носильщика. Худенькая француженка уже в третий раз бежала вдоль поезда и растерянно заглянула к нам в купе.

— Лившиц! Лившиц! Володя Лившиц!.. — позвала она и бросилась дальше.

Колеса ударили по стыку. Вагон дернуло, поезд прибавлял ходу. За поездом гнался запоздавший пожилой пассажир, туго набитый портфель мешал ему, но, наддав из последних сил, он вскочил на подножку нашего вагона. Перрон кончился. На краю его остановилась с разбегу и растерянно смотрела нам вслед девушка, искавшая какого-то Лившица; у ног ее вихрились бумажки и мусор. Продолжительно прогрохотала стрелка, сильно толкнуло вбок, и выгнувшиеся дугой вагоны заслонили платформу. На утрамбованной жирной земле голубовато блестели бесчисленные стальные колеи. Они набегали одна на другую, и всякий раз грохотали стрелки, и всякий раз из четырех рельсов два сокращались, и все меньше и меньше оставалось путей. Навстречу, сипя, прошел окутанный паром маневровый паровоз. Дверь в купе за моей спиной поползла в сторону. Я обернулся. На пороге появился пассажир с портфелем.

— Чуть-чуть не опоздал, — тяжело дыша, проговорил он, ткнул портфель на свободное место у двери, закрыл ее за собой, снял берет, вытер оставшуюся после него влажную полосу несвежим платком и, закинув ногу на ногу, уселся на кончик скамьи.

— Чуть-чуть не считается, — подхватил мой визави, у которого архаическая прическа ежиком топорщилась над укороченной физиономией с низким лбом, узкими глазками, вздернутым, будто перебитым в переносице, носом и похожим на пятку, торчащим подбородком. — Жена фельдфебеля говорила: муж чуть-чуть да не прапорщик. Так, Троян?

Загорелый, как араб, красивый, несмотря на грубоватые черты, Троян, на чье широкое плечо он опирался, ничего не ответил. Вошедший тоже никак не реагировал на шутку, промолчали и остальные. Лишь низкорослый, неопределенных лет человек слева от меня одобрительно захихикал. Я осмотрелся. Вася сказал правду: знакомых никого. Ни любителя поговорок, ни Трояна, ни своего соседа, ни опоздавшего — я никогда не видел. Рядом с Трояном сидел тоже незнакомый крупный дядя, в иссиня-черных волосах его просвечивали серебряные нити. За ним, упираясь затылком в угол, откинулся назад изможденный человек лет тридцати пяти, в пиджаке с чужого плеча, штопаных штанах и армейских ботинках; его напряженное, обтянутое пергаментной кожей треугольное лицо с младенчески выпуклым лбом, большим горбатым носом и сухими губами напоминало лик старой иконы. Глаза его были закрыты. Вот кого я определенно где-то встречал. Вероятно, это и есть Чебан, хотя для повара у него

неправдоподобно аскетическая внешность. Пока я его разглядывал, он раскрыл глаза, вперил их в вошедшего последним и, не меняя позы, полулежа, спросил, выговаривая с затруднением:

— Почему… опоздал… товарищ Димитриев?..

Тот посмотрел на него неприязненно.

— Я Дмитриев.

— Хорошо… Дмитриев…. А почему… опоздал?..

— Вам-то какое дело? Хватит, что Ковалев пилил, из-за него мог в самом деле опоздать.

— Вместе едем… Всем… дело… И потом… Я здесь старший. Объяснитесь… почему опоздали?..

— А я не опоздал. Слыхали, что Иванов сказал: чуть-чуть не считается.

Сидящий возле меня снова визгливо рассмеялся. Снаружи затягивало паровозный дым, вместе с ним залетали мелкие частицы неперегоревшего угля, сыпались на брюки и секли лицо; пришлось поднять раму, оставив небольшую щель.

— Ладно, — подумав, произнес Чебан. — Пускай… не считается… Только… вот чего, товарищи… Я… ваш респонсабль… ответственный то есть… За всю группу… за восемь душ… с собой… отвечаю… Сами знаете, перед кем… Пока не перейдем границу… Прошу уважить…

— Все, Семен, в порядке будет. Ты не расстраивайся, — положив большую руку на сплетенные пальцы Чебана, проговорил его седеющий сосед.

— Я к тому… никто меня не знает… Ты вот, Ганев… да вон Алеша-студент…

Последнее, очевидно, относилось ко мне, хотя мне пришлось бросить пражский Карлов университет еще десять лет назад на втором курсе историко-филологического. Однако я не опровергал Чебана, он явно нуждался в поддержке, а не в возражениях.

Поезд тем временем разошелся и бодро стучал колесами. Тук-тук-тук, — раздавалось впереди, тук-тук-тук, — тарахтело под нами, тук-тук-тук, — гремело сзади, тук-тук-тук, — доносилось еще раз и, неразборчиво громыхнув, затихало в отдалении. И сейчас же все начиналось сначала: «Des-ca-noń́s! De-sa-vioń́s! pour-L'Espagńe: ré-pu-bli-caiń́e!»[5] — скандировал под вагонами металлический голос, без конца повторяя завязший в ушах лозунг.

— Что сегодня нового, кто скажет? — слабым тенором спросил тот, кого я не мог как следует рассмотреть: он помещался с моей стороны, между Дмитриевым и смешливым человечком, и тоже был небольшого роста.

— А чего тебе не терпится узнать? Приедем, сами увидим, — сказал Иванов.

— Пока доедем, многое может случиться.

— Уже случилось: Мадрид пал, — объявил Дмитриев.

— Мели, Емеля, твоя неделя, — небрежно бросил Иванов.

Чебан выпрямился.

— Как пал?.. Откудова… известно? — выкрикнул он и побагровел.

— В отеле у нас говорили.

— Говорили-говорили… Фашистская сорока… на хвосте принесла… а ты повторяешь… Не может того быть…

— Не пал, так сегодня или завтра падет. Радоваться тут нечему, но и особенно волноваться тоже. Мадрид не имеет ни малейшего стратегического значения. И как узел коммуникаций он уже не существует. Тактически же сдача его только выгодна. Во-первых, оборонять миллионный город не легко — его кормить надо, а пути снабжения перерезаны, поезда не ходят. Во-вторых, отход от Мадрида позволит сократить фронт. И притом не следует забывать, что части на Гвадарраме находятся под непрерывной угрозой, их мятежники отрезать могут. Возьмут Эскориал, и крышка!

— Замолчи!.. — со страданием в голосе прервал Чебан. — Ты… кто?

— Что значит кто? — Дмитриев усмехнулся. — Мичман.

— Военный специалист… и такие глупости… Уши вянут…

Ганев вторично положил успокаивающую руку на локоть Чебана.

— Какой он специалист, — вмешался Иванов. — Мичман Дырка он, по рюмочке специалист, это да. А, Троян?

Троян продолжал невозмутимо молчать. Как почти все, с кем приходилось встречаться в истекшие дни после того, как фашисты вошли в Толедо и освободили «узников Алькасара», я тоже считал падение Мадрида неминуемым. Положение города выглядело безнадежным, судя по газетам самого разного толка, за исключением «Юманите», но ее деланная бодрость не обманывала, между строк и она осторожно подготавливала читателя к тяжелому удару. Да что «Юманите», если во вчерашней (недельной давности) «Правде» на первой странице бросался в глаза заголовок: «Бои на подступах к Мадриду», а в очередном фельетоне Мих. Кольцова хотя и вскользь, между прочим, но сказано: «…какова бы ни была судьба Мадрида…» Уж редакция «Правды» и Кольцов, они-то знали, что делали. Однако вопреки логике, сейчас я почему-то сочувствовал Чебану, а не Дмитриеву, и решил вмешаться:

— В вечерних газетах о падении Мадрида ничего нет. По вчерашним же сообщениям фашистов, им до предместий оставалось еще одиннадцать километров.

— Видишь… еще одиннадцать километров…

— Буду я с вами копья ломать, — обиделся Дмитриев. — Хотите верьте, хотите нет, но для кого потеря Мадрида конец, тому в данный момент и ехать незачем. Пускай поворачивает оглобли.

— Ты чересчур не шуми, — внушительно начал Ганев. — Насколько я знаю, в гардемаринских классах вашего брата стратегии не обучали, а потому ты пророчествовать — пророчествуй, да не таким сверхавторитетным тоном. Когда я стал собираться, сам думал, что буду Алькасар штурмовать, а теперь, по правде говоря, не уверен, что к обороне Мадрида успею. Но ни для кого это не конец, и оглобли никто поворачивать не станет. Однако, даром что стратегию и я не изучал, определенное мнение на эту тему у меня есть, и вот какое: если рано или поздно Мадрид все равно придется отбивать, так лучше его и не сдавать.

— Правильная стратегия, — одобрил слабый голос, спрашивавший, что нового.

Говоривший встал, чтобы выбросить спичку в щель над оконной рамой. Ему было лет под пятьдесят. За исключением бровей торчком, как у овчарки, в наружности его не было ничего примечательного. Он затянулся, так что сигарета сразу стала короче, и принялся выпускать дым вместе со словами:

— Что я хотел сказать… При наступлении с запада и юго-запада Мадрид, согласен, не лучшая позиция. И что снабжать его обременительно, что фронт неплохо бы сократить — со всем, повторяю, согласен. Но Мадрид ведь не просто позиция, какую в штабах выбирают для военной игры. Мадрид — столица государства, моральный, так сказать, фактор. Завладей мятежники Мадридом, сразу поднимется их международный престиж, само пребывание в главном городе придаст им видимость законности, а кое-кому предостаточно и видимости, чтобы их признать. Вот и выходит, что военная позиция второстепенная, а политическая — первостепенная, главный козырь в гражданской войне.

— На войне главный козырь — станковый пулемет в надежных руках, — возразил Иванов. — Согласен, Троян?

Тот опять промолчал. Иванов продолжал:

— Политикой в мирное время невредно заниматься, а пришла война — знай воюй, не отлынивай. Ставь куда следует свой верный «максим», ложись за щиток и строчи вовсю. Пулемет,

он же ангел-хранитель пехоты. Его даже поэт один воспел: «Как собака на цепи тяжелой, тявкает за лесом пулемет…» На фронте он первейшее дело, а пулеметчики — первые люди. Это и бабы знают.

Не схотела самокатчика и летчика,
Полюбила я до смерти пулеметчика… —

напел он фальшивым тенорком.

— На войне… без политики… никак не возможно… Нигде нельзя… а на войне тем боле… — Чебан выдавливал из себя слова с прежним трудом, но с неожиданным оживлением; его, казалось, смешила высказанная Ивановым несообразность. — Там… не думать… опасно… Не тех, кого нужно… постреляешь… Тебе дадут команду… не разберешься… политически… своих побьешь.

Поезд давно миновал мрачную бетонную ограду, отчуждающую железную дорогу от города и пригородов, и несся рядом с обсаженным пирамидальными тополями шоссе. За окном огороды чередовались с парками и фруктовыми садами, а одинокие виллы — с тесными рядами крытых черепицей домишек. Солнце уже заходило, и верхушки тополей были бронзовыми. Повсюду назойливо пестрели щиты реклам, то заслоняя замшелую романскую колокольню, то возвышаясь на пологом холме посреди ровных шеренг картофельных кустиков, то выпячиваясь из низины между шоссе и насыпью, где на тонких ножках выстроились синевато-зеленые чалмы капусты.

— А ты пулеметом… здорово владеешь?.. — В вопросе Чебана, обращенном к Иванову, проскользнула почтительная зависть.

— Окончил офицерскую пулеметную школу.

— Где?

— В Крыму. У Врангеля.

— Какую систему… освоил?

— Какие есть, все и освоил.

— То давно было… Новые… которые секретные… ты их и видать не мог.

— Подумаешь, невидаль. Ну, дадут мне последнюю модель незнакомого, допустим, типа. Осмотрю, разберу, соберу, на полигоне немного пощелкаю — и весь секрет у меня в кармане, не беспокойся.

— Отказы надо узнать, — вставил Троян.

— Верно, друг. Вот на полигоне я и узнаю отказы. А ты разве не воевал? — строго спросил Иванов у Чебана.

Тот вздохнул.

— Не воевал…

— Почему?

— Потому…

— Но в армии служил?

— Не служил… в армии… Оружия… не знаю… Ничего… полезного не знаю… Шофер я… механик…

— Шофер там тоже пригодится. Но как вышло, что ты не служил?

— Так… получилось.

— А тебе сколько лет?

— Тридцать.

— Ну и ну. Да ты старше меня выглядишь, а мне тридцать восемь.

Чебан опять вздохнул.

— Что поделаешь…

Я посмотрел на него повнимательнее. Никак не скажешь, что он мой ровесник.

— И ты, молодой, на фронте, понятно, не был? — Иванов обратился ко мне. — Тебе лет двадцать пять?

— Не был. А вообще спасибо.

— За что еще спасибо?

— За комплимент. Мне тридцать один.

— Ей-богу? Не дашь. Не то что наш респонсабль. Сразу видно, всю жизнь с бабами путался — вон и выглядит на десять лет старше. Или, может, туберкулез?

Чебан в третий раз вздохнул.

— Всяко… бывало…

Вагон скрипел, гремел и качался. На пейзажи, пролетавшие за окном, опускались сумерки. Под потолком преждевременно заблестела лампочка.

— Вот чего, братцы, — начал Иванов. — Мне Васька Ковалев говорил, что все мы обязательно вместе воевать будем. Так давайте знакомиться. Вас, парижан, трое, нас, эльзасцев, целых пять человек, стреляные волки, один к другому, друг друга не первый день знаем. Крайний с фланга — Дмитриев, он, правда, вошел последним, но последние да будут первыми. Служил Дмитриев верой и правдой в самотопах…

— Нельзя ли обойтись без шутовства? — перебил Дмитриев.

— Можно. Вполне обойдемся. Дмитриев, как я только что имел честь доложить, самотоп, иначе говоря, моряк, вечно юный мичман. А лет ему, мичману, от роду за сорок. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, за что оную бреет, и характер…

Дмитриев что-то пробормотал и демонстративно отвернулся.

— …и характер отвратительный, сами можете убедиться. Серьезного боевого опыта у мичмана Дмитриева нет, и обращению с пехотным оружием он не обучен. Бок о бок с самотопом, — Иванов с заметным удовольствием повторял этот термин, — старик Остапченко. Был поручиком еще при царе Горохе… Ты с пятнадцатого — офицер?

— Произведен в подпоручики, по окончании юнкерского училища в тысяча девятьсот четырнадцатом году, а в августе уже командовал полуротой на реке Сан, — уточнил Остапченко.

— В дальнейшем его благородие подпоручик Иван Иванович Остапченко сделал головокружительную карьеру: выслужился в поручики, в каковом высоком звании пребывает по сию пору. Между прочим, он, шутки в сторону, чемпион Эльзаса по шахматам. Впритирку к поручику помещается Юнин, он же бравый солдат Швейк. Этот, наоборот, всю жизнь в нижних чинах служит.

Юнин, конечно, захихикал. Ничуть не походил на Швейка он со своей помятой рожей, на которой татарские скулы выдавались над провалившимися щеками, обросшими рыжеватой щетиной; лишь нос, пожалуй, был швейковский: круглый и подвижный, как у ежа.

— Теперь очередь Трояна, — Иванов хлопнул его по плечу. — Он из Бессарабии.

— Земляк… — обрадовался Чебан.

— И ты бессарабский?

— Хотинского уезда…

— Троян, знайте, хлопцы, классный пулеметчик. Он мой друг — этим все сказано. Последние пять лет мы с ним в Меце на одном заводе ишачили. Нашу дружбу топором не разрубишь, оба ею дорожим, оба знаем, что старый друг лучше новых двух.

— Вылитый конферансье! Неужели самому не надоело? — брезгливо пробурчал Дмитриев.

— Кто весел, а кто нос повесил, — отпарировал Иванов. — В заключение разрешите самому представиться. Я из терских казаков. Родился во Владикавказе, учился во Владикавказском кадетском корпусе. Вышел в военное училище, да не успел окончить, как и революция вышла. Выпустили меня с грехом пополам прапорщиком и направили к Деникину, помогать ему спасать Россию. Жил я тогда легко, повоевал слегка и был ранен легонько. После лазарета откомандировали меня в пулеметную школу. Очутился я в ней и получил приказ о производстве через чин. Сразу, выходит, догнал Остапченко.

— Ничего, я не в обиде, — вставил тот.

— Ну-с, пририсовал я чернильным карандашом на своих защитных погонах две звездочки к прежней одной и опять — Мальбрук в поход собрался — отправился воевать и воевал до ручки, до точки, до самого Черного моря и, в конце концов, очутился на мели в Галлиполи. Долго сидел я там на бережку, ждал у моря погоды, когда поплывем обратно отвоевывать у большевиков единую-неделимую. Ждал я год, ждал другой, а на третий — тик-в-тик мне двадцать три стукнуло — завербовался на работы во Францию. Занесла меня нечистая сила в Эльзас, с тех пор там и живу, ем, пью, сплю и работаю как каторжный. Но что смешно: рабочим человеком стал, а все думал, что временно это, все надеялся, что в один прекрасный день сойдут с рук мозоли и снова буду я не я, а бравый офицер. Да укатали Сивку крутые горки. Постепенно привык я к мысли, что не побежит вспять Волга-матушка, уразумел азбучную истину: что было, то прошло и быльем поросло. Было детство, было кадетство, а потом я вырос большой и заделался пролетарием-металлистом. Дальше, понятно, начал пролетарий понемногу умнеть; профсоюзы, то да се. Так, день за днем, пятнадцать лет незаметно и пролетело. Пятнадцать лет прожил я на чужбине, пятнадцать лет протосковал по родному краю. До смерти хочу домой. Домой, понимаете? К себе на родину, во Владикавказ. Это ж не город, а поэма! Терек, Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье в тридцати верстах, Казбек рядышком… Одно слово: Кавказ! Об этих местах Лермонтов и Пушкин на пару стихи писали.

— Иванов сам поэт, стихотворения сочиняет, — нарушил обет молчания Троян (он произнес «пайет»).

— Меж горных рек несется Терек, волнами точит дикий брег… — собрав на лбу гармонику морщин, декламировал Иванов. — Город наш когда-то был крепостью, поэтому и назван Владей Кавказом. «И нищий наездник таится в ущелье, где Терек играет в свирепом веселье…» Недавно Владикавказ переименован в Орджоникидзе. Завод в нем отгрохали, обрабатывают цветные металлы. Работа для меня найдется не хуже, чем в Эльзасе… Как начались испанские события, я, понятное дело, сочувствовал, но едва узнал, что, если поехать добровольцем, потом можно будет вернуться в Эсэсэсэр, сразу решил: еду. Троян, он к тому же по другой, по партийной логике пошел, Вот оба и катим. Будь что будет. Как говорится, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Крестов мне не надо, мне паспорт давайте, «мою краснокожую паспортину»…

— Вот и я о-ох как до дому хочу, — вдруг почти простонал Юнин.

Слушая Иванова, я внутренне возмущался. Я считал, что

ехать в Испанию надо иначе, с другими настроениями и без всяких личных соображений, как бы благонадежно они ни выглядели и какими бы стихами ни сопровождались (со стихами у меня имелись особые счеты, я тоже писал их и даже печатался, но три года назад навсегда бросил это занятие, как бросают курить или пить). Однако, сколько бы я ни возмущался, возражать Иванову не приходилось. Такая тема официально существовала, нравилась она мне или нет. И Вася Ковалев, и другие руководители «Союза возвращения на родину» прямо обещали, что политически проверенные товарищи, которых организация допустит к участию в боях против фашизма в Испании, получат советский паспорт и визу в СССР.

— За твоим языком не поспеешь босиком, — заговорил Ганев. — Я, как бывший учитель, тоже, видишь, поговорки знаю и среди них еще такую: языком капусту не шинкуют.

Он расставил ноги, согнулся между ними и выволок из-под лавки допотопный кожаный баульчик, ни дать ни взять похищенный из театрального реквизита к сцене встречи Счастливцева и Несчастливцева. Оттянув запор, Ганев раздвинул баул и вынул толстобокую бутылку божоле[6].

— Из лука — не мы, из пищали — не мы, а попить, погулять против нас не сыскать, — нашелся Иванов. — Троян, доставай-ка, что у нас есть.

Ганев, поставив брюхастую бутылку на скамейку, выгрузил объемистый бумажный пакет, через его прорванный угол выпала коробка сардин. Тем временем Иванов перевалил из-за своей спины на колени Трояну цилиндрический брезентовый мешок. Троян распустил шнур, стягивающий медные дырочки покрышки, и выставил бутылочку кирша и четыре бутылки эльзасского пива, а возле них складывал крутые яйца, варенные в мундире картофелины, помидоры величиной чуть не с тыкву, длинный, кривой, как ятаган, анемичный французский огурец — конкомбр, несколько кистей винограда и сломанный пополам батон. Юнин вытащил из холщовой торбы «шопин»[7] красного и подсохший бутерброд с ветчиной. Остапченко протянул еще пару пива, несколько круассанов и лотарингскую колбасу. С плохо скрываемой гордостью Дмитриев высвободил из битком набитого портфеля литровую бутылку итальянского вермута «Чинзано», который французы, произносящие все на свой лад, называют «сензано». Я полез за коньяком: упомянутый «всякий случай» подвернулся скоро.

— У меня… спиртного… ничего нет, — сконфуженно предупредил Чебан.

— И очень хорошо, — утешил я. — А у меня — ничего

съестного, на то и складчина.

Между Ганевым и Трояном выстроилась разнокалиберная батарея бутылок и образовался целый склад продуктов. Троян и Ганев, первый охотничьим ножом с рукояткой из ножки дикой козы, а второй перочинным, резали картофель, помидоры, огурец и вскрывали консервы. Чебан протирал газетной бумагой две вилки и единственную фаянсовую тарелку. Через окно было видно, как среди наступивших сумерек то там, то сям зажигались огни в уже невидимых домиках. Лампочка теперь стала светить ярче, и ее многочисленные отражения колебались в разноцветных жидкостях и сверкали на стянутых проволокой белых фарфоровых пробках пивных бутылок, напоминающих предохранители электропроводки. Чтобы поглотить это разливанное море, нашлось восемь, разнокалиберных сосудов: две эмалированные кружки, одна жестяная, одна чайная чашка, один боль[8], два граненых стакана и мой никелированный стаканчик для полоскания зубов. Пить начали по западноевропейскому ритуалу — с аперитива. Когда выпили вермут, покурили и приступили к еде, за недостатком приборов следуя восточному обычаю, то есть полагаясь в основном на пальцы. Запивали божоле юнинским «пинаром»[9], а затем и пивом. Только прикончив виноград и бананы, стали по желанию разливать кирш или коньяк. Чебан встал, держа чашку с киршем за ушко:

— Товарищи… выпьем… чтоб доехать благополучно…

— За победу! — дребезжащим своим голоском произнес Остапченко, тоже вставая и поднимая кружку.

Встали все. В купе сделалось тесно. Ганев оказался еще выше, чем я предполагал, высоким был и Троян.

— А еще за благополучное возвращение на родину, — смотря в стакан, на треть налитый коньяком, добавил Иванов.

Мне опять захотелось возразить, но я удержался. Выпили, кто залпом, а кто медленно, смакуя. Сели. Иванов сразу забалагурил:

— Русак не дурак: поесть захочет — скажет, присесть захочет — сядет. — Он протянул пустой стакан. — Разделите, что осталось: остатки сладки. — Узкие глазки его блестели, он часто облизывал губы, показывая два торчащих из нижней челюсти клыка.

Выпитое подействовало по-разному. Счастливая улыбка не сходила с открытого лица Ганева. Побледневший Чебан оставался серьезным, но все время потирал руки. Голубые глаза Дмитриева помутнели, на щеках выступили багровые пятна. Остапченко сосредоточенно смотрел в одну точку, машинально, как жвачку, жуя сыр. По Трояну ничего не было заметно, он молча убирал с деревянного дивана измятую засаленную бумагу, объедки, пустые

бутылки и кожуру бананов, выкидывая все за окно. Переставший угодливо хихикать Юнин, повернувшись к Остапченко, непрерывно говорил; его веснушчатый носик покрылся капельками пота и двигался в такт словам.

— …Домой да домой. Говорим, значит, про дом, а катим наоборот. Н-да. Совсем наоборот и даже в другую сторону.

— Летит и гусь на святую Русь, — ввернул Иванов.

— Оно как вышло, вышло-то как? — не обратив на него внимания, торопился Юнин. — Я по рождению из что ни на есть аржаной стороны. Кругом, правда, мещеряки, но мы, мы самые русские. Деревня у нас, сказать, бедная, земли, получается, мало. Еще за стариков так было, за стариков еще про нас говаривали, что курицу, мол, и ту некуда выгнать. Н-да. Когда война с немцем объявилась, я был оставлен по молодости лет. А годик прошел, едва хлеб убрали, призвали меня в действующую. У жены, конечное дело, двое: девка и парень, погодки обои, значит, титьки сосут, но отец у меня налицо, крыть нечем, берут по закону. Взяли это нас, новобранцев, отвезли в город, малость поучили, месяцев вроде шесть, а напотом послали защищать. Воевал я поначалу ничего, дали мне Георгия четвертой степени и ефрейторскую лычку.

— А он про тебя говорит, что ты нижний чин, — пошутил Ганев.

Юнин не слушал.

— Воюю я, значит, безотказно, сплошную зиму. Мерзну — страшное дело, ноги к чертовой матери поморозил: сапоги-то худые, а валенок не дали. Но тут, аккурат перед весной, здравия желаем, свалили царя. Н-да. Ждем-подождем, однако ничего такого, все одно, как и до того. И что долго говорить: посмотрел я кругом, письма отцовы перечитал да перед большим наступлением и подался с фронта, убежал насовсем, дезертировал, так сказать.

— Ты будто хвастаешь, что дезертир, — не одобрил Остапченко. — Командир у тебя был неопытный, а то б не убежал. У меня вот в роте, пока не ранило, ни один солдат не ушел.

— Не у всякого уйдешь, — согласился Юнин. — Где как, где ползком, где на четвереньках, спокойно миновал я все заставы, прошел их, понимаешь, как вошь сквозь бабий гребень. В незадолгое время добрался я до Москвы. Отсюда осталось просто рукой подать, сутки езды, но надо, соображаю, подработать, не с пустыми же руками с войны приходить. Бабе вроде хоть шаль какую следовает прихватить, ребятам того-сего. Взял я на свою голову и нанялся возчиком к купцу одному. Работаю что надо, за лошадью смотрю, товар туды-сюды честно вожу, сам нагружаю,

сам выгружаю. Вокруг-то все заварилось, все кипит, все кричит, ругается, меня и то прихлебателем кличут, а я знай себе ни нашим, ни вашим, только «но» да «тпру», газет себе никаких не читаю, встревать никуда не встреваю, ни за кого не стою, на митинга не хожу…

Чебан, закинув голову и выставив из расстегнутого воротничка острый кадык, спал с открытым ртом. Иванов и Троян хотя еще не спали, но их заметно клонило ко сну.

А тем временем в автобиографию Юнина вторглась Октябрьская революция:

— И давай стрелять, и давай стрелять: стекла вдрызг, летят. А опосля из пушек ка-ак вдарят! Я от войны аж до Москвы добежал, а война за мной, значит, гонит, в Москву пожаловала. Махнул я на все рукой и подался до дому. У купчихи, правда, полушалок для жены выпросил.

— С винтовкой, видно, выпрашивал? — пошутил Остапченко.

— Не-е. Зачем? Винтовку я на фронте, штыком в землю, оставил. Сама купчиха отдала. «Все одно, — говорит, — голотяпы эти нас скоро доведут до рая, не иначе что донага разденут». Н-да. Вернулся я в конце концов домой налегке. Вернулся — не обрадовался. Бедность. Жена стонет. Дети воют. Нема жрать, и все тут. Картошки немного, правда, накопали, картошка, сказать, имеется, так ведь соли ни золотника нет. Соль-то вся у белых осталась. А кто ж, однако, картоху эту без соли шамать станет?

Юнин, по его словам, лез из кожи, чтобы прокормить семью, но ничего не выходило. Тогда отец научил его, как легко и быстро разбогатеть: для этого нужно было пробраться на юг, добыть и привезти обратно мешок соли. Продав папаху, шинель и полушалок, Юнин пустился в путешествие на крыше вагона. Навстречу наступали белые. На каком-то полустанке красноречивый комиссар сумел так распропагандировать Юнина по соляной проблеме, что тот добровольно вступил в Красную Армию. В первом же бою он был легко ранен, притаился, а фронт ушел на север. Залечив рану, Юнин возвратился домой, но вскоре его мобилизовали деникинцы. Когда белые начали откатываться, шедший в арьергарде полк, в котором служил Юнин, отстал. В полку верховодили кулаки. Договорившись с офицерами, они посрывали с них и с себя погоны и перешли к красным. Им поверили, назначили комиссаров и направили против белополяков. На новом фронте полк, перебив комиссаров, в полном составе перешел к врагу. Здесь новоприбывших перешерстили, и Юнин, как не слишком надежный, попал в саперную роту, которая специализировалась на строительстве походных отхожих мест. После демобилизации в Польше работы

Юнину не нашлось. Ему не оставалось иного выбора, как, подобно многим, подписать трехлетний контракт, по которому он получил французскую визу, прогонные и был доставлен целым и невредимым в шахтерский городок неподалеку от Лилля. Чем только не приходилось ему заниматься, когда через много лет, во время кризиса, его уволили, куда не забрасывала его безработица! Был он и землекопом, и строительным рабочим, и батраком, и каменотесом, и снова шахтером, и возчиком, как в Москве, пока, наконец, не осел на картонажной фабрике в Эльзасе.

— Всего, значится, попробовал, — устало закончил он и улыбнулся обнажившей прокуренные зубы грустной улыбкой, совсем не похожей на ту резиновую, растягивавшую его рот, когда он хихикал на остроты Иванова.

— Щепка на волнах, — проговорил Ганев. — Одна волна было выбросила ее на сушу, так другая тут же подхватила и уволокла, третья еще раз швыряет на берег, а следующая опять тянет в море. Все время он рвался к своим, к дому, а его уносило все дальше и дальше. Так жизнь и прошла, жизнь, вся прожитая не по своей воле, а по прихоти случая. Не человек, а, можно сказать, игрушка стихий.

— Не вся. Вдругорядь по своей воле еду.

— Да, жизнь прожить — не поле перейти, — остался верен себе Иванов, хотя голос его звучал сонно.

Скорчившись в три погибели, он уткнулся в колени Трояну, подсунул под щеку сложенные ладони и, должно быть, сразу заснул. Ровно дыша, незаметно уснул и Троян. Юнин, зевнув так, что даже лязгнул зубами, как собака, которая ловит муху, положил взъерошенную голову на плечо Остапченко. Кроме Ганева все уже спали или засыпали в мучительно неудобных позах, на какие обрекают ночью пассажиров третьего класса европейские железнодорожные компании. Вскоре и Ганев, приветливо взглянув на меня, скрестил руки и закрыл глаза.

Пахнущий мокрым железом ветер, врываясь в оконную щель, обдавал меня прохладой. Спать не хотелось. Я стал разглядывать своих спутников. Их сильно встряхивало при каждом толчке. Во сне их лица изменились, сделались новыми, незнакомыми, такими же незнакомыми, какими были, когда я вошел в купе. Совсем, совсем чужие люди. И вместе с этими чужими людьми я еду в неизвестную мне страну, где уже с лишним три месяца продолжается война. Внезапно мне сделалось не по себе. Острое ощущение одиночества охватило меня. Отвернувшись к окну, я уставился в плотный мрак, прошитый горящими нитями. Снаружи, сквозь запахи серы и ржавчины, пробивался нежный

запах сена. Я с наслаждением вдыхал его. Неясная тревога, однако, не утихала. Сжав губами отдающую медом смятую сигарету, я щелкнул зажигалкой. Теперь в темном стекле отражался оранжевый огонек, а когда я затягивался, появлялось и освещенное снизу мое лицо. Насколько можно было рассмотреть, оно выглядело как обычно, но внутреннее спокойствие не возвращалось ко мне. Конечно, в беспричинном этом возбуждении повинен коньяк. С другой стороны, не каждый же день я отправлялся на войну, да еще добровольцем, да еще в Испанию. Самому не верится. Как это случилось со мной?

2

«Случилось», впрочем, мало подходящее слово. Еду я не случайно. Ну, тогда с чего все началось? И оно не подходит, слишком безлично — все-таки я не «игрушка стихий». Правильнее поставить вопрос иначе: каким образом я пришел к убеждению, что должен поехать в Испанию? Тоже плохо. Образец бюрократической прозы, анкетный стиль. Но коротко, как при заполнении анкеты, на этакий вопрос не ответишь. И потом, с какого конца начинать — с себя или с Испании? Если с Испании, то прежде всего следует уяснить, почему происходящее там стало вдруг моим личным делом. Хотя, и если начинать с себя, придешь к тому же самому «почему». Так почему же в самом деле? Может быть, я и раньше увлекался Испанией, много знал о ней? Знал не больше, чем дала средняя школа.

…Что удивительного. Наше знакомство с другими странами и народами нормально начинается еще в раннем детстве со сказок. И я кроме русских народных сказок Афанасьева отлично знал французские сказки Перро, немецкие сказки братьев Гримм, арабские сказки, сказки Андерсена… Испанских же сказок не существовало. Хуже того, и при переходе от сказок к были испанские герои не встречались на больших дорогах тогдашней детской литературы и своим отсутствием как бы подтверждали, что труднопроходимые цепи Пиренейских гор наглухо отделяют Испанию от Европы. Правда, лет восьми я читал «Дон Кихота», но в обработке для самых маленьких он показался мне страшноватым сумасшедшим стариком, а некрасивые и несмешные дорожные происшествия, в которые он сам ввязывался, были ничуть не правдоподобнее, но гораздо грубее приключений барона Мюнхгаузена. Значительно позже, в общеобразовательной серии Елизаветы Водовозовой «Как люди на белом свете живут» я наткнулся-таки на книжечку, называвшуюся «Испанцы». В ней описывалось все, что полагалось: и гитары, и веера, и танцы с кастаньетами, и навахи, и продавцы воды, и бои быков. Дополнительно я вычитал из нее, что «Испания в полном смысле слова страна любви, цветов, жгучего солнца и вечных волнений среди народа», а также что «отличительные черты этого народа — храбрость, гордость и презрение к смерти». Подобными сведениями я и пробавлялся до недавней поры.

К счастью, безумный идальго из Ламанчи, не признанный мною в детстве, незаметно проник в мое сердце… Однако приблизился к пониманию «Дон Кихота» я не самостоятельно, своим умом мне не удалось постичь, что от смешного до великого

один только шаг. Мне открыл это Гейне…

Храпевший во все запрокинутое горло Чебан вдруг вскинулся, раскрыл налитые кровью глаза, огляделся и, увидев, что один я не сплю, озабоченно спросил:

— Сколько… часов?..

Я оттянул манжет куртки и сам удивился:

— Уже половина одиннадцатого.

Но Чебан не ждал ответа. Привалившись к Ганеву, он опять крепко спал, словно и не просыпался, только теперь — в более удобном положении, дышал неслышно, как спящий младенец. Зато с колен Трояна на все купе раздавался ровный самоуверенный храп Иванова, да еще из угла, в котором помещался Дмитриев, слышались прерывистые рулады. Рядом со мной тихонько, вроде осенней синички, сипел носиком Юнин.

…Гейне рассказывает, что «Жизнь и подвиги остроумного рыцаря Дон Кихота Ламанчского, описанные Мигелем Сервантесом де Сааведра», были первой книгой, прочитанной им после того, как он «вступил уже в разумный возраст и до известной степени постиг грамоту». Что ж, честь ему и слава — на то он и Гейне. Но поскольку приведенное им немецкое заглавие оказалось длиннее, чем у Сервантеса, надо думать, что маленький вундеркинд Генрих имел дело не с сокращенным переводом. Подаренный же мне в соответствующем возрасте краткий пересказ с французского, где буквально на каждом шагу все встречные и поперечные, то оптом, то в розницу, чем попало избивали сумасшедшего старика до полусмерти, был невыносим своей грубостью и жестокостью.

Читая, прозу Гейне, я дошел до страниц, посвященных Дон Кихоту, и печатные буквы вдруг запели, как ноты, и пели и ныли, пока не прозвучал заключительный горестный вопль: «Ах! Этот светозарный рыцарь Серебряного Месяца, победивший храбрейшего и благороднейшего в мире человека, был переодетый цирюльник!»

Вагон сильно толкнуло назад. С полочки под окном полетела на пол пустая кружка. Поезд с визгом и скрежетом резко тормозил, по всей вероятности, перед ним неожиданно закрыли семафор. Мелькнул желтый фонарик над стрелкой, колеса вразнобой прогрохотали над ней. Еще одна стрелка, и еще. Небо впереди розовело от зарева. Мы подъезжали к какому-то городу. Несколько капель косо упали снаружи на стекло. Блестя под накрапывающим дождиком, разбегалось вширь множество рельс. Под черепичной крышей водокачки висел рукописный плакат: «Aidons L'Espagne républicaine!»[10] На соседнем пути потянулась вереница товарных вагонов, в них гулко отдавался ход нашего

поезда. Издалека были видны освещенные прожектором огромные литеры. Вон оно что: Шалон-на-Марне. Целое кругосветное путешествие. Перпиньян от Парижа прямехонько на юг, а мы отмахали километров полтораста к западу!..

Приближаясь к вокзалу, поезд наш все замедлял движение и сейчас еле-еле полз. У начала перрона, опираясь на карабины, дежурили два гардмобиля[11] в темно-синих лакированных касках и отсыревших шинелях. К медному колоколу, висящему возле служебного помещения, подошел дежурный и коротко ударил один раз, одновременно рулады свистка засверлили влажный воздух, загудел паровоз, и перрон со светящимся поперек него циферблатом громадных круглых часов, с неподвижными гардмобилями, с медным колоколом и вытянувшимся рядом с ним дежурным медленно поехал вправо. Снова затарахтели стрелки, сверкнули зеленые очки семафора, и опять ничего не стало видно, кроме воды, текущей по оконному стеклу. Хотя язык уже саднило от беспрерывного куренья, я машинально потянул из пачки еще одну из оставшихся в ней «кэмел».

…О чем я только что думал? Ах да, о Дон Кихоте. Кстати, Гейне спутал. Вовсе не цирюльник Николас, а нарядившийся рыцарем бакалавр из Саламанки сеньор Самсон Караско, руководствуясь самыми лучшими намерениями, выбил из седла «храбрейшего и благороднейшего в мире человека». Сути дела, однако, это нисколько не меняет. Какая разница, брадобрей или бакалавр. Ученая степень отнюдь не прививка от пошлости. Наоборот, рядом с высоким безумием Дон Кихота ученая степень — подчеркнутая пошлость. И она в лице молодого, полного сил благоразумного бакалавра восторжествовала. Но когда сраженный ею старый чудак в анахронических рыцарских доспехах тяжело рухнул на землю и к его забралу прикоснулось вражеское копье, требуя сдачи на милость победителя, побежденный ответил: «Я не отрекусь от истины, хоть и бессилен защищать ее. Вонзай свое копье, рыцарь…» Сколько поколений мальчиков — испанских, французских, итальянских, немецких, английских и конечно же русских прочитали эти слова и, прочтя, становились хотя бы немного лучше, чем были, а некоторые так никогда и не смогли забыть их. Оттого-то у Дон Кихота появилось — и в жизни и в книгах — бесчисленное количество подражателей и продолжателей, в одной русской литературе их не счесть, достаточно упомянуть о доморощенном нашем идальго князе Мышкине. Несметное число было произнесено о Дон Кихоте прекраснодушных речей, а кто только не писал о нем статей, не сочинял стихов… Совсем некстати мне становится смешно. Действительно: кто только! Да и мое собственное первое

напечатанное стихотворение называлось «Дон Кихот». Давно то было. Интересно, удастся ли мне сейчас вспомнить эти стихи? Кажется, да. Ритм их презабавно укладывается в перестук колес, а я ведь пытался изобразить топот копыт по твердой дороге… «На-ри-со́-ван-ны-е в не́-бе об-ла-ка́… На-ри-со́ван-ные на́ хол-мах ду-бы́…» Оборачиваюсь к своим спутникам. Все они почиют непробудным сном и гротескными позами напоминают придворных в балете «Спящая красавица». Уверенный, что никто меня не услышит, я начинаю декламировать себе под нос:

Нарисованные в небе облака.
Нарисованные на холмах дубы.
У ручья два нарисованных быка
Перед боем грозно наклонили лбы.

В поле пастухами разведен огонь.
Чуть дрожат в тумане крыши дальних сел.
По дороге выступает тощий конь,
Рядом с ним бежит откормленный осел.

На картинах у испанских мастеров
Я люблю веселых розовых крестьян,
Одинаковых, пасет ли он коров
Иль сидит в таверне, важен, сыт и пьян.

Вот такой же самый красочный мужик
Завтракает сыром, сидя на осле,
А в седле старинном, сумрачен и дик,
Едет он — последний рыцарь на земле.

На пейзаже этом он смешная быль.
Локоть прикрывает бутафорский щит,
На узорных латах ржавчина и пыль,
Из-под шлема грустно черный ус торчит.

«Что же, ваша милость, не проходит дня
Без жестоких драк, а толку не видать.
Кто же завоюет остров для меня?
Мне, клянусь Мадонной, надоело ждать!»

«Мир велик и страшен, добрый мой слуга,
По большим дорогам разъезжает зло,
Заливает кровью пашни и луга,
Набивает звонким золотом седло.

Знай же, если наши встретятся пути,
Может быть, я, Санчо, жизнь свою отдам
Для того, чтоб этот бедный мир спасти,
Для прекраснейших из всех прекрасных дам».

Зазвенели стремена из серебра.
Жалко дрогнула седеющая бровь…
О, какая безнадежная игра,
Старая игра в безумье и любовь!

А в селе Тобоссо, чистя скотный двор,
Толстая крестьянка говорит другой:
«Ах, кума, ведь сумасшедший наш сеньор
До сих пор еще волочится за мной».

В небе пропылило несколько веков.
Люди так же умирают, любят, лгут,
Но следы несуществующих подков
Росинанта в темных душах берегут.

Потому, что наша жизнь — игра теней,
Что осмеяны герои и сейчас,
И что много грубоватых Дульсиней
Так же вдохновляют на безумства нас.

Вы, кто сердцем непорочны и чисты,
Вы, кого мечты о подвигах томят,
В руки копья и картонные щиты!
Слышите, как мельницы шумят?

Начал я негромко, но постепенно разошелся и, лишь когда полным голосом произнес последнюю строчку, обнаружил, что Ганев, бережно придерживающий голову Чебана на своей груди, — примерно так же как на репинской картине Иван Грозный прижимает голову своего сына, — раскрыл глаза и пристально смотрит на меня.

— Твое? — спросил он хрипло и кашлянул, прочищая горло.

Я смутился.

— Грех юности.

— Мне нравится твой рифмованный грех.

— Надеюсь, он мне простится, тем более что у меня не сохранилось ни малейшего авторского чувства на этот апофеоз

донкихотства.

— Мне кажется, донкихотство — не бранное слово.

— Но вроде.

— Разве что в смысле непрактичности.

— Как бы то ни было, а я — не я, и лошадь — не моя.

— Это ты про Росинанта?..

Довольно ядовито, конечно, но я промолчал. О чему тут спорить, когда с тех пор, как были написаны эти стихи, прошло ни много ни мало, а десять лет. Смею утверждать, что за такой срок я несколько переменился. Стихов, например, не только не пишу, но даже не читаю. Произошли во мне и некоторые другие изменения, касающиеся не только литературы. Но с чего все-таки меня угораздило вспоминать, да еще вслух, юношеские свои словоизлияния насчет ветряных мельниц и непонятных героев?

Ганев деликатно передвинул в угол тело Чебана, снял с крючка его латанный на локтях пиджачок и, сложив, подсунул ему под голову. Потом он зевнул и потянулся так, что захрустели суставы.

— Не в том уже я возрасте, чтобы дрыхнуть вниз головой, как петух на насесте, — он кивнул в сторону Иванова. — Чем всю ночь так мучиться, лучше бы спать по очереди. Я, когда садился, заметил, что передняя половина вагона не поделена на купе. Может, там и не все места заняты. Пойду посмотрю.

Он встал, переступил через ноги Дмитриева, сдвинул дверь и вышел. На мгновение вместе с ветром ворвался страшный грохот, должно быть, тамбур был открыт. Никто, однако, не проснулся. Я опять остался один.

…Если поразмыслить как следует, то я не совсем беспричинно вспомнил о рыцаре Печального Образа. Стихи стихами, но ведь Дон Кихот и Санчо Панса — единственное, что всегда связывало меня с Испанией. Что же касается донкихотства, то при желании так можно назвать вообще всякую готовность защищать истину. Если то, что я сейчас делаю, считать донкихотством, то достаточно взглянуть на вот этих спящих вповалку, чтобы признать донкихотство массовым явлением. Но опять я уклоняюсь в сторону. Ведь не из-за того же, в самом деле, я еду теперь в Испанию, что в юности писал стишки о Дон Кихоте?

3

Самый момент, когда я окончательно решил ехать, запомнился очень хорошо, хотя я и не сразу заметил, что решение уже принято. Произошло это в первых числах сентября на митинге, на котором выступала Пасионария. Начинался он, как обычно, поздно, в восемь тридцать вечера, дабы все успели пообедать (во Франции никто и ни при каких обстоятельствах не посягнет на священный обеденный час), но, предугадывая, что в данном случае даже Зимний велодром окажется мал, мы вышли в начале восьмого, и тем не менее поезда метро, направляющиеся в Отёй, были полны. Я предусмотрительно взял два билета первого класса, но, видно, подобных хитрецов нашлось немало, потому что нам с трудом удалось втиснуться в привилегированный вагон, переполненный так же, как остальные. На пересадке все повалили в одну сторону, и встречные, кто с недовольным, а кто с испуганным видом, жались к стенкам переходов. Пока мы дошли до платформы нужного направления, там скопилась такая толпа, что попасть в приближающийся состав казалось просто безнадежным. К счастью, на сей раз в первом классе ехали его обычные пассажиры, безразличные, если не враждебные к тому, что сейчас будет происходить на арене Зимнего велодрома; большинство их выходило, чтобы пересесть на Отёй, и мы с многочисленными попутчиками смогли вдавиться вместо них.

На ближайшей к велодрому остановке весь поезд опустел, будто она конечная: лишь на мягких диванах первого класса продолжали восседать некоторые дамы и господа, явно шокированные только что покинувшим их вагон неподходящим обществом. И на нашем, и на противоположном перроне еще теснились перед выходами прибывшие на предыдущих поездах. Широкие железные лестницы, спускающиеся с эстакады, на которую здесь, перед Сеной, выведено метро, пространство перед эстакадой и мостовая между нею и велодромом были запружены медленно продвигавшимися людьми. Под фонарями, по ту сторону бульвара, выстроились темно-синие каре полиции, но возле велодрома ажанов не было; вместо них порядок поддерживали распорядители с красными повязками на рукавах. Вдоль тротуара бряцали кружками сборщики пожертвований, непрерывно приговаривая: «Помогите Испании, товарищи…», «Помогите республиканской Испании… Бросьте ваш обол в помощь Испанской республике…». У входов девушки, наряженные, как хористки из «Кармен», прикалывали к пиджакам и платьям входящих бумажные флажки с продольными полосами

непривычной расцветки — красной, желтой и фиолетовой. Приставленные к девушкам энергичные молодые люди взимали на покрытие расходов по два франка; безработные вносили половину.

До начала митинга оставалось еще около сорока минут, а внизу было уже битком набито, и вновь прибывающие, оценив обстановку, бросались наверх. Держась за руки, мы кинулись вслед за остальными, но, взбегая с этажа на этаж, нигде не могли найти ни одного пустого сиденья. Лишь под самой крышей, слева, удалось обнаружить сравнительно свободный выступ галереи, где по крайней мере можно было стоять. Но и тут нас вскоре так придавили к барьеру, что достать из кармана сигарету сделалось целой проблемой. Впереди, далеко под нами, находилась импровизированная эстрада. Фоном ей служили три громадных флага: посередине из багряного бархата с эмблемой Народного фронта, по бокам трехцветные — испанский и французский. Висячие прожектора, прорезая молочными конусами сумрак, заливали эстраду светом. Вдоль нее тянулся стол, покрытый краповым сукном. Гигантская бетонированная арена заставлена бесчисленными рядами стульев; сверху мы видели, что они все до единого заняты. Плотные толпы стоящих, как декоративный кустарник, окружали арену. На ярусах тоже негде было повернуться. Вероятно, за все свое существование, даже в азартные дни шестисуточных велосипедных гонок или в тот вечер, когда кумир парижских предместий Марсель Тиль дрался за звание чемпиона мира в полутяжелом весе, — даже тогда «Вельдив»[12] не вмещал столько народа.

Почти все курили, и табачный дым пеленами стлался над огромным партером, клубился под балконами и образовывал туманные ореолы вокруг ламп и фонарей. Вопреки обыкновению собравшиеся вели себя довольно сдержанно. Лишь порой из глубины какого-нибудь яруса слышались громкие выкрики, они быстро разрастались, и вот все покрывал громовой речитатив, исходящий из тысячеголосой глотки: «Des canoń́s!.. des avioń́s!.. pour L'Espagńe!.. républicaiń́e!..» Сотрясая здание, ритмичный рев распространялся, и его подхватывали повсюду, потом он опадал, чтобы с новой силой возникнуть в другом месте. Из партера все чаще и чаще долетал треск аплодисментов — это опознавали кого-либо из левых политических деятелей, пробиравшегося, при содействии дюжих ребят из самообороны, по забитому людьми проходу.

Открытие митинга приближалось. Нас все крепче прижимали к перилам. «Она храбрая, твоя подружка», — сказал мне прямо в ухо немолодой рабочий, от его куртки пахло пережаренным

растительным маслом. Море голов внизу однообразно шевелилось, словно ветер рябил воду. Но вот по арене из конца в конец прокатилась волна: все обернулись к центральному входу, где показался крупный человек с растрепанной седой головой. Распорядители, узнав Андре Марти, рванулись ему навстречу. Не обращая внимания на аплодисменты, он продвигался к эстраде. Репродукторы испустили змеиный шип, и вдруг из них грянул бойкий марш вроде тех, что исполняют в цирке во время парада-алле перед началом представления. Первые ряды, а за ними и остальные, вставали, мужчины снимали кепки. В истекшие полтора месяца мне не однажды приходилось слышать эту музыку: громкоговорители передавали «Гимн Риего», столетнюю испанскую революционную песню, принятую в качестве официального гимна республики. Толпившиеся в проходе расступались и приветственно вздымали кулаки, давая дорогу большой женщине в черном платье. Она стремительно шла к трибуне, тоже подняв сжатую в кулак руку. Сзади торопилась беспорядочная толпа сопровождающих. Женщина в черном легко взошла на помост и, по-прежнему держа у виска кулак согнутой в локте правой руки, повернулась к рукоплещущему велодрому; левой, в которой виднелся скомканный белый платочек, она оперлась на стол. Бледное лицо ее было сосредоточенно, вороные волосы — гладко зачесаны назад и стянуты в тяжелый узел. Репродукторы смолкли. Секунда тишины, и весь велодром разом запел «Интернационал» в том походном темпе, в каком поют его французы. Стараясь остаться незаметными, на эстраду поднимались остальные члены испанской делегации и устроители митинга. Приглаживая прическу ладонью, взобрался туда и Андре Марти в мешковатом сером костюме. Закончив припев «Интернационала», неисчислимый хор снова принялся оглушительно повторять главный лозунг дня. Несколько человек вынесли откуда-то сбоку и водрузили на помост к ногам Пасионарии невероятных размеров корзину с алыми гвоздиками, такую же корзину настурций и корзину фиалок — получился испанский республиканский флаг. Отовсюду к трибуне, как по сигналу, устремились женщины и дети с букетами цветов. Они несли Пасионарии и пышные оранжерейные розы, и будничные георгины, и тюльпаны неописуемых оттенков, и белые лилии: в руках у нее быстро образовался необъятный цветочный сноп. Она передала его назад смуглой девушке в мужском рабочем комбинезоне и рогатой пилотке, но снизу протягивали все новые и новые пучки цветов, и Пасионарии пришлось складывать их прямо на стол. Вскоре и ближний край стола и угол помоста были завалены яркими ворохами. Пасионария застенчиво разводила

руками, наклонялась к детям, и даже от нас можно было рассмотреть, какая белозубая улыбка озаряла ее лицо. Но вот оно опять стало серьезным, и Пасионария через плечо обратилась к девушке, которой дала подержать цветы и которая, по всей вероятности, была ее переводчицей. После каждой фразы, кивая головой в подтверждение, что прекрасно все понимает, девушка в пилотке выслушала, положила цветочный сноп на свободный стул, подошла к председательствующему и передала ему поручение. Он привычно пощелкал пальцем по микрофону и округлыми фразами сообщил, что товарищ Долорес Ибаррури глубоко тронута оказанным ей приемом и сердечно благодарит за поднесенные ей букеты, однако, не считая себя вправе принять на свой счет столь волнующее проявление симпатии ко всем испанским антифашистам, просит возложить эти цветы к стене Коммунаров. Восторженные крики и шквал рукоплесканий покрыли его слова. Пасионария уселась посреди испанских делегатов. Председательствующий вторично постучал по микрофону и встал. Он объявил митинг солидарности открытым и сообщил, что на нем присутствует свыше сорока тысяч человек, но что еще много тысяч не смогли войти и стоят кругом велодрома, хотя полицейские власти под предлогом соблюдения общественной тишины и не разрешили установить громкоговоритель снаружи. Все радостно захлопали в ладоши, каждый с гордостью почувствовал себя слагаемым грандиозного числа, не только объясняющего, но и оправдывающего невыносимые давку и духоту, — ведь велодром рассчитан максимально на двадцать пять тысяч зрителей, — впрочем, треск ладоней тотчас же сменился направленным в адрес префекта полиции свистом, до того пронзительным, словно несколько сот английских боцманов разом засвистали в свои дудки. Терпеливо переждав, пока свист утихнет, председательствующий предложил, как полагается, избрать почетный президиум. Не справляясь с бумажкой, он назвал первую кандидатуру, но едва из репродуктора послышалось: «мучеников Бадахоса», — как единодушный вопль вырвался из сорока тысяч грудей. Напоминание о бадахосских жертвах бередило слишком свежую рану.

Мятежники взяли Бадахос недели две назад. Со времени фактической неудачи генеральского восстания и происшедшего затем размежевания сил, то была их первая победа, но победа чрезвычайно важная и с далеко идущими последствиями. Овладев Бадахосом, франкисты не только осуществили соединение своего южного плацдарма с обширными территориями северной группировки, но и перерезали железную дорогу Мадрид —

Лиссабон, а вместе с тем отняли у республиканцев контроль над последним остававшимся в их распоряжении отрезком границы с Португалией. Город, обороняемый остававшимися верными правительству батальоном пехоты и добровольцами из местных жителей, вооруженными пистолетами и охотничьими двустволками, штурмовали бандера[13] иностранного легиона и табор марокканцев, поддержанные полевой артиллерией и бомбардировочной авиацией; во втором эшелоне двигались отряды фалангистов. Победители, обозленные оказанным сопротивлением (их не смягчило и то, что им удалось вызволить из тюрьмы целыми и невредимыми 380 своих сторонников), учинили, ворвавшись в Бадахос, таких масштабов бойню, что ее не удалось скрыть от иностранных журналистов.

Вполне благонамеренный представитель вездесущего агентства Рейтер и собственный корреспондент реакционнейшего «Тан», нечаянно оказавшись очевидцами зверских репрессий, первыми добрались до ближайшего португальского населенного пункта и передали ужасающие свидетельские показания. За поистине варфоломеевские сутки, наставшие после окончания уличных боев, мятежники без суда расстреляли на плацу казармы, у стены военной комендатуры и на арене для боя быков 1200 пленников; кроме того 800 человек были перебиты поодиночке в домах и дворах. Потрясенный сотрудник «Тан» своими глазами видел на тротуаре перед комендатурой еще не успевшую застыть лужу крови с плавающими в ней кепками расстрелянных рабочих. Лондонские газеты поместили пространное рейтеровское сообщение, помеченное Бадахосом, в нем детально описывались кошмарные подробности массовых расправ; по словам корреспондента, казненных было столько, что их трупы «во избежание неприятных последствий и потери времени» приходилось сжигать на кострах…

Общее волнение еще не улеглось, когда механический баритон громкоговорителей тем же приподнятым тоном назвал «героических бойцов Ируна», и велодром снова взорвался нечеловеческим ревом ярости и боли; многие из сидевших в партере вскакивали, потрясая кулаками. Хотя сражение за Ирун было в разгаре, чувствовалось, что под напором десятикратно превосходящего противника и за отсутствием боеприпасов упорство обороняющихся иссякает (действительно, Ирун пал на следующие же сутки), а ведь дело шло о единственной сухопутной связи изолированного республиканского севера с Францией, а через нее с правительственной Испанией. И потому митинг долго бушевал и не желал успокаиваться, пока репродукторам не удалось, наконец, перекрывая шум, предложить

третьей кандидатурой президента Испанской республики «его превосходительство дона Мануэля Асанья». За президентом Асанья без всякого интервала, если не считать одобрительных аплодисментов, послышалось имя Ги де Траверсе. Бедному Ги де Траверсе, барселонскому спецкору профашистской парижской вечерней газеты «Энтрансижан», и во сне не снилось, что его когда-нибудь, пусть и посмертно, изберут в почетный президиум сорокатысячного сборища столичных пролетариев, но такая почесть была оказана ему не случайно. Посланный в Испанию за сенсационными очерками, он, вопреки заданию, не только талантливо, но и честно писал, в свою газету обо всем, что наблюдал (редакция вычеркивала из его репортажей бóльшую часть), пока, выполняя журналистский долг, не отправился сопровождать республиканских волонтеров в импровизированную морскую экспедицию на захваченный мятежниками крупнейший из Балеарских островов — Майорку; там он вместе с уцелевшими участниками десанта попал в плен и заодно с ними без излишней волокиты был расстрелян. Ходили слухи, что энтрансижановский очеркист с дворянской приставкой к фамилии оказался настолько вовлеченным в события, что в момент неудачной высадки подобрал карабин убитого рядом с ним бойца и вброд кинулся в атаку. Благодаря этим слухам кандидатура покойного Ги де Траверсе была принята почти столь же горячо, что и названные последними кандидатуры Эрнста Тельмана и Эдгара Андре — драгоценных заложников рабочего класса, находящихся в руках национал-социалистов. Тельмана не только почитали, а и хорошо помнили в Париже, где он, нелегально проникнув во Францию незадолго до победы Гитлера на выборах, выступал на пятнадцатитысячном собрании в зале Бюлье. Хорошо знали здесь и Эдгара Андре, и не потому лишь, что он был одним из создателей и руководителей международного объединения профсоюзов докеров и моряков торгового флота, но особенно потому, что ему приписывалось авторство повсеместно распространившегося ротфронтовского приветствия поднятым кулаком.

Вслед за почетным президиумом был утвержден деловой, в который вошли испанские гости, представители от трех партий французского Народного фронта, от Всемирного антифашистского комитета, основанного покойным Анри Барбюсом, делегаты от заводов «Рено», «Ситроен», «Испано-Суиза» и других. И вот, завладев микрофоном, новый председатель интеллигентным тенорком предоставил слово «члену коммунистической фракции палаты депутатов товарищу Андре Марти».

Опытный оратор, Марти не шел, однако, ни в какое сравнение не только с Морисом Торезом, а и с Жаком Дюкло, с Полем Вайаном Кутюрье или с престарелым Марселем Кашеном, но сейчас он выступал не в качестве лучшего оратора партии, а как ее, так сказать, главный специалист по испанскому вопросу: Марти родился в Перпиньяне, неподалеку от границы, с детства знал каталонский язык, издавна поддерживал отношения с лидерами каталонского рабочего движения, и неудивительно, что в 1931 году, после провозглашения республики, в Барселону для связи направили именно его. Не менее важным для сегодняшнего случая был и тот ореол, который окружал Андре Марти как одного из зачинщиков черноморского восстания французских моряков в девятнадцатом году, романтический ореол старого борца, во время интервенции в России сумевшего проявить подлинно революционный интернационализм и дорого заплатившего за свое мужество: военный суд приговорил Марти к максимальному наказанию — двадцати годам каторги; ему грозила смертная казнь, но тогда французскому правительству пришлось бы официально признать, что оно находилось в состоянии войны с Советской Россией.

В общем, вряд ли кто другой из Политбюро Коммунистической партии Франции больше подходил для произнесения речи на митинге солидарности с испанскими трудящимися, не говоря уж о том, что эта честь принадлежала Марти, и по праву: он был членом исполкома Коминтерна.

Едва перед заваленным цветами столом появилась отяжелевшая фигура Марти, сидевшие как по команде поднялись и, подняв кулаки, в едином порыве запели «Интернационал» — так французские рабочие встречали лишь тех, кого признавали одним из своих вождей. Заключительные аккорды припева еще не успели затихнуть, как, несмотря на то что митинг происходил под эгидой Народного фронта, из конца в конец велодрома загремел традиционный боевой клич: «Les soviets par-tout! Les soviets par-tout! Les soviets par-tout!..»[14] Учитывая присутствие не только многих социалистов, но и некоторых радикалов, этот грозный призыв звучал не слишком тактично, а если принять во внимание, что заранее объявленной целью сегодняшнего собрания была защита буржуазно-демократических свобод в Испании, то, пожалуй, и совсем бестактно, поэтому Андре Марти укоризненно покачал головой и начал говорить, не дожидаясь, пока люди усядутся.

Слушая Марти, я всякий раз вспоминал строчку Александра Блока: «Он говорил умно и резко…» Разносимая репродукторами по отдаленнейшим уголкам многоэтажного крытого стадиона, его

речь была еще резче, чем обычно, однако тема вполне оправдывала это. Краткими, словно обрубленными предложениями он, как штрихами, набрасывал общую картину того, что произошло «у наших братьев по ту сторону Пиренеев». Как опереточные генералы (в испанской армии на каждые пять солдат приходилось по офицеру и на каждую полуроту по генералу), неоднократно и нещадно битые марокканскими повстанцами, вынашивали совместно с земельными магнатами и князьями церкви заговор против молодой республики, ловко используя ее беспечность. Как в ответ на свободное волеизъявление народа, проголосовавшего за Народный фронт, эти изменники, опираясь на кадровое офицерство и недавно проросшую фашистскую организацию фалангистов, а также на активную поддержку всего городского и сельского духовенства, сначала, действуя под покровом ночи, захватили в свои руки гарнизоны в испанском Марокко, а на другой день — по переданному сеутской радиостанцией условному сигналу: «Над всей Испанией безоблачное небо», — вероломно нарушив присягу, восстали против законного правительства и в метрополии. Когда же мятеж был почти повсеместно подавлен народом, золотогалунники и попы — «этот извечный союз сабли и кропила», — при дружеской помощи Салазара, Муссолини и Гитлера, развязали беспощадную гражданскую войну. Итальянские и немецкие трехмоторные самолеты принялись сбрасывать бомбы на мирные испанские города, итальянские танкетки двинулись на непокорных испанских крестьян, стрелявших по их броне фазаньей дробью, немецкая артиллерия начала методически громить беззащитные населенные пункты, а иностранный легион не менее методически вырезать в них всех испанских граждан, проголосовавших за левых. Рядом с авантюристами, белогвардейцами и уголовниками из иностранного легиона свирепствовали наемники, спешно навербованные в оккупированном фашистами северном Марокко среди отсталых берберских и арабских племен…

Отрывистые терпкие фразы, бросаемые Андре Марти, накаляли и без того жаркую атмосферу митинга, все более и более громкий гул негодования заполнял короткие паузы. «Испанская республика мирная страна!» — хрипло выкрикивали громкоговорители. «Чтобы отразить иностранную интервенцию и подавить фашистский мятеж, у законного правительства нет оружия! Оно есть во Франции! Но наше правительство! Правительство Народного фронта! Созданное благодаря тому, что на выборах победили здоровые силы страны, и возглавляемое нашим товарищем Леоном Блюмом! Отказывается продать

оружие правительству испанского Народного фронта! Во главе которого тоже стоит социалист! Наш мужественный товарищ Ларго Кабальеро! Это невозможно понять!..» «У-у-у…» — бешено выли ярусы. «Вы, рабочие Франции! Вы, товарищи избиратели! Вы должны заставить французское правительство уважать вашу волю! Вы должны принудить его отменить позорное решение! Противоречащее международному праву! То, что происходит в Испании, наше кровное дело! Испанские герои защищают от мирового фашизма пиренейский фланг Франции! Мы обязаны помочь им! Сейчас под Ируном они умирают за нас с вами!..»

Андре Марти давно возвратился на место, и его серебряная голова затерялась среди остальных членов президиума, а возбужденная им буря продолжала бушевать. Из-за тесноты вытянув руки над собой, люди вокруг нас исступленно били в ладони и неистово орали. Стоявший сзади пожилой рабочий, тот самый, от которого так пахло кухонным чадом, хлопал громче всех, навалившись мне на спину и возя рукавами по моему темени. Напрасно председатель умоляюще склонялся над микрофоном и напрасно сквозь непрекращающийся плеск аплодисментов прорывались его неуверенные слова: «Товарищи!.. Мои дорогие товарищи!.. Послушайте, товарищи!..» Понадобилось порядочно времени, пока ему удалось водворить относительный порядок и один из руководителей парижского отделения профсоюза металлистов смог объявить, что рабочие военных авиационных заводов приняли решение каждую смену безвозмездно отрабатывать сверхурочный час, если правительство согласится полученные таким способом лишние самолеты передать Испании. И снова все заколотили в ладоши, и снова застучал в ушах повелительный речитатив: «Des-ca-nońs! de-sa-viońs! pour-L'Es-pagńe! ré-pu-bli-caińe!..»

Общее возбуждение все росло. Говорило еще несколько человек. Их старались слушать, но нетерпеливый гомон уже не утихал. Наконец, с почти такой же торжествующей интонацией, с какой конферансье преподносит в концерте гвоздь программы, председатель возвестил, что «перед вами выступит депутат кортесов товарищ Долорес Ибаррури, знаменитая Пасионария». И вот — будто черное пламя взметнулось навстречу урагану оваций — она порывисто шагнула вперед и, не ожидая их окончания, покрывая их, из громкоговорителей полился низкий мелодичный голос. При первой же его ноте воцарилась благоговейная тишина. В свете прожекторов было хорошо видно прекрасное бледное лицо Пасионарии и опущенные руки в широких, стянутых на запястьях рукавах, в левой по-прежнему был стиснут белый платочек. Пасионария говорила по-испански,

и никто не переводил ее речь, однако все сорок тысяч, как завороженные, ловили каждое слово чужого, удивительно звучного языка. По корням, общим с французскими, я сначала понимал неплохо.

— Мы пришли к тебе, народ Парижа, покоритель Бастилии, боец Коммуны, — медленно и торжественно произнесла Пасионария и вдруг вскинула свою голову сорокалетней мадонны и быстро-быстро закричала, запела, угловато рубя воздух левой рукой с зажатым платком, и я сразу перестал улавливать смысл и только напряженно вслушивался в цыганскую музыку этого гибкого, то чистого, как виолончель, то хрипловатого от волнения голоса. А он все громче разливался над сосредоточенным молчанием велодрома, и на фоне огромных флагов, на фоне сваленных в пестрые кучи цветов колыхался темный и прямой силуэт с однообразно взлетающей и падающей, напоминающей сломанное крыло рукой.

Как и все кругом, я неотрывно всматривался в каждое движение Пасионарии, и мне почему-то вспомнился Шаляпин, когда он, смертельно бледный, в светло-золотой парче и тоже с белым платком в руке, выбегает на сцену в последнем акте «Бориса Годунова». На секунду мне почудилось, что величайшая в мире драматическая актриса исполняет перед нами монолог из незнакомой древней трагедии. Но сейчас же я вернулся к действительности, я напомнил себе, что эта поющая горькую песнь античная героиня — простая судомойка, жена рядового астурийского шахтера, родившая ему чуть ли не дюжину детей, из которых в живых осталось всего двое, что она на самом деле мыла жирные тарелки в горняцкой харчевне и кое-как сводила концы скудного домашнего хозяйства с концами, кормила кур, стирала, послушно штопала носки своего архиобыкновенного мужа… Но чем подробнее восстанавливал я в памяти общеизвестные факты биографии Пасионарии, тем необыкновеннее, тем непостижимее и таинственнее казалась она, эта, по выражению одного белогвардейского острослова, «пролетарская богородица», говорящая с нами от лица всех испанских женщин, а на самом деле — от лица самой Испании, больше чем говорящая, кажущаяся ее олицетворением… «Пасионария» означает «страстоцвет», под таким псевдонимом она помещала свои первые статьи в провинциальной рабочей печати, а теперь нет на земле человека, который не слышал бы его. Большинство и не подозревает, что это название цветка; широко известно основное значение слова: «неистовая», «страстная» — ведь оно так к ней подходит. Мне рассказывал кто-то, что в Испании ее зовут Пасионарией только посторонние, свои ласково называют по

имени: «Долорес». А во Франции и среди коммунистов распространено прозвище, под каким ее знают все: и друзья и враги. И до чего же они, враги, ненавидят нашу Пасионарию. Каких только идиотских мерзостей не сочиняют о ней правые газеты. Вот, не дальше чем вчера «Круа-де-фё»[15], распущенные правительством Блюма, прислали в отель, где она остановилась, хамское письмо, полное непристойной ругани и наглых угроз…

Я посмотрел по сторонам. Как ее слушают, как слушают! А ведь почти никто ничего не понимает. И все равно. Не слушают даже, а внимают, словно верующие католики органу в храме. Очень многие растроганно плачут. Чуть ниже нас, справа, я вижу модно одетую девушку в очках, она поставила локти себе на колени, оперлась подбородком на сплетенные пальцы и закрыла глаза, но и отсюда хорошо заметно, что по ее щекам ползут слезы. Сзади, громко трубя, сморкается старый рабочий, который сказал, что у меня храбрая подружка…

Пасионария внезапно остановилась и, как будто собираясь с мыслями, опустила голову. Над велодромом снова сделалось напряженно тихо. А я только что начал было опять схватывать, о чем она говорит: о том, что испанский народ безоружен, вернее, что у него нет другого оружия, кроме самопожертвования… Но вот она вскинула голову и обвела взором верхние ярусы.

— Камарадас, — сказала Пасионария негромко, но настойчиво и как будто даже приблизилась к нам ко всем; все присутствовавшие почувствовали себя объединенными этим словом, тем доверием, какое было в него вложено. — Камарадас, — повторила она, и ее могучее контральто окрепло и зазвенело, и, вкладывая в каждый слог покоряющую убедительность, она отчетливо, словно диктуя, произнесла прозвучавшее классической латынью изречение, и каким-то чудом оно дошло до всех, все услышали, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, и тогда в ответ грохнул такой обвал рукоплесканий, такой оглушающий гром восторга, какого еще не было сегодня. Он грохнул и стих, а Пасионарию подхватило и унесло вдохновение, и опять застонал, заныл, загудел орган ее голоса, и опять я ничего не мог разобрать. Но разве, если с кем-нибудь случилась беда и он зовет на помощь, разве, чтобы понять, необходимо различать и понимать отдельные слова?.. И как раз когда я подумал это, Пасионария кулаком с торчащим в нем белым платочком, отбивая такт по раскрытой ладони правой руки, прокричала то, что почти так же произносилось и по-французски:

— Чтобы победить, нам нужны самолеты! Нам нужны пулеметы! Нам нужны пушки!..

Уже никому не пришло в голову поддержать ее приевшимся рефреном. Страдающий и страстный голос Испании проникал в глубину сердец. Все больше и больше людей плакало, не стыдясь своих слез, и эти почти всеобщие слезы были и сильнее, и грознее, и убедительнее самых буйных криков и самых нужных лозунгов.

— Женщины Франции! Французские матери! — умоляюще призывала Пасионария. — Берегитесь! Сегодня это мы, завтра придет ваша очередь!.. Вы должны помочь нам, испанским матерям, испанским женщинам! Вы должны сделать все, что в ваших силах, гораздо больше того, что в ваших силах, — и тогда фашизм не пройдет!…

Она оборвала свою речь, порывисто повернулась и ушла в президиум. Больше не было ни оваций, ни воплей, ни пения. Но не только женские — мужские лица были заплаканы или искажены сдерживаемым волнением. Медленно-медленно сорокатысячный митинг начинал расходиться.

Снова взявшись за руки, чтобы не потеряться в толпе, мы вместе со всеми то переступали со ступеньки на ступеньку, то упирались в чужие спины. В горле, мешая разговаривать и причиняя сладкую боль, торчал твердый комок, как в детстве, если после обиды не удавалось по-настоящему выплакаться. На ярко освещенной площадке между этажами образовалась пробка. Остановившись, мы взглянули друг на друга. Слезы в ее глазах еще не просохли, и сквозь них она пытливо всматривалась в меня.

— Что ты? — тихонько спросил я по-русски.

И без того прижатая ко мне, она придвинулась еще ближе, обеими руками взялась за отвороты пиджака и, всхлипнув, шепнула:

— Я знаю, ты решил ехать в Испанию…

4

За перегородкой глухо бухнула входная дверь, и дверца купе со скрипом поползла в сторону, но прежнего грохота, пока она была открыта, больше не послышалось. Ганев, на цыпочках переступив через паз, по которому она скользила, тихонько прикрыл ее за собой. Судя по бисеринкам дождя, блестевшим в его сивой шевелюре, он выходил подышать свежим воздухом и, возвращаясь, захлопнул дверь в тамбур.

В отсутствие Ганева спящий Чебан от тряски сместился, и теперь между ним и Трояном было не втиснуться. Ганев осторожно присел на краешек дивана, уперся ладонями в расставленные колени и, вздохнув, посмотрел на меня.

— Так и не заснул? Представь, я тоже. Везде занято. Что ж, будем бодрствовать…

Опять стало тихо, — уши так привыкли к однообразному стуку колес и равномерному храпу, что не воспринимали их. Посидели молча. Ганев нагнулся, вытащил свой реквизитный баул, достал из него потрепанный французский путеводитель по Испании и Португалии, должно быть, приобретенный за гроши у букиниста, раскрыл там, где была заложена пачка каких-то бумаг, аккуратно протер очки в пожелтевшей металлической оправе и при тусклом свете верхней лампочки углубился в чтение.

— Глаза портишь, — заметил я.

Ганев поднял очки на лоб.

— У неграмотных зрение, конечно, лучше сохраняется, но что поделаешь, раз я обучен ей. А не хочешь ли и ты своим глазам повредить? — Он протянул пачку, которая лежала в путеводителе. — Взгляни, по-моему, поучительное чтение.

Я развернул измятые листы. Это была статья, вырезанная из какого-то католического журнала или брошюры, потому что над заглавием красовался лотарингский крест. Ниже креста было набрано готическим латинским шрифтом: «Как один человек взял Севилью», а еще ниже помещался заключенный в скобки подзаголовок: «Легендарный подвиг генерала Гонсалеса Кейпо де Льяно». Я заглянул в конец, но подписи под статьей не оказалось. К статье английской булавкой был подколот лист бумаги с наклеенными на нем газетными вырезками.

Первая из «Аксьон Франсез»[16] гласила:

> «Радио возвращенной католичеству Севильи передает, что сразу же после освобождения города от красных во всех церквах были отслужены

благодарственные молебны».

Во второй, взятой неизвестно откуда, сообщалось, что,

> «одержав победу, националисты расстреляли взятых в плен: командующего войсками севильского военного округа, гражданского губернатора, прокурора и ряд других ответственных чиновников, назначенных правительством Народного фронта, а также всех офицеров, пытавшихся оказать сопротивление перевороту».

Следующая, тоже без указания источника, состояла всего из двух строк, воспроизводивших заявление генерала Кейпо де Льяно, сделанное им, по-видимому, представителю того органа, откуда выдержка была позаимствована:

> «Террор необходим. Он обеспечивает дисциплину, которую наша малочисленность без него не в состоянии обеспечить».

Дальше шла большая наклейка из «Тан». В ней специальный корреспондент этой тесно связанной с французским министерством иностранных дел газеты захлебываясь описывал севильские достопримечательности и полнейший порядок, наблюдаемый им в городе. Корреспондент находил, что жизнь в Севилье просто прекрасна, вскользь добавив, что «к сожалению, все кино закрыты, так как временно превращены в тюрьмы». Дальше этот чернильный холуй писал:

> «Победителям необходимо было, с одной стороны, обеспечить свою безопасность, с другой — наказать виновных. Поэтому некоторые казни были справедливым возмездием, а некоторые вызваны необходимостью. Многие из казненных своим сектантством и ненавистью способствовали тому печальному состоянию, до какого дошла в последнее время Испания. Франкмасоны, пропагандисты марксизма, зачинщики забастовок, лица, несущие ответственность за беспорядки и убийства, ставленники правительства, участвовавшие в его грязных делишках, политиканы и чиновники, превышавшие власть и нарушавшие правосудие, получили по заслугам. В категорию жертв попали также и те, кому мстили за друзей, убитых красными, офицеры, пытавшиеся воспротивиться восстанию, и администраторы,

отказавшиеся подчиниться ему. Кроме того, как результат сведения личных счетов имели место массовые казни и расстрелы без суда…»

Последняя вырезка представляла заключительную часть одного из ежевечерних выступлений Кейпо де Льяно по севильскому радио и была набрана жирным шрифтом:

«За каждого убитого националиста, — пообещал генерал, — я прикончу десять марксистов, а буде таковых не хватит, я выкопаю на кладбище их трупы и расстреляю вторично!..»

На этом выдержки из французских газет исчерпывались, и как раз вовремя: я почувствовал, что вместе с ними исчерпано и мое самообладание. Я возвратил Ганеву его «поучительное чтение».

— Зачем ты везешь с собой эту гадость?

— Специально для павших духом. Вот ты что-то было приуныл, а прочел — и видишь, как сразу оживился, будто возбуждающее средство принял. Возьми-ка еще этот выпуск «Иллюстрасьон», если он тебе не попадался.

— Не попадался. Я журналы с картинками не покупаю. И вообще, с меня вполне хватит возбуждающих средств.

— Бери, бери. Это скорее похоже на ложечку варенья после горького лекарства. Посмотри или, лучше сказать, попробуй сам.

И Ганев извлек из музейного баула скатанный в трубку и перевязанный шнурком от ботинка номер «Иллюстрасьон».

Он был от середины сентября. Я раскрыл журнал наугад и сразу наткнулся на статью еще одного специального корреспондента все из той же злосчастной Севильи. С самых первых строк нельзя было не заметить, что корреспондент был действительно «специальным». Недаром поговаривали, что благонамеренный иллюстрированный еженедельник, связанный с высшими католическими кругами Франции, имеет отношение и к ее генеральному штабу. Во всяком случае, севильский корреспондент «Иллюстрасьон» знал толк в различных типах военных самолетов и, по-видимому, разбирался в том, чем может грозить — ставший в последние недели одиозным — пиренейский фланг.

«…С утра и до вечера непрерывное жужжание заставляет поднимать голову к небу, — читал я. — Самолеты летят с юга. Все, какие я видел, были трехмоторные «юнкерсы», еще сохранявшие черную и зеленую краски, которыми они окрашены на своей

родине — в Германии. На этих машинах перебрасываются в Андалусию войска из Марокко. По дороге из Альхесираса в Севилью, перед въездом в отчизну вина Херес-де-ла-Фронтера, простирается вдоль реки обширный луг, превращенный в аэродром. Однажды, когда я проезжал мимо в автокаре, там стояли три трехмоторных «юнкерса», заправлявшихся бензином из автоцистерны малинового цвета. Возвращаясь из Севильи, я опять повернул голову в сторону аэродрома: теперь на нем находились два других трехмоторных «юнкерса», из трюмов которых перегружались в грузовики тяжелые ящики. Весь автокар смотрел на это с волнением, по большей части радостным. Сзади меня сидела одетая в черное пожилая крестьянка. Показав на самолеты, она спросила:

— Итальянские? Italianos?

— Нет. Немецкие. Alemanes.

— Немецкие?! Alemanes?! Немецкие самолеты?

Все в автокаре были потрясены.

Если вам захочется собственными глазами убедиться, что кроме итальянских аппаратов здесь есть и немецкие, отправьтесь погулять около севильского аэродрома. Понятно, вам не позволят подойти к нему близко, у вас дважды или трижды проверят документы, но даже издали вы увидите достаточно. Вы увидите, что на летном поле Таблады выстроились готовые к взлету «юнкерсы», а рядом монтируются другие, загадочным путем доставленные в разобранном виде. В самой Севилье каждый знает, что целый этаж расположенного на берегу Гвадалквивира около Золотой башни роскошного отеля «Кристина» занят недавно приехавшими германскими «туристами». Их не меньше двух дюжин. Иногда их, всех вместе, одетых, как в форму, в одинаковые костюмы из белого полотна и в одинаковые белые фуражки, можно встретить на улице. Однажды случайно вышло так, что мое свидание с испанским офицером, исполняющим здесь роль военного пресс-атташе, происходило как раз в холле отеля «Кристина». При этом мне удалось подметить два небезынтересных обстоятельства. Первым было то, что из всех европейских газет тут получали лишь немецкие, и притом в рекордные сроки. Вторым примечательным обстоятельством я нашел рукописное объявление, вывешенное у конторки и уведомляющее, что автокар на

аэродром Таблады подается к отелю в 6.45, а выходит оттуда в 11.45.

Вышеупомянутые немецкие туристы — не кто иные, как сборщики и пилоты, присланные гитлеровской Германией в распоряжение мятежников. Осведомленные люди утверждают, что немецких самолетов получено уже 60; проверить эту цифру я не смог, так же как и другую: мне сообщили о прибытии сюда 30 итальянских машин, — однако визуально некоторые из последних мне довелось наблюдать. То были главным образом великолепные, цвета слоновой кости «савойя-маркетти». Кстати, когда я задал вопрос, как зовут испанского летчика, дважды спикировавшего на республиканский линкор «Хайме I» и попавшего в него, мне без колебаний ответили: «Это был итальянец…»

В купе делалось все более душно. Мне захотелось проветриться. Возвратив Ганеву журнал и перешагивая через перепутанные ноги наших спутников, я спросил:

— Как все-таки случилось, что ты, в твоем возрасте, решился ехать воевать?

— Не смог больше смотреть со стороны, — коротко ответил он.

Примерно то же мог сказать и я…

Выйдя на продуваемую со всех сторон площадку вагона, я окунулся в прохладный сырой мрак, сотрясаемый ужасающим грохотом, сквозь который прорезывался скрежет ерзавших один по другому стальных листов, служивших мостиком между вагонами. Продолжало моросить, и мелкие капельки дождя щекотали лицо, но струи воды, срывавшиеся с крыши нашего вагона, минуя меня, падали на противоположную площадку, и с такой силой, что даже в этом шуме их было слышно. Пахло мокрым железом. По бокам летели прямоугольные пятна света, слева прыгая по темным кустам, а справа — скользя по шпалам, за спиной глухо взвыл далекий паровоз. Сквозь черную мокрую ночь разогнавшийся поезд мчался на юг, к испанской границе.

Только что прочитанная развязная болтовня кровавого севильского Ноздрева, сумевшего нахрапом — в беспроигрышном расчете на трусость и беспринципность офицерской касты — захватить власть в главном городе Андалусии, на самом деле привела меня в возбужденное состояние. До сих пор сногсшибательные подробности этого детективного скетча были мне неизвестны. Все остальное, в частности сведения насчет итальянской и германской авиации, сейчас не представляло

особого интереса. Еще за месяц до того, как в «Иллюстрасьон» были помещены отрывки из донесения французского разведчика, не кто-нибудь, а сэр Персиваль Филлипс, титулованный посланец «Дейли телеграф», газеты английских тори, писал, что в начале августа на севильском аэродроме обреталось до двадцати немецких транспортных самолетов типа «юнкерс», пять немецких же истребителей с наспех закрашенными свастиками и пятнадцать бомбардировщиков «капрони» того самого образца, который недавно не без успеха применялся в Абиссинии. Телеграмма, перепечатанная многими из французских газет, отмечала сверх того, что на упомянутом аэродроме работают шестьдесят германских авиаторов и двенадцать итальянских, а также что один гитлеровский специалист обучает испанских артиллеристов обращению с последней моделью германского зенитного орудия, могущего вести прицельный огонь на высоте до семи тысяч метров. В те же дни американец Кникербокер сообщил из Испании, что одна из провинциальных фашистских газет в простоте сердечной поместила заметку о прибытии в Сарагосу четырех итальянских бомбардировщиков «савойя».

Ни для кого на свете не было секретом, что с самых первых дней мятежа в испанском Марокко начали приземляться летевшие из Сардинии муссолиниевские бомбардировщики; если же для кого и было — то перестало, поскольку меньше чем через две недели один из самолетов разбился на территории французского Марокко, чуточку не дотянув до границы испанского, а два других совершили вынужденную посадку в Алжире неподалеку от Орана. Но девять во всяком случае долетело до цели, и это они, повредив «Хайме I», изгнали республиканский военный флот из Гибралтарского пролива, и это под их защитой транспорты с войсками мятежников пересекли его и высадились в Кадисе, это они 9 августа сбросили бомбы на Малагу, 11-го — на Мериду, а 12-го на Бадахос. Но именно тогда, когда эти поистине вопиющие факты фашистской интервенции стали общеизвестны, — именно тогда и было поспешно пущено в ход пресловутое «невмешательство», опиравшееся на абсолютно, надо признать, неопровержимый постулат о том, что испанская междоусобица есть внутреннее дело самих испанцев. Крыть было, что называется, нечем. Мало кто, однако, заметил, что как раз в тот момент, когда британские дипломаты торопливо подыскивали юридические обоснования невмешательства, генерал Франко сделал патетическое заявление, в котором утверждал, что «битва, разгоревшаяся в Испании, является эпизодом великой мировой борьбы между агентурой разложения и тиранической анархии, с одной стороны, и поборниками

порядка, свободы и дисциплины — с другой». Бесспорно, этот типично фашистский треп не следовало принимать всерьез, и уж, конечно, бедненькую свободу, надежно зажатую между порядком и дисциплиной, занесло в первую декларацию Франко не от хорошей жизни. Однако тот факт, что одному из инициаторов и главарей генеральского путча за Пиренеями зачем-то понадобилось подчеркивать его международное значение, был сам по себе знаменателен. А между тем организовавшие невмешательство английские консерваторы умудрились не заметить эту симпатичную декларацию. Впрочем, они не обращали внимания и на гораздо более убедительные вещи. Вообще наследственное лицемерие правительства Великобритании — а вслед за ним и правительств других буржуазно-демократических стран — превзошло на сей раз наиболее поразившие воображение классические образцы: моментами представлялось, что все эти власть имущие господа вовсе и не притворяются, а просто-напросто утратили здравый смысл.

Правда, подобное подозрение не однажды могло возникнуть и до начала испанских событий. За последние три года — с тех пор как во вполне цивилизованном, казалось бы, государстве, где до шести миллионов голосовало за коммунистов и около восьми — за социал-демократов, к власти пришел (и притом совершенно законным путем, собрав без малого двенадцать миллионов голосов) визгливый фюрер, — часто, чересчур часто приходилось изумляться то ли непреодолимой флегме, то ли прелестной, истинно девической наивности ведущих политических деятелей Англии, а еще больше — христианской кротости и всепрощению французских правителей. Между тем даже самые толстокожие европейские обыватели, прислушиваясь к шуму и гаму, доносившимся из третьего рейха, и особенно к вырывающимся из радиоприемников припадкам ораторской эпилепсии Гитлера, начинали нервничать, да и не обывателям порой становилось вчуже страшно. Лишь сверхъестественная победа пленника над тюремщиками и разума над инстинктами, одержанная на Лейпцигском процессе, — лишь она возвратила людям утраченное равновесие, и все же, когда животрепещущие киножурналы показывали, как, одетые в полусолдатскую форму и по-солдатски печатая шаг, депутаты самой многочисленной фракции германского парламента строем входят в видавшее совсем иные виды здание рейхстага, строем расходятся по своим креслам, по команде приставляют ногу и по команде садятся, — нельзя было не испытывать чего-то вроде отчаяния. Пусть у большинства парижан столь экзотическое зрелище вызывало

неудержимый хохот, тот самый хохот, который в моем детстве афиши кинематографов, оповещавшие об очередной комедии с участием Глупышкина, именовали гомерическим. Мне же — и не мне одному, конечно, — превращение берлинского парламента в казарму и дурацкий вид шагающих в ногу народных избранников отнюдь не казался смешным. Нет, нет. Не та была комедия, и Глупышкин не тот. Уж если кумир германской армии и бог немецких мещан престарелый фельдмаршал Гинденбург, при всем своем плохо скрываемом отвращении к истеричному отставному ефрейтору с идиотским нализом на лбу и чаплинскими усишками, был вынужден назначить этого припадочного выскочку рейхсканцлером, значит, национал-социализм не глупая шутка, значит, он понадобился кому-то поважнее, чем президент Гинденбург.

С тех самых пор и пошло-поехало. Через факельные шествия и публичное сожжение вольнодумных книг, через концентрационные лагеря и барабаны, грохочущие на парадах, через кликушеские речи и хладнокровно взвешенные действия — неуклонно пошло и поехало ко второй мировой войне. В воздухе едко запахло порохом, хотя с внешней стороны все выглядело вполне благопристойно: Муссолини и Гитлер заключили с Англией и Францией невиннейший пакт согласия и сотрудничества, после чего обе державы-победительницы благосклонно согласились на восстановление германского военно-воздушного флота (а Великобритания еще и на возрождение военно-морского), а там им пришлось скрепя сердце соглашаться и со всем остальным. Как удары бича, посыпались на ошалевшую Европу разные приятные неожиданности вроде введения в третьем рейхе явочным путем воинской повинности или внезапно произведенной ремилитаризации Рейнской области и многого-многого другого.

Так и прошли эти три года.

И вдруг застрявшее в фашистской колдобине колесо истории стало со скрипом поворачиваться. Случилось чудо: слова, жарким московским летом 1935 года на разных языках произнесенные в нарядном Колонном зале бывшего Дворянского собрания, начали материализоваться за тысячи километров на запад от него. Наученные горьким немецким опытом, французские коммунисты и социалисты перед лицом общего врага еще в 1934 году договорились о единстве действий; затем произошло слияние революционных и реформистских профсоюзов. К началу 36-го года и во Франции и в Испании был создан Народный фронт. В феврале он победил на выборах в Испании, а в мае — во Франции. Наступила новая эра. В Испании народ немедленно

освободил из тюрем свыше тридцати тысяч политических заключенных, главным образом участников Астурийского восстания, после чего новым кортесам оставалось лишь проголосовать всеобщую амнистию.

Во Франции дела пошли еще веселее. Почти сразу после выборов страну охватила небывалая всеобщая забастовка, с занятием бастующими производственных помещений: от шахт и заводов до магазинов и бюро. В гигантской стачке участвовало до пяти миллионов рабочих и служащих, и под ее влиянием палата депутатов без заминки приняла законы о сорокачасовой рабочей неделе, об оплаченных двухнедельных отпусках, о социальном страховании и даже о национализации французского банка, а сверх всего и о роспуске фашистских лиг. И когда подошло Четырнадцатое июля, трудовая Франция смогла с обновленным чувством отпраздновать сто сорок седьмую годовщину взятия Бастилии.

Особенный размах празднование приняло в Париже. Двумя кортежами от улицы Риволи и от бульвара Бомарше, сливаясь на площади Бастилии, а от нее направляясь к площади Нации, под трехцветными и красными флагами весь день проходила невиданная в истории манифестация: вместе с делегациями от департаментов в ней участвовало около миллиона человек!

А на четвертые сутки после этого торжества победителей началась гражданская война в Испании.

В середине мая из поездки по Испании возвратился Эренбург, бывший тогда парижским корреспондентом «Известий». Группа левых французских интеллигентов пригласила его поделиться впечатлениями. Закрытая встреча происходила неподалеку от Сен-Лазарского вокзала в пустующем банкетном зале на втором этаже солидного кафе. Я совершенно случайно попал на нее.

С высоты заставленной нотными пюпитрами эстрады для джаза Эренбург, непринужденно раскачиваясь на стуле и засунув руки в карманы, на бойком и безошибочном французском языке, но с неожиданным сильным русским акцентом рассказывал о том, что наблюдал в стране «двадцати миллионов оборванных донкихотов», где он впервые побывал после свержения монархии в 1931 году. Теперь он мог сравнивать и потому увидел, как победа Народного фронта преобразила страну, переживающую бурную, антифеодальную и антиклерикальную революцию. Больше всего Эренбурга поразила внезапно пробудившаяся активность масс, в качестве примера он привел широко известный факт: еще раньше, чем вновь избранные кортесы успели высказаться за амнистию политических заключенных, народ в очень многих местах сам освободил их. В городе Овьедо,

например, только что ставшая депутатом Долорес Ибаррури привела к воротам тюрьмы тридцатитысячную демонстрацию. Увидев выставленные во дворе пулеметы, Пасионария отделилась от толпы, направилась прямо на них и потребовала немедленного освобождения узников. Растерявшийся тюремщик вручил ей тяжелую связку ключей, и Долорес отправилась самолично отпирать камеры, а потом вышла к ожидавшим ее людям и, сияя, объявила, что больше в тюрьме никого не осталось.

Рассказал Эренбург и о том, как во многих нищих селениях Южной Испании продолжавшие голодать и при республике издольщики, устав дожидаться аграрной реформы, откладываемой с 1931 года, распахали принадлежащие латифундистам охотничьи угодья и устроили на них коллективные хозяйства и как гражданская гвардия; печально знаменитая гуардиа сивиль, по старой привычке убивала их за это.

Говоря об успехе недавней всеобщей забастовки в Мадриде, Эренбург подчеркнул, что среди десятков тысяч мадридских пролетариев не только не оказалось штрейкбрехеров, но не нашлось ни одного мальчишки, который согласился бы доставить в отель, где жили иностранные журналисты, французские или английские газеты.

В связи с борьбой андалусских крестьян против сиятельных «канитферштанов», владеющих чуть ли не целыми провинциями, Эренбург очень кстати припомнил светловскую «Гренаду», написанную за десять лет перед тем и, казалось бы, давно переставшую звучать. Он продекламировал все стихотворение по-русски, тут же подстрочно перевел его на французский и добавил, что настоящие поэты часто оказываются пророками.

Начав читать стихи, Эренбург преобразился, насмешливое лицо стало серьезным, тонкий голос зазвучал почти патетически. Он заговорил о черной туче, нависшей над «Гренадской волостью», об угрожающей Испании фашистской опасности. Он сообщил, что крупнейший в мире контрабандист, пользующийся для перевозки беспошлинного табака собственными подводными лодками, азартный биржевой спекулянт, аферист-уголовник и богатейший испанский банкир Хуан Марч субсидирует фалангистов, и сравнил его с Тиссеном, снабжавшим деньгами начинающего Гитлера, а заодно подчеркнул, что такие опытные игроки никогда не делают ставку на проигрывающую лошадь. Обратив внимание слушателей на неофициальные совещания и встречи, за последние месяцы неоднократно происходившие в замках испанских грандов, на тайную антиреспубликанскую деятельность офицерских собраний и явную — монашеских

орденов, он напомнил о бесчисленных складах оружия, обнаруженных в церквах и во дворцах аристократов, о частых политических убийствах и повседневных покушениях на левых деятелей и — самое важное — о негласных, но несомненных связях, которые поддерживают руководители испанского фашизма с Муссолини и Гитлером. В подтверждение Эренбург сослался на то, что возглавлявший памятный монархический путч в Севилье, приговоренный за это к смертной казни и сначала помилованный, а там и амнистированный генерал Санхурхо совсем недавно околачивался в Берлине, а генерал Баррера во главе целой группы иберийских фашистских лидеров — в Риме. Словом, Эренбург бил тревогу.

Однако, как ни убедительно было его взволнованное красноречие, то пронизанное уничтожающим сарказмом, то поднимающееся до неподдельного пафоса, насыщенное остроумными сопоставлениями, парадоксальными сравнениями, лирическими набросками пейзажей и мгновенно, словно при вспышке магния сделанными портретами, — возможно, именно из-за этого литературного блеска, именно из-за инстинктивного недоверия к «красному словцу», обильно украшавшему излагаемые факты, к тому самому красному словцу, ради которого любой писатель не пожалеет не то что мать и отца, но подчас даже самое (излишне серую) истину, — я с предвзятой осторожностью отнесся к предостережениям Эренбурга: ну откуда он, в самом деле, взял, если в «Юманите» об этом ни звука?

В результате, когда два месяца спустя предсказанные Эренбургом события разразились, я, как и все, оказался к ним совершенно неподготовленным. Правда, накануне их все французские газеты стали помещать одинаково тревожные телеграммы из Мадрида, в зависимости от своего направления придавая им неуловимыми оттенками слов порой прямо противоположное освещение. Но, во-первых, немало тревожных телеграмм поступало в то время и из других столиц (из Берлина, в частности, было получено сообщение о вынесении смертного приговора Эдгару Андре и о том, что он отказался подписать прошение о помиловании), а во-вторых, невероятного размаха социальное движение, начавшееся во Франции, своими мажорными маршами заглушало отдаленные сигналы тревоги. И, любуясь титанической демонстрацией в годовщину взятия Бастилии, я не придал достаточного значения тому, что в такой торжественный день «Юманите» сочла нужным напечатать на первой полосе заметку под несколько бульварным заголовком «Драма в Мадриде» об убийстве монархиста Кальво Сотело, признанного вождя правой оппозиции, бессменно избираемого в

кортесы еще с 1919 года, когда ему было двадцать пять лет, и недавно выступившего от ее лица с откровенно провокационной речью. «Юманите» даже сопроводила заметку фотографией убитого, скорее похожего на оперного певца, чем на политического деятеля.

Ликвидация Кальво Сотело была стихийной реакцией на непрекращающиеся убийства видных антифашистов. За четыре месяца, прошедшие после выборов, фалангистские пистолеросы застрелили больше пятидесяти, а ранили около ста левых политиков и рабочих вожаков, неудавшихся покушений было еще больше, и в их числе — на без малого семидесятилетнего лидера социалистической партии и профсоюзного вождя Ларго Кабальеро. Сверх того фашисты взорвали редакцию газеты в Овьедо, совершили успешный налет на валенсийскую радиостанцию, где провели передачу, а во время парада по случаю пятой годовщины провозглашения республики открыли огонь по собравшейся толпе. Мелких же террористических актов было не счесть. В конце концов 12 июля среди бела дня на столичной улице выстрелом в спину из проезжавшего автомобиля был сражен мирно беседовавший с соседями молодой лейтенант республиканской штурмовой гвардии Кастильо, известный своим непримиримым отношением к фашистам. А на рассвете следующего дня несколько человек в форме штурмгвардейцев явились на квартиру Кальво Сотело и, предъявив ордер на арест, как потом выяснилось, фальшивый, увезли одного из трех китов испанского фашизма в неизвестном направлении. Через несколько часов те же или другие люди — по-прежнему в мундирах бойцов гуардиа де асальто — сдали кладбищенскому сторожу обнаруженный ими на пустыре труп неизвестного. Призванный священник опознал в нем бренные останки бывшего министра финансов в период диктатуры Примо де Ривера, депутата кортесов, превосходительного сеньора Кальво Сотело. Известие о его насильственной смерти до предела накалило политические страсти, и генералы, исподволь готовившие пронунсиамиенто, воспользовались удобным моментом.

В ночь на 18 июля иностранный легион, навербованная из марокканцев колониальная полиция и прочие воинские части, дислоцированные с испанского Марокко, взбунтовались и, убив преданного республике генерала Ромералеса, к утру захватили Мелилью, Сеуту, Тетуан и остальные ключевые населенные пункты, а уже 19 июля с Канарских островов, где доверчивое правительство предоставило ему командный пост, на пилотируемом капитаном британских военно-воздушных сил английском аэроплане в Тетуан перелетел один из главарей

заговора — генерал Франко. Восстание немедленно перекинулось в собственно Испанию. Казалось, все было кончено.

Однако сквозь невообразимую путаницу поступавших из Мадрида и Барселоны сообщений, сквозь солдафонское бахвальство мятежников, сквозь сенсационные статьи захлебывающихся от прямо противоположных чувств бесчисленных собственных корреспондентов, уже через трое суток выкристаллизовался обнадеживающий вывод: в целом мятеж потерпел неудачу. Несмотря на то что за малым исключением в нем приняло участие все кадровое офицерство, а за офицерами пошла и основная масса приученных к слепому повиновению солдат, несмотря на то что к мятежникам присоединились почти вся без изъятия гражданская гвардия, привыкшая верой и правдой служить королю и поставленному им диктатору, целиком вся полиция и даже значительная часть сформированной при республике и считавшейся ее опорой штурмовой гвардии; несмотря на то, наконец, что на стороне восставших были и внезапность, и военная организованность, и умение обращаться с оружием, не говоря уж о молитвенном, да и более эффективном соучастии двухсоттысячной рати монахов и попов, несмотря на все это, мятежу не удалось достигнуть намеченной цели — повсеместно захватить и удержать власть. В назначенные сроки фашисты безраздельно господствовали лишь в испанском Марокко, а также на Канарских и Балеарских островах. Но в метрополии, кроме небольшого (хотя и немаловажного) плацдарма на юго-западе, включавшего в себя Севилью и — что гораздо серьезнее — ближайший к Марокко порт Кадис, да двух незначительных участков, с Кордовой и Гренадой посредине, мятежникам удалось по-настоящему совершить переворот только на полосе, простирающейся от португальской границы до французской и охватывающей несколько провинций с такими, правда, городами, как Бургос, Саламанка, Вальядолид и Сарагоса. Но зато в Мадриде, Барселоне, Бильбао и в большинстве других промышленных и культурных центров, после беспорядочных и ожесточенных уличных боев, восставшие оказались биты вооружившимся народом или осаждены в казармах, крепостях и монастырях, причем больше двух третей территории страны осталось под контролем правительства. Кроме того, заговорщиков постигла полнейшая неудача в расчете заполучить на свою сторону военно-морской флот: матросы всех предусмотрительно выведенных из гаваней и приведенных в боевую готовность кораблей в ответ на призыв к восстанию побросали офицеров за борт и подняли республиканские флаги, а если учесть, что мятеж увенчался безусловным успехом лишь в заморских владениях,

неприсоединение к нему флота было прямо-таки фатальным. Малочисленная и устаревшая авиация в массе своей тоже не поддержала генеральское пронунсиамиенто.

Но едва стало очевидным, что вся авантюра срывается, что сформированное в ответ на восстание новое правительство, опирающееся не столько даже на большинство в кортесах, сколько на вооруженные народные массы, сможет ликвидировать изолированные очаги восстания, — как на спасение просчитавшегося испанского генералитета бросился международный фашизм.

Не было ничего удивительного в том, что Муссолини проявлял живейший интерес к стратегическим возможностям Балеарских островов и некоторых средиземноморских портов Испании, так же как не было ничего неожиданного и в плохо маскируемом внимании Гитлера к омываемым Гибралтарским проливом берегам Африки или к прилегающей по восточным склонам Пиренейских гор неукрепленной французской границе, которую еще Бисмарк мечтал превратить в «горчичник».

Но, кроме означенных причин, вполне объясняющих отеческое попечение дуче и фюрера о первых неумелых шагах их испанского детища, имелось еще и другое, имелась еще и всефашистская солидарность перед общим врагом. Ведь с победой Народного фронта в Испании и во Франции не только приходил карачун всяким там фалангистам, рекете, круа де фё, камло дю руа и прочим муляжам чернорубашечников и национал-социалистов, — с укреплением в двух западных столицах правительств, поддерживаемых прочным антифашистским парламентским большинством, возникала реальная угроза фашизму вообще и фашистским режимам в частности. Нескрываемая ненависть идеологического происхождения и тщательно скрываемая вполне практическая опаска подталкивали к действию Муссолини, Гитлера и в особенности Салазара ничуть не в меньшей степени, чем их врожденные империалистические вожделения. Все это было так очевидно и так закономерно, что не возбуждало повышенного негодования, разве лишь чисто гангстерская наглость, с какой оный общефашистский фарс осуществлялся, вызывала легкую оторопь. Что действительно возмущало, что ввергало одновременно и в бешенство и отчаяние, это лебезящая уступчивость, покорная робость, проявляемые крупной европейской буржуазией перед хамской напористостью фашизма. Всемогущие правящие слои великих держав, нисколько, казалось бы, не стыдясь, демонстрировали свою полнейшую растерянность, больше того — свою трусость перед его развязной и грубой настойчивостью.

Но откровенная эта трусливость была лишь внешним прикрытием гораздо более сильных чувств: под ней таился патологический страх перед поистине катастрофическим сдвигом влево испанских и французских избирателей, перед впервые в истории осуществленным политическим единством всех получающих заработную плату. И хотя недавние полновластные хозяева Европы пугливо вздрагивали, когда Гитлер или Муссолини замахивались на них, но при мысли об эпидемической заразности социальной революции, похоже что начавшейся в ответ на фашистский мятеж за Пиренеями, они буквально содрогнулись от ужаса. Именно под влиянием классовой паники не только консервативное английское правительство, но и пошедшее у него на поводу, хоть и возглавляемое социалистом, французское — предали единственно законное и дружественное правительство Испании, а одновременно и национальные интересы собственных стран.

Чтобы сделать такое предательство возможным, капиталистам необходимо было обмануть свои народы, соответствующим образом обработать их, запутать, запугать и в первую очередь вколотить клин между пролетариями и мелкими собственниками, вступившими в опасный союз против монополий. На такую «набивку черепов» были мобилизованы все силы и средства: печать, радио, кино. Однако первое время, пока глаза зрителей и уши слушателей не приобвыкли, приходилось действовать осмотрительно, заводить речь издалека, благо прямые соучастники пиренейского фашизма принялись обманывать обывателей заблаговременно, сразу же после победы испанского Народного фронта. Уже в марте известнейшая парижская газета аршинными буквами оповестила своих читателей о прибытии в Мадрид самого Бела Куна, которого благомыслящие буржуа еще со времен Венгерской советской республики считали главным специалистом по экспорту «мировой революции». Потрясающая новость была немедленно подхвачена крупнейшими информационными агентствами, переведена на все языки и миллионными тиражами распространена по земному шару, тогда как последовавшее из Мадрида опровержение министерства внутренних дел и даже остроумное интервью, полученное у Бела Куна в доме отдыха на Крымском побережье неким предприимчивым газетчиком, попали лишь в левую печать. Единственно, чем всемирному рантье, встревоженному испанскими гастролями Бела Куна, оставалось себя утешать, это дельными соображениями другой французской газеты, утверждавшей, что даже при вмешательстве Бела Куна опасность большевистской революции в Испании не следует

преувеличивать, поскольку загадочная «âme slave»[17] и бурный открытый «tempérament espagnol»[18] слишком уж несоединимы. Логическим выводом из особенности испанского темперамента было свойственное всяческой реакции во все времена объяснение любых внутренних бед происками внешнего врага. И потому естественно, что в начале июля вся так называемая информационная пресса на двунадесяти языках пропечатала соборное послание испанских епископов, где среди прочего указывалось, что «диавольская ненависть» ко святой католической церкви, начавшая при попустительстве безбожного правительства распространяться среди подонков городских окраин, пришла в Испанию из России, «импортированная в цитадель христианской цивилизации жителями востока, с их погрязшим в низменных заботах мышлением». Примерно тогда же кто-то из главарей испанских монархистов, чуть ли не Хиль Роблес, выступая в кортесах, во всеуслышание объявил, что Испанию погубят «Советы и франкмасоны», и сие важное открытие тоже было немедленно разнесено по белу свету.

Если подобная чушь в несчетном числе экземпляров сходила с ротационных машин и до отказа заполняла эфир еще в сравнительно мирное время, то после мятежа кампания усилилась во сто крат. Конечно, когда придворный орган фашиствующего короля косметики Коти, демагогически присвоивший название газеты Марата «Друг народа», лез из кожи, чтобы оправдать «восстание испанских патриотов против большевистской тирании, мечтавшей советизировать нашу великую латинскую сестру», — это было в порядке вещей. Но ведь от всех этих «Ами дю пёпль», «Аксьон Франсез» или дориотистской «Либерте» не отставали и вполне приличные органы, претендовавшие на объективность. С подчеркнутой лояльностью помещая рядом сводки обеих сторон, они, однако, упорно предпочитали статьи собственных бургосских корреспондентов статьям барселонских или мадридских — последним всегда отводилось меньшее число строк. Кроме того, все присланное из Бургоса должно было пробуждать в читателе радужные надежды, а все, что доходило из Мадрида, — отвращение и ужас. По утрам первые полосы радовали читателей утешающими аншлагами: «Испанская трагедия подходит к концу», или «Конец междоусобицы — вопрос дней», или еще более оптимистично: «Близкая победа» («Близкая победа? — переспросил нас поседевший в сражениях генерал Кабанельяс, один из главных героев доблестного восстания. — Нет, сударь, мы уже победили! — энергично возразил он. — Пусть генерал извинит, что мы позволили себе сохранить наше заглавие, под

ним мы постараемся доказать, что победа действительно близка…»).

Проповедь, произнесенная в Риме удалившимся туда от невзгод гражданской войны высокопреосвященным архиепископом Толедским — и не только высокопреосвященным, но и высоко просвещенным, читавшим если не Достоевского, то, на худой конец, Мережковского и потому объявившим, что в Испании «столкнулись две противоположные идеи: идея России, представляющая собою не что иное, как новую форму варварства, и христианская идея, Христос и Антихрист воюют на нашей земле», — подлила лампадного масла в костер священного негодования клерикалов всех мастей. В соответствующие органы посыпались протесты против «избиения клира и осквернения церквей», совсем как это недавно происходило по другому адресу, недаром во Франции союз священников, участников войны 1914—1918 гг., выражал свое негодование по поводу «зверств безбожников в Испании», напоминая, что «мы уже протестовали в свое время против массовых убийств христиан в России и в Мексике…».

Вообще в этом случае газетные заправилы проявляли необыкновенную оперативность и в нужный момент находили нужную тему. Едва догорели церкви и монастыри, с колоколен которых мятежники вели пулеметный огонь, и едва стало известно о вооруженном вмешательстве в испанские дела Муссолини и Гитлера, как одно английское агентство выпустило в качестве противовеса «полученную из самых достоверных источников» новость о доставке в Испанию 200 советских самолетов и какого-то неправдоподобного числа танков. К сожалению, эта новость не только не подтвердилась, но была тут же опровергнута правительством Ларго Кабальеро.

Среди любых доступных методов обработки читательского сознания печать и радиовещание подчас использовали весьма тонкие психологические приемы. Так, они с незаметной постепенностью произвели полезную словарную модификацию, поставив сначала вместо предосудительного термина «мятежники» более приличное определение «повстанцы», заменив его в свою очередь почтительным «националисты». А тут же рядом, под нос общественному мнению, непрерывно подсовывалось пугало «коммунистической опасности».

Временами казалось, что вся эта пропаганда заранее согласована за кулисами со взбунтовавшимися генералами. Недаром первое программное заявление Франко, переданное сеутской радиостанцией сразу же после очищения испанского Марокко от республиканской скверны и физического

уничтожения всех «красных» во главе с как кур в ощип попавшим в их число бедным генералом Ромералесом, было выдержано в самом возвышенном духе, но на ту же заданную тему:

> «Державы Западной Европы, следуя своим благородным традициям, — льстиво заклинал Франко, — так же, как сама Испания, больше не хотят, чтобы испанские интересы подчинялись контролю и приказам Москвы. Вот почему в разных местах Иберийского полуострова народ восстал против коммунистических махинаций, приносящих огромный вред живым силам нашей возлюбленной Испании…»

Правда, уже через несколько дней, получив обещанную щедрую помощь от своих римских и берлинских покровителей, Франко обнаглел и в интервью, данном представителю «Ньюс Кроникл», заговорил уже отнюдь не заискивающим тоном: «Я спасу Испанию от марксизма любой ценой, — пообещал он. — Европа должна понять, что Испания не хочет быть второй коммунистической державой». — «Даже если придется расстрелять половину ее жителей?» — вопросил въедливый английский либерал. «Я повторяю: любой ценой…» По понятным причинам эта, по меньшей мере, беспредметная (программа испанского Народного фронта не содержала ни единого намека на хотя бы отдаленную возможность построения социализма), но выразительная беседа не была доведена до сведения широкого читателя, так же как еще более сочный монолог офицера из ближайшего окружения генерала Франко, произнесенный перед открывшим рот корреспондентом «Чикаго Дейли Ньюс». Свирепая болтливость подчиненного не только шла гораздо дальше, чем рассуждения его шефа, но выражала такой клинически-средневековый, такой феодальный образ мыслей, проявляла такое воистину олимпийское высокомерие, что в профилактических целях этот оголтелый манифест аристократизма следовало бы расклеить на всех заборах Европы, как-никак уже довольно давно совершившей буржуазную революцию.

> «Нам придется перебить треть населения Испании, — эпически произнес одетый в хаки штабной гранд. — Гигиена, канализация и прочие результаты псевдонаучного прогресса появились в нашей стране в эпоху, когда высшие классы не были достаточно сильны, чтобы поддерживать истинное величие Испании… В добрые старые времена, до распространения канализационных устройств, крысы вроде Ларго

> Кабальеро не могли не погибнуть, их истребили бы стихийные бедствия и эпидемии. А теперь этим вынуждены заняться мы — истреблением всех, сколько ни есть, крыс, голосовавших за республику…»

Таким образом, по мнению надменного сподвижника генерала Франко, самая подача голоса — и не за Народный фронт даже, а просто за Республику — являлась преступлением, караемым смертью. Однако на подобных простыням страницах большинства европейских газет, выходивших громадными тиражами, не нашлось места для этого красочного высказывания. Они предпочитали отводить свои столбцы не приевшимся с 1918 года «зверствам красных…».

Но что оказалось настоящей находкой для большинства редакций, подлинным газетным бумом — это осада толедского Алькасара. Миллионы сердобольных мамаш и добродетельных девиц проливали горючие слезы над печальной участью благородных юношей, которые, презирая нестерпимый голод и невыносимую жажду и смиренно поручив себя покровительству Пресвятой Девы, предводительствуемые своими почтенными наставниками, стойко держались в ветхих развалинах древнего замка, осажденного кровожадными ордами безбожников.

По возвращении из Мадрида Жан Ришар Блок, выступая как-то утром до начала первого сеанса в убогом кино XIV аррондисмана (округа) перед местным комитетом помощи Испании, назвал историю с толедскими кадетами величайшим достижением буржуазной пропаганды.

> «Даже мы с вами, — сказал он, — втайне жалели этих бедных молодых людей из приличных семейств, так мужественно переносящих продолжительную осаду со всеми ее лишениями. А ведь уж нам-то с вами следовало бы вспомнить, что генеральский путч начался восемнадцатого июля, то есть в разгар летних каникул, которые эта милая молодежь проводит, конечно, не в душном городе, а на модных морских курортах или под сенью родительских поместий».

И действительно, когда войска «националистов» вошли в Толедо (а впереди всех в него ворвались Первый табор марокканских наемников во главе с сыном шейха, бывшим воспитанником Алькасара, майором Мохаммедом Эль Мисаали и Пятая бандера иностранного легиона, предводительствуемая другим «чистокровным испанцем» — капитаном Тиденом, которого агентство «Гавас», ничтоже сумняшеся, наименовало

«германским националистом») и вызволили 1600 человек, выдержавших осаду за массивными стенами крепости, среди них алькасарских кадетов, или, как их правильнее называть по-русски, юнкеров, оказалось всего лишь 8; зато жандармов было 600, офицеров разных родов войск — 150, учеников армейской гимнастической школы — свыше 150, фалангистов — 60, фашистов прочих мастей — 31 и даже еще 15 каких-то «независимых». Остальные — немногим менее шестисот — были женщины (некоторые с детьми), причем значительная часть насильственно уведена в виде заложниц из ближайших к Алькасару кварталов.

Само собой понятно, что накопление в подвалах замка оружия и продовольствия производилось заблаговременно и продолжалось вплоть до самого мятежа. Один из героев, отсидевшихся за несокрушимыми стенами, выложил журналистам подтвердившую это характернейшую деталь:

> «Подготовляясь к восстанию, мы захватили с толедской оружейной фабрики миллион патронов, которые восемнадцатого июля правительство с опозданием приказало отправить в Мадрид».

Трудновато осажденным приходилось только с водой, трудновато, но не катастрофично, ибо когда дипломатический корпус, выступивший посредником, предложил выпустить из Алькасара женщин, детей и глубоких стариков, гарантируя их безопасность, командовавший бунтовщиками полковник Москардо отказался даже вести переговоры. Поскольку ни от голода, ни от жажды находившиеся в осаде не умирали, общие их потери, если учесть, что она длилась два месяца, были ничтожны. Впрочем, в какой-то газете мне однажды попалась заметка, с прискорбием сообщавшая, что в Алькасаре пал смертью храбрых от шальной пули доблестный офицер, отличившийся в 1934 году при подавлении астурийского восстания. Мне еще подумалось, что пуля, видно, была не совсем шальная и нашла виновного, — ведь в Астурии офицер мог отличиться только жестокостью…

Конечно, вскоре после того как Первый табор «регуларес» и Пятая бандера «терсио» пронеслись по разрушенным толедским улочкам и, освободив жандармов, перекололи всех до единого оставшихся в госпитале раненых республиканцев, а заодно сестер, санитаров и врачей, трогательная легенда о цвете испанского юношества, готовившегося безропотно положить животы своя на алтарь отечества, была за изношенностью и ненадобностью немедленно забыта. И тогда освободившиеся авторучки поспешно занялись новой актуальной темой: они принялись сдавать

Мадрид.

Уже 24 сентября бургосский корреспондент «Тан» закончил статью следующими пророческими словами: «И в заключение, — столица еще не взята, но ее падение не вызывает никаких сомнений…» С его легкой руки не вызывающее никаких сомнений падение испанской столицы вызвало в мировой прессе нечто вроде перемежающейся лихорадки. Сегодня Мадрид брали — самым крупным шрифтом — утренние лондонские газеты, завтра — вечерние парижские, послезавтра — выходящие в полдень женевские или брюссельские. Затем они поочередно печатали петитом опровержения, и все начиналось сначала; с той лишь разницей, что на сей раз первой сдавала Мадрид желтая пресса Парижа, потом — Брюсселя и, наконец, — Лондона. Так продолжалось не одну неделю, и в результате самые уравновешенные люди потеряли голову, не знали, кому верить, и уж во всяком случае считали положение Мадрида безнадежным.

А тем временем безупречные джентльмены в визитках и серых брюках в полоску продолжали разыгрывать трагикомический фарс невмешательства.

Ведь неофициальной задачей комитета был выигрыш времени, необходимого для того, чтобы дикая дивизия из марокканцев, иностранный легион и регулярная армия, предводительствуемые лучшими испанскими генералами, успели задушить безоружную республику Народного фронта, — а никто не сомневался, что это произойдет очень быстро.

Таким образам, сам по себе бесспорный принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства был ловко использован в поддержку мятежников, так как страны, готовые на законных основаниях продать оружие законному испанскому правительству, в первую очередь СССР и Франция, вынуждены были отказаться от этого, поскольку комитет по невмешательству большинством голосов признал — и это была его главная передержка — такую поставку оружия вмешательством. Зато Италия и Германия, тянувшие со вступлением в комитет, сверхсрочно гнали мятежникам все, что им было нужно, и только когда подбросили, как им казалось, вполне достаточно современного вооружения, явились в Лондон, где с места в карьер, ссылаясь на, увы, тогда еще мнимую советскую помощь Испанской республике, потребовали блокады ее морских и сухопутных границ. А в то же самое время фашистская Португалия отказалась иметь какое-либо дело с вышеупомянутым комитетом, и никто на свете не мог ее образумить, никто — ни Гитлер, ни Муссолини, ни даже сам мистер Иден, хотя и воробьям в Лиссабоне надоело чирикать о

том, что Салазар — английский ставленник, а салазаровская Португалия — что-то вроде британского протектората. Вскоре независимый Салазар — первый в мире — признал генерала Франко и окружавшую его кучку заговорщиков, осевших в Бургосе, в качестве испанского правительства и категорически отверг оскорбительное предложение о контроле испано-португальской границы, и опять никто ничего не мог сделать, и вся Европа во главе с Англией виновато виляла хвостом, и путалась, и лгала, и одну за другой произносила в Комитете по невмешательству прекрасно составленные речи, которыми господа дипломаты пытались заговорить льющуюся в Испании кровь.

А в парижских синема после того, как из огромной, на весь экран, подковы, сотрясая косматой гривой, рявкал дрессированный лев, если демонстрировалась хроника «Метро Голдвин Мейер», или, выгибая шею, кукарекал галльский петух, если то была хроника «Пате-Натан», можно было своими глазами увидеть эту кровь. Можно было увидеть, как человек десять солдат в стальных касках, держа винтовки на изготовку, окружают одноэтажный белый домик с развороченной снарядом черепичной крышей и сорванной с петель дверью, как, проникнув в дом, они выводят оттуда поднявшего руки небритого человека в белых полотняных тапочках и, уткнув ружейный ствол ему в спину, гонят за угол, и вот уже неподвижные худые ноги в полосатых штанах упираются веревочными подошвами прямо в зал, а наклонившийся над расстрелянным солдат в накидке выворачивает пустые его карманы. А вон кучка крестьян в баскских беретах, сгрудившись за каменной оградой, стреляет поверх нее из охотничьих двустволок, и вдруг в нескольких десятках метров от них встает на экране черный султан разрыва, и они, испуганно оборачиваясь, убегают, а один отстает и, закинув свое ружьишко за спину, освободившейся рукой хватается за левое предплечье, и сквозь пальцы проступает густая черная жидкость. Но пока успеваешь сообразить, что это кровь, на экране уже возникает длинный и узкий каменный мост. По нему, окруженные цепляющимися за подолы детишками, спешат, волоча и поддавая коленями громоздкие узлы с вещами, две толстые женщины. За ними, наклонившись вперед, как бурлак на репинской картине, старуха с растрепанными белыми волосами тянет на перекинутой через плечо веревке упирающуюся козу, и видно, как пулеметная очередь хлещет по парапету, и два парня, согнувшись в три погибели и держа карабины ниже колен, обгоняют старуху с козой, бросаются плашмя на пешеходные дорожки по бокам моста и, упираясь носками раздвинутых

башмаков, начинают стрелять, и башмаки дергаются при отдаче. Постреляв, парни вскакивают и, пробегая мимо оператора, должно быть прячущегося за уступом возле указателя с надписью «Ирун» и направленной вдаль стрелкой, в виде оправдания показывают пустые затворы. Миг, и мост исчезает, и темнолицые люди в тюрбанах, с приткнутыми к винтовкам тесаками, подводят к кирпичной стенке человек двадцать понуривших головы полураздетых молодых людей; они попарно привязаны за кисти рук к одной и той же веревке, конец которой держит идущий сзади седобородый, горбоносый, увешанный медалями служака с тремя нашивками на чалме. На секунду показывается балкон со свисающим с него ковром, толпа под балконом и какой-то длинный, худой, дергающийся, будто картонный паяц, военный, с маленькой, как у змеи, головой, что-то кричит оттуда — это и есть Кейпо де Льяно.

Но мы уже опять в республике, и по асфальтированному шоссе вихрем проносится легковая машина с развевающимся над радиатором большим флагом. А за ней — словно ожила одна из бесчисленных картин, изображающих бегство святого семейства в Египет, — торопливо перебирающий тонкими ножками ослик несет между двух плетеных корзин молодую крестьянку с младенцем, а рядом вышагивает сгорбленный старец в кепке и с одеялом на плечах; сзади вереница других беженцев, уходящих от наступающего врага в Мадрид. И вот он сам перед нами: город-герой, и люди на его улицах, тревожно смотрящие вверх, и над острыми крышами туча от взорвавшейся авиабомбы, а на центральной площади огромная воронка с вывороченными внутренностями канализации, окруженная мрачной толпой, и рухнувший шестиэтажный дом, от которого осталась только одна стена, и пожарные, гасящие пожар, и санитары, копошащиеся в развалинах, — и прямо на нас несут только что отрытый трупик девочки с грязным лицом и повисшими, как у тряпичной куклы, руками и ногами. И глядя на нее, можно лишь ерзать в кресле, и стискивать зубы, и бессильно сжимать кулаки. Никто ничего не делал, никто ничем не желал помочь. И на это — верно сказал Ганев — больше невозможно было смотреть со стороны. Оставалось одно: самому броситься на помощь.

5

Раскрыв глаза, я с удивлением обнаружил, что уже рассвело. На сыром сквозняке площадки меня в конце концов прознобило; возвратясь в надышанное купе, я незаметно забылся и умудрился, выходит, крепко проспать весь остаток ночи.

За грязным стеклом небо, освободившееся от туч, вверху просвечивало оранжево-розовым, ниже становилось сиреневым, а еще ниже оставалось темным и тонуло в молочном тумане. Вынырнувший из него до пояса курчавый лес тоже отсвечивал розовым. Порозовели и виноградники, веерами расходящиеся по склонам холмов. Вдоль железнодорожного полотна тянулась протоптанная в траве тропинка, на ней кое-где блестели лужи. Солнце всходило где-то слева и сзади. Освещенные им облака паровозного дыма, опускаясь и попадая в тень поезда, бледнели, цепляясь лохмотьями за траву, и бесследно растворялись в ней.

Мои попутчики кто уже проснулся, а кто просыпался, зевая и потягиваясь. Лица у всех были помятые, глаза покраснели, лишь Троян сохранял пробивающийся сквозь смуглоту румянец. Пока я спал, кто-то зябкий закрыл остававшуюся в окошке щель, и воздух стал, словно в нем сушили портянки. Я подергал набухшую от вчерашнего дождя раму, рывками опустил ее, и душистое влажное утро ворвалось к нам.

Открылась дверь, и бледный от бессонницы Ганев приветливо пожелал доброго утра. Ответили ему довольно дружно. За Ганевым в раскрытой двери появился Дмитриев. Он прошел к окну и, заслонив его, облокотился на раму.

— Помыться негде, — объявил он через плечо. — Гальюн третьего класса: одна дыра, умывальника нету.

Дмитриев снова уткнулся в окно. Сквозь усилившийся, с тех пор как оно было открыто, грохот колес послышался мелодичный свист. Дмитриев насвистывал мотив дидактического и двусмысленного припева модной во времена мировой войны шансонетки об истребителе, наскочившем на мину, храбром мичмане Джоне и Кэт из Сан-Ремо. «Ты будешь первым. Не сядь на мель. Чем крепче нервы, Тем ближе цель…» — высвистывал Дмитриев.

— Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела, — недружелюбно заметил Иванов. — Тоже мне соловей-разбойник… Голос-то соловьиный да нос воробьиный, — кинул он вслед отошедшему от окна и пробиравшемуся к себе Дмитриеву.

— Кран… там есть… Воды… во что набрать… найдется… Умыться… можно… на площадке… Один другому… сольет, —

предложил Чебан. — Давай… товарищ Ди… Димитриев…

Он достал из-под скамейки эмалированный чайник, а из висевшего на крючке пиджака сложенное вчетверо не слишком чистое полотенце с завернутой в него целлулоидной мыльницей и вышел вместе с Дмитриевым, на этот раз не поправившим его. За ними не спеша собрались Ганев и заспанный Остапченко.

— Чистота — залог здоровья, — заговорил Иванов. — Ладно, умыться мы, предположим, умоемся. А вот что шамать будем, подумали? Вечером-то на радостях все запасы в один присест подлизали. Выходит, дальше ехать натощак? Кому как, а мне натощак не улыбается. Лишь поп да петух не жравши поют. И курево, верно, у всех подошло…

Стоило ему произнести сакраментальное слово, как не осознанное спросонок желание курить сразу сделалось почти непереносимым. Будто почувствовав это, Юнин порылся в своей торбе, тронул меня локтем и протянул голубой пакетик, на котором был неряшливо напечатан галльский шлем с крылышками.

— Имею синенькие. Сильвупле. Закуривай, друг, коли хочешь.

Его «синенькие», дешевые, но зверски крепкие сигареты, какие курит каждый уважающий себя французский рабочий, были не по мне. Правда, если верить умным людям, я просто-напросто не дорос до «голуаз блё». Так или иначе, но у меня от них першило в горле, саднило в груди и после нескольких затяжек начиналась изжога, да и запахом они больше всего напоминали соломенный тюфяк. Такой заядлый курильщик, как Эренбург, когда не сосал трубку, предпочитал их всем остальным: должно быть, эти самые «голуаз блё» напоминали ему голодную монпарнасскую молодость. Все знали также, что, с другой стороны, и начавший свою карьеру крайне левым депутатом от рабочего предместья Парижа прожженный политикан Пьер Лаваль уже и после того, как грязно разбогател, заделался крайне правым сенатором и фашиствующим премьер-министром, единственно в чем сохранил верность идеалам юности — продолжал курить вульгарные «голуаз блё». Не знаю. Может быть, я и в самом деле не дорос, но мне пристрастие к ним казалось снобизмом. Однако сейчас выбирать не приходилось: сжав губами сухую безвкусную сигарету, я щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся.

— Французская махорка, — повторил я слышанный ранее отзыв и закашлялся.

Иванов иронически взглянул на меня.

— Нечего сказать, знаток. Сравнил хрен с пальцем. Ты, верно,

махорки и не нюхивал?

— Не приходилось.

— То-то и оно. Махра, брат, штука преособая, ни на что не похожа. Да и махорка махорке тоже рознь, иной раз попадется с таким ароматом, что за версту расчихаешься. И горит здорово. Как уголья. В мороз морде жарко. Неделю покурил, смотришь: вся шинель пропалена. А эти что: поминутно гаснут. То и знай спичками чиркай. — Он небрежно вытащил из юнинской пачки сигарету, прикурил от моей и, выпуская дым носом, презрительно определил: — Пахнет сеном над лугами…

В узком проходе между дверным проемом и углом уборной, растирая небритые щеки мохнатым полотенцем, опять возник Дмитриев, брюки его были залиты водой. Иванов критически осмотрел его с головы до ног.

— Твой видик напоминает мне известный кавказский анекдот. Ехали это, значит, на минеральные воды, вот как и мы в третьем классе, одна девица и пожилой армянин. Вечером отлучился он на время из купе, сказал, что пойдет на площадку посмотреть, какая погода. Ну, в общем, скоро возвращается. Девушка и спрашивает: «Что, разве дождь идет?» А он посмотрел на свои штаны и отвечает: «Зачем, баришня, дождык, это вэтер!»

Юнин подумал-подумал и залился своим визгливым смехом…

Умывшись ледяной водой, мы все приободрились, но, судя по направлению, которое постепенно принимал разговор, вместе с окончательным пробуждением в каждом из нас пробудился и голод. Под его настойчивым воздействием даже тихий Остапченко возвысил голос и предложил «собрать вече». Порешили взыскать по двадцать франков с человека и на первой же продолжительной остановке снарядить кого-нибудь за фуражом.

— Сходим мы? — предложил Иванов Трояну.

— Можно, Николай, — согласился велеречивый Троян.

На том и договорились. Не успели Иванов и Троян расчесать мокрые волосы, почиститься и пересчитать деньги, как поезд заметно сбавил скорость, что он делал, лишь приближаясь к большим станциям. Троян закинул брезентовый мешок за плечо.

— Приехали с орехами, — констатировал Иванов, взял пустую юнинскую торбу, и оба направились к выходу.

— Берегитесь, ребята… не отстаньте… — озабоченно напутствовал их Чебан.

Среди позолоченных солнцем тополей замелькали черепичные крыши одноэтажных домиков. За окном, гремя стрелками, разбегались подъездные пути. Потянулись

нескончаемые товарные составы. Чебан поднялся, чтобы проводить наших фуражиров. Он вернулся, едва только поезд, дернувшись, остановился.

— Стоянка, сказали… пятнадцать минут… ничего… успеют… Названия все же… не рассмотрел. Встречный… там загораживает…

— Попить охота. Пива-то достанут? — поинтересовался Юнин.

— Тут пива не купишь. Это тебе не Эльзас, да и не Париж. Здесь Бургундия, самая что ни на есть винная сторона, — возразил Ганев.

— У нас в Эльзасе вина тоже хоть залейся. — Юнин явно обиделся за родной Эльзас — Однако кисло. Пиво все лучше.

— Подожди. На фронте и воде из лужи не нарадуешься, — обнадежил Дмитриев.

— Сколько… прошло уже… как стали?.. Посмотри… Леша.

— Я точно не заметил. Минут десять.

— Больше… боюсь…

За окном товарный состав медленно и бесшумно тронулся навстречу. Когда проползло вагона два, под нами что-то стукнуло. Вагон скрипнул. Двигались мы. Чебан выскочил в коридор, сдавленно выкрикнув:

— Ребята… где?..

Под ногами снова брякнуло на стыке. Долетело частое пыхтенье забуксовавшего паровоза, потом он рванул, и мы быстро покатили. Чебан вернулся с перепуганным лицом.

— Опоздали!.. — Он не сел, а упал на скамейку.

Дмитриев присвистнул.

— Плакал наш завтрак.

Ганев бросил на него недовольный взгляд, но ничего не сказал, а ласковым своим жестом погладил Чебана по руке.

— Никуда они не денутся, — успокаивал его и Остапченко. — В другой вагон влезли, сейчас придут.

— Сейчас, положим, не придут, — возразил Ганев, — по третьим классам сквозной проход не повсюду. На станции прибегут.

Поезд уже выбрался за последнюю стрелку и шел по ярко-зеленой долине. Ее обступали высокие, засаженные виноградниками холмы. Чем дальше, тем они становились выше и на горизонте переходили в горы.

Юнин безмолвно сунул Остапченко пачку с «синими», и она пошла по рукам. Все, кроме Чебана, закурили. Без удовольствия вдыхал я будто наперченный едкий дым. Ничего съедобного ни у кого не осталось, и все с нетерпением ждали следующей

остановки. Как назло ее долго не было; поезд прогрохотал мимо полустанка и бойко бежал по залитым солнцем полям. Мы миновали несколько поселков, пересекли асфальтированное шоссе со столпившимися за шлагбаумом автомобилями, обогнули торчащую среди причесанных виноградных холмов голую серую скалу с кубиками древней церкви на вершине, а поезд все не останавливался. Наконец заскрежетали тормоза, он замедлил бег и вдруг круто, весь хрустнув, стал, не доехав до станции. Я выглянул в окно. Впереди виднелся закрытый семафор. Снаружи было почти жарко. Где-то рядом, невидимый в густой траве, распевал жаворонок, не желавший считаться с тем, что наступила осень. На ступеньках в переднем конце вагона сидел тот же самый парень, которого я наблюдал при отъезде из Парижа; сейчас он был без кепки, и теплый ветер трепал его длинные черные волосы. Прошло несколько минут. Семафор передернуло, и мы поехали. Мне пришло в голову, что за это время Иванов и Троян прекрасно успели бы пересесть. Наверное, побоялись рассыпать продукты.

Станция была недалеко от семафора, но мы приближались к ней черепашьим шагом и, не поравнявшись с платформой, опять остановились. Чебан рванул дверь и бросился в тамбур. Поезд постоял-постоял и двинулся дальше. Чебан вернулся один. Вид у него был измученный, казалось, он на глазах худел.

— Нету… пропали… — хрипло выговорил он.

— Смылись, понятно, — безапелляционно заявил Дмитриев.

Юнин даже подпрыгнул:

— В каком то ись смысле? Нарочно, что ль?

— А то нечаянно. Не грудные они детки, чтобы на поезд опоздать, часы у этого трепача на руке.

— Думаете… изменили?.. — упавшим голосом спросил Чебан.

— Зачем употреблять громкие выражения? Я предполагаю, что они, если так можно выразиться, своевременно ушли в кусты. А почему бы и нет? Разве можно за каждого поручиться? Что касается меня, то должен сознаться, что во мне этот ярмарочный зазывала всегда вызывал антипатию. Жалко, наши сто двадцать франков ухнули, даже больше: многие еще и на папиросы прибавили…

— Ваших всего двадцать, бывший мичман Дмитриев, — сухо прервал Остапченко, — их и жалейте. Сто двадцать во всяком случае никак не получается: сорок их собственных вычесть должно. И вообще, не надо спешить с заключениями и наговаривать на людей. Иванов и Троян опоздали на поезд: это бесспорно. А вот почему, нам пока неизвестно. Может быть, их

полиция задержала.

Чебан, уцепившийся за край скамейки обеими руками, сжал их так, что суставы побелели.

— Плохо… если полиция… Если сами… того хуже… Если полиция… как бы до нас… не добрались… По телеграфу…

— Не стоит, Семен, на кофейной гуще гадать, — посоветовал Ганев. — Происшествие, что и говорить, не из приятных. Как ни поверни, а два человека за бортом. Но я поддерживаю вон товарища, — он кивнул на Остапченко. — Воздержимся от скоропалительных выводов, раз нам не известны факты. А пока подождем следующей станции.

Но и на следующей остановке Троян с Ивановым не явились. Когда поезд тронулся, Чебан поерзал на своем месте и многозначительно объявил, что хочет «побалакать… с одним… знакомым…». Через полчаса он ввел к нам того самого худощавого брюнета, в такой же, как моя, куртке, С которым я вчера разминулся, садясь в вагон.

— Вот… бывайте знакомы… Мой… старый друг… камарад Пьер из Брюсселя…

— Здравствуйте, товарищи, — по-русски, и притом без малейшего акцента, поздоровался камарад Пьер из Брюсселя. — Семен рассказал, что с вами стряслось. Что ж, давайте сообща помозгуем, как быть.

Размышления сообща свелись к адресованным нашему «респонсаблю» кратким указаниям Пьера, главное же, он пообещал немедленно напоить и накормить нас.

— В термосе — у меня термос бойскаутский, на шесть литров — еще кофе есть, хлеб тоже найдется и какие-то консервы. Потом рассчитаетесь с нашим кашеваром. А захотите поесть посерьезнее, так через дверь один молодой француз, как полагается, со своим ливре милитер[19] на войну выехал. Он вам без всякого для себя риска чего угодно накупит. Пока же вот курите. — К моему восторгу, он положил на диван запечатанную в целлофан пачку «Кэмел». — Берите, берите, у нас в Бельгии они дешевые, государственной монополии на табачные изделия нет, и ввозной пошлины тоже: и без того большое Конго маленькую Бельгию неплохо кормит.

Перед уходом он посоветовал «до поры до, времени» вести себя поскромнее, в частности, без особой необходимости на остановках не выходить.

— Удостоверений личности ни у кого ведь нет, а без него при малейшем недоразумении запросто могут сцапать. Подозреваю, что так и получилось с вашими друзьями.

— Мы… даже из купе… никуда… как было наказано…

Разве… вот напротив… по нужде…

— Это уж лишнее. Осторожность осторожностью, а с ума сходить незачем. В одном нашем вагоне кроме вас двадцать четыре таких гаврика — все купе заняты, — да в следующем состоящая на моем попечении целая орава не слишком благоразумных фламандцев. Так что прятать головы под скамейки необязательно. А вот посылать беспаспортных за покупками не следовало. Поехали, Семен. Заберешь для своей команды что там осталось.

Вскоре жизнь у нас наладилась. Сначала мы пили полуостывший кофе с бутербродами. Покурили. После остановки в Шалон Сюрсон плотно позавтракали. Опять вволю покурили. В Макоте заприметившийся мне с Парижа черноволосый парень со значком — его звали Лягутт — накупил нам еще провизии, а специально по моему заказу — две довольно дорогих бутылки знаменитого местного вина, и мы вторично позавтракали.

Благодаря опущенной раме и настежь открытой двери в купе не было душно, хотя снаружи стоял совершенно летний день. Ганев, вытянувшийся головой ко входу, мирно отсыпался на освободившейся скамье. Юнин, Остапченко и Дмитриев превосходно заснули не вытягиваясь. Лишь Чебан продолжал нервничать. Он то усаживался в ногах Ганева и со страдальческим видом закрывал глаза, то выходил из купе и беспокойно прохаживался взад и вперед. Я понимал его тревогу. Она объяснялась не только тем, что он нес персональную ответственность за нас. Что бы ни произошло с исчезнувшими, дело в любом случае могло окончиться плохо. Если они попали в полицию, опасность нависала не над одними нами, их спутниками, или над остальными путешествующими без документов в этом «подходящем» поезде: любой случайный провал угрожал уже налаженной системе доставки добровольцев в республиканскую Испанию. Если же Иванов с Трояном и впрямь сбежали, это набрасывало тень на всех едущих через партийную организацию Союза возвращения, а ей и так пришлось преодолевать немало препятствий, пока наконец удалось отправить первую группу. Мы были второй. Третья ждала своей очереди. А всего набралось уже свыше ста записавшихся, что составляло не меньше десяти процентов общей численности Союза вместе с престарелыми, женщинами и детьми. «К ноябрю роту сколотим, — как-то сказал мне Вася Ковалев, — хотя оно и не так-то просто».

Что оно очень и очень не просто, я убедился гораздо раньше, когда на следующий день после памятного митинга в Вельдиве взялся за осуществление возникшего у меня намерения.

Заручившись убедительными рекомендациями от двух французских коммунистов, с которыми я не один год работал бок о бок и в контакте с которыми действовал в водовороте июньской всеобщей забастовки, я отправился на улицу Матюрен Моро, где за широкими воротами под номером 8 ранее размещались революционные профсоюзы, а с недавних пор, после их слияния с Сежете[20], — разнообразные мелкие объединения вроде новорожденного союза мойщиков стекол, уборщиц и полотеров, в числе организаторов которого был и я. Именно здесь, в одной из бесчисленных грязных комнат огромного обшарпанного здания, мне надлежало разыскать нужного человека, но когда после долгих поисков удалось до него добраться, я пережил совершенно неожиданное и тем более обидное разочарование. Бегло просмотрев обе рекомендации, приложенную к ним краткую автобиографию, а также просьбу направить нижеподписавшегося сражаться за республиканскую Испанию, он с очевидным сожалением покачал головой и возвратил мне бумаги.

— От меня это больше не зависит. Пришел бы на несколько дней раньше. А теперь у нас новое распоряжение: ни за что на свете не посылать ни одного русского. Своих, французов, начали отправлять целыми пачками, других иностранцев после проверки — тоже. Будь ты кто хочешь: итальянец, поляк, хотя бы абиссинец. А русских — нет, нельзя.

— Но почему?

— Комитет по невмешательству.

— Так я же не настоящий русский, не советский то есть. Я же эмигрант с нансеновским паспортом.

— Я-то понимаю. Но ты попробуй кого другого убедить, что это белые русские сражаются за красную Испанию. Представь на минуту, что иностранные военные корреспонденты наткнутся на фронте хотя бы на одного русского, и все: прямое доказательство, что Советский Союз нарушает свои обязательства.

— Но тебя никто не заставляет указывать, что я русский. Напиши, что я поляк или лучше югослав: я сумею, если понадобится, объясниться по-сербски.

Он, как это любят делать французы, пожал плечами.

— Не могу. Поставь себя на мое место. Мой совет: если ты любой ценой хочешь ехать, обратись на рю де Бюси. Насчет таких, как ты, у них в руках все нити. Рю де Бюси, десять. Знаешь?

Еще бы мне не знать. По этому адресу на захудалой — даром что она начиналась в двух шагах от Сен-Жермен де Пре — улице де Бюси находился Союз возвращения на родину. Я состоял в нем с 1933 года, печатал под псевдонимом статьи в журнале «Наш Союз», читал доклады о советской литературе, даже сочинил и

поставил к какой-то годовщине политический водевиль с куплетами, — в общем, был на все руки.

Последовав совету компетентного товарища и поднявшись по крутой, загаженной кошками лестнице, я, при взгляде на эмалированную табличку с официальной надписью по-французски и по-русски, невольно улыбнулся про себя: «Не слишком много шили там. И не в шитье была там сила…»

Вася Ковалев отнесся к моей просьбе, как я и предполагал, без всякого энтузиазма.

— Еще один вояка выискался, — по привычке часто моргая, высказался он. — И откуда вы все взяли, товарищи, что мы посылаем в Испанию? Кто-то распространяет провокационные слухи, а вы обрадовались. Хорошо еще, что до сюрте не дошло. — Он снова поморгал воспаленными веками. — Еще бы специалистом был, но ведь ты же военного образования не имеешь.

Я промолчал. Ссылаться на то, что до революции я успел два года проучиться в Первом кадетском корпусе в Петрограде, а потом — после перерыва по независящим от меня обстоятельствам — закончил Русский кадетский корпус в Сараево, явно не стоило. Вася сам был недоучившимся донским кадетом и не хуже моего знал, что военная подготовка в кадетских корпусах сводилась к обучению шагистике, а в старшем классе — еще к некоторым манипуляциям с незаряженной берданкой; в Югославии же и берданок не было.

— Вот видишь. Не можем мы тебя отправить, — продолжал Вася Ковалев. — И вообще никого не отправляем. Понятно?

Насчет «никого» Вася безбожно врал. Я знал об этом по секрету. Куда девался его предшественник, предыдущий секретарь, если не уехал в Испанию? Правда, он бывший офицер-артиллерист. Еще раньше уехал регент хора, безукоризненно вежливый, необыкновенно доброжелательный старик Глиноедский, — так он был царским подполковником и закончил артиллерийскую академию. Уехал и славный мальчик из Риги, мой тезка Алеша Кочетков, но и он, невзирая на возраст, как-никак специалист: отбывал воинскую повинность в своей Латвии.

— Вот такие дела, — промолвил Вася Ковалев. — Ты ж не маленький. Сам бы должен догадаться, что русским в Испанию хода нет. Или не слышал про Комитет по невмешательству?

Я почувствовал, что Комитет по невмешательству, кроме всего прочего, становится моим личным врагом.

— Не понимаю, какое, собственно, отношение мы с тобой имеем к этому проклятому Комитету? Ты, кажется, не дипломат, и я тоже.

Насчет Васи я глубоко заблуждался. Он был дипломатом.

— Ладно. Спорить не о чем, — твердо заключил он. — Сказано нельзя, значит, нельзя. А заявление все же оставь на всякий пожарный случай.

Я поспешно выхватил заготовленные бумажки. Искоса взглянув на них, он отвел мою руку.

— По-русски надо, понятно? Кто тебя по-французски читать будет? Это раз. А второе: биографию свою опиши подробнее. Что это за биография на одной страничке? В заявлении тоже поубедительней изложи, почему решил ехать, про ненависть к фашизму изобрази и тому подобное, чтобы мотивировка политически грамотная была. Ну, да ты образованный, сумеешь. В биографии смотри не забудь про кадетский корпус, что был там обучен обращению с винтовкой. Я доложу правлению, а потом видно будет.

Тут же, не теряя времени, я засел за стол, и через два часа руководящие указания Васи Ковалева были выполнены. Окрыленный надеждой, я успел за столь краткий срок настрочить и красноречивое заявление, выдержанное в духе антифашистской листовки, и автобиографию, чуть разве короче, чем «Детство, отрочество и юность». И про винтовку приврал. Это была та самая «ложь во спасение», которую даже святые отцы допускали.

Вася перелистал врученные ему листы, вздохнув, заложил их в толстенный том нот с подходящей к случаю надписью на переплете «Севильский цирюльник», вдвинул том обратно на полку стоящего возле рояля нотного шкафа и запер его на ключ.

Выйдя на бульвар, я всячески старался умерить свое волнение, чтоб после не испытать тем горшего разочарования: вдруг все же ничего не выйдет. Но Вася, Вася-то каков! Ай да Вася! Мне даже неловко стало, когда я вспомнил о песенке, которую про него сочинил. Песенка эта высмеивала Васино изложение истории на занятиях с недавно вступившими в Союз. Пересекая однажды зал, где Вася обучал неофитов политграмоте, я услышал, как он повествует о 9 января. «Рабочие были тогда бессознательными, — рассказывал Вася, произнося «г» на донской манер, так что каждый раз, как попадался этот звук, казалось, что Вася с силой ударяет колуном по сырому сучковатому полену. — Они пошли к царю с попами и хирургами. У Зимнего дворца их встретили грубо. Одна тысяча народу полегла убитыми, да ранили еще две с гаком». С тем, что Вася размножил попа Гапона, я готов был примириться, но вместо хоругвей — хирурги… С них и началась посвященная Васе песенка: «Дело было в Петербурге, Где в церквах висят хирурги…»

Через неделю я опять посетил Васю Ковалева. В ответ на мой

вопросительный взгляд он вполголоса пробурчал, что пока ничего не известно — может, никто никуда не поедет, — но что меня тем не менее утвердили в списке восемнадцатым.

— Не единогласно, учти. Один товарищ из правления возражал. «Несерьезный, — говорит, — человек, как бы не подвел. Еще недавно стишками баловался». Скажи спасибо Сереже, вступился за тебя.

Под «Сережей» подразумевался Сергей Яковлевич Эфрон. Еще бы! Ему уж грешно было бы не заступиться за легкомысленного товарища, позволявшего себе баловаться стишками. Как-никак, а он муж Марины Цветаевой.

Окончательно вопрос о добровольцах из Союза возвращения был разрешен лишь во второй половине октября. Дело решила знаменитая телеграмма Сталина на имя Хосе Диаса. В ней было прямо сказано, что освобождение Испании от гнета фашистов есть общее дело всего передового человечества. Вычеркнуть нас из состава всего передового человечества никто все-таки не решился, однако нам позволили ехать в Испанию при одном обязательном условии: каждый должен был раз и навсегда забыть, что он русский, а вместе мы стали официально именоваться «группой без национальности» или еще более загадочно: «языковой группой».

Стороной я узнал, кто проложил нам дорогу. Это совершили бывший царский подполковник Глиноедский и бывший белогвардейский капитан Иванов.

Несколько лет промахав камертоном на рю де Бюси, до бела седой, морщинистый, но не потерявший выправки Владимир Константинович Глиноедский прибыл в Барселону под именем испанского полковника Хулио Хименеса Орхе и уже через две недели завоевал такой авторитет на Каталонском фронте, что был избран бойцами и командирами целого сектора начальником артиллерии, а еще через неделю восхищенные рассказы о его хладнокровии, распорядительности, боевой опытности, тактичности и работоспособности достигли Парижа.

Капитан Анатолий Иванов, в прошлом старший инструктор офицерской пулеметной школы, не имел никакого отношения к Союзу возвращения на родину. Женатый на француженке, он держался в стороне от бывших своих соотечественников и еще в начале событий уехал в Мадрид через посредство писателя Андре Мальро, поступив в эскадрилью, созданную последним для защиты мадридского неба из купленных на черном рынке машин и набранных с бору да по сосенке пилотов, — пулеметчиком. Среди всевозможных искателей приключений, по весьма выгодным контрактам вступивших в международную эскадрилью

под командованием Мальро, пулеметный ас «Анатоль» выделялся наравне с молоденьким французским летчиком Гидесом не одной своей отчаянной храбростью и поистине виртуозной точностью стрельбы, но и дисциплинированностью, бескорыстием и безотказностью. Приезжавшие из Мадрида утверждали, что Андре Мальро в них обоих души не чает.

Добрая слава о полковнике Хименесе и капитане Анатоле достигла ушей тех, от кого зависел и наш отъезд, помогла преодолеть в них естественное предубеждение против лиц, хотя и находящихся под двойным контролем — Коммунистической партии Франции и советского консульства, — но все же проживающих по нансеновскому паспорту с пометкой «русский беженец». Телеграмма Сталина довершила остальное. А теперь необъяснимое исчезновение двух человек из нашей команды могло многое изменить…

— Лион… скоро… Просыпайтесь… — вернувшийся после унылого топтания по коридору Чебан дотронулся до колена Ганева, который мгновенно, будто и не спал, выпрямился и спустил ноги на пол.

— Слышь… товарищ Юнин… товарищ Ди… митриев… я тут… посовещался… с кем надо… и вот чего… надумал… — И он довольно здраво предложил нам перед Лионом «рассредоточиться» (скорее всего, это было выражение Пьера), потому что если какая полиция предупреждена насчет нас, то скорее всего именно лионская.

Другая половина вагона, как и говорил вчера Ганев, не была разделена на купе и от этого выглядела гораздо свободнее. По отсутствию чемоданов можно было догадаться, что не пожелавшие тратиться на плацкарту пассажиры с плетеными корзинками на коленях или с холщовыми сумками через плечо, заполняющие скамейки без номеров на спинках, едут не издалека и неподалеку.

С левой по движению стороны не было даже откидных сидений. У последнего перед тамбуром окна стоял Пьер и задумчиво смотрел вдаль, на блещущую под солнцем Рону.

Я поздоровался, Пьер подвинулся, уступая мне половину пейзажа. Мы разговорились. Услышав, что я не состою в партии, он искренне удивился.

— У тебя есть расхождения с ней?

Мне пришлось объяснить, что расхождений нет и что около двух лет назад я был принят в партию по месту жительства в XIX аррондисмане и каждую среду ходил на собрания ячейки. Вместе со мной в ней числилось, совсем как богатырей в сказке о царе Салтане, тридцать три человека, тоже не имевших партийной

организации на работе. Собирались мы у «буньа» — в темной лавчонке угольщика, где, между прочим, имелась и оцинкованная стойка и даже два круглых столика: по чуть ли не средневековому обычаю угольщик, кроме торговли углем и стянутыми проволокой в круги просмоленными щепками для растопки, занимался еще продажей, вина распивочно и навынос. Моей главной нагрузкой в ячейке была подробная информация о содержании «Правды» за каждую неделю. Но однажды после собрания, когда все уже разошлись, секретарь ячейки, а им был сам «буньа», в молчании распробовав со мной не носившую этикетки бутылку редчайшего, по его утверждению, красного вина, проводил меня до двери со звоночком и вдруг, конфузясь, объявил, что «сверху» пришло указание насчет таких, как я, товарищей и что, следуя ему, я должен немедленно перечислиться в «языковую группу» на рю де Бюси. Я не то чтобы обиделся, но мне как-то не захотелось быть таким членом партии, которого помещают в специальную колбу и старательно изучают под лупой.

Тут по губам Пьера скользнула улыбка, но когда он заверил, что прекрасно меня понимает, лицо его было опять задумчивым. Тогда я прибавил, что с тех пор как вручил консулу просьбу о принятии в советское гражданство, считаю вступление в какую-либо иную компартию, за исключением ВКП(б), не слишком благовидным.

— Если я включаюсь в ряды, скажем, Французской коммунистической партии, то, очевидно, чтобы бороться в них до конца. А так получается, что я поборюсь-поборюсь да брошу все — и, возможно, в тяжелый момент — и уеду себе туда, где быть коммунистом вполне безопасно.

— Но вступление в партию нужно не только ей, вернее, не столько ей, сколько тебе, — начал Пьер. — И все же ты, не зная того, задел во мне до болезненного чувствительную струну. Отчасти я совершенно с тобой согласен. Скоро шесть лет, что я в партии, мне поручали — теперь скрывать нечего — довольно ответственные дела: вплоть до отъезда я входил в ревизионную комиссию брюссельского комитета, да сверх того был одним из трех, на ком лежала вся работа среди иностранных пролетариев, живущих в Бельгии или часто в нее наезжающих, как, например, между моряками с судов, приписанных к бельгийским портам. И для меня навсегда уехать на родную Кубань — все равно что дезертировать.

Я чувствовал к Пьеру все возрастающую симпатию и поделился с ним тем, до чего меня шокировала и продолжает шокировать начавшаяся как по команде после полуторамесячных

колебаний интенсивная кампания по набору волонтеров среди членов Союза возвращения, собственно, не сама даже кампания — ей можно бы только радоваться, — а сопровождавшие ее широковещательные (правда, лишь в устной форме) обещания о визах на въезд в СССР «потом».

— Понимаешь, предложение какой-либо награды тем, кто по доброй воле отправляется защищать правое дело, представляется мне прямо-таки непристойным. А как же едут французы или твои, вон, фламандцы: им-то никто ничего не обещал. Чем же мы хуже? И еще. Я не со вчерашнего дня мечтаю вернуться, давным-давно выполнил все формальности и сорок тысяч анкет заполнил, — короче, сделал все что положено и терпеливо жду. По-моему, должны решать два вопроса: кто я такой и нужен ли я там или не нужен. А еду я в Испанию или не еду — это мое дело, в крайнем случае, оно может служить характеристикой и больше ничем. А то выходит, что за «серпастый и молоткастый» необходимо платить выкуп кровью.

— Конечно, нет. Но продолжай.

— Мне трудно до конца представить себя на месте того, кто идейно поступил в белую армию и сознательно воевал против большевиков. Понятно, не моя заслуга, что в Октябрьскую революцию мне исполнилось двенадцать лет, но ведь и не моя вина, что я очутился в эмиграции. Это аист выбирал, в какую трубу меня бросить, по вине его я родился в дворянской семье, значит, по его же вине меня мальчиком вывезли за границу. Но так или иначе, а я никаких преступлений против Советской власти не совершал ни там, ни здесь и скорее могу гордиться, что, невзирая на происхождение и соответствующее воспитание, начатое на Кадетской линии Васильевского острова и законченное в бывших австрийских казармах на берегу реки Милячки, мне удалось преодолеть наследственный православно-патриотический сумбур в голове и постепенно узнать, где собака зарыта, и сделать все нужные выводы. А посему я не испытываю ни малейшей необходимости идти в Каноссу, и превращение того, на что мы сейчас решились, в какой-то покаянный обряд считаю скверной выдумкой консульских чиновников! — Я разгорячился и говорил громче, чем следовало.

— Спокойнее, — коснулся моей руки Пьер. — Тем более что ты ломишься в открытую дверь: с моей стороны особых возражений не предвидится. Ты рассуждаешь и особенно чувствуешь, по-моему, правильно. Не забывай все же, что между нами есть и такие, кто ощущает необходимость искупить прежние грехи, и даже такие, кто обязан — ощущают они это или не ощущают — загладить свою вину, если даже и признать, что

степень личной ответственности в подобного масштаба исторических событиях преувеличивать, спустя почти двадцать лет, не стоит. При всем том не все из нашего брата едут в Испанию незапятнанными. Я вот всего на три года старше тебя, а у Деникина служил.

Мне стало стыдно за свою бестактность, и я молчал.

— Во время последнего отступления дядя, брат моей матери, казачий офицер, заехал с ординарцем к нам. Мой покойный отец был из обрусевших немецких колонистов — фамилия моя Гримм, а мать — кубанская казачка. Переночевал дядя на кровати отца, а утром оделся, напился чаю и говорит: «Прощай, сестра. А ты, Петр, собирайся со мной. Настал смертный час России, ей теперь и юноши нужны». Дали мне запаленного коня, бурку, шашку и карабин. Мать, плача, благословила меня образком, и я, как ты выражаешься, «идейно» заделался белогвардейцем. Воевать мне, впрочем, не пришлось: до Новороссийска мы драпали, не оглядываясь, без арьергардных боев. Но во время драпа дядька усиленно тренировал меня и в стрельбе, и в рубке. Возможно, теперь пригодится. Вот какие дела. И все ж я тоже не собираюсь к Каноссу…

— И меня из Новороссийска вывезли. На госпитальном транспорте «Херсон». Отчим устроился на него санитаром и меня записал санитаром, фактически я был на побегушках, помои по трапам таскал.

Сбоку к Пьеру подошел бледный, как после болезни, большеголовый человечек в очках и что-то зашептал ему на ухо.

— Сейчас, сейчас сходим, Володя. Опять мои уленшпигели расшумелись, — пояснил Пьер. — Ты пока познакомься с еще одним будущим соратником.

В будущем соратнике не было ничего от васнецовского богатыря. Он вяло протянул мне холодную руку и так невнятно произнес свою фамилию, что я не столько расслышал, сколько догадался.

— Лившиц? Послушайте, где же вы пропадали? Вас на вокзале в Париже целый час какая-то девушка разыскивала…

— Моя сестра. Она учится в Париже, а я в Брюсселе. Почти три года не виделись: когда каникулы, я работаю.

— Она вас так звала. Неужели вы не слышали?

— Слышал. Но нам запретили с кем-нибудь в Париже общаться, даже писать. Ей, наверное, кто-то из друзей телеграфировал.

— Так где ж вы все-таки были?

— Спрятался.

— Это уж чересчур.

— Чересчур или не чересчур, а дисциплина есть дисциплина, и всем нам, а больше всего интеллигентам, необходимо себя к ней приучать, готовиться к повиновению без рассуждений. Иначе какие же из нас будут солдаты?

Маленький Лившиц обладал неожиданным баском, и оттого слова его звучали еще внушительнее. Я полагал, что, и повинуясь, следует рассуждать, но не возражал.

Долина, по которой шел поезд, все сужалась, а Рона становилась шире и текла теперь ближе к железной дороге. Справа, далеко на горе, уже виднелась старая часть Лиона.

— Подъезжаем, — констатировал Лившиц. — Тревожно все же. Уж очень кричат эти антверпенские в следующем вагоне. Еще в Брюсселе они принялись пробовать французские вина, а во Фландрии обычно употребляют пиво. Вот они и поют. Как бы полиция не заинтересовалась.

— У нас еще хуже: двое отстало.

— Знаю. Это для всех одинаково плохо. Если что, займутся вообще иностранцами.

Наш неторопливый состав простоял в Лионе двадцать минут, но ничего страшного не произошло. Услужливый Лягутт раздобыл для меня в лионском табачном киоске пять пачек «Кэмел», и я, понимая, что скоро с ними придется распрощаться, с удвоенным наслаждением покуривал у окна.

Благополучно миновав опасный Лион, мы с Лившицем незаметно для себя повеселели. Солнце уже обогнало нас и светило со стороны паровоза. Сжимаемая горами Рона протекала совсем близко. Ей часто приходилось огибать их крутые уступы, железнодорожное полотно следовало ее извивам, и тогда мы могли видеть весь наш состав от паровоза до последнего вагона и головы пассажиров в окнах.

— Красивые места, — вздохнул Володя Лившиц.

Я никогда не любил горных видов; они слишком напоминают изображающие их цветные открытки, но сейчас спорить на эту тему не стоило. К нам подошел Пьер, охотно взял у меня сигарету и посоветовал Лившицу отдохнуть.

— Кто его знает, удастся ли поспать ночью, а что, если сразу шагать придется…

С противоположного конца вагона приближался Чебан, лицо его сохраняло прежнее великопостное выражение. Разглядывая едущих, он забавно вытягивал длинную жилистую шею и был похож на встревоженную индюшку. Поравнявшись с нами, он страдальчески улыбнулся Пьеру. Я сострил, что наш «респонсабль» волнуется, как институтская классная дама, у которой две воспитанницы сбежали с гусарами.

— Да, очень переживает, — мягко заметил Пьер. — Считает себя виноватым, почему не пошел с ними. У него очень развито чувство ответственности за порученное ему дело, ну да и нервы пошаливают. Что ж удивительного: такая жизнь! Я ведь Семена довольно давно знаю, только вот никак не привыкну, что он Чебан, все хочется назвать его настоящую фамилию.

И Пьер рассказал мне историю Семена, который, оказывается, вовсе не Чебан. Он родился в глухом углу северо-западной Бессарабии возле самой румынской границы. Когда в 1918 году, воспользовавшись гражданской войной, Румыния откромсала Бессарабию от России, наш будущий респонсабль голоногим мальчишкой гонял по утопавшему во фруктовых садах родному селу. Но и в этом возрасте он навсегда запомнил драматические подробности крестьянского восстания, охватившего вскоре весь Хотинский уезд, населенный украинцами, ничуть не желавшими отводить к Румынии и тем самым возвращаться под власть своих, уже поделенных помещиков. Но еще глубже запала в сердце мальчика память о свирепых карательных мерах, обрушившихся на некоторых крестьян после того, как румынские войска подавили восстание. Подросток собственными глазами видел зарева пожарищ, в которых дотла сгорели некоторые из соседних сел, своими ушами он слышал страшные рассказы очевидцев о массовых бессудных убийствах, насилиях и грабежах. Отец Семена не участвовал в восстании. Служа лесником, он находился, по сравнению с большинством своих земляков, в относительно привилегированном положении и почти на равной ноге держался со всесильными румынскими жандармами, но, бывший русский солдат, успевший после революции вкусить свободы, он никак не мог примириться ни с шовинистическим высокомерием местных румынских властей, ни с грубым произволом полиции и неоднократно вступал в пререкания с ее представителями. Некоторое время это сходило ему с рук, но однажды вновь назначенный жандармский вахмистр, которому отец Семена отказался дать взятку, решил раз и навсегда проучить зазнавшегося мужика. Семенова отца арестовали по подозрению в принадлежности к подпольной антиправительственной организации и увезли в город. Подозрение по понятным причинам не подтвердилось, но когда Семен с матерью приняли своего отца и мужа из ворот хотинской тюрьмы, это был уже не тот отец и не тот муж. Неузнаваемо обезображенный зверскими побоями, кашляющий кровью, он до конца жизни остался инвалидом.

Прошло несколько лет. Достигший гражданского совершеннолетия Семен получил повестку из воинского

присутствия: его призывали в королевские войска. В двадцать один год он не выделялся среди других деревенских парней политической сознательностью, но после всего он не мог служить румынским поработителям. Отец и молодая жена согласились с ним. Они продали единственную корову, и Семен внес свой пай вербовщику, набиравшему на заманчивых условиях лесорубов в далекую Канаду. Семен уехал накануне явки на медицинскую комиссию, и его объявили дезертиром. Но орудовавший по темным бессарабским селам вербовщик оказался жуликом. Группа завербованных, в которую входил Семен, была завезена на забытый богом и людьми поселок, не доезжая Ванкувера, и высажена там. Не то что обещанного контракта, но и вообще никакого заработка в пустынном краю найти не удалось. Обманутые люди кое-как добрались до Ванкувера. Оттуда Семен, истратив на билет зашитые в подкладку куртки последние доллары, выехал на юг к родственникам матери, эмигрировавшим в Канаду еще до мировой войны. Там свалившегося на голову сродничка устроили батраком к знакомому фермеру, но тем же летом ферма пошла с молотка. Семен нанялся по соседству к другому, однако сезон скоро кончился, и Семен остался без дела. Ему удалось было устроиться в городке на ночную работу — мойщиком автомобилей, но объясняться с не знающим языка иммигрантом было слишком сложно, и его уволили. Он брался за любую работу: таскал кирпичи на постройке, носил рекламные щиты, опять мыл машины в еще одном гараже, вскоре прогоревшем, побывал и в уборщиках и в сторожах. Летом опять стал батрачить, но унаследованный от отца строптивый характер привел к тому, что к осени Семен оказался среди зачинщиков стачки батраков. Его арестовали и вместе с другими предали суду по обвинению в сопротивлении властям. Воспользовавшись его неопытностью, подкупленным переводчиком, а также и тем, что документы, по которым Семен прибыл в Канаду, были не совсем в порядке, суд, оправдав остальных, признал Семена виновным. Семен отсидел месяц в тюрьме, после чего ему предложили покинуть страну. Он перебрался в Штаты и попал в Детройт на заводы Форда. Едва Семен освоил две-три операции, как при очередной перестройке конвейера был сокращен. Пришлось снова перебиваться с хлеба на воду (кваса в Америке не было), пока Форд не приступил к новому набору. Мало-помалу Семен овладел английским настолько, по крайней мере, чтобы поболтать с товарищами по работе о том, о сем. От разговоров на политические темы Семен старательно уклонялся, а тех рабочих, которые слыли коммунистами, опасливо обходил: он знал, что коммунисты — отчаянные безбожники; не то чтоб сам Семен был

горячо верующим, но все-таки. Зато в профсоюзную организацию он записался и аккуратно платил членские взносы.

— Я, помнится, спросил, каким ветром его занесло в профсоюзы, — прервал Гримм свой рассказ, — Семен ответствовал кратко: «Увидел я, что люди не так живут…»

Принадлежность к профсоюзам завершилась для Семена плачевно. Он был задержан заводской полицией с листовками, призывавшими к забастовке, на сем, вполне достаточном основании, обвинен в коммунистической деятельности и засажен за решетку.

Отбыв положенный срок, Семен от греха опять сунулся в Канаду, но и здесь его как иностранного агента скоро схватили и для разнообразия продержали месяц в канадском доме заключения, а затем посоветовали поскорее убираться из пределов доминиона. Семену не оставалось ничего другого, как послушаться, и он нанялся матросом на первый попавшийся пароход, принадлежавший, как выяснилось, бельгийским судовладельцам. Случилось так, что на нем плавал Федор Галаган, бывший участником восстания на «Потемкине». Теперь, коротая в прокуренном кубрике свободные от вахты часы, Семен не только мог отвести душу по-украински. От старого морского волка и закаленного революционера он очень многое узнал, многое с его помощью осмыслил, и через некоторое время Федор Галаган выступал в роли крестного отца Семена при вступлении его в Бельгийскую коммунистическую партию.

Судовладельческая компания скоро пронюхала о нежелательном направлении мыслей ее нового служащего, и при первом удобном случае Семен был списан на берег. У молодого коммуниста имелся известный жизненный опыт, он владел тремя языками, и партия доверила ему работу в антверпенском порту среди докеров и матросов из русских и украинских эмигрантов. Активность, проявленная Семеном на этом поле деятельности, как и надо было ожидать, привлекла к нему внимание сыщиков и закончилась допросом в полицейском участке. После нескольких недель содержания под арестом Семен был признан «нежелательным иностранцем», и ему предписали в срочном порядке покинуть территорию Бельгийского королевства. Однако, кроме Румынии, деваться ему было некуда, а там его поджидал заочно вынесенный суровый приговор за дезертирство. Пришлось остаться в Антверпене. Вскоре за невыполнение постановления о выезде Семена вновь арестовали и приговорили к трем месяцам тюремного заключения. А через три месяца его препроводили по этапу к французской границе, и бельгийские жандармы указали тропинку, ведущую во Францию. «Алле-уп!» — сказали они,

двинув Семена прикладом. Но едва нежелательный иностранец оказался на французской земле, как был схвачен республиканскими двойниками суровых королевских слуг, и через несколько суток уже французский судья приговорил его за незаконный переход границы к тем же трем месяцам тюрьмы с последующим выселением из республики. По прошествии трех месяцев два французских гардмобиля повезли его к бельгийской границе, довели до тропинки контрабандистов и, шарахнув в спину прикладом, в свою очередь сказали «Алле-уп!». Наученный горьким опытом Семен на сей раз сумел проскользнуть мимо бельгийских постов и с грехом пополам достигнуть Брюсселя.

— Он разыскал меня. Нам доводилось встречаться раньше, когда меня посылали в Антверпен разбирать конфликты в тамошней довольно пестрой партийной среде. Но тут я еле узнал его. Можешь себе представить, как он выглядел. Собственными руками я отскреб его в ванной, дал ему пару белья, старые брюки и пиджак; жена накормила его и ушла ночевать к подруге. Семен прожил у меня несколько дней, а там сжег свои заштемпелеванные румынские документы — ведь он стал настоящей персоной нон грата — при повторной судимости за невыезд ему грозил уже год — и поехал в Гент. Несколько месяцев он продержался среди гентских грузчиков и моряков, пока на него не донесли и он снова не был арестован. По случаю отсутствия какого бы то ни было удостоверения личности и постоянного местожительства Семен получил три месяца за бродяжничество и еще одно постановление о выселении из Бельгии. Он отсидел свое, а затем, следуя раз навсегда заведенному порядку, его доставили к границе и выпихнули во Францию, сказав ритуальное «Алле-уп!». В ту же ночь он вернулся. Но в Антверпене полицейские осведомители снова опознали его, и теперь Семен просидел уже полгода. Следующее свидание с судьей должно было закончиться еще хуже, а потому едва он, подписав бумажку о добровольном выезде в двадцать четыре часа, был выпущен, как по решению партии его перебросили к вам, в Париж…

Так вот, оказывается, почему в Союзе возвращения Семен Чебан играл — и, судя по отзывам питавшихся там, прескверно — роль кока. Вот почему он держался так застенчиво, почти не выглядывал из кухни и даже жил в ней, раскладывая жиденький матрасик прямо на полу возле плиты. А я-то воображал, что в чулане, громко именуемом кухней, возится у газовых конфорок некий экс-белогвардеец из мобилизованных. Лишь вчерашняя болтовня помогла узнать, что Семен вообще ни в какой армии не служил. А он вон что. Ну и ну.

— Спасибо, что рассказал, — поблагодарил я Пьера. — Я теперь совсем другими глазами на него смотреть буду. Это же не жизнь, а житие, жаль, что их нет, а то хоть сейчас заноси в революционные четьи-минеи…

— И это самое Семеново житие, как ты назвал, постоянно осложнялось некоторыми привходящими обстоятельствами. — Пьер усмехнулся. — Как это ни покажется странно, Семен всегда пользовался необыкновенным успехом у женщин, в данном случае, можно сказать, обоих полушарий. Где бы он ни находился, за исключением, конечно, корабля и тюрьмы, везде возле него немедленно заводилась любящая женская душа. Но при его кочевом образе жизни каждый такой идиллический союз неизменно завершался драмой, ручьями слез и душераздирающими воплями. Сердце же у нашего Семена мягкое, и оно всякий раз готово было разорваться на части. А что происходило, когда его изымали из уютного гнездышка, чтобы засадить за решетку!..

— Насколько помню, это Достоевский писал, что женщины любят страдальцев.

— Кто бы ни писал, а выходит, что так.

— Одного не могу понять. Объясни ты мне, Христа ради, какого же тогда черта твой Семен проторчал столько времени в Союзе возвращения среди белых эмигрантов? Разве он чем-нибудь провинился? Почему ж, когда выяснилось, что его песенка спета и что отныне ему до самой мировой революции предстоит развлекаться по бельгийским и французским каталажкам, почему его переправили в Париж, а не в Москву? Или он мало натерпелся? Только, пожалуйста, не вздумай повторять набившую оскомину отговорку, что и здесь, дорогие товарищи, кому-то надо бороться. Лежа на обеих лопатках, много не наборешься. Не станешь же ты утверждать, что, будучи членом коммунистической партии в чужой стране, он находится в равных условиях с бельгийцем или французом?

Пока я говорил, живое лицо Пьера делалось все угрюмее.

— Объяснить, конечно, не трудно. Объяснить и ты не хуже моего сумеешь. Все мы одинаково хорошо знаем, что Советский Союз находится в окружении, и еще всем нам известно, что под влиянием успехов социализма ненависть внешнего врага и его внутренней агентуры продолжает возрастать, а значит, бдительность, бдительность и еще раз бдительность — первоочередная задача и для отдельного советского гражданина и тем более для государственных органов. И каждый сотрудник консульства не может упускать этого из виду, не должен ни на минуту забывать, что въездная виза, выданная недостаточно

проверенному человеку, может оказаться пропуском, выписанным шпиону или диверсанту, и тогда тому, кто ее выдал, придется расплачиваться собственной головой.

Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу: все это я много раз слышал и знал наизусть.

— Итак, повторяю, объяснить я берусь, — продолжал Пьер. — А вот понять… Понять — другое дело. Понять, отчего такие люди, как бедняга Семен — а он не единственный в своем роде, — обречены, чтобы ими, как мячиками, перекидывались через границу жандармы, у которых у самих по существующему в большинстве государств законодательству нет никакого выхода из этакого дурацкого юридического казуса, пока несчастный подкидыш, признанный «нежелательным иностранцем», к их и собственному облегчению, не отдаст концы на койке тюремного лазарета или просто на заплеванном полу полицейского комиссариата, — понять это, если хочешь знать, я и сам не могу. Зачем человеку абсолютно бессмысленно погибать здесь, когда он смог бы принести посильную пользу там. А насчет проверки — так он проверен весь насквозь, до последней коховской палочки в его кавернах, и уж, безусловно, не хуже, чем проверяются некоторые работники наркомвнешторга или наркоминдела, судя по сумевшему вылезти в первые секретари этому прохвосту Беседовскому, который как кошка перемахнул через полутораэтажную стену полпредства у вас на рю де Гренель, или по Агабекову у нас в Брюсселе, или по оказавшемуся монархистом Дмитриевскому в Осло и по всем прочим дипломатическим и торгпредским иудам, псу их под хвост!..

На щеках Пьера проступили красные пятна. «Нет ли у него самого проверенных палочек в кавернах», — подумалось мне. Он перевел дух.

— Ладно. Волноваться на эту тему больше не приходится. Ни Семену, ни тебе, ни мне превращение в футбольный мяч для пограничных матчей уже не грозит. Для нас, если сегодня-завтра не засыплемся, все это плюсквамперфект.

За время нашего разговора поезд выбрался из ущелья. Горы расступились, и Рона свободно потекла среди скрывавших берега еще не пожелтевших деревьев. Округлые холмы с обязательными развалинами замков на вершинах отражались в ней.

— А не кажется ли тебе, что и нам не мешает отдохнуть? — уже другим тоном спросил Пьер. — Ведь в самом деле неясно, что и как будет ночью.

Мы вернулись в купейное отделение. Пьер, бросив окурок за окно, вошел в свое купе. В нашем Ганев все продолжал спать, а у него в ногах по-прежнему сидел Чебан и грустно смотрел на

убегавшие назад картины. Юнин и Остапченко с готовностью уступили мне скамью, и, хотя Дмитриев все еще всхрапывал в углу, я, подогнув колени, прекрасно устроился носом к стене и, убаюкиваемый покачиванием вагона и ровным стуком колес, погрузился в сон.

Проснулся я так же внезапно, как и заснул, от слова «Авиньон», произнесенного густым басом Ганева. Поезд стоял. В коридоре слышался топот входящих. Шаги остановились у нашей двери, и она поползла вбок.

— Здравия желаем, — раздался знакомый, резкий голос. — Как говорят, повинную голову и меч не сечет.

На пороге, склонив смешно постриженную голову, словно и впрямь подставляя ее под меч, стоял Иванов, из-за него выглядывал Троян с туристическим мешком за плечами.

Чебан кинулся к ним, за руки втянул в купе, задвинул дверь и, порывисто обняв покрасневшего Иванова, поцеловал его.

— Вернулись… дорогие наши товарищи… друзья наши вернулись… — Чебан был вне себя от радости, пергаментное лицо его все светилось изнутри, он помог Трояну снять ношу и его тоже расцеловал.

— Лучше поздно, чем никогда, — произнес Иванов с неподходящей к истрепанной поговорке серьезностью, отчего та приобрела оттенок забавного глубокомыслия. — И на старуху бывает проруха, — пояснил он уже совсем смущенно.

Из ответов Иванова на наши перекрестные вопросы выяснилось, что они с Трояном, увлеченные провиантскими закупками, просто-напросто опоздали. Утром Иванов «первый раз в жизни» позабыл завести часы и не сразу заметил, что они остановились. Троян же, всецело доверившись ему, и не подумал достать из кармана свои старинные с крышкой и на цепочке. Свистка оба не слышали, а когда, спохватившись, выскочили на перрон, путь, на котором они оставили наш состав, был уже пуст, и лишь в конце его можно было еще разглядеть буфера последнего вагона. Не теряя присутствия духа и времени, отставшие фуражиры направились в зал ожидания и, несмотря на очень слабые познания во французском, разобрались в графике движения дороги. Взяв билеты на скорый до Лиона, они пересели там на пассажирский и прибыли в Авиньон с запасом в несколько минут перед нашим «омнибусом».

— Однако соловьев баснями не кормят, — прервал свой отрывистый отчет Иванов, — а языком капусту не шинкуют, — он победоносно глянул на Ганева. — Тем более что мы оба к общим запасам не прикасались, и окромя сухих круассанов да бутылки какой-то дешевой кислятины у нас во рту маковой росинки не

было: прямо подыхаем с голоду. Голод же, как известно, не тетка. Разворачивай, Троян, поживей нашу скатерть-самобранку. А вы не обессудьте, братцы, чем богаты, тем и рады.

Иванов кокетничал. Чего-чего не нашлось в их вместительном брезентовом цилиндре и юнинской торбе. Хотя все, кроме отсутствовавших, целый день только и делали, что жевали, но зрелище разнообразной снеди возбудило нас, и, как это бывает лишь в дороге, мы со свежим аппетитом опять набросились на еду. Настроение быстро поднялось. Еще вчера развязное балагурство и даже внешность Иванова были мне неприятны, а сейчас я от души радовался его возвращению. Радость казалась общей, ее как будто разделял даже Дмитриев. Впрочем, Иванов больше не прохаживался на его счет. Когда остатки вина были со скрупулезной точностью разлиты по разнокалиберным сосудам, Иванов с многозначительным выражением на лице поднял стакан.

— Вот мы с Трояном что хотели сказать, товарищи. Вы приняли нас без упреков и ругани, и Семен тоже ничего плохого нам пока как старший не сказал и никакого взыскания не наложил. Так знайте, что мы еще с утра порешили сами себя наказать за проступок, наложить на себя, так сказать, епитимью. Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет, — и тут не удержался он. — Мы решили с этого момента и до тех пор, пока нас уже на фронте не отпустят в отпуск, никуда больше не отлучаться ни из поезда, ни из казармы, ниоткуда. Да, Троян?

Дожевывая что-то, Троян красноречиво кивнул.

За окном вагона разворачивались, отливая медью вечернего солнца, едва ли не прекраснейшие во всей Франции виды, но никто не замечал их. После того как Иванов и Троян присоединились к нам и тревога, скрытно точившая каждого, рассеялась, — нас переполнял все возраставший интерес друг к другу. Время летело незаметно. Солнце начинало садиться, когда Ганев предупредил, что скоро должен быть Перпиньян. Сдерживаемое возбуждение охватило всех. Чебан упоминал, что нас должны встретить, но кто и, главное, как узнают, мы это или не мы, — оставалось неясным.

Уже смеркалось, когда поезд медленно подходил к длинной платформе перпиньянского вокзала. С Чебаном во главе мы заранее столпились на площадке; сзади теснились ехавшие в следующем купе. Не дав вагону остановиться, Чебан спрыгнул, за ним посыпались и мы; в опустевших несессерах и рюкзаках звякала посуда. Здание вокзала выглядело вымершим. Кроме носильщика, подкатывавшего двухколесную тачку к спальному вагону, двух монахинь в накрахмаленных до состояния лубка белоснежных чепцах и дежурного по станции со свернутым

флажком под мышкой, на перроне никого не было. Но прошло несколько секунд, и он заполнился сошедшими с поезда. Не зная, что делать, мы инстинктивно сгрудились около обжитого вагона. Но спустившийся последним Пьер Гримм, подавая пример, быстро направился за толпой приезжих, и все потянулись за ним. С карабинами и в металлических касках навстречу неспешно вышагивала парочка полевых жандармов. При виде их, должно быть, не у одного меня захолонуло сердце, но они равнодушно разминулись с нами. У выхода в город контролеры отбирали билеты, и, как всегда бывает, там образовалась пробка. Приблизившись, мы увидели железнодорожника в форме, взглядом приглашавшего проходить дальше. Возле служебного входа стояли еще двое, повторяя вполголоса: «Сюда, товарищи, сюда. Поворачивайте сюда, товарищи. Выход здесь, товарищи…» Свет в коридоре не горел, и, указывая нам путь, кто-то покачивал закопченным фонарем. Снаружи было совсем темно. Продвигаясь вперед, я уткнулся в чужую спину. К тротуару одно за другим подкатывали такси с выключенными фарами. Хлопали дверцы. Черные силуэты, сгибаясь, усаживались в поданные машины, и они немедленно отъезжали. «Погаси сигарету, товарищ», — посоветовали из темноты. Чья-то рука подхватила меня под локоть, подсадила, и я очутился в набитой людьми машине. Она рванулась и понеслась по слабо освещенному городу. Насколько я мог рассмотреть сидящих рядом, никого из нашего купе как будто не было. Все молчали. Изношенное такси дребезжало на булыжной мостовой, явно превышая дозволенную скорость. Влетев в пустынную улочку, шофер вдруг включил фары, сделал опасно крутой поворот и, проскочив мимо каменных столбов, резко затормозил на площади. Фары погасли. Снаружи открыли дверцы, и мы, сидевшие друг на друге, вывалились в теплый мрак. Однако и в нем можно было определить, что мы находились не на площади, а скорее на плацу казармы или во дворе монастыря. Кто-то невидимый, светя под ноги карманным фонариком, повел нас по неровно выложенным плитам куда-то вбок. Луч фонарика скользнул по арке входа, осветил стертые ступени. Мы, спотыкаясь, поднялись по сложенной из песчаника широкой винтовой лестнице и вошли под своды галереи. Здесь тоже не было никакого освещения. Чиркнула спичка, и я узнал озаренное вспышкой веселое лицо пытающегося закурить Лягутта, но спичку задули. «Не курить, не курить, товарищи: везде сухое сено», — гулко прозвучал во мраке голос с твердым нефранцузским произношением. «Ночь вам придется провести без курения и без света. На войне как на войне», — прибавил он, словно подражая Иванову. Фонарик осветил широкий проем без

дверей, и мы вошли в огромную пустую комнату с каменным полом и светлыми пятнами квадратных окон не только без стекол, но и без рам.

— Устраивайтесь до утра, как сможете, — любезно предложил незримый гид. — Спокойной ночи. Иду встречать других.

Я ощупью добрался до наваленного вдоль стен колючего сена и растянулся на нем, подсунув вместо подушки несессер. Рядом, тихонько переговариваясь по-французски, укладывались остальные. Оторвавшись от своих, я испытывал легкое беспокойство, но тем не менее мгновенно заснул и уже сквозь сон слышал, как к нам ввели еще одну партию.

Едва забрезжил рассвет, я проснулся. Из окон с вынутыми рамами тянуло ветерком. Слева от меня, раскинув руки и раскрыв круглый, как буква «о», рот, спал на спине Лягутт. С другой стороны храпел кто-то неизвестный. Из-за него слышался знакомый посвист синички. Я оперся на локоть. Так и есть. Зарывшись в сено с головой, там спал Юнин. Через двух человек от него я узнал латаный пиджак Чебана. За Лягуттом вповалку дрыхли фламандцы из соседнего вагона, а в самом углу свернулся калачиком Лившиц. Ни Ганева, ни Остапченки, ни Трояна, ни Иванова, ни Дмитриева с нами не было.

Кое-как стряхнув приставшее к брюкам и куртке сено, я достал туалетные принадлежности и отправился поискать, где бы умыться. В бесконечном коридоре встретились мне Иванов и Троян, чисто выбритые и с мокрыми полотенцами на плечах. Иванов рассказал, что во дворе есть два пожарных крана и помпа и что вода из помпы холодна, «аж зубы стынут».

— Молодец, юноша, что рано встал, — добавил Иванов. — Кто долго спит, франков не скопит. Позже здесь и не помоешься, на двести с чем-то человек получается три рукомойника.

Иванов не только нашел, где привести себя в порядок, он успел многое разузнать. Мы, оказывается, провели ночь в предназначенном к сносу старом городском госпитале, который был эвакуирован еще в начале лета. Догадливые люди из перпиньянской партийной организации решили использовать заброшенные полуразвалины в качестве тайного пристанища для транзитных путешественников, предпочитающих инкогнито. Местные власти смотрели на это сквозь пальцы, и полиция делала вид, что ничего не замечает, старательно обходя старый госпиталь стороной: муниципалитет здесь в руках Народного фронта, да и депутатом от Перпиньяна избран при поддержке коммунистов социалист. Почему-то ни вчера, ни позавчера никого через границу не переправляли, и сегодня в госпитале

переночевало не менее двухсот человек.

— Когда начнут отправлять, пока неизвестно. Возможно, что несколько суток тут просидим. Ничего. Тише едешь, дальше будешь, — Иванов подмигнул. — От того места, куда едешь. За ворота выходить строго воспрещается, так сказать, страха ради иудейска: вдруг какой-нибудь ажан заинтересуется, кто да что. Питание, между прочим, не организовано, но зато тютелька в тютельку против запретного выхода есть бистро, открыто с шести утра и до десяти вечера, можно и пожрать и выпить, и в белот сыграть, и, понятно, все туда ходят. А три раза в день прямо во двор приезжает торговец с тележкой и продает все, что вашей душеньке угодно: и хлеб, и сыр, и шоколад, и разливное винишко, и сигареты. В общем, не пропадем.

Я вспомнил, что, догоняя нас, Иванов и Троян истратили все, что было, и пригласил их, после того как умоюсь, в бистро. Но Иванов решительно отказался:

— Нет, милый юноша. Не давши слова, крепись, а давши — держись. Никуда это значит никуда.

На предложение взять у меня взаймы Иванов ответил не менее категорическим отказом:

— На курево да на хлеб нашей мошны пока хватит, а сырой водицы и даром напьемся. Так, Троян?

Троян, как всегда, молча кивнул.

Когда через час мы впятером: Чебан, Лившиц, Юнин и тяготевший к нам Лягутт подходили к столбам, на которых некогда висели чугунные ворота госпиталя, — огромный, по краям поросший бурьяном двор кишмя кишел, напоминая площадь перед стадионом после матча. Перед насосом и расположенными у самой земли дюймовыми кранами с вентилями вытянулись очереди желающих помыться.

В небольшом кафе через улицу стоял невообразимый гам и висел дым коромыслом. Не то чтобы занять столик, но и пробиться к стойке нечего было и думать. Но в возбужденной разношерстной и многоязычной толпе господствовало такое доброжелательство, что сравнительно скоро нам из рук в руки передали, что только требовалось и сантим в сантим всю сдачу. Охрипшие, потные, но довольные хозяин и хозяйка бистро, а также их неутомимая кругленькая и хорошенькая дочь, которую присоединившийся к нам вместе с Остапченко небритый Дмитриев за короткие ножки презрительно прозвал «плоскодонкой», были в нескрываемом (и не только коммерческом) восторге от своей случайной клиентуры. Родители охотно наливали всем желающим бесплатно и на здешнем французском языке, схожем с языком марсельских анекдотов,

просили поскорее набить морды этим поганым «фасистам», а дочь с профессиональной ловкостью увертывалась от множества тянущихся к ней предприимчивых мужских рук, полоскала рюмки, мгновенно и безошибочно пересчитывала любые денежные суммы на привычные су и еще успевала, кокетничая своей лояльностью, потараторить о красоте испанок. Железные столики ходуном ходили под бухающими по ним кулаками спорящих о сроках разгрома мятежных генералов. Большинство было уверено, что после нашего приезда это вопрос двух-трех месяцев, но находились и пессимисты, считавшие, что дело может затянуться до весны.

В полдень, неся завернутые во вчерашнее «Юма» неизменные сандвичи с ветчиной и бутылку вина для чувствующего себя неважно Ганева и двух «абстинентов», как Чебан окрестил Трояна с Ивановым, мы пересекали обширный двор в обратном направлении. Трудно было поверить, что наступили последние числа октября. Палящее солнце неподвижно повисло в зените, ни облачка не виднелось в побледневшем от жары небе. Но как ни припекало, люди по-прежнему толпились на горячих плитах, обсуждая напечатанные в газетах сводки и выражая беспокойство, как бы нам всем при такой волоките на границе не опоздать, чего доброго, к решающим боям за Мадрид.

Праздный день тянулся, тянулся и не было ему конца. Какую-то его часть я потратил на безуспешные поиски Пьера Гримма, пока Чебан не сообщил мне, что Пьер «занят в городе». От скуки я еще два раза побывал в кафе, а в промежутках бесцельно бродил по двору, вслушиваясь во взволнованные разговоры. Время от времени среди нас появлялись какие-то запыхавшиеся люди с отпечатанными на машинке длиннейшими списками и, выкрикивая фамилии, проводили поверку. Морока получалась ужаснейшая; некоторые находились в помещениях, часть сидела в бистро напротив, и за них отвечали их товарищи, а кое-кто из включенных в списки еще не приехал; главное же затруднение состояло в том, что многие фамилии были не французскими, и во что они, особенно польские, превращались при чтении вслух — уму непостижимо.

Наступили вторые сутки нашего пребывания в ликвидированном госпитале, которое французы прозвали сидением в карантине. Утром я отправил в Париж весьма конспиративную открытку: мало того что она была написана по-русски, я в ней извещал, что пока на охоту в окрестности не выезжал, но, по всей вероятности, скоро выеду. В конце, презрев конспирацию, я для утешения приписал куплет из старой уланской песни: «Полно вам считать недели, Полно плакать обо

мне, Ведь не всех же, в самом деле, Убивают на войне…» Тон открытки был в высшей степени бодрым, но почему-то, когда я опустил ее в щелку облупленного ящика с почтальонским рожком, сохранившегося у входа в бывший госпиталь, во мне словно все оборвалось, как будто вместе с открыткой я бросил в почтовый ящик все, что у меня оставалось дорогого…

Во второй половине дня позеленевший от волнения Чебан вбежал в нашу палату, где я одиноко валялся на сене, перечитывая раннее издание «Депеш де Тулуз».

— Леш… тебя… Ищут тебя…

Не прошло и пяти минут, как я, несколько запыхавшись, уже стоял у передней и единственной дверцы старомодного автокара, в свое время, если судить по расцветке и ограждению для чемоданов на крыше, принадлежавшего туристическому агентству. Плотный, похожий на цыгана человек в пиджаке, но без галстука, с торчащей из пристяжного воротничка позеленевшей от пота медной запонкой, спросил, как меня зовут, сверился с документами на гербовой бумаге и указал пальцем на единственное остававшееся незанятым откидное сиденье возле входа.

Между находившимися в автокаре я не увидел никого из тех, с кем приехал, и вообще ни одного знакомого лица. Как это ни странно, все вошедшие раньше меня были, словно на подбор, светлыми блондинами. Но даже среди них выделялся неправдоподобно желтыми прямыми волосами сидевший в глубине очень высокий молодой человек, скорее всего скандинав, с обожженным южным солнцем правильным лицом. Однако еще больше, чем мастью, скандинавский великан поражал своим фантастическим туалетом, на нем было вызывающее сострадание в эту жару черное драповое пальто с бархатным воротником, белое шелковое кашне и в довершение всего — лоснящийся, будто вороненый, котелок. Лет десять назад в глухой провинции так одевались пожилые приказчики, и то лишь на похороны, а в Париже — сыщики.

Распоряжавшийся посадкой поднялся сразу за мной и обвел всех серьезным взглядом. На секунду в его блестяще-черных, как маслины, глазах мелькнула смешливая искорка, но погасла, когда он заговорил с жестким здешним акцентом.

— Мы выезжаем, товарищи. Я сопровождаю вас до цели и отвечаю за все, что может случиться. Но случиться ничего не может. Мы пересекаем границу совершенно легально. Все вы, тридцать семь человек, испанские граждане, бывшие на заработках во Франции, но решившие в связи с событиями вернуться на свою родину. Испанский консул в Перпиньяне

выписал на вас общий паспорт. На нем испанская въездная и французская выездная визы. Все, выходит, в полном порядке. Но беда в том, что таких испанцев, как вы, свет не видывал: все до одного, — он искоса глянул на меня, — все, кроме одного, настоящие альбиносы. Если вам не хочется, чтобы вас, а заодно и меня грызли голодные клопы перпиньянской тюрьмы, соблюдайте абсолютное молчание, и не при таможенном осмотре, а уже сейчас, с этой вот минуты. Кто не сумеет удержаться, пусть объясняется шепотом. Окон не открывайте и не высовывайтесь, чтобы, если где-нибудь остановимся, никакой фашистский провокатор не смог попытаться поболтать с вами по-испански или по-каталонски. А ты, товарищ, там, позади, сними, пожалуйста, с головы свою дыню, зачем ты задумал подражать английским лордам?

Я оглянулся. Скандинав, по-видимому, не понимал по-французски и котелка не снял. Говоривший безнадежно махнул рукой, уселся на свое место рядом с шофером, где обычно помещается гид, и что-то проговорил на местном диалекте, потом опять повернулся к нам:

— Итак, о чем бы вас ни спрашивали на границе, вы глухонемые. Все меня поняли? Тогда вперед.

Шофер нажал на стартер. Раздалось монотонное жужжание, но мотор не завелся. Шофер вторично наступил на педаль и с тем же результатом. Сзади зашевелились. Сопровождающий схватил кривую рукоятку, выскочил и энергично принялся заводить вручную. Шофер правой рукой подкачивал горючее. Прошло несколько мгновений. Вдруг мотор чихнул, раз, другой, и часто-часто зафыркал. Машина затряслась, ее окутало зловонным дымом. Наш вспотевший гид швырнул рукоятку под ноги шоферу, прыгнул на свое место и захлопнул дверцу. Машина, покачиваясь, выползла на пустырь за воротами, пересекла его и свернула в какой-то проезд между деревянными заборами. С полчаса мы, объезжая город, виляли по задворкам и наконец выбрались на мощеную дорогу. Она привела к обсаженному вековыми платанами асфальтированному шоссе. Погудев, мы выехали на него и довольно быстро покатили прямо на клонившееся к закату солнце. Вершины платанов почти соприкасались над нашими головами, образуя аллею, на асфальте играли солнечные зайчики. Сзади меня царило поистине гробовое молчание. Прошел час. Шоссе стало подниматься в гору. Пошли повороты. Платаны сменились молодым, довольно диким лесом. Через деревья и кусты просвечивали лучи вечернего солнца. Непрерывно трубя, автокар пролетел через небольшое селение. Ему вслед смотрели с любопытством.

— Ну, ребята, скоро и граница, — сказал нам провожатый, когда мы опять въехали в лес, — держитесь, помните, что вы — испанцы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Заросшее ущелье, по которому пролегало шоссе, вдруг превратилось в улицу: по обеим его сторонам потянулись прижатые к склонам перевала двухэтажные побеленные дома с чугунными балконами, но с парадными прямо на гудрон, — не то что для палисадников, а и для тротуара не хватало жизненного пространства.

Неожиданно автокар стал словно вкопанный в нескольких метрах от переезда через железнодорожное полотно, хотя шлагбаум был поднят. От крайнего домика справа, украшенного трехцветным флагом и овальным щитом с надписью «таможня», отделились вместо таможенников три гардмобиля и, шагая в ногу, направились к нам.

Если до сих пор в автокаре царила гробовая тишина, то сейчас ее вполне было можно назвать загробной. Мерные шаги жандармов звучали в ней, как удары в гонг.

Наш провожатый предупредительно развернул отпечатанный на тонком муаровом картоне оптовый паспорт на весь гурт. Один из гардмобилей с сержантскими шевронами на рукаве взял документ и бегло просмотрел его.

— Тридцать семь, — бросил сержант стоявшему рядом капралу. Тот, стукнувшись об стекло ребром каски, затенил сбоку глаза согнутой ладонью и принялся нас пересчитывать.

— Верно, — подтвердил он, отступая.

Сержант просунулся внутрь. Мы, кажется, и дышать перестали, тем более что при наглухо задраенных окнах дышать все равно было нечем.

— Запрещенного ничего нет? — спросил сержант и, не дожидаясь ответа, начал скороговоркой перечислять: — Наркотиков, золота в слитках, неоправленных драгоценных камней, денег во франках или иностранных девизах, превышающих дозволенную сумму, огнестрельного оружия не охотничьего образца… — Он подмигнул. — Крупнокалиберной мортиры, например, э?..

Никто из сидевших в машине не отозвался хотя бы смешком на его остроту, все настороженно помалкивали.

— Проверь, не везет ли кто карманный крейсер, какие строил Адольф, — подсказал третий гардмобиль, дружелюбно осклабясь.

Будто решив последовать его совету, сержант ткнул перстом в мой несессер.

— Откройте.

Щелкнул никелированный запор. Сверху лежало непросохшее

полотенце, и я приподнял его. Сержант оглядел носовые платки, тюбик зубной пасты, коричневых верблюдов на глянцевитых пачках сигарет.

— Мерси, мсье, — любезно поблагодарил сержант и ни с того ни с сего заговорил по-испански.

Я попытался понимающе улыбнуться в ответ, но, надо думать, у меня это не слишком получилось, ибо сержант усмехнулся и уже опять по-французски заключил:

— Возвращаясь на свою родину, сударь, вы напрасно не захватили самоучитель испанского языка.

Левой рукой сержант возвратил интегральный паспорт нашему проводнику, заложил ее за спину под карабин и прижал два пальца правой к каске.

— Все в порядке. Можете ехать.

Шофер закрыл дверцу. Сзади кто-то шумно перевел дыхание. Автокар рванул с места, как застоявшаяся лошадь, но тут же ему пришлось умерить пыл — путь пересекали рельсы. Машина, колыхаясь, переползла через них, проехала под вторым шлагбаумом и скатилась на продолжение прямой белой улицы. На ней не было ни души. Шагах в трехстах от переезда улица заворачивала вправо. По всей вероятности, там, за поворотом, и находилась вожделенная испанская граница. Однако шофер вместо того, чтобы прибавить газу, взял к обочине и остановился.

— Вот вы и в Испании, — как ни в чем не бывало объявил наш провожатый, выбрасывая ноги в сторону, чтоб встать.

Едва успел он договорить, как чей-то восторженный фальцет выкрикнул:

— «De-e-bout!»

И словно по команде тридцать семь глоток взревели такой «Интернационал», что старенький автокар ходуном заходил. Впрочем, это могло быть и не от громогласного пения, а от того, что дюжина нетерпеливых рук одновременно опускала боковые стекла.

Только гид и шофер почему-то не разделяли общего энтузиазма и не присоединились к нашему хору. Мне показалось даже, что круглое лицо ведавшего нашей доставкой перпиньянского товарища поморщилось, но проверить это мимолетное и малоправдоподобное впечатление не удалось. Он поспешно выскочил из машины, пересек шоссе наискосок и скрылся в первом от переезда доме. Как и на всех соседних, казавшихся вымершими, зданиях, на нем висел, спускаясь почти до земли, невероятных размеров флаг, состоящий из двух сшитых по диагонали треугольных полотнищ — черного и красного. От кого-то из побывавших в Испании я уже знал, что это цвета

иберийских анархистов.

Прошло не меньше получаса. На улице по-прежнему никто не показывался. Слабый ветерок то слегка надувал зловеще красивые флаги, то они опадали, как паруса в штиль. За спиной несколько голосов негромко переговаривались, насколько я мог судить, по-польски. Мне удалось уловить, что предметом обсуждения являлся Леон Блюм, но отношение к нему собеседников оставалось для меня неясным, пока отчетливо не прозвучало знакомое, невзирая на непривычное ударение и «у», произнесенное вместо «о» двусложное словцо, по-русски считающееся непечатным, но зато популярное в просторечье. Быстро оглянувшись, я убедился, что эту смачную характеристику дал Блюму костюмированный под служащего бюро похоронных процессий белокурый атлет, которого я принял за шведа.

Тем временем наш чичероне вынырнул из-под черно-красного стяга и, на ходу пряча коллективный паспорт во внутренний карман пиджака, опрометью бросился к автокару.

Увидев, что его никто не сопровождает, я невольно был разочарован. Мне наивно хотелось, раз уж мы пересекли границу и находимся на территории республиканской Испании, чтобы из дома, где так долго проверяли списки, кто-нибудь вышел и произнес нечто вроде «добро пожаловать», или как там говорится по-испански, на худой конец хотя бы просто улыбнулся нам. Но мотор уже пофыркивал на холостом ходу, и шофер, едва лишь его шеф взобрался в машину, дернул так, что тот мешком плюхнулся на место, а я чуть не упал с откидного, без спинки, сиденья.

Дребезжа, как цыганская повозка, автокар лихо преодолел поворот, пронесся мимо заброшенной заправочной станции и, так и не встретив ни одного человека, вылетел из поселка. Тогда, будто избежав опасности, шофер откинулся в кресле и сбавил скорость.

Вскоре шоссе завиляло на спуске, и низкое солнце то слепило нас спереди, то поочередно заглядывало в окна с боков, пока мы не выехали в долину.

Горы остались позади да еще справа, где вовсю разыгрался закат. Когда огненный ободок солнца скрылся за вершинами, они почернели, и оттуда потянуло холодом, но пучки оранжевых лучей, как прожекторы, били в побледневшее небо, и в долине пока не темнело.

Хотя момента переезда границы никто не заметил, начинало чувствоваться, что мы в другой стране, и не только из-за шоссе, которое было гораздо уже французских. Все здесь выглядело глуше, беднее, не так нарядно, не так рекламно красиво, как во Франции. Главное же, что поражало, — это безлюдье. Далеко в

горах и у их подножий, несмотря на сумерки, можно было разглядеть небольшие селения, но низменность, прорезанная прямым и узким шоссе, казалась необитаемой.

По мере того как смеркалось, шоссе делалось светлее, а земля по бокам его — темнее. Дорогу поэтому видно было хорошо, и шофер вел машину, небрежно развалясь. Внезапно он выпрямился, вытянул шею и принялся напряженно всматриваться в даль. Какое-то продолговатое серое пятно перегораживало впереди шоссе. Было еще светло, чтобы включать фары, и шофер схватился за грушу клаксона. Громкий блеющий звук нарушил вечернюю тишину. Непонятное пятно не подало признаков жизни. Шофер вторично посигналил и снял ступню с педали. Теперь стало видно, что поперек шоссе стоит осел. Ослабив одну заднюю ногу, он в блаженной дремоте замер на трех остальных и не желал обращать ни малейшего внимания на угрожающе вопящее и надвигающееся на него чудовище. Когда, заскрипев, автокар остановился, радиатор немного не касался похожих на обручи ребер, проступающих под потертым плюшем шкуры, но осел и тут не шелохнулся. Всем своим невозмутимым видом он выражал не презрение даже, а непоколебимое равнодушие. Он начисто игнорировал самое существование воняющего бензином и нагретым маслом автокара со всем его содержимым.

Шофер чертыхнулся и опять помял резиновую грушу В ответ на зычный механический вой осел хоть бы вздрогнул, он лишь брезгливо приложил к спине мохнатые уши. Подобного нахальства шофер перенести не мог. Он заорал почти так же истошно, как его клаксон, выпрыгнул наружу и, осыпая осла отборной французской бранью, и в частности, обозвав его — вопреки всякой очевидности — «грязной коровой», изо всех сил ударил ногой в брюхо. Осел и хвостом не махнул. Более индифферентно не повело бы себя и чучело. Тогда, упершись обеими руками в холку, а ногами в асфальт, шофер, под ободряющие восклицания своих пассажиров, начал спихивать серого стоика с дороги. Тот при каждом толчке немного подавался, перебирая точеными ножками, но затем вновь застывал в прежней позе, независимо помахивая хвостом с помелом на конце. Единоборство завершилось торжеством шофера, столкнувшего-таки осла в канаву. Но и там заросшая ослиная морда не утратила выражения собственного достоинства. Шофер оббил ладони одна об другую, уселся за баранку, и мы поехали, обмениваясь шуточками и оглядываясь на виновника происшедшей задержки.

Удивительный экземпляр! Хорошо известно, что ослы упрямы, но этот обладал не упрямством, а какой-то поистине

сатанинской гордыней. Он так и не снизошел до того, чтобы обратить на нас внимание. Презрительно уступив грубой силе, он остался в кювете этаким немым укором, пока понемногу не растворился в сумраке. Непонятно все же, как это он очутился здесь один-одинешенек поздним вечером, вдалеке от жилья. А может быть, мы прозевали пасшегося поблизости стреноженного коня со старинным рыцарским седлом на тощем хребте? Как бы то ни было, одно неоспоримо: мы, безусловно, перевалили через южные отроги неприступных Пиренейских гор и движемся по Испании, во Франции беспризорные ослы не выходят на автострады останавливать транспорт…

Темнело прямо-таки скоропостижно, и шофер зажег фары. Бесчисленные ночные насекомые заметались в их ослепляющем свете. Ничего живого, кроме них, навстречу не попадалось, и теперь, во мраке, еще сильнее походило, что мы пересекали пустыню. Это ощущение исчезло, когда через заднее стекло проник слабый луч, и в нем голубыми клубами, как дым ладана в церкви, заходил табачный дым, а по обочинам, то появляясь, то пропадая, замелькали выхватываемые из темноты кустики пересохшей травы, — где-то на большом расстоянии за нами шла другая машина.

И одновременно впереди, в черноте, раздвигаемой прыгающим на шоссе конусом света, засверкали и широко рассыпались в стороны электрические огни. Мы приближались к населенному пункту.

Под первым фонарем у въезда стояла кучка вооруженных людей. Один из них шагнул навстречу и поднял винтовку над головой, но наш шофер лишь потрубил и промчался мимо. Не проехали мы и полкилометра, как очутились в центре какого-то местечка. Пригасив фары и непрерывно гудя, автокар медленно продвигался среди густой празднично разодетой толпы, от тротуара до тротуара заполнявшей главную улицу. На домах развевались черно-багровые флаги, изредка с подоконников свисали оранжевые, в частую красную полоску, издали можно было подумать, будто проветривают матрацы. Перпиньянский товарищ не без самодовольства пояснил, что это национальные цвета каталонцев.

Осторожно раздвигая вечернее гулянье, мы добрались до площади с большим кафе, обставленным пальмами в кадках, пересекли ее и свернули в узкую улочку. Над нами, заслоняя звездное небо, встали громадные темные стены не то средневекового замка, не то стародавней крепости. По въездному мосту, через напоминающие шлюз ворота, в которых разгуливал кутавшийся в одеяло часовой, автокар вошел под своды короткого

туннеля и остановился в неосвещенном дворе.

— Прибыли, — со вздохом облегчения объявил перпиньянец.

Мы выпрыгивали на цементные плиты, разминая одеревеневшие ноги. Из мрака, топоча и перекликаясь по-французски, к нам сбегались.

— Эй, парни! — На бегу кричал невидимый тенор. — Есть кто из Парижа?

— Есть, есть, — отвечал некто из выходивших последними.

— Ну, как там? — посыпались вопросы. — Что нового? Префект полиции не очень без нас скучает?

— Эйфелева башня все еще на своем месте?

— А Сена не пересохла?

— Чтоб у тебя глотка пересохла!

— А что, и пересохнет без божоле!

— Кто тут из Клиши?

— Из Нанси никого?

— А из Леваллуа-Перре?

— Дайте вы им опомниться, товарищи, — усовещивал крикунов наш гид. — Лучше покажите, где они смогут отдохнуть.

Но не дав ни нам, ни ему опомниться, во двор, качая снопами фар, влетел длинный белый автобус. Дверцы его распахнулись еще на ходу, и из них в световое пятно от фонарей автокара с гамом посыпались новые приезжие, оказавшиеся старыми моими знакомыми — конспиративными фламандцами в набивших оскомину спортивных куртках. За фламандцами выгрузились еще человек сорок, но никого из нашего купе не было. С тем большим удовольствием увидел я Володю Лившица. Однако, протолкавшись к нему и обменявшись рукопожатием, я не успел его расспросить. Чей-то привыкший распоряжаться голос объявил из темноты, что в отведенном для нас помещении, к несчастью, нет тока, а кроме того, все там находящиеся уже спят и что потому нам удобнее будет расположиться на ночлег в пустующих казематах, благо ночь не холодная.

Через десять минут, неся на согбенных спинах разборные железные койки, мы ковыляли вдоль бесконечной бетонной стены с пробитыми в ней дырами для окон и чернеющими провалами входов без дверей. Над каждым, как уголек, тлела электрическая лампочка в проволочном колпаке, не прибавлявшем ей яркости. Многие из тех, кто вместе с нами тащил тяжеленные кровати, немилосердно режущие ребристыми краями плечи и пальцы, мало-помалу отставали, обнаруживая за очередным проломом в стене незанятый пятачок, достаточный, чтобы кое-как приткнуть свой одр среди других и улечься. Мы же с Лившицем упорно плелись дальше, нам хотелось устроиться посвободнее. Наконец,

оставшись совсем одни, мы уперлись в кирпичную ограду, направо от которой зиял прямоугольник последнего входа. Свалив три пуда железа на пороге, я чиркнул зажигалкой. Она немедленно погасла на ветру, но мы успели охватить глазами голые стены, цементный пол и — главное — отсутствие других ночлежников.

— Скорей всего здесь была конюшня, — заметил Лившиц, — запах такой.

— Что ты. Это краской воняет, а в конюшне, уверяю тебя, пахнет просто приятно.

Мы изрядно намучились, пока на ощупь расставили койки под серым оконным отверстием. Потом сходили за тюфяками и одеялами, сваленными посреди двора, принесли свои вещи и с наслаждением растянулись на жестких постелях. Засыпать приходилось на пустой желудок, — с Перпиньяна у нас во рту ничего не было, — но ни жажда, ни голод, ни въедливый запах масляной краски не помешали мне заснуть, не дождавшись ответа Лившица на вопрос, где же Пьер Гримм, Семен Чебан, Ганев и остальные наши товарищи.

Проснулся я на рассвете от оглушающего зудения множества мух. Они густо и мощно жужжали где-то поблизости, напоминая целый ансамбль виолончелей, усиленный контрабасами. В жизни мне не приходилось слышать столь разнузданной мушиной вакханалии. Я открыл глаза и приподнял голову с чемоданчика, без особого успеха заменявшего подушку. Лившиц, поджав колени к острому подбородку, безмятежно спал; без очков и во сне лицо его выглядело по-детски беспомощным. Налево, в пространстве между входом и расположенным против него углом чертили молниеносные зигзаги блестящие крупные мухи; некоторые вряд ли уступали шмелю размером и гудели не хуже пылесоса. Примыкающая ко входу стена была до потолка облеплена роями синих, медно-зеленых, бронзовых и графитно-черных мух. Но еще больше их сидело на полу. Меня охватила гадливость. Я вскочил. Звенящий шум удвоился: новые тучи испуганно взмыли вверх. Сорвав с постели одеяло, я кинулся выгонять их, но остановился. Мне преградила путь начинавшаяся в углу и на пядь не достигавшая порога густая темно-коричневая спекшаяся лужа, — прямо удивительно, как мы не влезли в нее ночью. Пятна того же цвета, вытянутые, словно их наляпал кистью маляр, испещряли стену над лужей. Я еще раз машинально взглянул на мух, потом — на лужу и вдруг понял: это кровь. Под пятнами на стене можно было даже обнаружить следы от пуль. Здесь, где мы, ничего не подозревая, мирно провели ночь, совсем недавно, возможно, вчера или позавчера, расстреливали…

Противно, ничего не скажешь. В ушах продолжал отдаваться азартный мушиный перезвон. Я оглянулся на Лившица, но он не просыпался. Не имело смысла будить его. Мало ли где еще доведется нам спать. Излишнюю брезгливость надо преодолеть. А если под брезгливостью скрывается повышенная нервная восприимчивость, то с ней необходимо справиться в первую очередь. Достаточно лишь вспомнить обо всем, что произошло и происходит в Испании, и эта ужасная лужа покажется каплей в море, отдельным кадром, мелькнувшим в историческом документальном фильме. Случайно этот кадр продемонстрирован мне крупным планом и поэтому произвел неправомочно сильное впечатление. Думается, что каждый, кто при пробуждении неожиданно упрется носками туфель в застывшую лужу человеческой крови, должен испытать известное потрясение. Но отправляясь на гражданскую войну, следовало бы приготовить себя к таким вещам. И прежде всего полезно осмыслить, кого могли расстреливать здесь, в республиканском тылу. Ибо вызывающее внутреннюю дрожь словосочетание «человеческая кровь» звучит в данном случае слишком общо. К этой вот стенке ставили не людей вообще, не «се человеков», а некоторых вполне конкретных господ: захваченных в плен кадровых офицеров, восставших против выраженной на выборах воли народа, неразмышляющих служак из гуардиа сивиль, выловленных при обысках фалангистов, может быть, кого-то из местных богачей, субсидировавших заговорщиков, или не успевшего удрать за границу сынка окрестного помещика. Достойны ли они сожаления? Эти люди подняли оружие в защиту своих привилегий, но еще в Евангелии сказано, что взявшие меч от меча и погибнут. Пусть так и будет. И хотя даже помещение, в котором совершалась казнь, возбуждает во мне неодолимое отвращение, но с тех пор как мною было принято решение занять место по сю сторону разделивших мир баррикад, я обязан взять на себя свою меру ответственности за все происходящее здесь. А потому да падет эта неправедная кровь и на мою голову, аминь!

Снаружи распространялось празднично ясное утро. Солнце пока не перевалило через Пиренеи, но в прозрачную голубизну неба уже больно было смотреть. Еще ночью нас успели проинформировать, что мы прибыли в крепость, возведенную в начале века на одном из двух возможных вариантов продвижения французских войск, дабы подкрепить ею в предвкушении мировой войны предопределенный нейтралитет испанских Бурбонов. С первого взгляда было видно, что окруженная высоченными и широченными, поистине иерихонскими стенами крепость эта строилась по устаревшим еще тогда рецептам и вряд ли смогла

бы выстоять даже в 1914 году.

Сейчас окаменелые просторы ее были безлюдны. В такую рань нормальные люди еще спят, и это убедительно подтверждал разнобойный храп, вылетавший из казематов, мимо которых я проходил. Однако на обширном плацу, показавшемся мне во вчерашней тьме небольшим двориком, кое-где прогуливались, по одному или по двое, бодрствующие товарищи. Быстро шагая в ногу, меня обогнали человек пятнадцать — молодых, рослых, чисто одетых, — по внешнему виду скорее всего их можно было принять за студентов. Они пересекли плац и по наружной лестнице, выложенной в самой высокой, обращенной к Франции стене, поднялись на парапет и выстроились у флагштока, под колышущимся на нем невероятных размеров анархистским флагом. Обратившись лицами навстречу еще не взошедшему солнцу, они подняли кулаки и стройно запели звучавшую, как бравурный марш, песню. Насколько удавалось расслышать, пели они по-итальянски, хотя, обгоняя меня, говорили между собой по-сербски.

Как бы в ответ на звонкую песню, первые солнечные лучи, пучком, будто из софита, озарили знамя, а потом упали и на поющих. Театрально освещенное утренним солнцем траурно-красное знамя, полощущееся на сверхъестественно голубом фоне над декоративной крепостной стеной, и дружный хор сильных мужских голосов делали все похожим на сцену из неизвестной оперы.

В дополнение, словно по мановению дирижерской палочки, из ниши крепостных ворот выступил, как и следует быть в добропорядочной опере, герольд с трубой в руке. Единственное, что портило ансамбль: труба была давно не чищена. Да и нарядился трубач скорее для оперетки. Расстегнутый солдатский френч спускался на серые полосатые брюки из тех, что носят банковские служащие посолиднее, а из-под брюк выглядывали белые полотняные тапочки; на голове красовалась надвинутая на самые брови рогатая пилотка с болтающейся на шнурке кисточкой, концы шелкового черного с красным шейного платка свисали на голую грудь. На левом плече горнист придерживал большим пальцем брезентовую перевязь направленной дулом в землю винтовки. Выставив ногу и вскинув горн вверх, как делают на парадах фанфаристы, он раскатисто протрубил несколько нот. По времени ему следовало бы сыграть зорю или даже повестку к ней, но, судя по отрывистости и энергичности сигнала, он исполнил нечто вроде призыва к атаке. Если такова была испанская побудка, то, во всяком случае, она достигала цели, ибо через несколько минут плац заполнился потягивающимися и

зевающими людьми.

И вдруг я увидел, что по лесенке из какой-то землянки с бетонированным и покрытым дерном накатом, должно быть, предназначенной служить пороховым погребом, поднимается, щурясь от солнца, встрепанный и явно неумытый Семен Чебан. За ним, обеими ладонями приглаживая волосы, показался Ганев, а дальше — все наше купе в полном составе.

Я кинулся к ним, и Семен, судя по его радостному удивлению уже зачисливший меня в без вести пропавшие, раскрыл навстречу прямо-таки отеческие объятия. Со стороны это трогательное зрелище, вероятно, донельзя походило на последнюю из описанных в «Станционном смотрителе» картинок, изображавших историю блудного сына, с той лишь разницей, что здесь не имелось повара, закалывающего в перспективе тельца упитанна. Впрочем, что я? И повар в перспективе был: в десять часов нас должны были кормить.

А пока я сбегал за Лившицем. Мушиная музыка нисколько ему не мешала, его понадобилось будить. Поскольку канализация в центральной казарме оказалась нарушенной, нам пришлось долго стоять в очереди у выброшенного через окно кухни шланга, но кое-как, все девять, мы помылись холодной до зубной боли водой. После этого грелись на солнышке и беседовали, не слишком, надо признаться, оживленно, — суточный пост сказывался. Я узнал, что мои спутники приехали перед рассветом, что Пьер Гримм, задержавшийся в Перпиньяне по делам, передал своих уленшпигелей кому-то другому, а Володю Лившица прикомандировал к нашей компании и должен сам к ней присоединиться не сегодня завтра.

Наконец уже около одиннадцати все постояльцы крепости («крепостники», как острил Иванов) потянулись к столовой, расположенной в отдельном одноэтажном здании. Она вместила всех: кроме югославов, певших на стене, поляков, вместе со мной преодолевших границу, приехавших следом за нами фламандцев и встретивших нас французов; здесь во главе со своими ответственными сидели представители еще многих народов, и в неразборчивую разноголосицу вплеталась то немецкая, то итальянская, то некая совсем непостижимая речь, — а всего, по черновым подсчетам Володи Лившица, не меньше двухсот едоков. Потные кухари в грязных передниках бегом разносили пирамиды глиняных мисок и с ловкостью жонглеров расшвыривали их по деревянным столам, на которых с одного конца рядами стояли пустые жестяные кружки, с другого — свалена груда потертых алюминиевых ложек, а посредине сложены клетью узкие, как кирпичи, белые буханки. Разломив и попробовав крахмальной

белизны крутой неприятно пресный хлеб и разобрав ложки, мы с плохо скрываемым нетерпением ждали, провожая всякую глазами, пока глазурованные миски, запускаемые рукой кухонного фокусника, поочередно докатывались по полированной поверхности до нас.

— Ну-ка, Дмитриев, какую команду подают у вас на флоте, когда борщ разлит по тарелкам? — вопросил неугомонный Иванов.

Зеленый от бессонницы и голода, но оживившийся при виде дымящейся пищи, Дмитриев негромко, но повелительно отчеканил:

— Вес-ла-а на́ воду!

Гребцы дружно окунули ложки, но уплыли недалеко. Несмотря на зверский аппетит, содержимое мисок вызвало замешательство. Во-первых, от непонятного блюда исходил очень сильный, но не очень приятный запах, во-вторых, оно смущало и консистенцией. Никто не мог сообразить, из чего оно приготовлено. На расстоянии, руководствуясь обонянием, его можно было принять за фасоль с испорченным мясом, но брошенный в миску взгляд сразу обнаружил, что в темном растительном масле плавает не фасоль, а нечто невиданное и потому возбуждающее сомнения.

— Турецкий горох, — рассеял всеобщее недоумение Ганев. — Правильное название: нут. Питательно, но неудобоваримо.

Зацепив ложкой некоторую толику вышеупомянутых нутов, по внешнему виду ближе всего приближающихся к разваренным желудям, он храбро сунул их в рот. Мы последовали его примеру.

— В Карпатах наши солдаты прозвали плохо проваренную перловую крупу — шрапнелью, — задребезжал высокий голос Остапченко. — Куда ей. Вот оно где действительно шрапнель.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Лопай, как говорится, что дают, — хмуро заметил Иванов. — Тем более голод не свой брат. Посмотрите вон на Трояна и давайте ему подражать. Ишь как уплетает.

— Сам бы рад, да с души воротит, — пожаловался Дмитриев. — Жир тухлятиной воняет. Ворвань какая-то, черт бы ее драл.

— Неочищенное оливковое масло, — успокаивал его Ганев. — Пахнет отталкивающе, но зато содержит много витаминов. Правда, на непривычный желудок оно действует вначале вроде касторки, однако другого здесь не употребляют, разве что в дорогих ресторанах. Посему придется понемногу начинать приучаться к нему.

Густое каштанового цвета масло было противно не только на

запах, но и на вкус. Я брезгливо вылавливал из него кусочки жесткого мяса, похожего на конину, или мучнистые, величиной с наперсток бобы и поскорее заедал сухим крошащимся хлебом.

— Видать… что учитель… Про все… знаешь…

Не вдаваясь в критику, Семен подобно Трояну успешно очищал свою посудину.

— При чем тут учитель. Я из болгарских колонистов, оттого и знаю про нут. А насчет масла все сведения из путеводителя.

— Эхма, картошечки бы со шкварками сюда, — умильно протянул Юнин. — А турецкий горох пущай бы турки себе и жрали. Нам бы не в обиду.

— С меня хватит, — Иванов оттолкнул наполовину недоеденную миску. — Все полезно, что в рот полезло, да этот басурманский горох в витаминовом масле без тренировки не лезет.

— В стране гражданская война, — напомнил Лившиц, — привередничать неудобно.

Возможно, что и со стыдом, но скоро все положили ложки, хотя опустели лишь две глиняные миски — Трояна и Семена Чебана. Один Лившиц из дисциплинированности продолжал жевать. По скучным лицам сидевших рядом французов и разноязычным репликам, долетавшим с разных сторон, было ясно, что завтрак ни в ком не возбудил восторга. Однако тонус слегка повысился при новом появлении раздатчиков. По двое они волокли сорокалитровые бидоны, в каких по всему белому свету развозят молоко, но, к приятному разочарованию, принялись разливать из них по составленным в концах столов кружкам вино. Мутное и лиловое, как чернила, сладковато-терпкое, оно отдавало медным привкусом и ничуть не походило на легкие французские вина, но тем не менее принято было благосклонно. За столами посыпались шутки, послышался смех.

Внезапно все головы повернулись к дверям. От них упругими шагами по проходу двигался очень красивый молодой испанец в защитной рубашке с засученными рукавами и повязанным по-пионерски опять-таки черно-красным галстуком; широкий кожаный пояс оттягивала спереди тяжелая кобура. Вошедшего сопровождал маленький, аккуратно одетый штатский с интеллигентным, но излишне самоуверенным лицом, по всей видимости, переводчик. Оба поднялись на небольшое возвышение в глубине, на котором стоял ненакрытый круглый столик; должно быть, в свое время за ним обедал дежурный офицер, наблюдая за порядком в солдатской столовой. В разных местах зала зашикали, и настала полная тишина.

— Внимание, товарищи! — не напрягаясь, но так чтобы было

слышно в отдаленных углах, провозгласил переводчик, причем его «р» показалось мне излишне твердым для француза.

— Я этого человека знаю, — зашептал Володя Лившиц. — Он тоже из Брюсселя. А вообще-то из Польши. Зовут его Болек, Болеслав. Выходец из богатой и религиозной еврейской семьи. Порвал с ней. Играет заметную роль в студенческой партийной организации. Никак, признаться, не подумал бы, что он здесь.

— Внимание! — повторил Болек. — К нам пришел представитель местных революционных сил. Он командир, или, правильнее, респонсабль роты, несущей караульную службу в крепости, и тем самым является нашим гостеприимным хозяином. Камарада хочет сказать вам несколько слов.

Присевший в ожидании на край столика, респонсабль караула соскочил и шагнул навстречу аплодисментам. Теперь, когда, горделиво вскинув подбородок и положив правую руку на кобуру, он повернулся лицом к нам, было хорошо видно, что это совсем еще мальчик, и притом поразительно похожий на недавнего кумира кинозрительниц обеих Америк и всей Западной Европы — на божественного Рамона Наварро. Но, конечно, Рамон Наварро и в подметки не годился стоявшему перед нами безвестному своему двойнику. Ведь знаменитый голливудский красавец был застрахован на астрономическую сумму долларов, и все головоломные трюки в «Бен-Гуре» за него выполняли дублеры, тогда как этому вызывающе красивому юноше во всех предстоящих опасностях никаких дублеров не полагалось и ни одно страховое общество не рискнуло бы и полуцентом за его жизнь.

Нельзя было, однако, не заметить, что готовившийся нас приветствовать представитель местных революционных сил по неизвестной причине охвачен негодованием. Он побледнел, ноздри его раздувались, про большие, как у женщины, глаза Станюкович сказал бы, что они метали молнии. В нетерпении прекрасный юноша даже топнул и срывающимся голосом, с невероятной быстротой выпаливая слова, что-то прокричал сквозь наши рукоплескания и повелительно взглянул на Болека.

— Вы что, в театр пришли или в ночное увеселительное заведение? — не отстающей от возбужденной речи молодого испанца французской скороговоркой, только без всякого выражения, перевел Болек. — Зачем вы мне аплодируете, как полуголой танцовщице? Разве вы знаете, что я вам скажу?..

Аплодисменты вмиг стихли, лишь у входа одиноко прозвучал запоздалый хлопок кого-то из не понимающих по-французски. Наступила неловкая пауза, продолжительная, будто мы и впрямь сидели в театре. Не знаю, как другие, но я испытывал стыд за

невольно совершенную бестактность. Дурацкий действительно обычай…

Разгневанный молодой человек, по-прежнему держась за кобуру, сделал еще шаг к нам и поставил ногу на барьер возвышения, смотря на нас свысока и в прямом и в переносном смысле слова. Мы доброжелательно выжидали, глядя на него снизу вверх.

Он сухо произнес обращение, но это не было ни «камарадас», ни «компаньерос», которых все ожидали.

— Иностранцы! — перевел Болек.

Многие переглянулись.

— От анархистов города Фигераса, от всех братьев-анархистов Каталонии я говорю тем из вас, кто ступил на нашу землю с честным намерением: салуд!

За одним из столов как по инерции начали было аплодировать, но вовремя спохватились. Молоденький анархист презрительно покосился в ту сторону.

— Но имейте в виду, нам достоверно известно, что среди вас есть и такие, которые приехали сюда не для того, чтобы героически умирать рядом с нами, но чтобы после победы над фашистами помочь одной партии захватить власть и установить свою диктатуру. От имени Федерации анархистов Иберии, от имени миллионной нашей Национальной конфедерации труда предупреждаю: таких ждет позорный конец!

По его лицу пробегала нервная дрожь, нежный девичий рот искривился, глаза стали пугающе схожи с очами врубелевского демона.

— Верная гибель и вечное проклятие испанского пролетариата ждет их здесь! Мы, вольные анархисты, мы, непоколебимые враги любых форм рабства, не позволим никому командовать нами! Мы не допустим, чтоб эту освобождающуюся страну превратили справа или слева в тоталитарное государство! Долой всякую власть! Долой все ограничения! Да здравствует либертарная революция! Да здравствуем мы!..

Болек бесстрастно, но громко и отчетливо переводил одно звонкое восклицание за другим. На сей раз воля гордого юноши была уважена, и неприличных аплодисментов не последовало. Его выступление настолько не походило на приветственное, что заранее настроенные более чем доброжелательно слушатели несколько оторопели. Однако, несмотря на заключавшийся в выслушанной нами по меньшей мере странной речи оскорбительный намек и сопровождавшие его угрозы, никто не рассердился. Почему-то этот неуравновешенный, слишком красивый и очень дерзкий подросток не вызывал враждебного

чувства. Подкупала его несомненная искренность, его самолюбивая взволнованность, а за болезненной мнительностью, за подсказанной кем-то подозрительностью проглядывала обескураживающая наивность. Интересно знать, что представлял из себя теперешний респонсабль анархистского караула до начала событий, кем он был: статистом на киносъемках, лифтером в дорогом отеле, парикмахером или семинаристом? Ясно, что он не фабричный рабочий, не докер и не рыбак, — маленькие руки, гладкая речь, непринужденные движения исключали такое предположение.

Был ли он настолько чуток, что уловил некоторую перемену в нашем настроении, или ему самому были свойственны резкие переходы, но после паузы он совсем иным повелительным тоном обратился к Болеку, который автоматически продолжал переводить:

— Находясь в крепости, все обязаны соблюдать определенные требования. Вам надлежит вставать и отходить ко сну по сигналу, а также своевременно являться к завтраку, обеду и ужину, опоздавшим пища отпускаться не будет. Вы не имеете права отлучаться из крепости; двухчасовой отпуск для ознакомления с Фигерасом разрешается один раз каждому вновь прибывшему, но только по групповым спискам с назначенным ответственным за группу. И последнее: на случай налета авиации все обязаны переселиться в казарму, нижний этаж которой является надежным убежищем; ночевать в других помещениях и на открытом воздухе воспрещается…

Дав эти указания, он спрыгнул с помоста и устремился к выходу. За ним поспешил Болек. Про себя я отметил, что в похвальном стремлении поддерживать в казарме минимальный порядок, начальник, то бишь ответственный караула, определенно отклонялся от анархистской догмы.

Первым мы выполнили последнее из его распоряжений, и еще до обеда все двести с чем-то человек вместились в беспорядочно заставленный железными кроватями громадный двусветный зал на втором этаже центрального приземистого здания с плоской, засыпанной гравием крышей. Среди новоселов тут же нашлись монтеры, которые по собственной инициативе взялись за восстановление перерезанной и оборванной в разных местах проводки.

Но отсутствие электрического освещения было не единственным неудобством нашего дортуара, как под преобладающим влиянием французского языка стало шикарно именоваться наше этапное логово. Чтобы попасть на второй этаж, надо было подняться по широкой каменной лестнице, нижние

ступеньки коей тонули в недвусмысленно пахнувшей жиже, продолжавшей прибывать из расположенных в полуподвале засоренных и вышедших из берегов казарменных уборных. Вонючее половодье не только до щиколотки затопило предназначенный служить бомбоубежищем этаж, но и преградило путь к умывальникам, доски же и трапы, переброшенные через отвратительную гущу, постепенно превратились в колеблющиеся под ногами плоты. Несмотря на двойные двери и сквозняки, разгуливавшие по дортуару между аккуратно выбитыми по обеим сторонам окнами, выворачивающее внутренности зловоние проникало и к нашим изголовьям.

Второе распоряжение — о своевременной явке в столовую — мы, вопреки собственной заинтересованности, выполнить не смогли по той простой причине, что обед, как и завтрак, не был своевременно готов. Впрочем, имевшиеся в нашей среде бывалые люди без тени юмора утверждали, что ни один самый опытный повар ни за что не сможет угадать, сколько времени потребуется, чтобы разварить «гарбансас», как эти бобовые великаны именуются по-испански.

После заправленного томатным пюре и переперченного супа с наконец-то разваренными, мягкими, как клецки, гарбансасами, подкрепленного весомым куском плотного и безвкусного, словно выпеченного из замешенного для опресноков теста (наученные горьким утренним опытом, все, за исключением всеядных Трояна и Чебана, уклонились от благоуханного второго блюда) и запитого тем же густым вином, мы приступили к исполнению третьего указания анархистского шефа. Наша «языковая группа», как все чаще называли нас в официальных случаях, хотя, должно быть, никто на свете не сумел бы объяснить, что сие означает, построившись в четыре ряда, с Трояном и Ганевым на правом фланге и с Остапченко и Юниным на левом, вслед за другими новоприбывшими направилась к воротам. Мы звали с собой Лившица, оставшегося за отсутствием Пьера Гримма без пастыря, но он отказался, заявив, что находится в Фигерасе не для туристических экскурсий и что ознакомление с достопримечательностями Испании удобнее отложить до конца гражданской войны. Пришлось махнуть на него рукой.

В туннеле, когда подошла наша очередь, Чебан в качестве респонсабля группы выступил из рядов и вручил стоявшему перед кордегардией небритому часовому список на восемь человек, подписанный им и утвержденный высшим начальством — респонсаблем респонсаблей, в каковые с сегодняшнего утра был произведен переводчик Болек. Часовой пересчитал нас, дотрагиваясь до каждого, и нажал кнопку на стене. Солидная, как

створка сейфа, дверь открылась.

По отполированному шинами асфальту мы быстро спустились к центру Фигераса, где разошлись, договорившись собраться наверху за четверть часа до истечения отпущенного нам срока. Я объединился с Ганевым, и мы, обойдя площадь по окружности, попали на главную улицу. Если бы не испанские вывески, не флаги и не толпа, фланирующая, как и вчера, по проезжей части, Фигерас был бы во всех отношениях копией провинциального городка в Юго-Западной Франции. Те же крохотные продуктовые лавчонки с выставленными для соблазна покупателей на тротуар овощами и фруктами, те же парикмахерские в подвалах с медным диском вместо таза над входом и обнаруживающейся за шторой из висюлек крутой лестницей без перил, те же парусиновые навесы с фестонами над столиками двух конкурирующих кафе на противоположных углах самого оживленного перекрестка, а в боковых улочках точно такие же ухабистые мостовые, сложенные из неровных камней. Зато в воздухе Фигераса вместо сонных французских будней чувствовалась праздничная приподнятость, от прогуливавшихся исходило нефранцузское радостное возбуждение, и это — вместе с прилизанными проборами и начищенными полуботинками неряшливо одетых мужчин, вместе со сложенными веерами в женских ручках и цветами в их напомаженных высоких прическах, вместе с гнутыми решетками на окнах нижних этажей, еще с мавританского владычества блюдущих невинность дев и верность жен, вместе с революционными символами и политическими лозунгами, нацарапанными или начертанными то мелом, то углем на стенах, — напоминало, что мы в борющейся Испании.

Поднимаясь к воротам крепости, мы издали увидели, что Чебан и Остапченко уже ждут. Вскоре подошли Иванов с Трояном. Узенькие серые глазки Иванова блестели довольством.

— За морем житье не худо, — констатировал он. — В магазинах есть все и — дешевле грибов. А мимо питейных заведений лучше не проходить. Трояну-то хоть бы хны, его, черномазого, за своего держат, зато как глянут на мою кирпу, так и давай кричать: «Волунтарио! волунтарио эстранхеро!» — чеши, мол, сюда! И тянут угощать. Пить-то даром вкрасу, да не ходить бы на носу. Еле отбился.

Еще не сменившийся часовой опять сосчитал нас, прикасаясь к каждому левой рукой, сверился со списком и пропустил.

На следующее утро я проснулся на рассвете. Одновременно со мною пробудился Иванов. Спустив босые ноги в проход между койками, он энергично скреб ногтями свой ежик.

— В чужом пиру похмелье, — пробурчал он и потряс Трояна

за плечо. — Подъем, друг. Вставай.

Вслед за Трояном зашевелился Остапченко, за ним Ганев, а там и все.

— Подымайтесь поживее… ребятки… — стал он тогда уговаривать нас. — И айдате во двор… Потолковать… треба…

Не успели мы рассесться в ряд на выступе, тянущемся вроде завалинки вдоль боковой стены казармы, как, астматически кашляя, в ворота влетел досконально изученный мной автокар, за ним — тоже известный белый автобус и последним — крытый брезентом полуторатонный фургон, а через минуту мы, как школьники, взапуски бежали к издали замеченному в толпе прибывших Пьеру Гримму, который со стоической улыбкой выдержал железные объятия пришедшего в экстаз Чебана.

Мы привели Пьера на нашу завалинку, и Семен с места в карьер атаковал его вопросом:

— Когда дальше поедем?

— Намечено на завтра. Осталось добрать людей на эшелон. Со мной приехало сто десять, значит, всего здесь триста с небольшим человек. За сегодня еще сто — сто пятьдесят товарищей подъедет, а ночью начнется формирование поезда на Барселону.

— Считая с Перпиньяном, четверо суток полностью потеряно, а ведь каждый день на счету, — возмущался Лившиц.

— Расскажи еще… — Чебан облизнул сухие губы. — Мадрид как?..

— Со стороны Толедо фашисты приблизились к стенам города вплотную. Они из кожи лезут, стараясь во что бы то ни стало взять его к Октябрьской годовщине.

— Тем яснее, что нам следует быть там, и тем глупее задерживать нас здесь, — настаивал Иванов. — Дорого яичко ко Христову дню!

— До праздников, положим, нам в Мадрид все равно не попасть: на наше формирование и подготовку отводится две недели.

— Так мы ж в спецчасть.

— И специальную часть формировать надо. Кстати, имейте в виду, что ваша «языковая группа» в Перпиньяне была переименована в «группу без названия» и одновременно пополнена двумя человеками: в нее включили Лившица и Гримма. А до прибытия к месту назначения меня, по настоянию Семена, назначили ответственным вместо него.

Пьер пустил по рукам пачку «Голуаз блё», закурил сам и обвел нас карими матовыми глазами.

— Кто что скажет?

Никто ничего не сказал.

— Народ безмолвствует, — ответил Ганев.

— Молчание — знак согласия, — напомнил Володя Лившиц.

— Значит, принимаете. Тем лучше.

Все вздрогнули, но не от слов Пьера — за нашими спинами трубач трескуче заиграл испанскую побудку.

— До чего колоритная фигура, — восхитился Володя Лившиц, — И прирожденный трагик. Не сигнал трубит, а объявляет последний день Помпеи.

— Последний день Фигераса, — поправил Пьер. — Следующий этап Барселона. Завтрак скоро?

— Если проголодался, запасись терпением, — посоветовал ему Лившиц. — Здесь не торопятся.

— В дороге говорили, что у вас тут есть солдатская кантина, а в ней принимают французские деньги. У меня завалялась их малая толика. Аперитив перед завтраком всем не повредит, а кой-кому из присутствующих просто-таки необходим. Короче говоря, я ставлю — ведите.

Не то чтоб вести — никто из нас, старожилов, не слыхивал и о самом существовании кантины. К счастью, из казармы, отплевываясь, один за другим пулей вылетели бывшие подопечные Пьера. Завидев его, они радостно загалдели, замахали руками, однако задерживаться не стали и устремились куда-то вбок. Лившица осенило:

— Пари держу, что они побежали в эту самую кантину. Пошли за ними.

В кантине дым стоял коромыслом. Фламандцы оказались не самыми ранними пташками и теперь чинно стояли в очереди у стойки, за которой распоряжалась дородная, но подвижная женщина, отлично говорившая по-французски. Она успевала и разливать напитки по рюмкам, и производить валютные операции, меняя франки по слегка округленному прежнему курсу: два за одну песету. Однако и при этом цены на французские аперитивы были в два с лишним раза ниже, чем по ту сторону Пиренеев.

Мы заняли очередь за бельгийцами. В глубине помещения я увидел Лягутта, жестикулирующего в компании таких же типичных, как он, представителей парижских предместий. Заметив нас, он вскочил и подошел поздороваться, заверяя, что его друзья сейчас уйдут и уступят нам свои стулья. Уже выходя, Лягутт познакомил меня с черноглазым, чернобровым и круглолицым молодым французом.

— Тоже парижанин, состоит в Коммунистической молодежи, его фамилия Белино.

Я пожал большую и сильную руку Белино, который, пощипывая тоненькие усики, с приятной улыбкой слушал Лягутта, объяснявшего ему, что я русский, но не советский русский, а белый русский, то есть не белый русский, а, одним словом, бывший белый русский!..

Прижавшись из-за тесноты друг к другу, как влюбленные, мы вдесятером просидели над порто с содовой около четверти часа, но даже за такое короткое время на земле наступил мир, в человецех благоволение, и волк пасся рядом с ягненком, — Иванов во всяком случае ни словом не задел Дмитриева. Мы с наслаждением провели бы так и четверть дня, но в дверях ждали другие жаждущие.

После завтрака (он состоял все из той же сдобренной жестким мясом разваренной турецкой шрапнели, но в связи с прибытием пополнения отпускался в две смены и опоздал еще больше, чем всегда) мы вышли на залитый солнцем плац. Везде, где была тень, люди собирались в кучки. Звучали песни на разных языках. Облюбованную нами завалинку уже заняла сплоченная группа немецких эмигрантов. Отбивая такт подошвами, они на мотив припева к советскому авиационному маршу «Все выше, и выше, и выше…» в унисон пели свои слова и через строчку как рефрен с воодушевлением прибавляли возглас: «Рот фронт!» Потом, все так же стуча башмаками, начали с речитатива: «Links! links! links! links und links!»

— Прямо тебе «Левый марш» Маяковского, — усмехнулся Лившиц.

Но те громко запели: «Die Jugend marschiert…»

Осанистый пожилой немец с лицом Вагнера да еще и в берете отступил от поющих на несколько шагов и, прижав ладони к ляжкам, что-то выкрикнул. Сидевшие повскакивали, те, кто стоял, засуетились, немецкая группа построилась и принялась маршировать, высоко вскидывая колени, как когда-то ходила германская пехота. В противоположном углу плаца, неподалеку от кантины, по четыре в ряд, быстро шагали взад и вперед югославы.

— А что, если и нам потопать немного, — предложил Пьер, — скоро неделя, как мы валяемся на боку или сидим, на чем положено, сиднем. Невредно бы поразмяться, а заодно и вспомнить, как ведут себя в строю.

— И то дело, — согласился Иванов. — Коли хочешь воевать, умей саблю вынимать.

— Как вынимать саблю, нам покажут на месте. А до того хотя бы ходить не разучиться. Алеша, ты последним из нас муштру проходил, не забыл еще?

Я ответил Пьеру, что, конечно, не забыл, да и как я мог забыть, если окончил кадетский корпус в 1925 году, а вообще строевой премудрости меня начали обучать на уроках, которые так и в расписании назывались: «Фронт», еще с десяти лет, когда я в 1916 году поступил в Первый кадетский корпус в Петрограде.

— Ну, раз не забыл, покомандуй своими товарищами, да построже.

Мы отошли подальше, к казематам, где мы с Лившицем провели ночь приезда, и я отдал предварительное приказание:

— Отделение, слушать мою команду.

Смехотворное это было отделение из десяти человек вместе с отделенным, и все в штатском, но на войне как на войне, и я крикнул:

— Отделение, стано-вись!

Сперва произошла заминка. Но вот, расправив широкие плечи, Троян обозначил правый фланг, к Трояну присоединился застегнувший пиджак на обе пуговицы Ганев, к ним пристроились Иванов и Гримм, за руку подтянувший к себе Чебана, рядом с Чебаном, снисходительно улыбнувшись, стал Дмитриев, тронув Дмитриева, как положено, согнутым локтем, а носком ботинка отбросив мешающий камешек, занял свое место Остапченко, только Юнин и Лившиц никак не могли разобраться, кто ниже.

— Прекратить разговорчики! — вмешался я и, больше доверяя стародавнему солдату, чем вчерашнему студенту, распорядился:

— Юнину быть левофланговым. Р-равняйсь!

От Трояна я проверил, как выполнена команда. Начиная с середины, равнение было никуда. Осадив Чебана назад, я предложил Дмитриеву подобрать живот, а Лившицу и Юнину податься вперед.

— Юнин, забыли, что, равняясь, вы должны видеть грудь четвертого от вас? А еще старый солдат!

Вот теперь это стало похоже на шеренгу.

— Смирно!

Я обошел строй, оглядывая каждого. Первые четверо стояли как гвардейцы, но Чебан невозможно напрягался, а Дмитриев возле него держался излишне распущенно; красивее всех в стойке «смирно» был неказистый Остапченко; Лившиц не сдвинул каблуки, а Юнин задрал левое плечо. Я поправил их и вышел на середину.

— По порядку номеров… ра-ассчитайсь!.. Отставить!

Прежде чем повторить команду, пришлось объяснить Чебану и Лившицу, что, называя свой порядковый номер, следует поворачивать голову налево, дабы его расслышал следующий, а

Юнину напомнить, как при этом должен вести себя левофланговый. Кое-как рассчитались.

— В две шеренги-и… стройся!

На сей раз один из двух наших безусых новобранцев, будучи пятым по порядку, слава богу, остался на месте, зато второй, Володя Лившиц, повертевшись во все стороны и сообразив, что происходит, отпрянул назад, потом зачем-то влево и стал в затылок Юнину, который как-никак представлял неполный ряд. Замешкался и Дмитриев.

Специально для него я посоветовал тем, у кого четный порядковый номер, но нечеткая память, поднапрячь ее и не забывать о нем. Потом я на себе показал, как строятся в две шеренги и что делают по команде «сомкнись!». В дальнейшем я сначала разъяснял команду, сам демонстрировал ее исполнение и лишь затем отдавал ее. Все пошло как по маслу. Еще бы. Не только командовать, но и выполнять я умел. Даром, что ли, гонял меня, тогда маленького мальчика, по необозримому плацу Меньшиковского дворца штабс-капитан Беленков, а позже — поручик Черненко по плацу огромных казарм, выстроенных в Сараеве австрийцами!

— На первый-второй рассчитайсь! — старался я. — Ря-ады-ы… сдвой! Отставить! Еще разок: ряды-ы… сдвой! Сойдет. Напра-а… оп! Шаго-ом… арш!..

Когда часа через полтора мы, изрядно усталые (а я еще и охрипший), гурьбой возвращались к столовой, по всей крепости, отдаваясь эхом от стен, разносились разноязычные командные возгласы. «Fixe!» — выдавливал из себя пропитый тенор с одной стороны. «Ми-и-рно! Поздрав на делено!» — неслось с другой.

— Всяческие команды на всех двунадесяти языках сотрясали воздух Испании во времена наполеоновского нашествия, — мечтательно заговорил Остапченко, — и это самое французское «Fixe!» и по-итальянски и по-польски, и какие-нибудь вюртембержцы здесь побывали, не говоря уже о войсках герцога Веллингтона, а когда ты прикрикнул: «Тверже ногу!» — я подумал, что российских команд на испанской земле испокон веков не звучало, так что сегодня произошло в известном смысле историческое событие…

Строевые занятия имели одно положительное последствие: ни в одной тарелке ничего не осталось.

При выходе из столовой мы наткнулись на целый митинг. Еще со ступенек я узнал нового своего знакомого Белино, окруженного кольцом французов. Гримм, Ганев, Лившиц и я подошли послушать.

— Еще чего, — сипло говорил здоровенный дядя с

приплюснутым, как у боксера, носом, — нам это абсолютно не интересно, мы завтра уезжаем. Пусть те, что прибудут после нас, если им захочется, и убирают.

— Что я слышу? Где нахожусь? — с комическим ужасом вторил ему маленький толстяк. — Не грежу ли я? Не вернулась ли ко мне моя юность? Может быть, я опять отбываю воинскую повинность и опять получил от своего драгоценного боцмана два наряда вне очереди, что меня посылают чистить клозеты?

Собравшиеся рассмеялись, но и сквозь смех пробивались протесты:

— Даже Бубуль не хочет… Мы не сумасшедшие… Все равно нас слишком мало, до ночи не убрать…

Гримм осведомился у вертевшегося тут же Лягутта, о чем идет речь.

— Да вот, понимаешь, Белино упрашивает ребят осушить болото под казармой, а они отказываются.

— А ты не задумывался, товарищ, — игнорируя того, кого прозвали Бубулем, задал Белино вопрос человеку с перебитым носом, — ты не задумывался, что скажут те, которые прибудут после нас и поселятся в здешней казарме? Они скажут, что до них здесь жили какие-то грязные животные, а не люди, и ни за какую цену не поверят, что тут побывали парижские пролетарии.

— Не мы это сделали! — закричал кто-то с искренним негодованием. — До прибытия самых первых волонтеров уже было так. Тут перед походом на Сарагосу стояла анархистская колонна. При них забилось. Они вовремя не проковыряли, а теперь, две недели спустя, в их дерьме копаться! Несправедливо! Испанцы виноваты, пусть испанцы и убирают!

— Мы приехали им помочь, — мягко возразил Белино. — А так рассуждать, зачем было и ехать: пусть себе испанцы воюют. И не надо забывать, — он улыбнулся своей открытой улыбкой и потрогал усики, — что после анархистов и мы с вами туда кое-чего добавили.

— Чем убирать, придумал? Нет ни насоса, ни патрубков. Горстями будем черпать?

— Стоит захотеть убрать, а чем — найдем. На складе возле конюшен сохранилось десятка два брезентовых ведер, с дюжину железных, лопат штук сто, а пустых патронных ящиков, сами знаете, по всем углам сколько угодно. Собьем половину лопат с рукоятей, приколотим их к ящикам, получим больше, чем надо, носилок.

— А таскать куда? — спросил Лягутт.

— Вон возле той стены цементный купол с крышкой, видишь? Там выгребная яма, соединенная с канализацией.

— Далековато.

— Начнешь носить, порадуешься, что далеко и можно отдышаться.

— Не считаешь ли ты, что уже меня уговорил?

— Тебя и уговаривать не надо. Ну, кто с нами, двинули на склад.

Но двинулось за Белино и Лягуттом всего несколько человек. Оставшиеся молча смотрели им вслед. Один подумал-подумал и пустился вдогонку.

— Много званых, да мало избранных, — сыронизировал Ганев.

— Пошли и мы, — решил Гримм. — Зови, Алеша, остальных.

Но с остальными вышла заминка. Дмитриева, едва он услышал, куда его приглашают, всего передернуло, и он отказался. Он никак не может, он чересчур брезглив, его обязательно стошнит. А Иванов, тот даже удивился:

— Что я, ассенизатор? Скажи своему Пьеру, что мы с Трояном явились сюда фашистов из пулеметов косить, а не сортиры чистить. Согласен со мной, Троян?.. Вы лучше Юнина пригласите. Это по-его специальности. Дело, говорят, мастера боится.

Юнин, конечно, обиделся и тоже стал отнекиваться. Спас положение Остапченко:

— Шагай, шагай, брат, не упирайся. Мы с тобой старые вояки, должны знать закон: зовут — иди, дают — бери, а бьют — беги.

Втроем — Юнин шагал впереди, за ним Остапченко и я — мы не успели пройти несколько метров, как к нам, продолжая упорно молчать, присоединился Троян. Когда, уже вчетвером, мы огибали стоявших на прежнем месте французов, отказавшихся последовать за Белино, один из них, указав взглядом на шествовавшего перед нами Юнина и понижая голос, сообщил, что этот пожилой товарищ — аутентичный полковник собственной гвардии его величества царя, и высказал сомнение, уж не ведет ли он русских ребят из Парижа помогать тем, кто с Белино. Ну как тут было мимоходом не сделать вывода, что путем последовательных непонятных названий блестяще удалось законспирировать национальную принадлежность нашей группы!

Через полчаса человек десять французов и мы, кто с брезентовым ведром в каждой руке, кто попарно с самодельными носилками, столпились у входа в казарму перед понтоном из дверной створки. Лягутт проверил глубину лопатой: около двадцати сантиметров. Все начали разуваться. Большинство осталось в одних трусах. Бывший аутентичный полковник лейб-гвардии произвел форменный фурор, когда обнаружилось, что он носит длинные кальсоны со штрипками, да к тому же розовые. Но

смех и ядовитые шутки сами собой прекратились, едва Юнин, засучив свои цвета фламинго невыразимые, взял оцинкованное ведро и, не дрогнув, первым ступил в вонючее месиво.

— Подавай носилки, наливать буду, — деловито распорядился он по-русски и, должно быть, желая быть понятым французами, добавил: шнеллер, хлопцы, шнеллер, а то холодно в одних подштанниках-то.

Лившиц и Остапченко подставили носилки, и Юнин в два счета наполнил их до краев. Невыносимый и ранее смрад еще усилился. Белино глотнул слюну, но мужественно последовал примеру Юнина. За ним вошел в экскременты Лягутт, с его стороны было глубже, и мерзкая каша скрыла его мускулистые икры. Я стал еще правее. Гримм и Ганев немедленно подсунули мне ящик на длинных палках. Я наполнил сей паланкин в шесть приемов. Неуверенно переступая босыми подошвами, они удалились. Вместо них возникли двое незнакомых французов. И — раз! И — два! И — три! И — четыре! И — пять!… После пятого ведра французы взмолились: больше не надо, будет расплескиваться. За ними подбежала еще пара. Потом кто-то ткнул свои два брезентовых ведра, и пошло.

Несмотря на теплую погоду, ногам было холодно и притом скользко, даже не скользко, а отвратительно склизко. Но все это казалось мелочью по сравнению с ощущением, какое возникало, когда приходилось нагибаться и набирать нечистоты ведром. Однако на десятых или одиннадцатых носилках позывы на рвоту, можно считать, прекратились. Зато все сильнее мерзли ноги и почему-то принималась кружиться голова. Белино предупредил, что ровно через час «водолазы», как он назвал тех, кто грузит, включая и себя, будут сменены, но пока нескончаемый час прошел, мои ноги в полном несоответствии с проделываемой мною гимнастикой, застыли до колен. Впрочем, и телу не казалось жарко: оно было забрызгано по плечи.

Наконец нас сменили. Выбираясь на измазанную площадку, я с тайным состраданием посмотрел на Пьера, занявшего мое место. Никто, не испробовав этого на себе, не мог и вообразить, какое ему предстоит испытание.

Вымыться было негде и пришлось взяться за носилки позади Ганева грязными руками. На воздухе не только сделалось теплей, а и дышалось, понятно, легче, но не настолько, как я ожидал. Ведь мы сновали взад и вперед по торной дороге, уже орошенной и унавоженной расплескивающимися на бегу ведрами и течью из щелей. Но хуже всего разило из выгребной ямы, куда поочередно выворачивали носилки и ведра. Она была настоящим вулканом зловония. Лишь когда Белино сообразил открыть кран

вмонтированного в нее водопровода, немного полегчало. Но главное облегчение состояло в том, что ряды добровольных ассенизаторов, уже увеличившиеся по сравнению с началом не меньше чем вдвое, продолжали умножаться. Услышав, а точнее, обоняв нашу деятельность, новые и новые временные жильцы казармы высыпали на лестницу. Сперва они с брезгливым неодобрением разглядывали происходящее, но затем по большей части принимались, чертыхнувшись, снимать пиджаки, распускать пояса и расшнуровывать обувь. Еще во время первого рейса я обнаружил, что рядом с нами, по-видимому, уже давно бегает вся группа рослых югославов, увидел я и многих из ехавших со мной в автокаре поляков, а среди них — высокого денди, расставшегося наконец с котелком гробовщика. Только что включились и немцы под дирижерством своего респонсабля с профилем Рихарда Вагнера. Венцом всего явилась для меня встреча с Ивановым, вышагивающим как ни в чем не бывало в парной упряжке с Трояном. А вскоре на Ганева чуть не налетела столитровая винная бочка, установленная на тележке для подвозки снарядов. Ее с хохотом выкатили с места погрузки три испанских анархиста из караульной службы. В результате, возвращаясь в казарму с пустыми носилками, мы каждый раз и удивлялись и радовались, с какой быстротой убывало вонючее месиво.

Незадолго до сигнала к ужину все было окончено. Перед тем, как промыть полы, из уборных с восторженным ревом вытащили на палках первопричину аварии: армейский полусапог и нечто с металлическими пуговицами, в прошлом представляющее из себя чей-то мундир. И то и другое закинули на верх беспорядочной кучи, в которую были свалены артиллерийская тележка с бочкой, носилки, сломанные тачки, брезентовые ведра, палки, доски и, наконец, знаменитый паром из дверной створки. На кучу плеснули бензином и бросили спичку. До полутораста человек, ужасающе измазанных, полуголых, а то и просто голых, сбросивших в огонь испачканные трусы — с удовлетворением созерцали ревущее пламя этого аутодафе.

А немного спустя, измылив наличные запасы мыла и за нехваткой умывальников облив друг друга ледяной водой из кружек, бутылок и чистых ведер, мы, усталые, но счастливые, выходили погреться к догоравшему костру. Именно эту подходящую минуту избрал Болек, чтобы предстать перед нами и в законченных газетных оборотах выразить нам свое одобрение. Все приняли его комплименты как должное, но Пьер неожиданно рассердился.

— Тебе без ложной скромности лучше бы помолчать, — тоже

по-французски отрезал он, и краем уха я слышал, как Иванов синхронно перевел Трояну:

— Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.

Болек поднял брови.

— Почему, однако?

— Потому что ты, плетясь в хвосте событий, стараешься ухватиться за этот хвост. Ты уже пятые или даже шестые сутки в Фигерасе, а тебе и на ум не пришло, что в казарме, куда ты, правда, не заглядываешь, люди дышат собственными экскрементами и, что еще хуже, там пахло не только дерьмом, но и возможностью эпидемии. Твоей святой обязанностью было собрать нас, ответственных групп, и потребовать, чтобы мы во что бы то ни стало ликвидировали это безобразие. Для того тебя перпиньянский комитет и облек доверием. Но пока ты раскачивался, молодой товарищ, который приехал лишь сегодня утром, сразу сообразил, чем надо заняться, и своим примером сумел поднять значительное большинство на эту неприятную акцию. И теперь не ты, а он — наш реальный руководитель, единственный, кто имеет право благодарить нас. Он нас, а мы — его! — И, повернувшись к смутившемуся Белино, Пьер зааплодировал, а за ним и все.

Мы не спеша шли к столовой «навстречу шрапнели», как сказал Остапченко, когда хранивший напряженное молчание Чебан упрекнул Пьера:

— За что… ты… обидел… его? Он студент… ученый… и партийный…

— За дело, — уверенно ответил Пьер. — Что называется, в полном уме и при твердой памяти. Я его знаю. Поразительно, до чего этот человек не любит действовать! Всю свою жизнь он предпочитает подводить итоги чужим действиям. Политический бухгалтер. История партии для него гроссбух. Любимое его занятие — подсчитывание чьих-то ошибок, по возможности старых, апробированных временем, при этом он обязательно повторяет, что мы учимся на своих ошибках. Он наизусть вызубрил, кто, где, когда, зачем и почему отклонился от буквы закона, про всех вызубрил, и про больших, и про маленьких, и в международном, так сказать, масштабе. О гибели Карла Либкнехта он не вспоминает, зато о его ошибках поговорить любит. Ошибки Парижской коммуны знает наперечет: скажет «примо» и загнет большой палец, скажет «секундо» и зажмет указательный. Подумать только, уже перед самым отъездом в Испанию умудрился прочесть доклад в студенческой ячейке на актуальнейшую в период Народного фронта тему — о двадцати одном условии Второго конгресса Коминтерна…

— Брось ты из-за него аппетит портить, — взял Пьера под руку Володя Лившиц. — Имей в виду, чтобы съесть в один присест миску гарбансасов, волчий голод нужен. Зачем заглушать его неприятными разговорами? Лучше порадуемся, что мы сегодня смогли сделать нечто небесполезное, а завтра на рассвете двинемся дальше.

— Не то выражение: нечто небесполезное, — не согласился Ганев. — То, что мы сделали, без преувеличения можно назвать коллективным первым подвигом только что прибывших в Испанию волонтеров.

— Надеюсь, что это был и последний подвиг подобного рода, — высказался я, — уж слишком от него смердело. Запах все время компрометировал его. Хотя он точь-в-точь вроде одного из подвигов Геркулеса.

— С той разницей, что твой Геркулес, который, уж если стремиться к точности, звался Гераклом, был хитрый грек и белоручка. Он, даже совершая этот свой единственный трудовой подвиг, не стал натирать мозоли, а заставил какую-то речушку авгиевы конюшни промывать. А мы, дурачки, все ладонями…

— И молодец… Стахановец… значит, был… — пошутил вдруг Чебан.

— Неужто и впрямь напослед тута жрем? — вопросил Юнин.

— Что ни на есть напоследок, бравый солдат Швейк, — заверил его Иванов. — Завтра чем свет поедем, — и он тихонько, как всегда фальшиво, затянул:

Па-а-след-ний но-не-шний де-не-о-чек
Гу-ляю с ва-ми я, дру-зья,
А за-втра ра-но, чуть све-то-о-чек
За-пла-чет вся мо-я се-мья…

Но ни чуть светочек, ни в течение всего дня мы никуда не поехали, не поехали и на следующий. Общее приподнятое настроение сменилось унынием, непривычным храброму, как то было ведомо еще Тарасу Бульбе. Наступили третьи сутки, а о нашем отъезде — ни слуху ни духу. Зато стало известно, что в этот день охранявший крепость отряд уходит на фронт, под Уэску.

Утром трубач с замашками театрального герольда в последний раз протрубил нам сигнал. Вскоре отряд собрался в подворотне и без всякой помпы удалился. Его место заняли какие-то, по определению Юнина, «цивильные» старички с неизбежными черно-красными повязками на рукавах и вооруженные дробовиками.

После завтрака, ничем по обыкновению не отличавшегося от предыдущего ужина, все поплелись в казарму и завалились на койки, чтобы сном скоротать нескончаемое безделье. Лишь некоторое число французов и бывшие воспитанники Гримма потянулись в кантину. На опустевшем плацу остались только мы с Ганевым да немецкая группа, чинно усевшаяся в ряд на привычном месте послушать политбеседу своего солидного руководителя в монпарнасском берете.

Ни они, ни мы не обратили внимания на въехавший в ворота грузовичок, на котором обычно подвозились продукты. Однако он почему-то остановился не у входа в кухню, а за углом, у глухой кирпичной стены, и тогда я заметил в кузове трубача и нескольких бойцов из ушедшего на фронт караула. Откинув борт, они на веревках опустили что-то длинное и тяжелое, закатанное в парусину, скорее всего, ящик с оружием. Но когда парусину развернули, оказалось, что в ней лежит статуя Мадонны. Ее не без труда подняли и приставили к стенке. Беломраморная Богоматерь стояла на круглом пьедестале, ногти босой ноги чуть выглядывали из-под складок хитона, изящно придерживаемого маленькой рукой, другая, обнаженная по локоть, прикасалась перстами к левой стороне груди.

Прислонив статую к стене, бойцы разобрали винтовки и отошли. Тогда дверца грузовичка распахнулась и из кабины выпрыгнул знакомый двойник Района Наварро. Ему очень шла защитная пилотка с рогами и болтавшейся кисточкой, через плечо на светлом ремне висел жандармский палаш в сияющих ножнах, по всей вероятности, трофейный. Восемь человек с трубачом на фланге выстроились. Подхватив эфес палаша под мышку, Рамой Наварро подбежал к ним и что-то закричал. Шеренга взяла винтовки на руку, по следующей команде подняла их к плечу и принялась целиться в Мадонну. Красивый юноша неловкими рывками обнажил палаш и вздел его ввысь. Трубач прижал мундштук горна к губам. Я посмотрел на немцев. Многие из них повскакивали с встревоженным видом, их старший, прервав беседу, обернулся и оцепенел, глаза его округлились. В это мгновение грохнул залп, а за ним послышался страшный треск. От стены полетели осколки, заклубилась пыль. Палаш снова сверкнул на солнце, снова рявкнула труба, снова прогремел залп и снова защелкали рикошетящие пули. Один из стрелявших дико заорал и, сев на землю, ухватился за ботинок. По-видимому, ему попало в ногу. Двое, отдав винтовки соседям, подхватили раненого под коленки и, согнувшись, потащили через плац к кордегардии. Занеся палаш, ожесточенный командир подскочил к статуе и сильно толкнул левой рукой. Статуя покачнулась. Он

толкнул вторично. Мадонна медленно наклонилась и рухнула, как срубленное дерево. Анархист вспрыгнул на нее и, взвизгнув на манер джигитующего горца, ударил палашом по мрамору. Палаш звякнул и отскочил вбок. Ударивший болезненно охнул, ему отдало в руку. Перехватив палаш локтем, он злобно плюнул на расстрелянную Мадонну и, не удостаивая никого взглядом, с перекошенным лицом пошел к грузовичку. Шофер рванул, не дожидаясь, пока все взберутся в кузов, и последний боец, сорвавшись, долго гнался за машиной.

Мы обступили поверженную Богоматерь. Она лежала на боку и, как будто ничего не случилось, продолжала почти кокетливо прижимать тонкие пальчики к сердцу.

— Богоборцы какие-то, — не выдержал я. — Одержимые. На фронте патронов не хватает, а они открыли пальбу по мраморному идолу.

— Одержимые, конечно, — согласился Ганев. — Но, видно, здорово все же насолила им за века эта самая приснoблаженная и пренепорочная и честнейшая херувим, если они… А тебе не кажется, — перебил он сам себя, — что мы с тобой сию минуту воочию наблюдали то самое сражение? С ветряными мельницами?

2

Всем хотелось смотреть на море, а потому с левой стороны к окнам было не подступиться, и на скамейках теснилось по шестеро вместо четырех. Зато справа кроме меня расположилось всего пять поляков с уже примелькавшимися лицами, и больше никого.

Я устроился у окна на овальной доске откидного сиденья, до неприличия напоминающей крышку унитаза. Французы, оказавшиеся основными пассажирами узкого, схожего с трамвайным, вагона, выставили в соседние окна привезенные с собой красные флаги, прибитые к самодельным древкам из позаимствованных в Фигерасе черенков от лопат; на флагах желтой или белой краской были выведены от руки надписи: «Привет героическому испанскому пролетариату от воинствующих коммунистов Вильжюифа!», «Защищая Мадрид, вы защищаете Париж!» или предельно краткая: «Фашистов на фонари!».

За окном, медленно поворачиваясь, уходили назад ряды низкорослых олив, облетевшие виноградники, вилла с мавританскими башнями, обсаженная всякой субтропической ботаникой, выцветшие шахматные доски убранных полей, среди которых кое-где желтели свежевспаханные квадратики.

Небо, как и во все пять суток заточения в крепости, оставалось безоблачным и позволяло тем самым догадаться, что условная фраза сеутской радиостанции, призвавшая заговорщиков к началу кровопролития, должна была прозвучать в радиоприемниках Испании невиннейшей банальностью, не привлекающей внимания непосвященных.

Над каждым поселком обязательно торчала готическая, а то и романская колокольня, с непременными подпалинами поджога на каменных боках, а на каждой колокольне тоже в обязательном порядке был водружен (иногда прямо на кресте) анархистский флажок, но ни возле домов, ни на серых лентах асфальтированных дорог не замечалось ни малейших признаков жизни: все еще спали.

Наконец в одной сжатой отрогами гор низине я углядел пашущего крестьянина. Пахал он не плугом, а какой-то доисторической его разновидностью вроде сохи, а ею, а также падающим вперед напряженным туловищем и упирающимися ногами издали напоминал известную с детства картинку из хрестоматии. Но едва поезд подошел поближе, стало видно, что это совсем не «ну, тащися, сивка!». Начать с того, что вместо

сивки в оглобли археологического земледельческого орудия был впряжен лопоухий и долговязый мул, да и сам испанский земледелец ничуть не походил на длиннобородого русского оратая в посконной рубахе и лаптях. Насколько удавалось рассмотреть, это был высокий изможденный старик с темным от палящего солнца лицом, одетый в расстегнутый люстриновый пиджак, жилет, широкие городские брюки и в ботинках. Он услышал шум поезда, оглянулся, а завидев красные флаги, придержал мула, выпрямился и вскинул над собою кулак. На таком расстоянии это порывистое движение показалось мне особенно красноречивым. Слетевшимся сюда со всего света репортерам, никак не умевшим разобраться, с кем же в конце концов испанский народ, не мешало бы взять интервью вот у этого мирного каталонского крестьянина, прервавшего пахоту, чтобы за полкилометра революционным жестом приветствовать провозимые мимо красные знамена.

Поезд тем временем продолжал не спеша бежать своим стальным путем, и вскоре костлявый мул и старый пахарь, все не опускавший кулак, скрылись за кипарисами обнесенного белой стеной кладбища. Не останавливаясь, эшелон проскочил небольшую станцию, прогремел по мосту и принялся, словно задетая ногой зеленая гусеница, извиваться между прибрежными холмами и среди затыкавших левые окна затылков и спин то просвечивало яркое, как синька, море, то пропадало.

Получилось так, что из десяти ехавших вместе таинственных — без роду без племени — путешественников я на весь прогон до Барселоны остался в единственном числе. Разбудив нас около полуночи и обрадовав вестью о предстоящем отъезде, Пьер заметил между прочим, что в дороге мы вовсе не обязаны, как овцы, держаться кучей и что по некоторым возвышенным соображениям нам не вредно бы несколько — и он опять употребил излюбленное словечко — рассредоточиться. При посадке я указал Володе Лившицу и Ганеву на предпоследний вагон, осаждаемый меньше, чем другие, но, когда я взобрался на его площадку, выяснилось, что, чересчур прямолинейно восприняв замечание Пьера, никто — даже Лившиц — за мной не последовал.

Одиночество, впрочем, нисколько не тяготило меня, я с увлечением предался созерцанию картин, сменявшихся в оконной раме. А чем выше поднималось солнце и чем больше отдалялись мы от границы, тем разнообразнее и ярче делалась природа, тем оживленнее выглядели празднично украшенные флагами частые промышленные городки.

Ровно в полдень французы, соблюдая свойственную им в

желудочном отношении пунктуальность, отвалились от средиземноморских панорам и начали соблазнительно шелестеть разворачиваемой бумагой и позвякивать фляжками или развинчиваемыми стаканчиками термосов. У меня ничего съестного и тем более спиртного не имелось, и мне оставалось лишь уткнуться в окошко и с подчеркнутым интересом углубиться в проплывающие пейзажи.

Бухнувшая вагонная дверь заставила меня повернуться. Вошли трое: респонсабль немецкой группы, Болек и Пьер Гримм.

— Attention, camarades![21] — провозгласил Болек, поскольку закусывавшие не уделили их появлению достаточного внимания.

Продолжая жевать, французы обратили к вошедшим веселые лица. Немецкий респонсабль шагнул вперед и вытянул руки по швам, будто собираясь, как в Фигерасе, подать команду, но вдруг бессильно уронил голову и уставился в колеблющийся пол. Когда он снова выпрямился, стало, если не считать тарахтения колес, совершенно тихо. И, сделав еще шаг, он громко заговорил, сливая слова и растягивая отдельные слоги. Однажды в зоологическом саду у Венсенских ворот мне привелось услышать, как клекочет рассерженный орел. Речь пожилого немца была похожа на этот клекот, и я ровно ничего из нее не уловил, за исключением имени Эдгара Андре, произнесенного с двумя проглоченными «р».

— Позавчера в Гамбурге, — перевел Болек, — топором на плахе, по восстановленному гитлеровцами зверскому средневековому обычаю, фашистский палач обезглавил любимого сына германского рабочего класса вождя Союза красных фронтовиков нашего товарища Эдгара Андре…

Сидевшие с моей стороны пять поляков вскочили и, сжав кулаки на уровне плеча, по-польски запели: «Вы жертвою пали…» Я встал и подхватил на русском. Несколько тактов мы не слишком стройно тянули вшестером, потом тоже по-польски включился Болек; он пел в нашу сторону, и его металлический голос перекрывал всех. Пьер покосился на меня и присоединился по-русски. Французы, сдергивая кепки, молча поднимались с мест. Один, державший откупоренную бутылку, зачем-то швырнул ее за окно, и она, описывая полукруг, плеснула красным вином. Приложив скомканный берет к сердцу, седой немец прижался виском к вздрагивающему кулаку. Медальное лицо его выражало одновременно страдание и злобу.

Мне представился задумчивый взгляд живых красивых глаз Эдгара Андре на распространенном портрете, неоднократно печатавшемся «Юманите». Они таки убили его. И как! Топором. Чтобы всем нам было страшнее. Три года они пытали Эдгара Андре, три года из кожи лезли, стараясь доказать, что это он

организовывал кровавые столкновения между гамбургскими рабочими и коричневыми рубашками, а заодно обвинили и в шпионаже, но едва приступили к судоговорению, единственный свидетель обвинения покаялся в даче ложных показаний. Тогда они решили обойтись без доказательств и приговорили Эдгара Андре к смертной казни практически за то, что он коммунист. Это произошло еще летом. Он отказался обратиться к Гитлеру с прошением о помиловании, и вот — казнен. Никакие протесты либеральнейших европейских парламентариев, авторитетнейших академиков или знаменитейших писателей не помогли. Убийцы Эдгара Андре понимают только одну форму протеста — силу. Ну что ж. Не долго осталось ждать, пока мы сможем воспротестовать понятным для них образом…

(…Я не знал еще тогда, что на следующий же день батальон, сформированный в Альбасете из немецких, австрийских, венгерских и других добровольцев, примет имя обезглавленного, и всего через пять суток после его казни пятьсот вооруженных эдгаров андре ударят по ворвавшимся в северо-западные предместья Мадрида передовым частям генерала Франко и, отбив Французский мост, отбросят их за Мансанарес.)

Около половины второго, трепеща кустарными знаменами, наш поезд вошел под своды барселонского вокзала, а еще через четверть часа на мостовой перед ним строилось четыреста с чем-то человек. Командовал, вернее, уговаривал нас, Белино.

— Устраивать сбор по группам слишком большая потеря времени, а вы проголодались. Разберитесь скорее по четыре, лицом сюда. Побыстрее, прошу вас, побыстрее. Через три часа мы должны отъезжать на Валенсию, а идти далеко, — приговаривал он, переходя от головы колонны к хвосту. — Еще раз прошу, побыстрее. Эй, парень, ты не заметил, что стоишь пятым? Не понимает. Так объясни ему по-своему. Сейчас мы пойдем обедать в казарму Карла Маркса. Никто из вас, сознайтесь, в жизни не слыхивал, чтобы казарма носила такое название, а? Из-за одного этого стоило приехать сюда. И вот что, ребята. Весь город будет смотреть на нас. Старайтесь шагать, как альпийские стрелки на параде Четырнадцатого июля. Готовы? Пошли!

Первые ряды тронулись. За ними заспешили остальные, подскакивая и прилаживаясь в ногу. Белино, Болек, немец в берете, Пьер и другие респонсабли распределились по бокам. Зрители, столпившиеся на ступеньках вокзала и по тротуарам, зааплодировали.

Сперва мы проходили по узким старым улицам, сходным с парижскими в районе Северного вокзала, но вскоре свернули на вполне современный проспект. Здесь чуть ли не с каждого

балкона свисал ковер, на котором лежало полосатое полотнище каталонского флага, анархистские попадались значительно реже. Прохожие при виде нас останавливались и вздымали кулаки, порой раздавались одобрительные возгласы.

Справа от нас — на мраморной балюстраде сверкающего зеркальными стеклами здания показалось натянутое на громадный подрамник поясное изображение лохматого человека с цыганской бородой колечками и с подпухшими сердитыми глазами, на нем было нечто вроде архалука. Мне вообразилось, что это Пугачев, но под ним красовалась подпись: Miguel Bakunin. С изумлением поймал я себя на том, что вознесенное над революционной Барселоной недовольное лицо своеобразнейшего и противоречивейшего россиянина — Михаила Александровича Бакунина, для вящей акклиматизации превращенного местными последователями в Мигеля, приятно пощекотало мое национальное самолюбие.

Вот те и на! Выходит, я напрасно понадеялся, что давно и без остатка переварил всю ту патриотическую духовную пищу, которой меня пичкали с младых ногтей, если нежданная встреча с графической тенью дворянского сына и отца анархии вызвала ее отрыжку.

Проспект, осененный встрепанным Бакуниным, вывел нас на необозримую площадь. Я навидался ее на газетных клише и в киножурналах и опознал сразу. Это на ней решалась в июле судьба города, да и всей провинции. А вон, на дальнем углу, и знаменитый отель «Колон», где тогда засел генерал Годед со своим штабом, а теперь размещается ЦК Объединенной социалистической партии Каталонии. Об ее ориентации красноречиво свидетельствует начинающееся под крышей и лишь немного недостающее до парадного огненно-красное знамя со скрещенными серпом и молотом и с буквами PSUC, а также соответственных масштабов портреты Ленина и Сталина на главном фасаде гостиницы над протянутыми вдоль карнизов транспарантами с лозунгами. Выглядели оба портрета несколько непривычно: и Ленину и Сталину художник придал откровенно азиатские черты. С Владимиром Ильичей Ульяновым оно еще куда бы ни шло, но почему-то у Иосифа Виссарионовича Джугашвили оказались калмыцкие скулы и раскосые, как на японских гравюрах, глаза. Не являлось ли это бессознательной данью древнему ex oriente lux[22], по-новому зазвучавшему на юго-западной оконечности Европы после того, как ближайшая соседка так трусливо предала свою латинскую сестру, и свет для этой последней забрезжил лишь с востока?

Некоторый чингисхановский уклон в здешнем

изобразительном искусстве не сопровождался, однако, нарушением сходства и, следовательно, не мешал портретам на отеле «Колон» служить подкрепляющим напоминанием, что сочувствие Советского Союза с теми, кто за этими стенами ведет политическую и организационную работу, переименовав номера и салоны бывшей фешенебельной гостиницы в кабинеты, с теми, кто сейчас сражается с фашистами за Сарагосу и Уэску, и с теми, кто готовится им помочь, то есть с нами. И не просто сочувствие — могучая моральная поддержка. А может быть, и не только моральная? Даром разве представитель СССР в Лондонском комитете сделал уже вторичное предупреждение, что его правительство не считает себя связанным совместными решениями в большей степени, чем остальные участники. Вполне допустимо, что отныне советские торговые суда выгружают в испанских портах не только сгущенное молоко и медикаменты.

Строем пересекая площадь Каталонии и поглядывая на косящие сверху портреты, мы непроизвольно поднимаем головы выше и стараемся не сбиваться с ноги. Однако стремительный ленинский лик не вызывает во мне ни малейшего признака тех атавистических ощущений, какие зашевелило изображение Бакунина. Я как-то вдруг позабыл, начисто упустил из виду, что Ленин русский, и даже самое предположение, что в каком бы то ни было отношении я имею право претендовать на большую к нему близость, чем шагающие вокруг французы, немцы, поляки и югославы, показалось бы мне идиотским. Всемирность Ленина такова, что любая попытка хоть в чем-нибудь ее ограничить — хотя бы национальной принадлежностью — немыслима: она умаляет Ленина.

Наше шествие мимо отеля «Колон» не осталось незамеченным. Из него высыпала на угол бурлящая толпа очень молодых людей в вискозных рубашках с короткими рукавами и расстегнутыми воротничками; почти у всех на ремешке через плечо или на поясе висела пистолетная кобура. Те, кто не успел спуститься на площадь, выглядывали из окон: особенно много свешивалось с подоконников женских головок. Откуда-то из-под крыши срывающийся от эмоций голос выкрикивал непонятные нам призывы, покрываемые неистовым, но вполне понятным «Вива!». Под ноги нам, как гладиаторам, полетели цветы. Растерянные от смущения, с застывшими глупыми улыбками, мы проходили ряд за рядом, а восторженные крики не стихали. Не прекратились они и когда мы вышли на широченный — не уже Елисейских полей — бульвар, посредине которого как ни в чем не бывало, словно в Париже каштаны, росли самые настоящие пальмы, раскинув похожие на страусовые перья ветви. Возникшие

у отеля «Колон» овации сопровождали нас и дальше, пока мы шагали по еще одной бесконечной магистрали, обсаженной неведомыми деревьями с темно-зелеными лакированными листьями. От волнения и еще больше от торопливой и мелкой французской маршировки с каблука сделалось жарко, чемоданчик стал оттягивать руку, и страшно захотелось пить.

Наконец наши правофланговые гулко затопали под сводами ворот. Снаружи казарма была как казарма: будничное растянувшееся на квартал двухэтажное здание. Зато внутри она оказалась ни на что не похожа: казарменные помещения с четырех сторон наглухо замыкали плохо вымощенный двор с пересекающими его аккуратно выложенными дорожками; такой тюремный интерьер производил бы чрезвычайно унылое впечатление, если бы вдоль всего второго этажа не тянулась открытая галерея с чугунными перилами и множеством выходящих на нее дверей, сообщавших казенному солдатскому жилью легкомыслие театрального яруса.

На галерке этой сгрудились находившиеся в казарме милисианосы, облаченные в новенькую, застегнутую до последней пуговицы форму; глядя на них, мы впервые могли удостовериться, что не все испанцы щеголяют в черно-красных шейных платках. Гуще всего они столпились прямо над нами, против ворот, возле написанного на фоне клубящихся туч величественного старца с львиной гривой и бородой Черномора, для полноты картины недоставало лишь нимба. Чтобы никто не счел изображение запрестольным образом Саваофа, художник золотыми готическими буквами, как принято при росписи церкви, вывел снизу: Camarada Carlos Marx. По бокам Карлоса Маркса, вступая в открытое противоречие со стилем живописи, развевались вместо хоругвей два флага, трехцветный испанский и красный с вышитыми желтым шелком серпом и молотом.

Но хотя кисть, явно тяготеющая к небесным сюжетам, сумела добиться весьма приблизительного сходства да еще вознесла свою постную потугу на Маркса в заоблачные выси, нельзя было не заметить, что собравшиеся вокруг него милисианосы не придавали художественной форме преувеличенного значения. Для них, похожий или нет, это был камарада Маркс, не только и не столько мыслитель и вождь, сколько свойский человек, товарищ, имеющий непосредственное отношение ко всему происходящему, в частности, и к шумному приему, оказываемому четыремстам иностранным добровольцам. И не случайно что-то исступленно кричавший с галереи однорукий парень в жеваном фланелевом костюме, по всей видимости, специально присланный на встречу с нами партийный респонсабль, как за

опору, хватался единственной рукой за обрамлявшую портрет раму и время от времени тряс ее, как бы требуя от Маркса поддержки или призывая его в свидетели.

Когда замыкающие ряды нашей колонны вразброд простучали подошвами в подворотне, произносивший приветственную речь окончательно вошел в раж и пошел строчить, как из пулемета, а если и останавливался перевести дух, недремавшие милисианосы поддавали ему жару, разражаясь оглушительными рукоплесканиями и неистовыми криками.

За час с небольшим, проведенный в Барселоне, мы почти непрерывно пребывали в неослабном циклоне энтузиазма и, кажется, начинали понемногу привыкать. По крайней мере, тот конфуз, который охватил меня во время прохождения мимо отеля «Колон», незаметно рассеялся, И я начинал воспринимать относящиеся к нам восторги если и не как должное, то несравнимо хладнокровнее. Еще два-три подобных денька, и, смотришь, мы понемногу поверим, что заслужили такой почет.

Едва скорострельный оратор замолк, напоследок еще разок хорошенько встряхнув старину Маркса, как находившиеся как раз под ним двустворчатые двери распахнулись, и мы, сопровождаемые неутихающим шквалом аплодисментов, начали втискиваться в столовую. Деловитые девушки в синих мужских комбинезонах и того же цвета пилотках, все со значками КИМа, разводили нас по столам. От фигерасского рефектуара здешняя столовая выгодно отличалась не одними размерами, но и тем, что в ней не чувствовалось запаха оливкового масла, когда же подали рисовый суп с кусочками жирной, тающей во рту баранины, мы на опыте познали разницу между солдатской жратвой и амброзией. На второе военизированные официантки принесли холодную жареную треску, на третье — опять баранину, теперь с фасолью, а вместо десерта выдали по невероятному — чуть ли не с арбуз — апельсину без косточек.

Единственное, что мешало полностью насладиться жизнью, это невозможность утолить жажду. Правда, на столах стояли во вполне достаточном количестве сосуды странной формы вроде колб с двумя искусно переплетенными горлышками; часть их была наполнена белым вином, другая — водой, но вот о стаканах милые девушки позабыли. Случайно оказавшийся за моей спиной Иванов (с Трояном они так и не рассредоточились), ухватив меня за локоть, не преминул нашептать в ухо, что нас угощают ну точь-в-точь, как журавль лисицу, ведь из этакой чертовины никак без клюва не напьешься, да и клюв-то должен быть эластичным и завиваться штопором.

А между тем сидевший за моим столом Фернан —

малорослый хилый парнишка с заячьей губой, единственный, ради кого консулу в Перпиньяне не пришлось кривить душой, потому что он на самом деле был не Фернан, а Фернандо, чистокровный испанец, ребенком вывезенный во Францию, — Фернан объяснил, что на его родине простые люди пользуются стаканами лишь при самых торжественных обстоятельствах, обычно же крестьяне повсюду таскают с собой вино или воду в портативных бурдючках и пьют прямо из них, но не обсасывая вставленную в мехи трубочку, а издали направляя струйку в рот. Стоявшие перед нами хитроумные графины по существу те же мехи, только стеклянные: как и там, из одного горлышка бьет струя, по второму входит воздух. Взяв со стола колбу с вином, Фернандо примерился, быстро вскинул ее вверх и проиллюстрировал изложенное.

Однако когда кто-то попробовал последовать его примеру, то залил себе вином подбородок, шею и грудь, но не сделал и глотка. Обслуживавшая нас девушка просто умирала со смеху.

— По усам текло, а в рот не попало, — отметил за соседним столом Иванов.

Давно терзавшая меня жажда, усилившаяся после трески, помогла догадаться: я полез в несессер за стаканчиком для полоскания зубов. Сходную остроту мысли проявили многие. Хотя чтобы нацедить тоненькой струйкой даже мой стаканчик, требовалась известная выдержка, прохладное, чуть горьковатое вино окупало потраченное время.

Покурить я вышел во двор. Там подобных мне приезжих в штатском окружали испанцы в форме. Так как это были каталонцы, а им по геополитическим причинам кроме родного языка полагалось знать испанский, а сверх того невредно было хотя бы немножко кумекать по-французски, то в некоторых из образовавшихся кружков завязались достаточно связные разговоры. В остальных же объяснялись главным образом жестами и по необходимости были лаконичны. Все сводилось к тому, что какой-нибудь приветливо улыбавшийся милисиано приближался к одному из наших ребят и, ткнув пальцем в живот, вопросительно выговаривал с каталонским акцентом французское «насионалитэ»? Вопрошаемый отвечал: «аллеман», «франсе» или «полоне», вопрошавший радостно переводил самому себе: «Поляко!», с размаху хлопал красноречивого собеседника по спине и, удовлетворенный, с тем же вопросом переходил к следующему.

Мне не пришлось и дважды затянуться, как среди выходивших из столовой я заметил Остапченко и Юнина; между пальцами последнего дымилась толстая, как сигара, самокрутка.

Я направился к ним, но их — должно быть, производил впечатление возраст — тотчас же обступили, и все, что мне удалось, это подоспеть к сакраментальному в данном случае вопросу о национальности. Остапченко в ответ дипломатически промолчал да еще сумел сделать предупреждающий жест Юнину, до которого тот, однако, не дошел.

— Русиш, — осклабив редкие зубы, ответил Юнин на своем своеобразном немецком.

Недоумение, отразившееся на смуглых лицах, показывало, что каталонцы не поняли. Теперь Остапченко пустил в ход локоть, но тонкие намеки на Юнина не действовали.

— Русиш, говорю, русиш. Не понимэ? Русский, значит, рус.

— Русо! — прямо-таки взревел наиболее догадливый из милисианосов и принялся вкупе со своими друзьями охлопывать Юнина, как должное принимавшего их увесистую нежность.

Я обозлился на него. И не за то, конечно, что Юнин наплевал на заповеди блаженства Васи Ковалева. Меня шокировало, что именно Юнин, замухрышка Юнин набрался нахальства выступить в роли представителя Советской России, поскольку «русский» здесь неизбежно звучало синонимом слова «советский». Но каталонским милисианосам ни рост, ни внешность Юнина ни капельки не мешали смотреть на него не только с восхищением, но с каким-то робким обожанием, и я вдруг устыдился собственного снобизма. Конечно, патентованный перекати-поле Юнин не имел права во всеуслышание заявлять, что он русский, не прибавив существительного (и существенного!) «эмигрант», однако мое внутреннее негодование от юнинской выходки имело не юридическую, а скорее эстетическую подкладку: слишком уж бедный Юнин был непрезентабелен. Но разве в СССР не живут миллионы точно таких же невзрачных мужичков, с большей или меньшей пользой занятых в колхозе или на фабрике? Или нашу страну действительно должны символизировать восседающие на распряженных битюгах и очень смахивающие на переодетых в реквизитные доспехи охотнорядцев ражие васнецовские богатыри, которые еще до революции не съезжали с конфетных коробок?..

На вокзал мы возвращались не совсем тем путем, каким пришли в казарму, и благодаря этому я смог лицезреть второго, как и Бакунин, отнюдь не конфетного русского богатыря, тоже умудрившегося стать апостолом самого стремительного течения испанской политической мысли. На фронтоне солидного буржуазного дома, утыканного, словно бык бандерильями, черно-красными хоругвями, висела на тросах увеличенная во сто крат фотография престарелого Петра Алексеевича Кропоткина. Ни насупленный взгляд сквозь профессорские очки, ни раздвоенная,

величественная, как у дворцового швейцара, бородища не спасли его от фамильярности учеников: на шее бывшего князя был повязан узлом продетый через прорези в портрете великанский анархистский галстук, а от плеча к плечу гирляндой тянулась понятная без перевода надпись, гласящая, что Педро Кропоткин есть «El jefe del anarquismo mundial»[23]. Одесную и ошую шефа мирового анархизма красовались громадные буквы по три с каждой стороны: FAI и CNT, с ввинченными в них электрическими лампочками, горевшими и днем. Эти буквы и раньше попадались на каждом шагу: и на стенах фигерасской крепости, и на каменных оградах кладбищ, и на товарных вагонах и даже на трубах заводов, — а потому я знал уже, что они означают, — слева инициалы Федерации анархистов Иберии, справа — названия анархистских профсоюзов.

Заслышав приближение нашей колонны, группа анархистов, обмотанных пулеметными лентами и увешанных гранатами — ну прямо статисты из старого советского фильма о гражданской войне, — вывалилась на балкон возле сурового Кропоткина и, воздевая к нему кулаки и карабины, начала громогласно скандировать: «Фай! Фай! Се-не-те!.. Фай! Фай! Се-не-те!..» Выглядели участники хора как-то обалдело и расхристанно — волосы дыбом, подбородки покрыты синевой многодневной щетины, рубашки расстегнуты до пупа — и находились в состоянии такого возбуждения, что казалось, балкон вот-вот рухнет.

Проходя под ним, мы в ответ тоже поднимали кулаки, и наша лояльность, надо думать, понравилась бесновавшимся наверху, ибо они троекратно прокричали нам «вива!» с ничуть, следовало признать, не меньшим темпераментом, чем тот, с каким нас только что проводили в казарме Карла Маркса.

Состав из пульмановских вагонов третьего класса, подобных везшим нас по Франции, уже поджидал. Хотя все окна в них были раскрыты (или выбиты), дышать в нагревшихся за день купе оказалось абсолютно нечем, и мы нетерпеливо ждали сигнала к отправлению. Однако наши респонсабли, упрятав четыреста душ в это пекло, сами не спешили садиться, а беседуя прогуливались взад и вперед вдоль поезда.

Прошло с полчаса. Из внутренних помещений вокзала послышалась размеренная поступь многих ног, и на перрон строем в две шеренги вышло человек сорок без оружия, в помятых английского типа гимнастерках с погончиками, в латанных на коленях летних солдатских брюках и обмотках; на некоторых были надеты широкополые брезентовые шляпы, другие откинули их на резинках за спину. Сзади всех, далеко забрасывая костыли,

неловко прыгал на одной ноге коренастый крепыш, ступня второй ноги, согнутой в колене, была забинтована; рядом шел сутулый юноша с перевязанной головой, несший в каждой руке по рюкзаку.

Подойдя к поезду, строй по команде остановился, повернулся и сбросил заплечные мешки. Раненые отошли и присели на скамейку, но к ним старческой рысцой подбежал немецкий респонсабль и повел их к середине поезда.

Проходивший мимо нашего вагона Белино рассказал, что это центурия Тельмана, вернее, то, что от нее осталось после двухмесячных боев. Она снята с фронта и вместе с нами едет в Альбасете.

О центурии Тельмана все мы читали в газетах. Она была создана то ли в конце августа, то ли в начале сентября и выступила на фронт из той самой казармы, где мы сегодня пообедали. Сформировали ее немецкие добровольцы, главным образом проживавшие в Каталонии политэмигранты, но постепенно в нее перевелись ранее ушедшие на фронт некоторые германские и австрийские спортсмены, прибывшие в Барселону на международную рабочую олимпиаду, открытие которой было столь удачно приурочено к воскресенью 19 июля. Не приходилось удивляться, что, когда начавшийся накануне мятеж фашистов сорвал ее, среди представителей рабочего спорта двадцати национальностей нашлись пожелавшие принять участие в предложенном генералом Годедом, хотя и не предусмотренном программой олимпиады, рискованном роде соревнований — в пулевой стрельбе по живым и ведущим ответный огонь мишеням.

Высунувшись из окна по пояс, я жадно всматривался в людей, с самого начала понявших, что надо делать. Лица у них были обветренные, дочерна загорелые и очень исхудалые, но, к моему изумлению, — вполне обыкновенные, если не считать, что кроме сильной усталости они носили еле уловимый общий отпечаток чего-то объединяющего их изнутри. Пожалуй, это было чувство собственного достоинства.

Пока бойцов центурии разводили по вагонам, обнаружилось, что среди них есть и еще раненые. У одного согнутая рука покоилась в черной завязанной вокруг шеи косынке, у второго глаз был прикрыт толстым слоем ваты и поверх марли крест-накрест залеплен пластырем, третий, хотя и стоял в строю, прихрамывал на обутую в мягкую домашнюю туфлю правую ногу.

В наш вагон, где для них безропотно очистили место, тоже ввели восемь человек. Все эти восемь ветеранов были молоды, но когда, гортанно переговариваясь, они пробирались по проходу, я, давая дорогу, испытывал перед ними такое искреннее

преклонение, какое, несмотря на невыгодную для меня разницу лет, было сродни лишь наивному детскому преклонению Пети Ростова перед Васькой Денисовым или Долоховым.

Едва поезд тронулся, как поместившиеся у двери напротив меня Лягутт и Фернандо отправились знакомиться с немцами. Вскоре пробиться к предпоследнему купе стало невозможно. Однако уже через час наплыв любопытных стал спадать: интерес к новым спутникам понемногу вытеснили совершенно неописуемые виды, которые открывались нам. Наконец даже наиболее упорные Лягутт и Фернандо, до одури накурившиеся с немцами, вернулись на свои места.

— Славные парни, — резюмировал Лягутт. — Двое говорят по-французски, но ничего особенного не рассказывают. Смеются. Сами, говорят, увидите. А с остальными не разговоришься. Только по-немецки. Да еще по-испански научились. С ними Фернан поболтал. Но куда им. По-испански он их забивает, — заключил Лягутт с оттенком гордости за Фернандо, на своем родном языке, оказывается, забивающего немцев.

Фернандо скромно ощерил свою заячью губу. Что касается меня, то я не мог оторваться от окна в коридоре. Как ни подмывало меня поподробнее расспросить первозванных антифашистов о приобретенном ими военном опыте, но сначала мешало сборище любопытствующих, запрудившее подступы к их купе, а затем отвлекло расстилавшееся за окном водное пространство, особенно после того, как там, куда мы ехали, разгорелся закат.

Поезд катил вдоль моря, иногда отдаляясь от него на несколько метров, чтобы обогнуть высокую скалу, иногда приближаясь так, что в окно проникал острый запах морских водорослей. Берег выглядел сплошным пляжем, а побережье — непрерывным курортом. По временам паровоз громко свистел, предупреждая станцию о своем приближении, и, весело стуча, пробегал через нее, а море то поднималось, то опускалось, и было так хорошо, что на какую-то секунду я вдруг ощутил себя ничем не связанным вольным путешественником и почти забыл, куда и зачем я еду… Но внизу на парапете промелькнули неумело начертанные мелом серп и молот, и я очнулся, но стал еще более счастливым, когда вспомнил, что не путешествую, а вместе со многими честными людьми еду куда надо.

Взяв в рот одну из остававшихся у меня «кэмел», я пощелкал зажигалкой, но бензин иссяк. Заметив это, ко мне шагнул тоже стоявший в коридоре черненький юноша из центурии, больше похожий на начинающего учителя, чем на солдата. Он вытащил из кармана брюк целое кресало с длинным, несколько раз

скрученным в узлы оранжевым фитилем, вставленным в стальную трубочку, ударил по ней кремнем, раздул искру и протянул свою пиротехнику мне. Я прикурил, и моя благоуханная сигарета завоняла тлеющей тряпкой.

— Выбрось эту дамскую безделушку, — посоветовал он на непринужденном французском, — она хороша для гостиных, а в траншее гаснет от слабенького ветерка или от капли дождя, как и спички тоже. Лучше приобрети такую вот махинацию.

Я осведомился, где этакими допотопными штуками торгуют, в Париже я их, к примеру, в продаже не встречал. Он ответил, что их полным-полно у любого барселонского разносчика. Мы разговорились. Часа два мы беседовали у окна, хотя оба давно не замечали сменявшихся перед нами маринистских пейзажей, а когда солнце село, перешли в купе, где уже крепко спали остальные семь тельмановцев.

Вначале я пробовал направить разговор в русло актуальности, расспрашивал о положении на Арагоне, о роли, сыгранной там центурией, о собственном участии моего собеседника в боях и о его впечатлениях при этом. Я надеялся незаметно выпытать, что переживает на фронте необстрелянный новичок; в глубине души меня сильно беспокоило (сказывалось влияние бесчисленных антивоенных романов, проглоченных мною), до какой степени удается среднему человеку подавить в себе естественный страх или по крайней мере скрыть его от окружающих. Однако молодой немец явно не был расположен распространяться на такие темы. Он отвечал на расспросы вежливо, но коротко и чересчур формально, лишь однажды очень серьезно, даже грустно заметил:

— C’est fatigant: la guerre, tu sais…[24]

Но так как он был первым немцем, с которым мне когда-либо привелось разговаривать, да еще антифашистом, то наша беседа не оборвалась вследствие ее сдержанности, но лишь сместилась, соскользнула с доброй испанской войны к худому германскому миру. Тут мой новый знакомый оказался несравнимо словоохотливее, и я засыпал его вопросами. Мне необходимо было разрешить с его помощью кучу накопившихся недоумений, распутать все, что, на мой взгляд, никак и ни с чем не вязалось, и я прямо-таки насел на него, требуя, чтобы в конце концов мне толком объяснили, и по возможности без обязательных ссылок на инфляцию и Версальский договор, а также и без Фрейда, какими же сверхъестественными средствами этот, не умеющий ни прилично писать, ни логически мыслить, взбудораженный маньяк смог за каких-нибудь три года увлечь за собой и окончательно свести с ума прославившийся своей рассудительностью и

уравновешенностью цивилизованнейший народ, уж не магической ли силой вертящегося браминского креста, неисповедимыми путями замешавшегося во всю сию нибелунговскую затею и даже ни с того ни с сего впершегося в германский государственный герб, сумел Гитлер добиться столь сокрушительной победы на выборах?.. Не преминул я задать и каверзный вопрос, почему все же не проникают из Германии сколько-нибудь достоверные сведения о массовом сопротивлении фашизму со стороны рабочего класса и куда, в частности, подевались те тринадцать миллионов совершеннолетних граждан, которые еще так недавно голосовали кто за социал-демократическую партию, кто за коммунистическую, но во всяком случае против фюрера?

И как ни странно, а худенький немецкий мальчик, уже успевший повоевать, нашел в ответ собственные незатасканные слова, произнесенные с настолько искренней интонацией, что они импонировали мне больше множества других, принадлежавших авторитетам. Он возразил, например, что немцев совершенно напрасно считают рассудительными и уравновешенными. Вот французы, те действительно рассудительны, а об англичанах без натяжки можно сказать, что они люди уравновешенные, но никак не о немцах. Главное, по его мнению, чем взял Гитлер, — отвратительным потаканием «нашему гипертрофированному, носящему почти патологический характер национализму», потом — умением внушать страх и пользоваться этим страхом, да еще поддержкой могущественного союзника, каким была ненависть и презрение коммунистов к социалистам. Усмехнувшись, он сослался на самого себя и признался, что к своему собственному отцу, матерому социал-демократу, он, будучи членом Союза коммунистической молодежи, относился «хуже, чем к Гинденбургу». Даже на избитый, хотя и немаловажный вопрос, что произойдет, если Гитлер объявит мобилизацию против СССР, молоденький тельмановец ответил не по-газетному:

— Что произойдет? Ничего. Война произойдет. И лучше не надеяться на чудо, вроде предсказанного одной нашей изданной в Париже брошюрой, где сказано, что сразу же за всеобщей мобилизацией в Германии начнется всеобщая революция. Глупости. Догматизм кабинетного политика. Может быть, без особой радости, но сначала все пойдут. Не забудь, что, когда Гитлер снял штаны и нагадил на Версальский договор, в восторг пришли все немцы за очень малым исключением. Исключение составляли лишь самые умные да еще самые верные.

— То есть коммунисты?

— Самые верные из коммунистов и самые умные из всех остальных. Пойми. Гитлер первый в истории выполнил кое-что из обещанного перед выборами. При нем кончилась безработица, пусть за счет военных заказов, но кончилась. Это очень многих соблазнило. Взять хотя бы моего младшего брата. С окончания школы он всегда был безработным и состоял, понятно, в одной со мной молодежной ячейке, а сейчас у него есть работа, и он вступил в Гитлер-югенд. Наш отец в концентрационном лагере, я бежал во Францию, а он марширует и «Хорста Весселя» орет. Нет, не верь никому, кто станет доказывать, что немцы не пойдут за Гитлером и не будут воевать. Будут.

— Печально.

— Скорее страшно. И стыдно.

Мы помолчали.

— А вот долго ли они согласятся воевать, это другое дело. Мне кажется — не долго. Теперь я по себе знаю, как хорошо думается в окопах. Уверен, что мой брат и миллионы таких, как он, проведут месяц-другой в позиционной войне, поерзают под артиллерийским обстрелом, испытают на своей шкуре удары советской авиации и задумаются о том, кто послал их воевать с русскими и кому это выгодно, а там понемножку начнут вспоминать, чему их отцы и старшие братья учили. Дойдут до того, что припомнят и предупреждение Димитрова: фашизм — это война…

Мы разговаривали до позднего вечера. Когда я вернулся в свое купе, там все спали. Под потолком тлел фиолетовый ночничок. За окнами с обеих сторон — и в море и на суше — было черно, нигде ни огонька. Положив голову на чье-то плечо, я, невзирая на голод, тоже заснул.

Проснулся я оттого, что поезд остановился. Вдоль вагонов бегали респонсабли и на разных языках кричали, что нужно забирать вещи и выходить. Это могло означать лишь одно: мы прибыли в Валенсию. Здесь обещано накормить нас ужином. Приблизив часы к глазам, я разобрал, что уже час ночи. Пожалуй, наш ужин слегка остыл.

На перроне было немногим светлее, чем в вагоне, да и то лишь благодаря взошедшей луне, а так ни внутри вокзала, ни над путями — нигде не горело ни единой лампы, и даже фонарики над стрелками оказались замазанными синим. Кто-то из тельмановцев пояснил, что на Валенсию недавно произвели налет, и с тех пор она затемнена. Дождавшись, пока все выбрались из вагонов, мы, натыкаясь спросонья друг на друга, двинулись к выходу.

Обширная пустая площадь перед вокзалом была театрально

освещена зеленоватыми лучами луны и поражала полнейшим безлюдьем, неестественным даже ночью в таком большом городе; хоть бы машина проехала или силуэт прохожего мелькнул в отдалении.

Переговариваясь инстинктивно вполголоса, мы принялись самостоятельно, как в Барселоне, разбираться по четыре, как вдруг услышали отчетливую немецкую команду: впереди нас строилась центурия Тельмана. Команда прозвучала вторично, и четыре десятка левых солдатских ботинок бодро ударили в асфальт. Мы потянулись за ними, непрерывно сбиваясь с ноги.

В отличие от Барселоны идти пришлось недалеко: мы наискось пересекли окруженную глыбами спящих домов лунную площадь и уперлись в многоэтажное здание. В неосвещенном парадном образовался затор.

— Чем могут накормить в ночное время, — узнал я задребезжавший позади рассудительный тенорок Остапченко, — дали бы по куску сыра с хлебом и чем запить, вот бы и хорошо.

Протолкнувшись вместе со всеми в двери и раздвинув руками двойные портьеры, я проник в слабо освещенное синими лампочками фойе какой-то гостиницы, откуда, следуя за чужими спинами, свернул влево к задрапированному, как вход в кино, тяжелым бархатным занавесом порталу. За новой драпировкой была вторая. Я ощупью откинул ее и зажмурился от нестерпимого света.

С поддерживаемого массивными мраморными колоннами лепного потолка спускались, радужно сверкая хрустальными подвесками, многоярусные люстры. Под ними на покрытых новыми скатертями банкетных столах, уходящих в зеркальную бесконечность, как белоснежные параллельные прямые, перламутрово сияли фарфоровые приборы, переливалось огнями разноцветное стекло бокалов и тускло отсвечивали серебряные соусники, ложки, ложечки, вилки, рыбные, десертные и простые ножи. У стен, словно манекены, шпалерами застыли официанты в безупречных фраках, матовой чернотой изысканно подчеркивавших ослепительную белизну пластронов и девственно чистых атласных галстуков, повязанных бантом. Подавленные респонсабли шепотом уговаривали вваливающихся в зал поскорее занимать места.

Нас троих — Лягутта, Фернандо и меня — не разъединили ни мрак вокзальных переходов, ни толчея в дверях, ни бархатные барьеры, и теперь мы, не разлучаясь, пристроились поодаль от входа, на краю последнего слева стола, протянувшегося под высокими окнами с опущенными толстыми шторами. За ним уже расположились на мягких стульях похожий на викинга поляк с

прямыми желтыми волосами, ехавший со мной в автокаре, другой поляк постарше, тоже гигант, группа фламандцев, преследующая меня еще с gare d'Orsay, и немцы со своим байретским респонсаблем. В последний момент два оставшихся места в противоположном конце заняли Пьер Гримм и Володя Лившиц; увидев меня и Лягутта, оба радостно заулыбались.

Вскоре пиршественные столы были укомплектованы. Посреди преувеличенной роскоши этого, несомненно, очень дорогого ресторана мы, в своей залежанной грязной одежде и нечищеной обуви, растрепанные, с заспанными, вторые сутки не бритыми лицами, выглядели по меньшей мере дико, даже неприлично и чувствовали себя не в своей тарелке, или, правильнее, не перед своей тарелкой. Свободнее вели себя французы, приученные к ресторанам, пусть и не таким шикарным, а напряженнее других держались поляки, сконфуженно прятавшие под скатерть грязные с дороги руки. Зато немцы поглядывали на всех прочих с некоторым превосходством, бдительно наблюдали за порядком и негромко, но уверенно поучали, как следует себя вести. Двое, сидевшие рядом с Лягуттом, расправив накрахмаленные до хруста салфетки с отливающим шашечным узором, завязали их за ушами и знаком предложили своему соседу, полякам, Фернандо и остальным провинциалам поступить так же. Поляки послушались, но Лягутт презрительно хмыкнул и сунул угол салфетки за среднюю пуговицу засаленной ковбойки, а Фернандо заткнул ее за воротник; я не стал подделываться ни под германский, ни под французский, ни под франко-испанский пролетариат, а развернул свою на коленях. Внезапно немецкий респонсабль рявкнул: «Ruhig!»[25] За столом смолкли, и тогда мы заметили, что в ресторане давно наступила внимательная тишина.

Я оглянулся. На пустующей эстраде для джаза, вытянувшись в струнку, стоял сухопарый седой человек в белом шерстяном смокинге, черном галстуке и черных брюках с такими стрелками, что ими вполне бы можно было резать хлеб. Вероятнее всего это был метрдотель. Его бесстрастное холеное лицо, безукоризненный пробор, а больше всего пенсне со стеклами без ободков и со свисающей черной шелковой лентой, на каких некогда щеголи носили монокли, неотвязно напоминали портреты недавно сошедшего с политической сцены сэра Остина Чемберлена, того самого, с которым советские карикатуристы продолжительное время сводили законные счеты, не говоря уже о несчитанных тысячах метров холстины и тоннах краски, изведенных на «наш ответ Чемберлену» участниками демонстраций.

С минуту внушительный метрдотель простоял не

шелохнувшись и вдруг взметнул кулак к потолку, и этот, ставший за последние месяцы обыденным, жест настолько не соответствовал сановной внешности старика и, может быть, именно потому приобрел у него такую выразительность, такую ритуальную серьезность, что все четыреста с лишним человек разразились бешеными рукоплесканиями, приведшими мне на память митинг в Вельдиве.

Когда аплодисменты начали спадать, старик опустил кулак, повернулся туда, где отдельно, выделяясь выгоревшей на арагонском солнце формой и тропической смуглостью сидели остатки центурии Тельмана, торжественно произнес: «Камарадас!» — и заговорил по-немецки. Лицо его продолжало оставаться величаво-спокойным, но сильный, совсем не старческий голос вибрировал от волнения. Что он говорил, оставалось для меня, как и для большинства, недоступным, однако я мог наблюдать, как это действует на бойцов центурии. Они переглядывались, неловко усмехались, некоторые потупили глаза, а их соотечественники за нашим столом сдержанными междометиями или частыми кивками выражали одобрение оратору. А он, окончив короткую речь, резким толчком снова поднял старческий сухой кулак, и ветераны центурии, роняя стулья, повставали и, тоже вздев кулаки, но не просто так, по-штатски, а особенным образом — отдавая ими честь — отрубили свои облетевшие весь мир два слова: «Рот фронт!»

— Camarades, — перейдя с немецкого на французский, продолжал испанский метрдотель, смахивавший на отставного английского премьера, — товарищи из разных стран! Не буду повторять вам, что говорил вашим друзьям, прославленным мужам из непобедимой центурии Тельмана, но одно еще раз скажу. После этой ночи я обрел право утверждать, что недаром прожил полвека, поскольку мне посчастливилось увидеть таких людей, как они, ваши предшественники в подвигах, таких необыкновенных людей, как вы все… Дорогие товарищи! Сегодня, в канун революции, совершенной в конце октября тысяча девятьсот семнадцатого года в Петрограде, профессиональный союз тружеников валенсийских ресторанов возложил на меня приятное полномочие приветствовать вас, находящихся проездом в нашем городе, а в вашем лице всех иностранных добровольцев, явившихся, чтобы вместе с нами сразиться за испанскую свободу. А сейчас позвольте мне перейти от слов к делу и предложить вашему благосклонному вниманию праздничный ужин.

Он добавил необходимое «salud!», но вместо того чтобы сжать кулак, трижды повелительно хлопнул в ладоши. Восковые фигуры у стен встрепенулись и, взмахнув фрачными фалдами, гурьбой,

как бегуны в массовом забеге на кроссе «Юманите», ринулись куда-то за ширмы и сразу же выскочили, держа на вытянутых руках подносы, на которых возвышались Хеопсовы пирамиды салатниц и судков, и помчались к столам.

В мгновение ока ловкие руки расставили между приборами уйму круглых, овальных, прямоугольных, ромбовидных и черт его знает каких еще блюд с закусками, до того аппетитными, что наше благосклонное внимание незамедлительно обратилось в животную алчность. Глаза разбегались и косили, перескакивая с плывшей в прозрачном, как вода, прованском масле, хвостиками в одну сторону, стайки безголовых сардин на размоченные в уксусе до таяния узкие селедочные филе, катушкой обернувшиеся вокруг заменяющего им внутренности лука, а с них на нежные анчоусы, словно копьями пронзенные деревянными шпажками, чтоб можно было брать, не расковыривая вилкой, или на каких-то сушеных, без шкуры рыбешек, на спинках которых бриллиантиками играли выступившие кристаллики соли. В рыбную тему с вариациями вторгалась мясная в виде лениво развалившихся ломтей вяленой ветчины, твердокаменных кружков неподдельной салями с проступившими на них, будто пот, капельками жира, и холодного ростбифа, розовее и мягче на взгляд лепестков розы. С мясными и рыбными соблазнами достойно соперничали растительные: мелкие стручки красного перца, прожигающего нелуженый желудок не хуже раскаленных угольков из самовара, и крупные стручки зеленого, ничуть не менее острого, и длинные, круглые, как колбасы, огурцы, и помидоры с голову младенца, и дольки маринованного чеснока, черно-коричневые влажные маслины, и оливки, залитые едким соусом, и еще фаршированные оливки и масса всяческой кислой, соленой и пряной вегетарианской снеди.

А едва только мы, глотая слюну, принялись наваливать все эти съедобные чудеса на верхние тарелочки, к каждому поочередно просовывалась из-за левого плеча завернутая в салфетку запыленная бутылка, и заговорщицкий шепот сообщал на левое ухо невнятное название музейного вина, и одновременно черный рукав с выскальзывающей из-под него непостижимо белой манжетой наполнял один их четырех бокалов, выстроившихся перед прибором.

Должно быть, от усталости — исполнилось уже два часа — у меня моментами пропадало ощущение реальности совершающегося, и этот ночной банкет в первоклассном ресторане представлялся вдруг не то сновидением, не то разыгрываемым на сцене отрывком из какого-то давным-давно прочитанного великосветского романа. Но порожденные

воздержанием ненасытный голод и неутолимая жажда, вместе с колющейся щетиной на щеках, возвращали к действительности, и тогда вопиющее противоречие между сервировкой, обслугой и качеством трапезы — с судаком под майонезом, тушеной телятиной, курицей, запеченной в сдобном тесте, с тремя переменами драгоценных вин — и нашим затрапезным видом делалось еще фантастичнее.

Уже в конце пира, когда были поданы сыры и фрукты, а в самую маленькую из четырех рюмок налиты по желанию кому херес прославленной марки, кому редчайший портвейн и даже немецкие товарищи несколько пообмякли и перестали следить, чтобы кто-нибудь из нас не накапал нечаянно на скатерть или не разбил бокал, ублаготворенный Лягутт спросил у объяснявшегося по-французски представительного испанца, обслуживавшего наш край стола, но скорее походившего на шафера с богатой свадьбы, чем на официанта:

— Спасибо тебе, приятель, за все, но скажи ты мне, чего ради вы вздумали сегодня напялить на себя всю эту сбрую, будто вам предстояло подавать на приеме у президента республики, а не своим товарищам, нельзя было разве одеться по-человечески?

Тот вспыхнул:

— Завтра я ухожу на фронт, не успею и выспаться. Там я буду одет как все милисианосы, и эту, как ты говоришь, сбрую, возможно, ношу сейчас последний раз в жизни. Но послушай. Во фраках мы всегда прислуживали эксплуататорам и взапуски бегали перед капиталистами, крупными землевладельцами, оптовыми торговцами, биржевыми спекулянтами и другими нашими врагами. Так неужели же вы, самые дорогие братья, лучшие из лучших, вы заслуживаете меньшего уважения? Если им мы подносили блюда во фраках, так для вас нарядиться в королевские мантии и кардинальские шапки — и то было бы мало! И чтоб ты знал, никогда еще перед выходом на работу я так тщательно не брился, как этим вечером, и так долго не стоял перед зеркалом, повязывая бант. Ведь я готовился принимать самых знатных клиентов за всю мою карьеру!

Все-таки напрасно он упомянул о бритье, но в остальном мы его поняли. Лягутт даже расчувствовался.

На вокзал — благо он находился, можно сказать, через улицу — мы возвращались беспорядочной, но жизнерадостной толпой. У выхода из отеля я настиг Пьера с Володей Лившицем. Пьер был в отличном настроении. Идя посредине и обхватив меня и Лившица за плечи, он что-то мурлыкал про себя, а затем бодро сказал:

— Что ж, еще одна ночь в поезде, и мы в Альбасете, а там

недели три интенсивной подготовки и — на фронт!

Сбоку к нам протолкался Дмитриев. Он был навеселе, и впервые — в прямом смысле слова; до сих пор я всегда наблюдал, что вино действовало на него плохо: он становился мрачен и раздражителен.

— Что за народ, — заговорил он приподнятым тоном. — Что за народ! Какое рыцарство! Какое гостеприимство! Если у них таковы лакеи, то каковы же должны быть образованные классы: педагоги, врачи, офицеры!

Насчет офицеров у него, конечно, вырвалось случайно, по старой памяти. Он и сам, наверное, так не думал. Но «лакеев» (нашел тоже словцо!) я не выдержал:

— А офицеры у них сволочи, хамы и палачи!

3

Безоблачное испанское небо кончилось где-то после Валенсии. Еще под утро пошел дождь, а когда начало светать, сквозь его сетку можно было разглядеть в окна вагона беспросветные рваные тучи, низко ползущие над плоскогорьем.

Дождь пошел и в Альбасете, и не южный ливень, как из ведра, а холодный осенний мелкий дождичек, о каком поется, что он брызжет, брызжет сквозь туман, словно мы не в Испании, а «далеко на севере — в Париже», если не дальше.

Доставивший нас состав давно отошел на запасные пути. Немецкую группу ждали какие-то делегаты, и, предшествуемая центурией Тельмана, она, не мешкая, двинулась в город. За ней под командой Белино, тоже окруженного встречающими, ушли французы; Лягутт и Фернандо, оглядываясь, помахали на прощание из рядов. Потом, зябко ежась, удалились итальянцы, решительно зашлепали по лужам югославы, дошла очередь и до фламандцев. Оставались одни поляки и мы. Возглавлявший их Болек и наш Пьер отправились на поиски распоряжений, а мы в ожидании мокли на перроне, безуспешно посасывая нераскуривающиеся, отсыревшие сигареты.

Бессонная ночь в переполненном поезде, промозглый привокзальный воздух и начинающая проникать через намокшую одежду сырость, а главное неприветливая встреча там, куда мы так рвались, — будто нас тут вообще не ожидали и никому мы здесь не нужны, — подействовали подавляюще, и хотя безымянная наша группа была с Фигераса разъединена, сейчас, встретившись и коротко поздравив друг друга с Октябрьской годовщиной, все, включая Иванова, хмуро молчали и только переминались с ноги на ногу под моросившим дождем.

Наконец со стороны станции появились Болек и Пьер, а между ними — человек маленького роста в синем берете, опущенном на одно ухо, как носят горные стрелки, в синей куртке, синих галифе и синих обмотках на тонких кривых ногах; между круглых роговых очков торчал большой нос, показавшийся мне тоже синеватым. Было слышно, как, подходя, большеносый человечек по-французски распекал Болека и Пьера за то, что они бросили нас под дождем. Однако, невзирая на такую заботливость, некто в синем мне не понравился. Отталкивал его начальственный и одновременно иронический вид: подобные насмешливые и в то же время надменные лица характерны для кадровых французских офицеров, особенно когда они на публике обращаются к подчиненным; для довершения сходства

альбасетский начальник похлопывал себя по плоской икре стеком. Распорядился он, впрочем, кратко и толково, и скоро мы вместе с поляками сидели тут же, неподалеку, в приспособленном под столовую длинном бараке и ели горячее рагу.

За кофе от вышедших посмотреть на нас поваров-французов мы узнали, что иностранные добровольцы прибывают в Испанию не только через Фигерас, но и морем и что в Альбасете из них создаются интернациональные бригады. Жаль, мы опоздали, сетовали повара, а то третьего дня была сформирована и уже отбыла на фронт первая бригада, так в ее составе как раз целый польский батальон; его назвали батальоном Домбровского в честь польского генерала, командовавшего войсками Парижской коммуны.

Между завтраком и обедом нам предложили отдохнуть в реквизированном двухэтажном доме, все комнаты которого и даже лестничная площадка между первым и вторым этажами были заставлены койками. Польские товарищи немедленно, не сняв даже мокрой верхней одежды, повалились отсыпаться. Их примеру, по совету Гримма, раздевшись до белья, последовали и мы, однако Чебан, еще более сосредоточенный, чем обычно, шевеля губами, стал куда-то собираться: лизнув ладонь, он пригладил кустик на макушке, зачем-то поверх пиджачка перетянулся брючным ремешком и на цыпочках удалился.

— На явку пошел, — шепнул расположившийся рядом со мной Ганев.

Я заснул с такой быстротой, что, кажется, не успел закрыть глаза. Но не прошло, по моему ощущению, и пяти минут, как кто-то прикоснулся ко мне рукой.

— …вставай… Леш… Чего-то… скажу… И Ганев тож… Выходьте вон… Дождь прошел…

В крохотном дворике Ганев и я нашли собравшихся у непросохшей каменной скамейки Иванова, Трояна, Остапченко, Юнина и Дмитриева. Перед тем как заговорить, Семен опасливо огляделся.

— Кажись… никто не услышит… Пьера… и Володю… я не взбудил… потому… нас оно касается… парижских… Прошу… ответить… как на духу… Кому говорено было… как выразиться… про специальный… значит… батальон?.. Что вместях… в него пойдем?..

— Мне так сказал товарищ Ковалев, — отозвался Остапченко.

— То же самое было сказано и мне, — поддержал его Дмитриев. — Отлично помню, еще о знании минного дела зашел разговор.

— И нам говорил, — выдавил из себя Троян.

— Меня этот ваш Ковалев твердо заверил, что мы с Трояном едем вместе в отдельную ударную часть, составленную исключительно из нашего, так сказать, брата, и что она уже где-то действует, а командует ею мой однофамилец из Парижа, — подтвердил Иванов, обойдясь ввиду серьезности темы без прибауток.

Заверяя его, Вася Ковалев не брал на себя лишнего. Мне об этом было известно от уехавшего недели за три до нас одного моего друга, весьма доверенного и осведомленного товарища, которого все знали как Корде, но который к отъезду в Испанию нежданно-негаданно оказался Кордесом (свою настоящую, русскую фамилию, с каковой он родился, был окрещен, возрос, учился в гимназии, а потом в университете и успел попасть в белую армию, Корде, боюсь, и сам позабыл). Дня за два до своего отъезда он рассказывал мне, что прославившемуся в Мадриде пулеметному снайперу Анатолию Иванову, оказавшемуся не у дел в связи с расформированием артельной эскадрильи Мальро, потерявшей все свои самолеты, было поручено организовать отряд секретного назначения (секретность, впрочем, легко расшифровывалась всяким хоть немного помнившим историю, ибо вступившие в отряд именовались герильеросами, а так в период народной герильи против Наполеона называли ее участников, соответствовавших появившимся тогда же в России партизанам). В качестве грамотного коммуниста русский француз Корде, преобразившийся в испанца Кордеса, командировался в отряд Анатолия Иванова на должность комиссара. Поскольку вопрос обо мне был принципиально решен, Корде по собственной инициативе заранее договорился в нужных инстанциях, чтобы и меня направили к ним. Прощаясь со своим будущим комиссаром перед плацкартным вагоном II класса на платформе Аустерлицкого вокзала (иначе откуда бы мне знать, с какого вокзала едут в Испанию все нормальные люди?), я лишний раз услышал, что так или иначе попаду к ним, если же, паче чаяния, произойдет какое-либо недоразумение и меня где надо не встретят, то по прибытии в конечный пункт мне необходимо будет заявить, что еще в Париже меня зачислили в отдельный батальон герильеросов, и сослаться прямо на него, Кордеса. А с дороги он прислал мне открытку с видом Тулузы, заканчивавшуюся словами: «До скорого свидания!..» По всему этому, когда Вася Ковалев завершил свое дидактическое напутствие мне тем, что вдруг попросил кланяться Корде, хотя раньше притворялся, будто сроду о таком не слыхивал, я, естественно, воспринял столь вопиющее нарушение конспирации как лишнее подтверждение, имевшей место договоренности. В

пути стало достаточно понятным, что и семь моих спутников следуют по тому же адресу.

— Получается… всем говорено… — вывел заключение Чебан. — А оно не того… ничего… выходит… подобного… Явился я… это… куда следовает… да там никому… про нас… не ведомо…

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день: навела старушка тень на плетень! — разрядился Иванов. — А там ли, где нужно, ты был?

— Был… где надобно… Нет… говорят… никаких таких… значится… специальных частей… Пускай… сказали… завтра утром… респонсабль ваш придет… у кого список… Список сверим… Укажем… как распределяться…

— Ну и все, — успокоился Иванов. — Тебе не сказали, ему скажут. Дело не в личности, а в наличности.

— И ему… и Пьеру… не скажут… Потому… самим не известно…

К обеду дождь возобновился. Крыша столовой не выдержала, и на пол то там, то здесь со стуком падали крупные капли. Один из поваров с красной повязкой на белом рукаве по бумажке прокричал в рупор последнее сообщение с фронта. Из него вытекало, что Мадрид продолжал сопротивляться, хотя бои приблизились вплотную к его окраинам.

На следующее утро Пьер Гримм прямо из столовой направился в штаб, и я, памятуя прощальный совет Корде, увязался за ним. Продолжало моросить. Мы долго шагали в ногу по бесконечной главной улице насквозь промокшего городка, не встречая попрятавшихся от дождя местных жителей, нам попадались лишь приезжие добровольцы, преимущественно французы, кто в штатском, а кто уже в форме.

Возле углового особнячка, занятого штабом формирования интернациональных бригад, собралась толпа новоприбывших. На бетонных ступеньках входа стоял Андре Марти в невиданных размеров берете и распахнутом канадском полушубке на белом бараньем меху. Одутловатое лицо Марти с бесцветными коротко подстриженными жесткими усами, напоминающими щетку для ногтей, казалось утомленным, да и вообще вблизи он выглядел гораздо старше своих пятидесяти лет. Пока мы втискивались в толпу, он продолжал удовлетворенно улыбаться после отпущенной им шутки, вызвавшей всеобщий смех. Рядом с Марти вертелся ироничный синий человечек с грачиным носом, приходивший утром на станцию. Раньше чем смех собравшихся стих, Марти сделался серьезным и заговорил, только совсем не так, как на митинге, а мягким убеждающим тоном:

— Очень многие из вас, товарищи, обращаются в штаб с

просьбой о немедленной отправке на фронт, другие, наоборот, — правда, таких всего несколько человек — настаивают, чтобы их сначала послали в военную школу: раньше, чем вступить в бой с фашистами, они стремятся стать офицерами. Нашелся среди вас и такой оригинал, который заявил, что он пацифист и согласен быть лишь санитаром.

Все опять рассмеялись.

— Между нами будь сказано, мы в виде исключения с ним согласились. Кстати, вы напрасно смеетесь, считая, очевидно, что он попросился на тепленькое местечко. Ничего подобного. И лишь потому мы пошли ему навстречу… Знайте, что быть санитаром труднее всего, и выдвигать в санитары надо самых надежных. Не забывайте, что санитар идет туда, где ранят и убивают, но идет без оружия, а с сумкой, фляжкой и носилками. Учтите это, когда будете подбирать санитаров.

— В санитары нужно посылать пожилых, — выкрикнул кто-то.

— Правильно, — подтвердил Марти. — Или вот еще. Вчера пришли два молодых фламандца и говорят, что они симпатизируют коммунистам, но в то же время они фламандские сепаратисты, так не вздумайте послать их туда, где будут командовать по-французски, этого они допустить не смогут, это против их убеждений. Ну что тут скажешь? Мой начальник штаба товарищ Видаль, — Марти мотнул головой в сторону нашего вчерашнего знакомца, — ответил им, что, когда фламандских сепаратистов наберется на взвод, он охотно назначит командира из них, и пусть себе упражняется в командах по-фламандски… Насколько знаю, их предварительно надо еще выдумать…

— Я потребовал, чтобы они привели хотя бы третьего единомышленника, и я из них двоих отдельную часть сформирую, а третьего поставлю главнокомандующим, — под общий хохот самодовольно уточнил Видаль. — Но третьего, увы, не нашлось. Так что товарищам-сепаратистам придется пока поступиться своими убеждениями и потерпеть тот пусть и неблагозвучный, но достаточно распространенный язык, каким будут пользоваться в формирующемся франко-бельгийском батальоне.

— Я хотел бы подчеркнуть, — продолжал Марти, раздвигая короткий полушубок и подбочениваясь а-ля Тарас Бульба, отчего посредине большого живота открылась торчащая из кобуры, вроде как у кинематографического шерифа, рукоятка кольта, — я хочу подчеркнуть, что слишком много людей приходит сюда отрывать нас от работы. Зачем же тогда в каждой группе есть ответственный? Он и должен совместно с нами разобраться во всех ее делах, во всех интересующих его земляков вопросах,

между ними и в личных. Что же касается более важных общих проблем: когда кому отправляться на фронт, по какому признаку формировать батальоны или кого назначать на командные посты, — предоставьте их нам. Никто из вас, скажу заранее, не пойдет сражаться без предварительной военной подготовки, но и никто из вас не призван решать, сколько для этого потребуется времени. Добровольно явившись в Испанию, чтобы своей грудью защитить здесь демократию, вы тем самым добровольно приняли на себя нелегкую обязанность строго соблюдать суровую воинскую дисциплину, без какой ни одна, в том числе и революционная, армия немыслима, и теперь ни ваши товарищи командиры, ни ваши товарищи комиссары никому не позволят — да и вы сами себе не позволите — никогда и ни в чем ее нарушать.

Из того, что говорил Андре Марти, надлежало немедленно сделать один вывод: мне с моей индивидуальной явкой соваться в штаб, нечего. Это надо перепоручить Пьеру, тем более что он в курсе дела.

Пока, собираясь удалиться восвояси, я перешептывался с Пьером, к Андре Марти протолкался неряшливый толстяк с голой шеей, и я видел, что это тот самый остряк, который в Фигерасе препирался с Белино и которому там дали прозвище «Бубуль».

— Ты меня не узнаешь, Андре? — жизнерадостно возопил он. — Посмотри на меня получше!

Из-под набрякших век Марти устремил на него строгий взор.

— Не узнаешь? — громко изумился Бубуль. — У тебя, старина, плохая память! Я же вместе с тобой служил на «Вальдеке Руссо».

И шумливый толстяк уже раскинул руки, готовясь к традиционному жаркому объятию давно не встречавшихся боевых друзей, но Марти предупредил его, издали протянув белую ладонь.

— Вас было много на «Вальдеке Руссо», старый товарищ, — любезно проговорил он. — Всех не упомнить. Как-никак семнадцать с половиной лет прошло. Если же еще принять во внимание, что я был старшим машинным кондуктором на «Протэ», а на «Вальдеке Руссо» провел всего четыре дня под арестом и кроме часовых видел лишь двух членов подпольного комитета крейсера, а ты не был в их числе, то придется извинить мне забывчивость, мой друг. Но я очень рад, что ты здесь, с нами. Уверен: в боях ты не раз послужишь образцом революционной дисциплины для молодежи.

Меня несколько было покоробило прохладное отношение Андре Марти к бывшему сподвижнику, но, с другой стороны, не

однажды приходилось слышать, что, пользуясь отсутствием достоверных сведений об истинных участниках восстания, некоторые не слишком щепетильные отставные матросы, не имевшие к нему никакого касательства и даже никогда не подплывавшие к Черному морю ближе Дарданелл, в поисках популярности и даровой выпивки выдавали себя за одного из héros de la mer Noire[26]. Возможно, Бубуль из таких, и Марти известно об этом. Так или иначе, но я не стал дожидаться конца сцены. Двукратного напоминания о дисциплине с меня было довольно, и, оставив Пьера в притихнувшей толпе, я выбрался из нее и поспешил к своим.

Дождь незаметно прекратился, и главная улица оживилась. На первом же перекрестке возле разносчика, продававшего значки, платки, флажки и портреты вождей на любые политические вкусы (в пределах Народного фронта, разумеется), на меня чуть не налетел размашисто шагавший боец в зеленой суконной форме и таком же берете с красной звездочкой. Вместо того чтоб извиниться, нахал рассмеялся мне в лицо, но не успел я прийти в негодование, как с радостью узнал Петра Шварца. Мы обнялись. Когда-то белый офицер из вольноопределяющихся, он не со вчерашнего дня состоял во Французской компартии, а в Союзе возвращения был одновременно и членом правления и членом бюро. Неожиданная встреча со Шварцем разрешала все недоразумения, так как задолго до нашего отъезда он персонально, как и Корде, был направлен в часть, сколачиваемую Анатолием Ивановым.

Однако первые же слова Шварца принесли жесточайшее разочарование. За без малого трехнедельное пребывание в Альбасете он не смог добиться толку и сейчас не больше меня знал о местонахождении партизанского отряда, а между тем его фамилия, со всеми принадлежащими ей онерами, действительно фигурировала в полученном Андре Марти из Парижа списке. После того как была сформирована и ушла на фронт первая интербригада, Шварц счел дальнейшее промедление неудобным.

— Я не хотел ждать, пока Видаль… Ты, кстати, был у него? Ну и ничего не потерял. Это парижский муниципальный советник Гейман. Пренеприятный, по правде говоря, тип. Он офицер запаса и здесь правая рука Андре Марти. Старик безгранично ему доверяет, он же держится с людьми не как коммунист, а скорее как лейтенант спаги с туарегами. Так вот, я не захотел дожидаться, пока он спросит, не собираюсь ли я всю войну околачиваться в Альбасете, если за мной из полумифического отряда герильеросов так и не пожалует индивидуальная машина с ливрейным шофером, и — хошь не хошь — записался во второй

французский, точнее, франко-бельгийский батальон. Завтра или послезавтра нас, французов, валлонов и фламандцев, а также человек двадцать иных национальностей, записавшихся по собственному желанию, перебрасывают куда-то на обучение. Говорят, получено столько-то «максимов», их тут никто не знает, так что я пригожусь.

Он говорил бодрым тоном, но в серых глазах проглядывала не то усталость, не то грусть, не то все вместе. Скорее всего Шварц скучал по жене, хоть он и выглядел моим сверстником, на самом деле ему было уже около сорока, и совсем недавно он женился на очень молоденькой и очень хорошенькой девочке из Бессарабии; вот только имя у нее подгуляло: кишиневские родители назвали бедняжку Ренатой, как героиню какого-нибудь сногсшибательного романа Вербицкой или княгини Бебутовой. Претенциозное имя нисколько не мешало Шварцу нежно любить жену. Детей у них не было. По этому поводу он замечал, что ему совершенно достаточно возни и с одним ребенком.

Мы несколько раз прошлись взад и вперед по главной улице и уже собирались расстаться, когда я увидел возвращавшегося из штаба Гримма.

— Познакомьтесь, Пьеры, — предложил я, потому что партийная кличка Шварца тоже была «Пьер».

Оба обменялись рукопожатиями, и Пьер Шварц пошел проводить нас.

— Вот идут по испанскому городу трое русских: два Петра и один Алексей, — белозубо улыбаясь, сказал он, — и у всех троих немецкие фамилии.

— Еще Печорин советовал этому не удивляться, — заметил я. — Помните: «Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец…»

— В данном случае это очень удобно, — отозвался Пьер Гримм. — Мы же группа без национальности.

На прощание, опять обнявшись со мной, Пьер Шварц шепнул:

— Шел бы к нам, во французский, а?..

О результатах своего визита в штаб формирования интернациональных бригад Гримм рассказывал так тихо, что, скучившимся на двух составленных кроватях, нам, чтобы расслышать, приходилось словно заговорщикам сближать головы. Он подтвердил то, о чем говорил мне Шварц: ни о каком специальном батальоне в Альбасете ничего официально не известно. Нашей группе предстоит влиться в многочисленную польскую, потому-то нас и на временное житье поселили с нею. Исключение делается лишь для артиллеристов, пулеметчиков и кавалеристов. Артиллеристы, в частности, нужны до зарезу, —

создается трехпушечная батарея семидесятипятимиллиметровок.

— Оно как же по-людски будет? — заинтересовался Юнин.

— Трехдюймовка, кума, трехдюймовка, — цитатой из похабной солдатской песни ответствовал ему Иванов.

— Опытные пулеметчики, как выяснилось, были еще во Франции взяты на учет, — продолжал Гримм. — Это относится и к вам, товарищи Иванов и Троян. Сразу же после второго завтрака вам надлежит явиться к начальнику штаба Видалю. Семен, ты тоже у него записан как автомобильный механик. Тебе надо быть в штабе завтра утром. Имеющим опыт кавалерийской службы предлагается для начала записываться у своих респонсаблей, то есть у Болека, меня забирают на формирование эскадрона. Остальные зачисляются в польскую роту. Это вовсе не означает, что мотивированные просьбы о переводе в другую часть не будут приниматься во внимание.

Иванов и Троян вернулись вечером. Троян, понятно, молчал, но молчал не так, как всегда. Сейчас он не молчал, а умалчивал. В его молчании появилось нечто многозначительное, за версту видно было, что ему доверена тайна, но сколько к нему ни приставали, он оставался нем как могила. Иванов сперва пытался подражать своему другу, но, конечно, не выдержал.

— Угадайте-ка, хлопцы, кто здесь главный инструктор по станковым пулеметам? — свистящим шепотом начал он, когда, узнав, что они вот сейчас, сию минуту, на ночь глядя оставляют нас, мы собрались вокруг их коек. — Пари держу, ни в жизнь не догадаетесь. — Его прищуренные глазки сверкали от возбуждения. — И не пробуйте, впросак попадете, ей-бо. Лучше уж я сам по секрету скажу, «ведь мы свои же люди…». Но, чур, никому. Договорились? Так слушайте: советский командир, честное слово! Старший лейтенант. По фамилии Бойко. Специалист лучше Трояна и не хуже меня. Нам как родным, обрадовался. Он же языками не владеет, а переводчик при нем безнадежнейший шпак из Южной Америки, «гочкиса» от «виккерса» не отличит и названия деталей ни по какому не знает. Познакомился этот товарищ Бойко с нами, этак незаметно проэкзаменовал, а как дознался, что мы по-немецки можем, чуть на радостях не запрыгал и сразу нас за бока. Завтра же начнем немцев обучать. У них свой знаток, правда, есть, да его на всех не хватает: в новом немецком батальоне целая пулеметная рота будет.

Не обращая внимания на театральный шепот Иванова, делившегося с нами поистине сенсационной вестью о присутствии в Испании советских инструкторов, Троян укладывал его и свои вещи в круглый мешок, а уложив, затянул шнур и

прислонил мешок к стене; затем бесстрастным жестом фокусника, вынимающего из цилиндра белого кролика, извлек из кармана широченных штанов бутылку коньяку и небрежно бросил ее на подушку.

— Как сами догадываетесь, мы с Трояном сегодня кончаем свой пост. Разрешение вина и елея, как говорится, — схватив бутылку, объявил Иванов. — Нам сей же момент уходить. Насовсем. Поскорее доставайте кто чего. Выпьем на счастье.

Все чокнулись теми же сборными сосудами, что и в купе, в день нашей встречи. И Троян с Ивановым, распив с нами прескверный местный коньяк, почему-то к тому же припахивающий керосином, ушли.

На следующее утро нас покинул Семен Чебан, а за ним — и Пьер Гримм. Перед уходом Семен сокрушенно вздыхал, трижды облобызался с каждым; наиболее тяжкий вздох он испустил, прощаясь с Пьером. Пьер был менее сентиментален. Он ограничился тем, что пожал всем остающимся руки, только Лившица еще и потрепал по плечу, посмотрев на него, как я заметил, с затаенной жалостью. Мне Пьер сказал:

— А тебя я все же в конницу запишу. Затребуем тебя из польской роты. Слыханная ли вещь, чтобы сын донской казачки в пехоте топал! Ты сам говорил, что коней любишь, ходить за ними приходилось, верхом с детства ездил, как седлать, знаешь и даже — как мокрецы лечить. Чего еще требовать? Лозы не рубил? Так соломенное чучело ты тоже штыком не колол. Одно на одно.

Мысль, что Пьер Гримм, может быть, заберет меня к себе, была очень незначительным утешением. Хоть нас оставалось шестеро: Ганев, Лившиц, Остапченко, Юнин, Дмитриев и я, а отделилось всего четверо (но среди них два последовательных респонсабля), все же мы почувствовали себя, в какой-то степени осиротелыми, особенно потому, что после самороспуска группы перестали по указанию Пьера держаться вместе и в строю и за столом, стараясь раствориться в будущей своей роте. Меня же, кроме того, начиная со встречи с Пьером Шварцем, томило отдельное горькое разочарование, уж слишком я настроился воевать совместно с Корде и некоторыми другими парижскими друзьями, да и с их лихим командиром я как-никак встречался; служба в его батальоне обещала быть трудной, зато преисполненной приключений, по сравнению с ней польская рота — совсем не то.

Но уже за завтраком вместе с очередной порцией рагу мы получили порцию такой информации, что личная неудовлетворенность если и не улетучилась, то отступила на второй план. Оказалось, что правительство Ларго Кабальеро в

полном составе, включая двух входящих в него (впервые в Европе!) коммунистов и четырех министров анархо-синдикалистов (от одного этого словосочетания кружилась голова!), оставило столицу и перебралось в Валенсию чуть ли не в тот же самый день, когда мы там пировали. Переезд правительства в подобный момент мог означать лишь одно: неминуемую и скорую сдачу Мадрида, что Дмитриев, до сих пор, видно, не забывший происшедшего при первом знакомстве спора, не замедлил подчеркнуть с известной долей малоподходящего к случаю злорадства. Прочитанное нам обращение правительства, извиняющимся тоном объяснявшего перенесение своей резиденции невозможностью нормально функционировать в осажденной столице, сквозь строки подтверждало напрашивавшийся вывод, и вставленные в текст громкие фразы ничего в этом отношении не меняли.

Из сводок за двое суток явствовало, что бои идут уже в черте города, поскольку фашисты ворвались в его западное предместье Карабанчель, Сверх того, сообщалось, что они захватили один из мостов через Мансанарес, а Мадрид, как известно из учебников, расположен на левом берегу этой реки. Да и вообще, когда в предназначенных для опубликования сообщениях с фронта, после длительного отступления, говорится об успешных контратаках, но упоминаются незнакомые географические названия, значит, контратаки потерпели неудачу и отступление продолжается, иначе назывались бы или те же, что и раньше, населенные пункты или появились бы новые, знакомые, однако, по прежним сводкам. А сейчас в них, кроме никому до того неизвестного Карабанчеля, все время чередуются то Французский мост, то еще какое-то Каса де Кампо, по поводу которого Ганев, успевший заглянуть в свой бедекер, пояснил, что хотя в буквальном переводе Каса де Кампо означает охотничий дом, но в действительности это загородный парк «вроде Булонского леса в Париже или Сокольников в Москве».

Единственную обнадеживающую ноту в известия с мадридского фронта вносили упоминания об активных действиях республиканской авиации и танков, тем более что до недавней поры ни той, ни других в Мадриде не было, если не считать нескольких штук достойных кунсткамеры танков Рено образца начала двадцатых годов и все той же интернациональной эскадрильи Мальро, недавно закончившей свое существование из-за окончательного износа служившего ей архивного хлама, приобретенного в начале событий контрабандным путем и скорее смахивавшего на коллекцию отживших моделей вроде, например, переоборудованного в кустарный бомбовоз личного самолета

абиссинского негуса Хайле Селасие I, на котором ему удалось в последнюю минуту ускользнуть от муссолиниевских конкистадоров и перелететь из Аддис-Абебы в Лондон.

Огласив последние новости, повар с повязкой объявил, что сейчас в столовой состоится митинг, а потому нас просят не расходиться. Место этого глашатая; по совместительству занимавшегося кулинарией, занял Болек. Он принялся повторять те же сводки и обращения правительства в польском переводе. Болек еще не закончил чтения, когда позади его появилась кучка пожилых поляков; почти всех я знал в лицо, кого по поезду, кого по Фигерасу, кого еще по автокару. Почувствовав их за спиной, Болек скомкал концовку правительственного обращения и уступил слово «товажышу Мельнику» — грузному, с мясистым лицом и громадными руками, впрямь похожему на одетого по-городскому разбогатевшего мельника.

Он сказал, что для порядка нам необходимо выбрать себе командира и комиссара, и от имени предварительно обсудивших этот вопрос старейших годами и достойнейших членов партии предложил в командиры роты какого-то Владека — «честного пролетария и бывалого солдата», а в комиссары — Болека.

Не знаю, как остальные, но я был огорошен. Во-первых — процедурой. Выяснилось, что выборное начало, невзирая на ожесточенную газетную критику, продолжало процветать, да еще явно поддерживалось коммунистами, по крайней мере, польскими. Во-вторых, меня смущала и суть дела. Болек предоставил слово Мельнику, чтобы тот предложил избрать его комиссаром. Выходило, что Болек до некоторой степени сам себя выдвигает. Может быть, и не вполне самостоятельно, но у меня и без того сложилось мнение, что бывший фигерасский переводчик излишне быстро взбегает по иерархической лестнице.

А Мельник уже взял быка за рога:

— Длуго розмавячь нема часу. Ктуры з вас есть згодны, поднощьче длоне!

Поднялся лес рук. Мельник бросил на нас взгляд исподлобья.

— Ктуры пречив?

Против не было никого. Мельник повернулся, за плечо вывел стоявшего между старейшими членами партии низкорослого невзрачного дядю, подхватив под локоть Болека, и вытолкнул обоих вперед.

— То е ваш довудца, а тенто комисаж. Слухайче их, хлопаци.

При всей моей антипатии к Болеку, объяснявшейся не столько его заносчивостью, сколько отношением к нему Пьера Гримма, я вместе со всеми голосовал за него. В конце концов партия в лице старших по стажу коммунистов нашей роты не

хуже меня должна была знать, кого и куда она выдвигает. Да и при всем желании я не имел возможности выразить свое недоверие непосредственно Болеку. Ведь голосовали мы сразу за двоих. Сама же эта чисто методическая ошибка, как и некоторые другие отступления от общепринятых правил: проведение голосования без предварительного обсуждения деловых качеств кандидатов и даже без предоставления участвовавшим в выборах права выдвинуть другие кандидатуры, а еще хуже, волеизъявление простым поднятием рук — нисколько не смущала меня. Про себя я называл такие примитивные формы народоправства «святоотеческими», так как познакомился с ними не в массовых рабочих организациях, где они прочно вошли в быт, а еще в 1925 году на приходском собрании в православной церкви св. Николая в Праге, где тогда под председательством настоятеля, эмигрантского русского епископа Сергия, бывшего Белостокского, происходили перевыборы церковного старосты. После того как собравшиеся спели «Царю небесный» и «Исполла ети деспота», владыка Сергий произнес краткое архипастырское слово, внешне поразительно совпадающее с сегодняшним выступлением товарища Мельника, с той лишь разницей, что вместо фамильярного обращения «хлопаци» было применено «возлюбленные во Христе братие и сестры». В остальном многое сходствовало до невероятия, ибо и преосвященный Сергий по-своему напомнил, что «нема часу» («во многоглаголании несть спасения»), ибо и он сослался на достойных (и богобоязненных) старейших прихожан и от их имени предложил избрать ктитором церкви «любезного брата нашего» имярек, а затем попросил тех, «кто за», поднять десницы и объявил их «видимым большинством». Добавив затем, что оно изъявляет волю Божью, преосвященный Сергий тоже недоброжелательно вопросил, нет ли кого против. Против имярек были многие, но выступить против воли Божией не осмелился никто, и владыка поздравил нового старосту с единодушным избранием.

Выпихнутый Мельником на своего рода просцениум между группой старейшин и столами, наш единодушно избранный командир молча ухмыльнулся навстречу дружным хлопкам, которыми, начисто позабыв об уроке, полученном в крепости от анархистского Адониса, мы авансом его наградили. Зато столь же единодушно выбранный Болек не удовольствовался улыбкой, но немедленно приступил к исполнению обязанностей, обратившись к нам с речью.

Я не только не знал польского языка, но раньше даже никогда не слышал, как на нем говорят, однако, держа экзамены на аттестат зрелости, по окончании дополнительного класса

Русского кадетского корпуса в Сараеве, я обязан был литературу, историю и географию Кральевины СХС[27] сдавать на сербском, позже, живя в Праге, я выучился чешскому. Знакомства с четырьмя славянскими языками (считая русский и разговорный украинский) оказалось вполне достаточно, чтобы хорошо понимать Болека, проявившегося неплохим оратором, настолько неплохим, что уже к середине речи я совершенно с ним примирился.

Для начала он напомнил, что те две недели, которые мы провели в пути и которые кажутся нам какой-то паузой, война не прерывалась, в ней паузы не было. Пока мы спали на мягких постелях или же любовались красивыми видами из окон поезда, испанские рабочие и крестьяне продолжали вести самоотверженную борьбу на всех фронтах. Особенно трудную и важную борьбу они вели за главный город страны, за непобедимый Мадрид. Под напором превосходящих сил противника, окропляя каждый шаг назад своей кровью, они вынуждены были отходить и отошли к самым стенам столицы. В этом историческом сражении за собственную свободу и честь, за честь и свободу всей Европы мирным труженикам, принадлежащим к народу, с нашествия Наполеона не бравшемуся за оружие, приходилось голой грудью сдерживать бешеный натиск рвущейся к столице регулярной армии, усиленной жандармами, поддержанной германской артиллерией, итальянской и германской бомбардировочной авиацией и сопровождаемой танками. В авангарде кадровой армии, предводительствуемой лучшими испанскими генералами, имеющей полный состав штаб-, обер- и унтер-офицеров, наступают отборные батальоны «терсио», то есть испанского иностранного легиона, навербованного из всякого сброда, из международных авантюристов, собственных уголовников и русских белогвардейцев. Бандеры терсио верой и правдой послужили реакции уже два года назад, когда под верховным водительством того же генерала Франко их использовали для беспощадного подавления Астурийского восстания и они прошли по шахтерской земле огнем и мечом, убивая мужчин, насилуя женщин, грабя горняцкие лачуги. Сейчас эти цепные псы контрреволюции дерутся с удвоенной яростью, опасаясь, как бы правительство Народного фронта не посчиталось с ними за совершенные в Астурии преступления. Но самые озлобленные из них те, кто на испанской земле мстят за поражение в России. Недаром же легионер, пристреливший мадридского журналиста Серваля, приехавшего освещать астурийские события, носил чисто испанскую фамилию Иванов (в этом месте я вчуже

порадовался, что наш Иванов не слышит Болека). А Болек заговорил о наступающих наперегонки с бандерами терсио свирепых таборах регулярес, состоящих из фанатичных мусульман, навербованных среди наиболее отсталых и нищих племен испанской части Марокко. Соблазненные генеральскими сребрениками, ловко обманутые фашистскими вербовщиками, призывавшими их на священную войну против ненавистной метрополии, они верят, что смерть на поле сражения открывает ворота в рай. Трудно, бесконечно трудно остановить это новое нашествие мавров на Испанию. Ничуть не легче задержать и озверелых легионеров. Для Мадрида наступили решающие часы. Его защитники бьются из последних сил. Именно в этот трудный миг к ним на помощь подошла первая бригада иностранных добровольцев. Вот-вот исполнятся сутки, как она вошла в бой, успешно контратаковав неприятеля у Каса де Кампо и у Французского моста. Однако натиск вражеских полчищ не слабеет. Обозленные, что им не удалось, как они рассчитывали, овладеть Мадридом седьмого ноября и тем омрачить празднование девятнадцатой годовщины Октябрьской революции, генералы-изменники безжалостно бросают в мясорубку войны все новые и новые пополнения. Любой ценой они решили взять город, не сегодня, так завтра. Обороняющие его герои несут огромные потери. Редеют ряды и французского батальона «Парижская коммуна», и немецкого батальона Эдгара Андре, и дорогого нам польского батальона Домбровского. Мы с вами, укрытые от дождей крышей этой столовой, покуриваем после горячего завтрака, запитого стаканом вина, а братья наши мокнут и мерзнут в окопах, и тяжело раненный не находит глотка простои воды, чтобы утолить предсмертную жажду. Наш долг — как можно скорее встать в боевые порядки рядом с ними. Наш долг — как можно скорее быть в Мадриде. Первая бригада формировалась ровно три недели, и конечно, это недостаточный срок, однако у нас нет и его. Когда каждый боец на счету, подкрепление в составе целой бригады способно сыграть решающую роль. Поэтому мы обязаны суметь подготовиться к выходу на фронт за одну неделю. А там — в бой! В бой за спасение Мадрида! В бой за освобождение Испании от гнета фашизма! В бой за общее дело всего передового и прогрессивного человечества!..

Речь Болека и без того проняла людей. Но когда он закончил ее цитатой из телеграммы Сталина, все вскочили, сквозь рукоплескания прорвались восторженные крики. Заключительную строчку Болек перевел буквально, и в ней, насколько я мог судить, сохранилась та же тавтология, что и по-русски, поскольку

русское слово «передовой» эквивалентно галлицизму «прогрессивный», а «прогрессивный» не означает ничего иного, как «передовой». Но на подобные литературные тонкости никто из присутствующих (как и мало кто из миллионов, с восторгом прочитавших эту телеграмму) не обратил внимания, и правильно сделал. Стилистика в данном случае имела третьестепенное значение, зато проявленное ротой единомыслие — самое первостепенное. Даже мне, еще сохранившему где-то в глубине души среди прочих пережитков щепетильное отношение к неправильному словоупотреблению, очень понравилось, что конец своей речи Болек подкрепил непререкаемым авторитетом Сталина. Черт с ней, со стилистикой! Полностью согласился я с комиссаром и по существу. Раз надо, значит, надо, и каковы бы там ни были нормальные сроки освоения воинской азбуки, но если мы действительно передовые (или прогрессивные) люди, мы обязаны уложиться и уложимся в минимальный срок. Нам поможет наше страстное желание научиться читать букварь войны, пусть хотя бы по складам, но сверхсрочно.

Аплодисменты, подогретые послужившей для всех нас ободряющим сигналом сталинской телеграммой, не утихали, пока наш «довудца» не поднял руку, потребовав внимания. В возникшей тишине он предложил нам идти до дому по одному, но не расходиться, а «чекать росказу». Мы протомились в комнатах до обеда, однако никакого приказа не поступало. Зато прямо из столовой Владек повел нас строем на склад, где пожилые, но расторопные французы начали пригонять нам обмундирование. Пригонка по необходимости была довольно приблизительной, и уже меньше чем через час почти двести человек успели расписаться в гроссбухах: отдельно за пилотку с двойными, по желанию опускающимися на уши бортами, как у немецких пехотинцев на русско-германском фронте в 1915 году, отдельно за френч, отдельно за широкие штаны, стягивающиеся у щиколотки пряжкой, отдельно за негнущиеся солдатские ботинки, отдельно за черный кожаный пояс и портупею с четырьмя подсумками, отдельно за вещевой мешок и еще отдельно за алюминиевую фляжку, обшитую суконкой. Неизвестного происхождения форма (на ней отсутствовали клейма) из толстой хлопчатобумажной ткани отличалась странным песочным цветом, будто мы собирались воевать в Сахаре.

Когда, закинув за спины битком набитые мешки, мы вернулись к себе, вышел-таки обещанный «росказ»: немедленно переодеться в полученное «умундороване» и больше ни под каким предлогом штатского не надевать.

В следующие полчаса главным развлечением было хождение по разным комнатам обоих этажей с целью, как выразился бы Иванов, «людей посмотреть и себя показать». В форме все неузнаваемо переменились, но шла она только высоким. Ганев, например, как-то даже помолодел, а рослый поляк, с которым мы переезжали границу, сменив свою засалившуюся в пути погребальную ливрею на желтоватый — в тон его длинным волосам — френч с большими нагрудными карманами и песочные запорожские шаровары, сделался форменным гвардейцем из свиты Фортинбраса. Зато Остапченко, Лившиц и остальные коротышки стали казаться еще ниже, Юнин же, нахлобучивший полученный головной убор на оттопыренные уши, выглядел клоуном, пародирующим Швейка, так что даже деликатный Ганев, поправляя ему пилотку, не выдержал:

— Ты хоть бы пояс потуже стянул, а то, право, форменное чучело…

Немного спустя Болек, нарядившийся в то же, что и мы, обмундирование, только лучше подогнанное или перешитое по фигуре, а потому несравненно более элегантный, обошел наши апартаменты, везде повторяя, что собственные вещи, за исключением пары белья и туалетных принадлежностей, необходимо уложить, а у кого нет чемодана, тем сделать пакет, не забыть наклеить бумажку с именем, фамилией и годом рождения, а затем в организованном порядке отнести в камеру хранения и сдать до востребования. Одновременно Болек предлагал иной вариант: пожертвовать свое имущество, в том числе и оставшуюся, возможно, у отдельных товарищей валюту, все равно не имеющую здесь хождения, в местное отделение МОПРа, в Испании продолжавшего называться, как до недавнего времени и во Франции, «Красной помощью». (Гибкие французские коммунисты, быстро реагирующие на происходящие вокруг них изменения, давно успели во избежание сектантской окраски переименовать свою «Красную помощь» в «Народную».)

К моему изумлению, преобладающее большинство предпочло сдать вещи до востребования, продемонстрировав тем самым в плане личной судьбы ничем не оправданный оптимизм, и в альбасетское отделение Socorro rojo пришло не более четверти наличного состава роты (впрочем, из нас шестерых один Юнин посчитал, что его «цивильное» барахло еще сможет ему понадобиться).

Пожертвования принимал сутулый человек, судя по цвету лица, бывший политзаключенный, работавший в МОПРе, так сказать, по специальности. Вытряхнув содержимое моего несессера на стол, служивший барьером между приемщиком и

жертвующими массами, он принял у меня из рук полуботинки, брюки и засаленную куртку из чертовой кожи. Внезапно я вспомнил, что в одном из ее карманов осталось двести франков, и жестами объяснил это. Найдя и развернув две хрустящие ассигнации, мопровский работник протянул их мне, но взять деньги сейчас было явной непристойностью, и я постарался мимически изобразить, что эти кредитки тоже отходят МОПРу. Приемщик закивал головой, записал двести франков в прошнурованную узенькую книжку, не улыбнувшись, пожал мне руку и занялся следующим, предварительно с неимоверной быстротой разбросав мое барахло по полкам. Отходя, я посмотрел на свой раскрытый несессер, праздно валявшийся в груде ранее выпотрошенных чемоданов, и мне вдруг сделалось не по себе. Необъяснимая острая тоска охватила меня, как в Перпиньяне, когда я опустил в почтовый ящик прощальную открытку.

Стоявший в очереди Ганев, словно угадав мое настроение, улыбающимися глазами указал на полки и протянул:

— «Разделиша ризы моя себе и об одежде моей меташа жребий…»

На другой день за завтраком Болек такой скороговоркой отбарабанил перевод на польский последних сводок военного министерства, что я почти ничего не понял, кроме одного: они были малоутешительны. Об этом красноречиво говорило выражение лиц и чтеца и более, чем я, понятливых слушателей. В заключение Болек попросил нас поскорее допивать кофе, но едва мы, обжигаясь, взялись за выполнение его просьбы, как неумолимый Владек приказал строиться.

По мокрому автомобильному шоссе он вывел роту за город.

Сразу за последними домишками, возле прижавшейся к обочине легковой машины, нас ждал Андре Марти, все в том же коротком белом полушубке нараспашку и мушкетерском берете. Его окружало несколько человек с неизменным Видалем во главе. Немного не дойдя до них, мы свернули в раскисшее от дождей поле. Владек остановил нас, привел строй в порядок и вместе с Болеком направился к приближавшемуся Марти. На ходу Марти что-то сказал Видалю, и тот, подбежав поближе и приложив ко рту сложенные рупором ладони, прокричал, чтобы те товарищи, которые когда-нибудь в какой-либо армии служили в офицерских чинах, вышли из рядов. Никто, однако, не шевельнулся. Офицеров среди нас не было. Но тут же я опомнился: ведь Дмитриев и Остапченко офицеры. Возможно, они не поняли? Я повернул голову к левому флангу и увидел, как Остапченко — верно, кто-то успел шепнуть ему, чего хочет Видаль, — раздвинул строй и вышел вперед. Составив каблуки вместе, он поправил

пилотку, одернул френч и, прямой, как оловянный солдатик, широко размахивая руками, зашагал к пригорку, где остановился Марти со свитой. У подножия холмика Остапченко четко приставил ногу и приложил кулак к виску. Засунув оба больших пальца за пояс, Марти смотрел на маленького Остапченко с высоты своего роста, увеличенного горкой, и, вероятно, обратился к нему с вопросом, потому что Остапченко беспокойно завертел шеей: ему, бедняге, нужен был переводчик. Вмешался Видаль, должно быть, знавший немецкий, и объяснение состоялось, после чего Остапченко все тем же твердым шагом отошел в сторонку к Владеку и Болеку.

Я поискал глазами Дмитриева и не нашел, но из рядов он не вышел. Запомнил, значит, сделанное Пьером Гриммом предупреждение насчет командных постов.

Пронзительный фальцет Видаля вторично прорезал влажный воздух. Теперь предлагалось сделать сорок шагов окончившим любую военную школу. Это, скорее всего, чтобы сократить для таких сроки подготовки…

— En avant marche! — скомандовал Видаль.

Я находился в первой шеренге и, не размышляя, будто кто-то меня в спину толкнул, пошел с левой, считая про себя почему-то по-французски: un, deux, trois, quatre…

Смотря прямо перед собой и припечатывая подошвы, чтоб не споткнуться и не поскользнуться на неровной вязкой почве, я слышал, что по сторонам шагали немногие. Досчитав до «quarante», я остановился. До холмика, на котором расположился Марти со штабом, оставалось порядочно, и Видаль стеком сделал нам знак подойти поближе. Нас набралось человек до двадцати. Марти с помощниками спустился с подсохшего возвышения в грязь и начал обходить неровную шеренгу с правого фланга. Слышно было, что каждого спрашивают, какую военную школу он окончил и где. Болек, если требовалось, выступал в привычной роли переводчика. Дошла очередь и до меня.

— Белогвардейский кадетский корпус в Югославии, — выпалил я раньше, чем последовал вопрос, и, услышав, как это прозвучало по-французски здесь, на осеннем испанском поле, да еще в присутствии Андре Марти, сам ужаснулся.

— Фамилия?

Я ответил.

— Немец?

— Русский.

— Надо говорить: белый русский, — наставительно поправил Видаль.

— А я вовсе не белый, — возразил я с внутренним

возмущением, — в белые годами не вышел.

— Место рождения?

— Санкт-Петербург.

— Сколько лет?

Я сказал.

— Не похоже, солидности мало, — ответил Видаль уже отходя и бросил кому-то через плечо: — Запиши командиром отделения.

Пришлось повторить все над блокнотом: фамилию, имя, где я родился, и сколько мне лет, и что я бывший белый, и окончил Русский кадетский корпус в Сараеве, и через какую организацию приехал.

Получилось совсем не то, чего я ожидал. Я почувствовал себя чуть ли не самозванцем, ведь во Франции кадет — нечто вроде вольноопределяющегося, хотя, с другой стороны, и в старой русской армии всякий, окончивший кадетский корпус, автоматически приобретал права вольноопределяющегося I разряда.

Завершив обход, Марти, Видаль и сопровождающие направились к легковой машине, а мы вернулись в ряды, и рота вольным шагом выбралась на шоссе. Здесь Болек по списку вызвал новоиспеченных командиров и предупредил, что назначения временные и будут утверждены после испытания в бою.

За это время Владек перестроил роту строго по ранжиру, разбил ее на взводы, а взводы на отделения и развел нас по местам. Бывший поручик Остапченко со всем своим карпатским опытом был вознесен до командира взвода; я смущенно держался сзади и в результате, оставшись последним, попал на левофланговое отделение. Мне подчинили шесть неполных рядов самой мелкоты, перед которой даже Юнин и Лившиц оказались гигантами, по крайней мере, оба попали в предыдущее отделение.

Растыкав нас, Владек прошел по фронту, внимательно всех оглядывая. Пройдя мимо меня, он с неодобрительным видом остановился; нетрудно было догадаться, что — сам небольшого роста — он тех, кто ниже его, не ставил ни во что. На ломаном русском языке он сухо осведомился, говорю ли я по-польски, а, узнав, что только понимаю, да и то с грехом пополам, еще сильнее нахмурился и, сплюнув, ушел к середине роты. Скоро он возвратился с молоденьким краснощеким пареньком моего роста и поставил его мне в затылок, сказав, что так оно будет лучше, потому как тен Казимир хорошо умеет «по-росыйску».

Вернувшись к себе, мы прежде всего переместились так, чтобы люди из одного отделения находились вместе, а отделения

одного взвода — по соседству. Не успел я обжить новую койку, как отделенные получили распоряжение составить в двух экземплярах списки своих бойцов: один — оставить себе, а второй сдать взводному; в списках необходимо было подчеркнуть фамилии тех, кто не служил ни в какой армии. Выяснилось, что из всей чертовой дюжины нашего отделения — вместе с Казимиром нас стало тринадцать — только он один отбывал воинскую повинность в Польше; все остальные по различным причинам на действительную службу не призывались (или не являлись) и не только никогда не стреляли из винтовки, но и наблюдали ее лишь издали в руках тех или иных жандармов или еще глазея на военные парады.

При составлении списка обнаружилось и другое, весьма парадоксальное обстоятельство. Потому ли, что поляки сравнительно рослый народ, но в левофланговом отделении польской роты не нашлось ни единого настоящего поляка. Даже Казимир, невзирая на свое ультрапольское имя, на вопрос о национальности ответил, что он белорус; все прочие одиннадцать моих подчиненных назвали себя евреями, одни употребляя определение «польский», другие довольствуясь дополнением «из Польши». В большинстве они были, как и комиссар Болек, студентами бельгийских университетов, но трое сказались ремесленниками из Парижа. Эти последние в беседах между собой пользовались в равной степени и польским и французским, языками, но, когда спорили или ссорились, переходили на идиш.

Я передал копию списка Остапченко перед обедом, а выходя из столовой, случайно услышал, как Болек с тревогой сообщал Владеку, что по предварительным сведениям свыше сорока процентов роты не имело дела с огнестрельным оружием.

— Таких за одну неделю обучить обращению с ним будет нелегко, — заключил он.

Дома нас ожидал сюрприз. У нашего парадного стояли два вооруженных часовых, в той же защитной форме и зеленых беретах, как у Пьера Шварца, наверное, французы.

Прежде чем распустить роту, Владек оповестил нас, что «до халупы» привезли оружие, но чтоб мы не толкались и не творили беспорядка, а шли всякое отделение к себе, где и будет производиться раздача.

Действительно, минут через пятнадцать меня позвали, предложив взять кого-либо на подмогу, и вот мы с Казимиром, пыхтя, приволокли похожий на гроб деревянный ящик с накрашенными на досках непонятными литерами и цифрами. Ящик вскрыли, использовав вместо ломика прут от кровати. Сверху лежал слой пахнувшей машинным маслом стружки, под

стружкой — крышка из гофрированного картона, а дальше наподобие громадных сардин были уложены завернутые в коричневую вощеную бумагу и трижды перехваченные шпагатом десять винтовок; к каждой был приторочен сверток с тесаком в черных ножнах и на тоненьком шнурочке — конвертик с паспортом.

Недостающие три винтовки донес до Остапченко пожилой боец; вместе с ними он доставил охапку ветоши. Все принялись развязывать и разворачивать бумагу. Казимир, первым добравшийся до плотного слоя технического вазелина, обволакивающего не только замок и ствол, но и ложе, воскликнул:

— Гишпаньска. Система нямецка: маузер. У нас в Польшчи таки самы.

Пока мы, сперва бумагой, затем тряпками, сняли с винтовок смазку и обтерли их снаружи досуха, прошел целый час. Когда стало возможным прочитать номера, все собственноручно внесли их ко мне в список и расписались в получении оружия. Теперь следовало заняться разборкой и детальной чисткой, но как к этому приступить, никто из моих студентов, понятно, не знал. Не знал и я сам, но мне-то полагалось знать. Будь с нами Иванов, он поддержал бы мой дух, выдав что-нибудь вроде «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» или «Назвался груздем, полезай в кузов», но, увы, Иванова с нами не было. К счастью, я не пропустил мимо ушей восклицания Казимира.

— Ты знаешь эту систему? — спросил я его.

— Ведаю.

Я подозвал всех поближе.

— А ну, вынь затвор.

Затвор молниеносно очутился на раскрытой ладони Казимира.

— Поставь на место.

В мгновение ока затвор беззвучно вошел в канал. Кажется, это было совсем не так сложно, как я ожидал. По-видимому, винтовки разных систем гораздо ближе одна к другой, чем мне представлялось.

— Так, — с миной знатока одобрил я Казимира. — Теперь повтори, да помедленнее, чтобы все хорошенько видели.

После второго показа я смог бы, не потеряв авторитета, вынуть и задвинуть затвор, а после третьего — поправить того, кто действовал неправильно или неловко. За какой-нибудь час, пользуясь Казимиром как живым научно-техническим экспонатом, я ознакомил своих интеллигентов с чисткой винтовки, а когда доставили толстые брезентовые ремни,

объяснил еще и как закладывать ее по команде за плечо и как брать к ноге.

В разгар занятий вошел Владек, сопровождаемый желтоволосым датским гвардейцем.

— Слухай, дружиновы, — обратился Владек ко мне, — поменяймысе: дай двух крутких, а я тобе тего длугего. Бо никт з твоих карабин машинови не поднесе.

Сообразив, что он имеет в виду ручной пулемет для нашего отделения, я пришел в экстаз и охотно отдал бы четырех «кратких» филологов и философов за одного его «долгого» богатыря. Поскорее совершив выгодный обмен и вычеркнув из списка две фамилии, я внес в него нового бойца и номер его винтовки. Он оказался французским шахтером по специальности и поляком по национальности, однако из Польши эмигрировал еще в детстве и потому военного обучения не проходил, так что для отделения представлял интерес главным образом своими размерами и связанными с этим надеждами на «карабин машиновы»; звали его тоже Казимиром. Усадив новообретенного Казимира на свою кровать, я продолжал извлекать дальнейшую пользу из познаний его тезки. Появление командира роты прервало наш семинар в чрезвычайно волнующий момент: неожиданно выяснилось, что у полученной нами винтовки нет предохранителя, а следовательно, если патрон послан в ствол, но выстрелить не пришлось, необходимо или пять раз дернуть затвором, чтобы выбросить всю обойму, или, осторожно нажимая спусковой крючок, придерживать курок большим пальцем и опустить постепенно, а перед выстрелом взвести, как револьверный. Меня сильно беспокоила таящаяся в таком устройстве опасность, но едва мы снова приступили к его рассмотрению, как на пороге возник Остапченко.

— Тебя, Алексей, да еще вон того хлопца, — он показал на краснощекого Казимира, — требуют в штаб. Явитесь к товарищу Видалю. Вы оба зачислены в кавалерию. Сдавайте винтовки и — ходу! — Остапченко очень спешил.

— Пусть твой Видаль идет знаешь куда, — обозлился я. — Что он, в бирюльки с нами играет? Сегодня сюда, завтра туда. Никуда я не пойду!..

— Тогда ты один собирайся, — обратился Остапченко к молодому белорусу, — да поживей. Давай-ка мне винтовку. Вычеркни его из списка, Владимирыч, да собирай остальной народ. Через двадцать минут строиться. Обратно уже не вернемся, — торопливо проговорил он и вышел.

Так наше отделение лишилось единственного эрудита, а я потерял незаменимое наглядное пособие.

Не успел Казимир выйти, как влетел Болек. Он подтвердил, что необходимо немедленно укладывать вещевые мешки и выходить на улицу. Поужинаем пораньше — и в дорогу. Это могло означать лишь одно: нас перебрасывают в один из центров обучения под Альбасете. Но вскоре, прохаживаясь между столами и поторапливая нас (заплечные мешки, винтовки между коленями и особенно отсутствие аппетита мешали управляться с излишне ранним ужином), Болек, на прямой вопрос кого-то из моих студентов нервно ответил, что мы сегодня же выезжаем в Мадрид. Положение испанской столицы таково, что нельзя терять ни единого лишнего дня. Ни на какое обучение времени не остается. Обучаться будем в боях: это наиболее эффективная форма военной подготовки…

В громком голосе Болека, во всеуслышание провозгласившего сие последнее сомнительное откровение, явно не хватало убежденности. Памятуя, что еще не далее как вчера предполагавшийся недельный срок обучения наш комиссар считал недостаточным, я не удержался и спросил по-французски, принесут ли, по его мнению, хоть малейшую пользу на фронте те сорок с лишним процентов наличного состава, которым до сих пор не пришлось даже прицелиться из винтовки. В ответ Болек накричал на меня. Он на всю столовую шумел, что мой вопрос — это чистейшей воды демагогия и ему, Болеку, нашему комиссару, ответственному за морально-политическое состояние роты, очень хотелось бы знать, какую цель я преследовал, задавая этот провокационный вопрос. Вместо ответа на него Болек тем же повышенным тоном прибавил, что мы прибыли в Испанию не учиться, а сражаться, а если кто не умеет прилично стрелять, пусть пеняет сам на себя, такому незачем было и приезжать, это ненужный балласт, что война, как всем известно, есть продолжение политики, а посему всякий политически грамотный боец, убежденный в своей правоте, при всей возможной неопытности, стоит десятка наемников, сколько бы очков они ни выбивали в стрельбе по мишеням.

Слушая Болека, я думал, что именно это и есть de la pure démagogie, в каковой он упрекнул меня. Однако поднятый им шум не пробудил во мне особенного негодования или обиды. Я подозревал, что Болек потому и выходит из себя, что втайне рассуждает примерно так же, как я. Да и возможно ли было бы рассуждать иначе?

Но когда наша рота, примкнув тесаки, сдвоенными рядами маршировала по главной улице, направляясь в дальний конец города, и я шел во главе замыкающего отделения, правофланговым третьего с конца сдвоенного ряда, поглядывая то

на подпрыгивающий передо мной криво набитый вещевой мешок на спине сбивающегося с ноги Лившица, то на покачивающийся, как ранец, мешок Юнина, — меня одолевало уныние. И главной причиной его было теперь отнюдь не то, что в Альбасете не нашлось обещанной связи, и даже не то, что нам десяти, ехавшим вместе и уже свыкшимся друг с другом, пришлось расстаться, хотя разлука с Пьером Гриммом или с Ганевым, пусть и числившимся в той же роте, но по росту попавшим в первый взвод, да, собственно говоря, и с Лившицем, раз он не в нашем отделении, вероятно, сгущала мое мрачное настроение. Но первопричиной его послужил неожиданно обнаружившийся ужасающий организационный беспорядок или чье-то непростительное легкомыслие, а может — и то и другое вместе, в результате чего, проведя ровно две недели в пути или на перепутье, чуть ли не половина из нас отправлялась на фронт, не найдя времени, чтоб побывать на стрельбище, и даже не попробовав вогнать патрон в магазин только что полученной винтовки.

На внутренний плац альбасетской казармы, гораздо более обширный, чем барселонский, но схожий с ним благодаря точно такой же непрерывной галерее на уровне второго этажа, польская рота вступила едва ли не последней. Во всяком случае, весь плац и в длину и в ширину был занят компактными четырехугольниками опиравшихся на винтовки людей, и нас не без труда провели на его середину. При этом нельзя было сразу не заметить, что мы выделяемся среди других своим оригинальным обмундированием цвета заплесневелой галеты.

Справа от нас стояли строгие шеренги, одетые в темные вельветовые куртки и брюки с напуском на прочные ботинки с двойной подошвой; отдернутые набок вельветовые, а то и бархатные береты с пятиконечной алой звездочкой, нашитой на месте кокарды, придавали бойцам бравый вид; под стать всему и винтовочные ремни были не брезентовые, а кожаные. Всмотревшись, я определил, что это немцы. Как всех ни изменила однообразная одежда, но я узнал в вельветовых рядах несколько лиц, знакомых еще по немецкой группе, заседавшей в Фигерасе на нашей завалинке. Перед ближайшей из немецких рот аккуратно выровнялись восемь станковых пулеметов на массивных колесиках, — вылитые «максимы», если бы не отсутствие щитков.

Впереди нас находились французы. Этих можно было узнать по зеленоватой суконной форме с защитными беретами и обмотками. Где-то среди них должен быть и Пьер Шварц. Из гущи французского батальона доносились взрывы хохота, словно там подвизался Бубуль.

Слева от нашей роты находилась самая многочисленная из собравшихся в казарме частей, но я никак не мог сообразить, из кого она состоит. Сбивало с толку, что чуть ли не каждый взвод в ней был обмундирован по-разному: кто в такие же, как на немцах, вельветовые костюмы, кто в драповые защитные куртки и круглые штаны, стянутые обмотками, кто, как и мы, в короткие хлопчатобумажные френчи и широкие шаровары, нависавшие на башмаки, а иногда попадались и галифе, заправленные в черные полусапожки на двух застежках; винтовки и то были разных образцов. Держались эти пестро одетые бойцы чрезвычайно независимо и веселились едва ли не громче французов.

Но ничья веселость не заражала меня. Тревога моя не рассеивалась. Я слишком отчетливо помнил, что из оставшихся вместе со мной в нашем отделении одиннадцати вояк никто не умеет стрелять. Как поведем мы себя в первом бою?..

Раскаты горна, отразившиеся от низкого пасмурного неба, заставили нас побросать окурки и подтянуться. Выпрыгнувший на галерею горнист в темном френче с серебряными пуговицами и в темной пилотке с белыми кантами заиграл тот же сигнал, который мы столько раз слышали в крепости, но сейчас, когда его исполнял армейский сигналист, а не какой-то ярмарочный комедиант, он звучал мелодичнее и воспринимался совсем по-иному. Отыграв, трубач резко отдернул горн к бедру, и тотчас же из раскрытой двери за его спиной на галерею двинулись люди. Первым выскочил Видаль и отстранился, давая дорогу Андре Марти в синей тужурке с портупеей и в берете вроде грибной шляпки. За Марти, торопясь и мешая друг другу, как бывает при выходе в зал задержавшегося президиума, чувствующего, что пришедшие на собрание заждались, вышло еще несколько человек.

Андре Марти подошел к балюстраде и заговорил. Он привык выступать на городских площадях, и, несмотря на размеры плаца, где стояло тысячи две, я отчетливо слышал каждое слово. Голосом, хриплым от волнения, а может быть, и оттого, что в эти дни ему пришлось немало кричать, Марти бросил всего несколько фраз, и сразу стало понятно происхождение речи Болека в столовой. Только у Марти та же тема звучала иначе. Он тоже напомнил, что уже прошло двое суток, как наши товарищи из Первой интернациональной бригады вступили в неравную битву бок о бок с героическими пролетариями испанской столицы. Он тоже сказал, что бригада несет невосполнимые потери: больше трети ее состава уже выбыло из строя и на каждого раненого приходится один убитый.

— Никаких резервов в Мадриде нет! Все, кто может носить

оружие — шестнадцатилетние мальчики и пятидесятилетние старики, — все участвуют в решающем сражении! По сведениям республиканского штаба, фашисты израсходовали свои силы! Их наступление должно захлебнуться! Необходимо во что бы то ни стало удержаться на теперешних рубежах! Необходимо еще одно усилие! Все надежды на вас.

Марти медленно обвел плац глазами.

— От имени тех, кто направил меня сюда! От имени ваших товарищей, проливающих свою благородную кровь на берегах Мансанареса! От имени мадридских женщин и детей, которым грозит фашистская неволя! Я призываю вас на бой! — И Марти левой рукой указал на наши спины, потом снял берет, вытер лоб платком и надел опять. — Мне известно, — продолжал он другим, проникновенным тоном, — что не все вы достаточно подготовлены к боевым действиям. Тот, кто сознает это, кто не уверен в себе, в своей немедленной пригодности к современной войне, пусть выйдет из строя и станет в стороне. Никто вас не осудит. Никто не заподозрит в недостойной слабости. Такие поедут со следующей бригадой. А остальные в путь! Завтра же вечером вы пойдете в контратаку! Вперед, друзья мои, к победе! Вперед, волонтеры свободы!..

Когда Марти предложил всем, считающим себя недостаточно подготовленными, покинуть ряды, меня охватил испуг: а что, если сейчас все наше отделение в полном составе вдруг сдвинется с места и начнет проталкиваться туда, поближе к галерее? Я внутренне замер, но никто позади не шелохнулся, да и нигде на плацу не было заметно ни малейшего движения.

— Ничего иного я и не ждал от вас, — раздался окрепший голос Марти, — ничего другого. — Он выпрямился и торжественно поднес кулак к берету. — Старый борец за благо трудового народа, я отдаю вам честь, будущие герои! — Он опустил кулак. — Запомните же как следует этот переломный момент. Только что решилась ваша судьба. Теперь вы больше не собравшиеся вместе с возвышенной целью добрые люди. Нет! С этого мгновения каждый из вас стал солдатом! Каждый добровольно возложил на себя тяжкие латы воинской дисциплины! И все вы обязаны неукоснительно ее соблюдать! Во избежание грозных для нарушителя последствий!.. Поддерживать ее твердой рукой будет ваш командир бригады. Им назначен венгерский революционер генерал Поль… генерал Пауль Лукач, — поправился Марти, почти безупречно произнося так трудно для француза заканчивающуюся фамилию, и оглянулся.

Из стоявшей позади него группы штабных выступил небольшого роста плотный человек, очень хорошо, даже

щеголевато одетый. На нем был тщательно выглаженный охотничий костюм и спортивные ботинки, недоставало лишь тирольской шляпы с кисточкой, чтобы довершить сходство с австрийским помещиком, собравшимся пострелять фазанов. При всей своей преувеличенной франтоватости этот, очевидно, опальный венгерский военачальник вызывал невольное уважение: не так уж часто приходится встречать генералов, заделавшихся революционерами. Обратился он к нам, как и надо было ожидать, по-немецки, но выговаривал так твердо и тщательно, что я понимал большую часть.

Начал он с того, что считает величайшей для себя честью вступить в командование Второй интернациональной бригадой, которая в испанской республиканской армии будет именоваться Двенадцатой, так же как Первая — числится Одиннадцатой. В Двенадцатую бригаду пока входят три батальона: первый батальон Тельмана, сформированный на прочной базе центурии, уже прославившейся под тем же дорогим именем, в этот батальон кроме трех немецких рот включены — одна балканская и одна польская; второй батальон, итальянский, принял имя национального героя Италии, всемирно известного борца за свободу Джузеппе Гарибальди; третий батальон, франко-бельгийский, просил присвоить ему имя выдающегося деятеля французского и международного рабочего движения нашего руководителя Андре Марти. В ближайшие дни к бригаде должны присоединиться: артиллерийская батарея, ожидающая в данный момент укомплектования материальной частью, и находящийся в стадии формирования эскадрон кавалерии.

Свое суховатое информационное сообщение нарядный генерал завершил небольшой дозой красноречия, выразив уверенность, что батальоны, носящие столь известные и ко многому обязывающие имена, не посрамят их, но пронесут сквозь, дым сражений с честью.

Три немецкие роты вслушивались в речь на родном языке с подчеркнутым вниманием. Все прочие, за отдельными редкими исключениями, совсем его не знавшие, из вежливости делали вид, что слушают. Пока слабое эхо повторяло над нашими головами однообразное перечисление: «Das erste Bataillon… das zweite Bataillon… das dritte Bataillon…» — мне по чисто внешней ассоциации вспомнилась осмеянная в «Войне и мире» диспозиция к Аустерлицкому сражению: «Die erste Kolonne marschiert… die zweite Kolonne marschiert… die dritte Kolonne marschiert…» — но я тут же рассердился на себя за склонность к поверхностному зубоскальству. Чем, в самом деле, генерал австрийской школы виноват, что среди его слушателей нашелся излишне памятливый

читатель Льва Толстого?

А Лукач, закончив свою диспозицию, вместо того чтобы возвратиться на свое место в свите Марти, еще ближе придвинулся к перилам, взялся за них сильными белыми руками, секунду поразмыслил и доверчиво наклонился к нам:

— Товарищи, я буду говорить с вами на языке Октябрьской революции…

Будто порыв ветра по лесу, по рядам пробежал взволнованный трепет. Обращаясь к своей бригаде по-русски, генерал Лукач должен был знать, что во всех трех батальонах вряд ли наберется и тридцать человек, могущих понять его. И тем не менее, заговорив на не доступном для его бойцов языке, он не ошибся, он рассчитал правильно. Единственного дошедшего до всех слова «товарищи» оказалось довольно, чтобы, ничего по существу не поняв в его речи, люди схватили в ней самое главное, как раз то, что он и хотел сказать: этот «венгерский генерал» знает язык Октябрьской революции. Лукач говорил на ее языке с сильным своеобразным акцентом, порой употребляя не те падежи, но не подыскивая слова и уместно используя русские образные выражения. Моего сознания, впрочем, почти не коснулись те несколько общих фраз, какие последовали за первой, и таким образом я присоединился к большинству: слишком уж поразило и обрадовало меня, что неизвестно откуда свалившийся на наши головы венгерский революционер из генералов оказался — в этом теперь не могло быть сомнения — одним из тех военнопленных мадьяр, какие в гражданскую войну пошли сражаться на стороне большевиков. Впервые с сегодняшнего утра на меня снизошло спокойствие. Больше я не страшился ни за себя, ни за свое отделение. Раз наш командир оттуда, из СССР, раз за ним опыт Красной Армии, нам нечего опасаться собственной неопытности. Конечно, не я один ощутил внезапный прилив бодрости, чувствовалось, что все на плацу прониклись заинтересованным доверием к своему предводителю.

Что касается меня, то про себя я особо отметил несомненную одаренность нашего командира бригады. Только талантливый человек мог суметь, не нарушая требований конспирации и соблюдая скромность, ничего по существу не сказав о себе, так в то же время исчерпывающе представиться своим подчиненным, так выразительно высказаться одним вводным предложением да еще на почти никому не понятном языке.

— Комиссаром вашей бригады назначен член Центрального комитета итальянского Союза коммунистической молодежи Луиджи Галло, — прервал тишину Андре Марти.

Из-за его плеча выдвинулся очень худой, не худой даже, а

какой-то весь узкий, брюнет с подвижническим небритым и болезненно-бледным лицом; над большим лбом дыбились зачесанные назад жесткие волосы; глаза были посажены так глубоко, что издали виднелись лишь две черные впадины. Несмотря на ту же, что на Марти и Видале, темно-синюю форму, перетянутую ремнями, соединение аскетической худобы с сосредоточенно-серьезным лицом делало комиссара бригады удивительно похожим не то на сбросившего сутану аббата, не то на расстриженного доминиканца. «Овод, — промелькнуло у меня в голове, — только некрасивый Овод».

По-французски с неистребимым итальянским акцентом Галло пообещал, что будет краток: сейчас время не слов, но дел. Профессиональные ораторы довольно часто подобным вступлением предваряют часовую речь, но комиссар бригады был на самом деле лаконичен. Он сообщил нам, что защитники Мадрида выдвинули лозунг: «Не пройдут!» — и прибавил, что, отправляясь к ним на подмогу, мы обязаны превратить этот лозунг в свой, проникнуться им так, чтобы там, где займет позиции Двенадцатая интернациональная, фашисты ни за что не прошли.

— No pasarán, — заключил он по-испански, подняв сжатые в кулак тонкие пальцы.

За комиссаром подошла очередь начальника штаба бригады. Марти объявил, что эту ответственную должность займет «германский рабочий Фриц», и к перилам шагнул тщедушный маленький немец в висящем на нем, как на вешалке, — почему-то рыжем — лыжном костюме и в крагах. Вытянувшись во весь свой незавидный рост и продемонстрировав при этом завидную, очевидно, прусскую, выправку, он отсалютовал кулаком и отошел, не произнеся ни слова. Видно, был не красноречив.

Снова выпрыгнувший на галерею трубач проиграл, как следовало предполагать, испанский «отбой», и церемониал формирования бригады был завершен. Андре Марти, озабоченно склонив голову к Видалю, направился к дверям. Весело посмотрев в нашу сторону, генерал Лукач взял под локоть своего неприметного начальника штаба и проследовал за Марти, сзади них потянулись Галло и остальные.

Впереди прозвучали французские команды и развернулось красное знамя. Справа послышалось повелительное: «Achtung!» Владек сипло повторил по-польски: «Бачность!» — ведь мы входили в батальон Тельмана. Итальянцы уже маршировали слева одни навстречу другим, как бывает на парадах, когда негде развернуться; потом их первая рота приставила ногу, пропуская нас.

Все население Альбасете высыпало на проводы. Мы проходили между сплошных людских стен. Отовсюду неслось восторженное «Вива!». Девушки бросали нам цветы, вынимая их из причесок. Однако сейчас мы не ощущали той гнетущей неловкости, какую переживали в Барселоне. Шагая к альбасетскому вокзалу, с винтовками за правыми плечами, с ерзающими за спинами походными мешками и фляжками, шлепающими слева по ляжкам, мы больше не чувствовали себя заезжими гастролерами, принимающими незаслуженные овации до начала спектакля, но уходящими на войну бойцами, провожаемыми теми, за кого мы шли сражаться.

Чем ближе подходили мы к вокзалу, тем гуще стоял народ и тем у́же делался оставленный для нас проход. Многие женщины плакали, держа над собой сведенный кулак, а другой рукой со скомканным платочком осушая слезы. Небольшая площадь перед станцией железной дороги оказалась окончательно запруженной, и нам, чтобы пройти, пришлось нарушить равнение и смешать ряды, а потом, догоняя правый фланг, бежать по перрону.

Толпа непрерывно пела «Интернационал». Если он и затихал, то сейчас же его опять запевали где-то в отдалении, пение приближалось, и снова охватывало всю площадь. Даже в пении «Интернационала» проявлялась испанская самобытность. На всех языках мира и в любой точке земного шара он исполняется одинаково, если порой и удается уловить ничтожное различие, то лишь в темпе. Здесь же его пели по-своему. Каждый раз там, где в русском тексте поется «и решительный бой», тенора, перебивая хор, подобно фанфарам, вырывающимся из оркестра, вопили в терцию предыдущую строку, соответствующую — «это есть наш последний!..».

Добравшись наконец до своих вагонов, мы с огорчением убедились, что ехать будет еще хуже, чем всегда, поскольку нас по-прежнему запихивали по восемь в купе, не принимая во внимание ни вьюков, ни винтовок.

Вскоре Владек и Болек втащили в вагон нашей полуроты тяжелый деревянный ящик и, перетаскивая его от отделения к отделению, выдали на руки по обойме. Ко всякой Владек присовокуплял совет до поры до времени заховать ее в подсумок и не вздумать заряжать винтовку в такой тесноте. Завершив раздачу, оба вторично обошли вагон и дуэтом — командир в своем лаконичном стиле, а комиссар более витиевато — предупредили, что ночью света в поезде не будет, а потому без нужды по проходу не бродить и посторонних в вагоны не пускать, да и курить лучше в рукав. Последнее показалось мне странным. Или оба предполагали, что спичка, зажженная в купе, сможет

сквозь вагонную крышу привлечь к нам внимание вражеской авиации?

Погрузка бригады затянулась, и поезд отошел уже в сумерках. Почему-то в этот решающий момент все закурили, и едкий дым дешевого табака заглушил приятный смешанный запах машинного масла, железа и свежевыделанной кожи.

Едва эшелон вышел в поле, как совсем стемнело. Смотреть стало некуда, и люди, проведя весь день на ногах, заклевали носами. Как ни странно, но дремать, опираясь обеими руками на винтовку, оказалось гораздо удобнее, чем откинувшись на стенку, как раньше, и очень скоро весь вагон затих. Только в соседнем купе, где сидели последние три ряда отделения, то есть самая мелюзга, или, как называл их Владек, «дробязг», шел шумный, заглушавший перестук колес спор на идиш. Два визгливых голоса старались перекричать третий — низкий, тягучий и с какими-то переливами, забавно напоминающими о саксофоне. Через некоторое время тонкие голоса отступились, а саксофон продолжал тянуть свое, незаметно перейдя на французский. Уже со второй дошедшей до меня фразы стало очевидно, что я присутствую при зарождении самого настоящего фольклора.

— …он узнал это непосредственно от товарища Марти. Ну а Марти… — рассказчик интригующе понизил голос, — Марти же по ночам с Москвой разговаривает. По прямому подземному кабелю. Из подвала. Здесь Андре Марти, а на том конце кабеля, тоже в глубоком подвале, чтоб никто не подслушал, — саксофонный баритон перешел на театральный шепот, — товарищ Жорж Димитров!.. Только смотрите, никому ни слова! Мне под таким условием рассказано! Начнете болтать — можно и без головы остаться! Разглашение секретов Коминтерна. Спрашивается, зачем же я вам об этом говорю? Чтобы вы поняли. А то «сдадут, сдадут», — спорите, как дураки… Так вот. Седьмого ноября, после парада на Красной площади и манифестации трудящихся, комиссар народа по иностранным делам товарищ Максимильян Литвинов устроил, как всегда, в самой большой церкви Кремля обед для послов капиталистических стран. Только они съели по тарелке черной икры, как встает германский посол фон Шуленбург, поднимает фужер с водкой и говорит, что к советскому празднику у него припасен прекрасный подарок. Он хочет от всей души поздравить его превосходительство господина комиссара народа, а также всех присутствующих коллег с окончательной ликвидацией очень опасного очага военного пожара, угрожавшего спокойствию всей Европы. Очаг этот потушен. Гнездо анархии уничтожено. Не позже как утром посольство третьего рейха получило телефонограмму из Берлина,

что Мадрид взят войсками генерала Франко. Тут, конечно, все эти расфуфыренные капиталисты в расшитых мундирах и с муаровыми лентами через животы обрадовались, чокаются друг с другом, готовятся выпить. Но в это время Литвинов берет телефонную трубку из настоящей слоновой кости с золотыми инкрустациями — еще от царей осталась, — дует в нее: «Дай мне Мадрид, товарищ… Это Мадрид? Позвать сию минуту моего доверенного представителя товарища Розенберга!» Послы, само собой разумеется, насторожили уши, они надеялись, что фалангисты уже повесили Розенберга. «Это ты, Розенберг? — спрашивает Максимильян. — Значит, ты все еще в Мадриде? Так, так… А Франко, выходит, в Мадриде нету?.. Ладно, все. Позванивай». Кладет Литвинов драгоценную трубку, поворачивается к своим гостям и расстроенным тоном произносит: «Уважаемые господа, с глубоким прискорбием должен доложить вам, что по сию минуту полученным сведениям опасный очаг войны, насчет которого нас поторопился обнадежить господин фон Шуленбург, все еще существует: Мадрид продолжает находится в руках законного республиканского правительства». И Литвинов берет золотую чашу, наливает до краев самой крепкой водкой, подходит к испанскому послу, чокается с ним и кричит: «No pasarán!»

Слушатели опять, загалдели на том недоступном чужом языке, на каком их предки еще в средние века объяснялись во всех гетто католической Польши и протестантской Германии. Однако, по интонации судя, это уже был не спор.

— Больше ничего и не требовалось доказать, — по-французски суммировал сказитель. — Теперь вам ясно, что Мадрид никогда не будет сдан Франко?

Ему неразборчиво ответил кто-то один, и разговор угас. В общем, такой же самый разговор, какой шел у нас при отъезде из Парижа две с лишним недели тому назад.

Опершись подбородком о сложенные на стволе винтовки руки, я задумался и незаметно задремал под убаюкивающий перестук колес: но теперь мне чудилось, будто они выстукивают: «No-pa-sa-rán! No-pa-sa-rán! No-pa-sa-rán!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Тотчас же после выгрузки пулеметчики повлекли свои оголенные стволы на солидных колесиках (Юнин определил, что это германские «максимы») за угол пакгауза; туда утопали и обе стрелковые немецкие роты; что же касается балканской, так ее до сих пор даже издали видеть не приходилось. Мы опять остались одни. Болек пообещал, что скоро доставят кофе, — проходя мимо Остапченко, он для убедительности прибавил русское «сейчас», — но миновал и сей, миновал и второй час, а кофе и не пахло. Пробившееся сквозь облака солнце начинало пригревать. Неизвестно было, сколько придется так стоять, куда удалился наш батальон и где остальные два. Курево у большинства иссякло, опустели и фляжки тех, кто были подальновиднее и за последней альбасетской трапезой наполнили свои разбавленным вином. Но ни жажда, ни голод, ни бессмысленное торчание на безлюдной станции в ожидании невесть чего, раз ближе к Мадриду поезда уже не ходили, ни недостаток сигарет не могли снизить то приподнятое состояние, в какое нас привело вчерашнее триумфальное шествие. Наоборот, праздничное настроение усугубилось, когда кто-то, решив своевременно приготовиться к бою, вогнал выданные накануне пять патронов в магазины винтовки, и, повинуясь рефлексу обезьянничанья, вся рота сделала то же.

Казалось бы, мы взялись за оружие не по прирожденной агрессивности, а лишь подчиняясь необходимости, принужденные безмерной и все возрастающей наглостью фашизма. Вряд ли можно было выискать между нами хоть одного человека, не поддававшегося длительным пацифистским иллюзиям, распространенным после мировой войны не только в среде радикальной европейской интеллигенции, но и среди рабочих, по крайней мере, до прихода Гитлера к власти. И уж во всяком случае все мы одинаково люто ненавидели войну, все с одинаковым отвращением относились к профессиональным военным, все презирали книги и фильмы, однообразно прославляющие ничтоже сумняшеся шагающих по трупам патологически бесстрашных героев, все, наконец, считали общее разоружение, провозглашенное в свое время с трибуны Лиги Наций наркоминделом Максимом Максимовичем Литвиновым, величайшей надеждой человечества. И однако, стоило нам ощутить в ладонях грозную тяжесть заряженной винтовки, и — куда подевались вчерашние пацифисты — в каждом взамен естественной брезгливости к холодно поблескивающему сталью и

лаком орудию смерти вспыхнуло нечто близкое к влюбленности, в давешних миротворцах откуда ни возьмись пробудились дремучие инстинкты воинственных предков. И метаморфоза эта совершилась не потихоньку, где-нибудь в стыдливых глубинах подсознанья, но в открытую, с вызывающей, можно сказать, откровенностью. Даже сторонний наблюдатель заметил бы, что, по сравнению с тем, как наша рота выглядела всего сутки назад, она прямо-таки переродилась. У всех, от правофланговых и до «дробязга», глаза повеселели, словно от крепкого напитка; сутулившиеся распрямились, узкогрудые развернули плечи. Главную роль тут сыграл внезапный переход от затянувшегося бездеятельного ожидания, нудного, как карантин, к походной активности, а также выраженное вчера альбасетским населением благодарное одобрение, но невозможно было отрицать и стимулирующее действие, которое оказывало обладание огнестрельным оружием на рудиментарную подоплеку мужской психологии. И сам я, установив окованный приклад между носками ботинок, со скрытой нежностью обеими руками обнимал свою винтовку, то перекладывая ее со сгиба левого локтя на сгиб правого, то наоборот; и во мне не остывало счастливое возбуждение, родственное мальчишескому восторгу, какой переполнял душу давным-давно, при получении в подарок заводного паровоза с вагончиками и соединяющимся в эллипс на всю детскую рельсами, или когда мне впервые позволили сесть верхом на неоседланную лошадь, водимую конюхом под уздцы.

Солнце всходило все выше, а мы продолжали безропотно выстаивать на перроне. С негласного попустительства Владека добрая половина людей разбрелась кто куда, но оставшиеся старательно соблюдали остов строя. Вокруг него, как вокруг муравейника, шло непрекращающееся движение: одни, набродившись вдоль праздных путей, возвращались на свои места, и тогда отходили прогуляться другие. Я тоже не устоял и, испросив у Остапченко разрешения, бережно, как хрустальную вазу, передал винтовку «долгому» Казимиру, прислонил к его невообразимых размеров сапогам-скороходам вещевой мешок и отправился поразмяться.

На отходящей от станции тихой улочке посреди белых, с закрытыми ставнями, а потому кажущихся необитаемыми домиков возвышалась стена церкви, по низу исчерканная политической полемикой. Обе створки кованых чугунных врат бокового входа были раскрыты, за ними виднелись вторые, деревянные двери, гостеприимно распахнутые в прохладную черноту. Меня потянуло в нее: августовская теплынь в ноябре начинала приедаться.

За стертым каменным порогом я в недоумении остановился. Через разноцветные витражи врывались в полусумрак желтые пучки солнечных лучей и, пробиваясь сквозь завесу неоседающей мельчайшей пыли, освещали внутренние руины не поврежденного снаружи храма. В нем не осталось ничего, не подвергшегося разрушению. На отшлифованных столетиями замусоренных плитах валялись свергнутые с постаментов изваяния святых; у них были отбиты уши, носы и держащие книгу или благословляющие руки, а некоторые, в чем-то особенно провинившиеся, обезглавлены. Стенная роспись, хотя и испещренная следами пуль, еще кое-как сохранилась, зато развешанные между колонн громадные академические картины, изображавшие этапы крестного пути, были или вовсе выдраны из рам и свисали лохмотьями, или по нескольку раз прободены тесаками. Слева, на запрестольном образе, некто, не поленившийся взобраться на лестницу, намазал богоматери усы. В центре, на грязном ковре, в обломках лежала главная люстра, а на ней — груда растрепанных богослужебных книг в переплетах из телячьей кожи. Повсюду были разбросаны перевернутые скамейки, погнутые медные паникадила, осколки лампад, бронзовые тиары и сияния, содранные со статуй. Нагажено было по всей церкви.

Мне было известно, что повсеместный разгром церквей вдохновлялся анархистами, ибо это соответствовало и духу и букве их учения. Знал я и то, что руководство коммунистической партии старалось по мере сил амортизировать их безрассудные удары. Ясны мне были и размеры причиненного анархистскими эксцессами вреда. Красочные корреспонденции в сопровождении вызывающих содрогания клише и прокатившихся по испанским городам и весям, сразу же после подавления главных очагов мятежа, волне антиклерикальных беспорядков, переродившихся в откровенно антирелигиозные, не могли не вызвать в христианнейшей Европе ответной волны негодования. Она достигла такого размаха, что, когда, в частности, рассыпалась на бреге насквозь католической Ирландии, из нее вышло готовое добровольческое подразделение, немедленно отплывшее к Франко. (Эти добровольцы были едва ли не единственными бескорыстными людьми во франкистском стане, во всяком случае, насмотревшись на сатанинскую жестокость, с какой фалангистские рыцари в союзе с маврами утверждали веру Христову, веснушчатые ирландские крестоносцы вложили мечи в ножны и отчалили восвояси.)

И однако, невзирая на все, что мне было известно, я не чувствовал в себе внутреннего права отмахнуться от тягостных

впечатлений сегодняшней прогулки, переложив всю ответственность на плечи одних анархистов. Чем-то подобная позиция походила на мерзкое поведение чистоплотного перестраховщика Пилата — моя, мол, хата с краю. Ведь анархисты не были каким-то инородным телом в испанских событиях, численно они составляли весьма объемистую часть Народного фронта. А раз так, их ошибки неизбежно делаются общими нашими ошибками.

К роте я подоспел в последнюю минуту. Она уже готовилась выступать, и запаздывавшие сбегались к ней с разных сторон, стуча башмаками. Вольным шагом мы свернули в пустую улицу и прошли мимо исцарапанных стен злосчастного храма; я с совершеннейшим равнодушием взглянул на него из строя.

Миновав весь, будто покинутый жителями поселок, рота остановилась возле сельского трактирчика с облупившейся вывеской. На его утрамбованном дворе догорали под закопченными котлами костры, распространяя запахи угара и горячего кофе. Терпеливо выстояв в очереди, каждый из нас получил по манерке обжигающего приторно-сладкого питья и по выпеченному в виде кирпича белоснежному и безупречно пресному хлебу. Завтрак доставил тем большее удовольствие, что пора было обедать. Впрочем, угощавшие нас кашевары (почему-то не свои, а батальона Гарибальди), принимая манерки, выдавали еще по одной полукилограммовой просфоре, по банке джема на восемь человек и по окороку вяленой ветчины на взвод.

Мы составили винтовки в козлы, уселись около них на земле и сразу же после завтрака принялись за обед. При этом, не без ущерба для моих патриотических пережитков, я ознакомился с деловыми преимуществами германского тесака перед воспетым русскими поэтами и превозносимым русскими прозаиками трехгранным штыком, могущим служить пехотинцу лишь холодным оружием, тогда как тесаком нарезался хлеб, кромсалась ветчина и вскрывались консервы.

Запив засахарившийся джем холодной водой, многие прилегли вздремнуть, используя свой мягкий ранец в качестве подушки, но их тут же пришлось разбудить, чтобы образовать новую очередь перед вынесенным из корчмы столом с чернильницей. За ним, а правильнее над ним на высоких круглых табуретах уселись Владек, Болек и Мельник. По правую руку от Болека на столе стоял холщовый мешок, для прочности обшитый кожаными ребрами. Владек запускал в него руку, вынимал серебряную монету старой чеканки размером с екатерининский рубль и передавал Болеку, который царственно протягивал ее

очередному бойцу. Мельник спрашивал его фамилию и, водя пальцем по списку, ставил галочку. Неизвестно почему, у отходивших от стола с винтовкой в левой руке и монетой, зажатой в правой, был сильно сконфуженный вид, словно они против своей воли совершили нехороший поступок. Как ни странно, но, приняв свой пятипесетовый сребреник, я тоже ощутил неловкость.

Раздав деньги, Болек слез со своего насеста и объявил столпившимся вокруг стола и явно ждущим разъяснения людям, что мы во всех отношениях приравнены к испанским милисианосам и на фронте будем, как они, получать сверх довольствия и обмундирования по триста песет в месяц, а полученные только что пять песет даны пока не в счет на сигареты, на почтовые и прочие карманные расходы. Что могло быть естественнее, однако и после этого исчерпывающего пояснения на всех лицах долго сохранялось виноватое выражение, будто мы не то получили милостыню, не то взяли взаймы без отдачи и отныне на наше бескорыстие брошена тень.

Вскоре Владек повел нас в окруженный садом двухэтажный дом, выстроенный, вероятно, незадолго до мятежа, так как в нем не было не только мебели, но и обоев, дверных ручек, шпингалетов на оконных рамах и электропроводки. Первые два взвода поднялись наверх, а третий и четвертый остались в нижнем этаже, состоящем из одной очень большой комнаты, однако, когда мы вошли, в ней стало так тесно, что пришлось стоять, прижавшись друг к другу, почти как на площадке парижского автобуса в часы пик. Выходить тем не менее даже в садик не разрешалось. Владек, оставшийся в передней, предупредил, что вот-вот подойдут грузовики, которые повезут нас к фронту, а до того никто из цивильных не должен нас видеть: момент отъезда и направление, в каком нас повезут, составляют военную тайну.

В ожидании все закурили крепкие испанские самокрутки, продающиеся в пачках уже свернутыми на фабрике, оставалось лишь провести языком и склеить, но бумага была почему-то слишком плотной и приходилось перекладывать табак в листок папиросной, вырванный из книжечки, и скручивать снова. Лично мною эта процедура осваивалась не легко.

Несмотря на раскрытые окна, едкий дым щипал глаза, а так как вся полурота оживленно разговаривала, в комнате стоял страшный гам. Именно в такой подходящей обстановке нам и довелось практически ознакомиться с достоинствами винтовки системы «Маузер» без предохранителя. Однообразное гудение голосов внезапно прорезал ужасный треск, и грохнул

оглушающий выстрел, как будто среди нас разрядилась молния и грянул гром. В наступившей жуткой тишине послышался протяжный крик наверху и встревоженный топот. Все подняли головы: в гипсовом потолке зияла черная дырка. Посредине комнаты началась возня, и оттуда донеслась непечатная польская брань — сиплый бас доказывал, что чья-то мать курва. Наше отделение, вошедшее последним, столпилось у закрытой двери в переднюю, а те, кто находился ближе к выходу, прислушиваясь и просовывая носы в щель, передали, что по лестнице сносят раненого. Хотя возбужденный диспут в центре помещения продолжался, мне хорошо был слышен стук подошв по ступенькам и тихие стоны. Дверь приоткрылась шире, и в ней появился Болек, бледный, как мертвец.

— Кто стшелял? Кто стшелял? — завопил он. — Арештовать и пшивесчь тутай!

Неся за плечом две винтовки, огромного роста рябой дядя, тот самый, что в паре с желтоволосым Казимиром сидел за нашим столом на банкете в Валенсии, проталкивал за плечо через образовавшийся перед ними узкий коридор растерянного парня, которому кто-то сгоряча успел подбить щеку: в испуганных серых глазах его стояли слезы. Болек пропустил обоих мимо себя и закрыл дверь. Через минуту рябой гигант, попавший с правого фланга в третий взвод по всей вероятности тем же способом, каким его дружок Казимир попал к нам, вернулся, но уже с одной своей винтовкой.

— Гурский, — окликнул его Казимир, — цо го чэка?

— Не бендзе повешоны, — просипел Гурский, пробиваясь к середине зала.

— А тен, на вежху ест ченшко ранены?

— Зостане пшы жичю.

Хотя всем уже было известно, что выстрел последовал, по-видимому, от удара прикладом в паркет, поскольку бедный парень, зачем-то послав патрон в ствол, не знал, что дальше делать, и оставил курок на взводе, обсуждение события продолжалось, и шум в комнате сделался невыносимым. Из-за него никто не расслышал подхода машин. Мы догадались о их прибытии, когда первую полуроту начали выводить в сад. За ней повели и нас. Рота построилась на садовой дорожке. Заплаканный виновник печального происшествия горбился поодаль безоружный (о мудром решении начальства перевести его в санитары мы неисповедимыми путями узнали еще внутри).

Одинаковые темно-зеленые грузовики с деревянными кузовами поочередно останавливались у калитки и, приняв людей, отъезжали в сторону. В каждый грузилось по отделению.

Владек сам руководил посадкой, и, явно забыв о необходимости блюсти в тайне время нашего отъезда, кричал, чтобы поаккуратнее обращались с винтовками и что винтовка, пся крев, не метла.

Наше отделение уселось в последнюю машину. Как и предыдущие, она была без скамеек, но до половины завалена свежей золотистой соломой, а даже, учитывая вещевые мешки и винтовки, одно отделение на грузовик, да с такой подстилкой, это почти что путешествие в спальном вагоне. Владек побежал к передней машине, а Болек, подсадив в кузов разжалованного в санитары, сам уселся в кабину нашей, и зеленые грузовики, поурчав скоростями, выехали с проселка на шоссе и покатили цугом.

Солнце пряталось за тучи слева, значит, нас везли прямо на север. На изгибе шоссе стало видно, что впереди движется многое множество таких же открытых машин с людьми; должно быть, мы догоняли свой батальон. Курить на сухой соломе я запретил, а потому особенно сильно хотелось есть и пить.

Едва мы тронулись, между тремя неугомонными парижскими ремесленниками разгорелся жаркий спор, на каких грузовиках мы едем. Носатый и тщедушный всезнайка, весь поросший цыплячьим белесо-рыжим пухом и, что называется, от горшка два вершка, однако с низким певучим голосом (по которому я узнал в нем автора подслушанного мною ночью эпоса о Литвинове), сверх всего прочего носивший словно в насмешку фамилию Орел (он произносил Орэл), утверждал, будто нас везут на советских грузовиках. Его приятели вдвоем на трех языках наперебой доказывали, что камионы — шведские, оттого они и деревянные, в Швеции, как всем известно, много леса. Орел возражал, что в Советском Союзе в тысячу раз больше леса, чем в их паршивой Швеции, а кроме того никаких шведских грузовиков и в заводе нету, и потом, в Швеции король, он не будет помогать республике. В ответ те орали, что большевики не станут производить подобную дешевую дрянь и что рессоры тоже дрянь, верно и они деревянные — ишь, как задницу отбивает на выбоинах, того и гляди Орел себе язык откусит и перестанет молоть чепуху, да и мотор верно дрянь: урчит, словно больное брюхо. На это Орел вопил, что даже идиоты должны понимать: чем дешевле камион, тем лучше — попадет бомба, все равно ни шиша не останется и от дешевого и от самого дорогого «студебекера». Спор тянулся бы до бесконечности, но подкинутый нам санитар вмешался и рассказал, что, находясь в саду, он слышал, как Владек, Болек и еще этот, Мельник, беседовали между собой. И Мельник тогда объяснял, что нам подадут

советские камионы марки «ЗИС-5», что их в Испанию прислано видимо-невидимо и что сделаны они грубо, как топором, зато недороги, выносливы и просты в управлении, вот только бензина жрут до черта.

При въезде в какое-то село наш караван остановился. Когда я поднялся, чтобы посмотреть, в чем причина задержки, оказалось, что по крайней мере на километр перед нами прямая улица забита упершимися одна в другую машинами, а около них собрались местные жители. К нашей из крайних мазанок тоже уже подбегали чумазые оборванные ребятишки, настоящие цыганята. За ними спешили худые загорелые женщины, все как одна, будто в трауре, в черном, и молоденькие девушки в застиранных ситцевых платьях. Сзади шли темноликие старики в латаных пиджачках и стареньких, как они сами, кепках. В руках у пожилых женщин были глиняные кувшины, те, кто помоложе, и девушки несли под локтем круглые плоские хлебы, а на тарелках и блюдцах — головки очищенного лука и чеснока, нарезанный толстыми кусками домашний сыр, кружочки посыпанной красным перцем колбасы, виноградные гроздья. Приветливо что-то тараторя, женщины вставали на цыпочки, чтобы дотянуться до бортов машины, и предлагали свое угощение. Мы пытались отказываться, но они так искренне удивились и огорчились, что пришлось сдаться. Кувшины с двумя горлышками, пошли по рукам. Не умея пить по-испански, мы поочередно сосали густое красное вино, а затем набивали рты хлебом, сыром, луком, маслинами и прочей снедью. Как только кто-нибудь, смущенно повторяя «мерси, мерси», опускал вниз пустую тарелку или миску, вместо нее появлялись две полных. Старики молча протягивали нам лежащие между большим и указательным пальцем готовые самокрутки, объясняя жестами, что их надо склеить слюной. Из вежливости я разрешил покурить над бортом.

Но тут вдалеке трижды проквакал клаксон. Наш шофер запустил мотор нахолостую, и машина мелко затряслась. Окружавшие отступили. Правые руки женщин были заняты опустевшей посудой, и они подняли левые, сжатые в кулак. Мы приветственно кивали, потом тоже подняли кулаки. Толпа притихла. Впереди стояли посерьезневшие детишки, за ними, положив им руки на плечи, старики, сзади — женщины. Все смотрели на нас ласково и грустно, словно уезжали не мы, а их сыновья, мужья или братья. Лишь старики, приподняв к нам морщинистые лица, ободряюще улыбались беззубыми ртами. Продвигаясь за предыдущей машиной, наш шофер медленно выруливал на середину шоссе. Из толпы послышались прощальные возгласы. И тогда наш смешной Орел вскочил на

ноги и, держа в одной руке винтовку, взмахнул кулаком другой и прокричал своим саксофонным голосом:

— Вива ла репу́блика эспаньо́ла!

— Вива! — поддержали мы.

— Вива эль фре́нте популя́р!

— Вива! — подхватил хор.

— Но пасаран! — во все горло прокричал Орел и обеими руками вздел винтовку над собой.

— Но! па! са! ран! — прогремели мы.

Шофер перевел скорость, и Орел чуть не упал, но его заботливо поддержали. Мы все поднялись на ноги и, потрясая своим оружием, скандировали:

— Но па-са-ран! Но па-са-ран! Но па-саран!

— No pasarán! — прозвенел женский голос.

— No pasarán! No pasarán! — вразнобой, но уверенно повторили старики.

Машина уже отошла метров на сто от тех, кто нас накормил, а мы продолжали кричать в их сторону, и они, не расходясь, смотрели нам вслед. Но вдоль улицы стояли кучками другие женщины, старики и дети, они приветствовали нас, и мы повернулись к ним, безостановочно выкрикивая свое обещание, свою клятву: «Но пасаран! Но пасаран! Но пасаран!» Только возвышавшийся над нами, как каланча, Казимир все еще глядел назад.

То же самое произошло и в следующем селении, и в следующем, и еще в одном. Скоро мы были настолько сыты, что не могли больше съесть ни кусочка и лишь пили то красное, то горьковато-сладкое белое вино и везде клялись народу: но пасаран!

Потом вдоль каравана машин протрещал кожаный мотоциклист и что-то говорил шоферам, и те перестали останавливаться, и в селениях, через которые мы проезжали, женщины понапрасну протягивали нам и воду, и вино, и хлеб. Мы проносились мимо, и они ставили кувшины и миски прямо на землю и всплескивали руками и горестно качали головами, а оборванные мальчишки, восторженно вопя, бежали сколько могли рядом и отставали. Однако и там, где не было остановки, мы продолжали стоя выкрикивать то немногое, но самое важное, что знали по-испански. И уже стемнело, а мы совсем охрипли и все же, завидев вышедших на порог своего дома, жмурящихся от слепящих фар, высоко поднимающих кулаки людей, мы вздымали винтовки на вытянутых руках и из последних сил напрягали горло, как бы присягая, что не пропустим фашистов, что там, где будем мы, они не пройдут.

Поздним вечером, измученные, но счастливые, мы въезжали в уже спящий городок. Передние машины с немецкими и балканской ротами ушли куда-то в боковые улицы, а польскую подвезли к длинному одноэтажному зданию с высоко расположенными маленькими окнами. Внутри его было пусто; одна-единственная лампочка еще тлела под потолком; вдоль всех четырех стен лежали вороха соломы.

Владек распорядился, чтобы все не медля ложились спать, имея винтовки при себе, не раздеваясь и не снимая ботинок, потому как бригада еще с полдня зачислена в резерв мадридского фронта.

Повторять не понадобилось. Входя, бойцы с облегченным вздохом валились на колкую соломенную подстилку, и богатырский храп сразу же волнами заходил над спящими…

— До брони! — рявкнул кто-то над самым ухом.

— До брони! До брони, товажише! Алярм! — встревоженно перекликались разные голоса.

— В ружье! — четко скомандовал неподалеку надтреснутый, но бодрый голос Остапченко, и я услышал его твердые шаги. — Тревога! Вставать! В ружье! — повелительно повторил он. — Поднимай отделение, Алексей, и без суеты выводи строиться.

В полутьме люди собирались, одни громко зевая и потягиваясь, другие, откашливаясь, одергивая одежду, поправляли пояса и портупеи, надевали свалившиеся во сне головные уборы, топали, отряхивая с себя солому, продевали руки в лямки вещевых мешков и продвигались к выходу.

Снаружи была звездная и неожиданно холодная ночь. Мы быстро построились с винтовками у ноги. Владек, невнятно бросив команду, соответствующую русской «оправиться, можно курить», потому что все, став вольно, зашарили портсигары и кисеты, и взяв с собой несколько человек с правого фланга, куда-то ушел. Перед строем появился Болек. Приподнимаясь на носках и поворачиваясь слева направо и наоборот, он взволнованно предупредил, что сейчас нам раздадут боеприпасы, и мы выедем к фронту, и что он, Болек, надеется на нас. И действительно, с той стороны, куда ушел командир роты, приближалась вереница носильщиков с ним во главе, и каждый нес на согнутой спине белый ящик, обеими руками держа его через плечо за петлю. Ящики тяжко ударились о землю. Принесшие вскрыли их тесаками.

— Разнесите, ребята, по отделениям, — послышался голос Остапченко справа.

Одни ящики волоком подтащили к левому флангу. Казимир приблизился первым. Набив подсумки, он принялся рассовывать

обоймы по карманам куртки и штанов.

— Правильно, — одобрил его незаметно подошедший Остапченко. — Берите, товарищи, и в ранец, кто сколько захочет, но обязательно по счету. А ты запиши, — обратился он ко мне, — чтобы держать число выстрелов хоть приблизительно на учете. Лучше взять побольше, никому не известно, как будет налажено боепитание. Может случиться, что лишняя обойма спасет кому-нибудь жизнь. Однако не следует и перегружаться, а то потеряете подвижность.

Люди отнеслись к его советам всякий по-своему. Некоторые набирали по тридцать и даже сорок обойм, а кое-кто обошелся двадцатью, — может быть, просто не поняли. Когда я стал с грехом пополам записывать в темноте, всех поразил Казимир: у него насчиталось двести пятьдесят патронов. Считая неудобным отставать от своего бойца, столько же взял и я; в подсумки входило всего по четыре обоймы, в карманах уместилось еще десять, а остальные двадцать пришлось уложить в мешок, и, закидывая его за спину, я даже удивился, до чего он потяжелел.

Разобрав патроны, рота пересекла площадь и поднялась немного в гору к высокой каменной стене, окружавшей не то казарму, не то семинарию, во мраке трудно было разобрать. Владек и Болек, пересчитав ряды и приказав не шуметь, удалились. Никто не чувствовал холода, так нас подогревало сознание, что вот сейчас, прямо отсюда, мы двинемся в бой. Прошло с полчаса. От площади донеслись голоса и шаги. В ночной тишине было слышно, как один из идущих споткнулся. Возвращались наши командир и комиссар. На правом фланге кто-то негромко скомандовал: «Бачность!» Владек, прижимая приклад к бедру, прорысил на свое место, а Болек, единственный в роте, кто не получил винтовки, а щеголял с маленькой желтой кобурой на поясе, в которой мог прятаться разве дамский браунинг, сухо уведомил нас, что для проверки готовности бригады была проведена учебная ночная тревога, что прошла она вполне удовлетворительно и что наша рота явилась в предназначенное ей место своевременно.

С самого Парижа мне ни разу не удавалось выспаться так, как, несмотря на «алярм», я выспался на жесткой соломе этой ночью в наспех приспособленной для ночлега пустовавшей конюшне. Да и умыться здесь можно было получше, чем вчера на полустанке. Вдоль ее наружной стены тянулся желоб для водопой с несколькими кранами. Зато положение с утренним кофе обстояло, судя, по всему, ничуть не лучше, чем накануне, но теперь, когда мы были близки к цели, лишения и неудобства переносились гораздо легче и общее настроение даже натощак

поражало своим благодушием; достаточно сказать, что в очереди у кранов не происходило обычных пререканий. Радовало всех и то, что выход в город, конечно без оружия, был разрешен при условии возвращения к полудню. Для того же, чтобы оставленные прямо на соломе винтовки и патроны пребывали в сохранности, у входа во временную казарму был поставлен часовой с приказанием не впускать никого постороннего.

В том, насколько строго выполнялось это предписание, Ганев, Остапченко, Лившиц и я убедились, когда, побрившись, умывшись до пояса и почистившись, решили пойти поискать, где в этом городе можно выпить кофе. Едва мы вышли из отодвигающейся на шарнирах конюшенной двери, как узрели неразлучных Иванова и Трояна, оставленных в Альбасете. Они, несомненно, поджидали кого-нибудь из нас, но на весьма почтительном расстоянии от хмурого часового. На радостях все бросились обниматься и, лишь закончив эту лирическую сцену, почувствовали некоторую ее преувеличенность, ведь мы простились всего трое суток назад.

— У вас тут опаснее, чем на фронте, — пробурчал, лобызаясь со мной, Иванов. — Не часовой, а какая-то лейденская банка. Подошли спросить, так он чуть-чуть не разрядился.

Выглядели Иванов и Троян — нам не чета. На обоих были вельветовые, как на немцах, береты, куртки и шаровары до земли, причем разные: на Иванове коричневые, а на Трояне темно-лиловые. С помощью сбивчивых перекрестных вопросов и ответов их чудесное явление объяснилось просто. Они приехали в расположение бригады на грузовике с советскими «максимами» вчера засветло, еще до прибытия в Чинчон, как назывался, оказывается, город, в котором мы ночевали. Сдав груз бригадному офицеру-оружейнику, они должны были с той же машиной вернуться к своему старшему лейтенанту. Но так как бригады в означенном месте не обнаружилось, а водитель ждать отказывался, Иванов и Троян выгрузили пулеметы, прямо на площади, прикрыли брезентом и уселись караулить; когда же поздним вечером сдали их кому следовало, решили в Альбасете не возвращаться.

— Вы что ж, думали, мы с Трояном в тылу окопаемся? — вопрошал Иванов, скаля в улыбке свои бульдожьи нижние клыки. — Вы, значит, будете со славою воевать, а мы на мух рты разевать? Ан мы тоже не пальцем деланы. Сегодня ни свет ни заря, заявились к командиру бригады, не дали ему глаза протереть. Так, мол, и так, доставили восемь родных «максимов» и двенадцать чужеродных «льюисов», а сами желаем остаться пулеметчиками в батальоне Тельмана, если можно, в одном

расчете, третий номер сами подберем. Ну, он протер глаза, проверил наши документы и разрешил. «За дезертирство из тыла на фронт, — говорит, — не расстреливают!» Но сначала приказал лично проверить подготовку выделенных на станкачи людей и проинструктировать, кто получит ручные, хотя насчет «льюисов» инструкция одна: последнее дерьмо. Мы и старшему лейтенанту Бойко доказывали. Они же работают только в безвоздушном пространстве да еще в сибирском снегу, а чуть пыль — все лучше из самоварной трубы стрелять — благо похожа.

— А как же с вашим альбасетским начальством? — осторожно осведомился Остапченко.

— Командир бригады пообещал отписать, что сам нас задержал, а Бойко — тот поймет, мировой мужик.

Обойдя покатую немощеную площадь, мы обнаружили в нижней ее части деревенского типа кабачок, помещавшийся в крохотной комнатушке, половину которой занимала стойка. Клиентура располагалась на ногах в передней половинке, от стойки до порога и даже за порогом, а пожилая веселая кабатчица, держа нижнюю часть своего громоздкого туловища за занавеской во внутренней каморке, оставляла над стойкой громадную голову, увенчанную закрученной в башню блестящей, подозрительно черной гривой, выпирающий из кофточки бюст объемом с коровье вымя и подвижные жирные руки.

Издавая нам самим малопонятные звуки, подкрепленные мимикой и указательными пальцами, мы получили по необхватному бутерброду (вернее, просто броту, за отсутствием на нем хоть малейших признаков сливочного масла) с сыром, по чашке кофе, сваренного из одного цикория, и по рюмке анисовой водки, до того крепкой, что казалось, будто глотаешь горящий денатурат, сдобренный зубным эликсиром. Без особой уверенности, что этого хватит рассчитаться за себя, я бросил на мокрый цинк увесистый пятипесетовик. Великанша сгребла его в ящик, посмотрела в задымленный потолок и, порывшись, вывалила передо мной целую кучу никелевой и медной мелочи. Я прикинул в уме, на сколько ее приблизительно, и получил сумму, превышающую четыре песеты. Выходило, что кусочек хлеба с сыром, кофе и рюмка анисовой стоили в переводе на французские деньги всего около франка, то есть раза в четыре меньше, чем в самом дешевом сельском бистро во Франции. Но когда Остапченко в свою очередь выложил пять песет и хозяйка вместо того, чтобы насыпать и перед ним медно-никелевый холмик, сначала нарезала новых шесть ломтей хлеба, положила на них по бруску ноздреватого белого сыра, налила шесть чашек вываренного цикория и снова наполнила шесть рюмок анисовой и

только тогда начала считать сдачу, стало понятно, что выданная каждому из нас монета вроде сказочного неразменного рубля. Уверившись в этом, мы решили кутить напропалую, и Лившиц не только повторил заказ, но еще в складчину мы приобрели залежавшуюся на стеклянной полке пачку подделанных под американские французских сигарет «Бальто», высохших, как солома, на которой мы провели ночь, но проданных в полном смысле слова на вес серебра: за ярко-красный пакетик с парусным корабликом в волнах пришлось отдать неразменные пять песет.

— Так было и в царской России, — утешил всех Ганев. — Так во всякой отсталой аграрной стране: свои продукты даром, а к любой импортной дряни не подступиться. А все-таки глупо с их стороны пускать серебро в оборот. Обыватели и спекулянты припрячут его, и оно бесследно исчезнет из обращения, а как-никак серебро тоже обеспечение бумажных эмиссий.

Между прочим, мы узнали от Иванова, что ложная ночная тревога на самом деле была настоящей. Все дело заключалось в том, что доставившие нас в Чинчон грузовики, на которых предполагалось следовать дальше, остались без шоферов. Они спокойненько разошлись спать, и разыскать их не удалось точно так же, как вытащить из постелей тех, кого нашли. Из-за этого намеченную на сегодня операцию пришлось отложить на несколько суток, а, чтобы не обескураживать бойцов, командир бригады придумал версию об учебной тревоге.

Здесь же, в кабачке, Иванов предложил Володе Лившицу вступить в их пулеметный расчет:

— Хотелось бы, сам понимаешь, заполучить еще одного, такого, как мы с Трояном, да нетути. Что ж поделаешь, придется брать кого Бог пошлет, на безрыбье, как говорится, и рак рыба, на безптичье и задница — соловей. Мы и подумали: легче учить, чем переучивать, возьмем кого из своих. Хотели пригласить Алексея, Так он, видишь, в начальники вылез. Решили тебя позвать. Ты маленький, это удобно: всюду проползешь. Опять же по-немецки кумекаешь.

К моему изумлению, Лившиц не колеблясь согласился. Его перевод в пулеметную роту Иванов обещал «провернуть» в ближайшие дни.

Распростившись с Ивановым и Трояном, мы, пройдясь по одноэтажному грязному городку, к двенадцати возвратились в казарму и там узнали, что поступили благоразумно, напившись цикория с анисовой: кофе в роту до сей поры не привозили. Только в два часа выдали по кругу колбасы на отделение и буханке хлеба на человека с предупреждением, что хлеб — на весь день и что горячей пищи сегодня не будет, но вечером опять

выдадут колбасы.

Подкрепившись, многие прилегли отдохнуть. Я настроился было на тот же лад, но Казимир и Гурский уговорили меня пойти с ними. Они завели меня довольно далеко от площади в кафе, набитое расположенными в этом квартале Чинчона французами и бельгийцами. Простояв с часок в очереди, мы дождались отдельного столика и просидели за ним до сумерек, попивая легкое вино и беседуя.

Казимир был ничуть не словоохотливее Трояна, зато Гурский любил поговорить, или, лучше сказать, поспрашивать. Присмотревшись к нему, я определил, что ему, должно быть, под сорок. Как и Казимир, он работал в шахте, последний год они трудились вместе, так и подружились. Оба сочувствовали коммунистам, но Казимир следовал за партией молча, тогда как Гурского мучили всякие проклятые вопросы, с которыми он и приставал ко всем. «Как это понять, что испанские коммунисты решились вступить в многопартийное правительство Ларго Кабальеро?» — допрашивал он однажды Болека, а в другой раз прицепился ко мне: «Правду ли говорят, что отец Ленина был паном, а не пролетарием, зачем же тогда Ленину нужна была революция?» Подобных неразрешимых вопросов у Гурского был неисчерпаемый запас. Произносил он их на забавнейшей смеси польского с французским, для большей ясности вставляя еще то украинские, то русские слова, и до того привык задавать вопросы, что даже в конце утвердительных предложений ставил вопросительный знак.

Поужинав вместе со своим отделением колбасой с зачерствевшим хлебом, я укладывался спать, когда надо мной остановился Остапченко.

— Володю уже забрали в пулеметную роту. Просил тебе передать привет.

Мне стало грустно. Лившиц мне очень нравился: редко в ком встречается сочетание мягкого сердца с твердыми взглядами.

Рота засыпала в спокойной уверенности, что ночью ее не потревожат, иначе Владек не дал бы разрешения снять обувь. Воздух от этого не улучшился, но до чего же приятно было расшнуровать и сбросить грубые солдатские ботинки с усталых ног.

Засыпая, я слышал, как неподалеку кто-то негромко убеждал соседа, что можно скинуть и пояс с портупеей и подсумками: ну, какой сумасшедший рискнет затеять операцию в несчастный день, завтра же тринадцатое число.

2

— Алярм! Встачь!..

Я вскинулся на соломе. Непонятно, почему у поляков нет собственного слова, «тревога», и они пользуются французским «алярм». В полумраке вокруг меня шла кутерьма. Если вчера все, просыпаясь; хватали винтовки и поднимались на ноги, то сейчас — сначала кинулись надевать ботинки. Они успели покоробиться, и натертые ноги в тонких носках с трудом пролезали в одеревеневшие складки. Слышалось кряхтение и ругань. Кто-то по ошибке схватился не за свою обувь, чья-то пара вообще исчезла, и лишь после отчаянных воплей была обнаружена посредине прохода. По нему прогуливался Владек и покрикивал:

— Вставайче! Прендзей! Розеспалисе, як цурки у тэты! Виходьте! Виходьте! Збюрка!..

Если довериться корню, «збюрка» в переводе несомненно «сборка». Скорее всего, это польское «строиться». Надо было запомнить.

Было два часа пополуночи. Со звездного неба еще резче, чем накануне, тянуло осенним холодом. Толкаясь и теснясь, рота выстраивалась. Я проверил свое отделение. Все были налицо, но некоторые не то от холода, не то от волнения дрожали. Я тоже сразу продрог, и у меня постыдно застучали зубы, да так сильно, как бывало в отрочестве при пароксизмах малярии. Опасаясь, как бы их частую дробь не расслышали мои подчиненные, я стиснул челюсти, однако внутренний озноб не унимался.

Замешкавшаяся, по сравнению со вчерашним, рота поспешно, так что на левом фланге все время нужно было подбегать, прошла через площадь и остановилась у знакомой стены. Здесь, на ветру, было еще холоднее, но из темноты послышался немецкий оклик, и кто-то невидимый повел нас по кривой неровно вымощенной улице. По ней мы вышли на окраины, свернули в сводчатые ворота и очутились на обширном церковном дворе. На нем было тепло и светло от костра, над которым бурлил большой котел. Вдоль строя протащили корзину с хлебом, суя в руки первой шеренги по белому кирпичу, тесаком его разрезали на колене и половинку передавали стоявшему в затылок. Около костра лежали груды немытых манерок, их стряхивали, освобождая от кофейной гущи, и занимали очередь. Веселый молодой немец литровым черпаком на длинной палке разливал кипящий кофе. Придерживая винтовку локтем, мы откусывали прямо от половины буханки и, обжигаясь, запивали с наслаждением

маленькими глотками.

Из церковного двора рота вернулась все к той же высокой стенке. Пока мы отсутствовали, здесь произошли кое-какие перемены. Между нами и площадью сновали силуэты грузовиков, а в дальнем ее конце развели огонь. Было видно, как ветер то раздувал его, то почти гасил, относя искры в сторону. На пламени мелькали людские тени.

Еще десятка два пустых машин с притушенными фарами прошло на площадь. Несколько штук скоро возвратились и уперлись в наш строй. Первый взвод стал садиться, за ним — второй. Каждую машину набивали так, что пришлось стоять в обнимку, на спальный вагон международного общества это больше не походило, скорее уж на вагон парижского метро по окончании футбольного матча на стадионе Parc des Princes.

— Ни пукнуть, ни вздохнуть, — пожаловался где-то под боком Юнин и вопреки собственному утверждению шумно, с собачьим позевыванием вздохнул.

Позади меня кто-то, кажется, Орел, пробормотал по-французски, что в коробке сардин свободнее.

— Так они же без винтовок, — сострил один из его друзей.

— Главное, пахнет там поаппетитнее, — дополнил второй, потому что нас, прижатых к заднему борту, нещадно обкуривал вонючим дымом работавший вхолостую мотор.

Со стороны площади, сквозь гул машин и негромкий говор, зазвучали одинокие шаги и постукиванье палки. Когда они приблизились, я даже в темноте узнал подтянутую плотную фигуру командира бригады; в руке у него была толстая трость, высекавшая острым наконечником искры из камней.

— Wer ist da? Polnische Kompanie? — задал он вопрос.

Никто не ответил. Он переспросил по-русски:

— Кто на машинах? Польская рота?

— Так, так, товажиш, — подтвердил выскочивший откуда-то Владек, — польска рота.

Они тихо о чем-то заговорили. К ним присоединился и предупрежденный кем-то Болек.

— Задачу до каждого бойца довели? — отпуская их, спросил вслед командир бригады.

— Так, так, — повторил Владек.

«Как бы не так, — подумал я, — до меня никаких задач не доводили», — и вслух обратился к передней части кузова:

— Товарищ Остапченко, слышишь? Тебе что-нибудь известно?

— Пока ничего, — ответил он разбитым своим голосом. — Но будь покоен, на первом же привале все разузнаю и до нашего

взвода доведу.

Владек и Болек разошлись по машинам. Владек, как и вчера, сел в кабину с первым взводом. Болек — к нам.

— Трогай! — со вкусом, как театральную реплику, выговорил по-русски командир бригады, и его трость застучала, удаляясь во мрак.

Машины двинулись через площадь по направлению к тому шоссе, по какому мы прибыли в Чинчон, но, не доезжая костра, взяли в сторонку и остановились. Вокруг него толпились респонсабли в канадских полушубках; судя по долетавшим до нас возгласам, все они были немцы. Между ними суетился с начальственным видом маленький сердитый старик в металлических очках на крючковатом носу; полушубок висел на старичке, как на вешалке.

Мимо один за другим проходили грузовики с людьми. Это тянулось долго. Поочередно то один, то другой белый полушубок отделялся от костра, о чем-то спрашивал проезжающих, жестом задерживал какую-нибудь из машин, на ходу вскакивал в кабину и захлопывал дверцу. Суетливый старикан отбегал за всяким, визгливым тенорком покрикивал и на компактную людскую массу в кузове и на отъезжавшего респонсабля, а возвратившись к огню, поднимал очки на лоб, заносил что-то в записную книжечку и опять опускал очки на кончик носа. Переполненные грузовики проходили все быстрее, интервалы между ними все увеличивались, а у костра все убывали и убывали канадские полушубки, пока не осталось двое: начальственный старик и еще очень высокий худой человек тоже в очках. Когда промчались последние машины, старик и высокий направились к нам. Болек выглянул из кабины и стал на подножке.

— Kopf hoch, Moritz![28] — напутствовал своего компаньона высокий, прикладывая плохо собранную в кулак кисть к вязаной шапке с козырьком.

Старый Мориц петушком подбежал к одной из машин нашей роты.

— Schnell, schnell! Donnerwetter![29] — кукарекал он.

— Тенто ест довудца батальону, — конфиденциально объявил Болек. — Писаж немецки. По назвиску Людовик Ренн.

— Тен стары? — переспросил кто-то из кузова.

— А не, — засмеялся Болек, забираясь в кабину. — Тен длуги, цо стои. Стары ест у него за вшистцкего. Он не ест немцем. Ест польским израэлитом з Прус Всходних. З тых, з переэсовцув.

Передних качнуло на стоящих сзади, затем все выпрямились. Машина объехала догоравший костер. Я оглянулся на освещенную рослую фигуру. Мне не доводилось читать «Войну»

Людвига Ренна, но его имя я знал. В советских газетах оно упоминалось всякий раз в перечне, следующем за словосочетанием «передовые немецкие писатели». Дворянин и бывший кайзеровский офицер, Людвиг Ренн после войны сделался коммунистом. Он побывал в СССР и принимал участие в Международном конгрессе революционных писателей, происходившем в 1932 году в Харькове. Примерно за месяц до нашей отправки я наткнулся в «Юманите» на заметку, в которой сообщалось, что известный немецкий писатель-антифашист Людвиг Ренн прибыл в Мадрид и предложил использовать приобретенный им на франко-германском фронте опыт. От кого-то я впоследствии слышал, что испанцы используют сразу обе специальности Людвига Ренна: ему поручили писание общедоступных военных брошюрок. В одной из последних кольцовских статей тоже рассказывалось о нем. Однако то, что он назначен, как только что выяснилось, командиром нашего батальона, не вызвало во мне чрезмерного энтузиазма, я инстинктивно не слишком-то доверял полководческим дарованиям писателей-пацифистов, сменивших свои заржавленные мечи на фаберовские или паркеровские автоматические ручки.

Выехав на шоссе, наша машина, догоняя другие, понеслась во весь дух, и днище ее то проваливалось под ногами, словно пол опускающегося лифта, то подбрасывало нас кверху и еще встряхивало несколько раз подряд. Повернувшись спиной к движению, мы, даже находившиеся у бортов, почти не ощущали холода, усиленного резким встречным ветром, обогреваясь, как пчелиный рой, накопленным внутри взвода теплом.

По левую руку небо над горизонтом было освещено электрическим заревом, и сперва я решил, что там Мадрид, но тут же сообразил, что он должен быть затемнен. Вскоре стало очевидным, что это забрезжил рассвет. Однако вокруг нас было все так же темно, пока левая половина неба не позеленела, и вдруг, будто вверху повернули выключатель, сразу сделалось светло.

Вереница машин углубилась в невысокие округлые холмы. Узенькое шоссе завиляло между ними, как собачий хвост, но грузовик не уменьшил скорости, и нас опасно кренило на поворотах то вправо, то влево. Но вот на одном из них, особенно крутом, шофер пожелал обратить внимание на дорожный знак и принялся бережно выписывать очередное латинское «S». Глядя назад, мы смогли понять причину внезапно проявившегося благоразумия: справа, метрах в десяти ниже шоссе, лежал, задрав все четыре колеса в небо, такой же, как наш, новенький грузовик.

Около него никого не было, лишь обломки темно-зеленых досок с расщепленными белыми концами валялись кругом. Нетрудно было вообразить, как посыпались люди, когда машина исполняла мертвую петлю.

Зигзаги дороги давно скрыли место аварии, а во взводе продолжался взволнованный обмен мнениями. Зрелище перевернутой кверху дном машины, по-видимому, подействовало отрезвляюще на водителей, потому что колонна заметно поубавила прыть, и грузовики двигались теперь сплоченным потоком, почти без разрывов.

Между нашим и предыдущим состоялась перекличка, и мы узнали подробности аварии. В опрокинувшейся машине ехали пулеметчики батальона Андре Марти. Убитых нет. Но есть раненые, некоторые тяжело. Бойцов третьего взвода информировали едущие перед ними, а тем прокричал первый взвод. И так далее. Не получилось ли при этом игры в испорченный телефон, осталось невыясненным. Я немного беспокоился о Пьере Шварце, но не обязательно же он должен был попасть именно в эту машину.

Мы въезжали в построенное вдоль выпрямившегося шоссе спящее чистенькое селение, напоминавшее дачное место, когда окончательно рассвело. Миновав прячущиеся в садах последние дома, машины спустились с шоссе на проселок, проехали по выкошенной ровной ложбине, похожей на обширное футбольное поле, и свернули влево. У гребня, ограничивающего поле с противоположной стороны, жалось несколько сот кутавшихся в одеяла людей. Они были вооружены винтовками и карабинами различных образцов, а некоторые какими-то охотничьими штуцерами и даже двухстволками. Между бойцами попадалось немало молодых черноглазых женщин, одетых и вооруженных так же, как мужчины, но выделявшихся чистыми нежными лицами и сложными прическами, на которых кокетливо сидели островерхие пилотки с кисточками. Роту от роты отъединяли длинные круглые палки для носилок, торчавшие, как древки опущенных флагов. Мимо этой продрогшей невыспавшейся части проехало уже столько машин, что на наши, последние, никто не обращал внимания, зато я обратил внимание, что многие милисианосы беспокойно посматривали на безоблачное небо.

Мы выгрузились у почти отвесной высотки. Владек куда-то пропал. В его отсутствие роту построил Болек, повернув ее спиной к дороге и порожним грузовикам, так что наше отделение оказалось правофланговым. Тут появился Владек и торопясь объявил, что бригада идет в бой и что батальон Тельмана будет наступать на ее правом крыле, а польская рота, не прошедшая

подготовки, останется в арьергарде. Мы вскарабкались на холм. На вершине Владек, не перестраивая роту, приказал рассыпаться и, ткнув коротким пальцем во взбиравшихся по следующему холму немцев, предложил мне держать на них. Получалось, что по нашему отделению должна будет равняться вся рота. Проверяя ее, Владек ушел налево, и вскоре оттуда передали приказание начать движение.

Взошедшее солнце грело нам спины. Было видно, как километрах в двух быстро поднимаются в горы темные фигурки. Я шел на своем месте, поставив правофланговым предназначенного для этого самой природой Казимира, объяснив ему, что он обязан не терять из виду правый фланг немецкой цепи, а если тот скроется из глаз, брать в створ камень или куст, возле которого он исчез.

Отделение разомкнулось от Казимира на пять шагов и, принимая во внимание тяжесть подсумков и ранца, продвигалось достаточно быстро, так что идущий с моей левой руки боец соседнего отделения, который равнялся не по мне, а по Юнину, стал отрываться. Я прокричал, чтобы Юнин с ним переменился, и, когда в пяти метрах от меня затопал старый пехотинец, равнение восстановилось.

Делалось жарко. На спуске по цепи прошел Остапченко. Он нес винтовку на весу в правой руке, и лишь по розовым пятнам на щеках можно было догадаться, что подъем дался ему не легко.

— Бестолковщина поразительная, — сказал он мне бодро. — Командир роты ничего о поставленной на сегодня задаче или не знает, или не хочет говорить. Известно только, что мы наступаем на правом фланге арьергарда, но, кто кроме нас находится в нем, непонятно. Слева от нас никого, все уже впереди.

— А куда мы наступаем?

— На этот… Подожди. Вроде Лос-Анджелеса как-то. — Он достал из-за обшлага бумажку: — Серро-де-лос-Анхелес. Насколько я помню из учебника, «серро» это гора. Гора Ангелов, значит. Ничего больше не ведомо. Да, еще: гора эта — географический центр Испании, так сказать, пуп испанской земли. Занять ее полезно хотя бы символически. Но центр центром и гора горой, а на всю роту один «льюис» перед наступлением выдали.

Начав подъем на другой пологий холм, мы увидели, как немецкая рота достигла его вершины и скрылась. Я направился к Казимиру, но он вел нас правильно. Добравшись до верха, мы очутились на плато, покрытом пожелтевшей травой. Вдали, как разрозненная цепочка черного бисера, опять замаячила передовая рота.

За нами кто-то спешил. Оглянувшись, я узнал начальника штаба бригады немецкого пролетария Фрица. Несмотря на маленький рост и мешковатый лыжный костюм, он не запыхался, поднимаясь в гору, и легко нагонял нас. Его сопровождал раскрасневшийся незнакомый немец в коротком полушубке.

— Послухайте, товаржице! — повысив голос, обратился я на своем славянском эсперанто к шедшим поближе бойцам отделения. — Кто з вас млуви немачки? Тамо позаду дошао начелник штабу. Запитайте нега, цо ему треба.

Орел побежал навстречу немцам. Приставив винтовку к ноге, он вскинул кулак:

— Геноссе…

Геноссе Фриц остановился, волевое лицо его выразило неподходившую к нему растерянность.

— Не понимаю, дорогой, не понимаю, — без малейшего акцента остановил он Орела виноватым тоном и умоляюще воззвал баском: — А по-русски, товарищи, никто из вас не говорит?

Я так и кинулся к нему. «Немецкий рабочий Фриц», как странно охарактеризовал его Марти, явно был советским командиром, первым советским командиром, какого я за всю жизнь видел вблизи. Он обрадовался, кажется, не меньше моего. Вероятно, ему долго не удавалось ни с кем объясниться. Расспросив, кто мы такие, почему отстали, и выслушав ответы, он приказал догонять батальон и держаться за ним не дальше, чем на пятисотметровой дистанции. Пока я бегал к Казимиру, чтобы тот прибавил шагу, «Фриц» исчез, будто сквозь землю провалился.

Не прошло и получаса, как слева донесся сердитый окрик:

— Сту-уй! Сту-у-уй!..

— Стой! — передал по цепи Юнин.

Ко мне подбегал Владек.

— До конд так, пся крев, бегнешь? Обавяшсе же война скончи се без тебе? Не буйсе. Не забракне война до конца житя.

Я не без запальчивости разъяснил, что выполняю распоряжение начальника штаба бригады. Рота меж тем остановилась. Бойцы, отдыхая, оперлись на винтовки. На Владека сказанное мною не произвело большого впечатления.

— Никт не ма права разпожондачь се попшед безпощреднего начелника, — возразил командир роты важно. — Лепей запаль, — миролюбиво предложил он, ударом ногтя по дну пачки наполовину выбив сигарету.

Я взял ее. Он зажег спичку, ловко прикрыв пламя мозолистыми жменями.

— Сядай, — указал он на траву и, закурив, уселся сам по-турецки.

На полузабытом русском языке он принялся поучать меня. По интонации сказанное, им приближалось к прибаутке пушкинского гусара: «Ты, братец, может, и не трус, да глуп, а мы видали виды», а по смыслу к тому, что главное на фронте неторопливость. Зачем это надо, лезть вперед. Понадобится, тебя пошлют, не беспокойся. Начальство, оно для того и существует, чтобы подгонять солдата… Владек выражал устоявшиеся убеждения участника мировой войны, вдоволь покормившего вшей в окопах. Меня это мировоззрение совершенно не устраивало, но я не вступал в спор. Все-таки он командир роты, «начальство», и даже если порет вздор, то в боевом отношении стоит сотни подобных мне дилетантов.

Закончив свой дидактический монолог и докурив сигарету, он не спеша, как дожевавшая жвачку корова, поднялся, и движение возобновилось, но батальон тем временем успел скрыться из поля зрения. Владек, видимо, не убежденный, что я вполне проникся его кунктаторской тактикой, остался с нами.

Справа, где плато закруглялось и росли деревья, проступили крыши.

— Идь зобачь, цо ест в тых домах, але везь с собем жолнежи, — подсказал Владек.

Я кликнул Орела и направился к деревьям. Пройдя половину расстояния, мы увидели, что из дома вышел крестьянин в белой сорочке, к нему подошли три женщины, все смотрели на нас. Чтобы не пугать их, я закинул винтовку за спину. Орел поступил так же. Пока мы подходили, одна из женщин вошла в дом и вернулась с глиняным кувшином.

— Bonjour, — не умея поздороваться по-испански, издали приветствовал я и прибавил: — Камарадас!

Должно быть, они не были уверены, что мы свои, во всяком случае, после такого обращения напряженные лица их посветлели.

— Salud, — ответил за всех пожилой крестьянин в бязевой рубашке.

«Салуд» это было понятно, по-французски: salut. Едва мужчина закрыл рот, как все три вместе затараторили женщины, будто куры закудахтали. Мы с Орелом затрудненно улыбались, переминаясь с ноги на ногу. Потом женщины так же одновременно умолкли, а крестьянин, положив левую руку на мое плечо, а правой указывая туда, куда ушел батальон, долго-долго мне что-то втолковывал. Однако кроме повторяющегося слова «фачистас» я не понял ровно ничего и разозлился на себя:

кто мешал мне перед отъездом хотя немного заняться испанским в свободные вечера. Закончив речь, крестьянин взял у женщины кувшин и сунул мне.

— Орел, поглядай, молим те, цо е за тим домом, — попросил я на лингвистическом винегрете, имевшемся в моем распоряжении, опасаясь, что французский испанские крестьяне могут понять, и не желая оскорблять их недоверием.

Пока я жестами объяснял, что не умею пить без стакана, догадливый Орел с таким видом, словно ему приспичило по нужде, отправился в глубь двора.

Та же женщина, какая ходила за кувшином, принесла кружку с потрескавшейся эмалью к вытерла ее передником. Хозяин дома до краев наполнил ее красным вином.

— À la vôtre[30], — подняв кружку, провозгласил я, как заправский «пуалю»[31].

— Bueno, bueno, — закивал крестьянин, смеясь щербатым ртом.

— Вшистско в пожондку, дружиновы, — возвестил вернувшийся с разведки Орел. — Там ест тилько жека а ниц позатим. Tout est en ordre, — во избежание недоговоренности перевел он.

Мы догнали роту, когда она уж спускалась с плато. Внизу расстилалась долина. Вдалеке она постепенно переходила в возвышенность, на вершине которой зеленела густая роща, а за ней торчали какие-то башни. Справа от рощи тянулась глубокая свежевырытая канава, хорошо заметная благодаря наваленному вдоль нее песку. К канаве быстро продвигались пулеметная и две стрелковые роты нашего батальона. Темные вельветовые костюмы и береты отчетливо выделялись на светлом, и поэтому особенно хорошо было видно отличное, как на параде, равнение цепей и геометрически точные промежутки между расчетами, весь тот образцовый порядок, в каком действовал батальон Тельмана. В центре, уступами, шла пулеметная рота, и хотя сами пулеметы были неразличимы, везущие их бойцы вырисовывались рельефно, а все вместе напоминали ожившую старинную батальную картину, не хватало лишь живописных клубов порохового дыма. Вдруг пехотные цепи рванулись вперед, охватывая канаву, ускорилось и наступление пулеметной роты в середине. «Да ведь это же фашистский окоп», — запоздало осенило меня, но мы уже спустились, и кусты заслонили начало сражения.

Солнце стояло над головой и грело вовсю. От кустарника к нам торопился кто-то с белым полушубком на руке.

— Где командир роты? — издали выкрикнул он, и даже в нескольких этих французских словах слышно было немецкое

произношение. — Где ваш начальник? Мне нужен ваш командир, — повторил он.

Ему показали влево, и он затрусил вдоль цепи, продолжая взволнованно выкрикивать:

— Вы опаздываете, товарищи! Другие роты уже давно под неприятельским огнем! Вы отстали! Скорей! Скорей!..

Все прибавили шагу. Хотя Юнин находился не так близко, я слышал его прерывистое дыхание. Справа натужно закашлялся один из моих бойцов. Я повернул голову и обнаружил, что равнение нарушено: Казимир метров на пятнадцать опередил остальных, «дробязг» не поспевал за ним. Удивляться не приходилось, мы уже часа три находились на марше, а тут еще начались пески.

— Напшуд! Бегем напшуд! — заорал слева надсадный, неузнаваемо изменившийся голос Владека. — Бегем! Бегем!..

Мы побежали, но уже через пять минут выяснилось, что без тренировки это не так просто. И без того давно было жарко, теперь все взмокли, а тут еще пудовые солдатские ботинки вязли в песке, фляжка била по бедру, подсумки тянули вперед, а набитый патронами мешок — назад. Сердце билось учащенно, а в правом боку покалывало.

Наше и соседнее отделения перемешались. Бежавшие вокруг меня низкорослые люди быстро утомились и дышали со свистом. Казимир, высоко, как на гигантских шагах, поднимая ноги, вырвался вперед, а слева, наперерез ему, будто борзые за зайцем, неслись бойцы других взводов. Зная, что командир отделения обязан находиться перед ними, я больше всего страшился отстать от Казимира, но, хотя это было делом чести, у меня ничего не получалось, догнать Казимира смог бы разве что один из братьев Знаменских.

Так, беспорядочной толпой, мы пробежали с полкилометра до кустов ивняка. Достигнув их, люди останавливались передохнуть. По двое, по трое они опускались на колено или даже ложились, шумно дыша, на поросший папоротником песок. Два опередивших меня брюссельских студента из нашего отделения уселись, скрестив ноги, и, отдуваясь, пили из фляжек. Завидев меня, оба отвернулись. Я повернул к ним, молча указывая вперед. Они довольно неохотно поднялись и присоединились ко мне. Навстречу прожужжал большой жук и стукнулся об землю где-то сзади. За первым пролетел второй и тоже упал за нами. Мои студенты пригнулись, и лишь тогда до меня дошло, что это пули на излете.

Под следующими кустами опять сидели бойцы. Здесь их было больше, и между ними я узнал еще одного из своих студентов. Он

держал окурок сигареты ногтями и жадно, раз за разом, затягивался, но поперхнулся дымом и закашлял; вероятно, это он и кашлял, пока мы еще шли цепью. Я уговорил его встать, но когда мы вдвоем побежали дальше, не то что Казимира, но и никого из отделения поблизости уже не было. Все чаще падали по сторонам пули. Теперь уж чуть ли не под каждым кустиком притаились измученные бойцы. В одном месте собралась группа человек в десять, но откуда-то на них налетел багровый Гурский и так хрипло взревел, что все, словно он был их взводным, вскочили и из последних сил устремились вперед.

Дышать становилось все труднее, и, глотая воздух пересохшим ртом, как вытащенная из воды рыба, я не столько бежал, сколько падал вперед, заставляя себя при этом переставлять ноги. Наконец я уже почти не успевал делать выдох, а при каждом вдохе тяжко, как запаленная лошадь, всхрапывал, и мне невольно вспомнилось, как, не то у Майн Рида, не то у Луи Жаколио, удирающий верхом от погони герой, видя, что загнанный конь вот-вот падет, чтобы облегчить ему дыхание, разрезал морду выше ноздрей и доскакал. Герою Майн Рида было хорошо; я же сам был своим скакуном, и в ушах у меня все громче звенело, и голова кружилась все сильней.

Внезапно я почувствовал облегчение. Это лопнула сначала одна, а за ней другая лямка вещевого мешка, и он, ударив по пяткам, свалился. Я вынужден был остановиться. Набежавший сзади Гурский чуть не сбил меня с ног. Не успел я очухаться, как он уже поднял мешок и протянул мне. Обмотав вокруг руки оборвавшиеся лямки, я бросился догонять своих.

Даже такая ничтожная задержка немного помогла, и, хотя теперь обе руки были заняты, бежать все-таки сделалось легче, особенно когда мешок не давил больше на спину. Правда, навстречу все чаще летели пули, однако выше, чем раньше: приближаясь, они больше не гудели, как навозные жуки, но, свистнув, мгновенно проносились мимо. Гурский, бежавший передо мной, круто свернул.

— Напшуд, суки сыны! — засипел он. — Порассядали се, як у кавярне!..

Уж скорее они засели в засаду, чем расселись в кафе, такой у этой пары был вид. Понятно, они оказались мелкокалиберными студентиками из моего отделения, и я, непростительно отставший из-за дурацкого мешка, не мог, когда эти два мальчика подняли испуганные, как у напроказивших школьников, лица, не ощутить того, что принято называть угрызениями совести.

Сколько-то времени мы бежали вчетвером, но ребята, успевшие немного отдохнуть в своей засаде, отрывались от меня

и Гурского. Скоро мы с ним сдались и перешли на рысцу, дыхание сделалось менее шумным, и тогда мы услышали сливающуюся трескотню выстрелов. Оттуда, откуда она доносилась, навстречу нам двигался, старательно обходя препятствия, невероятно бледный боец, поддерживающий раненую руку, на которую было наложено столько ваты и намотано такое количество бинтов, что казалось, будто он несет подушку. За ним след в след ступал второй боец, за каждым плечом у него было по винтовке. Сзади на некотором расстоянии, тоже смертельно бледный и с каким-то даже зеленоватым, оттенком, спотыкаясь, брел Болек.

— Чи не потшебуешь помоци, комисажу? — сочувственно предложил Гурский. — Где тебе ранено?

— Не естем ранны, — со страдальческим выражением отвечал наш комиссар. — Боли мне серце. Мам сильно нервицу серца, — и он схватился за карман френча.

Гурский мрачно посмотрел ему в спину и широким шагом двинулся дальше. Нам тут же попался еще один изнемогший в марафонском беге с полной выкладкой, в отличие от большинства не прятавшийся в зарослях ивняка, но лежавший на песке навзничь, грудь его ходила ходуном, а он, подсунув ладони под затылок, отдыхал, как вырвавшийся на лоно природы горожанин, и только блаженно жмурился от горячего солнца. Хмурый Гурский, однако, не набросился на него, а лишь неприязненно покосился. Мы продолжали молча идти в ногу, никак не налаживающееся дыхание не располагало к беседам.

Там, куда удалился наш батальон, все чаще гремели уже различимые винтовочные выстрелы, а где-то совсем далеко, как швейные машинки в портняжной мастерской, бойко стрекотали пулеметы, судя по дистанции, неприятельские. Гурский приостановился, повернув ухо, прислушался, прибавил шагу и вдруг задал мне очередной недоуменный вопрос.

— Объяшни, проше… — преодолевая одышку, начал он, но, вспомнив, что Казимира с нами нет, продолжал на затрудненном французском: — Объясни мне, раз ты все на свете знаешь (откуда он взял, что я эдакий тошнотворный всезнайка?), как так получается?.. Или не все люди одинаковые?.. — Он не столько спрашивал, сколько размышлял вслух. — Или правду говорят, что евреи не такие, как мы?.. Что они себя в первую очередь любят и привыкли на чужом хребте ездить?..

Я был сражен. Что угодно мог я допустить, но подобных разговорчиков среди добровольцев, идущих в атаку на фашистские окопы неподалеку от Мадрида, признаюсь, не ожидал.

— Что? Скажешь, нет?.. — повышая хриплый голос в ответ на

мое осуждающее молчание распалялся Гурский. — Нет? А почему чем ближе к делу, тем их меньше остается?.. Заслышав фашистские «гочкисы», они оседают по пути, как галька в реке!.. Кого мы с тобой под каждым кустом находим, прижавшихся так, что не оторвать?.. Евреев!.. Кто вот сию минуту за легко раненным в тыл винтовку понес?.. Еврей!.. А комиссар, который первым врагу спину показал, он что — не еврей?.. Им от фашистов хуже всего приходится, а они где?.. Впереди других в бой бросаются?.. Пример подают?.. Мужчины они, наконец, или нет?..

Над Гурским, видно, кто-то крепко поработал. Ведь все, что он с такой горячностью и обидой сейчас, задыхаясь, выговаривал, было, при всей его несомненной искренности, самой настоящей клеветой. Я, например, собственными глазами видел, когда упал этот проклятый вещевой мешок, как меня обогнал, выпучив по-рачьи глаза, рыжий Орел, а за ним и два его дружка…

— Неправда, Гурский, — негодующе возразил я.

— Pas vrais?.. — повторил Гурский с обидой. — У тебя что, повязка на глазах, как у святой, не помню, Юстинии или Юстиции?.. А разве из твоего выводка с левого фланга нам никого не попадалось?.. И комиссара ты не видел?.. Это тоже неправда?.. Нервица серца!.. — злобно передразнил он.

— Конечно, неправда! Комиссара я, сам знаешь, вместе с тобой видел… И все равно неправда… Вопрос не в том… еврей он или нет… Он студент… Это студенты оробели… Мелкая буржуазия… — тоже пересиливая одышку, настаивал я: — Ты же не думаешь, что все евреи… к одному классу принадлежат… А поляков ты среди отставших не заметил?.. Что до меня, так я одного из своего выводка узнал… Тоже, между прочим, студент… И потом, все так устали от непрерывного бега… Уверен, мы километра три пробежали… На левом же фланге народ мелкий… И разве одним маленьким тяжело?.. Вот ты и я позади многих идем, а Орел, может быть, там впереди и говорит: «Куда это запропастился тот здоровый поляк с широкой рябой рожей, неужели струсил? А наш отделенный, тот уж, наверное, в тылу окопался, все эти русские из Парижа хороши…»

Мои слова подействовали на Гурского, словно кнут на притомившуюся лошадь. Усталости его как не бывало. Он рванул с места в галоп и сразу стал недосягаем для меня, тем более что опять начался подъем, пусть и мало заметный. У конца его пристроилось десятка два бойцов из нашей роты, старавшихся не высовываться. Гурский, не удостоив их взглядом, взлетел наверх. За ним взбежал и я.

Широкая песчаная плешина, на которой мы очутились, была

усеяна залегшими. В нескольких десятках метров тянулась насыпь окопа, а за ней начинались оливковые плантации. Отсюда я смотрел на оставленный фашистами окоп уже сверху. Башни, поднимавшиеся за деревьями, при ближайшем рассмотрении оказались увенчаны четырехконечными крестами, по-видимому, это был монастырь. Правее оливковых насаждений коричневело вспаханное поле, испещренное распластавшимися фигурами в вельветовых комбинезонах. Воздух над нами шевелился от беспрерывно летевших пуль. Звуки, которые они производили, уже ничуть не напоминали полет жука. Здесь они звучали по-разному: одни посвистывали и даже как-то подвывали не лету, другие звонко, вроде циркового бича, щелкали, третьи издавали звон, как отпущенная струна.

— Клади се! Клади се! — со всех сторон настаивали бесчисленные голоса.

Гурский послушался и с разбега повалился на песок, а я продолжал, хрипя, лавировать меж прижавшимися к земле, пока не наткнулся на Казимира, лежавшего на боку и сложившего вместе подбитые шипами грандиозные подошвы. В тот самый миг, когда, выставив мешок, я падал на локти левее и чуть позади Казимира, он выстрелил, и я увидел, что ствол его винтовки взметнулся вверх, и она едва не вырвалась из рук, но Казимир, как на живое существо, навалился на нее туловищем и удержал. Ясно было, что он стрелял вообще впервые в жизни и не только не умел занять правильного положения при стрельбе лежа, но не подозревал и об отдаче… Пока я переваривал это открытие, он послал в ствол следующий патрон и выстрелил вторично, однако уже приноровился, и все обошлось без зримых последствий. Меня заинтересовало, по какой цели он бьет; с того места, где устроился я, неприятеля видно не было. Выдвинув вещевой мешок, я положил винтовку во вмятину на нем и попробовал оглядеться.

В десяти метрах правее меня расположился Юнин. Он тоже прикрылся набитым своим мешком, уперся раскинутыми носками в песок и, разостлав грязнющий носовой платок, разложил на нем обоймы, глаза его, однако, были полузакрыты, как у спящей птицы, он отдыхал.

Еще дальше, за кустиком чахлого папоротника, лежал Орел и, нахмурив огненные брови, азартно палил в кого-то, мне не видимого.

Между Орелом, Казимиром и Юниным разместилось еще несколько человек, но из нашего отделения среди них никого не было. Нетрудно было понять, что в беспорядочном беге перепутались не только отделения, но и взводы и даже роты,

потому что среди сливающегося с местностью и, следовательно, на сей раз оправдавшего себя бесцветного нашего обмундирования кое-где выделялись темные комбинезоны немцев или балканцев.

Повернув голову налево, я почти рядом узрел Дмитриева и почувствовал к нему известное уважение: несмотря на излишнюю полноту и сравнительно почтенный возраст, он сумел раньше меня добраться до этой песчаной лысины. Правда, лицо его было пунцовым, а нос побелел, и дышал он, как морж в зоологическом саду летом, но все же добежал. Единственное, что меня удивило: бывший мичман Дмитриев, столь же наивно, как и неискушенный Орел, забронировался порыжевшими перьями папоротника, а вещевой мешок оставил на спине; больше того, около его правого локтя валялись гильзы, он уже куда-то стрелял, но какая может быть стрельба при нарушенном дыхании и не меньше, чем у меня, конечно, дрожащих руках.

Но от критических размышлений пришлось отвлечься. В отдалении порывисто заперхал пулемет, и почти без интервала передо мной — кажется, рукой можно было дотянуться — с противным чмоканьем вошли в песок пули, отбрасывая колкие песчинки прямо в лицо. Казимир, как большущий краб, мгновенно переметнулся назад и вбок: должно быть, ушедший в сторону пулеметный веер повеял на него излишне близко. Перебросившись, Казимир, нимало не мешкая, опять выстрелил, но при этом я с ужасом обнаружил, что он палил куда-то поверх деревьев, не подняв прицельной рамки, а ведь впереди, кто знает, могли быть свои.

— Цо ти робишь? — постарался я перекричать на своем идиотском волапюке гремящую вокруг стрельбу. — Рамку! Рамку уздигни! Подыми рамку, чуешь? — для пущей ясности я поднимал и опускал прицельную рамку.

Казимир сперва растерянно поморгал светлыми ресницами, но, заметив, что я трогаю пальцем рамку, удовлетворенно мотнул головой: понял.

Слева оглушающе грохнул выстрел. Стрелял Дмитриев. После выстрела он так передернул затвор, что гильза отлетела ко мне, и снова приложился, но куда он целился, понять было невозможно: перед ним была та же панорама, что передо мной, — несколько квадратных метров песка, утыканного страусовыми перьями папоротника и усеянного распластавшимися телами, дальше глубокая рытвина, а за ней опушка оливковой рощи с огибающей ее справа брошенной траншеей.

— Что у вас на мушке? — спросил я, воспользовавшись относительным затишьем. — К чему вы зря патроны переводите?

Дмитриев и ухом не повел. Он снова нажал на спусковой крючок и, лишь перезарядив, снизошел:

— На мушке? Фашистская цитадель.

— Вы про те колокольни? До них же километра два. Туда не долетит, а долетит, так и голубю шишки не набьет.

Дмитриев обиделся, по крайней мере, лицо его приняло такое неприятное выражение, будто я Семен Чебан и называю его Димитриевым.

— Идите-ка подальше с вашими непрошеными наставлениями. Сказано: не учи ученого, съешь дерьма печеного…

Нарочитое хамство Дмитриева взбесило меня, но я сдержался и ответил не в том же тоне:

— А как не учить, если вы, взрослый человек, бывший морской офицер, ведете себя, как бойскаут, играющий в войну. И необученным товарищам дурной пример подаете.

Он с откровенной злобой уставился на меня, даже побледнел.

— Тоже мне военспец: кадет на палочку надет, — начал он с ехидцей, но сорвался: — Всякий сопляк…

Дмитриев не договорил. Фашистский пулемет, установленный, по-видимому, на одной из башен, откуда просматривался наш бугор, опять затакал, и опять пули загудели и зашлепали справа, потом простукали, как по глухим клавишам, перед нами и удалились влево. Когда пулемет стих, Дмитриев, ненавистно покосившись на меня, забормотал, что он не кретин лежать на простреливаемом месте и что-то еще насчет разных нахальных молокососов, которые берутся командовать, а сами с перепугу головы потеряли. Раньше чем я собрался ответить, он привстал на одно колено, прислушался, уперся в песок прикладом, вскочил и грузно побежал, согнувшись в три погибели. К счастью, ему удалось спрыгнуть в рытвину до возвращения пулеметной очереди.

Я не мог не признать, что Дмитриев поступил правильно. Всем нам следовало бы перебраться туда же. Нужно только дождаться следующей паузы и перебегать. Но вражеский пулеметчик как назло изменил тактику. Вместо того чтобы действовать по-прежнему, очередями, он почему-то задержал ствол в нашем направлении и вел огонь словно по цели. Сначала до нас доносился ряд гулких ударов, будто баба на реке била вальком по мокрому белью, и в ту же секунду с отвратительным сосущим звуком песок перед нами шевелился. Затем наступал короткий перерыв, и все повторялось. Стоило фашисту взять чуть повыше, и крупнокалиберные пули впились бы не в землю, а в Орела, в Казимира, в меня, а раньше всего в немца, лежавшего

правее и впереди Казимира, так что мне были видны лишь вельветовые штаны и подошвы его новеньких ботинок.

Беспокоящая эта мысль пришла и ушла, оставив, впрочем, после себя некий неприятный осадок. Но тут сзади на нас обрушился ужасающий грохот, и плотный вихрь прижал мою спину, в висках часто заколотило, хорошо, что я успел вовремя сообразить, что это ударил по врагу станковый пулемет, находящийся в двух-трех шагах позади. Но едва я успокоился, как опять застучало спереди и опять через мешок полетели в меня острые иголочки. Мне почудилось, что пули теперь ложатся ближе. Нестерпимо захотелось всем туловищем зарыться в песок, но пришлось удовлетвориться тем, что я приложился к нему щекой. Положение, нечего сказать. Недаром все вокруг, даже Казимир, прекратили стрельбу. Только проклятый пулемет продолжал реветь сзади и воздушные волны от его очередей шевелили хлопчатобумажный вареник, выданный взамен пилотки.

Изогнувшись и вытягивая шею, как дикая утка на натюрмортах, я тщился не приподнимаясь заглянуть себе за спину и, наконец, одним глазом увидел скрывавшийся за бугром — значит, вовсе не в двух шагах, а по меньшей мере в пятнадцати — огнедышащий пулемет и молодого распаренного парня за ним, вцепившегося в рукоятку трясущимися руками. Я постарался привлечь его внимание к нашему бедственному положению, но он ничего не замечал: взгляд его был устремлен вдаль, как у лунатика, на губах застыла идиотская улыбка.

Не без труда я вернулся в прежнюю позицию и первое, что увидел, как встряхнуло прикрывавший меня мешок. Наверное, в него попало. Скоро нас всех накроет неприятельский пулеметчик, а уйти невозможно: свой прижал к земле. Бессильное отчаяние охватило меня. Воображение разыгралось. Мне воочию представилось мое собственное остывающее тело на том самом месте, где я лежу, мухи, ползающие по запекшейся ране (лужи крови не будет, ее впитает песок). И та, которая из-за Васьки Ковалева не смогла проводить меня на вокзал, никогда не узнает, как бесполезно я погиб. Мысль об ее безутешном горе пронзила мое сердце. Жалость к ней переполняла меня. Я задыхался от лирики. Но еще больше мне стало жаль себя. И тогда меня обуял ужас. Парализованный им, я не шевелился, как притворившаяся мертвой ящерица. Но постепенно из-под раздавившего меня страха начал пробиваться стыд. Попав под первый же обстрел, я оказался жалким трусом. Внезапно страх сменился слепой яростью. Она душила меня, она искала выхода. Я грубо выругался вслух. Как ни глупо, а непристойное ругательство немного

облегчило душу. Ладно. К чертовой матери всякую лирику. Надо выбираться отсюда, хоть ползком.

Только я взялся за лямки, собираясь толкать мешок перед собой, как наступила абсолютная тишина, будто уши заложило. Монотонно, как жнейка, стрекотал в этой тишине фашистский пулемет да щелкали далекие винтовки; монотонно, словно дождевые капли, падали в песок пули. Я опасливо оглянулся. Краснорожий безумец из пулеметной роты не выпустил рукоятки и всей позой выражал нетерпение. Из-за его плеча уставились туда же, куда он, еще двое. Я проследил за их взглядами и увидел, что заставило их устроить перерыв.

Из-за тополей, росших вдоль вспаханного участка, на котором в шахматном порядке залегли немецкие цепи, вышел долговязый человек в канадском полушубке нараспашку. Осмотревшись, он журавлиной походкой двинулся к нам. По росту и по штатской вязаной шапке с козырьком я узнал, хотя и видел его перед тем лишь ночью в неверных отсветах костра, Людвига Ренна. На полпути он остановился и призывно помахал рукой, в ней что-то белело, должно быть, сложенная карта.

«Гочкис» опять закашлял с башни, и перед нами угрожающе заколебался песок. Продолжая лежать, мы выжидательно смотрели на длинную фигуру командира батальона, неподвижно стоящего под пулями, а он, опять поманив рукой, склонил голову, поднес карту к лицу и принялся делать на ней какие-то отметки. Тут до меня дошло, что его призывные жесты могут относиться ко мне, ведь я, растеряв большую часть отделения, номинально продолжал оставаться его командиром. Вскочив, я побежал, увязая в песке.

На ногах и, главное, без этого, стреляющего в затылок, германского «максима» все выглядело не так уж страшно. Приблизившись к командиру батальона, я заменил, что он держит в руке не карту, а обыкновенный блокнот и, расставив для устойчивости ноги циркулем, близоруко всматриваясь в бумагу сквозь круглые очки с тонкими золотыми ободками, что-то аккуратно записывает. Не отрываясь от своего занятия, он на хорошем французском языке спросил, почему польские товарищи избрали столь мало подходящее для отдыха местоположение. Дотронувшись кулаком до винтовки, я не слишком-то связно ответил. Он поднял худое усталое лицо с резкими продольными складками, закрыл блокнот, сложил авторучку, спрятал их в карман френча, застегнул пуговицу и, дружески положив руку мне на сгиб локтя, посоветовал поскорее продвинуться вперед с этого опасного бугра, а перебравшись через дорогу и достигнув оливковых плантаций, ждать последующих распоряжений. От

командира батальона исходило до того будничное спокойствие, словно разговор происходил не под фашистским обстрелом у подножия Серро-де-лос-Анхелес, а где-нибудь в университетской аудитории и сам Людвиг Ренн был не отставным прусским офицером, назначенным здесь командовать батальоном Тельмана и в настоящий момент дающим указания неопытному бойцу, а преисполненным благорасположения профессором, по окончании семинара беседующим с одним из своих студентов. И я незаметно заразился его академическим спокойствием. Вторично притронувшись к винтовке кулаком, я четко повернулся кругом и — насколько позволяли растертые до крови ноги — твердым шагом отправился выполнять приказание.

В считанные минуты все лежавшие на бугре, включая и немца, соседа Казимира, перебежали по одному к видневшейся перед нами рытвине и скрылись там. Последним в нее скатился я. По дну рытвины пролегала колесная дорога с размытыми колеями. По ту сторону дороги тянулась отвесная глиняная стена выше человеческого роста. Возле нее скопилось несколько десятков бойцов, преимущественно французов, но попадались и поляки, однако ни Дмитриева, ни Гурского среди них не было. Отсюда особенно хорошо слышна была струнная музыка летевших вверху пуль, и, вслушиваясь в нее, все бессознательно жались к естественному брустверу. Зато только разрывавшая барабанные перепонки пулеметная и ружейная трескотня звучала здесь как под сурдинку.

Я передал Юнину, Казимиру, Орелу с двумя его приятелями и еще нескольким подошедшим к нам полякам, что приказал делать дальше Людвиг Ренн. Пока я говорил, слева звонко хлопнуло. Все повернули головы. Там, где дорога поднималась в заросли ивняка, стояли две бронемашины с откинутыми колпаками. Ближайшая из них дрогнула, и ее тоненькая пушечка снова выпалила. За первым броневиком пальнул и второй, а затем и невидимый третий, скрытый от нас кустами. Их выстрелы не вызывали глухоты и даже приятно возбуждали. Вероятно, броневики вели огонь уже давно, но на бугре все покрывала непрекращающаяся винтовочная стрельба, а еще больше — неистовый грохот жарившего через наши головы «максима».

Броневики один за другим выстрелили еще по разу. Откуда-то спереди им ответила вражеская пушчонка, вряд ли большего, чем у них, калибра, потому что на расстоянии ее выстрел прозвучал точь-в-точь как елочная хлопушка. Снаряд ее мгновенно чихнул над нами и негромко разорвался позади.

Из ближнего броневика высунулся по пояс стрелок в измазанной рубашке с засученными рукавами. Шлема на нем не

было, и русые волосы разлохматились. Он повернулся к нам и, указывая поверх олив, прокричал, к моему удивлению, по-русски:

— Давай-давай! Давай, братцы! В яме много не навоюете!..

Положив обе руки на круглый борт, стрелок ободряюще улыбнулся, и тогда я понял, что при всем желании он не смог бы выразиться ни на каком другом языке: у него было скуластое и курносое лицо безбородого крестьянского парня одной из центральных губерний России.

После того как обнаружилось, что немец Фриц изъяснялся исключительно по-русски, не следовало бы, казалось, больше ничему удивляться. Но аршинные заголовки над газетными сообщениями о якобы руководящих обороной Мадрида «советских генералах» (чего стоило одно это фантастическое словосочетание!), как и сами эти сообщения, носили столь откровенные признаки высосанной из пальца сенсации, что как бы ни хотелось, но поверить им, подобно другим, столько раз опровергнутым слухам о «вмешательстве Москвы», было, к сожалению, невозможно. Вот почему, услышав сакраментально-советское «давай-давай» из ведущей огонь бронемашины, я остолбенел.

Как бы ни было, а поскольку совет из броневика совпадал с отданными ранее распоряжениями командира батальона, оставалось повиноваться. Бросив на дорогу осточертевший мешок с оборванными лямками и дав Казимиру подержать свою винтовку, я ухватился за верх стенки, служившей нам прикрытием, подтянулся и заглянул за него. Передо мной простиралась покрытая высохшей и вытоптанной травой лужайка, на которую не меньше, чем на оставленный бугор, шумно валились шальные пули. За лужайкой темнела оливковая роща, освещенная по вершинам начавшим склоняться за нее солнцем. Туда нам и надо.

— Напшуд, хлопаци, — вполне приемлемо скомандовал я по-польски.

Казимир положил винтовку наверх, подпрыгнул, лег, как садится на коня крестьянин, животом и, поболтав в воздухе огромными ботинками, уполз. Орел подсадил Юнина, тот протянул ему сверху руку. Остальные медлили. Я почувствовал, что должен подать пример. Взобравшись по осыпающейся стенке, я поднялся и, подражая Людвигу Ренну, остался стоять над дорогой, пока все поляки и значительная часть увлекаемых ими французов не вскарабкались на лужайку и не скрылись в оливах. Все это время на меня снизу смотрело столько глаз, что я почти не замечал опасного свиста пуль и, чтобы сохранять непринужденный вид, особых усилий мне делать не приходилось.

Но едва я отошел от рытвины, как напускная невозмутимость покинула меня, и неожиданно для самого себя я пригнулся и побежал.

До цели оставалось немного, когда, заставив меня перейти на шаг, из олив показались санитары с носилками, на которых ничком лежал раненый. Подойдя поближе, я с внутренним содроганием опознал в нем Дмитриева, вернее его широкую спину. Положили его неудобно: грудью на подогнутую руку; другую, с зажатым в ней головным убором, он подсунул под голову; ветер пошевеливал его пепельные, начинающие седеть волосы. На фоне зеленого брезента повернутая ко мне щека, лоб, сомкнутые веки и даже подбородок под двухдневной щетиной были матово-белыми, как у мертвеца.

— Что с вами? Куда вас ранило? — подскочил я к носилкам, но Дмитриев не ответил, кажется, до него уже ничто не доходило.

— Ты его знаешь, этого поляка? — обернулся ко мне передний из тащивших носилки французов. — Да? Так не найдется ли у тебя несколько сигарет для него? Он, пока не потерял сознания, все просил курить, а у нас у самих нет.

Укрывшись от пуль, они зашли за растущую отдельно старую маслину и опустили носилки на траву. Я предложил обоим по сигарете, закурил сам, а остававшиеся в пачке положил неподвижному Дмитриеву в карман френча.

— Он тяжело ранен?

— Легко, — ответил передний и уточнил: — В задницу.

— Тогда почему он без сознания?

— Крови много потерял. Что обидно: ранен-то он своими. Он был далеко впереди всех, уже за оливами, с самыми храбрыми, которые добрались до стены этого монастыря дьяволов, там и заработал свою пулю. Только прилетела она из тыла. И таких — не он один.

— Посиди покури с нами, — видя, что я собираюсь идти, пригласил второй, на ремне через грудь несший винтовку Дмитриева. — Туда успеешь. Там, знаешь ли, горячо. Мы с ним уже четвертого выносим.

— Нет, спасибо. Мне пора. Так, говоришь, рана его не опасна?

— Кто знает, — уклонился он. — Врач еще его не осматривал… Ну, тогда пошли и мы. Вон коллеги еще одного волокут. Надо раньше их поспеть на перевязку. Иначе и вправду как бы этот приятель не умер.

— Похоже, что уже, — отозвался передний, — он словно прибавил в весе.

С горечью смотрел я вслед удаляющимся носилкам. Меня охватило раскаяние. Я чувствовал себя непоправимо виноватым

перед Дмитриевым. Пусть я пока и не стрелял, слава богу, — не в кого было, а сам он выпустил с бугра три или четыре обоймы, и если наши и тогда уже находились там, где его потом ранило, значит, от тоже стрелял по своим. И все же я остро ощущал свою вину, ничуть не меньшую, оттого что вовсе не я послал по дурости эту злосчастную пулю. Ведь все время я так недоброжелательно относился к бедному «самотопу», почти как Иванов, разве что не столь открыто. А когда он нагрубил мне всего с час тому назад, я испытал нечто вроде ненависти. Не почувствовать этого Дмитриев не мог. И моя злость преследовала его, пока случайная пуля не нанесла этот непредумышленный, но предательский удар в спину. Когда Дмитриев вернется, я буду совсем иначе относиться к нему…

(Дмитриев не вернулся. Нигде и никогда больше мы не встретились: ни на фронте, ни в Альбасете, где мне впоследствии довелось не однажды побывать, ни в Валенсии, ни в Барселоне. Много раз пытался я позднее разузнать, что с ним случилось, но безуспешно. Поневоле пришлось увериться, что Дмитриев умер от нелепой раны, полученной им при боевом крещении бригады, и стал первой жертвой из нашей рассыпавшейся группы — невинной жертвой неподготовленности и неорганизованности, которые были необходимым последствием вызванной положением Мадрида спешки.

Только через двадцать восемь лет я снова услышал о Дмитриеве. В свой недавний наезд в Москву рижанин Алеша Кочетков, в качестве крупного военного специалиста (он отбывал незадолго перед тем воинскую повинность в латвийской армии) отправленный из Парижа в Испанию раньше всех нас, еще в августе, припомнил, что во французском концентрационном лагере Гюрс, где после отступления из Каталонии содержалась значительная часть добровольцев интернациональных бригад, он знавал немолодого человека по фамилии Дмитриев. Ничего достоверного о его дальнейшей судьбе мой тезка сообщить, однако, не мог. По его предположениям, Дмитриев как «не слишком активный» должен был или попасть в 1940 году во французскую трудармию на строительство укреплений вдоль бельгийской границы, или же досидел в Гюрсе до гитлеровской оккупации и был вывезен на работы в Германию…)

Довольно быстро я осознал, что на песчаном бугре росли цветочки, а ягодки зрели на маслинах. Здесь каждая пуля попадала. Не в человека — люди, вжимаясь в землю, прятались за стволами, — а в деревья. Непрерывный треск попаданий звучал среди их ровных рядов, а в аллеях между ними медленно, как

хлопья снега, падали сбитые пулями узкие острые листья.

С належанного места, оставленного кем-то, не поленившимся вырыть тесаком выемку для головы, так что я уткнулся носом в обнажившиеся корни, можно было рассмотреть границу оливковых насаждений и открытое пространство за ней. Его замыкала высокая стена, напоминавшая тюремную, тем более что церковных башен снизу не было видно. Ворота с этой стороны отсутствовали, не было никакого выхода, следовательно, проникнуть отсюда внутрь без осадных лестниц, при помощи которых штурмуют замки и крепости на гравюрах, не представлялось возможным, — таранов у нас тоже не было.

Пробегая по прямой аллее, образованной двумя рядами олив, я видел притаившихся за ними французов, но наше песочное обмундирование мне на глаза не попадалось. Никто не стрелял, стена убедила всех, что это бессмыслица. Зато фашисты исступленно палили по роще.

Справа кто-то закричал тонким голосом. Всякий когда-нибудь слышавший, как кричит подраненный заяц, до конца жизни не забудет его предсмертной жалобы, больше всего походящей на безутешный плач маленького ребенка. Страшнее был этот заячий вопль, издаваемый мужчиной. А он отбросил винтовку, встал в рост и, забыв об опасности, подпрыгивал на месте, держа за локоть руку с окровавленной ладонью. К нему сбежались товарищи, оборачиваясь на сливающееся тарахтение фашистских ружей, насильно усадили, стянули пробитую кисть носовыми платками, подвесили на кашне и, хоронясь за деревьями, повели раненого в тыл.

Я начинал замечать, что при попадании некоторых пуль в стволы маслин раздавались особо громкие щелкающие удары, повторявшиеся рикошетом в густых кронах или в траве.

— Дум-дум! — провозгласил сбоку театральный шепот, прибавив непристойное французское ругательство по адресу «барбари фасист».

О разрывных пулях дум-дум я еще лет восьми прочитал в одном из переплетеннных по годам комплектов журнала «Вокруг света». Там из номера в номер печатался захватывающий роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова». Поскольку действие романа относилось ко временам англо-бурской войны, следовало признать, что «барбари фасист» в данном случае ни при чем — это варварство имело дофашистское происхождение. Мальчишеская память не преминула напомнить, что всякая пуля, если у нее крест-накрест надрезать головку, превращается в разрывную и дает ужасающие ранения — выходное отверстие получается с тарелку. После этих ретроспективных уточнений

чертовы щелчки сделались вдвое противнее.

Время шло. Солнце окончательно опустилось за стену. Неположенный вечнозеленым маслинам листопад продолжался. Срезанная, как ножом, оливковая веточка с серебристой подкладкой упала на мой простреленный мешок. Я взял ее двумя пальцами. Такую же масличную ветвь принес в клюве по окончании всемирного потопа выпущенный Ноем из ковчега голубь, точнее голубка, ведь в Библии сказано: «И возвратися к нему голубица к вечеру имяще сучец масличен с листием во устех своих…» Библейская легенда послужила причиной того, что голубь и масличная ветвь стали символами мира. Внезапно я ощутил прилив необычайной нежности к этому, сбитому фашистским солдатом, безвинному символу мира и, вместо того чтобы отбросить его, сентиментально вдел тоненькую веточку в петлицу френча.

Не одни расположенные кругом меня французы и бельгийцы перестали стрелять, давно прекратили огонь и оставшиеся позади броневики. Лишь далеко справа продолжали строчить наши станковые пулеметы. В ответ со стены гремели очереди не то двух, не то трех «гочкисов», но били они не в рощу, а через нее, стараясь, должно быть, отрезать подходы или подавить пулеметы. Бестолковая же ружейная пальба по оливковым плантациям не ослабевала, скорей наоборот.

Если днем наше отделение, которому надлежало находиться за правым флангом немецких рот, перемещалось с их левофланговыми, то сейчас я, по всей видимости, вклинился в расположение наступавшего в центре батальона Андре Марти. Меня мучило, что я оторвался от своих, тем более что я не знал даже приблизительно, где их искать. Однако под лежачий камень вода не течет, и я решил попробовать продвинуться вперед.

Вдруг оттуда донесся невообразимый гам, словно что-то стряслось. Все усиливаясь, он распространялся влево. Послышался беспорядочный бег множества ног. Прямо на нас по аллее, как табун перепуганных коней, мчались задыхающиеся люди.

— Nous sommes entourés, camarades!.. — орал один с перекошенным лицом. — Nous sommes entourés!.. On est vendu!.. [32]

Некоторые из находившихся по сторонам от меня срывались со своих мест и присоединялись к убегающим. Поднялся и лежавший передо мной.

— Sauve, qui peut! — взвыл он.

При полной идентичности русское «спасайся кто может» производит несравненно меньший панический эффект хотя бы

уже потому, что в нем шесть слогов вместо трех. Мне удалось лично убедиться в их неотразимой действенности: после «sauve, qui peut» в бегство обратились все. Кто-то из удиравших, стараясь избавиться от снижающей скорость нагрузки, на бегу отшвырнул свою винтовку, она попала под ноги следующего, и тот так треснулся об землю, что казалось, костей не соберет. Но пока я подумал это, он уже улепетывал за остальными. Двое или трое, выскочившие сбоку, перепрыгнули через меня, и чей-то пудовый каблук припечатал к земле пальцы моей левой руки. Я вскрикнул от неожиданности и боли, но беглецов уже и след простыл. Слышался лишь удаляющийся топот, да продолжалась монотонная, хотя и более редкая, капель пуль по кронам маслин.

Я обвел их ряды глазами. Поблизости не было ни души. Справа по-прежнему такали «максимы». Значит, если нас обошли, то слева. Я взглянул туда, и у меня перехватило дыхание. По меньшей мере взвод, неся винтовки на весу, двигался на меня. Сердце бешено заколотилось, но я тут же успокоенно перевел дух: несмотря на густеющие тени, удалось разобрать, что это французы, мне даже померещился между ними Белино. Свернув влево, они прошли к тылу.

С наступлением вечера обстрел рощи — даром что и днем он велся втемную — ослабел. Со стены все реже раздавались выстрелы, и все реже свистели между древесных стволов слепые пули. Вскоре замолкли и пулеметчики нашего батальона.

Я находился в совершенной растерянности. Если, с одной стороны, нельзя было не сознавать всей бесполезности и рискованности дальнейшего пребывания в обезлюдевшей оливковой роще, то с другой — в голове никак не укладывалась мысль, что наша бригада после всего могла так бесславно повести себя в первом же бою и, встретив отпор фашистов, сразу отступить. А кроме того, разве я не получил личного распоряжения Людвига Ренна войти в эти оливы и ждать, какое же я имею право отойти без приказа?

Под влиянием спускавшегося вместе с сумерками холодка по моей спине пробегали мурашки, а может быть, и оттого, что мне все время чудились передвигающиеся от дерева к дереву силуэты людей. Становилось все более неуютно.

Скоро спереди в самом деле донесся шорох. Я скорчился за своей маслиной, но, всмотревшись и вслушавшись, выскочил из засады навстречу Лягутту и Фернандо.

— Как ты сюда попал и что думаешь делать здесь ночью? — удивился Лягутт. — Идем с нами. Не видишь, что ли, сам: фашисты ложатся бай-бай, а наши все до одного ушли в ближайший ресторан ужинать. Мы последние.

При слове «ужинать» во мне все перевернулось, трудно было вспомнить, когда мы что-нибудь ели. Выяснилось, однако, что Лягутт ошибался. За его спиной показались медленно идущие поляки, хорошо различимые благодаря их одежде.

— Объясни, что произошло. Почему все ваши бросились наутек?

— Во-первых, не все: мы же с Фернандо не бросились, как видишь, а во-вторых, здесь находилось лишь правое крыло франко-бельгийского батальона.

— И все-таки?

— Чего ты хочешь: паника. Вот Фернан клянется, что первый закричал про окружение сам командир батальона. Ясно, что некоторые несознательные парни закинули ноги за шею. А стоит хотя бы десяти дружно рвануться в карьер, они увлекут сотни. Это как снежный обвал в горах.

Командира франко-бельгийского батальона Мулэна мне приходилось наблюдать издали. Мордатый здоровяк, он внешностью еще больше, чем наш Мельник, соответствовал этой фамилии в ее французском звучании. Однако Мулэн, как и Мельник, был коммунистом, а сверх того и офицером запаса, весьма маловероятно, чтобы он спровоцировал драп.

Пока мы стояли, группа поляков приблизилась и обошла нас. Все это были длинные дяди из первого взвода, я никого из них не знал и не рискнул соваться с расспросами.

— Пошли, — заторопил Лягутт. — Или ты надеешься выклянчить сигарету у фашистского патруля? Своих ребят здесь больше не встретишь.

Но он вторично ошибся. Едва я повернулся, как из-под ветвей ближней оливы на нас вынырнули еще двое «длугих» из польской роты, и как же я обрадовался, когда убедился, что это Казимир с Гурским. Подобрав винтовку, оброненную особенно спешившим беглецом и перекинув через левое плечо лямки мешка, я двинулся за Лягуттом и Фернандо. Гурский и Казимир замыкали наше отнюдь не триумфальное шествие.

Прямая аллея вывела нас прямо на ту же лужайку с одинокой оливой, возле которой я встретился с санитарами, несшими Дмитриева. Здесь толпились выбравшиеся из рощи французы и бельгийцы; среди них было не меньше пятидесяти поляков и даже несколько немцев. Все находились в состоянии крайнего возбуждения, старались перекричать один другого, нервно жестикулировали и непрерывно передвигались с места на место, как потревоженные муравьи. Возле каждой кучки споривших собирались лезущие друг на друга слушатели, разочарованно сплюнув, отходили и тут же вступали в спор между собою,

образуя новую кучку и в свою очередь собирая слушателей. То там, то здесь спор перерождался в обмен резкими выпадами, а то и в яростную ругань. Некоторые, стараясь в чем-то убедить остальных, произносили форменные митинговые речи, но ни у кого не хватало терпения дослушать их до конца. Испытываемые всеми стыд и досада искали выхода. Людям хотелось установить виновника или виновников того, что переживалось как незаслуженный позор, и возложить на них всю ответственность за случившееся, сняв ее тем самым с себя. Естественно, что все шишки посыпались на командование. Разочарование в нем было полным. Командира бригады честили на чем свет стоит.

Куда он послал нас, этот идиот!.. Хорош генерал, если не соображает, что каменную стену тесаком не проткнешь!.. Надо же было додуматься: атаковать крепость с одними пукалками в руках. Без тяжелой артиллерии к ней нечего было и соваться!.. Ее, говоришь, нет? Раз нет, твоим задом ее не заменишь и после миски турецкого гороха!.. Эти тридцатисемимиллиметровки с броневиков только насмешили фашистов!.. Что там болтать про артиллерию, когда по ручной гранате и то не дали!.. Что у фашистов тоже одна игрушечная пушечка, ссылаться нечего, зато у них всего прочего вдоволь!… Правильно! На тех товарищей, которые штыками в стену уперлись, — бедняги надеялись, что под ней мертвое пространство, — ручные гранаты как град посыпались и всех поубивали… Кто сказал, что убитых не было? Кто смеет это заявлять? Мы с приятелем укладывали одного на носилки, его осколками продырявило, как решето, ни за что ему не выжить!.. Кто не дурак, понял, что нас продали!.. А то нет?.. Мы приехали убивать фашистов, а нас самих отправили на убой, без того чтобы удалось хоть единому фалангисту разбить рыло!..

Но главные разговоры велись не о том, кто виноват, а что делать дальше. Одни предлагали немедленно идти в тыл, разыскать начальство и объясниться с ним по душам. Другие уговаривали подождать до утра. Ночью недолго и заблудиться. А тут и окопы рядом, гораздо спокойнее пересидеть до рассвета в них. Скорее всего бригада возвратится сюда. Быть не может, чтоб не вернулась. Какие-то папенькины сынки дали деру, ну еще кое-кто дрогнул, но не весь же батальон Андре Марти, и уж, конечно, не вся бригада. Да и тем, кто побежал, тоже станет стыдно. Увидите, что солнце еще не взойдет, как все будут здесь…

Собравшиеся в сторонке немцы, сдержанно обменявшись мнениями, сообщили, что они отправляются искать свой батальон. Он должен находиться вон там, где кончается роща. Они нечаянно отбились от него, а их могут счесть за дезертиров. Построившись, немцы повернулись и цепочкой ушли в

сгустившийся мрак. Больше мы их не видели, очевидно, они добрались до своих. По существу, речь шла не только об их, но и о моем батальоне, однако все поляки, с какими я встречался в толпе, единодушно утверждали, что наша рота оторвалась от него еще до оливковых плантаций и забрела куда-то влево, левее, чем стояли броневики. Поскольку никто кроме меня не изъявлял желания отправиться на поиски, не пошел и я.

На холодном черном небе высыпали звезды. С наступлением ночи страсти понемногу утихомирились. Но одновременно толпа начала расползаться. По двое, по трое люди выбирались из нее и растворялись в темноте. Вскоре нас осталось не больше половины недавно топтавшихся здесь, и мы начали располагаться ко сну прямо на траве. Однако чей-то твердый голос, напомнивший тембром опять о Белино, настойчиво потребовал, чтобы мы взяли себя в руки и перебрались в расположенную поблизости траншею, где теплее и безопаснее, потому что кто найдет в себе силу будет посменно охранять сон товарищей.

Один из лежавших не слишком уверенно возразил, что, может, лучше бы подремать с полчасика на месте, а затем двинуться по следам бригады. Вот-вот исполнятся сутки, как никто не ел и почти столько же у всех пустые фляжки, а уж насчет того, чтоб прилепить к нижней губе хотя бы окурок… На возражавшего заворчали. Так тебя сразу и накормят в тылу. Он воображает, этот чудак, что там специально для нас открыты ночные кабаре и между столиками прогуливаются крали на высоких каблучках и в фартучках и у каждой лоток с сигаретами: выбирай любые и даром…

В оставленном фашистами окопе было темно, как в могиле, и так же, как в ней, пахло сырой землей. Я был среди тех, кто вызвался бодрствовать, а потому заткнув благоприобретенную винтовку тряпкой, оторванной от носового платка, чтобы не набрать в ствол песка, свою устроил на низкой стороне отрытого в противоположном направлении окопа, подложив под нее распухшие пальцы левой руки.

Прыгающие в окоп люди валились как подкошенные и моментально погружались в сон. Наступила глухая тишина. Хоть бы где собака залаяла или кто захрапел, а то в результате смертельного переутомления все неслышно дышали, как дети. Переговариваясь полушепотом, два француза прошлись над окопом взад и вперед, проверяя обстановку, и больше не появлялись. Должно быть, присели отдохнуть.

Голода я не испытывал, его заглушала мучительная жажда. Все во мне пересохло, горло саднило, будто меня кормили битым стеклом, а когда, вспомнив прочитанное о путешественниках,

побеждавших жажду в пустыне, я принялся сосать завалившуюся за подкладку кармана мелкую монетку, слюны не выделилось. Изнуряющая эта жажда подавляла даже жгучее желание закурить и усиливала и без того непреодолимую усталость, превращая ее в совершеннейшее изнеможение, при котором тупо болела голова, ныли шея, плечи и поясница, ломило в коленях, стертые же ступни, несмотря на похолодание, пекло, словно после ожога кипятком. К этому присоединялась пытка бессонницей. С открытыми глазами и стоя, я, как ни старался, засыпал — голова с размаху падала на грудь, натягивая шею и ударяясь подбородком о верхнюю пуговицу. В отчаянии я встряхивался и расширял глаза, но через минуту меня опять будила дернувшаяся вперед шея. Я снова тряс головой и раскрывал глаза. И тогда из оливковой рощи бесшумно выбегали фашисты, освещенные лучами звезд, как прожекторами, и, цепенея от ужаса, я не мог даже пошевелить онемевшими губами, чтобы возгласить тревогу, но тут пуговица вновь царапала подбородок, и я опять вздрагивал и тщился рассмотреть что-нибудь в кромешной тьме, но веки были свинцовыми и слипались, словно Оле Лукойе брызнул на них сладким молоком. Но вот мне приснилось, что над окопом кто-то подошел сбоку и носком ботинка потрогал мою винтовку, пострадавшим вчера пальцам сделалось больно, и я проснулся.

— Ты спишь, как труп, — сказал мне то ли француз, то ли бельгиец. — Смена, друг, ложись отдыхай.

Ложиться было некуда, и я присел на корточки. Но теперь, когда я имел на него право, сон бежал от меня. Все мешало заснуть: жажда, сосущая пустота внутри вместо голода, ломота в суставах, опухшие пальцы на руке и набитые лодыжки, струи песка, при малейшем шевелении текущие за шиворот и в уши. Впрочем, через некоторое время, как только один из распростершихся рядом зачем-то встал и мне удалось положить винтовку и вытянуть натруженные ноги, я заснул, как в обморок упал.

Разлепив глаза, я увидел над траншеей прозрачное небо рассвета, но не шелохнулся. Не хотелось. Наконец, с трудом повернув затекшую шею, я испуганно убедился, что остался один как перст. Груды тел, загромождавших проход, словно не бывало. Я вскочил. Лежавший под головой мешок с оборванными лямками тоже исчез, и — самое страшное — пропала моя винтовка. Чужая, подобранная мною и заткнутая обрывком носового платка, была здесь, а моя пропала. По имевшимся у меня представлениям, утеря оружия в бою грозила военно-полевым судом. Правда, вообще-то винтовка у меня есть, ну а если объявится ее хозяин или начнется проверка номеров?.. Я

посмотрел на часы, но они стояли, и, судя по стеклу, безнадежно, им досталось еще больше, чем пальцам. Еще одна потеря. На всякий случай я завел их, встряхнул и поднес к уху, но бодрое тиканье не нарушило устрашающей тишины моего одиночества. Расстегнув ремешок, я с досадой отшвырнул их подальше и лишь тогда обратил внимание, что никакой тишины нет, просто ухо еще во сне привыкло к азартному щебетанью воробьев, доносившемуся с опушки.

Там, где я стоял, окоп немного выгибался, и продолжение его в оба конца было закрыто этим выгибом. Я заглянул за него налево и, к своему восторгу, обнаружил спящих вповалку Лягутта и Фернандо. Но сколько я ни тряс того и другого, разбудить не смог. Возможно, так же трясли и меня покидавшие окоп, а там махнули рукой, безнадежно.

Не добудившись Лягутта и Фернандо, я оставил их в покое. С ближайших маслин взмыла стая воробьев, я насторожился, но почти сразу с понятным облегчением увидел выходящих из-за деревьев Казимира с винтовкой в каждой руке и Гурского с «льюисом» на плече.

Втроем мы быстро привели в чувство Лягутта и Фернандо, а затем впятером проверили весь окоп в обе стороны и сначала наткнулись на мертвецки спящего Ганева, а в нескольких шагах от него Орела, свернувшегося клубком. Я так обрадовался, что даже обнял обоих. Выяснилось, что Ганев находился в той группе из первого взвода, которая прошла мимо, пока я разговаривал с Лягуттом. Я не узнал в ней Ганева, и в этом не было ничего удивительного. С тех пор как мы виделись в Чинчоне, он очень изменился: глубокие и без того глаза совсем запали, да и постарел он лет на пять, подобно всякому, переставшему бриться. Но в свою очередь и Ганев не узнал меня проходя, надо думать, я тоже был хорош.

Пока мы с ним объяснялись, обладающий прекрасным чутьем Орел в дальнем аппендиксе обысканной нами траншеи напал на прижавшихся друг к другу Остапченко и Юнина. У Остапченко был сильный жар, лицо его порозовело, глаза слезились. Еще более слабым тенорком, чем обычно, он предложил мне до подхода бригады считать себя старшим, у него грипп, и распоряжаться он не может.

Всего нас набралось таким образом девять человек, вооруженных винтовками и ручным пулеметом, который нашел сегодня Гурский в кустах. Запасных дисков не было, но патронов имелось хоть и не вдоволь, а на первый случай достаточно, и это при том, что Казимир, Орел, Лягутт и Фернандо расстреляли почти все свои запасы. К сожалению, никто из нас не умел

обращаться с «льюисом», но, стреляные волки, теперь все считали, что это дело десятое: не боги горшки обжигают. Зато насчет провиантской части положение следовало признать катастрофическим: кроме пустых фляг, а у некоторых еще пустых портсигаров, ни у кого ничего не было.

Оставив Юнина бодрствовать около дремлющего Остапченко, мы вылезли из окопа и отправились в оливы взглянуть, что в них делается. Уже Гурский с Казимиром убедились, что неприятеля там еще нет. Войдя под деревья, я поручил Орелу незаметно подобраться ближе к Серро-де-лос-Анхелесу и поглядеть, как и что. До его возвращения мы старались не обнаруживаться, хорошенько обследовали рощу от вспаханного поля до прорезающей ее дороги.

Солнце уже всходило, когда мы собрались на том же месте, где происходил ночной митинг. Перед нами возвышалась куча найденных трофеев: четыре диска к «льюису» в жестяных коробках, вроде тех, в каких держат фильмы, две винтовки — одна с пятнами крови на ложе — и несколько десятков обойм. Присоединившийся к нам иссиня-бледный Орел, со щеками, покрытыми оранжевым, как у новорожденного утенка, пухом, доложил, что в крепости еще, видно, спят. Господа офицеры, проше пане, не привыкли вставать с петухами. И солдаты, положив ладонь под щеку, тоже делают до-до, пока их не разбудит горнист. Только денщики вскочили чуть свет и варят для своих сеньоров капитанов и сеньоров лейтенантов крепчайший кофе, ибо запах его достиг того дерева, за которым он, Орел, прятался (в этом месте рассказа ноздри Орела плотоядно раздулись).

— On fait le somme là bois. C'est le château de la Belle au bois dormant[33], — заключил он из вежливости по отношению к Лягутту и Фернандо.

В ожидании бригады напрашивалось единственно правильное решение: нам необходимо остаться под оливами и в случае, если фашисты вышлют разведку, открыть по ней огонь и загнать за стену, но сделать это так, чтобы нельзя было догадаться, как нас мало. Для начала я послал Гурского за Остапченко и Юниным, а остальных развел по отрытым вчера за отдельными стволами индивидуальным окопчикам на известном расстоянии друг от друга, приказав стрелять по всякому, кто появится со стороны монастыря.

Вернувшись на лужайку, я застал там отоспавшегося и приободрившегося Остапченко вместе с Гурским, ковыряющихся в приблудном «льюисе». Рядом, подложив под голову заменившие ему подушку четыре жестяные коробки, сладко спал Юнин. Мне

очень хотелось последовать его примеру, тем более что во время беготни взад и вперед присохшие за ночь к ранкам носки отодрались, и стало очень больно передвигать ноги. Но я безжалостно растолкал Юнина, передал его с четырьмя дисками Гурскому и, прихрамывая, повел на позицию.

На обратном пути меня встретило радостное восклицание Остапченко — наша бригада возвращалась. Во всяком случае, вдали виднелась пыль, поднятая движущейся походным порядком частью. За отсутствием биноклей нам, чтобы рассмотреть получше, пришлось долго ждать, пока она шла по горизонту и наконец свернула к нам, на прямую дорогу мимо окопа и через оливковую плантацию к монастырю.

Прошло еще минут двадцать, и мы с унынием убедились, что это вовсе не наша бригада, а какая-то беспорядочная, хотя и вооруженная, толпа численностью не больше батальона. Чем ближе она подходила, тем виднее была удивительная ее беззаботность: никому и в голову не пришло, приближаясь к противнику, выслать головной и боковой дозоры. «А что, если это совсем не беспечность? — мелькнула у меня тревожная мысль. — Вдруг перед нами просто-напросто фашистское подкрепление для Серро-де-лос-Анхелеса?»

Я поделился своими сомнениями с Остапченко, и мы уже собрались ретироваться в оливы, но, как бы в опровержение, сзади прозвенела вчерашняя пушечка, мелкокалиберный снаряд растолкал воздух над нами, и далеко позади подходящих поднялся черный фонтанчик разрыва, а скоро до нас донесся и звук его. Испанский батальон продолжал идти толпой и не ускоряя шага. Пушечка выхлопнула вторично, и, хотя второй разрыв взметнулся еще дальше, батальон на ходу разомкнулся по обочинам дороги и несколько ускорил темп. Третий и четвертый разрывы угодили на угрожающем расстоянии прямо в дорогу, и тогда батальон врассыпную бросился к траншее. Спрыгнув в нее, бойцы сразу же выкладывали на обращенный к нам край поблескивавшие на солнце винтовочные стволы.

Чтобы расспросить, где наша бригада и когда можно ждать ее обратно, следовало немедленно связаться с прибывшими из тыла, да заодно и раздобыть у них напиться. На счастье, с нами был Фернандо. Я попросил Остапченко сменить его и прислать ко мне.

Молча выслушав мои инструкции, Фернандо закинул винтовку за спину и заковылял к окопу, издали во избежание недоразумений вздымая кулачок. Возвратился он гораздо скорее, чем можно было ожидать, но ничего определенного не узнал. Расположившийся в пустом окопе батальон входил в недавно

сформированную испанскую бригаду с коммунистическим руководством, номера ее, понятно, Фернандо не сообщили. Респонсабли, с которыми он беседовал, оказались осведомлены о местонахождении нашей бригады не больше самого Фернандо, но некоторые бойцы утверждали, будто «лос интернасионалес» еще вчера вечером последовали в грузовиках на Чинчон, что было явной несообразностью. Однако, поскольку Фернандо уведомили, что батальону обещана смена не позже, чем через неделю, рассчитывать на очень скорое возвращение нашей бригады именно в этот сектор не приходилось. Что же касается воды, то Фернандо, отвернув пробки и перевернув вверх дном свою и мою фляжки, продемонстрировал их совершенную сухость: батальон ел и пил в последний раз вчера на исходе дня и сейчас, с понятным нам нетерпением, ждал подвоза воды и продовольствия.

— Закурить и то не вышло, — пожаловался Фернандо. — Только я, высмотрев одного милисиано с коричневыми от табака пальцами, собрался с духом, чтобы спросить, не найдется ли сигареты, как он ударил меня по спине: дай, говорит, амиго, сигарильо, с вечера не курил.

Собрав всех на поляну, я предложил Фернандо повторить свой рассказ.

— Выходит, не одни мы не хлебавши ходим, надо быть, оно здесь принято, — вывел заключение Юнин. — Выгодные, значится, вояки: не пьют, не жуют, не спят и не курят. С такими дешево воевать. Однако, думаю, война скоро закончится. Позагибаемся.

Строго прекратив его болтовню, я приказал всем подняться и привести себя в порядок. Нас фактически сменили, и теперь мы имеем право отойти и присоединиться к бригаде. Пойдем вольно, но пока будем в зоне обстрела — шеренгой и на дистанции в пять шагов. «Льюис» поочередно понесут замыкающие: Гурский и Казимир. Ганев, Лягутт и я возьмем по лишней винтовке. Мешок с обоймами тоже возьму я. Остальным разобрать диски. Фернандо идет головным.

Я повел свою, еле волочащую ноги команду к дороге. Со стороны, вероятно, мы весьма походили на выписавшихся из госпиталя сыпнотифозных. Напрягая все силы, чтобы держаться молодцевато, и стараясь не смотреть в сторону окопа — очень уж было стыдно, помогли, нечего сказать! — шеренга поравнялась с ним и вышла на грунтовую дорогу. Отсюда она тянулась через осенние поля, прямая, как линейка. Едва мы повернулись к испанскому батальону спиной, как я уловил в воздухе какую-то вибрацию. Она заметно усиливалась и перешла в низкий

дрожащий гул.

— Авиасьон! — истошно прокричал кто-то в окопе. — Авиасьон!

Мы в нерешительности остановились, но из окопа на нас отчаянно замахали. Смысл был понятен: надо прятаться. Вибрирующее гудение моторов заполнило небо, и мы увидели три низко и быстро летящих самолета. Прятаться было некуда, и почти все попадали вдоль обочины лицом в траву. Показав диском на ржавые папоротники, росшие на пригорке, Фернандо кинулся туда. В несколько прыжков я догнал его и присел. За мной юркнули в папоротники Юнин и Орел. Рев моторов сотрясал землю. Громадные машины с обрубленными крыльями, одна чуть впереди, две другие по бокам, как громадные рыбины, наплыли на оливы. Раздался сильный, все нарастающий свист, и, сливаясь, загрохотали разрывы. Над оливами заклубились черные тучи. Из них падали камни, комья глины, щепа и целые, мгновенно увядшие ветки. Плавно, как будто вильнув хвостами, самолеты свернули и, распластав плавники, оглушительно гремя, уже летели над нами. Тени их пронеслись по земле, урчанье моторов стало ослабевать, и скоро в небе осталось лишь удаляющееся вздрагивающее гудение.

Мы молча, не оглядываясь, шагали по дороге. Избегнутая опасность придала всем бодрости, к которой примешивалась и доля злорадства, что бомбы израсходованы зря.

Не прошли мы и ста шагов, как из тыла докатился отдаленный гром.

— Еще где-то сбросили, — вздохнул Остапченко, шедший третьим за Фернандо и Юниным.

Опять послышался рокот моторов, и над холмами справа пролетели три бомбардировщика. Мы еще провожали их глазами, когда со стены ударила деятельная пушечка. Граната лопнула в стороне, вызвав, однако, в шеренге некоторое беспокойство.

— Наводчик косит, — нарочито бодро произнес Ганев.

— Вот уж, из пушки по воробьям, — пренебрежительно отозвался Остапченко. — И как им снарядов не жалко.

Похоже было, что фашистский наводчик и впрямь косоглазил. Преследуя нас, он выпустил до десятка своих снарядиков, но все без толку. Наконец пушечка угомонилась. По солнцу было что-нибудь около одиннадцати. Как и вчера, к этому времени сделалось по-настоящему жарко, и жажда терзала нас. Все с усилием переставляли ноги, при каждом шаге вздымая клубочек пыли. Хуже всех выглядели Остапченко и неузнаваемо присмиревший Орел. В конце нашего пути, обещая отдых, маячила над деревьями колокольня, но с ней происходило то же,

что со столько раз описанными миражами: чем дольше мы шли, тем она становилась дальше. Между тем идти было все труднее. Давно не сменявшееся белье раздражало сухую разгоряченную кожу, винтовки оттягивали оба плеча, как если бы вместо положенных пяти с половиной килограммов каждая весила по меньшей мере пятнадцать, не упоминая уже о мешке за спиной, набитом подобранными обоймами, и о поистине чугунных башмаках.

Почти час, дыша часто и шумно, как при подъеме в гору, преодолевали мы жалкие три километра, пока не увидели, что грунтовая дорога перпендикуляром упирается в шоссе, за которым укрывалось в тени платанов белое селеньице. Над ним, папертью к шоссе, возвышалась церковь, от нее спускались к реке две линии одинаковых домиков. Еще издали мы убедились, что селение покинуто жителями: ни на улице, ни во дворах — никого, кроме перелетающих с дерева на дерево воробьиных стаек.

Подойдя к церкви, мы переглянулись в безумной надежде — из ее врат отчетливо тянуло запахом пива. Безмерную нашу усталость как рукой сняло. Все так и взлетели по церковным ступеням: ну что, если в ней действительно устроен пивной бар? У входа Фернандо и Юнин дисциплинированно посторонились, предоставляя мне войти первому.

Я переступил через высокий порог и, очутившись в полумраке, вдруг поскользнулся, подошвы поехали, как по льду. Фернандо тоже чуть не растянулся.

— Что за черт? — богохульствовал Юнин, ухватившись, чтоб не упасть, за массивную мраморную вазу со святой водой.

Но все уже увидели, в чем дело. Посредине церкви, между сваленных в кучи стульев с бархатными приступками для коленопреклонений стояли большие чаны. В них, переваливаясь через края, пузырилось тесто. От алтарного возвышения и до порога пол церкви покрывал клейкий, цвета кофе с молоком, слой, в котором пучились и лопались пузыри. Объяснение этому извержению могло быть одно: в храме Божием разместилась походная пекарня. Паника, возникшая в оливковой роще, докатилась досюда, и пекаря бежали вслед за всеми, бросив замешенную опару на волю Господню.

Нанюхавшись взбунтовавшихся дрожжей, мы выбрались на свежий воздух и, с паперти увидев позади церкви колодец с помпой, чуть не взвыли от восторга. Вода оказалась холодной и неизъяснимо вкусной, мне показалось, что за всю жизнь ни из одного горного ключа я не отведал подобной.

Всосав в себя, как верблюды, по крайней мере двухсуточный запас, мы наполнили драгоценной влагой не меньше нас

пересохшие фляжки и обмылись до пояса. Теперь следовало позаботиться о еде. С этой целью на рекогносцировку вызвались Ганев, Лягутт с Фернандо и Юнин и Остапченко. Их задачей было разыскать кого-либо из попрятавшихся местных жителей и обменять на съестное всю имевшуюся у нас наличность.

Тем временем Гурский, кряхтя и ругаясь, стащил башмаки, содрал заскорузлые носки и, пока Казимир полегоньку подкачивал воду, сунул воспаленные ноги под студеную струю. Продержав их там, пока, надо думать, не заныли кости, он насухо вытер ноги носовым платком, выстирал его и затвердевшие носки, разложил их на теплой плите возле колодца, и тогда Казимир принялся расшнуровывать свои чеботы, а Гурский ухватился за рукоятку насоса. Ледяные брызги летели в лицо похрапывающего Орела, но подобная безделица нимало не тревожила его сон.

Первым из фуражиров у колодца возник Лягутт с заткнутой деревянной пробкой бутылкой в руке. За ним плелся Фернандо.

— В поселке ни души, дома брошены, — объявил Лягутт. — Ни хлеба, ни другой еды нигде не нашли. Здешние жители, посмотрев, как удирают наши, последовали за ними, но, в отличие от некоторых, отступили в полном порядке, до крошки подобрав все съестное; сухой корки нигде не забыли, а не то чтоб бросить невыпеченным хлеб на целую бригаду. Вот эту бутылку пинара тоже кто-то приготовил сунуть в карман перед уходом, да впопыхах оставил на столе. Я забрал ее: при такой жаре все равно скиснет.

— Зато все остальное имущество осталось, — вмешался Фернандо. — Тряпки разные так и лежат в комодах, как всегда лежали, и платья в шкапах на вешалках висят.

— Нам попалась еще бутыль оливкового масла, — прибавил Лягутт, — но, что меня касается, я его не пью, вино, по-моему, лучше утоляет жажду.

Подошел с пустыми руками и Ганев. Он подтвердил, что поселок пуст и что, уходя, жители унесли с собой все свои запасы продовольствия и угнали всю живность. За ним приковылял Юнин с голодными глазами и сказал, что меня зовет Остапченко. Он в самом деле манил меня рукой из ближнего дома.

Я прошел в распахнутую калитку. Дверь дома тоже была раскрыта настежь, и снаружи в замочной скважине торчал ключ. В единственной комнате все выглядело так, словно хозяин на работе, а хозяйка отлучилась на минутку к соседке. Над украшенным бумажными розами зеркалом тикал маятник стенных часов, показывавших самое обеденное время — половину первого. Взглянув мельком на свои отражения, мы оба в

дальнейшем отворачивались от зеркала. В нем расслабленно топтались два грязно одетых и давно не бритых типа, вооруженных к тому же тремя ружьями; больше всего мы смахивали на мрачных героев недавно выпущенного американского фильма о взбунтовавшихся каторжниках Новой Каледонии, ворвавшихся в тихую хижину колониста. Странное ощущение вызывало это пребывание без разрешения в чужой квартире.

— Они ушли, оставив все свое имущество на поток и разграбление фашистам, — сказал я.

— А может быть, и нам, — усмехнулся Остапченко, державший в руке снятые зачем-то с окна полотняные занавесочки. — Ты не допускаешь мысли, что они, наоборот, укрылись за стенами монастыря при нашем приближении?

— Не допускаю. Еще вчера утром здесь были люди. По-моему, мы с Орелом заглядывали сюда после того, как нас обогнал начальник штаба.

— Тем лучше. Свои не осудят. В общем, держи. — Он протянул мне занавеску. — Тебе одна и мне одна. Из каждой выйдет пара портянок. Я-то вижу, как ты ходишь.

Он рванул свою пополам. Не без внутреннего смущения я поступил так же.

— Чувствуешь себя мародером? — угадал мои переживания Остапченко. — Ничего, ничего. Жаль, что без спроса, да выбора нет. Без этого мы с тобой не дойдем.

Прежде чем приступить к хирургической операции, я посидел, собираясь с духом. Потом, морщась, стащил башмаки. Носки, во многих местах вновь присохшие к ранкам, зная, что так легче, я сдернул рывком. Какое там легче — запекло, как от ожогов.

— Терпи, казак, атаманом будешь, — приговаривал не то мне, не то самому себе Остапченко. — Теперь заживем.

Я не носил портянок с незапамятных времен — с окончания кадетского корпуса — и относился к ним, естественно, иронически, и не столько как к предмету забвенного казарменного быта, сколько как к одиозному литературному аксессуару, тошнотворному символу платонокаратаевщины. И потому, расстелив на табурете половину занавески и поставив на нее покрытую стигматами босую ступню, я отнюдь не был уверен, что с честью выдержу экзамен. Обнаружилось, однако, что это искусство не забывается. Натренированные во время оно руки — раз и два — сами обвили ее тонким полотном, и, натягивая ботинок, я остался доволен, нога вошла легко и мягко. Основание для самодовольства было законным. Намотать портянку под сапог

сумеет и новобранец, а вот пусть кто попробует надеть на нее ботинок, да так, чтобы она не только не размоталась, но и белого краешка нигде не высунулось.

Возвращаясь с Остапченко к насосу, я чувствовал себя возрожденным. Страдания андерсеновской Русалочки закончились. Не то чтоб ноги совсем перестали болеть, но теперь на них хотя бы можно было ходить. Вива сам Платон Каратаев и его всемирно прославленные «подверточки»!

Раскинувшись на примятой траве, все, кроме Лягутта, крепко спали. Лягутт тоже спал, но сидя спиной к колонке; бутылка стоймя помещалась у него между колен.

— Буди народ и — шагом марш, пока мы еще в силах, — дал совет Остапченко.

— Может, ты?

— Нет, тебе вести. Я ж по-французски не говорю, а иначе с ними не объяснишься.

Мы принялись тормошить спящих. Труднее всего было вернуть к жизни самых маленьких: Орела, Фернандо и Юнина. Тем, кто после встряхивания и расталкивания принимал наконец вертикальное положение, я предлагал намочить лицо холодной водой и не вытираться, а догадливый Лягутт подбодрил каждого целебным глотком из своей бутылки.

На шоссе пекло как летом, и наши фляжки быстро опустели. Башни с крестами и «гочкисами», взмывшие над окаймленной оливами стеной, долго сопровождали нас немым укором справа, пока не скрылись за плечом, и чтобы лишний раз посмотреть на них, приходилось уже оглядываться. На протяжении пяти или шести километров нашего крестного пути на шоссе не появилось ни машины, ни подводы, ни пешехода, ни даже заблудшей собаки. Пустынно было и по сторонам. Мы шли по ничьей земле.

Вплотную приблизившись к вытянутому вдоль шоссе селению дачного вида, через которое бригада проезжала вчера, — Фернандо запомнил, что оно называется Ла Мараньоса, — мы увидели в кювете черную лакированную шляпу с углами — головной убор гражданского гвардейца. Орел перевернул ее ботинком, и тогда открылась пробоина со следами крови, произведенная не то тесаком, не то мясницким топориком. Перед нами было убедительное свидетельство жестокости первых дней. На этом месте кто-то безжалостно проломил череп слуге порядка. Но это был конкретный, осязаемый враг. А сейчас гражданская война принимала, как мы смогли убедиться, совсем иной, почти абстрактный характер. И не только нам, приезжим, но и всем республиканцам предстояло впредь сражаться не с носящей определенный номер издавна дислоцированной в данной

местности ротой ненавистных и знакомых в лицо жандармов, не со здешним отрядом фалангистов, наперечет известных по именам, но с безликой фашистской армией, с фашизмом вообще…

Вступая в главную улицу Ла Мараньосы, мы не смогли преодолеть охватившего нас уныния. К тому, что она, как и поселок на реке, окажется брошенной населением, все были заранее подготовлены. Но ее никто не охранял при въезде, а следовательно, не только наша бригада, но и никакая другая воинская часть в ней тоже не стояла, и рассчитывать на заслуженный отдых и на еще более необходимый обед не приходилось и здесь. Предстояло тащиться дальше. Но куда? И где набраться сил для этого?

Разочарование удвоило и без того предельную усталость. Еще больше растянувшись, мы брели посередине шоссе. Виллы по обеим сторонам были необитаемы, двери наглухо заперты и даже ставни закрыты. Но, подходя к перекрестку, мы также внезапно, как только что приуныли, приободрились: до нас долетело тарахтенье автомобильного мотора. Выходило, что тут все же кто-то есть, появился шанс узнать что-нибудь о своих и — чем черт не шутит — может быть, нас и подвезут к ним. Однако нашим надеждам не суждено было осуществиться. Не успели мы доплестись до площади, как на нее выехал зеленый грузовик и повернул от нас к тылу. Одновременно раздались дикие крики. Сбоку на площадь, потрясая винтовками, выскочили трое в таких же, как на Лягутте и Фернандо, зеленых беретах. Они орали шоферу, чтоб он подождал, но тот или не слышал, или не понял, и машина продолжала удаляться. Исступленно вопя, трое бросились вдогонку. Им удалось достичь ее и, побросав в кузов винтовки, будто это были лопаты, кое-как уцепиться за борт. Повиснув на нем и извиваясь, как испуганные кошки, они, рискуя ежеминутно сорваться, отталкивались ногами, пока не перевалились в кузов. Машина понемногу увеличивала скорость и скрылась из глаз. На улицах Ла Мараньосы снова наступила безжизненная тишина.

Все мы были донельзя удручены. Разыгравшееся перед нами представление с джигитовкой на грузовике показывало, что вчерашняя паника имела продолжение и во времени и в пространстве. Особенно подавлен был Лягутт.

— Когда смотришь на подобные вещи, делается стыдно, что ты француз, — вырвалось у него.

— Не расстраивайся, старик. Возможно, это всего-навсего бельгийцы, — прибег к весьма странному утешению Фернандо.

Мы добрались до перекрестка, да так и кинулись — откуда

резвость появилась — в глубину площади, к источнику: из вертикальной каменной плиты торчала позеленевшая бронзовая трубка с инкрустациями, по которой в имевший форму раковины бассейн стекала прозрачная ключевая вода. Напившись с не меньшей, чем утром, жадностью, все в изнеможении растягивались в тени стены у коновязи на тверже бетона утрамбованной копытами земле.

Неподалеку приоткрылась и тут же захлопнулась некрашеная дверь. За ней прятались. Во что бы то ни стало я должен пойти туда и раздобыть хоть немного еды, иначе мы не сможем двинуться дальше.

Я встал и взялся за ремни двух своих винтовок, приставленных к высохшему желобу, и застыл от неожиданности: с шоссе, постукивая тростью, к нам направлялся непонятно откуда взявшийся сам командир бригады. Ему оставалось до нас шагов тридцать, когда без команды все начали подниматься и одергивать под поясами измятые френчи. Тут я опомнился и сделал знак, чтобы построились.

Звонким и довольно сердитым баритоном генерал Лукач издали спросил по-немецки, кто мы и что здесь делаем. Придерживая приклады обеих винтовок, чтоб они не болтались, я шагнул навстречу и по-русски отрапортовал, что мы, девять человек, отстали от своих и не знаем, где их искать.

Услышав русский язык, он пытливо взглянул на меня и прервал тоже по-русски со своим особым акцентом, — мягкие звуки выговаривались им как твердые, и наоборот:

— Зачем говорить «отстали», не проще ли сказать проспали?

Я согласился. Правильнее признать, что проспали. Ведь когда мы засыпали, в окопе было не меньше ста человек, а когда проснулись, осталось девять.

— Ничего не понимаю, в каком окопе? — опять перебил он недовольно. — Где вы его в Ла Мараньосе нашли?

Я разъяснил, что мы ночевали не в Ла Мараньосе, а возле Серро-де-лос-Анхелеса.

— И вы прямо сейчас оттуда? Быть не может! — изумился генерал Лукач. — Оттуда же еще ночью всех отвели.

Я ответил, что нас никто не отводил и что мы сперва ждали бригаду, но, измученные жаждой и голодом, решили уходить, когда пришел испанский батальон. Командир бригады слушал, склонив голову на плечо и поглядывая на меня искоса; он был чисто выбрит, и от него приятно пахло одеколоном. Узнав, что мы вторые сутки не ели, он не стал ни о чем больше расспрашивать.

— Идите за мной и двух человек возьмите.

Не только я, но и Гурский с Казимиром не поспевали за ним,

когда он легким шагом двинулся в тупик к тому дому с закрытыми ставнями и некрашеной дверью, где кто-то был. По-видимому, за нашим приближением наблюдали сквозь какую-то щель, потому что едва генерал Лукач стукнул тростью в дверь, как она раскрылась. За ней стояли два немолодых тельмановца: жилистый боец и мелкий щуплый респонсабль в канадке, несмотря на погоду. Оба поднесли кулаки к беретам и грохнули каблуками. Командир бригады заговорил с ними по-немецки. Щуплый попытался было сдержанно возразить, но Лукач повелительно произнес короткую фразу, из которой я уловил два желанных слова «цейн рационен». Оба немца послушно щелкнули каблуками, расстелили на полу возле порога кусок парусины и начали выносить и укладывать на него десять хлебных кирпичей, десять конусообразных банок корнбифа, обклеенных пестрой бумажкой с рогатой бычьей мордой в овале (каковая, впрочем, нисколько не мешала французам еще с мировой войны называть эти австралийские консервы «коробками с обезьяниной»), десять жестянок яблочного джема, около килограмма шоколадного лома и двадцать пакетов испанских самокруток, с приложением двадцати книжечек папиросной бумаги. За все эти сокровища я заплатил росписью в блокноте интенданта вынутым им из-за уха чернильным карандашом.

Не обратив внимания на робкие наши возражения, генерал Лукач, ухватившись за четвертый угол, помог нам донести парусиновую скатерть-самобранку до коновязи и удалился, сказав:

— Кушайте, через полчасика я подойду, надо кое-что у вас разузнать.

Пышный пир получился кратким: одни уснули еще жуя, другие, более стойкие, — не докурив сигарету. Я один крепился, поджидая генерала Лукача, пока не почувствовал, что меня трясут за плечи.

— Проснись! Проснись же! Командир бригады! — будил меня Остапченко.

Мотая головой, чтобы раскидать обволакивающую сознание плотную вату, я пошатываясь поднялся на ноги. Все тело было как ртутью налито. Набрав в сложенные горсти холодной воды, я сунул в нее одеревенелое лицо, ладонями ощущая четырехдневную бороду, и вытерся ни на что не похожим порванным носовым платком.

— Потяни, — шепнул Остапченко, подсовывая раскуренную самокрутку.

Я успел дважды глубоко затянуться, выпустить дым и закинуть за плечо одну из винтовок. Подошедший генерал Лукач

сочувственно посмотрел на спящих, потом на меня.

— Устали? Сейчас немного пройдетесь со мной. Тут близко. Поговорим, а там спите себе на здоровье до вечера.

Дойдя до шоссе, он свернул налево.

— Из каких, вы сказали, батальонов ваши люди?

Я ответил.

— А по национальному составу?

— Один испанец, один француз, три поляка и четверо… — я замялся.

— Кто же четверо?

— Русские, — выговорил я почти со стыдом, будто это неприличное слово. — Русские из Франции. Все из польской роты. Вместе ехали из Парижа. Собственно говоря: двое из Эльзаса. Из Парижа — Ганев, высокий такой, постарше — не заметили? — и я.

— Как вас звать?

Я назвал свои имя и фамилию.

— Алексей? — почему-то обрадовался он. — Нет, правда?

— Так точно, Алексей.

— Хорошее имя. Уменьшительное: Алеша. У меня есть один очень-очень близкий друг, которого зовут Алеша. — Он произносил «Алоша» и немного нараспев.

(…Лишь в 1940 году в Москве, незадолго до ареста впервые прочитав «Добердо» и дойдя до строк: «— Вы знаете, как по-русски уменьшительное имя Алексея?.. А-л-е-ш-а, А-л-е-ш-а, Алеша, Алеша. Правда мило?» — я догадался, что означала для генерала Лукача в тот тяжелый для него день непредугаданная встреча с кем-то, кого звали так же, как Матэ Залка решил назвать своего самого положительного, хотя и недописанного героя. С тех пор я и думаю, что, если бы меня звали Толиком или Валеркой, генерал Лукач, по всей вероятности, совсем иначе отнесся бы ко мне, а значит, все мое участие в испанской войне сложилось бы по-другому, и эта книга, возможно, никогда не была бы написана. Парадокс заключается в том, что меня назвали Алексеем в честь наследника престола — я родился в день его тезоименитства…)

Через дворик, по которому, разинув клювы и жалобно квохча, бродили голодные и непоеные куры, командир бригады прошел в чистенькую кухоньку, а оттуда в темный коридор. Дверь одной из комнат открылась, и из нее выглянул маленький начальник штаба.

— Вот русский парижанин Алеша, — ставя палку в угол и вешая фуражку, весело заговорил генерал Лукач. — Представь, совершенно случайно споткнулся, можно сказать, об него на

улице. Он привел из-под Лос-Анхелеса целый отряд и располагает самыми последними данными о противнике.

— Ну? — обрадовался начальник штаба. — Давай, парижанин, сюда. Вот сюда, к карте.

Стоя над разложенной картой, я рассказал все, что знал, и хотя я почти ничего не знал, и командир бригады и начальник штаба, что-то отмечавший цветным карандашом, с повышенным интересом отнеслись к моим отрывочным сведениям. Больше всего их удивило и одновременно обрадовало — я заметил, как они переглянулись, — что окоп возле оливковой плантации занят испанским батальоном. А единственно, чему начальник штаба не хотел верить, что фашисты с вечера и почти до полудня не удосужились выслать из монастыря разведку.

— Почему вы так уверены в этом? — настаивал он.

Я доказывал, что если бы фашистский патруль пробрался ночью, пока мы беспробудно спали, то их или бы заметили и обстреляли наши часовые, или же, если и они, предположим, задремали, то неужели же фашисты не бросили бы нам в траншею хоть парочку ручных гранат? А с рассвета мы не могли бы прозевать, тем более что сами ходили в оливы проверить, не осталось ли там раненых, и подобрать разбросанное оружие.

— Все правильно, — соглашался начальник штаба, — и все-таки удивительно. Ведь у них же, черт возьми, кадровая армия.

Рассказ о бомбежке его убедил.

— Вот вам и результат: истратили бомбы на пустое место.

— Скажи спасибо, нам меньше досталось. Эти «юнкерсы» потом пробомбили Ла Мараньосу, — пояснил генерал Лукач мне. — Сбросили по две бомбы. Мы ждем второго захода, а они улетели. Видно, бомб у них больше не было.

Когда я дошел до расползшегося по церкви теста, начальник штаба уставил карандаш в пятнышко на карте.

— Это здесь, видите? Пералес-дель-Рио. А вас я обогнал не там, как вы утверждаете, а вот тут, у Каса-де-Торесильяс. Ну что же, все ясно. Спасибо вам, товарищ, — и он стал укладывать карту в планшет.

— Теперь, значит, так, — обратился ко мне генерал Лукач. — Сейчас мы с вами сходим в гараж, я скажу, чтобы вас всех доставили завтра утром с попутной машиной в Чинчон. А затем вы свободны до вечера. Выспитесь хорошенько. И лучше не на мостовой, а перебирайтесь сюда и устраивайтесь в кухне или во второй комнате как бог на душу положит. Товарищ Фриц и я, мы должны кое-куда съездить, вернемся поздно. Вы на нашу долю получите у интенданта вашего батальона чего-нибудь перекусить. А ночью попрошу вас и ваших товарищей по очереди подежурить.

Договорились?

Чем дальше к выезду из Ла Мараньосы вел меня командир бригады, тем чаще попадались нам то бойцы — иной катил куда-то железную бочку из-под бензина, иной переносил через улицу мешок муки, то деловито поспешающий респонсабль. Я не решался спросить, почему хозяйственные службы находятся ближе к передовой, чем батальоны, но генерал Лукач сам пояснил, что за отсутствием транспортных средств никак не удается перебросить тылы бригады в Чинчон. Проходя мимо низкого бетонного сарая, он добавил:

— Вчера здесь устроили лазарет, а сегодня он превратился в морг. Раненых вывезли, но там лежит единственный наш убитый. В бою их не было. Раненые есть, довольно много, несколько из них в тяжелом состоянии, возможно, кое-кто и не выживет, но убит, заметьте, всего один человек, и не боец, а санитар из батальона Андре Марти, и убит-то в тылу, во время утренней бомбежки. Подумать: в поселок ни одна бомба не попала, все угодили по той вон гряде за домами, а как раз туда все, кто тут был, и выбежали.

Гараж находился на самой окраине. Он был абсолютно пуст, лишь в одном углу стоял крошечный запыленный «опелек». Двое испанцев в синих рабочих комбинезонах и черных фуражках со шнурами, украшенных вместо кокарды громоздкими латунными автомобилями, покуривали на его подножке, а немец в вельветовом комбинезоне ковырялся в моторе, отбрасывая тыльной стороной кисти свисавшие волосы. Обернувшись и увидев командира бригады, он вытянулся, шоферы же продолжали курить, сидя на подножке. Белозубо улыбаясь, командир бригады приблизился к ним, ловко выдернул у обоих тлеющие сигареты, отошел к дверям и выбросил на шоссе. Шоферы ошеломленно смотрели ему вслед.

— Гараж: бумм! Ферштеен зи? — и генерал Лукач развел ладони, показывая, что курение в гараже может привести к взрыву.

Подав руку механику, который торопливо обтер свою тряпкой, командир бригады поговорил с ним и повернулся ко мне:

— Людей с утра приведете сюда, их доставят куда следует. А теперь ступайте отдыхать.

По дороге я зашел в морг. В длинном здании раньше помещалось пожарное депо. Об этом свидетельствовали наклеенные по стенам красочные плакаты, изображавшие тушение одного и того же пожара. К крайнему плакату были стоймя прислонены свернутые носилки. В дальнем конце на

подпертых табуретами необструганных досках лежал мертвец, от колен до плеч накрытый самодельным красным знаменем из тех, что везли в поезде. Под голову вместо подушки подсунули обернутый полотенцем обрубок. Молодое лицо было темно-серым, как у восковых манекенов в окнах провинциальных парикмахерских, волосы тоже напоминали сухие волосы манекена; тусклые глаза, уставленные в небеленый потолок, никуда не смотрели. И вообще, убитый выглядел до того окончательно мертвым, словно никогда и не был живым. Стоя перед ним, подавленный тишиной и пустотой прохладного помещения и невероятной неподвижностью лежащего под плохоньким знаменем, я был потрясен заброшенностью первого из нас, с кем случилось то, что в речах называется отдать свою жизнь за свободу Испании… Отсалютовав кулаком, я вышел на солнечную улицу.

В который раз за сегодня растолкав спящих, я привел их во дворик, где продолжали задыхаться от жажды покинутые хозяевами куры. Командир бригады и начальник штаба уже отбыли. Распухший и еще порыжевший от сна Орел, поморгав желтыми ресницами на страждущих пернатых, ушел на кухню, принес глубокую тарелку, вылил в нее свою фляжку и поставил посреди двора. Куры сбежались к ней, как мы к насосу в Пералесе. Набирая в пересохшие клювы воды, они закидывали головы и от наслаждения прикрывали глаза белой пленкой.

— До чего кур довели: пьют, как утки, — прогнусавил Орел, показывая на них Фернандо.

Тот полез в мешок, вынул полхлеба и принялся отрывать крошащиеся кусочки. Напившиеся куры, восхищенно кудахтая, набросились на корм. Остапченко и Юнин тоже отрезали по ломтю от остатков своего рациона. Ничего предосудительного я в этом не нашел, у нас в запасе имелась десятая буханка.

Гурский и Казимир, критически оглядев явно неподходившую к их габаритам кухоньку, отправились досыпать в пристройку, наполовину занятую хворостом. Туда же удалился и Ганев. Поев уже не впопыхах, как днем, я тоже лег в пристройке прямо на землю, бок о бок с Ганевым, попросив Лягутта, увлекшегося вместе с другими кормлением кур, разбудить меня к вечеру.

Солнце уже зашло, когда я проснулся. Кроме меня в сарайчике не было никого, но кто-то из уходящих заботливо прикрыл меня неизвестно где добытым ковриком. Вверху, на хворосте, тихонько переговаривались устраивающиеся на ночлег куры.

Около входа в дом Ганев в одних плавках и ботинках на босу ногу достирывал в оцинкованном корыте туалетным мылом свое

белье. В кухне, заполненной, невзирая на раскрытое окошко, вонючим табачным дымом, весело потрескивала хворостом растопленная плита. Над ней висели на веревках сохнущие рубашки, трусы, носки и платки, а на подоконнике были отдельно разложены отечественные подштанники Юнина. Побрившиеся, вымывшиеся и надевшие помятые, но чистые рубашки, отдохнувшие мои товарищи похорошели, как девушки, собравшиеся на танцы. Я с горечью вспомнил о пропаже вещевого мешка, заключавшего и смену белья, и мохнатое полотенце, и зубную щетку, и пасту, и мыльницу, и бритвенный прибор.

Кое-как приведя себя в порядок, я отправился за ужином для командира бригады и начальника штаба. Но сколько ни колотил в дощатую дверь сначала костяшками пальцев, затем кулаком, а там и ногою, мне не открывали. С опозданием я обнаружил, что в притолоку и в порог вбиты снаружи здоровенные костыли: интендантские отсюда эвакуировались.

— Mais tu es complètement fou[34], — возразил добривающийся в сумерках и притом опасной бритвой Лягутт после того, как я объявил, что нам придется отделить часть своего пайка для командования бригады. — Станут они обезьянье мясо есть. Ты что, позабыл про курятник? Для себя мы его трогать не станем, но для этого венгра из Красной гвардии и для бедного маленького немчика, который все свое время посвящал революции, из-за чего не успел выучиться родному языку, я зажарю одну из этих дохлых кур так, что они примут ее за пулярку и еще тарелки после нее вылижут. Фернан, пойди поймай курочку помоложе. Если зажечь спичку, они слепнут, их можно голыми руками брать.

Он начал брить меня почти в темноте, когда Фернандо принес под мышкой нахохлившуюся, но продолжающую спать курицу. Зарезать ее он, однако, отказался, ссылаясь на отсутствие опыта в этом деле, он в жизни кур не резал, да ему, правду сказать, и жалко.

— Эх ты, — презрительно бросил Орел, — как же ты фашистов убивать будешь! — И, вырвав у сконфузившегося Фернандо слабо кудахтнувшую птицу, он вышел во двор, вынимая тесак из ножен с таким зверским видом, словно ему в руки попался по меньшей мере Кейпо де Льяно.

Ровно в полночь по прозвучавшему во мраке мелодичному бою стоявших на камине часов я вторично сменил часового. Гурский и Казимир вместо положенного при этом церемониала, пряча в рукав и поочередно затягиваясь, выкурили вдвоем одну сигарету, и Гурский, заявив, что после «льюиса» винтовка — как перышко, стал у ограды в тени пристройки, а Казимир ушел в нее

спать. В этот момент на шоссе и послышался шум мотора. Крохотная машина — это был уже виденный мною четырехместный «опелек» — медленно подъехала без фар, и командир бригады устало ступил на асфальт. За ним выбрался начальник штаба. «Опель» развернулся и уполз в сторону гаража. Мы с Гурским отдали в темноте честь. Две тени прошагали к кухне. Я опередил их и, чиркнув спичкой, зажег найденную Орелом свечу, для которой он вместо подсвечника использовал пустую бутылку. Держа ее над головой, я провел приехавших в заставленную комнату с закрытыми и заложенными изнутри ставнями и не без торжества поставил свою стеариновую люстру на стол. Командир бригады ахнул:

— Батюшки светы! Ты посмотри, Фриц, что делается: жареная курица! Ну и спасибо же вам, товарищи!

— Стол накрыт, как в ресторане, — усмехнулся Фриц. — И воды в кувшин не забыли налить: умыться можно перед ужином, — добавил он, подходя к фарфоровому с цветами тазу с таким же стоявшим в нем кувшином и через голову снимая портупею. — Мы с тобой сражение, надо считать, проиграли, а они о нас как о победителях заботятся.

— И мы еще будем победителями, — подхватил генерал Лукач. — Теперь мы ученые. Период импровизации закончился. Начинается период организации. Недаром же по-русски говорится: за битого двух небитых дают.

Из деликатности я удалился и постучался минут через двадцать, неся многократно подогревавшийся кофейник, отчего кофе потерял аромат. К изумлению моему, ни Лукач, ни Фриц не притронулись к вину, которое мы для них извлекли из погребка под кухней. К не меньшему изумлению, ни тот ни другой не курили. Зато от курицы осталось меньше половины, еле хватит им же на завтрак. Быстро убрав со стола, я пожелал им спокойной ночи.

— А что же, за вашими спинами мы действительно сможем выспаться, — согласился Лукач.

Из коридора я услышал, как дважды повернулся ключ в замке, потом кто-то дунул на свечу, пружины двуспальной кровати заскрипели, и все стихло.

Я вышел к Гурскому. Следующая смена произойдет через час с лишним, тогда же Остапченко сменит меня в качестве разводящего. А пока я как можно бесшумнее послал патрон в ствол и осторожно просунул винтовку между столбиками ограды. И Гурский и я молчали, старательно вглядываясь и вслушиваясь в бесформенный мрак. Холодная ночь была безоблачной, и в небе сверкали бесчисленные звезды, но на земле нигде не было ни

огонька. В глазах от напряжения мелькали какие-то пятна, но, поморгав, я прогнал их. Ведь кроме испанского батальона в том окопе между нами и Серро-де-лос-Анхелесом были только пустые холмы и оливковые плантации, что мешает фашистам, подкрасться к Ла Мараньосе? А за нашими с Гурским плечами отдыхают товарищи, отдыхают и советские командиры. Я трижды видел «Чапаева» и помнил о его гибели. Это не повторится. Пусть только сунутся. Мы с Гурским хорошо встретим их, а там проснутся и остальные. Пусть сунутся. Мы уже не те, что позавчера утром: за битого двух небитых дают.

3

На рассвете командир бригады вышел во двор в домашних туфлях и подтяжках, поддерживавших сужающиеся ниже колен и туго облегающие икры кавалерийского покроя брюки. В руках у него были первоклассные, на тройной подошве, английские коричневые ботинки, щетка и коробочка сапожной мази, а под мышками краги. Подтяжки несколько шокировали меня, во Франции их за исключением провинциальных нотариусов или отставных военных никто не носил, и мое воображение связывало эту патриархальную принадлежность мужского туалета с воспоминанием о деде с материнской стороны, черниговском губернаторе, о дядьях, блестящих морских офицерах, но никоим образом не с представлением о красном командире.

Как ни рано поднялся генерал Лукач, он не застал нас врасплох. Сами мы проснулись с петухами, или, точнее — поскольку петуха почему-то не было — с курами. Чуть свет умывшись и позавтракав, все, кроме стоявшего на часах Юнина и занятого хозяйством Лягутта, расселись на земле и предались традиционному времяпрепровождению воинов на бивуаке — чистке оружия.

— Вольно, вольно, — предостерегающе подняв щетку, предупредил командир бригады попытку встать. — Вы же делом заняты. Опять-таки и я не по форме одет.

Завершив чистку обеих винтовок (те, кто бросил их, были вначале охвачены воинственным пылом и всласть постреляли), а также обтерев все найденные на поле боя патроны, я при помощи песка смыл въевшееся в пальцы машинное масло; из кухни выглянул Лягутт, меня звали в комнаты.

— Зная, что нас охраняют, я, как невинный младенец, спал без сновидений, а проснулся и даже сам себе не поверил: по дому разносится аромат кофе. Вообще хорошо с вами, спокойно, — проговорил командир бригады. — Писать по-французски вы умеете? Прекрасно. — Он положил лист чистой бумаги на письменный стол, где вчера начальник штаба раскладывал карту. — Садитесь, составьте список ваших товарищей, не забудьте и себя включить. Укажите фамилию, имя, отчество, год и место рождения, партийную принадлежность, национальность… или нет, национальность не надо, а лучше батальон и роту. Завтра же я всех затребую. Штабу бригады необходимо иметь охрану, надежнее мы вряд ли кого сыщем. Товарищ Фриц со мной согласен. Вас я думаю назначить ее командиром. Отдадите мне список и поскорее ведите свою команду в гараж, сами же

возвращайтесь сюда, поедете с нами в одну небольшую экспедицию…

Чтобы в точности выполнить требование генерала Лукача, надо было, во-первых, провести устную анкету, а во-вторых, переписать всю эту кучу сведений начисто, однако раньше, чем Лягутт успел собрать и помыть посуду, я представил список, доложив, что сделал все, как приказано, только без отчеств, во французском языке их нет.

— Да, да, конечно, — закивал генерал Лукач, — и в немецком ведь тоже, и в венгерском. Я просто так, по привычке сказал. Отчество это у русских, очень, между прочим, интересная, очень специфическая черта русской культуры.

Он вместе со мной кропотливо разобрался в списке, расспрашивал, что мне о ком известно, и вычеркнул Остапченко.

— Если взводом командует, неудобно. Нельзя оголять польскую роту, где с командирами дело обстоит из рук вон плохо. Ты согласен, Фриц?.. Попросите, пожалуйста, товарища Остапченку ко мне, я хочу сам ему объяснить, чтоб человек не обиделся.

Невыразительное лицо Ивана Ивановича, когда он выходил от генерала Лукача, было сосредоточено, больше того, на нем отпечатался оттенок некоторой важности.

Выстроив на шоссе свое сводное отделение, я уже собрался уводить его, как из калитки вышел командир бригады, пожелавший лично напутствовать людей. Острием палки постукивая в такт по асфальту, он похвалил проявленную нами в первом бою дисциплинированность и объявил о решении зачислить нас в охрану штаба. Пока я переводил на французский, генерал Лукач подошел к стоявшему в первой шеренге Остапченко, подал ему руку и вполголоса произнес, что-то, отчего тот порозовел, как вчера, когда у него повысилась температура.

Солнечное утро распускалось словно цветок. По дороге к гаражу нам повстречался все тот же игрушечный «опелек», за передними его стеклами виднелись лица обоих шоферов, а за ними промелькнул профиль механика из тельмановцев.

Идя обратно и чуть не пританцовывая, настолько стало легче без мешка с обоймами и при одной винтовке, я издалека обнаружил, что микроскопический автомобиль стоит перед домиком, где мы ночевали. Когда я подошел, все начали усаживаться: Лукач и Фриц — на заднее сиденье, механик, передвинув сумку с инструментами на живот, устроился на краешке между ними, а запасной шофер откинул спинку второго кресла и сел рядом со своим коллегой, держа бачок с бензином на коленях. Больше в эту спичечную коробку на колесах было бы не

втиснуться и котенку, а не то что мне с винтовкой и набитыми подсумками.

По указанию Лукача я стал на подножку и одной рукой, просунув ее внутрь, ухватился за какой-то выступ, а другой — за нижний борт оконного отверстия, откуда немного выступало стекло. Лукач, однако, не удовлетворился этим, он озабоченно обратился по-немецки к механику, который тронул плечо свободного шофера и показал ему на меня. Тот, зажав бачок между ногами, продел руку под мою и крепко взялся за мой пояс.

— Ну, была не была, поехали, — откинулся Лукач назад, зачем-то расстегивая раздутую кобуру. — Vorwärts!

— Марча, камарада, — дублировал механик на испанский.

«Опель» плавно сдвинулся и покатил в том направлении, по которому мы вчера вошли в Ла Мараньосу, однако, выехав за последние дома, шофер, вместо того чтобы взять на Пералес-дель-Рио, свернул влево на грунтовую дорогу. Сначала она, то поднимаясь, то опускаясь, крутилась между обступившими ее со всех сторон холмами — и Лукач забеспокоился, как бы я не сорвался на частых поворотах, — потом, прямая, как стрела, пошла в гору, над которой вырисовывались на голубом небе злополучные башни, окаймленные темной зеленью олив.

Накануне я рассмотрел на карте начальника штаба, что не взятая нами цитадель, как обозвал ее Дмитриев, именуется по-испански «эрмита». По аналогии с французским «ermitage» это должно означать скит, пустынь. Недаром вокруг настоящая пустыня, нигде ни души, как было и вчера на всем протяжении нашего хождения по мукам, от самой этой фашистской Троице-Сергиевой лавры и до Ла Мараньосы. А должно быть, оттуда, с колоколен, отлично видно, особенно благодаря тянущемуся за ней шлейфу пыли, перегруженную нашу машину, с таким трудом взбирающуюся прямо волку в пасть. Как бы азартная пушечка не бабахнула по нас…

Надо думать, что моя мысль передалась шоферу, ибо он поиграл скоростями и, весь подавшись вперед, нажал на акселератор. К счастью, чем ближе подвигались мы к проклятому монастырю, тем ниже опускались его стены и башни, пока их окончательно не заслонили плантации маслин. Немного не дойдя до них, дорога повернула направо и врезалась, огибая его, в крутой холм. Теперь ничего не стало видно, кроме глинистых откосов по сторонам и прозрачного неба над нами.

— Вот она, голубушка! Видишь, Фриц? Как оставили, так и есть! — воскликнул Лукач.

Впереди, прислонившись к срезу холма, стоял второй, точно такой же, как наш, бутылочного цвета «опель». Теперь было

понятно, зачем мы сюда забирались. Я соскочил с подножки, не дожидаясь, пока машина остановится. За мной выпрыгнул шофер с бачком. Механик вытянул из-под освободившегося сиденья цепь и, сдергивая сумку с инструментами, бросился к одинокому «опелю». Лукач и Фриц тоже вышли из машины, которая начала разворачиваться.

— Вот что, — Лукач взял меня сильными пальцами под локоть и торопясь отвел от машин. — На прямую тут до фашистов километра не будет. Мы, можно считать, на их территории и должны у них из-под носа угнать мою машину. Для меня это вопрос чести — все равно что бросить врагу коня, а для них трофей. Управимся самое большее за десять минут. Не пойдет, возьмем на буксир. Поднимайтесь пока вон туда. В двухстах метрах начнутся оливковые насаждения. До них не доходите. Залягте шагах в пятидесяти. В случае чего, бейте издали, близко не подпускайте. Живей, живей.

Я взобрался по откосу наверх. Здесь росла выцветшая трава, от нее пахло сеном. Не успел я шагнуть в нее, как снизу раздался гневный окрик командира бригады:

— Черт подери! Винтовку! Винтовку на руку!..

Сорвав ее с плеча и дослав патрон, я побежал по лугу и, когда до олив оставалось совсем немного, упал в высокую, по колено, траву. Было обидно, что генерал Лукач так грубо прикрикнул на меня. Вероятно, он считает всю эту затею довольно опасной, а мою неопытность принял за легкомыслие…

Сухая трава скрывала все, кроме неподвижных крон ближайших олив. Я примял ее перед собой, но от этого видимость не сделалась лучше. Тогда я попробовал приподняться на локтях. Удалявшиеся вверх прямыми шеренгами одинаковые серые стволы открылись почти до почвы, но если кто-нибудь залег за ними или ползет ко мне, я все равно не увижу. Ничего не поделаешь, приказано лежать — и я лежу.

Так прошло, наверное, всего несколько мгновений, однако мне показалось, что назначенные десять минут уже истекли. Я прислушался. Было до того тихо, что звенело в ушах. Время будто остановилось. Вдруг с дороги донесся шум автомобильного мотора. Потом опять тишина. Во мне росла уверенность, что я лежу на колкой траве по меньшей мере около получаса… Прошло еще сколько-то времени, и до меня донесся негромкий свист. Я оглянулся и увидел поверх травы чью-то руку, размахивающую синей шоферской каскеткой. Вскоре я пригнулся и во весь дух помчался по проложенному в траве собственному следу.

Перед тем как спрыгнуть с обрыва, я задержался, опуская боёк большим пальцем, а затем заспешил и, прыгая, больно

ударил себя прикладом по голени. «Опель», в котором мы приехали, с выключенным мотором катился вниз по дороге. В заднее окошечко его смотрел Фриц. Механик сталкивал с места вторую машину. Я хотел помочь ему, но изнутри Лукач нетерпеливым жестом приказал мне садиться. Винтовкой вперед я неловко полез на ходу и плюхнулся рядом с предупредительно отодвинувшимся командиром бригады. Механик вскочил за мной и закрыл дверцу. Потяжелевшая машина ползла, понемногу разгоняясь. Шофер попробовал запустить мотор, но он не заработал, зато «опелек» дернуло, и он едва не остановился. Однако уклон стал покруче, и машина опять разошлась. Новый толчок, и мотор, фыркнув, ровно застучал. Механик успокоенно откинулся в кресле. Выбравшись из глиняного коридора, мы свернули. Отсюда и почти до самой Ла Мараньосы тянулась прямая светло-желтая ленточка спуска. Машина Фрица быстро удалялась в километре от нас за ней вилось облачко пыли.

— Ну, как вы думаете, что случилось с мотором? — повернул ко мне голову Лукач.

Я никак не думал: автомобильные моторы находились за пределами моей компетенции.

— Он отказал в мало подходящий момент, честно говоря, с наступлением темноты, да сверх того, мимо отходил батальон Гарибальди. Перед тем машина чихала-чихала, но везла, а тут стала окончательно. Я так понял, что дело в зажигании. Но шофер, чего бы то ни стоило, решил завести ее, пока не посадил батарею. Пришлось взять чемоданчик и уходить пешком, а машину бросить на съедение фашистам. Но когда вы рассказали, что они сидят безвылазно, я решил рискнуть. Чем черт не шутит, вдруг, думаю, еще не утащили. Так и оказалось, хотя это просто чудо…

Я позволил себе задать вопрос, отчего же все-таки машина не работала?

— Анекдот. Полез механик в мотор и, представьте, понять не может, все будто в порядке. Мне же, еще когда выезжали, показалось странным, зачем шофер бензин везет. Я и спрашиваю механика: а вы проверяли, горючее есть? Посмотрели, а из резервуара и не пахнет. Не заправился, сукин сын. За такое следует голову снять, да этот чудак улыбается, как провинившееся дитя, и рассердиться нельзя. А будь фашисты поактивнее, недолго было и в плен попасть. По рассеянности водителя.

Лукач рассмеялся. Как раз в этот момент и хлопнуло, прервав его заразительный смех. Полета снаряда мы из машины, конечно, не расслышали, но разрыв наблюдали как из ложи, и звенящий

звук его долетел до нас, после того как рыжий султан левее и впереди машины Фрица начал опадать. Сразу же хлопнуло вторично, и второй разрыв совсем скрыл ее от нас. Мы невольно привстали на сиденьях, но, когда дым отнесло, облегченно осели: темно-зеленый «опелек» как ни в чем не бывало катил дальше.

— Ох, накроют, — заволновался Лукач на третьем выстреле.

Бойкая пушечка выпустила еще пять или шесть гранат, но теперь они и близко не долетали до цели. Наконец «опель» повернул в лощину, и назойливое орудие угомонилось.

— Теперь наша очередь, — предупредил Лукач.

Обернувшись вполоборота, мы взглянули на возносившийся над нами неприятно близкий монастырь. Прозрачный, как хрусталь, воздух сокращал расстояние, будто мы смотрели в бинокли. Отличная видимость была, безусловно, взаимной. Я отвернулся от заднего окошечка и в ожидании внутренне сжался. Тем временем машина поравнялась с первой воронкой. Напряжение во мне росло: сейчас как шарахнет! Следующая воронка заставила замедлить ход, она захватила правую часть дороги. Обогнув выбоину, машина рванулась вперед. Шофер явно решил выжать из нее все, на что она способна, и бедный «опель» козликом запрыгал по жесткому грунту. Но ожидаемых разрывов не последовало.

— Фашисты не стреляли, завидев едущую в их сторону машину, не будучи уверены, чья она, — рассуждал Лукач в ответ на высказанное мною недоумение. — Зато когда она возвращалась, сомневаться больше не приходилось, и они обстреляли ее. После же того, как машина ускользнула, раздосадованные артиллеристы, понятное дело, демобилизовались. Им и в голову не могло прийти, что за ней поедет еще одна, откуда ей, спрашивается, взяться? Расчет принялся приводить орудие в порядок, подносчики, допустим, сели перекурить, а наблюдатель возьми да и отвернись. Появление второй, как две капли воды похожей на первую, поразило их, а пока они очухались, мы успели проскочить опасное место.

Фриц уже вынес вещи из опустевшего дома, единственными хозяйками которого оставались отощавшие куры, и был готов к отъезду, когда наш бежавший из фашистского плена «опелек» остановился впритык к своему двойнику. Командир бригады и начальник штаба обменялись короткими фразами; из них я понял, что Фриц едет отсюда прямо в Мадрид «проконсультироваться с нашими товарищами» и вернется в Чинчон к вечеру. Пожав Лукачу руку, он кивнул мне, сел в машину и укатил.

Отпустив механика, Лукач прошел в дом, а я остался возле машины. Главная улица Ла Мараньосы продолжала быть пустынной. Лишь через несколько зданий стоял поперек шоссе деревянный советский грузовик с откинутым задним бортом, передняя половина кузова была занята походной кухней на двух больших, как у арбы, колесах, котлами, корытами, ведрами и другой утварью. Три здоровенных тельмановца продолжали носить и забрасывать в машину набитые чем-то джутовые мешки, а закончив погрузку, вытолкали из отдельного строения раскормленного борова, изо всех сил упиравшегося короткими подламывающимися ножками и пронзительно визжавшего неподходящим для этакой махины тонким бабьим голоском. Сероглазый молодой богатырь, тот, что в ночь выступления из Чинчона разливал кофе по манеркам, хохоча, приподнял еще пронзительнее завопившее животное за слоновьи уши, а два его приятеля обняли задние окорока и так взвалили в грузовик. Боров реагировал новым истерическим воплем. Трое с упоенным видом взялись прикручивать жирную тварь к колесам кухни. Все в целом по какой-то загадочной ассоциации напомнило мне картинку из «Солнца России» или «Огонька» времен начала мировой войны, изображавшую некорректное поведение кайзеровских солдат в оккупированной Бельгии. Я, понятно, тут же с негодованием отогнал от себя нелепое сопоставление, но одновременно подумал: «И на какого дьявола понадобился им этот припадочный кабан…»

Командир бригады вышел из дома; кроме кобуры на нем через другое плечо висели полевая сумка и бинокль в футляре, в руках он нес чемодан и портплед, неизменная трость держалась крюком за шею. Поморщившись на непрекращающийся визг, Лукач бросил вещи на сиденье и направился к грузовику. Я двинулся за ним на положенной дистанции: в шаге позади и в шаге налево.

Как будто поняв по интонации, что к его палачам обращается решающее его судьбу начальство, хитрый боров притих. Разговор, однако, был весьма краток, а потому понятен даже мне. Лукач брезгливо задал вопрос, зачем им нужна живая свинья, разве интендантство не снабжает мясом, и, кроме того, уверены ли товарищи, что у нее нет владельца. На это сероглазый весело возразил, что хозяева виллы ушли к фашистам и кабан давно бы издох, если бы его четыре дня не кормили за счет батальона, не бросать же теперь Франко столько сала, тем более что марокканцы свинины не едят. Жовиальный экспроприатор для убедительности похлопал колышущуюся тушу ладонью. Лукач пожал плечами и отошел, а повара, должно быть, опасаясь, как бы

он не передумал, поспешно подняли борт, и отъехали.

Указав мне на откидное кресло возле шофера и подождав, пока я, чтобы уместиться, опустил стекло и выставил наружу ствол винтовки, командир бригады уселся рядом с вещами и по-испански приказал: «Гарахе».

Перед гаражом уже стоял грузовик с походной кухней и привязанным к ней задремавшим после стольких переживаний боровом. Механик и три повара ломиками подвигали вверх по сходням, положенным на край днища, какой-то станок.

— Это пригодится больше целого свиного стада, — удовлетворенно промолвил Лукач. — Хунта обороны вывезла отсюда в Мадрид авторемонтную мастерскую, а один токарный станок бросили то ли по забывчивости, то ли по лени.

Мне было совершенно невдомек, каким образом батальонным поварам будет полезен токарный станок, но я промолчал…

Остановив «опель» на залитой солнцем чинчонской площади, Лукач осведомился, найду ли я отсюда свою роту, и после моего «так точно» прибавил:

— Даю вам сутки на отдых, а послезавтра в семь тридцать будьте на этом самом месте. Пока — всего хорошего.

Польская рота помещалась там же, где раньше. Часовой, пристально оглядев меня от характерного для ее бойцов треуха до подошв, убедил себя самого словом «свуй» и пропустил. Внутри я нашел массу нововведений. Винтовки были составлены в козлы посередине прохода и на случай, если кто заденет ботинком о приклад, прихвачены накинутым сверху сплетенным из бечевки кольцом. Шапки, фляжки, подсумки и тесаки висели на вбитых в стены гвоздях. Люди спали не на голой соломе, а на покрывающих ее одеялах.

Я прошел к Владеку, занимавшему вместе с Болеком каморку в глубине, но ни того, ни другого в ней не оказалось. Молодой поляк с подбородком, который беллетристы называют «волевым», сидел за столиком и читал вслух Мельнику, лежавшему под полушубком на ближайшей из двух коек, какую-то бумагу. В углу стояли два «льюиса»; один был наш — я не мог обознаться. Мельник приподнялся на локте, всмотрелся в меня и спросил, не с неба ли я свалился. Ответа такой вопрос не требовал, и я тоже спросил, где Владек, мне необходимо доложить ему о своем прибытии. Тогда Мельник объявил, что Владек больше ротой не командует, а командует вот он, Стефан, ему и надлежит рапортовать. Я так и сделал. Услышав, что я возвратился лишь до послезавтрашнего утра и что на меня, а также еще на пять человек должно поступить из штаба бригады письменное распоряжение, Стефан сделал каменное лицо. Не очень-то

красиво со стороны командования бригады вместо стариков или, наоборот, малолетних и вообще не боеспособных, выдергивать из боевых порядков добрых жолнеров. Выдержав паузу, он бесстрастно поинтересовался, не последует ли распоряжения из бригады насчет доставленных отставшими лишних винтовок и легкого карабина машинового. На это я мог ответить твердым нет. Раз мы подобрали оружие, о котором идет речь, будучи бойцами польской роты, то оно и принадлежит роте. Строгие черты Стефана немного смягчились, получалось, что, уходя, мы все же платим за себя некий выкуп.

— А ты цо, ранец свуй стратилесь? — уже отпустив меня, обратил Стефан, внимание на мою праздную спину.

Я повернулся на пороге и со стыдом признался, что да, утерял.

— Зобачь, чи ест тутай.

У стены за его спиной была сложена целая пирамида вещевых мешков. Я заметил на полу затоптанные концы возбуждавших надежду лямок и потянул. Он! Несмотря на всю свою серьезность, и Мельник и Стефан заулыбались детской радости, которую я и не пытался утаивать, да и как было не радоваться, если в чудом обретенном мешке хранилась, кроме всего прочего, еще и пачка «Кэмел».

Мое место на соломе оставалось незанятым и выглядело тем более притягательно, что тоже было накрыто одеялом. Я приставил винтовку к козлам, развязал мешок и принялся высыпать содержимое на одеяло. Все пришло в довольно неприглядное состояние, наложенные сверху двадцать обойм сделали свое дело, и, конечно, больше всего от них пострадали драгоценные сигареты: значительная часть их превратилась в труху. Когда я вынимал лежавшую на дне и будто изжеванную рубашку, из нее выпала пуля, должно быть, выскользнувшая из слабо обжимавшей гильзы. Но тут же мне припомнилось, что в мешок попало. Осмотр пули подтвердил возникшее у меня подозрение. Правда, она была того же калибра, что в обоймах, но острие оказалось слегка сплющенным, а тело ее несколько изогнуто. Пройдя брезент, она явно ударилась в одну из обойм, отчего я и услышал попадание. Выходило, что летевшая в мою сторону пуля была выпущена не из «гочкиса», а из такой же точно винтовки, как моя; чему же удивляться, ведь хотя система «Маузер» «нямецка», винтовка-то «гишпаньска», как говорил тот, другой Казимир, мое наглядное пособие. Неизвестно почему, но мне захотелось сохранить на память предназначенную мне, пусть даже находившуюся на излете, пулю, и я опустил ее в карман френча.

— Что, нашлась твоя торба? — спросил лежащий рядом и впопыхах мной не замеченный Юнин. — А ну-кася, дай я лямки присобачу, — предложил он, вытаскивая из-под подкладки своего вареника кривую сапожную иглу с дратвой, продетой в ушко, через которое евангельский верблюд прошел бы без особых затруднений.

Большая теплая рука опустилась сзади на мое плечо, это был Ганев.

— Долго же тебя ждать понадобилось, мы и выспаться успели.

Подошел и Остапченко. Пока мы разговаривали, весьма кстати подвезли горячий обед: суп и рагу. Поддерживая ложки хлебом, чтобы не капать, мы умяли вчетвером два переполненных котелка.

— Пойтить посуду пополоскать, а то, балакали, сбор скоро, — держа раскуренную самокрутку величиной с сигару в одной руке и беря манерки и ложки в другую, обратился к самому себе Юнин и вздохнул: — Эх, и быстро же нас уполовинило, давно ли мы ввосьмером шамали.

Мои товарищи успели не только выспаться, но и разузнать о многом, происходившем в наше отсутствие. Ганев, поддерживаемый междометиями Остапченко, рассказал, что батальон Андре Марти действительно был деморализован самим своим командиром. Десятки французских и бельгийских добровольцев письменно подтвердили то, что мы уже слышали от Фернандо: Мулэн первый закричал про окружение. Хуже того, удрав вместе с поддавшимися спровоцированной им панике, он как в воду канул. В бригаде, во всяком случае, его нет. Поговаривают, что он бежал во Францию. Добавляют еще, будто ом оказался тайным троцкистом, но Ганев оговорился, что лично ему последнее кажется неубедительным. Каким способом оно вдруг выяснилось; всего неделя, как Мулэна назначили командиром батальона, и, несомненно, — на основании достаточно проверенных данных. Но нельзя не признать, что история с этим Мулэном довольно-таки загадочна. В батальоне же после того, как его командир смылся, буза. Человек сорок, если не больше, обмотались черно-красными платками и объявили себя анархистами. Никого, мол, не признаем и впредь беспрекословно никому не подчиняемся: ваше руководство себя показало, и без коллективного обсуждения мы выполнять его приказы не собираемся. Вновь назначенный командир батальона, судя по всему, слаб, а комиссар в единственном числе с бузотерами справиться не может. Ему в поддержку комиссар бригады направил своего помощника — немецкого коммуниста и

тоже писателя, как наш Людвиг Ренн.

— Литературных сил здесь хоть отбавляй, — с намеком взглянув на меня, произнес Ганев и продолжал: — Что же касается батальонов Гарибальди и Тельмана, то в них, в общем и целом, как говорят докладчики, порядок. Пошумели и успокоились. В нашей роте недовольство не совсем еще, правда, улеглось, но оно носит, если можно так выразиться, рассредоточенный характер. Некоторые, например, винят во всем происшедшем тринадцатое число. Большинство все же продолжает считать ответственным за неудачу командование, все сверху донизу, но особенно обижено на батальонное, а конкретнее, на интенданта.

— Это еще за что?

— За дискриминацию в области пищепитания, — усмехнулся Ганев. — Поляков и балканцев кормят якобы хуже, чем немцев. Новый командир роты считает это доказанным.

— Он мне скорее понравился.

— Похоже, что у него неплохая военная подготовка, — поддержал меня Остапченко. — Самое меньшее — унтер-офицерская.

— Где же теперь Владек?

— Разжалован за нераспорядительность, — отвечал Ганев.

— А Болек где?

— Болек? Ты разве не знаешь? Хотя откуда тебе, в самом деле, знать… Комиссаром в роте сейчас Мельник, как ты, наверное, сам догадался, а Болек… — Ганев понизил голос, — Болек расстрелян.

— Как расстрелян? — переспросил я растерянно. — За что?

— Толком ничего не известно, я хочу сказать, рядовым бойцам. Надо учесть; что сегодня в роте собиралось партийное собрание на эту тему, но мы на него опоздали. Тех, кто молчит, я не расспрашивал, а те, кто болтает, говорят по-разному, и кому верить, не знаю. Одни утверждают, что, когда этот самый Болеслав, всеми так ласково называемый Болеком, в третий раз покинул необстрелянных людей под огнем и, ссылаясь на сердечный припадок, ушел принимать капли на перевязочный пункт, два пожилых санитара, оба старые члены партии и оба из инициативной группы, рекомендовавшей этого труса в комиссары, потребовали, чтобы он взял себя в руки и немедленно вернулся в бой. Тот мало что отказался, но будто бы заявил, что он образованный партийный работник и приехал на организационную работу, а не служить пушечным мясом. Тогда они отобрали у него пистолет, отвели в сторонку и без лишних разговоров из его же пистолета и пристрелили. Между прочим,

эта версия имеет в роте наибольшее признание. Она импонирует тем, что негодование, возбужденное в людях с нормальной моралью зазнавшимся партийным бюрократом, проявилось — и, следует признать, довольно радикально — безо всякой бюрократической волокиты, а также и тем, что высшую меру наказания применили два брата милосердия…

Громко стуча высокими шнурованными ботинками, к командирской клетушке вихрем пронесся худой человек в лихо сдвинутом на ухо берете, сзади поспешал щуплый интендант, у которого мы получали продовольствие в Ла Мараньосе.

— Сказывают, зараз строиться будем, — предупредил возвратившийся Юнин, пряча посуду.

— По другим сведениям, — повествовал Ганев дальше, — его арестовали лишь на следующее утро и по медицинском освидетельствовании, признавшим его пригодным для военной службы, передали как симулянта и дезертира в Пятый полк, где его судили и за дискредитацию комиссарского звания расстреляли. Есть и третья версия, по моему мнению, наиболее правдоподобная; если верить ей, вышеозначенный сердечник под конвоем отправлен в Альбасете, где его, несомненно, будут судить и столь же несомненно расстреляют…

— Збюрка! — зычно выкрикнул с порога своей комнатушки Стефан. — Без карабинув!

Как и прежде, рота строилась снаружи. Правый и левый фланги Стефан загнул к центру так, что перед строем образовалось замкнутое с трех сторон пространство, где к Стефану присоединились Мельник и оба гостя.

Выступив вперед, Мельник объявил, что в роту прибыл комиссар батальона товарищ Рихард. Когда он, Мельник, доложил вчера вечером товарищу Рихарду о проявившихся в польской роте нехороших настроениях, являющихся результатом нанесенной ей обиды, товарищ Рихард был как громом поражен. Узнав же, что очень многие поляки обращаются к своему комиссару с просьбой отпустить их в Одиннадцатую бригаду, потому как они хотят присоединиться к уже отличившемуся в боях батальону Домбровского, а главное, услышав, чем эти просьбы мотивированы, товарищ Рихард ушам своим не поверил и сначала рассердился, какого черта ему пересказывают всякие сплетни, но, подумав, решил, что ни с кем предварительно объясняться не станет, а разберется на месте, в присутствии заинтересованных. Притом товарищ Рихард просит его извинить, он по-польски не знает и будет говорить по-немецки, а чтобы легче следить, пусть переводят фразу за фразой.

Изъяснив все это, Мельник попятился, а к строю приблизился

Рихард. Продолговатое лицо его было сердитым, узкие губы сжаты. Он заговорил надорванным лающим голосом! Откуда-то сбоку в оставляемые им промежутки падали слова перевода.

Ему сказали… Он в это поверить не может… Ему сказали, что польские товарищи жалуются на интенданта батальона… Жалуются, что он поступает нечестно, пристрастно… и снабжает польскую роту хуже, чем немецкие… Но интендант батальона проверенный революционер… потомственный германский металлист.. Пусть же товарищи из польской роты сами удостоверятся… до какой степени эти обвинения ложны… Не ложны даже… Они клевета… Примите во внимание: он не предупрежден, зачем его сюда вызвали…

Повернувшись к нам спиной, Рихард обратился к интенданту. На одинаковом ли продовольственном обеспечении состоят все пять рот батальона Тельмана — польская, балканская и три немецкие, из которых одна, пулеметная, могла бы, впрочем, пользоваться улучшенным: в ней физически труднее…

Низенький интендант даже плечами пожал. Jawohl, конечно, одинаковое. Комиссар батальона с торжеством оглянулся на нас. Однако, по окончании перевода, вдоль шеренг прокатился недовольный ропот, и Рихард сделал нам замечание. Он настаивает, чтобы польские товарищи вели себя дисциплинированно, недоразумение сейчас разъяснится. И он поставил интенданту следующий вопрос. В нем комиссар батальона пожелал уточнить, какое питание получили роты в ночь, на тринадцатое, перед выездом из Чинчона. Утренний завтрак? Так-так. А из чего он состоял. Из горячего кофе с сахаром и хлеба? Sehr gut! Но откуда-то пошли разговоры, будто некоторые, — необходимо подчеркнуть: некоторые, — но не все, получили еще к кофе понемногу рома, а к хлебу — по куску колбасы. Что скажет по данному поводу интендант батальона? Что это правда?! Mensch! Кому же предназначалось столь приятное и подкрепляющее дополнение, каким ротам? Не польской, это известно, оттого она и жалуется на несправедливость. Ну, а балканской? Тоже нет? Кому же тогда? Трем остальным? Так это не выдумка! С тем, что некоторую привилегию получила пулеметная, можно, как уже было сказано, примириться, но вместе с ней в привилегированные попали и две пехотные роты, все немецкие! Рихард повысил голос. Он требует объяснения! Почему именно они? Почему?

Интендант, подняв к нему утомленную, с резкими морщинами физиономию, уверенно, преисполненным достоинства голосом ответил:

— На всех бы не хватило. Я дал лучшим.

— Не старчило бы на вшистских. Далем найлепшим, — прозвучал перевод.

Рихард с размаху хлопнул себя по бедрам. Стало тихо. Но вдруг справа от меня кто-то хихикнул. Засмеялись и позади. Через мгновение смысл сказанного дошел до всех, и рота дружно загоготала. Сквозь раскаты хохота можно была разобрать отдельные возгласы: «Алеж но!..», «Одповеджел як мыслял!..», «Есть немцем и певен же немци найлепши!..», «Не варто се ображачь на такего дурня!..» Сменивший раздражение искренний смех был настолько заразителен, что и по лицу Стефана проскользнула сдержанная усмешка, Мельник же, почесывая переносицу, заслонил рот, а глаза его смеялись.

Маленький интендант побагровел, но продолжал стоять навытяжку, руки по швам. Рихард с сожалением посмотрел на него и отвернулся. Тишина понемногу восстанавливалась. Рихард вскинул голову. Он очень рад, что польские товарищи со здоровым юмором отнеслись к услышанному. К сожалению, он сам в качестве комиссара батальона обязан отнестись к такому проступку и особенно к объяснению его со всей серьезностью. Этот человек не должен оставаться интендантом батальона. Наивысший пост, какой ему можно доверить, — кухню одной из немецких рот. Рихард поднес кулак к алой звездочке на берете:

— Рот фронт!..

Мокрую от лившего всю ночь дождя чинчонскую площадь продувало ветром. За неимением часов я, чтобы не опоздать к назначенному командиром бригады времени, вынужден был встать затемно, и теперь, прогуливаясь взад и вперед в указанном месте с винтовкой прикладом кверху, так как продолжало моросить, основательно продрог. Наконец, вздымая брызги, подкатил блестящий от воды оливковый «опелек».

— Пройдете вон по той улице до конца, — приоткрыв дверцу и поздоровавшись, показал Лукач, — и уже на выезде увидите штабной автобус. Садитесь в него. Вас довезут до Мадрида, а оттуда в место будущего сосредоточения бригады. Там уж сами постарайтесь отыскать меня. Если при посадке в автобус вас начнут допрашивать, кто вы да что, обратитесь к товарищу Тимару, это венгр, но из Парижа, и вы сумеете с ним договориться, он предупрежден. Постойте, у вас что, теплее ничего нету? Плохо. Так недолго и простудиться. — Он потянулся к заднему сиденью, и в руках у него оказалась потрескавшаяся кожаная куртка. — Я достал для него, — Лукач кивнул на шофера, — но он все-таки под крышей. Берите, берите, потом видно будет…

Я зашагал в заданном направлении. Действительно, там, где

начиналось шоссе на Мадрид, стоял небольшой, но весьма элегантный автобус, ранее, должно быть, доставлявший с вокзала клиентов какого-нибудь фешенебельного отеля. Задняя дверь была открыта, из нее доносился оживленный говор и выскальзывали клубы табачного дыма, немедленно сникавшие в наружной сырости.

Не без некоторой робости поднялся я в штабную машину. В ней, спинами ко входу, разместилось на мягких сиденьях несколько человек, все как один в канадских полушубках и с поднятыми воротниками; по багажным сеткам были растыканы чемоданчики и чемоданы. Никто на меня не оглянулся, не то чтоб о чем-нибудь расспрашивать, но едва, сбросив с плеч мешок, я сел сзади всех, как шофер, словно только меня и дожидался, потянул какой-то рычаг, дверь со скрежетом медленно закрылась, и автобус тронулся.

Ни мое появление, ни его рывок ни на миг не прервали непринужденную французскую болтовню. Три или четыре пассажира, поддерживаемые одобрением остальных, старались превзойти друг друга в остротах по адресу шофера, с расчесанными на пробор жесткими, как проволока, серебряно-седыми волосами и необыкновенно красным, как будто обожженным африканским солнцем, моложавым лицом. Называя себя бледнолицыми братьями, остряки обращались к нему как к вождю краснокожих и предлагали снять скальп с рыжеватого обрюзглого дяди, которого они именовали капитаном Фернандо и который, по-видимому, плохо понимал французский, а к общему веселью на свой счет относился довольно неприязненно. Пожилой шофер, по всей вероятности, живал во Франции, потому что хоть и с твердым испанским акцентом, но с истинно парижской привычкой к словесному фехтованию, ловко отбивался от сыпавшихся на него шуток.

Протерев запотевшее стекло, можно было рассмотреть быстро разворачивающуюся за ним раскисшую осеннюю землю. Исчерпав одну тему, весельчаки переключились на другую. Выяснилось, что седого шофера звали Варела, то есть он на свое несчастье оказался однофамильцем руководящего наступлением на Мадрид фашистского генерала. Это обстоятельство послужило вполне достаточным поводом для нового прилива вдохновения автобусных юмористов. Больше всех изощрялись двое: молодой круглолицый француз Клоди, обладавший удивительно низким голосом, и цыгански смуглый, напоминавший Пушкина, вернее, его портрет работы Кипренского, вертлявый человек лет тридцати пяти. Вслушиваясь в его остроумную скороговорку, я сначала принимал его за марсельца, пока кто-то не окликнул его, и я

узнал, что это и есть Тимар.

Из ехавших в автобусе я видел раньше только находившегося ближе всех ко мне суетливого старичка, которого в нашей роте за его начальственную крикливость сперва сочли за командира батальона. Сейчас, не реагируя хотя бы усмешкой на самые удачные выпады Клоди и Тимара, что было возможно лишь при незнании языка, старик задумчиво уставился в летящие мимо промокшие пейзажи. От тряски его железные очки беспрерывно сползали на заостренный кончик носа, машинальным движением костлявых пальцев он возвращал дужку на переносицу, но очки снова тут же сползали. Когда старый Мориц не шумел к не суетился, его птичий профиль выглядел почти добродушно, однако на командира революционной армии в моем представлении этот провинциальный провизор нимало не походил.

Притормозив перед выездом на поперечное, более широкое шоссе, по которому в обе стороны на бешеной скорости мчались машины всевозможных марок и типов, автобус свернул влево и тоже понесся сломя голову. Теперь мы ехали по настоящей автомагистрали, с кюветами по бокам и белыми каменными столбиками на виражах. Вскоре сделалось очевидным, что мы приближаемся к большому городу. То там, то здесь торчали щиты реклам, все чаще мелькали отдельные домики, какие-то фабрички, склады, бензоколонки. Вопиющее противоречие между седой шевелюрой Варелы и его мальчишеским обгорелым лицом зримо разрешалось в пользу последнего тем юношеским пылом, с каким он обгонял попутные машины, а то и целую колонну зеленых советских грузовиков, наполненных понурыми, кутающимися в одеяла бойцами. С оптимизмом несовершеннолетнего, даже не глянув предварительно вперед, он выбрасывал автобус на левую сторону дороги и несся чуть ли не по обочине до тех пор, пока наши задние колеса не уравнивались с передними обгоняемой машины, тогда, рискуя сбить ее в канаву, Варела ухарски срезал ей нос в ту самую секунду, когда шофер надрывно гудевшей встречной цистерны уже зажмуривался в предвкушении неминуемого столкновения. Не исключалось, впрочем, что этакая езда была не столько проявлением внезапного помешательства Варелы, сколько рассчитанной местью нашим заметно присмиревшим острословам.

На волосок ускользнув от, по крайней мере, десятка катастроф, мы благополучно въехали в предместья Мадрида, невзрачные, как любые предместья. Дождь прекратился, но распухшие сизые тучи продолжали ползти над крышами, и на

покрытых лужами тротуарах почти никого не встречалось. Понемногу дома вдоль широкого проспекта вырастали. Кое-где на них висели намокшие флаги, но вообще флагов, плакатов, портретов и надписей было значительно меньше, чем в Барселоне. Да и люди здесь выглядели отнюдь не празднично. У продовольственных магазинов толпились длинные очереди женщин в черном и под черными зонтиками, хотя дождь и перестал. Изредка между прохожими выделялся патруль штурмовой гвардии в темно-синей форме или несколько милисианосов в сборном обмундировании. Среди сновавших по городу и без нужды сигналивших машин иногда попадалась анархистская, с привязанным сверху для прикрытия от пуль матрасом и грандиозным знаменем на длинном, как мачта, древке, делавшем автомобиль похожим на бот под черно-красным парусом. Но, несмотря на подобную экзотику, Мадрид в целом и его жители показались мне если не унылыми, то разочаровывающе будничными.

Оставив справа серые громады административных зданий, автобус взял влево и, проехав по еще более широкой авеню, миновал облетевший парк и поднялся не то ко дворцу, не то к музею, выстроенному под дворец, а от него выехал на большую покатую площадь. Вся нижняя часть ее была сплошь заставлена рядами грузовиков, между которыми толпились бойцы. По вельветовым комбинезонам тельмановцев я понял, что это наша бригада.

Автобус остановился перед благоухающим бензином каре, и мы выбрались наружу. Верхнюю свободную часть площади замыкала ограда, за ней высились в глубине казенного вида постройки, у ворот с примкнутым тесаком маячил часовой. На онемевших ногах я отошел от автобуса метров на сто и неожиданно узнал и обширный двор и однообразные здания, ведь все это я не раз видел в киножурналах. Случайно или преднамеренно, но наша бригада сосредоточивалась напротив казармы Монтанья, где в июле решилась участь Мадрида, а в известной степени и всей Испании.

Тогда, накануне и в день восстания, расквартированные здесь части гарнизона незаметно начали пополнять переодетые в штатское офицеры из околачивавшихся летом в столице, а также окрестные фалангисты. Для приобретения покровительственной окраски всем им выдавалась форма, а к ней и оружие. Генерал Фанхуль, возглавлявший заговор в Мадриде, явился тоже в штатском и одним из последних. Переоблачившись, он принял командование, но не предпринял решительных действий, опасаясь бдительности населения, оцепившего казармы плотным

кольцом. В результате на следующее же утро республикански настроенные артиллеристы и штурмовые гвардейцы, при огромном скоплении народа и при его содействии, подтащили к Монтанье две пушки и к восторгу окружившей их детворы ударили прямой наводкой, а два правительственных самолета как раз в то же время, сбросили на осажденных ультимативного содержания листовки. Воодушевленные такой демонстрацией технического могущества, большей частью безоружные люди бросились на штурм. Проявленной ими решимости было достаточно, чтобы колеблющиеся солдаты вышли навстречу с поднятыми руками и стали брататься с ворвавшейся в казарму толпой, однако из некоторых помещений упорствующие фашисты открыли стрельбу. Народ разъярился, и все оказавшие сопротивление были перебиты.

Я повернулся спиной к Монтанье. Что там вспоминать об этой крови, бесследно выжженной солнцем и смытой дождем. Впрочем, бесследно ли? А разве бесчисленные книгохранилища не законсервировали ее навечно в сшивках газет и журналов? И может быть, родившийся на днях будущий историк, просматривая лет через тридцать академичный французский еженедельник, наткнется на представляющую несомненную свидетельскую ценность фотографию с нарочито бесстрастной подписью: «Двор мадридской казармы Монтанья после занятия ее сторонниками правительства» — и ужаснется жестокости гражданской войны. А на следующей странице обнаружит другую иллюстрацию, и на ней то же покровительствующее фотографам испанское солнце, но — ничего вызывающего содрогание. И как иначе. Ведь снимок помещен в рубрике: «На стороне инсургентов». Здесь, вместо того чтоб лежать носом в землю с продырявленным пулей черепом, примерно сорок рабочих, некоторые в бумажных куртках, но большинство, как нарочно, в белых нательных рубашках, оцепленные солдатами в касках и с карабинами, терпеливо ожидают в очереди, положив руки на голову, пока обыскивают передних. Безупречно нейтральная и в сем случае подпись гласит: «Обыск группы пленных коммунистов».

Молодому историку и в голову, разумеется, не придет, что после ритуального обыска эти люди с руками на головах неизбежно были поставлены к стенке, хотя бы вон к той, на заднем плане, только их мертвые тела не увековечивались в памяти в назидание потомству. Что же касается приписанной группе партийной принадлежности, то сочинявшему подпись сотруднику редакции она была известна ничуть не больше, чем делавшему снимок или мне, когда недели через две после несфотографированного расстрела я вглядывался в превосходно

получившийся на глянцевой бумаге фотодокумент. По логике вещей эти испанские пролетарии могли с равной долей вероятия принадлежать и к анархистской CNT, и к социалистической UGT, могли среди них найтись и активисты различных левых партий, как могло случиться и то, что они беспартийные, единственное надо считать исключенным, если учитывать подлинное соотношение сил в начале событий, — принадлежность их всех к коммунистической партии. Однако невинное на первый взгляд обобщение, к какому прибегла редакция, готовя разъяснительную подпись, не случайно. За ним стояло продуманное желание напугать мирового, а прежде всего своего, французского, обывателя коммунистической опасностью за Пиренеями.

Надо надеяться, что воображаемый историк на эту удочку уже не попадется, но вот сумеет ли он узреть на изображении, под которым помещена провокационная надпись, кристаллики самой истории, это вопрос. А мне удалось разглядеть в нем одну мелкую, но без преувеличения потрясающую подробность, и я никогда ее не забуду. Среди стоящих в очереди к смерти, трое в самом конце, заметив, что их фотографируют, и несомненно зная, что их ожидает, вместо того чтобы продолжать держать кисти рук на голове, подняли кулаки. Вряд ли они могли надеяться, что их прощальный привет когда-нибудь дойдет до своих, скорее всего это было упрямое выражение сопротивления до последнего вздоха, продолжение борьбы. Но это случилось, и до меня дошел их посмертный призыв. И помню, как, оставив на столике пустого бистро раскрытый номер реакционного журнала, я встал над ним и, к удивлению гарсона, перетиравшего рюмки за стойкой, тоже поднял кулак.

Странно, но тогда — да и до самого отъезда — рассчитанная подлость буржуазной прессы повергала меня в бешенство бессилия, а сейчас, идя к штабному автобусу и вспоминая об ее иезуитских приемах, я испытывал холодное отвращение, а в общем оставался спокоен. Эта разница мироощущения, очевидно, проистекала из того, что на побаливающем от брезентового ремня плече я ощущал внушительный вес «гишпаньской» винтовки. В борьбе со злом я больше не был бессилен.

Забитая машинами и толкущимися между ними вооруженными людьми площадь, с которой без трех дней четыре месяца тому назад два орудия произвели решающие выстрелы по засевшим в казармах бунтовщикам, наполняет меня теплым чувством: впервые после альбасетского плаца я увидел нашу бригаду в сборе и всем существом ощутил свою принадлежность к ней. А где-то в этой безликой, но близкой гуще находятся Ганев, и Лившиц, и Остапченко, и Троян с Ивановым, и Пьер Шварц, и

Юнин, и Лягутт в паре с Фернандо, и другие товарищи, с какими я незаметно сжился.

Столпившиеся у автобуса мои попутчики, невзирая на принадлежность к штабу, ничего не смогли ответить на вопрос, останемся ли мы в Монтанье или двинемся дальше, но скоро вернулся отлучавшийся куда-то Варела и сообщил, что бригаду должны доставить в какой-то другой город, где она закончит формирование и получится. Октава круглолицего Клоди загудела, что это плохо, очень плохо, ребята будут абсолютно разочарованы, они надеялись сражаться у стен Мадрида, рядом с французским батальоном «Парижская коммуна», а не Бог знает где, за никому не нужные монастыри. Под «ребятами» Клоди подразумевал франко-бельгийский батальон, но был уверен, что итальянцы и немцы настроены так же.

Чем дольше околачивался я в своем измятом и грязном обмундировании возле жизнерадостных и чистеньких штабных, державшихся (кроме Морица да еще опухшего от сна Фернандо, больше похожего на колбасника, чем на капитана) дружной, но обособленной семьей, тем острее осязал шероховатость своего положения, близкого к тому, в каком оказалась пернатая выскочка баснописца. «И сделалась моя Матрена ни пава ни ворона», — подумал я. Меня потянуло туда, где я не буду чувствовать никакой отчужденности, и я направился к батальону Тельмана. Однако продраться через запрудившую переулочки между грузовиками людскую толчею было настолько трудно, что я повернул обратно, хотя уже почти добрался до кучки о чем-то споривших поляков, правда, знакомых я среди них не приметил.

Едва выбрался я из толкучки, позади послышался гулкий топот. Меня догоняли Гурский и Казимир. Они интересовались, где же им искать штаб, когда прибудем на место, бумага об откомандировании пяти человек в охрану штаба бригады уже поступила. Я сознался, что и сам не знаю. Мы погуляли втроем под выглянувшим солнышком. В польской роте откуда-то стали известны подробности геройского поведения батальона Домбровского, и оба моих собеседника были преисполнены гордости. Они даже предупредили, что рано или поздно, но будут ходатайствовать о переводе к «домбровщакам». Гурский сурово поведал об огромных потерях батальона, за несколько дней сократившегося больше чем на треть. Среди опасно раненных его командир Болек Улановский и командиры двух рот. Тут Гурский совсем некстати ухмыльнулся и многозначительно подчеркнул, что одного командира роты звали Иваном и он «ест украинцем», а другого, самого отчаянного, — Абрамом и фамилия у него Давидович. Назвав последнее имя и фамилию, Гурский

выжидательно посмотрел на меня с высоты своего величия. Я попался:

— Ага! Помнишь, что я говорил!

— Паментам, паментам, — хрипло хохотнул Гурский. — Але тенто Абраша ест студентем з Парижу. Як то чи подоба? Попшед не ображай наших интеллигентув!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Двухэтажный дом, отведенный для командования бригады, выходил на главную улицу фасадом всего в два окна, то есть был чуть пошире собственной двери, Охрана штаба поместилась слева от входа в единственной имевшейся внизу комнате. Это была кухня с каменным полом и давно не топившейся плитой. Мебели здесь не оказалось никакой, даже кухонного стола, а окно, как полагается, заделано, снаружи тюремной решеткой, так что комната больше походила на арестантскую, чем на караульное помещение. Мимо кухни тянулся темный коридор, тоже с каменным полом: низенькая калитка отгораживала его от выложенного булыжником внутреннего дворика с водопроводным краном посередине.

Часового пришлось поставить в коридоре — на узком тротуаре он бы мешал проходу, а ступеньки перед дверью не было, какая там ступенька, если и порог отсутствовал. Пока, однако, мы охраняли самих себя, не считая обитавших на втором этаже двух полусумасшедших старух: ни Лукач, ни Фриц еще не приезжали, а остальные штабные работники устроились где-то в другом месте.

Одинаково тощие старухи в одинаковых, будто на близнецах, черных шерстяных платьях и с одинаковыми шалями на острых плечах, как мыши, шебаршили наверху и так шумно вздыхали, что было слышно в кухне. Видели же мы их всего один раз через некоторое время после нашего внедрения. Держась друг за дружку, они сползли по деревянной винтовой лестнице и подались во двор, где в каком-то закутке блеяла коза. Когда они брели обратно, продолжая цепляться одна за другую, словно утопающие, стоявший на часах Фернандо — настоящий мальчик с пальчик, но в защитной одежде и вооруженный винтовкой с примкнутым тесаком — попытался с ними заговорить, однако, услышав испанскую речь, старухи пришли в неописуемый ужас и, взметнув шалями, будто нетопыри крыльями, с неожиданной легкостью взвились к себе и больше не показывались, только вздыхали еще чаще и еще громче.

Фернандо спугнул их совершенно некстати. Мы по обыкновению ничего не брали в рот с самого утра и надеялись использовать их в роли поварих. Теперь же мне не осталось иного выхода, как самовольно послать Ганева, Лягутта, Гурского, Казимира и. Фернандо приобрести на собранную еще в Пералесе-дель-Рио мелочь, остававшуюся у каждого от пятипесетовых сребреников, хоть какой-нибудь еды, а заодно раздобыть соломы

для коллективного ложа.

Не прошло и часа, как посланные вернулись, таща на себе четыре тюка прессованного сена и, что было еще отраднее, договорившись с проживавшей тут же, наискосок от нас, почтенных лет доброй феей, взявшейся приготовить купленных Фернандо трех кур да сверх того пообещавшей накормить ими всю ораву дважды.

К концу дня прибыл Лукач. Он мимоходом заглянул к нам в кухню, с вопросительным «устроились?» потыкал палкой в сено и поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж. Мне показалось, что он чем-то недоволен. Сразу же за ним подъехал озабоченный Фриц. Некоторое время до нас доносились их приглушенные запертыми на ключ дверями голоса. Затем ключ в замке снова щелкнул, Фриц сошел с лестницы и уехал. В холодном двухэтажном скворечнике восстановилась тишина, нарушаемая утробными вздохами старух.

Приближался вечер. Я как раз обучал находившегося в карауле Юнина усвоенному мною отданию чести кулаком к винтовке, когда снаружи скрипнули тормоза и захлопнулась автомобильная дверца. Вошел горбоносый человек с живыми глазами. На нем был круглый синий беретик без звезды; черную вельветовую блузу стягивал широкий пояс с крохотной кобурой, в такую мог вместиться лишь дамский браунинг. Невзирая на полуштатскую одежду и выступающий живот, в вошедшем угадывалась военная выправка.

Юнину представился удобный случай впервые продемонстрировать свою выучку. Похожий на турка незнакомец несколько аффектированно поднес кулак к берету, заметно было, что для него, как и для Лукача с Фрицем, внове это приветствие. Еще с улицы он, очевидно, услышал, на каком языке объяснялись Юнин и я, потому что обратился по-русски с вопросом, здесь ли остановился командир Двенадцатой бригады. После утвердительного ответа он попросил:

— Доложите, пожалуйста, что его хотел бы видеть Белов.

К моему изумлению, неизвестный турок, которому для полноты сходства не хватало лишь фески, говорил по-русски без малейшего акцента и, судя по фамилии, не только был еще одним советским гражданином, но и русским по национальности.

Раньше, чем я взбежал до середины лестницы, на верхней площадке показался Лукач, непричесанный, в домашних туфлях и расстегнутой куртке. Вероятно, он отдыхал, но мой топот разбудил его.

— Сюда, сюда. Поднимайся, товарищ Белов. Наконец-то. Мы прямо заждались тебя, дорогой.

Он стал сходить навстречу, и они обнялись на ступеньках, и так, теснясь и неловко обнявшись, ушли наверх. Вскоре Белов спустился забрать из машины канадский полушубок и чемоданчик, после чего она отошла. Сменяя часовых по средневековой луковице Ганева, я слышал, что разговоры на втором этаже затянулись далеко за полночь.

Тем не менее Лукач и его гость поднялись с пасмурным рассветом, побрились, помылись под краном во дворике и уехали в Мадрид. Мы опять должны были охранять мрачных старух да оставленные наверху чемоданы.

С наступлением нового дня перед нами возникла старая проблема — как быть с едой. Тщательно обшарив карманы, мы пришли в уныние, ибо все вместе не наскребли и двух песет, до оной круглой суммы недоставало нескольких сентимо. Фернандо заверил, однако, что на утренний кофе с булкой этого хватит, и я отпустил всех ко вчерашней благотворительнице. Возвратившись, они заторопили меня, пока кофе, за который уплачено вперед, не остыл. Я соблазнился и, покинув ответственный пост начальника караула при сидящей на гауптвахте козе, отправился в свою очередь подкрепиться.

Выйдя от сердобольной пожилой испанки, уже называвшей себя нашей «мамитой», я рискнул немного пройтись, но, чтоб не прозевать, если кто проедет, не упускал из поля зрения наш дом, по архитектуре похожий на улей. Дул пронизывающий ветер. Остальные товарищи перед отъездом из Чинчона получили у себя в батальонах имитированные под кожу темно-коричневые или черные каучуковые пальто, а я не успел, и, если бы не пожертвованная Лукачем куртка, пришлось бы плохо.

Вытянувшийся вдоль прямого шоссе городишко, показавшийся нам накануне после Мадрида таким жалким, расположен был всего километрах в пяти от его предместий и фактически сам являлся предместьем. От главной улицы уходили в город крутые переулочки, с другой стороны шоссе пролегала параллельная ему железная дорога. По узеньким тротуарам сновали бедно одетые женщины и шныряли дети; мужчины почти не попадались, а когда и попадались, то старики. Изредка встречались бесцельно бродившие бойцы тыловых служб бригады, но любопытства ни к ним, ни ко мне никто не проявлял — пригляделись.

Дойдя до угла, я повернул обратно. На раскрытых ставнях табачной лавки висели вставленные в рамки из алюминиевой проволоки газеты и журналы. На одной створке, выше всех, виднелось «Mundo obrero», и я решил, что торговец табачными изделиями и печатным словом сочувствует коммунистам, но на

почетном месте противоположной створки усмотрел анархистскую «Solidaridad obrera» и понял, что хозяин просто хороший коммерсант, учитывающий не одни вкусовые пристрастия местных курильщиков, но и преобладающие среди них политические симпатии. Так, украшенная аляповатым серпом и молотом «La Batalla», издаваемая Объединенной рабочей марксистской партией, представлявшей собой испанский вариант троцкизма, торчала внизу, а в центре скромно высовывалась из других изданий «Claridad»; я не знал, кому она принадлежит. Вообще же газеты графически отражали бурные события, происходившие в стране: заголовки набирались чуть ли не в треть полосы, как на афишах, и сопровождались неисчислимыми восклицательными или вопросительными знаками; они стояли разделенные многоточиями, рядом и вперемежку, в разнообразнейших комбинациях и — что самое поразительное — часть перед началом предложения да еще вверх ногами. Общеупотребительные типографские формы испанскому темпераменту были тесны, он выпирал из гранок.

Зато обложки выставленных тут же иллюстрированных вкладок в газеты и еженедельников выглядели куда более стандартно, тем более что на них красовался один и тот же представительный испанский военачальник, с волнистыми волосами, носивший под открытым френчем вместо рубашки и галстука цвета хаки теплый до горла свитер. Впрочем, разобравшись в тексте, я убедился, что это вовсе не испанец, а «герой обороны Мадрида, командир интернациональных бригад генерал Клебер». Для меня было открытием, что интербригады объединены общим командованием, до сих пор мне было известно, что Клебер командует одной Одиннадцатой, но я принял новость как должное, и значительную роль тут играла импонирующая внешность этого человека, на всех репродукциях веселого и уверенного в себе.

Я был в двух шагах от нашего дома, когда, обогнав меня, к тротуару бесшумно прижалась нарядная серая машина. За рулем сидел незнакомый черномазый шофер в круглой шерстяной шапочке, но через продолговатое заднее окно на меня оглядывался командир бригады. Покрутив рукоятку, он опустил боковое стекло.

— Оставьте кого-нибудь за себя, и поехали.

Кинув два слова Ганеву и схватив винтовку, я выскочил к низко посаженной машине. Ручка ее широкой дверцы не поворачивалась, нужно, было потянуть ее на себя, она отгибалась, и тогда вместе с ней отваливалась целая стенка.

— Кольменар-Вьехо, — приказал Лукач.

Машина мягко взяла с места и полетела птицей.

— Какова? — счастливо улыбнулся он. — Последняя модель фирмы «Пежо». Сейчас получил. Совсем новая, только обкатку прошла. Даже номера нет. Сто двадцать делает, — прибавил он горделиво.

Мы ехали куда-то от Мадрида.

— Скажите, пожалуйста, шоферу — его зовут Луиджи, — что я очень прошу беречь машину как зеницу своего ока.

Я так и сказал. Луиджи, смуглый, с ресницами будто у голливудской звезды, снисходительно — мне было видно в зеркальце — усмехнулся и молча кивнул.

— Он швейцарец, — пояснил Лукач. — Мне его рекомендовали как отличного шофера и уверяли, что он, подобно всем у них, умеет говорить по-немецки. Насколько могу судить, шофер он в самом деле опытный, но происходит из Юго-Западной Швейцарии, родной язык его поэтому итальянский, может он и по-французски, а в немецком не искушен. Объясняться мне с ним придется через вас.

Машина замедлила бег и колыхаясь начала перебираться через колдобины. На большом протяжении шоссе нуждалось в ремонте.

— Расскажите-ка еще раз про ваших людей, — предложил Лукач. — Список я тогда просмотрел, но, во-первых, он был на французском, и, потом, некогда было.

Я рассказал, что знал, о каждом.

— Значит, на восемь человек комсомолец один — этот худой француз, и трое членов Французской компартии? Интересно, что двое из них русские эмигранты.

— Из десяти, с которыми я приехал, в партии не состояли только я и еще бывший морской офицер, его уже нет, тяжело ранен.

— А вы, извините за нескромность, почему беспартийный?

Я попытался вкратце изложить, как все получилось. Он задумчиво потрогал нижней губой щеточку коротеньких жестких усиков.

— Очень это у вас по-интеллигентски, но понять можно. Есть к вам еще один вопрос: скажите, ну что заставило вас и ваших, как я понимаю, случайных товарищей не отойти вместе со всеми, но остаться там, под — будь ему неладно — Серро-де-лос-Анхелесом? На что вы рассчитывали?

— Даже не знаю, как ответить, товарищ комбриг. Может быть, не у всех и было одинаково… Сначала, когда некоторые бросились бежать, я на них разозлился, однако пассивно, попробовать прекратить панику мне и в мысль не пришло. Потом,

одно время, показалось, что я остался один, и стало, по правде сказать, жутковато. Но скоро выяснилось, что нас много, и дальше я поступал как все… Не верилось все же, что при первом же столкновении с фашистами мы отступили. Большинство считало, что бригада вот-вот вернется. А утром мы обыкновеннейшим образом проспали, если б своевременно проснулись, вероятно, ушли бы с остальными.

— Не думайте, что с моей стороны это праздное любопытство. Вы сейчас подтвердили, что я предполагал, и должен прямо вам заявить: особенно гордиться вам нечем. Побуждения, или, вернее, чувства, ваши и тех, кто с вами был, заслуживают, разумеется, и одобрения и уважения. Но не поведение. Вели вы себя, товарищи, — только, пожалуйста, не обижайтесь, — просто глупо. Знай фашисты, какого вы дурака валяете, они б вас, без малейшего для себя риска, перебили бы во сне, как Ирод младенцев. Сколько вас всего было?

— Боюсь ошибиться, но, по-моему, человек сто или полтораста.

— Подумать! Без малого десять процентов боевого состава бригады, и притом лучших по настроению бойцов, чуть-чуть не расстались с жизнью по собственной возмутительной небрежности и недомыслию, — он начинал сердиться. — Давайте уговоримся: вперед вести себя умнее. Не трусливее и даже не осторожнее, а именно умнее, или, лучше, грамотнее. На войне так же необходимо соблюдать определенные правила, как, например, при переходе улицы в центре вашего Парижа, с той лишь разницей, что на войне в сто тысяч раз опаснее, и нужно быть в сто тысяч раз внимательнее. Чтоб вы хорошенько меня поняли, расскажу вам одну поучительную историю…

И он рассказал, как, будучи вольноопределяющимся «на одном из фронтов мировой империалистической войны», он вел на передовую офицерское пополнение из выпускников военных училищ. Война шла позиционная, все было перепахано тяжелой артиллерией, и до цели километра три приходилось пробираться ходами сообщений, кое-где частично разрушенными, а на отдельных участках неполного профиля. Молоденький вольноопределяющийся проходил там много раз и хорошо изучил все простреливаемые неприятелем места. Перед тем как вести новичков, он проинструктировал их, предупредил, что следует быть начеку, иногда перебежать по одному, иногда пригнуться пониже, словом, повторять все в точности за ним, идущим впереди. Новоиспеченные господа офицеры слушали своего наставника нетерпеливо.

— Бедные фендрики, все семь на подбор длинные, смотрели

на меня сверху, как на запуганную окопную крысу, — вспоминал Лукач, — и, переглянувшись между собой, свысока заявили, что им все ясно. Спустился я в траншею, фендрики за мной. Идут словно жирафы на водопой. Знаете, сколько из семи дошло до полкового командного пункта? Два. Один был убит и четверо ранены. А я после этого печального случая неоднократно ходил по той же дороге, и — хоть бы выстрел. Вот что означает военная безграмотность плюс мальчишеское фанфаронство. Запомните это и постарайтесь вести себя осмысленно. И от своих подчиненных того же требуйте. В столкновении человеческого лба с летящим куском горячего железа неизбежно проигрывает лоб, поэтому у кого он не медный, слыша приближающуюся гранату, обязан укрыться или хотя бы лечь, а попав под пули — тем более. И ничего постыдного в этом нет. Постыдно погибнуть по дурости, не принеся пользы, ни делу, ни людям. Рисковать же своей жизнью мы все обязаны только тогда, когда это необходимо.

Влетев в Кольменар-Вьехо, легкая машина плавно свернула к непомерно большой для такого маленького городка церкви. Снаружи она соответствовала привычным канонам: черные зализы, происшедшие от бесплодного покушения подпалить в нарушение законов физики монолитный камень, разбросанные у портала богослужебные книги, статуи святых, благодаря отбитым носам смахивающие на неизлечимых сифилитиков. Вдоль выщербленных временем стен располагалось на освященной церковной земле нечто вроде кладбища автомобильных останков.

Внутри сохранялся способствующий молитвенному настроению полумрак, но в нем плавал запах не ладана, но бензина, а под куполом, вместо колокольного звона, раскатывался дребезжащий стук молотков: бесполезно пустующее здание использовано было под авторемонтную мастерскую.

Увидев командира бригады, от группы слесарей, обступивших изуродованный до неузнаваемости «ситроен», отделился и поспешил навстречу тот самый Тимар, который соперничал в остроумии с басистым Клоди. За Тимаром, привычно обтирая ладони замасленной тряпкой, подошел знакомый с Ла Мараньосы механик, а за ним еще несколько человек, от них кисловато пахло металлом.

Лукач, само собой понятно, заговорил с Тимаром на их родном языке, и мне подумалось, что он необыкновенно подходит для конспиративных переговоров; сколько ни напрягал я слух, но не уловил ни единого латинского или германского корня. На Тимара венгерский язык оказал такое действие, что я не мог узнать того развязного марсельца, какого наблюдал в автобусе:

командиру бригады внимал подтянутый офицер, почтительно повторяющий за каждой фразой: «иген… иген… иген…» По интонации это было венгерское «так точно», к которому Тимар через раз прибавлял неразборчивое из-за ударения на первом слоге обращение, начинавшееся со столь неподходящего к плотному Лукачу «Эльф» — не то «эльфташ», не то «элфтар».

Взглянуть поближе на командира бригады собралось довольно много людей, однако большинство продолжало работать. Мне почудилось, что в глубине, сбоку от мраморных ступеней, ведущих к престолу, возится, вытягивая мотор распотрошенной машины блоком, подвешенным к треноге из ржавых труб, не кто другой, как Семен, но я не был уверен в этом достаточно, чтобы позволить себе отойти от Лукача.

Обратившись к собравшимся поглазеть на него по-немецки и отпустив какую-то шутку, на которую все ответили дружным хохотом, хотя ни испанцы, ни французы, как и я, никоим образом не могли оценить ее, Лукач поочередно пожал всем грязные руки, взял механика под локоть и направился к выходу. Провожавший генерала до машины Тимар сказал мне на прощанье французскую любезность, и в его улыбающихся глазах промелькнуло нечто от давешнего автобусного весельчака, но Лукач спросил его о чем-то по-венгерски, и Тимар снова превратился в исправного австрийского офицера.

— Дельный человек и, по-моему, на подходящей должности, собственно, на двух должностях, — заговорил Лукач о Тимаре, когда мы мчались назад, в обшарпанный наш Фуэнкарраль. — Исполнительный. Дел у него невпроворот, а стоило мне попросить проверить все узлы той машинки, какую мы с вами вытаскивали из-под носа у врага, и отпустить на все про все одни сутки, чтоб поскорей передать ее Людвигу Ренну, так, вообразите, Тимар со своими мастерами за одну ночь управился. Я спрашиваю сейчас, где же «опель», а он, оказывается, давно у Ренна. Вы, кстати, имеете представление, что за особенная личность ваш бывший командир батальона?

— Знаю, что он вообще писатель и немецкий коммунист и еще что он из-кадровых офицеров. Что он не дилетант, это чувствуется. — И я описал, каким видел Людвига Ренна под Серро-де-лос-Анхелесом и какой он всем нам подал пример.

— Видите. А ведь он не вообще, как вы небрежно высказались, писатель, он знаменитый писатель, с мировым, можно сказать, именем. Мог бы себе припеваючи жить в Париже и книги писать, но вместо того одним из первых бросился сюда, даром что уже старик — ему под пятьдесят — и три года у Гитлера отсидел.

Я усомнился, можно ли считать Людвига Ренна писателем всемирного масштаба.

— А вы «Войну» прочли?

Мой отрицательный ответ Лукачу не понравился.

— Как же вы беретесь судить! А почему не читали? Не попадалась эта книга? Как-то странно вы о книгах говорите. Это хорошенькая девушка могла попасться вам на улице или не попасться, а книги по тротуарам не бегают, книгу надо потрудиться самому поискать. «Война», если хотите знать, выгодно отличается от многих, куда более известных антивоенных романов своей сдержанностью, своей, что ли, профессиональностью. Я подразумеваю не литературную профессиональность, хотя книга хорошо, без лишних восклицательных знаков написана, а — военную. Нет в ней этого, знаете, противного нытья мобилизованного интеллигентика: ах, вши! ах, я ноги промочил! ах, меня могут убить!..

Луиджи теперь знал дорогу, и обратно «пежо» несся еще быстрее: почти все время, пока шло неиспорченное шоссе, стрелка держалась, то чуть переходя, то возвращаясь на сто. Смотря на волосатые руки Луиджи, вцепившиеся в тоненький штурвал и непрерывно пошатывающие его вправо-влево, я мысленно изумлялся необыкновенной литературной осведомленности нашего командира бригады. Речь касалась, правда, специфической литературы, посвященной войне, и все же.

— Вы небось думаете: странный все-таки тип этот генерал Лукач, — будто читая мои мысли, продолжал он, и я бы смутился, если б сразу не сделалось понятным, что он имеет в виду другое. — Батальоны еще вчера подтянуты к передовой, а ему и горюшка мало — катается себе по тылам, так ведь?

Я был поражен тем, что батальоны уже подтянуты к передовой, и протестовал слабо.

— Если жить не одним сегодняшним днем, а хоть немного задуматься о завтрашнем, то нельзя, при учете здешних условий, не понимать, что боевые возможности нашей бригады целиком будут зависеть от наличия собственного транспорта. Подсчитать, сколько мы за одну неделю потеряли драгоценного времени, которое могло быть употреблено на подготовку или на необходимый отдых. И все из-за того, что шоферы автоколонн подчинялись не нам. То же, естественно, предстоит и впредь. Фронт вокруг Мадрида широкий, резервов пока нет, станут нас дергать то туда, то сюда, и всякая переброска будет производиться с опозданием, по частям, а следовательно, и вводить бригаду в действие придется тоже по частям, и скоро от нее останутся рожки да ножки. Нет, нет, я, еще когда нас от

железной дороги доставляли в Чинчон, понял, что без собственного транспорта мы пропадем.

«Пежо», как лодка на волнах, занырял по знакомым ухабам.

— Кое-что нам штаб обороны выделил: по три грузовика на батальон, четыре под батарею, автобус, на котором вы ехали, три легковых, четыре санитарных. Это же капля в море. Знаете, сколько нам необходимо, чтоб посадить всю бригаду на колеса?

Он похлопал ладонью по боковому карману.

— Я подсчитал, и цифра получилась прямо-таки страшная. Исходя из расчета по двадцать трехтонок на батальон, всего нужно иметь как минимум семьдесят пять грузовиков, половину можно автобусами, и хотя бы пятнадцать легковушек. Конечно, никто ничего похожего не захочет, да и не сможет нам дать. Все, что мне удалось вымолить дополнительно: пять мотоциклов и десять требующих ремонта грузовиков. Где же взять остальные? Не знаете? А вы пораскиньте мозгами. Все равно не знаете? Не расстраивайтесь: никто не знает. А вот хитрый генерал Лукач знает.

Мы приближались к Фуэнкарралю.

— Если б вы помотались с мое по здешним дорогам, вы бы, я уверен, тоже обратили внимание, как много брошено вдоль них разбитых, а то и всего-навсего неисправных автомобилей. У меня еще с Альбасете душа болит. Ведь шоферов тут по необходимости как блины пекут. Научился на газ жать да баранку вертеть, вот тебе и шофер: садись, поезжай. Откажет у такого машина, он и знать не знает, что и почему, может, как мы с вами наблюдали, всего-навсего бензин кончился или масло на свечу попало, а наш спец уже преспокойно вылезает, ловит первую попавшуюся попутную и катит сообщить своему респонсаблю: «коче», мол, из строя вышло. Вышло так вышло, на тебе другое — благо конфискованных, особенно легковых, пока хватает. Смотришь, а он через два дня воды забудет налить, радиатор и распаяется. И опять спросу нет, никому не жалко, не своя же…

Я начинал догадываться, куда он клонит, и хотел сказать об этом, но, увлеченный изложением своей мысли, Лукач не позволил ему помешать.

— А покамест машина стоит в поле, мимо нее, мимо голубушки, едут себе и едут, и среди едущих попадаются хозяйственные дяди: один притормозит и снимет на всякий случай запасный скат с резиной, еще один покопается и свечу вынет, третий аккумуляторы заберет. За неделю так раскулачат — только скелет останется. Я уж не упоминаю об авариях: врежутся друг в друга на полном ходу, сами если не в морг, так в госпиталь, а машины словно под паровым молотом побывали…

Вот вам пример, — перебил он себя.

Справа промелькнул перевернутый вверх дном легковой автомобиль, все четыре колеса были с него сняты.

— Насмотрелся я на такие, как эти, картины, и однажды меня как озарило: а что, если все брошенные водителями машины, пусть даже вдребезги разбитые, подбирать и свозить в одно место и хотя бы одну из трех склеивать? Стоит лишь толковых людей подобрать, и за месяц-другой вся бригада на свои колеса сядет, а тогда нам сам черт не брат. Посоветовался я с этим тельмановцем, ну, вы знаете, побеседовал с Тимаром и кликнул клич собирать под их знамена всех что ни на есть в бригаде автомехаников, а также слесарей и электриков, которые когда-либо в гараже работали. Машину с краном нам не торгуясь дали, кому, говорят, она до победы нужна. Еще одну Тимар у себя под боком, в Кольменаре, нашел, цемента раздобыл для пола и канав, и пошло. Помяните мое слово: к новому году, если все будет благополучно, бригаду станут называть по-новому: «Досе бригада, интернасиональ и мобиль». И мобиль, — повторил он с удовольствием. — Есть такое слово по-испански?

— По-французски есть, по-испански же не знаю.

— А нет, и не надо. Дело не в словах, а в том, что бригада будет на резиновом ходу. И первым толчком, если проанализировать, был спасенный нами не без риска маленький «опель», которым теперь пользуется Людвиг Ренн. Когда эта бонбоньерка отъездит свое, она заслуживает, чтобы там, перед церковью в Кольменар-Вьехо, ее на постаменте установили: смотрите, добрые люди, на эмбрион нашей моторизации.

— Дедушка русского флота?!

— Смейтесь, смейтесь, — не сдержал улыбки Лукач. — Все большое начинается с малого, например, мы с вами…

(Его предсказание сбылось в точности. Уже ко второй половине декабря, в результате напряженной — в две смены по двенадцать часов — работы приблизительно сорока энтузиастов, руководимых сначала Тимаром, впоследствии же, когда Тимара ранило, итальянцем Козуличем, бригада, при бесчисленных перебросках с участка на участок, обходилась без помощи централизованных автомобильных подразделений, все еще пребывавших в стадии затянувшегося формирования, а в конце года выехала через Гвадалахару на операцию в район Сигуэнсы «на своих колесах»,и вся одновременно. Но бедный Лукач! Взамен благодарного одобрения его дальновидности и деловитости, способствовавших восстановлению и вступлению в строй десятков легковых и пассажирских и до сотни грузовых автомашин, ему

приходилось выслушивать от многих снисходительные шуточки насчет того, какой он, подобно всем кавалеристам, ловкач: на всем скаку зайца голыми руками возьмет, а уж плохо стоящей машины подавно не прозевает. Повторяясь, плоские шутки незаметно преобразовались в слухи. Среди тех, кто не умел ни предвидеть, ни организовывать, а роль командира представлял себе упрощенно — командир, это который командует, — нашлись завистники, превратившие неопределенные слухи во вполне определенные сплетни: в лучшем случае Лукача обвиняли в перенесении на поля сражений Испании «сибирских партизанских замашек» или в неумении соблюдать общие интересы, а в худшем, что его неизвестно откуда взявшийся автотранспорт состоит из похищенных машин. Эта выдумка породила «подражателей». Дело дошло до того, что некие предприимчивые молодчики из Двенадцатой интербригады угнали стоявшую перед мадридским комитетом партии уникальную машину, находившуюся в личном пользовании Долорес Ибаррури!.. Даже в «Испанском дневнике» Михаила Кольцова сквозь дружелюбный тон однажды проскальзывает столь распространенное ироническое отношение к Лукачу.

> «На первом месте, конечно, хитрый генерал Лукач, — отмечает запись от 28 декабря. — Он уже отлично разобрался в незнакомой обстановке, завел себе лихих завхозов-толкачей, развил громадную деятельность. Бригада почти не выходит из боев, но Лукач нашел время организовать и оружейно-ремонтную мастерскую, и прекрасный лазарет, и швальню, и прачечную, и библиотеку, и автопарк, о размерах которого ходят легенды. Время от времени его вызывает к себе Рохо; после длительного объяснения он выходит от начальника штаба слегка взволнованный и вслух протестует, не очень, впрочем, решительно:
>
> — Раздевают, дорогой Михаиль Ефимович! Раздевают до нитки! Опять отобрали пятнадцать грузовых и три лимузина! Отобрали для других бригад, для тех, кто не заботится о себе. А нас за то, что мы о себе заботимся, нас за то наказывают. Ну что ж, Лукач честный испанский солдат, он подчиняется единому командованию.
>
> — Так ведь у вас, наверное, кое-что осталось.
>
> — Кое-что, но не больше, дорогой Михаиль Ефимович. Вы бы знали, родненький, как это все достается, каждый грузовик, каждый примус: потом,

кровью, мучением… блатом! — Глаза его светятся лукаво и по-озорному. — Дорогой Михаиль Ефимович, в комиссариате ужасно много машин, а у меня политработникам не на чем ездить. Там есть один древний «паккард» и один «фордик», так они ж там совсем ни к чему…»

Меня и по сей день восхищает талантливость, с какой переданы здесь индивидуальность интонаций и некоторые словечки Лукача, но, повторяю, даже при том, что запись, помеченная 29 декабря, в «Правде» не появлялась и, следовательно, была опубликована впервые в «Новом мире» спустя два года после гибели Лукача, даже при этом Кольцов уступил в ней «ходячим легендам» и незаметно соскользнул в фельетон. Черкнув, как это положено при изображении доки-начальника, про «лихих завхозов-толкачей» — ниже обнаружится, до чего интендант бригады сербский коммунист и бывший депутат скупщины, скрывавшийся под сказочным псевдонимом «Никита», не соответствовал приведенному штампу, — автор «Испанского дневника», позабыв упомянуть об авторемонтном заводике в Кольменар-Вьехо (о котором он знал, ибо там однажды «по блату» реставрировался его «бьюик»), перечисляет среди результатов «громадной деятельности» Лукача «и оружейно-ремонтную мастерскую, и прекрасный лазарет, и швальню, и прачечную, и библиотеку». Между тем, если передвижная оружейная мастерская была организована тем же Тимаром, а в еще большей степени его помощником по этой части французом Севилем, при активном содействии Лукача, то создание «прекрасного лазарета», а точнее, нескольких госпиталей было совершенно самостоятельной заслугой возглавившего санитарную службу бригады доктора Хейльбрунна; что же касается «швальни» и «прачечной», так их наша тогдашняя кочевая жизнь полностью исключала, во всяком случае, в масштабе бригады. Напрасно (очевидно, по основной специальности) приписана Лукачу и библиотека, о которой можно сказать одно: она оказалась бы бесполезной роскошью, так как никому из нас, от командира бригады до рядового бойца, было в тот период не до чтения книг; единственный же случай, когда у нас в штабе завелось несколько томиков последних советских изданий, относится уже к апрелю, и снабдил нас этой «библиотекой» как раз Михаил Кольцов.

Не могу я не возразить и против утверждения, что, когда «опять» у него отбирали пятнадцать грузовиков, Лукач выходил от начальника штаба фронта «слегка взволнованный» и

протестовал «не очень, впрочем, решительно». Много пришлось Лукачу поволноваться, но в эти первые полтора месяца ничто не выводило его из себя сильнее, чем разорение с такими трудами налаженного своего транспорта, и спорил он буквально до хрипоты, не столько, конечно, с самим Рохо, сколько с его ретивыми подчиненными, отстаивая каждую машину и безуспешно пытаясь доказать, что сохранение мобильности Двенадцатой интербригады необходимо вовсе не в ее интересах, но в интересах обороны Мадрида. Следует отметить, что процитированная выдержка из «Испанского дневника» относится к началу мучений Лукача на эту тему. В конце концов последовательные конфискации привели к тому, что в марте — в грозный час наступления на Гвадалахару экспедиционного корпуса Муссолини — наша бригада из-за отсутствия собственного автотранспорта опоздала к началу сражения…)

Довольно было взгляда сбоку на профиль Луиджи, чтобы понять: он не просто ведет «пежо», он выполняет миссию особой важности, доставляя на передовую командира и комиссара бригады. Едва мы, еще не выехав из Фуэнкарраля на шоссе, ведущее в Кольменар-Вьехо, повернули влево на узенькую асфальтированную дорожку, как Луиджи напустил на себя эту важность, исключающую с моей стороны какую-либо фамильярность, вроде попытки завязать разговор. Лукач и Галло тоже молчали. Бесшумно работал и мотор. За исключением тонкого пения шин, ничто не нарушало сосредоточенной тишины.

Вчера, когда мы вернулись от Тимара, в наш скворечник съехались Фриц, Галло и Белов. Сверху, кроме их голосов, доносился отвратительный запах не подгорелого даже, а окончательно сгоревшего мяса. Его доставил рыжеватый капитан Фернандо, оказавшийся комендантом штаба, то есть моим непосредственным начальством. Поскольку он был таким же Фернандо, как я Альфонсом XIII, ему, дабы перевести астматически вздыхающим старухам просьбу приготовить мясо, пришлось пригласить на второй этаж нашего — неподдельного — Фернандо. Предполагалось наготовить на всех бифштексов, но старые карги принялись с трагическими минами жарить его на раскаленной докрасна сковороде одним куском, пока не превратили в уголь. Лягутт назвал это актом саботажа, и, возможно, оно так и было, ибо через Фернандо (через настоящего) выяснилось, что одна из неудачных поварих приходится кузиной, а другая — ключницей фуэнкарральскому «курэ», как выговаривается по-испански кюре, и что это ему до того, как он неизвестно куда исчез, принадлежал со всем содержимым, включая козу и состарившихся сожительниц,

занимаемый нами домик.

— Аутодафе у них в крови, — заметил Ганев, откашливаясь, потому что окно с решеткой не открывалось и у всех першило в горле. — Теперь мы, по крайней мере, знаем, как пахли сжигаемые еретики.

Выползавший из верхней кухни и плававший в коридоре чад придавал горьковатый привкус холодному корнбифу, выданному обрюзгшим комендантом широкой рукой — по коробке на едока. Мы заливали сухомятку чернильным вином и разговаривали. По коридору, развевая сизый дым, вышагивал Орел; заметно было, что у него чесался язык вмешаться в нашу беседу, но он терпел: мне уже удалось внушить, как следует вести себя на посту.

От товарищей я узнал, что, пока мы ездили в Кольменар-Вьехо, фашистская авиация, воспользовавшись прояснением, снова бомбила Мадрид, причем обрушилась в основном на те рабочие кварталы, в которых бригада подолгу останавливалась накануне, по пути от Монтаньи. Как и в прошедшие дни и ночи, кроме фугасных бомб, была сброшена масса зажигательных, вызвавших многочисленные пожары. Капитан Фернандо, по словам Ганева, хорошо, но с легким грузинским акцентом говорящий по-русски, равнодушно сообщил, что сгорел крытый рынок с большими запасами продовольствия. Погода, к счастью, подпортилась, но гитлеровские авиаторы не зевают, и едва в тучах возникает просвет, вылетают на бомбежку несчастного города. Недавно — и это поистине окрылило мадридцев — в небе появились первые советские истребители, но пока их слишком мало. Одновременно с усилением налетов возобновились и наземные атаки. Только что прибывшая колонна каталонских анархистов, предводительствуемая полулегендарным Дуррути, который прославился в барселонских уличных боях и на арагонском фронте, не выдержала натиска марокканцев. Фашистам удалось форсировать Мансанарес и вклиниться в Университетский городок. В контратаку снова брошена Одиннадцатая…

Галло коротко произнес что-то по-итальянски, и Луиджи еще увеличил скорость. Узенькая дорожка пересекла безлюдное селение и скатилась на ровное пустынное шоссе. Вновь повернув налево, мы понеслись по нему. Справа потянулись заросли кустарника и облетевшие сады, среди них промелькнуло несколько вилл и один форменный дворец.

— Скажите Луиджи, чтоб остановился вон там впереди, под деревьями, — прервал молчание Лукач.

Мы вышли из «пежо» и начали подниматься в старый парк. Лукач и Галло быстро шагали передо мной по извилистой аллее.

Мы взобрались на округлую вершину, потом по тропинке спустились в заросшую впадину. Здесь было сумрачно, деревья смыкались над головами. Парк как вымер: хоть бы птица перелетела с ветки на ветку или кто навстречу попался. Кладбищенскую тишину нарушало лишь наше участившееся дыхание и шорох подошв. Вдруг сзади и выше нас громыхнули пушки, и снаряды, шурша, пронеслись над верхушками деревьев туда, куда мы шли. От неожиданности я даже вздрогнул, но догадался, что огонь открыла республиканская батарея. Пройдя еще немного, мы увидели спины бойцов в коричневых плащах из сырой резины; по высовывающемуся из-под них разнообразному обмундированию я узнал батальон Гарибальди.

В этот момент спереди одно за другим ударили четыре фашистских орудиями послышался вой летящих в нас гранат. Следуя вчерашнему наставлению Лукача о необходимости вести себя грамотно, я сдернул винтовку с плеча и бросился на землю. Четыре разрыва последовательно раздались где-то за нами. Я встал и, к позору моему, обнаружил, что Лукач и Галло продолжают спокойно идти в ногу и уже почти поравнялись с компактной цепью. Я бросился догонять их, но, по всей вероятности, вид у меня был при этом довольно жалкий, так как кое-кто из лежавших в цепи и видевших, как я поспешно плюхнулся на живот, рассмеялись. Лукач не обратил на это внимания, он, кажется, вообще не заметил моего позора, зато Галло с изумлением оглянулся на меня.

Кое-как перебравшись через ров, устланный прелыми листьями, я, не поднимая глаз, зашагал перед цепью следом за Лукачем и Галло. Про себя я клялся ни за что на свете больше не ложиться перед снарядами. Мне казалось, что все смотрят на меня одного, и эти иронические взгляды вызывали такое ощущение, будто они проникают сквозь кожаную куртку и щекочут спину. Пушки тем временем продолжали стрелять через нас в обе стороны.

— Артиллерийская дуэль, — определил Лукач, обернувшись ко мне. — Только она сейчас кончится, у наших снарядов нет.

И в самом деле, сначала умолкла республиканская, а за ней и фашистская батарея. Вскоре, однако, она возобновила стрельбу, но теперь разрывы слышались впереди цепи и все приближались. Среди бойцов, мимо которых мы проходили, возникло беспокойное оживление, затем с фланга передали приказание, и они переместились в ров.

Дойдя до конца его, Галло повернул обратно, он решил остаться с итальянским батальоном, а Лукач обогнул ров и направился напрямик к машине.

— Мне хочется дать вам дружеский совет, — остановился он и, когда я с ним поравнялся, взял меня за ремень винтовки. — Попробуйте поменьше заниматься собой, своим поведением, переживаниями и так далее. А то вы по неопытности попали в несколько неловкое положение и битый час себя казните. Самолюбие — это, знаете ли, вроде нарыва: чем больше напухает, тем больше дергает. Вы меня поняли?

Конечно, я понял и был бесконечно ему благодарен — он, значит, заметил мое падение, но не показал виду. Мы пошли дальше рядом. Выйдя на шоссе метрах в трехстах от «пежо», Лукач снова обратился ко мне:

— У меня есть для вас задание. Возьмите из охраны человека два, или сколько сочтете нужным, и подъезжайте сюда — грузовичок я вам найду. Подымитесь вон по той тропке. Наверху найдете площадку. Эта местность называется Кампо-дель-Поло, есть такая игра вроде крокета, но на лошадях. В глубине там будет большой дом, но туда вы не ходите. В нем стоит штаб Дуррути, но сейчас они раздражены своим поражением, и вообще среди них попадается такая вольница, — лучше держаться подальше. А вот еще повыше, в сторонке, вы увидите беленький домик с черепичной крышей. Займите его. Выставьте сразу часового и никого, кроме своих, не впускайте. Это будет наш командный пункт. Мы переселимся туда еще до вечера.

В машине Лукач заговорил о Дуррути, о том, как тяжело командир анархистов переносит неудачу колонны.

— Они все, да и он тоже, думали: стоит им появиться под Мадридом, как фашисты побегут, а вместо того — сами ходу дали. Без дисциплины толку не будет. Дуррути, видно, уже раньше это понял, раз провозгласил лозунг: «Откажемся от всего, кроме победы». Тут прямая готовность ради цели отказаться от анархистской догмы, неплохо бы и нам всем под его призывом подписаться. Боюсь, однако, что в большинстве анархисты не последуют за своим вождем. Недаром поговаривают, что их ареопаг в Барселоне недоволен Дуррути. Ни один пророк не признан в своем отечестве. А Дуррути значительная фигура: голова на плечах есть, энергичный, смелый, готовый на самопожертвование. Но ужасно самолюбив и горяч, чуть что — на стену лезет. Не человек, а взрывчатка. Я у него минут двадцать вчера провел, понаблюдал. И представьте, мне показалось, что не так уж он уверен в себе…

— А как он по отношению к вам держался?

— По-дружески. Даже лапой по плечу хватил. И одновременно настороженно: не вздумай, мол, меня учить. Все же советника от наших товарищей он, заметьте, принял. К общему

удивлению. Для него, понятно, особенного человека подобрали, горца, в масть, так сказать. Джигита, одним словом. Зовут его Ксанти. Вы, возможно, еще его увидите. Мне говорили, что когда Ксанти появился в колонне, с переводчицей, конечно… Очаровательная, должен сказать, девушка, аргентинка из Москвы… Короче, прибыл Ксанти с ней к товарищам анархистам. Дуррути на шею ему не бросился, но отнесся сравнительно вежливо, познакомил со своим окружением и ушел к себе. Смысл ясен: я веду себя лояльно, назначили тебя ко мне — ладно, прогонять не стану, но лично я в тебе не нуждаюсь. Сподвижники его тоже покрутились и разошлись. Остался Ксанти со своей Линой в одиночестве и видит, что во дворе группа анархистов собралась вокруг только что доставленных наших «максимов». Никто их, ясное дело, не знает. Ксанти туда, присел на корточки, стал показывать, объяснять, Лина честь по чести переводит. Провозился он до позднего вечера, а наутро — опять к пулеметам. Проснулся Дуррути, смотрит, а советский-то с его ребятами давно по петушкам. Он, однако, нашелся. Приближается к собравшимся, раздвигает их, обнимает Ксанти за плечи. «Видали, говорит, какого мне военного советника прислали? Дуррути плохого не дадут! Знакомьтесь поближе, это мой друг, русский анархист, ун анаркиста русо…»

В экспедицию к Кампо-дель-Поло я взял Юнина, Орела, Фернандо и Лягутта. Тарахтящий, как мотоциклетка, фургончик быстро доставил нас по продолжающему пустовать шоссе до показанной Лукачем тропинки. По ней мы гуськом взобрались на вытоптанную и порядком загаженную поляну. Слева, задами к нам, раскинулся окруженный службами обширный домина, похожий на загородный ресторан. Из него вырывались громогласные выкрики, словно там что-то не поделили. Впрочем, я уже убедился, что иногда испанцы объясняются между собой так напористо и шумно, будто вот-вот подерутся, а они, оказывается, беседуют о погоде.

Над верхней частью поляны, прямо напротив тропинки, белело между деревьями небольшое зданьице, типа охотничьего домика. Железные жалюзи на его окнах были опущены, дверь же не только распахнута, но даже сорвана с верхней петли. Войдя, мы наткнулись на полосатые матрасы, зачем-то вытащенные в переднюю, на них кто-то побросал снятые с вешалки драповые пальто с вывернутыми карманами, дождевик, сломанный зонтик, дамскую накидку, фетровую шляпу, растоптанную соломенную панаму и вязаное кашне. На полу кухни стояли стопки тарелок, кастрюли, валялись пустые винные бутылки и сброшенные с полок жестяные банки, из которых, как из рога изобилия,

высыпались перемешавшиеся, что никакой Золушке не разобрать, коричневые зерна кофе, жемчужный рис, соль, лавровый лист, мускатные орехи и толченый красный перец. Юнин, сунувшийся первым делом в кухню, неистово расчихался.

Когда Орел растворил жалюзи, мы нашли в обеих комнатах, особенно в спальной, еще больший кавардак. Как можно было догадаться, причиной его был произведенный в домике обыск. В спальной запертые на ключ дверцы шкафа были вскрыты, по всей вероятности, тесаком, а ящики комода выдвинуты и перерыты. Повсюду было разбросано постельное белье, пиджаки, платья, брюки, туфли на высоких каблуках, сиреневые комбинации, галстуки, шелковые чулки вперемешку с семейными альбомами, раздавленными патефонными пластинками, флаконами духов и старыми письмами. Возле ножки никелированной двуспальной кровати с оголенной сеткой лежал рядом с пухлыми подушками без верхних наволочек раскрывшийся бумажник с торчащей из него пачкой кредиток, часть их при падении разлетелась вместе с визитными карточками. Лягутт собрал деньги, подняв бумажник, ткнул их к другим и положил на мрамор разверстой тумбочки с фаянсовым ночным горшком на нижней полке. Освободившись от бумажника, Лягутт вторично нагнулся и подобрал с запихнутого под кровать стеганого атласного одеяла золоченый, а может быть, и золотой браслет со вделанными часиками.

— Крепко, видать, пошарили буржуев! — вдохновился Юнин. — Чисто как у нас!

Я подумал, что нет, не совсем как у нас. Если обыск производили анархисты, то манерами они мало напоминали махновцев — да и одних ли махновцев? — достаточно взглянуть на этот, в сердцах шваркнутый об пол, но не выпотрошенный кожаный бумажник с монограммой или на дамские часики. Даже по крышке пианино, как ни странно, никто прикладом не хватил.

Столовая тоже выглядела вывернутой наизнанку: стенные часы и то были сняты и положены механизмом кверху, но и они и вынутая из буфета посуда, в том числе и хрустальные бокалы, остались каким-то чудом целы.

Чтобы до прибытия Лукача привести будущий командный пункт в порядок, пора было поторапливаться. Выставив Юнина за порог с приказанием охранять прислоненные к стене винтовки, не впускать посторонних, а заодно и навесить дверь, я предложил Орелу убрать в кухне, сам же с Лягуттом и Фернандо принялся за спальную.

Орел оказался куда способнее Золушки: меньше чем через два часа он закончил кухню, и я перевел его в столовую. К этому времени спальная была почти в надлежащем состоянии — белье

разобрано и разложено по ящикам, костюмы и платья развешаны в шкафу, пыль на пианино и радиоприемнике вытерта, а бумажник и браслет спрятаны в ночной столик. Пока Фернандо дометал, мы с Лягуттом отправились за вынесенными проветриться матрасами. Выбив их ножнами тесаков, мы положили один на другой, взялись за концы, вошли в переднюю и повернули к спальной. Тут позади громко бухнуло. У меня промелькнула нелепая догадка, что это Юнин с размаху захлопнул за нами дверь, но в то же мгновенье в спальной послышался ужасающий треск и приглушенный вскрик Фернандо. Выронив матрасы, мы бросились к нему.

Комната, как дымом, была застлана облаками пыли. Покрытый ею, держа половую щетку на изготовку, стоял Фернандо, нижняя челюсть его отвалилась, отчего стала видна раздвоенная верхняя губа, а выпученные глаза были устремлены на пустую кровать, будто он видел там гремучую змею. Над кроватью зияла в потолке рваная дыра со свисавшими краями. Только что подметенный пол был устлан щебенкой. Я повернул голову, к кровати, и во рту у меня сразу пересохло.

На чуть покачивающихся еще пружинах лежал острием на нас и без стакана длинный мелкокалиберный снаряд, смахивавший на увеличенную во сто крат пулю. С секунды на секунду он должен был взорваться!…

Продолжая выставлять щетку перед собой, Фернандо начал медленно пятиться, а Лягутт, потянув меня за хлястик кожанки, одними губами прошелестел совет «не делать идиота». Его испуганный шепот нарушил оцепенение. Затопотав, как кони по настилу конюшни и так же шумно дыша, мы все трое рванулись к двери.

Снаружи вторично бухнуло, и сейчас же, совсем близко за стеной, так что в столовой посыпались оконные стекла, лопнула граната. Налетев в передней на Орела, я метнулся к выходу, но, по счастью, запнулся о матрасы и благодаря этому не выскочил вон раньше своих подчиненных. Невидимая, но, судя по звуку, очень близкая пушечка тем временем снова выстрелила, над нами взвизгнуло, и за домом разорвался еще один снаряд. Новый выстрел: визг, удар, и с крыши во всех направлениях загудела черепица, а внутри страшно ухнуло, однако мы уже расхватали винтовки и длинными скачками подобно кенгуру пересекали поляну, но на сей раз я более или менее сознательно был последним. Впереди и правее меня часто перебирал короткими ногами и, казалось, заложив уши, удирал Юнин, остальные уже достигали заветной тропинки, хотя зловредное орудие било именно с той стороны.

До спасительного спуска оставалось немного, когда оно выхлопнуло мне прямо навстречу. Позабыв об утренней клятве, я мгновенно растянулся, но раньше, чем успел положить голову, меня словно тяжелой подушкой хватило по лицу, и глазам сделалось нестерпимо больно. Полуоглушенный, я ничего не соображал, пока вернувшиеся назад Лягутт и Юнин, подхватив под руки, уволакивали меня с поляны. Перетащив через гребень, они приткнули мое инертное тело на склоне, но понадобилось еще какое-то время, чтобы я смог улавливать смысл довольно бессвязного лягуттовского монолога и непечатных российских вставок в него Юнина. Оба, по их словам, ясно видели, что последний из выпущенных по нас снарядиков взметнул почву чуть ли не в двух метрах передо мной, и справедливо сочли мою песенку спетой, но, как и первый, упавший на пружинную сетку, он не разорвался.

Прополоскав запорошенные глаза водой из фляги, умыв лицо и вытряхнув землю из рукавов, я словно издали слушал, как товарищи ахали по поводу меня и Фернандо, восторгаясь чертовским нашим везением — ведь если б первая и последняя гранаты разорвались подобно прочим пяти или шести, и от него и от меня вряд ли бы много осталось.

Спустившись к шоссе, мы еще долго лежали в кювете, задрав на асфальт ботинки, покуривали и молчали, с деланным равнодушием ловя ухом не столь уж отдаленное постукиванье винтовок и пулеметные речитативы влево от нас. Наконец вместо поджидаемого серого «пежо» показался доставивший нас грузовичок. Рядом с шофером восседал Мориц: еще на расстоянии я узнал жест, каким он поправлял сползающие очки.

Не успела машина остановиться, как проворный старикан спрыгнул и на согнутых ногах засуетился вокруг кузова, по-немецки подгоняя замешкавшихся бойцов. Кроме остававшихся в резерве Ганева, Гурского и Казимира я не без удивления узрел не очень-то возвышавшихся над бортом четырех недорослей из бывшего моего отделения в их числе — обоих дружков Орела. Повинуясь окрикам Морица, они хотели было начинать выгрузку каких-то деревянных ящичков и мотков провода, но я вмешался, причем мое предположение, что старый Мориц по-французски ни бум-бум, подтвердилось, и, чтобы объясниться с ним, пришлось прибегнуть к посредничеству Орела.

— И откуда они, черт бы их душу подрал, могли вас усмотреть, когда домишко этот ниоткуда, если не считать клуба анархистов, не просматривается? — недоумевал Лукач, сидя с Беловым по краям дубового стола, величиной с бильярдный, в занятой под командный пункт вилле из трех комнат с верандой,

выходящей на мутную речку. — По карте стреляли? Но тогда они долбанули бы в первую очередь по большому дому, где штаб, а не по этой несчастной избушке на курьих ножках. Загадка, неразрешимая загадка!.. А здесь мне не нравится. Очень даже не нравится. Не сегодня завтра, помяните мое слово, нас тут авиация накроет. Придет мост бомбить, в него, ясное дело, не попадет, а сюда как пить дать и влепит.

Белов поднял орлиный нос от карты.

— Так-то оно так, да ничего другого поблизости нету.

Я сидел между ними на табурете, напротив окна, вернее, против подвешенной над столом на цепях массивной бронзовой лампы, и только что обстоятельно доложил, почему не смог выполнить распоряжение командира бригады. Говоря, я чувствовал на себе изучающий взгляд Белова.

— Чего еще понять не могу, — не успокаивался Лукач, — откуда и зачем у них здесь, мать их перемать, мелкокалиберные пушки? Если, конечно, товарищ не ошибается… — Он повернул лицо ко мне. — Вы позволите называть вас просто Алешей? Не возражаете? Ну и хорошо. Не люблю официальщины… Так вот, если верить Алеше, неразорвавшийся снаряд был, как он говорит, «маленький», а выстрелы напоминали ему те, что он слышал в Серро-де-лос-Дьяволос. Выходит: или у фашистов где-то поблизости легкая горная батарея — но тогда почему лишь одно орудие стреляло? — или пушечные танки появились… Беспокойно.

Белов сдержанно возразил, что батарея могла стрелять поорудийно, но вообще история действительно странная. Впечатление такое, словно артиллерийский наблюдатель фашистов рядом прятался.

В это время кто-то сильно стукнул в окно, по лампе брякнуло, и в стол передо мной вонзилась согнувшаяся пополам пуля. Белов, осторожно потрогав, взял ее.

— Еще теплая. Тебе предназначалась, — его большие блестящие глаза встретились с моими. — Если б не лампа… Прет тебе сегодня, товарищ начальник охраны. На, сохрани на память.

Лукач встал, подошел к окну, прикоснулся к дырке в стекле и грубо выругался. Я сунул похожую на крохотный бумеранг пулю в нагрудный карман, но палец встретил другую, выпавшую из моего вещевого мешка, про которую я успел забыть. Секунда пролетела в молчании. Лишь из соседней комнаты, где окруженный «дробязгом» Мориц колдовал над деревянными ящиками, заключавшими в себе полевые телефонные аппараты, доносилась непрерывная старческая воркотня. Я извлек на свет Божий обе пули. Второй сувенир явно снижал цену первому, и

наоборот. Форменная девальвация. И потом, если так будет продолжаться, их скоро наберется полный карман, а бедному Фернандо, тому придется всюду таскать с собой целую гранату. В конце концов я не коллекционер…

— Алеша, — твердо заговорил Лукач от окна. — Через шоссе, может, видели, имеется сторожка. Пойдите с кем-нибудь еще туда и срочно наведите в ней порядок. Отсюда перенесите самое необходимое, стол, предположим, стулья. Командный пункт будет там.

— Тесновато не получится? — усомнился Белов.

— В братской могиле получится еще тесноватее, — отрезал Лукач. — Выполняйте, прошу вас.

Выбежав под холодный мелкий дождь, я зашвырнул обе пули в кусты. Сразу за виллой шоссе брало вправо на бетонный мост, последний к северу от Мадрида мост через Мансанарес. Белов показывал его на карте, называл Пуэнте-де-сан-Фернандо, и я был шокирован, узнав, что мелкая грязная речонка, через которую он перекинут, и есть Мансанарес. Поскольку следующий мост, Пуэнте-де-лос-Франсесес, уже находился в руках франкистов, наш, на всякий случай, охраняла рота батальона Гарибальди. Продрогшие и даже промокшие в своих каучуковых, но без капюшонов балахонах, люди прятались под деревьями или сидели на самом мосту, спинами к парапету, укрывавшему от долетавших порой досюда пуль.

Метрах в ста против виллы вжималась в лесистый холм каменная будка дорожного сторожа. Она состояла всего из одной комнаты и коридорчика, ведущего в кладовую с инструментами. Обстановки не было никакой, за исключением закрывавшего всю главную стенку черного двухэтажного буфета с колонками, напоминавшего катафалк. Единственное окошко выходило на мост. До нас здесь уже побывали постояльцы, так как пол был покрыт ковром из утрамбованного и потерявшего аромат сена. Многоспальная эта постель сократилась, к сожалению, вдвое, когда мы перетащили сюда дубовый стол и полдюжины стульев.

Дождь монотонно барабанил по крыше. В такую погоду смеркалось непредвиденно рано, и еще не освоенный командный пункт быстро погружался в темноту, но, заглянув ненароком в кладовую, я нашел на полке железнодорожный фонарь с закопченной слюдой и нераспечатанную пачку стеариновых свечей — можно устроить настоящую иллюминацию. Но старый Мориц предупредил меня. Что-то осуждающе бормоча, он водрузил на стол фарфоровую керосиновую лампу, вынутую из защитившего меня бронзового сооружения. Бестрепетное пламя разогнало сгустившиеся по углам тени и осветило возлежавших

на сене телефонистов и моих товарищей из охраны.

Лукач, оперев подбородок о сплетенные кисти рук, не мигая смотрел на белый над фитилем огонь. Белов подсел к командиру бригады, развернул карту и по ней приступил к осторожным расспросам.

Мне пора было сменять часовых, и я повел к двери заранее подготовившегося Лягутта, повязавшего кашне поверх поднятого ворота своего резинового пальто с уже оторвавшейся полой, — именно за непрочность бойцы метко окрестили эти каучуковые одеяния презервативами.

Когда я возвращался с Казимиром, на котором сухой нитки не осталось, — на него, так же как на Гурского и Ганева, подходящего размера «презерватива» не нашлось, — лицо Лукача выразило неподдельное страдание, я было подумал, что у него заболели зубы.

— Полюбуйся, Белов, полюбуйся на утопленника! А вся бригада находится под дождем не два часа, как наш караульный, но вдвое дольше и проведет так всю ночь, если этот проклятый потоп не прекратится. Повальный грипп обеспечен.

Белов рассудительно ответил, что часовой был без плаща, а те, кто в строю, их получили, плащи же не промокают. Лукач повернулся ко мне.

— Скажите, вас не заинтересовало, что спрятано в каморке, там, в глубине коридора?

— Так точно, товарищ комбриг, заинтересовало.

— Значит, мы с вами одного поля ягоды: оба любопытные, как старые бабы. Ничего, на войне это полезное свойство… Ну, и что же вы там интересное видели?

— Кроме свечек, ничего: тачку какую-то, грабли, лопаты, кирки…

Он отцепил от пояса цилиндрической формы электрический фонарик с раструбом на конце.

— Возьмите-ка, я хочу попросить вас сходить к Людвигу Ренну, а по пути придется между деревьями пробираться, обдеретесь в темноте об сучья. Где ночует батальон Тельмана, вы, конечно, не изволите знать? Тогда слушайте внимательно. Отсюда пойдете прямо, не сворачивая, на мост. Как его минуете, начнется парк. В нем сразу же, по вашу правую руку, будут вдоль берега гарибальдийцы… За них я спокоен, — как бы в скобках поделился он с Беловым, — Галло сам с ними мокнет… Старайтесь, однако, вправо не забирать, держитесь дороги, и там, где она влево возьмет, набредете на тельмановцев. Явитесь к Людвигу Ренну и вежливенько попросите приехать ко мне, скажите, что я для него нечто интересное тут нашел. Но если он

спит, не будите. Пусть ему, когда проснется, передадут, что у Лукача припасено для него некоторое количество землекопательных орудий. А то он давно не высыпается, да еще болен. Мы все обязаны Людвига Ренна беречь, он же потом такую книгу про Испанию напишет — пальчики оближете. Не надо забывать, что он как-никак старше нас всех и столько перенес. Заметили, у него палец сломан? Это эсэсовцы — на допросах. Неужели не замечали? Когда он честь кулаком отдает, видно, что средний палец совсем не сгибается — торчит, будто Ренн рожки показывает…

Моросить не переставало. На мосту, насколько удалось рассмотреть в сыром мраке, никого уже не было, должно быть, охранявшая его рота спряталась от дождя в освободившейся вилле. Там, где начинался парк, я наткнулся на ограду, но, не зажигая фонарика, определил, что чуть левее в ней есть проезд. Зато под высокими деревьями сделалось до того темно, что пришлось светить себе под ноги. По заглушаемому дождем невнятному шевелению угадывалось присутствие справа множества людей.

— Хотел бы я знать, что этот тип тут потерял и теперь ищет с фонарем? — послышался неожиданно близкий простуженный голос, плохо выговаривавший по-французски.

— Не догадываешься? Сухого места, — ответил невидимый остряк.

Стрельба впереди продолжалась, но с наступлением вечера ослабела — вместо прежнего слитного треска, как от гигантского костра, сейчас хорошо различались отдельные выстрелы. Пули то и дело щелкали по сторонам от меня. Почему-то в темноте пустого парка это производило еще большее впечатление, чем днем под оливами.

Людвига Ренна я нашел в грязной халупе без дверей и оконных рам. Он, откинувшись спиной в угол, полулежал на соломе, нескончаемые ноги были покрыты канадкой. Рядом, на бочонке, заслоненная от сквозняка кровельным листом, чуть коптила керосиновая лампочка без стекла. Отовсюду несся храп. Среди немногих бодрствовавших возле Ренна я увидел батальонного комиссара Рихарда. У Людвига Ренна был вид тяжело больного, он натужно кашлял, а сверх того надорвал голосовые связки и мог распоряжаться лишь шепотом. Врывавшийся в грубоватые разговоры его подчиненных этот театральный шепот звучал почти трагически.

Мой бывший командир, естественно, не узнал меня — мало ли не нюхавших пороху бойцов подбегало к нему в первом бою, — сообщением же о лопатах и кирках дорожного сторожа остался

очень доволен и даже улыбнулся, довольно, впрочем, страдальчески, однако немедленно ехать за ними отказался, сославшись на болезненное состояние и попросив извиниться перед генералом Лукачем, рано утром попутная машина не преминет забрать эти саперные инструменты.

— Qui vive? — грозно выкрикнул навстречу Лягутт, когда я с лицом, залитым водою, и промокшими коленями подходил к сторожке.

Раньше, чем я успел отозваться, нервное французское «кто идет?» повторилось, подкрепленное лязгнувшим во мраке затвором. В качестве респонсабля по этой части, я имел право испытывать известное удовлетворение, — командный пункт охранялся.

Внутри его все, включая и неугомонного ворчуна Морица, уже спали вповалку. Только Лукач и Белов негромко беседовали. Допуская, что обмен мнениями между ними мог не предназначаться для посторонних ушей, я под всякими предлогами неоднократно выходил под дождь и все же невольно улавливал отрывки разговора. Оказывается, Марти ошибся, он не имел никакого права назначать Фрица начальником штаба нашей бригады, так как Фриц прибыл не «по коминтерновской линии», а «по линии РККА» (получалось, к великому моему изумлению, что граждане СССР делятся на различные категории, поскольку приезжают в Испанию по разным «линиям»). Тут, в Мадриде, это разъяснилось, и его хотели у нас забрать, но Лукач сумел настоять, чтобы Фрица определили к нему советником. Здесь в разговоре наступила пауза, а я сравнительно надолго отлучился, выводя Орела на смену Лягутту, и пока последний, закинув в кладовку свою резину, с которой стекало, как с зонтика, вжимался в местечко, пригретое Орелом, молчание за столом продолжалось. Лукач, наклонив голову, как будто вслушивался в выбиваемый им ногтями по дубовой доске излюбленный барабанный марш российской пехоты про легендарную бабу, испражняющуюся перцем, луком и табаком. Завершив последние такты рассыпчатой дробью, Лукач шлепнул по столу ладонью и принялся высказывать Белову возмущение равнодушием и прямо-таки патологической ленью коменданта штаба. Сердито назвав заплывшего жиром капитана Фернандо «спящим красавцем», Лукач прибавил, что, если так будет продолжаться, он вынужден будет расстаться с этим «обломком обломовщины».

Мне покачалось странным, почему, когда речь зашла о Фернандо, в глазах Белова появилось сконфуженное, даже виноватое выражение, словно этот мало симпатичный Фернандо его ближайший родственник. Мало того, Белов взялся возражать

явно довольному своим каламбуром Лукачу, но содержание его не слишком, надо признать, решительных возражений, осталось мне неизвестным: с шоссе донеслось трещание мотоцикла, затем за дверью зазвучали саксофонные рулады Орела, и я выбежал на шум.

В двух шагах от ругавшегося часового, слепя его фарой, работал на холостом ходу окутанный вонючим дымом мотоцикл, за ним проступал приземистый силуэт легковой машины. И мотоциклист и Орел исступленно орали — Орел по-французски, мотоциклист по-испански, — причем оба не только не понимали, но и не слышали один другого, ибо мощный мотоцикл продолжал греметь впору и станковому пулемету.

Моего вмешательства было достаточно, чтобы заставить Орела закрыть рот. Увидев это, умолк и мотоциклист, а главное выключил и гром и молнию. Тогда из невидимого «пежо» неторопливо выбрался Луиджи и объяснил, что он приехал за командиром бригады по его приказанию, а мотоциклиста надо пропустить, мотоциклист должен остаться в распоряжении начальника штаба для связи.

Пока я делал логический вывод, что взамен Фрица начальником штаба назначен Белов, маленький, как жокей, мотоциклист, зашитый в лакированную кожу и в кожаном картузе, слез со своего трескучего скакуна, подкатил его к стенке, поднял автомобильные очки на лоб и, пошатываясь от усталости, двинулся в сторожку.

Внутри стало видно, что от высоких шнурованных ботинок до козырька он весь заляпан грязью, лишь на месте очков болели большие круги. Не проронив ни звука, он растолкал дрыхнувших телефонистов и бочком примостился на открывшейся между ними полоске сена.

Лукач, пожав вставшему Белову руку, взял палку, сумку и направился к выходу. Я сопровождал его. Садясь рядом с Луиджи, он пожелал мне спокойной ночи. «Пежо» круто развернулся и скрылся в темноте.

Возвратившись в помещение, где к прежним запахам мокрой одежды, металла и табачного дыма примешивался исходящий от мотоциклиста душок вымытых в бензине лайковых перчаток, я заметил, что посапыванье и похрапыванье, однообразно пилящие спертый воздух, заразительно подействовали на оставшегося в одиночестве Белова. Он, что называется, клевал носом. Собственно, выражение «клевал носом» к Белову не очень-то подходило. Правильнее было б сказать, что он сует свой большой нос в отвороты полушубка, как засыпающая птица, старающаяся спрятать клюв в перья на зобу.

На мои шаги Белов встрепенулся, глянул на меня покрасневшими глазами, перевел их на пламя горелки, пошарил портсигар и закурил, но уже через минуту рука с дымящейся меж пальцев сигаретой соскользнула со стола, горбатый нос уткнулся в воротник, и Белов всхрапнул. Собственный храп пробудил его, он испуганно вздернул голову, поднес сигарету к губам, выпустил дым, и все опять началось сначала.

Смотря на Белова, мучился и я, моментами и у меня слипались веки, но мне было несравнимо легче: возложенные на меня обязанности отвлекали от обессиливающей дремоты. Одно уж то, что каждые полчаса я выходил проверить, не засыпает ли Орел. Близилась и смена караула, а следовательно, скоро придется поднимать подчаска, чтоб он успел прийти в себя. Очередь была Ганева, и я заранее беспокоился, как-то он выстоит без плаща свои два часа. К счастью, дождь начал слабеть, а там и вовсе прекратился, так что я с легким сердцем разбудил самого, пожалуй, мне сейчас близкого человека.

Орел, сменившись, выкурил в несколько жадных затяжек предложенную ему сигарету и отправился досыпать, а мы с Ганевым безмолвно постояли рядом, прислушиваясь к шепоту листьев и падению крупных капель. Тишину ночи изредка нарушали далекие, но гулкие выстрелы. Постояв у входа, пока привыкли глаза, Ганев отошел и прислонился к дереву, лицом в сторону фронта.

Из домика вышел Белов, прокашлялся, спросил вполголоса, все ли в порядке, послушал выстрелы и сказал:

— Давай пройдемся немного, чтобы сонливость развеять.

Мы пересекли шоссе и подошли к мосту. Здесь, вдоль русла Мансанареса, дул холодный влажный ветер, шумевший подальше в вершинах парка. Хотя дождь перестал, в небе не было ни звездочки.

— Кто это, внушительный такой, у тебя на часах? — заинтересовался Белов.

— Товарищ мой. Тоже русский. Из парижского Союза возвращения. Ганев по фамилии.

— Ганев? — оживился Белов. — Это ж болгарская фамилия.

— Он и есть из болгарских колонистов, откуда-то на юге, только обрусевший.

— А по-болгарски, не знаешь, говорит?

Мало, что я не знал, говорит ли Ганев по-болгарски, но и понять не мог, зачем это могло понадобиться Белову. Вероятно, в моем ответе проскользнул оттенок недоумения, потому что Белов пояснил:

— Я ведь сам болгарин.

Вон оно что. А я, невзирая на отсутствие и тени акцента, решил по наружности, что Белов откуда-нибудь из Баку. Теперь я высказался в том смысле, что он, конечно, тоже не из настоящих, а из обрусевших болгар, и услышал короткий смешок.

— Ошибаешься. Самый настоящий болгарский болгарин.

— Но ты так говоришь…

— Ничего удивительного, я уже больше десятка лет в Советском Союзе.

Сделав несколько шагов по ту сторону моста, Белов остановился.

— Повернем-ка. Эта часть Коруньского шоссе в наших руках, но где-то тут, возле реки, фашисты довольно близко к нему подходят, а где именно и насколько, я не знаю, на мою карту обстановка еще не нанесена.

Мы прохаживались по мосту взад и вперед. Время от времени, дребезжа, как гитарная струна, темноту просверливала излетная пуля, иногда она, булькнув; падала в воду.

Белов расспрашивал, когда и как я попал в Париж и вообще в эмиграцию, где учился, кем работал, состою ли и партии, и очень внимательно выслушивал меня.

— Себя я и вообразить беспартийным не могу, и неудивительно: скоро минет двадцать лет, как я вступил в партию, — заметил он после того, как я попытался — в который раз — объяснить, почему, считая себя коммунистом, я не «организован», как в сходных случаях выражаются французские рабочие. — А семья есть? — после некоторого молчания задал Белов новый вопрос.

Я отвечал, что нет, что друзей и приятелей у меня немало, есть и женщина, которую я люблю, но она жена другого, и что, собственно, всю жизнь я один, с тех еще пор, когда десяти лет потерял мать и остался на попечении отчима, который и вывез меня за границу, а там отправил из Константинополя в кадетский корпус и даже писать перестал…

Белов вздохнул.

— А я вот жену молодую оставил с двумя детьми. Дочь, она постарше, кое-что уже понимает, а сын совсем малыш, — голос Белова дрогнул. — Прощался я с ним с сонным, он и того не сообразил, что я надолго уезжаю. Ни за что ему не догадаться, где я.

— Отчего же было не сказать?

— Как можно. Жене не полагается, а ты — детям.

В моей голове это не умещалось. Я вновь убеждался, что конспирация а-ля Вася Ковалев (не он ее изобрел, понятно, и я прибегаю к его имени лишь как к символу) выше моего

разумения. Ну ладно, здесь, в капиталистическом мире, — допустим, но зачем, спрашивается, устраивать игру в прятки в Москве и проявлять столько бессмысленной жестокости, столько неуважения к нормальным человеческим чувствам?..

В парапет ударилась шальная пуля.

Я, дойдя до конца, больше не поворачивался кругом, как прежде, а заходил плечом, чтобы постоянно находиться ближе к фашистам. Уж если в одного из нас случайно попадет, пусть лучше в меня: после Белова останутся сироты, и он целых двадцать лет в Болгарской компартии, может быть, и с Димитровым знаком…

(Надеюсь, предыдущие строки не будут неправильно истолкованы. Отлично помню, что уважение к Белову, с его партийным стажем, и жалость к его детям — мне довелось самому испытать всю горечь сиротской доли — заставляли меня каждый раз переходить на ту сторону, откуда изредка прилетали пули фашистов. Тому минуло тридцать лет. Склонный к самопожертвованию молодой человек, от чьего имени ведется повествование, имеет ко мне сегодняшнему весьма отдаленное отношение, и я смотрю на него не иначе, чем любой автор на своего литературного героя, главное же — эта залежавшаяся в памяти мелкая подробность приводится здесь не для его характеристики, а чтобы показать, какими мы все были тогда…)

Лукач, по обыкновению идеально выбритый и распространяющий благоухание одеколона, подъехал незадолго до рассвета и порадовал нас с Беловым заверением, что скоро подвезут пищу на всех, а пока предложил для подкрепления хлебнуть из термоса горячего кофе; остатки его командир бригады вынес продрогшему в карауле Юнину.

В разгар всеобщего завтрака, доставленного грузовичком и состоявшего из хлеба, корнбифа и холодного лилового вина, к сторожке подлетел еще один гремучий мотоцикл. Он привез запечатанный сургучом пакет на имя Лукача, который, вскрыв конверт перочинным ножиком и посмотрев на официального вида бумагу, протянул ее мне:

— По-французски. Переведите, пожалуйста.

— Командир интернациональных бригад генерал Эмиль Клебер, — начал я, — командиру Двенадцатой интернациональной бригады генералу Паулю Лукачу…

— Неточно переводите, — прервал Лукач. — Клебер командир Одиннадцатой, да еще этим сектором командует.

— Никак нет, совершенно точно. Остальное напечатано на машинке, но en-tête, заголовок то есть, сделан в типографии:

«Командир интернациональных бригад»…

— Покажите, — дернул Лукач к себе бланк.

Я показал ему все три признака множественного числа в клеберовском титуле, внутренне удивляясь неосведомленности нашего комбрига, когда это в иллюстрированных журналах и то пропечатано.

— Ладно. Продолжайте. В чем там дело? — хмуро уступил Лукач.

Приказ, собственноручно подписанный Клебером (печатные буквы перед подписью снова недвусмысленно напоминали, что он командует всеми интербригадами), предлагал неотложно приступить к смене Одиннадцатой, «истомленной до предела десятисуточными непрерывными атаками неприятеля на прикрываемом ею решающем направлении». В приказе предусматривались и подробности предстоящего передвижения: батальону Андре Марти предписывалось сменить занимавший позиции в Университетском городке, на левом фланге отводимого нам участка, батальона «Парижской коммуны», тоже французский, батальон Тельмана сменял находившийся в центре батальон Эдгара Андре, а батальон Гарибальди заступал на правом фланге батальон Домбровского.

— Да пошел он к чертовой бабушке! — взорвался Лукач, не дослушав конца приказа, где указывалось, с кем и когда обязаны вступить в связь командиры фланговых батальонов по прибытии «в первую линию». — Это ж придумать надо: сменяться днем, когда там не то что ходов сообщения, а и окопов нету. Неясно, что ли, Клеберу, к чему оно приведет? Да фашисты последними ослами будут, если не воспользуются нашей дуростью и не ударят во время смены. Потеряем и позиции и уйму людей, и нас же обвинит, чтоб ему ни дна ни покрышки!.. — И, дав волю негодованию, Лукач ударил по столу и заключил свою тираду витиеватым словосочетанием.

Дверь открылась, и порог переступил Галло. Хотя я видел его не позже, чем вчера утром, мне почудилось, будто он еще похудел. Может быть, это впечатление возникало потому, что за истекшие сутки впалые его щеки окончательно заросли черной шерстью, вплоть до лихорадочно блестевших глаз. Одновременно мне показалось, что смысл непечатной фиоритуры Лукача, по меньшей мере, частично доступен Галло, ибо его потрескавшиеся губы тронула усмешка.

Увидев комиссара бригады, Лукач вскочил.

— Вот, товарищ Галло, полюбуйся, какой я получил дурацкий приказ.

Густые брови Галло взлетели, и я догадался, что он не только

достаточно понимает по-русски, но и не очень одобряет, во всяком случае в широкой аудитории, такое прилагательное, как «дурацкий» в применении к спущенному сверху приказу. Не возразив, однако, ни словом, он взял бумагу тонкими длинными пальцами и принялся читать, причем брови его не опустились.

Вошедший с ним небрежно носивший форму человек с нервным лицом и быстрым взглядом заговорил с Лукачем по-немецки такой певуче-картавой скороговоркой, что я не улавливал ни слова.

— Servus, Gustav, — ласково приветствовал его Лукач. — Wie geht's?

Галло закончил чтение и вернул ему приказ, лишь теперь брови нашего комиссара стали на место.

— Ну, что скажешь? — спросил у него Лукач, передавая бланк тому, кого назвал Густавом. — Согласись, что глупость, и глупость, граничащая с преступлением. А кроме того, кто это дал ему право, после того как он сбросил ответственность за свою потрепанную в боях Одиннадцатую на шею Ганса, называть себя командиром интербригад вообще?

Галло не отвечал. Он окинул взором склоненные над едой головы охраны и телефонистов, задержав его на выделявшейся сединой маленькой, с оттопыренными ушами, вихрастой головке Морица, и вполголоса бросил французскую фразу Густаву, очевидно, тому самому своему помощнику, о котором рассказывал Ганев, что он немецкий писатель и что ему было поручено успокоить «забузивший» после Серро-де-лос-Анхелеса батальон Андре Марти.

Так же тихо переведя для Лукача сказанное комиссаром бригады на немецкий, Густав шутливо предложил согнутую калачиком руку Белову и повлек его к выходу, Галло и Лукач последовали за ними.

— Покушаете, уберите хорошенько за собой, товарищи, — проходя сказал Лукач, — чтоб было где карту расстелить. И ставню с окошка снимите, давно светло.

Вернулись они минут через двадцать, развернули карту и, водя по ней пальцами, еще посовещались. По долетавшим до меня то русским, то французским, а то и доступным немецким словам я догадался, что главным аргументом Галло, убедившим Лукача действовать, было напоминание об ужасных потерях и бесконечной, усталости Одиннадцатой бригады, проведшей в своем первом сражении не один день, как мы, но полные девять суток с одной ночью перерыва.

Положив блокнот на карту, Лукач набросал распоряжение Людвигу Ренну, оторвал и вручил приехавшему вместе с

завтраком коренастому некрасивому и мрачному немцу Кригеру, обладавшему тем самым бесформенным широким и мягким носом, о каких в России говорят: «нос картошкой». Я заметил этот отечественный нос еще в штабном автобусе, где Кригер вел себя тише воды ниже травы, а сейчас выяснилось, что он ни больше ни меньше, как начальник разведывательного отдела бригады. С Лукачем он почему-то предпочитал объясняться не по-немецки, а на сквернейшем русском, причем акцент этого немца скорее всего напоминал финский, знакомый мне с детских лет по катанию на вейках в петроградскую масленицу. Еще одной особенностью Кригера был его бас, почти столь же низкий, что у Клоди, но у Клоди он звучал музыкально — настоящий бас профундо, — а голос Кригера походил на медвежье ворчанье и порой по-отрочески ломался.

Галло решил отправиться в итальянский батальон самолично и тут же написал распоряжение его командиру, Лукачу осталось только расписаться, а во франко-бельгийский «по принадлежности», как высказался Белов, шел Густав. Фамилия его была Реглер. В свое время она встречалась в газетах в связи с саарским плебисцитом, а незадолго до отъезда из Парижа я где-то прочел, что немецкий писатель-антифашист Густав Реглер совместно с Арагоном и Эльзой Триоле доставили в Мадрид купленную на собранные деньги среди левых литераторов агитмашину.

— А тебя, мой дорогой, я попрошу, и даже не попрошу, а молю Христом-богом, хоть это уже и не твоя прямая забота, — положил Лукач руку на руку Белова, — доведи начатое дело до конца: бери мою машину и обеспечь, чтоб Клаус самое позднее через два часа был с батареей здесь. Выбери с ним позицию, и если он до середины дня не установит орудия и не будет готов к стрельбе, я с него, с живого, шкуру спущу, какой он ни на есть хороший мужик. Так и предупреди.

Оставшись за столом в одиночестве, Лукач долго и сосредоточенно писал, перечел написанное, вложил в конверт и, послюнив мизинцем края, заклеил. Потом коротко поговорил с Морицем, и тот повел из сторожки своих сгорбившихся под тяжестью катушек с проводом четырех лилипутов и присоединившегося к ним, тоже с катушкой на спине, Орела, виновато покосившегося на меня.

— С этим рыженьким вам придется расстаться, — объявил Лукач. — Управитесь и с шестью. Связь самое для нас важное, а он туда просился, да и начальник связи настаивает, по его словам, парень этот прямо полиглот какой-то, пять языков знает.

Я прикинул в уме: польский — раз, французский — два, кое-

как немецкий, даже если посчитать идиш четвертым, пять никак не получается…

— Будите мотоциклиста, бедняга опять заснул. Пусть заводит, и дуйте в штаб сектора, он знает, — прекратил Лукач мои бесплодные подсчеты. — Это большой дом с оградой, ближе к Эль-Пардо, по левой стороне. Опознаете по скоплению машин. Ставни на окнах, обращенных к неприятелю, для маскировки заперты, дом, мол, пустует, а штук двадцать машин постоянно у ворот торчат, дразнят вражескую авиацию… Пакет этот отдадите лично генералу Клеберу, в собственные, как говорится, руки. Держитесь с ним как можно более подтянуто, впрочем, вы умеете. Что там в конверте, вообще-то, вам знать не по должности, но лучше я в двух словах все расскажу, а то вдруг вопрос какой, и вы по неосведомленности и сами впросак попадете, и меня в ложное положение поставите. Между нами говоря, я доношу генералу Клеберу, что приступил к исполнению его приказа о смене. Однако при этом отмечаю, что, во избежание лишних потерь, правильнее было бы произвести ее прошедшей или будущей ночью. Еще я оговариваюсь, что в случае эвентуальной атаки неприятеля в момент нашего выхода на рубежи, занимаемые вверенной ему, генералу Клеберу, Одиннадцатой интербригадой, и особенно в момент ее отхода, заранее снимаю с себя ответственность за неизбежные тяжелые последствия. Сверх всего я настаиваю, чтобы командование сектора немедленно выделило нам ручных гранат из расчета хотя бы по одной на брата, иначе две тысячи штук, а также обеспечило нашу батарею снарядами.

Могучий «харлей-давидсон» тарахтел так, что у фашистов было слышно, и нетерпеливо дрожал, словно собака перед охотой. Второго седла на нем не было, и мне пришлось, сняв шапку и просунув голову под ремень, надеть винтовку поперек спины, как кавалеристы носят карабины, и усесться на железный багажник, причем подошвы опереть было не на что, и они повисли в воздухе. Мотоциклист, оказавшийся при ближайшем рассмотрении немолодым, опустил ремешок фуражки на подбородок, повернул ко мне морщинистое лицо и жестом потребовал, чтоб я покрепче обхватил его вокруг туловища. Едва я сцепил пальцы, как он надвинул очки и рванул. От ураганного встречного ветра у меня потекли слезы, да и дышать на такой скорости было почти невозможно; согнувшись в три погибели, я старался укрыться за тщедушной кожаной спиной, пока, извергая треск, вонь и пламя, наш болид пожирал километры. Беспокоился я об одном: как бы не зацепиться за шоссе ботинками, но скоро убедился, что есть худшая опасность: на одной выбоине меня подкинуло по меньшей мере на полметра, и около секунды все

мои счеты с этим миром держались на кончиках пальцев, судорожно впившихся во впалый живот моторизованного жокея. К счастью, и они, и его живот выдержали, и я с размаху опустился на решетку багажника, больно прикусив язык и чудом не потеряв головного убора, но тут «харлей-давидсон» сбавил скорость, описал полукруг, во время которого мотоциклист отставил левую ногу, и мимо сбившихся в кучу легковых машин подкатил к воротам настоящего палаццо.

Надев шапку и с трудом переставляя ослабевшие от перенапряжения ноги, я прошел во двор и направился к подъезду, но милисианос, стоявший на ступеньке, не пропустил меня, а нажал кнопку. Вот где порядки, одобрил я про себя, конечно же так приличнее вызывать начальника караула, чем истошным криком.

Перед начальником караула, испанским юношей с забинтованной головой и серебряной звездочкой над левым нагрудным карманом, означавшей первый офицерский чин, я, сдвинув каблуки и приложив кулак к затвору, вытянулся как перед фельдмаршалом, а на его «салуд» ответил, припоминая уроки маленького Фернандо: «Салуд, камарада альферес», после чего с чистой совестью переключился на французский, на котором альферес объяснялся так-сяк.

Выслушав меня и с уважением посмотрев на конверт с невразумительными русскими буквами, испанский прапорщик провел меня по устланному малиновой дорожкой стеклянному коридору в большой зал с камином, диванами, креслами и гобеленами по стенам. Паркет был натерт так, что помимо своей воли я ступал по нему на цыпочках.

Указав на кресло, начальник караула предложил подождать, пока генерал Клебер позавтракает, и удалился. Из моего кресла через раздвинутые портьеры, отделявшие гостиную от столовой, открывался вид на большую часть покрытого крахмальной скатертью стола. Он был уставлен винными бутылками с незнакомыми этикетками и пирамидами апельсинов в хрустальных вазах. Среди оживленно разговаривающих командиров сидела белокурая изящная дама, а рядом с ней какой-то штатский с лицом молодого римского патриция. Блюда разносили две черненькие испанки в платьях с оборками, распоряжалась же ими смуглая красавица.

Гостиную торопливым, но легким и бесшумным, как у кошки, шагом пересек стянутый в рюмочку брюнет, типичный испанец. За ним бежала совсем юная и, несмотря на негритянские губы, прехорошенькая испаночка в белом комбинезоне, выделанном под обезьяний мех. Я поднялся. Сполз с ручки кресла и сидевший

рядом Бубуль.

— Это советский майор, — объявил он, когда те были в столовой. — И девочка русская, переводчица.

Типичный испанец с испанкой, оказавшиеся советским майором и его переводчицей, принесли, судя по реакции завтракавших, какую-то важную новость. Белокурая дама и ее кавалер в волнении встали, за ними вскакивали многие.

— Видишь эту женщину? Вылитая Эльвир Попеску, не правда ли? — зашептал сзади Бубуль. — Знаешь кто она? Маркиза! Испанская маркиза чистой воды, или я не Бубуль, а рядом ее муж, знаменитый певец.

Из столовой донесся шум отодвигаемых стульев. Закуривая на ходу, некоторые командиры двинулись в залу. У портьер они замешкались, пропуская кого-то. Я оглянулся на Бубуля, но он смылся так же внезапно, как и появился, можно было предположить, что он пользуется потайным ходом.

В гостиную вышел генерал Клебер. Я узнал его по портретам в журналах, но благодаря высокому росту он выглядел в действительности еще значительнее, хотя и несколько постарше — в курчавых волосах просвечивали отдельные серебряные нити. Волевое лицо с будто вылепленными крупными чертами выражало внутреннюю силу. Обнаружив между обтянутыми атласом креслами мою помятую фигуру, он насупил брови. Подхватив винтовку левой рукой, я сделал к нему четыре четких шага и замер. Он что-то спросил по-испански. В ответ я выхватил из-за обшлага послание Лукача.

— От командира Двенадцатой интернациональной бригады.

Полные губы Клебера искривила усмешка, но он принял письмо.

— Вы говорите по-русски? — Акцента у него не было.

Моего в данном случае совершенно бессмысленного подтверждения, выраженного классическим «так точно», он, разрывая конверт и погружаясь в чтение, уже не слушал. Оттенок высокомерного удивления, подчеркнутого поднятой на высокий лоб бровью, не покидал его выразительной физиономии.

Гостиную или приемную заполняли выходившие из столовой. Слышалась испанская, французская, немецкая и английская речь. Светловолосая дама, в самом деле напоминавшая прославленную парижскую актрису румынского происхождения, но отнюдь, конечно, не в ее комедийном репертуаре, а сфотографированную на каком-нибудь дипломатическом приеме или на скачках в Лоншане, образовала со своим тенором и обступившими их штабными кружок, в центре которого, похожая со спины из-за скрадывающего фигуру комбинезона на белого медвежонка,

громко тараторила по-испански переводчица.

Советский майор с осиной талией подошел сзади к Клеберу.

— От Лукача. Не может приказа выполнить без предварительных литературных упражнений, — бросил тот через плечо, ни мало не стесняясь моим присутствием. — Возвращайтесь, — холодно обратился он ко мне, — и доложите вашему начальнику, что командующий сектором советует ему поменьше заниматься писаниной и побольше — своими прямыми обязанностями. Приказы надлежит принимать к беспрекословному исполнению и доносить об этом по форме. Еще доложите, что я любой ценой требую удержания позиций! Что касается просьбы насчет ручных гранат, распоряжусь, чтоб сколько найдется подвезли, в отношении же артиллерийских, батарея Тельмана может получить, если еще не получила, сегодняшний комплект — по пятнадцать, кажется, на орудие, — до завтра больше нет и взять негде.

От кружка вокруг переводчицы отделился и по-английски заговорил с Клебером поразительно красивый блондин, таким я представлял себе Дориана Грея, только он был в испанской форме, наверное, волонтер из Англии.

Я отдал честь, повернулся кругом, приставил ногу и уже не на цыпочках, а всей подошвой по вощеному паркету затопал к стеклянным дверям. Когда я взялся за надраенную медную ручку, меня своей неслышной пружинной — походкой нагнал чернобровый майор.

— Передай Лукачу, что Дуррути убит. Если спросит, от кого узнал, скажи: от Ксанти…

Не успел я как следует укрепиться на багажнике, как мотоцикл прыгнул подобно пришпоренному норовистому коню и, опять чуть не сбросив меня, во весь опор понесся к мосту Сан-Фернандо. Однако я был до того оскорблен пренебрежительным и неприязненным отношением Клебера к нашему комбригу, что никак не реагировал на повторную выходку строптивого мотоциклиста со щеками как кожура печеного яблока. Не меньше подавляло меня неожиданное известие о гибели Дуррути, и не потому лишь, что погиб один из выдающихся вождей, вышедший из самой гущи испанского народа, но и потому, что его колонна, куда входили две бригады каталонских анархистов и одна, состоявшая из социалистов и коммунистов, располагалась где-то по соседству с Одиннадцатой. Смерть предводителя могла деморализовать их, а это неминуемо должно было отразиться на положении всего сектора.

(…«Дуррути был хорош, и свои убили его там, у Puente de los Franceses. Убили потому, что он хотел наступать. Убили во имя

великолепнейшей дисциплины недисциплинированности», — негодует герой Хемингуэя в «По ком звонит колокол». Михаил Кольцов в записи «Испанского дневника», датированной 21 ноября, менее категоричен, он ограничивается предположением: «…кто-то прибежал и сказал, что на соседнем участке, в Западном парке, убит Дуррути… Шальная или, может быть, кем-нибудь направленная пуля смертельно ранила его при выходе из автомобиля перед зданием его командного пункта. Очень жаль Дуррути». Но «Испанский дневник» печатался два года спустя, зато соответственное сообщение в «Правде», подписанное Михаилом Кольцовым и помеченное тем же 21 ноября, озаглавлено: «Убийство Дуррути» и гласит: «При выходе из автомобиля перед зданием своего командного пункта на окраине Мадрида был смертельно ранен в грудь пулей тайного убийцы и затем скончался крупнейший деятель анархо-синдикалистского движения Буэнавентура Дуррути». Почести, оказанные анархо-синдикалисту «Правдой», которая поместила рядом с корреспонденцией Кольцова портрет покойного, а ниже — сочувственный некролог, сами по себе достаточно красноречивы. Я со своей стороны могу присовокупить то, что в начале декабря, по дороге в Аранхуэс, доверенно рассказал мне Лукач. По его словам, Дуррути за краткое пребывание на мадридском фронте не только убедился в невозможности вести войну с регулярной армией фашистов без создания своей народной армии, скрепленной строгой воинской дисциплиной и подчиняющейся единому командованию, но дня за два до своей смерти заехал в городской комитет Испанской коммунистической партии, чтобы открыто выразить свое согласие с коммунистами в этом вопросе. Находившиеся там товарищи пришли в ужас: узнай о визите Дуррути барселонские первосвященники ФАИ, и он конченый человек, они никогда не простят ему «измены» и сумеют подорвать среди рядовых анархистов даже его авторитет; между тем он, Дуррути, бесконечно важен для общего дела именно своим влиянием на массы. Ему поскорее объяснили наивность его поведения и попросили, пока не поздно, уехать. Он послушался, но, очевидно, то ли его шофер, то ли адъютант был соглядатаем, и посещение Дуррути штаб-квартиры мадридских коммунистов сделалось известным руководству ФАИ. Схизматику вынесли смертный приговор, немедленно приведенный в исполнение скорее всего адъютантом; воспользовавшись отсутствием свидетелей и, в частности, вынужденной отлучкой Ксанти, он из машины выстрелил Дуррути в спину. Лукач пояснил, что ему рассказал об этом один очень осведомленный человек. По моим наблюдениям, «одним очень осведомленным человеком» Лукача

был в тот период не кто иной, как Михаил Кольцов, с которым он виделся по вечерам до двух-трех раз в неделю. Думаю, кстати, что и Хемингуэя осведомил об убийстве Дуррути самими анархистами тот же Кольцов, однако после того, как Лукач в июне 1937 года пал под Уэской, Кольцова в конце 1938 года устранил Сталин, а в 1961, пораженный неизлечимым недугом, покончил с собой Хемингуэй, моим догадкам суждено навсегда остаться неподтвержденными, так же как и навсегда открытым — вопросу, почему Кольцов, сообщивший в Москву о смертельном ранении Дуррути пулей тайного убийцы, впоследствии, редактируя «Испанский дневник», предпочел утверждению неясный намек. В заключение следует добавить, что Ксанти до сей поры твердо убежден, что Дуррути сражен кем-то из своих.)

Обратная дорога показалась мне в моей задумчивости и менее тряской и более короткой. Приблизившись к домику шоссейного сторожа, строптивый мотоциклист выключил газ, и в наступившую тишь сразу ворвался далекий сливающийся гул вражеских пушек и совсем близко, в парке, грохот частых разрывов. Это могло означать лишь одно: наша бригада вступила в бой.

2

На командном пункте за мое отсутствие ничто не изменилось, только ближний край стола заняли некрашеные деревянные ящики с необычного вида телефонной трубкой в каждом. Лукач по-прежнему сидел за дальним концом и очиненным с обеих сторон, наполовину синим, наполовину красным карандашом, то и дело переворачивал его, переносил обстановку со своей, вынутой из планшета, маленькой карты на большую — беловскую. Он поднял на меня глаза и опять опустил, продолжая работу. На сене, как и раньше, похрапывала охрана. Следом за мной вошел мотоциклист, пробрался к одному из освобожденных телефонистами мест и лег. Я доложил о выполнении приказания.

— Генерала Клебера видели? Ну-ну, расскажите.

Я рассказал, как мне пришлось подождать, пока генерал Клебер закончит завтрак, и как много у него было гостей, и как он вошел, и я подал письмо, а он прочел и приказал сообщить, что настаивает на удержании позиций любой ценой.

— Больше ничего не прибавил?

— Еще прибавил, что ручных гранат прикажет подвезти, а насчет артиллерийских — сверх комплекта дать не может: их нету.

— И это все?

— Никак нет. Товарищ Ксанти просил вам передать, что Дуррути убит.

— Ах, черт подери! — Лукач бросил карандаш на карту и встал. — Где? Как убит?

— Не могу знать. Ксанти догнал меня, когда я уходил, и все, что сказал: передай генералу Лукачу, что Дуррути убит.

Заложив пальцы в передние карманчики брюк, Лукач отошел к окошку, стекла которого чуть-чуть дребезжали от далеких разрывов. Сквозь это дребезжание послышались отдаленные громовые раскаты, приближалась гроза.

— Самолеты, — объявил Лукач. — Сюда летят.

Снаружи, в сыром еще воздухе, гул моторов был различимее. Гурский, спрятавшийся под то же дерево, под каким ночью сидел Ганев, зачем-то снял тесак с винтовки и вперил ястребиные глаза в серое небо. Лукач тоже смотрел с порога в высокие, но плоские, как потолок, облака.

— Вот они…

Косым журавлиным клином плыли на нас девять громадных машин. Заглушая шум боя, ревели в унисон двадцать семь

моторов, но даже через их рев мы услышали выстрел Гурского. Лукач недовольно взглянул на него: перезарядив винтовку, Гурский опять целился вверх.

— Остановите. И не забудьте потом прочитать нотацию. Надо, чтоб человек знал разницу между часовым, охраняющим штаб, и охотником на перелетную дичь.

Гурский, успевший выстрелить вторично, отнесся к моему окрику с явным неодобрением, но примкнул тесак.

— Истребители! — воскликнул Лукач.

За громом уже пролетевших над нами трехмоторных бомбардировщиков зазвенело комариное пение. Позади и гораздо выше их торопились коротенькие черные крестики. Строем по три две трефовые девятки догоняли тяжелые брюхастые машины, похожие на плывущих метать икру гигантских рыб. Задрав головы, мы с Гурским наблюдали, как последние черные комарики скрылись за лесистой вершиной холма, у подножия которого притаилась наша сторожка. Лукач следил за ними с шоссе.

— Я был уверен, что на бригаду, а они к Мадриду пошли, — проговорил он, возвращаясь.

В тот же миг воздух заколыхался, и мы, будто через вату, услышали приглушенный холмом гул и среди него отдельные взрывы: бумм! бумм! бумм! бумм! Красивое лицо Лукача исказила гримаса.

— Ах, негодяи, — начал он, но взор его остановился на вилле рядом с мостом, откуда мы вчера ушли из-под шальной пули. — Это что там еще за привал комедиантов?

Виллу заслонял крытый брезентом полуторатонный фургон. Дверца была открыта, и шофер, взобравшись на табурет, приколачивал к навесу над верандой древко белого флага с красным крестом.

— А ну-ка, пойдите и потребуйте, чтоб они мигом оттуда убрались. Нашли себе тихое пристанище на перекрестке прифронтовых дорог. Тут, вместо перевязочного пункта, уместнее сразу морг открыть.

Высокий интеллигентного вида француз в очках с черепаховой оправой и с краснокрестной повязкой на рукаве оказался неуступчивым и возразил, что помещение очень ему подходит и перебираться он никуда не собирается. Когда же, сославшись на приказание командира Двенадцатой бригады, я попробовал настаивать, этот студент, переждав, пока пролетят возвращавшиеся с бомбежки самолеты, ответил:

— Мной он не командует. Я из Одиннадцатой. Батальон «Парижская коммуна». Тебе приказано одно, а мне — другое.

Пусть мы и отошли во вторую линию, но эвакуация раненых не завершена, и эвакуировать некуда: в «Паласе» ни одной койки свободной. А там, впереди, ребята с присохшими бинтами лежат по подвалам и ждут своей очереди. Ты меня понял? Тогда извини, мне некогда.

Я его понял, и доказательством служило облегчение, с каким я доложил возобновившему расцвечивание карты Лукачу, что молодой медик, устраивающий лазарет в пустующей вилле, совсем не из нашей бригады и не послушался. Лукач оторвался от карты и стал с интересом рассматривать меня, словно видел впервые.

— Помнится, я не ставил таких условий: наш — прогоните, а не наш — оставьте. Я дал вам указание удалить тех, кто там расположился. Вы моей просьбы не выполнили и оправдываетесь, что вас не слушаются. А вы не смогли заставить себя послушаться, оттого что сами не убеждены в справедливости моего требования. Мы мало знакомы, и, учтя это, я сделаю изъятие из общего правила: постараюсь разъяснить, почему домик напротив необходимо очистить. Но предупреждаю, в будущем не всегда найдется свободная минута для разъяснения смысла моих распоряжений. А сейчас слушайте. Я не стану говорить об опасности, которую это местоположение представляет для раненых, но ведь и мы-то с вами только-только начинаем воевать и еще можем пригодиться…

Я виновато пробормотал, что обязан выполнять его распоряжения без каких бы то ни было объяснений.

— Приятно слышать. Мы сэкономим массу драгоценного времени. Тогда ступайте и сделайте, как я сказал, чтоб там и духу человеческого не было, а для верности захватите кого из своих, да посердитее.

Я позвал тех, кто не спал: Лягутта и Юнина.

— Напомните, в случае чего, вашему доктору, что он Гаагскую конвенцию нарушает. Или, возможно, Женевскую, не помню точно. В ней есть статья, по которой походные госпитали, обозы с ранеными, амбулаторные палатки и все остальное, что пользуется защитой Красного Креста, не имеет права располагаться поблизости от военных объектов, — насмешливо посоветовал Лукач, пока Лягутт и Юнин собирались. — Ваш протеже упустил это из виду.

Симпатичный врач побелел, услышав, что мы явились выдворять его силой. Два мывших полы дюжих санитара, а затем и стучавший где-то в глубине молотком шофер разразились бранью из-за спины своего начальника, но ни грубые ругательства, ни размахивание молотком и мокрыми тряпками

нас не поколебали. После преподанного Лукачем урока я был исполнен решимости, еще больше ее наблюдалось в Юнине, он так и лез тесаком вперед. Правда, подкреплявший нас сзади Лягутт приступил было к словесным увещеваниям, но я остановил его, предвидя, что взаимные пререкания затянутся до бесконечности, а там как бы и впрямь не пришлось прибегнуть к ссылкам на статьи международных соглашений.

Мое нежелание вступать в дискуссию привело к тому, что уже через десять минут оба санитара с половыми щетками, ведрами и прочим поломоечным инвентарем в руках, доругиваясь, залезали в фургон, шофер ожесточенно заводил мотор рукояткой, а стиснувший зубы, все еще бледный врач молча выпрямился на переднем сиденье. Перед тем, однако, как похожая на арбу машина сдвинулась, он дрожащим от негодования голосом высказался, что насилие это квинтэссенция фашизма и что потому место сторонников насилия не среди тех, кто обороняет Мадрид, но среди нападающих на него.

— А майору Дюмону придется так и сказать, что если я сегодня не успею вывезти наших раненых, то вина не на мне и даже не на этих вот, — обращаясь к шоферу, он с отвращением кивнул в нашу сторону, — а на том, кто их послал, на командире их бригады…

— Мне стыдно, — горько проронил Лягутт, после того как Юнин, подперев изнутри дверь виллы, вылез в окно, то самое, с дыркой в стекле, и заколотил раму прикладом. — Мне очень стыдно, — повторил Лягутт, когда мы пересекали шоссе в обратном направлении. — Разве так, примкнув штыки, разговаривают с товарищами? Надо было попросить вежливо, как следует, они бы ушли. Он прав, этот лекарь. Мы вели себя не как добровольцы свободы, а как ажаны, как грязные флики, что пришли выселять за неплатеж безработного алжирца с семьей.

Я не нашелся возразить Лягутту. Мне тоже, едва санитарный фургон отошел, сделалось как-то не по себе. Меня томила жалость к молоденькому врачу или студентику, кем он там был, обиженному до того, что у него тряслись губы. Я прожил в Париже шесть с лишним лет и знал, до чего французы не переваривают всякое принуждение, как ненавистна им сама идея слепого повиновения, и не только научился понимать их в этом, но и уважать.

За время, что я вернулся от генерала Клебера, слух так привык к отдаленному буханью фашистских пушек и к сравнительно близкому грохоту разрывов, сопровождаемых то усиливающейся, то слабеющей пулеметной и непрерывной ружейной стрельбой, что почти не замечал их, но когда вдруг

совсем рядом — даже в ушах зазвенело — громыхнула батарея, внутри от неожиданности все сжалось.

— Наша ударила, слава те Господи, — хладнокровно отметил Юнин, и я подумал, что он и в самом деле бывалый солдат.

Через полчаса залпы неизвестно откуда взявшейся республиканской батареи, от которых вздрагивали стены нашей сторожки, прекратились, а вскоре к командному пункту подъехала машина и в комнату вошел чем-то осчастливленный Белов в сопровождении немолодого товарища с румяными, как у младенца с рекламы сгущенного молока, щеками.

— Геноссе Клаус! — обрадовался Лукач, протягивая ему обе руки.

Все трое заговорили по-немецки, но голос Клауса, звучавший, будто он находится на открытом воздухе и продолжает командовать батареей, без видимого усилия заглушал собеседников. Лукач пригласил довольного Белова и шумного артиллериста к карте, но раньше, чем они склонились над столом, повеселевший взор Лукача упал невзначай за окно и омрачился.

— Ein Moment, — извинился Лукач перед Беловым и Клаусом. — Ein Moment, bitte, — и он подманил меня. — Ни одна машина, чья бы она ни была, слышите? — ни моя, ни товарища Белова, ни Фрица, когда он вернется, никого другого, независимо от ранга, пола и возраста, — не имеет права лишней секунды простоять перед входом в штаб. Внушите это всем вашим. Поставьте дело таким образом, чтоб водители и мотоциклисты боялись охраняющего нас часового больше нечистой силы и, ссадив пассажира, в мгновение ока уматывались под ближайшие деревья. Попрошу раз и навсегда завести такой порядок и придерживаться его без поблажек. Ясно?

— Ясно, товарищ комбриг.

— Пусть же вам будет еще яснее, что ответственность за малейшее нарушение понесут не прямые виновники, а вы персонально.

Поставивший свой «пежо» в метре от двери Луиджи поначалу впал в амбицию. Он в жизни не слышал подобной глупости. Может быть, некоторые забыли, что он возит самого генерала? Нет? Ему приходится удивляться. Каждому дураку должно быть понятно, что на того, кто возит генерала, общие правила не распространяются. Генерал приказал ему постоянно быть наготове, ведь автомобиль может понадобиться неизвестно когда. Или кто-нибудь хочет, чтобы генерал бегал по окрестностям, разыскивая свою машину? Пускай все знают, что он, Луиджи, этого не допустит и не подумает никуда отъезжать…

Он долго бы еще кипятился и брызгал слюной, но я окликнул Гурского и нарочно по-французски распорядился отогнать любыми средствами демаскирующую командный пункт машину. Уходя, я не мог отказать себе в удовольствии искоса взглянуть на рябого нашего сармата, который, сузив желтые глаза и взводя большим пальцем курок, шагнул к машине, хотя Луиджи уже заводил ее, не подозревая, что с ней вместе заводится и требуемый Лукачем порядок.

Пока я внедрял его, деловая беседа над картой закончилась, и Клаус собрался к себе. Лукач, подняв руку на плечо артиллериста, говорил ему нечто для того лестное, ибо у громоподобного Клауса от смущения горели уши, как у застенчивой фрейлейн, выслушивающей комплименты ухажера. Подождав, пока сияющий командир батареи удалился, Белов принялся описывать Лукачу, с какой, если можно так выразиться, рекордной быстротой Клаус сумел выбрать наилучшую позицию, установить на ней орудия и открыть огонь. Больше всего Белов восхищался тем, что, за отсутствием телефонной связи, не имея корректировщика в пехоте, Клаус, когда расчеты расставляли пушки, самолично слетал на мотоцикле к Людвигу Ренну, на местности разобрался в обстановке, а вернувшись, определился с поразительной точностью и не только дважды попал в закрытую цель, вот сюда, в эту потерянную при смене Каса Бланка, где засели фашисты с «гочкисом», но и умудрился подавить четырехпушечную батарею врага, чинившую батальону Тельмана превеликие неприятности… Свое похвальное слово Белов завершил утверждением, что, будучи сам пушкарем, он наблюдал за действиями Клауса с чувством восхищения и даже с примесью профессиональной ревности и что бригаде, по его мнению, необыкновенно повезло, поскольку ей достался такой знающий и талантливый артиллерист, можно сказать, Божией милостью…

(Германский коммунист Клаус, на которого, по утверждению Белова, бригаде так необыкновенно повезло, командовал приданной ей трехпушечной батареей Тельмана всего одну неделю. Когда в последние дни ноября нас отводили на отдых, штаб базы формирования интербригад в экстренном порядке затребовал Клауса, чтобы назначить его не то начальником, не то инспектором открывавшейся в Альбасете артиллерийской школы. Расстроенный Лукач бросился хлопотать, но бумага была подписана Андре Марти, и ничего поделать было нельзя. Но еще больше Лукача, а за ним и Белова огорчился сам Клаус: ему приходилось расставаться со своим детищем, только что сформированной батареей, сменить азартную стрельбу по живым фашистам на стрельбу по мишеням и грозовую фронтовую

атмосферу — на затхлый воздух далекого и безопасного тыла.

Во второй половине 1937 года, месяца через два после смерти Лукача, я проездом на юг завернул в Альбасете повидаться с Беловым, недавно назначенным туда вместо Марти. Долго оба мы, перебивая друг друга, предавались горестным воспоминаниям, а потом обменивались сведениями о боевых друзьях, с которыми тот или другой из нас потерял связь, пока, наконец, Белов не поведал мне о жестокой, продолжавшейся с сумерек до рассвета, бомбардировке Альбасете, которую, чтоб не столкнуться во мраке, производили одиночные, постоянно сменявшиеся трехмоторные «юнкерсы».

— Отбомбит и уйдет. Минут через пять другой подлетает. Покружит-покружит, с интервалами, не торопясь, сбросит свои подарки, и опять тихо. Едва народ успокоится, следующий летит. А убежищ нет. И так до утра, — глуховатым басом рассказывал Белов. — Но представь, какая штука. Бомбили они, конечное дело, базу формирования интербригад, а погибшие и раненые все, кроме одного, из гражданского населения. Если знать, что интеровцев насчитывалось здесь в то время до тысячи человек да прибавить испанских карабинеров, прямо даже удивительно. И кто, ты думаешь, этот единственный? Клаус. Ты помнишь Клауса? Его одного из всех находившихся в Альбасете военных и убило. Шел он поужинать в ресторан, что в начале главной улицы, услышал свист бомб и лег на тротуар. Упала она не так близко — на площади, но осколок сантиметров в пятнадцать прошел по тротуару под животом Клауса. Почти пополам беднягу перерезало. И подумать, что немецкие старшие товарищи устраивали его перевод от нас сюда, в артиллерийскую школу, желая уберечь. Очень они дорожили Клаусом, в особенности Баймлер…)

За окном снова заморосило, и чем дальше, тем сильнее. Скоро по крыше барабанило не хуже вчерашнего. С передовой пришел Кригер, принес Лукачу записку от Ренна. Лукач пробежал ее глазами, передал Белову и стал расспрашивать Кригера про какие-то красные и белые дома, чьи они. Неудовлетворенный его отрывистыми ответами, Лукач вместе с Беловым перечитал записку, разбираясь по карте. Кригер расстегнул кожаное пальто, вытер мокрый лоб, щеки и картофельный нос платком, спросил, нет ли чего «покушать», а услышав, что дневную еду еще не привозили, очень обиделся, будто это сделано специально ему, Кригеру, в пику.

Лукач снял планшет, положил на стол, вынул из нагрудного кармана бумажник и записную книжечку, обтянутую резинкой с

аптечного пузырька, сунул в планшет, отдал его Белову и взял из угла палку.

— Пошел к Ренну. Надо на все самому посмотреть. Геноссе Кригер, веди.

Вернулся он один, уже после того как полуторка доставила мясные консервы, подмоченный хлеб и остывший, хотя он был в термосе, несладкий черный кофе. Войдя, Лукач сбросил брезентовый плащ, который, видно, взял из машины, стряхнул с него в коридор воду и аккуратно развесил на двух стульях.

— Батальон Тельмана, можно считать, потерял Паласете. Удержаны лишь окраинные домики. По ним лупит артиллерия, но все промокли до нитки и лезут под кров. Потери ужасные, особенно в польской и балканской ротах. Людвиг Ренн еле держится на ногах, однако находится в наиболее угрожающем месте, духом бодр и других шепотом подбадривает. Кригера я ему оставил. Он не из робких, а лишний смелый человек там не помешает. Чудак он только какой-то. Обидчив, как нервная женщина. Вы, говорит, меня не терпите, так лучше я здесь останусь. Почему, спрашиваю, не терплю: назначение на любую должность в штабе бригады зависит целиком от меня, не терпел бы — не назначил начальником отдела. А он в ответ: «Не успел я в дверь войти, а вы — пойдем. Даже покушать не дали…» В общем, оставил я этого самого Кригера, со всеми его обидами, Ренну. Но что я, между прочим, узнал от Ренна, — озвереть можно. Клебер-то пытался еще семнадцатого или восемнадцатого — когда мы, бишь, прибыли в Буэнависту? — командовать Ренном через мою голову, ставил ему задачу самостоятельно овладеть Каса-де-Веласкес…

Все, начиная с Лукача, тщательно пережевывали волокнистое мясо, запивая за неимением вина горьковатой бурдой, когда на багажнике мотоцикла приехал бледный, серьезный, забрызганный грязью и весь, как трут, отсыревший Галло. Отведя Лукача и Белова в простенок между кафедральным буфетом и окошком, он тихо, настолько, что нельзя было понять, на каком языке, переговорил с ними, потом, не садясь и морщась, будто у него болело горло, проглотил несколько красноватых, покрытых застывшим желтым жиром кусочков корнбифа, хлебнул кофе и умчался, подскакивая на багажнике «харлея», обратно в батальон.

Лягутт еще не убрал со стола, как подкатил знакомый «опелек», по из него вышел незнакомый остроглазый человек, с носом без переносицы, как у русских деревенских старух на рисунках Григорьева. Лукач и Белов приняли незнакомца почтительно: увидев, кто высадился из «опеля», Лукач поторопился навстречу, а Белов обеими руками подал гостю стул.

В отличие от итальянца Галло, приезжий, оказавшийся немцем, не говорил, а кричал, жестикулируя, как неаполитанец, но Лукач и Белов слушали его крик внимательнейшим образом. Я готов был проникнуться их уважением к шумному посетителю, но мне сильно мешал топорщившийся на его голове точно такой же застегнутый пирожок, какие получила польская рота, с одной лишь разницей — он был не хлопчатобумажный, а суконный, но и при этом уродовал своего обладателя не меньше, чем Юнина.

В разгар непонятного мне немецкого монолога ввалились Мориц и Орел в прилипающей к телу измазанной глиной одежде и с прилизанными дождем непокрытыми головами, отчего оба сделались поразительно схожи с двумя тонувшими, но выбравшимися на сушу мышами — седой и рыжей. Заметив незнакомца, Мориц вдруг выпрямился, словно аршин проглотил, лихо щелкнул каблуками и до того деревянно вскинул кулак, что перед нами — кто только посмел сравнить его с мокрой мышью — возник пусть и слегка покрытый плесенью, но не утративший былой выучки германский унтер-офицер, присягавший еще его императорскому величеству кайзеру Вильгельму II. Судя же по тому, как этот прусский унтер тянулся, на дальнем конце стола, между Лукачем и Беловым, должен был восседать по крайней мере фельдмаршал фон Людендорф собственной персоной.

Вскоре, однако, разоблачившись, чтоб обсушиться, до нижней рубахи, через разрез которой виднелись похожие на барабанные палочки тощие ключицы, Мориц, серповидным садовым ножом поочередно подсовывая остреньким зубкам равные ломтики хлеба и «обезьянины», не преминул дать знать Орелу между двумя глотками, что «там тен… на краю… чи веджишь, кто то ест?.. Не веджишь? Ганс Баймлер!.. ктуры еден не еден… звынченжил Адольфа Хитлера!..» Услышав это, я не смог удержаться и, насколько допускало приличие, принялся в оба рассматривать необыкновенного человека.

Один из руководителей Баварской советской республики, просидевший за это десять лет в крепости, депутат рейхстага, член ЦК Германской компартии, Ганс Баймлер навлек на себя кроме классовой и личную ненависть схвативших его эсэсовцев стойкостью, с какой переносил ужаснейшие избиения. Палачи поклялись сломить его волю, довести до отчаяния и толкнуть на самоубийство, почитавшееся коммунистами слабостью при любых обстоятельствах. С этой целью, запирая после допросов с пристрастием изнемогающего Ганса Баймлера в одиночную камеру, эсэсовцы как бы случайно забывали в ней то бритву, то намыленную веревку. Ганс Баймлер, и не помышлявший о том,

чтобы наложить на себя руки, постепенно слабел физически и заметил, что начинает испытывать страшный соблазн. Узнав, что потерявшие терпение нацисты собираются прикончить его и инсценировать самоубийство, он решился на побег из Дахау, безнадежность которого была уже многократно доказана другими, пытавшимися уйти безумцами, неизбежно при этом пристреленными. Ганс Баймлер понимал, что убежать из Дахау невозможно, но предпочитал смерть от пули врага при попытке к бегству пассивной гибели в застенке, сопровождаемой клеветой. И произошло небывалое. Беглец не был обнаружен немедленно, как происходило всегда. Не нашли его и на следующий день. И хотя в погоню за ним была брошена вся явная и тайная полиция рейха, все коричневые рубашки и черные мундиры, все обладающие супернюхом племенные арийско-немецкие овчарки, Ганс Баймлер исчез бесследно. Когда же, невзирая на удвоенную охрану границ, он через некоторое время объявился в Праге, а потом и в Париже, его восторженно встретили не только ранее эмигрировавшие товарищи, его ждало искреннее восхищение всех честных людей. Еще бы. Вступив подобно Димитрову (но в несравнимо более тяжких условиях) в единоборство со всемогущим гитлеровским государством, он одолел его и сумел обмануть собственную смерть. И вот теперь я сидел за одним столом с ним на командном пункте Двенадцатой интербригады под осажденным франкистами и разрушаемым нацистскими летчиками Мадридом. Было чему удивляться. Было и чем гордиться.

Сколько, однако, я ни всматривался в обветренное загорелое лицо Ганса Баймлера, мне не удавалось обнаружить в нем ничего героического, ничего вообще выдающегося, если не считать резких морщин и твердого взгляда — до того твердого, что он казался даже неприятным, — ничего отличавшего это лицо от сотен некрасивых пролетарских лиц, с таким же жестким взором, появляющихся в конце рабочего дня в воротах любого большого парижского завода.

Продолжая говорить все так же громко, Ганс Баймлер поднялся, сунул Лукачу и Белову прямую ладонь, запахнул слишком широкий полушубок, выкрикнул на прощанье, как команду, «Рот фронт» и направился к двери. Белов сопровождал его. Пока они по указанию Казимира брели по лужам к невежливо отогнанному излишне далеко ренновскому «опелю», Лукач через залитое стекло провожал глазами их удаляющиеся спины, а затем, отвернувшись от окна, вопросительно обратился по-немецки к Морицу. Тот, поперхнувшись, испуганно вскочил. Лукач приблизился к нему и, нажав сзади на острые плечи,

усадил. Поспешно проглотив что было во рту и недоверчиво улыбаясь, Мориц молчал. Лукач, продолжая придерживать его за плечи, повторил вопрос, и Мориц стал что-то пространно изъяснять через плечо, пошевеливая лежащими на столе узловатыми пальцами. По-видимому, ответ удовлетворил Лукача, потому что, выслушивая старика, он, сумрачный с утра, немного просветлел.

Снаружи застрекотал мотоцикл, и Белов возвратился в обществе, как всегда, возбужденного Реглера, от мокрого канадского полушубка которого неизвестно почему пахло псиной. Реглер долго и убедительно излагал что-то комбригу и начальнику штаба, но в продолжение доклада по нервному лицу его неоднократно скользила снисходительная усмешка, а один раз он даже сострил или рассказал о каком-то забавном случае, так как оба слушателя его засмеялись. Надо было полагать, что в батальоне Андре Марти дела шли не так уж плохо.

Вообще же из поступавших и читавшихся при мне донесений, а также из обрывков разговоров с очевидностью выяснялось, что Лукач как в воду глядел, предвидя, чем обернется смена днем. Более или менее благополучно она прошла в одном франко-бельгийском батальоне и лишь потому, что сменяемый батальон Парижской коммуны удержал в Университетском городке здание медицинского факультета, заслонявшего подходы с тыла. Батальон же Гарибальди, продвигавшийся вдоль Мансанареса по достаточно просматриваемой местности, сначала навлек на себя огонь франкистских батарей, а когда стал приближаться к позициям батальона Домбровского, фашисты предприняли предсказанную Лукачем атаку, и поскольку никаких позиций там, собственно говоря, не было, а удар наносился в тот самый момент, в какой одни отходили, а другие заступали на их место, то удержанная гарибальдийцами новая линия обороны оказалась позади прежней. Еще хуже пришлось батальону Тельмана. Едва он сменил батальон Эдгара Андре в окруженных садами домиках, как началось планомерное, поддержанное артиллерией и танками, наступление фашистов, наметивших как раз именно здесь очередной прорыв мадридского фронта, дабы отсюда и устремиться в город. Когда танки, за которыми бежали марокканцы, неожиданно выкатились на польскую и балканскую роты, в них возникло замешательство, чуть было не превратившееся в беспорядочное отступление, но своевременно принятые Людвигом Ренном меры и собственное его бесстрашие помогли восстановить утраченное равновесие, и вместо настоящей катастрофы все завершилось лишь потерей части домов возле самого здания Паласете. Во второй половине дня

обстановка на участке бригады, продолжая оставаться тревожной, тем не менее стабилизировалась, отчасти благодаря и надоедливому дождю, помешавшему взлету вражеских бомбардировщиков. Впрочем, он же и осложнял положение, ведь наши бойцы, за исключением французов и бельгийцев, пребывали под непрерывным холодным душем, тогда как фашисты укрывались в только что отвоеванных помещениях.

— Знаешь, отчего нам не пришлось узреть марокканские бурнусы через вот это окошко? — спросил Лукач у складывавшего карту Белова, заявившего, что заглядывать в нее ему больше не понадобится, настолько прочно она запечатлелась у него в мозгу. — Не знаешь? Очень просто: не могут же фашистские стратеги предположить, что нас тут одна тоненькая ниточка, и в глубину до самого Эль-Пардо ни единого резервного батальона не сыскать. Можно не шутя утверждать, что им в данном случае помешала образованность. — Он коротко рассмеялся, но сразу же посерьезнел. — Ну, и еще одна вещь: ниточка-то держит. Из этого следует, что там, впереди, уже не преисполненная благими намерениями двухтысячная вооруженная толпа, но выкристаллизовывающаяся из нее добровольческая воинская часть, и если подумать, из кого она составлена, так подобных частей на свете еще не видано. — Он совсем помрачнел. — А мы этих людей гробим без всякой пользы, безжалостно и бездарно, за что всех нас на осиновые колы мало посадить, — прибавил он злобно. — Я сам посоветовал Ренну попробовать завтра восстановить положение, а во что это обойдется, и подумать страшно…

Перед наступлением сумерек, пока Мориц возился на крыше сторожки, умудряясь и там неизвестно на кого ворчать, Орел и два его дружка перекинули по веткам деревьев провод, с которого — везде, где он провисал, — начали сбегать и падать крупные капли. Потом они сняли со стола самый большой из ящиков, опустили в погреб, обнаруженный под сеном, и подсоединили сперва к чердаку, а там и к одному из оставленных ящичков. Выскочив из-под пола, как андерсеновский кобольд из волшебной табакерки, Орел принялся крутить ручку, приделанную сбоку ящичка, и крутил очень долго, будто молол кофе. Тут с потолка свалился Мориц, рявкнул «Himmel Gott» и подкрепил польским «пся крев», нетерпеливо оттолкнул Орела и ухватился за ручку сам. Накрутившись вдоволь, он вынул из ящика трубку, не то подул, не то поплевал в нее, швырнул Орелу и нырнул в подполье. Скоро в ящичке будто шмель прожужжал, и Мориц выбрался на поверхность. За очками его торжествующе посверкивали электрические искорки, по тонким губам змеилась

почти мефистофельская улыбочка. Он вырвал трубку у Орела, приложил к уху, наклонил голову, с выражением врача, выслушивающего пациента, вкрадчиво проворковал «хелло», вытер трубку рукавом, подал Лукачу и опять нырнул в погреб.

— Allo! Allo! — радостно закричал Лукач. — Bataillon Thälmann? Allo!.. — Он прислушался и обескураженно опустил трубку. — Молчит…

Подскочил Орел, деликатно, двумя пальцами, принял трубку, что-то гортанно пропел в нее на идиш.

— Пардон, туважиш женераль, але я добже чую. Битте зер. Вы тильки нажмить сильнийше оттут-о! — порекомендовал он на сплаве своих четырех языков.

Лукач оживленно заговорил по телефону, и даже я понял, что на другом конце провода комиссар Рихард, через которого Лукач объясняется с обезголосевшим Людвигом Ренном. Между тем Мориц выбрался из подвала. В его внешности не сохранилось ни малейших следов недавнего возбуждения, наоборот, вид у него был самый обыденный, лишь сивые вихры были еще взъерошены. Нашипев на Орела с присными, чего это они вздумали прохлаждаться, разве им делать нечего, он до того нагрузил их катушками, что все трое сделались похожими на осликов, навьюченных вязанками хвороста. Безжалостно погнав их под дождь, он расположился у аппаратов и, найдя в бочкастом перочинном ножике отвертку, начал разбирать мембрану, но не плоской полевой, с совком внизу, а черной и круглой городской телефонной трубки, под которой висел обрезанный шнур.

Закончив переговоры, Лукач шагнул к сидящему рядом Морицу, под мышки, как берут детей, поднял его со скамьи и расцеловал. Мориц сначала даже как-то оробел, затем криво заулыбался и опустил глаза.

— Але то есть ниц… то есть ниц… — бормотал он.

— Какое там к черту «ниц»! — вскричал Лукач. — Какое там «ниц», когда несколько неопытных юнцов под обстрелом, да вдобавок и под проливным дождем сумели за пять или шесть часов связать штаб с самым опасным участком переднего края?

И он опять обнял Морица, прижав его птичью головку к своей широкой груди и что-то горячо наговаривая ему на ухо, а отпустив, еще подержал за плечи вытянутыми руками, всматриваясь в почти уродливую, с лисьим выражением, физиономию Морица, и внезапно еще раз поцеловал порозовевшую, как у сконфузившейся старушки, морщинистую щечку.

— Ты видишь, — обернулся Лукач к Белову, — этот скромняга и не подозревает, что сделал. А без него кем я был?

Рассудить, так кем хочешь, но не командиром бригады: и связным, и политруком, и даже интендантом, а часто и просто пустым местом. Только благодаря старому Морицу я могу наконец начать распоряжаться. А ты без телефона под рукой кто? Послушай меня, товарищ Белов. Вот этот вон человек — твоя правая рука. И мало в интересах дела, но и в своих собственных интересах ты обязан обеспечить его всем, что ему понадобится, если хочешь быть стоящим начальником штаба. Наш старый Мориц это чистый клад, и мы с тобой должны лелеять и холить его, холить и лелеять…

К вечеру подтвердилось, что бригада кое-как удержалась на тех рубежах, на какие успела выйти утром, и с приближением темноты пробовала, как могла, закрепляться на них. Рыть окопы было нечем, да и слишком все устали, но индивидуальные ячейки, чтобы хоть лоб прикрыть, люди скребли понемногу, беда была лишь в том, что ямки эти заливало водой. Паласете же с окружающими домами было, утеряно и представляло собой как бы занозу, впившуюся в тело бригады. Выслушав соображения по этому поводу еще раз приезжавшего Галло и созвонившись с командным пунктом батальона Тельмана, Лукач собрался в штаб сектора. Возвратился он, когда уже стемнело.

— Клебер категорическим образом требует, чтоб мы восстановили положение у себя в центре. Он верно указывает, что, уступив врагу дома, расположенные по гребню, мы попали в очень невыгодные условия, а кроме того, посрамили доброе имя интербригад. Забыл он об одном: кто во всем виноват. Я хоть и напомнил, что просил отложить смену до ночи, но это так — после драки кулаками… Вообще же слишком спорить не приходилось, — ведь враг и, вправду здесь, против нас, еще на шаг приблизился к Мадриду. А потом, я верхним чутьем чую, что Клебера в этом вопросе поддерживают наши товарищи. Единственное, чего я добивался, иметь на завтра ограниченную задачу выпрямления наших позиций, а настоящую контратаку отложить. Сутки выторговал. Мне главное, чтоб люди, на случай если не получится, хотя бы капельку тут обжились. Обогретое им жилье человек иначе защищает, чем незнакомое место. Теперь я махну в город, разузнаю, что и где, кроме всего прочего, поставлю непременнейшее условие: пусть как себе хотят, а дают десять танков поддержки, и Клаусу на этот день снарядов — чтоб не по карточкам.

— Он даром штуки не истратит, — заверил Белов.

— Ты же без меня проконтролируй — мотоциклист в полном твоем распоряжении, гоняй, куда нужно, — я обязал интендантов батальонов с темнотой самолично доставить на передовую

горячую пищу и сидеть там, пока последний боец ложку не оближет. А то как бы они не приросли к Фуэнкарралю, вроде нашего Фернандо, который только и умеет, что задницу у печки греть. Так с нами ладно, сойдет, а люди-то двое суток под дождем да еще на сухоедении. И пусть, посмотри, не забудут коньяку, рому, чего найдется, всем по полфляги налить, а к еде — по чашке красного вина, но разогретого, хорошо бы с сахаром и лимоном, глинтвейн, одним словом, сделать. Иначе к делу вся бригада сляжет.

Он уехал. Скоро наступил вечер, и сильно похолодало. Я, как и вчера, не спал: будил подчасков, сменял часовых, всматривался в мокрую черноту, прохаживался в обе стороны от нашей будки с винтовкой. При наступлении вечера неприятельская артиллерия замолкла и на фронте воцарилась настороженная тишина, подчеркиваемая монотонным падением дождя. Часов около одиннадцати впереди грянул раскатистый винтовочный выстрел, за ним другой, третий, и поднялась, расползаясь вширь, бешеная пальба. В нее вмешались пулеметы. Похоже было, что фашисты затеяли ночную атаку. Я повернул к командному пункту, но стрельба перед нами, откуда все началось, стала ослабевать и понемногу совсем заглохла. Теперь стреляли только слева, где должен был находиться батальон Андре Марти, но и там делались различимы отдельные выстрелы, они раздавались все реже и тоже прекратились. Опять не было слышно ничего, кроме шороха дождя. Через час все повторилось, но на этот раз первый выстрел прозвучал справа, за Мансанаресом. Я пошел в накуренную сторожку. Белов с трудом разомкнул веки, прислушался, в зрачках его промелькнула тревога. Он наклонился к погребу и позвал:

— Мориц! А Мориц! Товарищ Мориц!.. — Еще с вечера он почему-то перешел с Морицем на русский. — Не спишь? Соединика меня с батальоном Тельмана.

Видно, Мориц понимал, так как под полом запела крутящаяся ручка, ящичек на столе загудел, и Белов хрипловатым от бессонницы баском принялся расспрашивать немецких товарищей, что у них происходит. Сняв побелевшие пальцы с пружины на трубке, он уложил ее на место и облегченно вздохнул.

— Померещится кому-нибудь со сна, он не долго думая — бабах! В ответ фашист напротив тоже шарахнет. На это от нас выпустят обойму — и пошла писать губерния! Через десять минут уже весь фронт жарит, и не дознаться, где началось…

Лукач приехал поздней ночью, с улыбкой взглянул на торчащий кверху кадык Белова, запрокинувшего голову на спинку

стула, спросил у меня, что нового, потянулся.

— Устал что-то. Пойду подремлю в машине. Понадобится — немедленно будите.

Вскоре после того сменив часового, я, как всегда, прошелся до барьера, преграждавшего путь в рощу у поворота шоссе на мост, и обратно — мимо нашего домишки к спрятанному в кустах мотоциклу. Отсюда следовало теперь удлинить маршрут метров на двести по направлению к Эль-Пардо, чтобы осмотреть местность вокруг «пежо». Я приближался к нему совершенно, как мне казалось, бесшумно, но едва различил под деревьями низкий силуэт машины, как послышался негромкий вопрос Лукача:

— Это вы? Все там в порядке?

Через два часа я уже не подходил, а прямо-таки подкрадывался к машине, но опять, когда до нее осталось метров пятнадцать и до меня донесся приглушенный закрытыми стеклами храп Луиджи, одно из них заскрипело, опускаясь, и Лукач спросил:

— Ничего не случилось?

Тут только я сообразил, что сон нашего комбрига лучше не охранять. Вряд ли ему, в конце концов, может грозить серьезная опасность с тыла, зато осторожные шаги, продвигающиеся с фронта, будят его.

Подходя к командному пункту, я заранее подал голос, чтобы стоявший на часах Лягутт не тревожился. Когда я приблизился, он убрал выставленную ногу, забросил винтовку за плечо, и тогда я услышал, что он дрожит в своих каучуковых лохмотьях.

— Послушай. Еще одна такая ночь, и я попаду в госпиталь, — пожаловался он, трясясь и лязгая зубами, будто больной тропической лихорадкой. — Главное: голые ноги. А ботинки сырые. Я четыре пары носков привез с собой и еще одну купил в Фуэнкаррале, и все — в клочья, от последней пары одни браслеты на лодыжках остались, как у Жозефины Бэккер. Ладно. Я готов согласиться. Военные лишения, весь народ страдает. Но знаешь, что меня мучает? Стоя, я мерзну, а передо мной мираж: те кучи чистых носков, какие мы позавчера в маленьком доме наверху, где нас чуть не укокошило, в комод уложили. Помнишь, сколько их там было всяких — и нитяные, и фильдекосовые, и шерстяные, и даже лыжные вязаные. Захотелось мне тогда сунуть в карман хоть пару, у меня последние уже кончались, да — ты меня поймешь — побоялся запачкать нашу идею. А сейчас прошу: узнай у генерала, не даст ли он позволения сбегать туда и взять одни для себя и еще одни для Фернана, он тоже в мокрых башмаках на голу ногу ходит и, сам слышишь, кашляет, как туберкулезный. Отлучусь всего на двадцать минут, это ж прямо

над нами, круто, конечно, но взобраться можно…

Когда разбуженный предутренней стрельбой Лукач, держа фуражку в руке и приглаживая ладонью другой смятые редкие волосы, появился на командном пункте и Белов, уже успевший справиться по телефону, успокоил его, что это снова ложная тревога, я улучил момент и доложил о просьбе Лягутта. Выслушав, Лукач со странным выражением посмотрел мне прямо в глаза.

— Значит, ему угодно, чтоб не меньше как сам командир бригады благословил его на этот акт мародерства?

— Так точно… То есть… Теперь мне ясно… — смешался я.

— А почему, как вы думаете, означенный Лягутт не отправился туда, предположим, вечерком и не забрал безо всякого, что ему понравится?

— Он сознался, что еще когда мы были там, ему пришла мысль взять одни носки, но он постеснялся… Из опасения, ну, уронить, что ли, идею…

— Уронить идею? — переспросил Лукач. — Уронить, говорите, идею… — Лицо его неожиданно осветилось улыбкой. — Чудаки же вы оба с вашим Лягуттом. Передайте ему, что я, так и быть, возьму грех на свою душу: пусть экспроприирует целых две пары носков для себя и столько же для Фердинанда, или как его там, этого малыша… Видишь, Белов, какие проблемы приходится разрешать? Бедная моя головушка!

Не вполне преодолевший дремоту Белов реагировал на его смех вяло. Я повернулся, чтобы сходить порадовать Лягутта, но Лукач задержал меня.

— Не скрою, что наивность, с которой один из часовых обращается хотя и через вас, но в общем непосредственно к командиру бригады по столь значительному делу, сама по себе приятна. Это признак доверия. При всем том хочу заметить, что подобного рода вопросы, не имеющие, так сказать, особой государственной важности, вы должны научиться решать самостоятельно. Разве и без моей подсказки не ясно, что барахло, брошенное в разрушенном снарядами доме, все равно сгниет без толку? Впрочем, будь оно даже в полной целости и сохранности, но ничье, наши бойцы при неотложной нужде имеют моральное право воспользоваться им. Великолепно, конечно, что они так настроены, но нам-то с вами негоже быть чистоплюями. А чтоб на этой почве не развивались стяжательские инстинкты, существует безошибочный принцип: при острой необходимости можно брать все в себя и на себя, но никогда ничего в ранец… Нет, ты слыхал, что за народ? — опять адресовался Лукач к Белову, когда я уже был за дверью. — А Никите по этому поводу ты все же шею

намыль и предупреди, что в следующий раз я сам за него возьмусь, если мне еще попадется боец в чеботах на босу ногу.

До обеда Лукач отсутствовал. Ему перед предстоящим выпрямлением позиций понадобилось, как он выразился, «хорошенько обнюхаться» с Людвигом Ренном. Около полудня появился начальник разведки Кригер и объявил, что от Ренна наш комбриг прошел в батальон Гарибальди. Вскоре после того как Лукач вернулся и наспех перекусил, из Мадрида приехал Фриц. На фронте тем временем загремело и заухало. Стали звонить к Ренну, но связь оказалась нарушенной, и Орел ушел на повреждение. Затем впереди стало стихать, и тогда прилетел на мотоцикле комиссар бригады, а за ним — и его помощник. Из отрывистых предварительных разговоров я уловил, что батальону Тельмана удалось занять несколько оставленных при смене домиков, а батальону Гарибальди — нет. Но тут Белов предложил мне вывести из помещения всех, кто не спит, и там началось совещание, продолжавшееся часа полтора. По его окончании Галло и Реглер немедленно умчались на своих тарахтелках. Потом, бормоча, что он такой же человек, как все остальные, и ему тоже необходим отдых, отбыл в тыл на машине Лукача недовольный жизнью Кригер. Едва «пежо» набрал скорость, на горизонте показалась идущая ему навстречу странной формы конусообразная граненая машина. Когда она разминулась с «пежо», мы определили, что это малюсенький броневичок. Он остановился у кромки шоссе напротив сторожки. Стальная дверца, напоминающая крышку сейфа, бесшумно отошла, и вылез большой человек в кожаной куртке и кожаном, обшитом чем-то вроде колбасок шлеме.

— А, Баранов! — с порога закричал, уже собравшийся уезжать Фриц. — Давай, давай сюда. Нам с тобой нужно договориться.

Договаривались они недолго. Минут через десять Лукач, Фриц и Баранов, тихо беседуя, уже подходили к броневичку. Баранов пожал им руки, забрался, согнувшись пополам, внутрь, затворился, и связной броневичок покатил к позициям. Лукач и Фриц направились к «опелю» и втиснулись в него с двух сторон, втянули ноги, и он побежал в противоположном направлении.

— Вот бумага и карандаш, — Белов положил их на стол. — Садись. — Он развернул сложенный вчетверо исписанный листок. — Переведи это на французский, бери мотоциклиста и кати в Фуэнкарраль. Там разыщешь такого Клоди, заведующего походной канцелярией, он и внешне смахивает на какого-то коллежского асессора… Тем лучше, если знаешь. У него имеется печатная машинка. Отстучишь перевод в пяти экземплярах и — немедля обратно. Это, чтоб тебе было ведомо, приказ на

послезавтра. Дату поставь, номера же пока не надо, а то я позабыл спросить у комбрига, сколько приказов уже издано, один во всяком случае был… Напоминать ли тебе такую вещь, что приказ по бригаде совершенно секретен и что за нарушение военной тайны ты отвечаешь головой?

— Такую вещь напоминать не надо, тем более что тебе придется взять приказ обратно. Я не сумею его перевести.

— То есть как? Ты же свободно говоришь по-французски?

— Говорить говорю, но французского бюрократического языка не знаю, в частности, и военного.

— Подумаешь, какая важность. Переведи слово в слово, и достаточно. Поймут.

— Но надо же знать, как по-французски пишутся приказы.

— Мне известно, как они пишутся по-русски. А твое дело — перевести не мудрствуя лукаво, и все.

— Это немыслимо. Ни по-русски получится, ни по-французски. Хохот подымется.

Последнее, видимо, подействовало на Белова. Несомненно, ему не представлялось желательным, чтобы боевой приказ воспринимался как юмореска.

— Согласен. Сделай это пополам с Клоди, он парень грамотный. Но за точность перевода, учти, буду спрашивать с тебя одного. Клоди ведь тоже с твоих слов будет писать. И не забудь построже предупредить его насчет секретности.

Я нашел Клоди одиноко сидящим в холодной кухне, служившей нам два дня назад караулкой. Услышав, что кто-то вошел, с перил лестницы свесились обе вздыхающие старухи, но при виде моей винтовки в ужасе отпрянули. Пустую кухню Клоди до некоторой степени обставил мебелью: там появились два облезлых деревянных стула. На одном помещался сам Клоди, в канадском полушубке с неизменно поднятым воротником, другой занимала покрытая клеенчатым чехлом машинка. На подоконнике высилась кипа папок и классификаторов, а в углу лежала кондукторская сумка из грубой кожи. За время, что мы не виделись, Клоди отпустил небольшие лапки ниже висков, вероятно, за них Белов и обозвал его коллежским асессором.

— А, это ты, — пробасил Клоди. — Привет. Снимай типографию на пол и садись. — Он чиркнул плоской картонной спичкой и разжег свою погасшую «голуаз блё». — Курить хочешь? Пить нечего.

Я объяснил, зачем приехал.

— Наконец и я пригодился, — произнес он с горечью. — А то пока ребята воюют, а Тимар, Севиль и другие из-под земли добывают что надо, из меня чиновника сделали. Сперва генерал

назначил меня казначеем бригады. Через сутки доставили этот разбитый «ремингтон» и с ним целую канцелярию, кроме письменного стола, разумеется, и мне было объявлено, что по совместительству я еще и делопроизводитель, а сегодня получен пакет из Альбасете и выясняется: там я числюсь начальником полевой почты Бе И Двенадцать Э Эм. Так что я как святая троица: один Клоди и в то же время три Клоди. А поскольку в моей суме ни сантима, бумаг никаких, за исключением произведшей меня в почтальоны, ниоткуда ко мне не поступало, то и дела у меня не больше, чем у троицы на небе. Остается спать, вроде толстого капитана там, наверху, который храпит, как морж, и днем и ночью.

Сигарета Клоди опять погасла, и он разжег ее.

— Я просил генерала, чтоб меня послали в батальон. Через Гросса просил. Он венгр, но объясняется по-французски. Знаешь его? Ну Гросс. Черный такой, сгорбленный, на длинных ногах и с большим унылым носом, форменный марабу. И вообрази, генерал отказал, потому что у меня трое маленьких. И откуда ему стало известно? А я уверен, если порасспросить, найдешь в первой линии не то что с тремя, но и таких, у кого и четверо и пятеро ребятишек…

Приказ, переписанный без помарок мелким и круглым беловским почерком, был, как все приказы, лаконичен и сух. За преамбулой, начинавшейся с неизбежного: «В связи с тем, что…», отдельной строчкой стояло «приказываю» и двоеточие, а далее было расписано по параграфам, что такого-то числа, в таком-то часу, с такими-то минутами должен сделать при поддержке трех танков батальон Тельмана и что — батальон Гарибальди, которому взамен трех танков логично придавались три противотанковые пушки. Смысл приказа сводился к тому, что командиры обоих батальонов, были обязаны восстановить положение, занимаемое на 20 ноября Одиннадцатой интербригадой, то есть отбить у противника все утерянные при смене домики и высотки, а также «доминирующий» над нашими позициями дворец Паласете. Командиру батальона Андре Марти указывалось на одновременную необходимость бдительно следить за врагом и предупредить возможные с его стороны вылазки на фланг атакующих. Предпоследний параграф целиком относился к командиру батареи «имени Тельмана», коему предписывалось за пятнадцать минут до контрнаступления произвести артиллерийскую подготовку «согласно данным ему указаниям», а параграф последний настаивал на необходимости в остающиеся сутки уделить особое внимание рытью окопов и ходов сообщений. Я переводил все это абзац за абзацем, а Клоди

сначала делал пробный устный перевод и после исправлений и уточнений записывал его под собственную диктовку. Когда я дошел до «приказываю», Клоди покосился на бумажку в моих руках.

— Совсем по-прусски. Зачем в революционной армии этот повелительный тон? Во Франции так не позволит себе обратиться к солдатам даже маршал Петен.

Мы управились с переводом за полчаса. Клоди снял с машинки чехол, вынул из папки чистые листы, переложил листочками копировальной бумаги и двумя согнутыми в крючки указательными пальцами, напряженно хмурясь, принялся выстукивать приказ.

С сознанием хотя и скучного, но честно выполненного долга я вручил пять отпечатанных экземпляров французского текста и карандашный русский Белову. Он уселся за стол, обхватил виски пальцами и явно стал сличать перевод с оригиналом, что предполагало знание французского, а потому вызывало недоумение: зачем же Белову было до сих пор скрывать это знание?..

— Как ты отважился на подобное своевольничанье? — отрываясь от чтения и устремляя на меня сделавшиеся сердитыми глаза, возвысил голос Белов. — Тебе было поручено перевести приказ, а ты взамен сочинил какую-то прокламацию! Или ты воображаешь, что умнее всех?

Я почувствовал себя задетым. Быть может, я и производил впечатление уверенного в себе молодого человека, но внутренне скорее страдал комплексом неполноценности, чем излишним самомнением.

— Я, между прочим, в охране штаба, а не переводчик. Мог и не суметь. Но мне кажется, что перевод правильный.

— Правильный? А как же случилось, что в правильном переводе выпало такое фундаментальное слово, как «приказываю»? Куда оно девалось, позволь тебя спросить? — возмущался Белов.

— Но так нельзя выразиться по-французски: j’ordonne. Все равно что по-русски поставить: «повелеваю».

— Ты меня не учи, что можно и чего нельзя. Значит, если французы вместо приказов начнут подавать прошения — извините, мол, за беспокойство, многоуважаемый месье, будьте так достолюбезны, соблаговолите, пожалуйста, отобрать у фашистов Паласете, — то и мы, по-твоему, должны будем им подражать? Разве с тебя недостаточно, что так пишутся приказы в Красной Армии?

— Красная Армия здесь ни при чем. Приказы по этому

шаблону в России отдавались чуть ли не с царя Гороха. Точно так же писал их директор Первого кадетского корпуса генерал-лейтенант Григорьев. В моей памяти еще не стерся его приказ о параде по случаю стовосьмидесятипятилетия со дня основания Шляхетского корпуса фельдмаршалом Минихом. А знаешь, когда в Сборном зале Меншиковского дворца состоялся этот парад? За десять дней до февральской революции! Ничем не отличались по форме и приказы бывшего командира лейб-гвардии Литовского пехотного полка, а позже начальника Виленского военного училища, генерал-лейтенанта Адамовича, когда он волею судеб очутился во главе Русского кадетского корпуса в Королевстве С.Х.С. Я их пять лет на поверках слушал. И Врангель, и Деникин, и Колчак, а до них какой-нибудь Ренненкампф, а до него Скобелев и так далее — сочиняли и подписывали приказы на разные случаи примерно в том же стиле. И лично я не нахожу ничего хорошего, что командиры Красной Армии подражают в этом отношении дореволюционным образцам.

— Не вздумай заводить такие речи во всеуслышание, — сухо предупредил Белов, — а то можешь нарваться на серьезные неприятности. Сам я вступать с тобой в споры не намерен, но знай, что каждый коммунист, где б он ни находился и к какой бы из братских партий ни принадлежал, видит в Советском Союзе воплощение лучших идеалов человечества, а в Рабоче-Крестьянской Красной Армии чтит непревзойденные образцы героизма и надежду всех угнетенных, и при себе я никому ни в том, ни в другом сомневаться не позволю и никаких критических замечаний о родине социализма не допущу.

— Никто и не сомневается, — запальчиво отозвался я. — Мне Советский Союз дорог, в первую очередь, не как моя родина, но как Родина всех трудящихся, а насчет Красной Армии скажу одно: мечта моей жизни когда-нибудь служить в ней. Однако должен ли я при этом обязательно думать, что у ее писарей лучшие в мире почерки?

— Хватит, — отрезал Белов. — Сейчас же отправь мотоциклиста за своим Клоди, пусть берет в охапку печатную машинку, и чтоб до приезда командира бригады перевод был переделан.

Однако доставленный в срочном порядке на командный пункт Клоди не только не взял «ремингтон» с собой, заявив, что ему при езде на багажнике приходится держаться обеими руками, третья же почему-то не выросла, но и поддержал меня перед начальником штаба.

— Dit à camarade Belov, — с достоинством начал он (я, впрочем, не переводил, считая это, после того как Белов

обнаружил свои скрытые познания, излишней роскошью). — Скажи товарищу Белову, что я, как младший перед ним член партии и как волонтер, всегда и во всем к его услугам, но не правильнее ли, если его не удовлетворяет моя работа, поручить ее кому-нибудь другому. У меня все равно лучше, чем в первый раз, не получится.

Когда я изложил ему сущность беловских претензий, белое лицо Клоди порозовело.

— Но это абсолютно невозможно. Чтобы сделать, как товарищ Белов хочет, буквальный перевод, надо исказить дух французского языка, а неправильный синтаксис затруднит понимание приказа. И потом, я все же француз, и коверкать родной язык у меня рука не поднимется. Скажи еще товарищу Белову, — упорно продолжал Клоди, обращаясь ко мне, — что в каждой стране свои нравы и они отражены в ее языке. Французская революция тысяча семьсот восемьдесят девятого года называется не только буржуазной, но и великой. Многое в сознании людей она изменила навсегда, после нее, например, к французу больше нельзя обратиться как к королевскому подданному с чем-то вроде высочайшего указа, но лишь как к гражданину республики.

Вспыхнул жаркий спор. Наше упорство начинало не на шутку раздражать Белова. Я тоже стал злиться. Лишь Клоди сохранял относительное спокойствие, но ведь до него слова начальника штаба доходили в уже остуженном моим переводом виде. Бойцы охраны недоуменно поглядывали на нас, кажется, один Ганев понимал, в чем содержание спора. Ни Белов, ни Клоди, ни я не заметили, как открылась дверь и вошел Лукач. Только когда он положил фуражку на изображавшую буфет усыпальницу и повернулся к нам, Белов спохватился:

— Вот, товарищ командир бригады, не могу добиться толку. И он рассказал, как мы с Клоди извратили приказ, а теперь ни за что не хотим внести необходимые исправления.

Слушая его, Лукач смотрел на носки своих ботинок.

— В чем дело? Почему вы не слушаетесь? — хмуро обратился он ко мне, едва Белов кончил.

Я взволнованно объяснил суть моих и Клоди разногласий с начальником штаба. Лукач поднял на меня красивые серые глаза.

— Переведите слово в слово опять на русский, что вы там состряпали.

Неоднократно спотыкаясь, я прочел вслух перевод перевода.

— Да, это не совсем то. У вас тон если и не просительный, то, можно сказать, сослагательный. А ведь тон, как ваши же французы говорят, делает музыку. Содержание, однако, передано

последовательно и довольно точно… Послушай меня, Белов. Плюнь ты на это дело. Плюнь, ей-богу. Стоит ли тратить энергию на чистейшей воды проформу, да к тому же французскую. Передоверь ее им. Уж Клоди-то наверняка в этом разбирается. А что стиль французских приказов тебе, как и мне, не нравится, так в чужой монастырь со своим уставом не ходят…

Во второй половине дня успевший вновь промокнуть Мориц со своей никогда не просыхающей командой, которую Белов сочувственно прозвал «водоплавающей», соединил три праздных ящичка с остальными двумя батальонами и с батареей Тельмана. Теперь на ближнем краю стола все чаще раздавалось густое гудение. В большинстве случаев это были артиллерийские наблюдатели, подсаженные Клаусом в пехоту и связывавшиеся с ним через наш подвал. Если же звонили Лукачу, трубку уверенно брал Белов, подолгу беседовавший со штабом Ренна и с Клаусом по-немецки, а со штабом батальона Гарибальди, как ни странно, на русском языке: его откуда-то знал батальонный комиссар Роазио. Когда же требовалось объясниться с франко-бельгийским батальоном, Белов, умевший, по-видимому, лишь читать, но не говорить по-французски, протягивал трубку мне, и я, прижав пружину на ней, переводил в обе стороны, быстро научившись различать по голосам нового командира батальона Жоффруа от его комиссара Жаке.

— Что нам ценой невосполнимых потерь удалось на сегодняшний день задержать фашистское наступление здесь, у Паласете и Пуэрта-де-Иерро, — воспользовавшись перерывом между телефонными переговорами, обратился к Белову куда-то собравшийся Лукач, — это, понятно, немалое достижение. Им мы в первую очередь обязаны мужеству и энергии Людвига Ренна, Рихарда и многих никому не известных немецких, югославских, польских, итальянских и других товарищей, а также еще и Гансу Баймлеру, и нашему Галло, и Клаусу и Густаву Реглеру и даже чудаку Кригеру. Но в Карабанчеле батальоны, наспех сколоченные из мадридских рабочих, и лучшие бригады Пятого полка на различных участках мадридской обороны сделали ничуть не меньше, а уж Одиннадцатая, отбившая атаки на Умера и Аравака и контратаковавшая в самые грозные часы в Каса-де-Кампо, главное же, сумевшая отобрать назад половину Сиудад Университариа, совершила, спорить нечего, несравнимо больше. Но вот что мы первые дотянули телефонный провод до переднего края, это превеликое дело. С начала войны ни один еще республиканский командир не говорил по телефону с находящимися в сражении подчиненными, кроме, допустим, счастливой случайности, когда они располагались в доме, где на

стене в передней висел аппарат, а линия каким-то чудом не повреждена: звоните, пожалуйста, барышня соединит…

— Реглер рассказывает, что они, словно в мирное время, соединяют кого с кем угодно. Будто бы и междугородная связь по сю пору действует и никем не контролируется, и при желании можно хоть сейчас позвонить в Бургос или Севилью, чем и пользуется Пятая колонна, — поддержал Белов, но Лукач, не слушая, продолжал:

— Теперь же многие возьмут с нас пример. А для чего мы тут, как не для того, чтобы во всех отношениях подать пример. И что мы, преодолев громадные трудности, сумели так скоро наладить связь, это не одна наша насущная необходимость, но одновременно и немаловажная заслуга. И она непременно нам зачтется, особенно вот ему, — ткнул Лукач палкой в направлении откинутого под погребком люка, — нашему старому Морицу…

(Вопреки его предсказанию и невзирая на то что Лукач не раз впоследствии полушутя-полусерьезно подчеркивал наш приоритет в использовании столь, казалось бы, обыденного средства управления боем, как полевой телефон, которое, однако, в тогдашних испанских условиях действительно являлось организационным достижением, оно ни самому Лукачу, ни тем более старому Морицу, конечно, не зачлось. И если о генерале Лукаче написано множество воспоминаний, если он сделался даже героем нескольких романов, если, наконец, имя его увековечено Хемингуэем, Кольцовым и Эренбургом, то бедный Мориц забыт безнадежно. Да что Мориц, когда постепенно предается забвению пусть не самое имя, так подлинное значение интербригад. Довелось же мне несколько лет назад прочитать в одном из наших журналов статью, доказывавшую, что интербригады сыграли в обороне Мадрида исключительно моральную роль, как живое доказательство международной поддержки, оказываемой Испанской республике. Не могу в этой связи не пожалеть, что упомянутая статья не попалась на глаза таким, вышедшим из народа, испанским военачальникам, как Листер и Модесто. Думается, что они обрушились бы на ее автора с опровержениями, от которых ему бы не поздоровилось. Я, по крайней мере, очень хорошо помню, как в период относительного затишья Листер и Модесто, пожелав лично убедиться, что между мостом Сан-Фернандо и Университетским городком на самом деле ведутся телефонные переговоры (насколько мне не изменяет память, их информировал об этом, да еще с соответственной «подначкой», всеведущий Михаил Кольцов), примчались вдвоем к домику шоссейного сторожа. Я узнал неожиданных гостей, примелькавшихся по газетным изображениям, и с затаенным

любопытством всматривался в открытое, несмотря на сросшиеся брови, широкое лицо Листера и в арабский, горбоносый и тонкий профиль Модесто, левое ухо которого оказалось изуродованным, словно часть его бритвой отхватили. Ганев, бывший на часах, тоже опознал знаменитых командиров, потому что, раньше чем я подал знак, отступил, пропуская их, и милостиво указал шоферу под тополя поближе.

Листер и Модесто, вбежав, так захлопнули за собой дверь, что каменные стены ходуном заходили. Оба молодые, шумные, нетерпеливые, они поочередно хватались за трубки, кричали в них по-цыгански звучащее слово «ойга», на ломаном французском или на еще худшем русском вопрошали, кто там, на другом конце провода, и, вряд ли получив вразумительный ответ, бросали трубку, хохотали, хлопали Лукача по спине, пока не уехали донельзя довольные. Не сомневаюсь, что, получив в эмиграции хотя бы общую военную подготовку, и тот и другой имели не меньшее, чем Лукач, представление о телефонной связи, но — лиха беда начало!.. Призываю Модесто и Листера в авторитетные свидетели, что значение интербригад в Испании не исчерпывалось одними лишь моральными факторами.)

Перед сумерками Гурский и Казимир обратились ко мне с просьбой: им очень хотелось бы пройти в польскую роту, проведать товарищей. Поскольку я усвоил совет Лукача научиться самостоятельно решать вопросы, не имеющие чрезвычайной государственной важности, и поскольку очередь Гурского и Казимира стоять на посту приходилась лишь на ночь, разрешение сходить в батальон я дал, но одному из двух, а кому — пусть решат сами (какой-то инстинкт подсказывал мне, что ради укрепления начальнического авторитета полезнее на первый раз не проявлять излишней мягкости). Не возразив ни слова, Гурский подобрал с земли обгорелую спичку, вынул из коробочки целую, сунул обе головками мне в руку и жестом предоставил Казимиру тянуть жребий. Казимир вытянул обгорелую, передернул плечами и отправился приготовляться ко сну (днем не только спать, но и валяться на сене я запретил), а Гурский двинулся к роще, неся винтовку с примкнутым тесаком на вытянутой руке, как носят охотничьи ружья.

Темнело, когда, обходя подлежащую моему контролю территорию, я увидел бесшумно и быстро приближавшуюся многоместную черную машину. Через несколько мгновений, едва не задев меня крылом, она остановилась впритык ко входу. Из нее вышел коренастый широколицый человек в кожаной тужурке, обмотках и защитной фуражке, из-под козырька которой

выбивался седеющий казачий чуб. Поправив кобуру и размяв ноги, приезжий спросил меня на этот раз с несомненным кавказским акцентом:

— Скажите, такой Белов в этой избушке обитает?

Белов в этот момент зажигал свечу (керосин в барочной лампе иссяк еще накануне), вставленную по приобретенному в Ла Мараньосе опыту в бутылку, куда для устойчивости был насыпан песок. Посмотрев на вошедшего, Белов бросил свечу — устойчивая бутылка покатилась — и шагнул к нему.

— Товарищ Петров! Георгий Васильевич!..

Они крепко обхватили друг друга и так, обнявшись, постояли молча. Встреча у нас на командном пункте была, надо предполагать, не первой в их жизни.

— Ну? Как живешь?.. — слегка задыхаясь, заговорил Петров с еще усиливавшимся от волнения горским акцентом, плохо объяснимым при столь православном имени, отчестве и фамилии. — Я думал, ты, как в Альбасете порешили, батареей командуешь, и вдруг слышу: начальник штаба Двенадцатой…

Дверь, чуть не слетев с петель, распахнулась, и, нагнув голову, чтобы не стукнуться о притолоку, через порог переступил молодой гигант с незнакомой системы ручным пулеметом за необъятной спиной; под левым локтем великан, очевидно, шофер Петрова, держал набитый до отказа, но, похоже, отнюдь не документами, потертый портфель с медной застежкой.

— Сюда неси, Милош, сюда, — засуетился Петров. — Вот сюда, овде, овде на стол. Чувай се само, не разбей бутылку.

— Пазим я, друже пуковниче. Ништа нечу покварити, а найвише ову бутелью, — осторожно кладя портфель возле телефонных ящиков, по-сербски отозвался Милош.

Я обратил внимание, что на правой руке его не хватает указательного пальца, а следовательно, этакий богатырь формально был не пригоден к военной службе.

— Могу ли, молим вас, да идем? — вытягиваясь без малого до потолка, спросил он.

— Ступай, ступай. Чекай на мене у вози, — отпустил его Петров, выходило, не только понимавший сербский, но и до известной степени изъяснявшийся на нем. — Помоги-ка выгрузить содержимое, — пригласил он Белова. — Я привез перекусить. Рюмки-то найдутся? — не вполне последовательно поинтересовался он.

— Зачем нам рюмки, когда найдутся кружки, — ответствовал Белов, поднимая и опять зажигая свечу.

За исключением дежурившего в подполье Морица я единственный был на ногах и, не желая мешать встрече друзей,

выскользнул наружу. Дождь прекратился, но дул леденящий ветер, забиравшийся даже под кожанку. Не знаю, сколько времени гулял я по шоссе туда и обратно, пока вдалеке не послышались гулкие шаги Гурского.

И в полутьме можно было разобрать, что он крайне чем-то удручен: всегда прямой, он сгорбился, словно тащил какую-то тяжесть, и от этого, в особенности после Милоша, казался меньше ростом. На вопрос, почему у него такой понурый вид, Гурский ничего не ответил, он лишь безнадежно махнул рукой. Я тронул его за локоть и повел к мосту. Там мы уселись спиной к ветру на холодный парапет, и я вынул пачку «Голуаз», но не душераздирающих «синих», а доступных простому смертному, вроде меня, «желтых». Покурив, Гурский шумно вздохнул всей грудью, как вздыхают на сцене посредственные актеры, и, глядя себе под ноги, принялся рассказывать.

Когда он добрался до нашей роты, выяснилось, что никого из тех, кого он хотел навестить, в ней уже нету. Нет по-настоящему и роты: всех, оставшихся в строю — а среди них были и перевязанные, — не наберется и на два добрых взвода. А между тем до позиций рота дошла в полной сохранности и заняла отведенное ей место в пустых домиках возле дороги; часть из них была окружена садиками с оградами. По ту сторону дороги в таких же белых и красных домах разместилась балканская рота. Фашистская артиллерия лупила по ним с утра, но прямого попадания в какой-нибудь из домов не случилось, и продрогшие хлопцы были довольны уж тем, что спрятались от дождя, да и выданные хоть по одной на душу ручные гранаты тоже поднимали настроение. Что беспокоило командира роты Стефана и комиссара Мельника, это отсутствие связи между некоторыми домиками, и когда вражеские пушки перестали стрелять, Стефан распорядился кое-где развалить ограды, чтобы легче было перейти от взвода к взводу. Но не успела рота по-настоящему осмотреться, как рядом ужасно загудело, и на дороге появились неприятельские танки. Поравнявшись с домами, они развернулись веером и пошли прямо на наших, поливая из крупнокалиберных пулеметов. С непривычки многие хлопцы здорово оробели, однако не побежали, а что там действительно творилось в каждом домике, никто, понятно, не знает и никогда уже никому не доведаться. Одно все видели, как навстречу головному танку выскочил из дома комиссар Мельник и размахнулся гранатой, но танк с десяти метров ударил ему прямо в грудь из пулемета, и комиссар, не охнув, упал навзничь, и граната разорвалась у него в руке. Из дома полетели в танк другие гранаты, но вреда ему не причинили, и он прошел дальше,

а на роту набежали марокканцы в фесках. В каждом доме, в каждом саду завязался отдельный бой. Стефан держался с тему, кому приходилось труднее всего, но был тяжело ранен и лежал как мертвый, и хлопцы даже решили, что он совсем убит. Командование ротой принял бывший ее командир Владек. Он сумел пробраться по задам от дома к дому и везде приказал, чтобы часть бойцов лезла на чердаки, откуда через слуховые окна и с крыши виднее, куда целить, да и гранаты бросать сподручней. Но скоро и Владека ранило, командовать стало некому, и началась неразбериха. Кто бросился назад, а кто продолжал драться. Видели и таких, кто кидался на марокканцев тесаком вперед, и такого, который прыгнул на них с крыши и сломал ногу, и те его кинжалом прирезали. Все оборачивалось как нельзя хуже, но тут подоспел сам командир батальона и привел пулеметную роту залатать образовавшуюся дыру. Продвижение фашистов уперлось в «максимы» и застопорилось. Но долго еще тех, кто уцелел, скрипя зубами, вынимали из мокрых кустов, так в покинутых домах то стихает, то разгорается перестрелка и рвутся гранаты и слышатся безумные крики, — противник выбивал и добивал забравшихся на чердаки и спрятавшихся в подвалах…

Слушая полный тоски сиплый голос Гурского, я сам внутренне содрогался, он же был просто разбит случившимся. И странно, сильнее всего его удручала не гибель даже чуть ли не половины нашей роты, а то, что, отступая, бойцы не вынесли тело своего комиссара, больше того — оставили и часть раненых. Я также нашел это ужасным, но тут же мне пришло в голову, что ведь и тела тех, кто, окруженный, отбивался до последнего, тоже остались на поругание врагу, некоторые же, несомненно, попались ему в лапы израненными. Должно быть, такие вещи неизбежны, когда на каком-то участке неприятель оказывается сильнее…

Когда Гурский подавленно замолчал, мне удивительно живо представилось грубое сильное лицо Мельника, добровольно, как поговаривали, уступившего комиссарские обязанности образованному Болеку, который на поверку оказался жалким болтуном и даже хуже. Потом я подумал, что в закрывшей прорыв пулеметной роте сражались Иванов, Троян и Лившиц: как-то они там? И вдруг меня будто кольнуло — я же забыл про Остапченко…

— Без вести пропавшим числился заодно со многими из его взвода, — не меняя мрачного тона, сообщил Гурский, добавив, что по этому поводу один легко раненный поляк высказал подозрение, не перешел ли белогвардеец Остапченко к генералу Франко, чересчур упорно не желал этот царский офицер покинуть полуокруженное здание и других еще удерживал. Но тут он, Гурский, вежливенько попросил клеветника заткнуть пасть, если ему, курва мать, не хочется получить прикладом по зубам. — И что думаешь, — немного оживился Гурский, — собрался я уже уходить с этого кладбища без могил, как принесли переданную через интенданта записочку от того верного царского слуги и ярого белогвардейца Остапченко. Пишет он хлопцам, что ранен не слишком тяжело, что спас его санитар, который сам потом получил пулю и лежит в палате с ним рядышком, и еще написал, чтоб ждали и винтовки не ленились чистить, а то скоро их взводный вернется в строй и строго спросит. А только кто ж, коль и дальше так пойдет, кто ж его дождется? — мрачно усомнился Гурский.

Оставив его наедине переживать смерть стольких товарищей, я направился к командному пункту: горе горем, но если ганевский «Павел Буре» не врал, пора было поднимать Фернандо.

За час-полтора Белов и его гость так накурили, что пламя свечи еле маячило сквозь дымовую завесу. На столе красовалась початая бутылка коньяку и были соблазнительно разложены съестные припасы. Но мне почему-то показалось, что и здесь разговоры не отличались излишней жизнерадостностью.

— Вот, позволь тебе представить, — обратился Белов к своему приятелю. — Алеша — прибыл сюда из Парижа. Он сын белоэмигранта, но, как видишь, с нами.

— Не сын, а пасынок, — поправил я. — Отец мой никогда за границу не выезжал. Он бывший киевский губернский архитектор, перед революцией работал в Петрограде, с восемнадцатого же года живет в Москве. Последнее время, насколько знаю, преподает в архитектурном вузе.

— Прости великодушно, я твоих анкетных данных не изучал, — извинился Белов. — Что знаю — или комбриг говорил,

или от тебя. Мог и перепутать. Познакомься же. Это полковник Петров, инспектор пехоты у генерала Клебера. Товарищ Петров, как сам догадываешься, тоже болгарин.

…Недаром, видно, мой отчим, окончивший кроме всего прочего и Мюнхенскую консерваторию по классу рояля, утверждал, что мне медведь на ухо наступил: в который раз сел я в лужу с кавказским акцентом.

— Здорово, пасынок эмиграции, — протянул мне большую мягкую руку Петров, — Коньяк принимаешь? Тогда налей. Чокнемся по случаю состоявшегося знакомства.

Мы глотнули неважного испанского коньяка. Пока, опустившись на одно колено, я безуспешно тормошил разоспавшегося Фернандо, повеселевший от последнего глотка Белов рассказывал Петрову, что получилось, когда, желая особо угодить пулеметчикам батальона Тельмана, им в Альбасете выдали восемь германских «максимов».

— Им бы благодарить, а они возмутились. К Андре Марти целая делегация с претензией явилась. Марти поручил Лукачу принять ее, а он — мне. Смотрю: во главе Макс, я его по Большой Деревне знаю. Виду, однако, не подаю. В чем, спрашиваю, геноссе, дело? В ответ Макс принимается своим берлинским прононсом выкладывать кровную их обиду. Как же это так? Для итальянцев и для французов нашлись советские станковые пулеметы, а для немцев нету? Чем они хуже других? Почему их обошли? Я, как могу, доказываю, что немецкие пулеметы направлены в батальон Тельмана по национальной, так сказать, принадлежности, что лучше всего с ними должны уметь обращаться там, где имеются старые солдаты германской армии, что это, по сути дела, знак особого внимания к добровольцам немецкой национальности. Слушают меня терпеливо. Ну, думаю, убедил. Но не успел я рот закрыть, как Макс — он меня тоже узнал — по-русски вопрошает: «Да на кой хрен они нам, товарищ Белов, сдались, эти немецкие «максимы», дайте лучше отечественные…»

— Ничего удивительного, — заметил Петров. — Уж если проживающие в Москве отборные коминтерновские кадры не будут последовательными и непоколебимыми интернационалистами, то кому же ими быть? А твой Макс, он к тому же и не дурак, знает, что советский «максим» надежнее… Послушай, ты своему соне ногу кверху задери, — подсказал он мне. — Сразу проснется.

Петров еще не уехал, когда возвратился Лукач. Он недовольно повел носом на табачный дым, покосился на недопитую бутылку, сухо кивнул Петрову. Его присутствие явно

не нравилось нашему комбригу. Едва тот отбыл, Лукач забросал Белова вопросами:

— Что ему здесь надо? Клебер прислал? Надеюсь, ты не дал этому соглядатаю в наши дела нос совать?

— Он совсем не за тем, товарищ комбриг, приезжал, — обиженно возразил Белов. — Он так просто завернул, со мной повидаться. Мы же, дай Бог памяти, шестнадцатый год знаемся. Со студенческой поры. И сюда совместно добирались.

Связавшись с батальоном Тельмана и обстоятельно побеседовав с Людвигом Рейном, вызвав затем Роазио и спросив «как дух?», а у Клауса осведомившись, по скольку у него к завтрему окончательно выстрелов на пушку, Лукач, на ночь глядя, по обыкновению уехал в Мадрид, и мы — Белов, Мориц и я — опять коротали ее втроем.

И опять мы изнемогали от бессонницы под симфонический храп бойцов охраны и обезножевших телефонистов. И опять несколько раз за ночь поднималась беспорядочная пальба вдоль всего фронта. И опять Белов, уже третьи сутки не ложившийся и успевший обрасти, как отпускающий бороду монпарнасский завсегдатай, обзванивал командные пункты батальонов…

Последняя перестрелка завязалась уже под утро, но не перед нами, а где-то слева. Вскоре один из ящиков взволнованно зажужжал, и командир франко-бельгийского батальона Жоффруа крайне нервозно сообщил, что по ним стреляют. Я передал это Белову. Он усмехнулся.

— Ты скажи, что на войне оно бывает.

Я перевел в трубку замечание начальника штаба бригады. Судя по тому, как неприятно защелкала мне в ухо мембрана, Жоффруа был задет за живое. И в самом деле, его детонирующий тенорок, прорываясь сквозь щелканье, прокричал, что, если б мы находились поближе к неприятелю, нам было бы не до шуток: он по некоторым симптомам готовился предпринять на рассвете атаку. Люди в ожидании нервничают. Положение складывается в высшей степени тревожное, и он, капитан Жоффруа, считает абсолютно необходимым доложить об этом и о некоторых сопровождающих обстоятельствах непосредственно командиру бригады, разговаривать же с кем-либо другим, по-видимому, бесполезно… Понемногу Жоффруа входил в раж, и мембрана стала трещать, как радиоприемник в грозу.

— Переведи Жоффруа, что я прежде всего прошу его успокоиться. Как же он хочет, чтобы люди не тревожились, когда у него у самого развинтились нервы? Изложи затем, что командир бригады по-французски не говорит и объясняться с ним все равно придется через переводчика, да, кстати, генерала

сейчас и нет. А по существу прибавь, что штабу бригады отчасти известна обстановка на участке. Известно, например, что батальон Андре Марти находится в несравнимо лучших условиях, чем остальные. Во-первых, он под крышей, а не под дождливым небом, во-вторых, — за каменной стеной. Без серьезной артиллерийской подготовки враг к медицинскому факультету не сунется, особенно если по соседству проход, прикрытый лишь грудью тельмановцев и гарибальдийцев.

Пока я переводил все это, онемевшие от тугой пружины пальцы сами собой ослабели, и Жоффруа, неоднократно порывавшийся перебить меня, провалился в телефонные тартарары. Спохватившись, я изо всех сил нажал на выгнутый язычок, и требовательные интонации командира франко-бельгийского батальона, воспользовавшегося тем, что я наконец умолк, ворвались в тихую комнатку. Жаль, что заключительная фраза Белова насчет тельмановцев и гарибальдийцев, грудью закрывавших удобный проход, которая весьма эффектно прозвучала в переводе, не дошла до Жоффруа, может быть, он тогда бы не дал себе воли. А теперь он оскорбленно предупредил, что, если с ним не научатся разговаривать уважительно, ему не останется ничего иного, как прекратить всякие отношения с невежливыми людьми. Между прочим, он уже решил — и комиссар Жаке полностью с ним согласился — письменно обратиться к товарищу Марти, чтобы носящий его имя батальон объединили с батальоном «Парижская коммуна» в одной бригаде, командир которой говорил бы по-французски, это же, в конце концов, официальный язык интернациональных бригад.

Почти синхронно я повторял слова Жоффруа окончательно проснувшемуся Белову. Он досадливо потер лоб.

— Чувствуется, что Реглера больше с ними нет, его пришлось перебросить в помощь главному врачу. Дай-ка трубку.

На правильном, хотя и несколько замедленном французском языке Белов строго призвал Жоффруа к порядку. Как он, офицер французской армии, позволяет себе до такой степени распускаться! Понимает ли он, где находится? Или он выстрелов никогда не слыхал? А если слыхал и не хочет, чтобы в отношении его были приняты напрашивающиеся дисциплинарные меры, пусть сейчас же прекратит непристойную истерику… Суровая отповедь Белова немедленно принесла плоды. Ему больше не приходилось, морщась, отодвигать мембрану подальше от уха. Жоффруа заметно снизил тон и успокаивался. Зато я не мог успокоиться. Белов таки знал французский, к чему же он битую неделю притворялся? Я прямо спросил его об этом.

— Как тебе сказать… Мне ведь очень-очень давно не

представлялось сколько-нибудь продолжительной практики, и я не был в себе уверен. Но главное — не вздумай только обижаться — я не был уверен в тебе. Ну подумай, что про тебя известно? Можно считать, ничего, за исключением такого настораживающего, сам понимаешь, обстоятельства, что ты русский, но не советский, то есть фактически белоэмигрант, пускай даже мальчиком вывезенный за границу, но воспитанный в махровой белогвардейской среде. Ведь так?

— Так, — признал я.

— А кроме этого, что я знаю? Лишь то, что тебе заблагорассудится при той или иной оказии о себе сообщить. Что же касается сопроводительных бумажек… Достаточно вспомнить Мулэна под Серро-де-лос-Анхелесом. Посуди, имел ли я право с закрытыми глазами довериться тебе, а не попытаться незаметно проконтролировать, в частности, насколько ты владеешь французским и сумеешь ли при необходимости послужить переводчиком, тем более что командир бригады уже использует тебя в качестве такового. Сейчас я знаю, что сумеешь. Но одновременно я узнал и кое-что другое. В уверенности, что ни комбриг, ни я тебя не понимаем, ты разговаривал при нас по-французски не стесняясь, как при глухих…

— Выходит, что ты меня как бы подслушивал?

— Вот-вот, — нисколько не смутился Белов. — А при этом, как ты выразился, подслушивании можно было по некоторым оттенкам многое почувствовать. Но хочешь знать, на чем я тебе окончательно поверил? Это когда ты на стенку лез, защищая свою версию приказа.

— Не свою, а нашу с Клоди.

— Хорошо. Вашу. Не вообрази, пожалуйста, что я задним числом с вами согласен. Я продолжаю думать, что военные приказы не должны походить на коллективные договоры и что вы со своим Клоди ни черта здесь не понимаете. Ваше счастье, что командир бригады косвенно поддержал вас, а я, в отличие от тебя, человек дисциплинированный и беспрекословно подчинился. Иначе бы вы у меня всю ночь напролет просидели и пусть бы сорок раз свое сочинение переделали, но чтоб получилось как надо. Но это в прошлом. Для настоящего в нем важно одно: хоть ты был кругом неправ, но с пеной у рта защищал свое мнение, проявив прямо-таки завидное упрямство, до наивности, заметь, нерасчетливое. Захоти ты втереться в доверие, какой смысл имело бы до хрипоты настаивать на своем и доводить меня до белого каления?..

На рассвете вслед за Лукачем съехались Фриц, Галло, Баймлер, Реглер, Кригер и Клаус со своим малорослым,

неправдоподобно одинаковым в длину и в ширину заместителем. Казимир еле успевал отгонять машины и мотоциклы. Видя, что предстоит совещание, я не стал дожидаться беловского указания и вывел все население сторожки на шоссе. Дождя не было, и нам не пришлось топтаться в пустующей вилле. Поеживаясь от утреннего холодка, мы покуривали, разбившись на кучки.

Задолго до назначенной контратаки проезжие, кроме Фрица, отправились к своим местам, и мы смогли возвратиться восвояси. Началось напряженное ожидание. Через полчаса в отдалении возникло тяжкое урчание, и на шоссе показались обещанные танки. Они шли гуськом и двигались гораздо медленнее, чем грузовики на первой скорости, однако быстрее бегущей рысью лошади. Но, Господи, сколько шума они производили! Когда грохот приблизился, Лукач и Фриц вышли посмотреть на них. Из открытых люков высовывались по пояс крепкие парни в кожанках. Молодые типично русские лица были охвачены шлемами с двойным гребешком наверху и чем-то вроде приплюснутых бараньих рогов по бокам. Лязгая и скрежеща, танки проползли мимо нас. Перед рощей все три плавно повернули башни пушками назад, вероятно, чтоб не уткнуться ими в деревья. Еще продолжительное время после того, как грозные машины скрылись из виду, до нас доносился то слабеющий, то усиливающийся гул их движения, пока они где-то не остановились. Но настороженная тишина продержалась всего несколько минут. Ее нарушила стоившая позади батарея Тельмана. После первого же ее залпа впереди разгорелась ружейная и пулеметная стрельба, сквозь которую пробивалось редкое уханье ручных гранат. За первым залпом последовал второй, и над нашими головами вторично прошуршали летящие к врагу снаряды… Третий… Четвертый… Огонь пехоты усилился. Ответные пули фашистов опять начали долетать почти до самого командного пункта. Заработала и вражеская артиллерия. Белов крикнул в норку Морицу, чтоб тот вызвал немецкий батальон, но Лукач, меривший шагами узенькое пространство между буфетом и дверью, мягко притронулся к спине начальника штаба.

— Может, воздержимся? Стоит ли в самом начале толкать их под руку? Звоня сейчас, мы лишь обнаруживаем собственное беспокойство и неуверенность. Или ты хочешь навязать Людвигу Ренну мелочную опеку, поучать его? Так он еще нас с тобой научит. Пусть себе действует самостоятельно. Понадобится, сам к нам обратится.

Фриц, сверявший свою карту с беловской, встал, перекинул планшет через плечо, провел, выравнивая его, вдоль ремешка большим пальцем, оттянул кобуру назад.

— Думаю, если не возражаешь, сходить туда, посмотреть на все невооруженным глазом.

— Ой, как возражаю. Но возражай я не возражай, ты же все равно пойдешь, — отозвался Лукач. — Об одном, родной, прошу, будь поосторожнее.

Не прошло после ухода Фрица и двадцати минут, как Мориц высунулся из норы и торжественно, как мажордом на великосветском рауте о титулованных посетителях, провозгласил, что у телефона Людвиг Ренн собственной персоной. С ним говорил Лукач, точнее, не говорил, а сдержанно, поддакивая, выслушал. Положив трубку, он рассказал Белову, что наступление началось с неудачи: танки еще не вышли на исходный рубеж, когда шедший вторым сорвал гусеницу и загородил путь последнему. Первый танк тем не менее продолжал в единственном числе двигаться вперед, поднялась в атаку и немецкая ударная рота. Но едва он выбрался из деревьев, как спрятанное в доме напротив скорострельное орудие открыло по нему огонь и сразу же подбило. Танк загорелся, к счастью, экипаж успел выскочить. Ударная рота, само собой, залегла. Итальянцы, по сведениям Ренна, тоже не продвинулись. Он послал связного к командиру батальона Гарибальди, прося его подойти, чтобы на местности договориться, как общими усилиями взять находящийся на высоте, в стыке меж ними зеленый дом, в котором засело два «гочкиса» и противотанковое орудие. Ренн надеется подготовить повторение операции к шестнадцати часам и просит ее санкционировать, считает, что, во всех подробностях согласованная с гарибальдийцами, она будет успешнее утренней…

— Вот теперь свяжись, пожалуйста, с итальянцами. Надо же знать, что у них и какое настроение. Без этого я не могу благословить Людвига Ренна на выполнение задуманного при их участии мероприятия.

Белов хотел распорядиться, но Мориц без предупреждения подсоединил ближайший ко мне закрытый ящик, загудевший до того громко и злобно, что я чуть не сбил его на пол, поспешно поднимая крышку. Говорили по-французски и как раз из батальона Гарибальди. Не растерявшись, я сунул трубку Белову.

— Это Леоне, — бросив мне укоризненный взгляд, пояснил он Лукачу, — что командовал центурией Гастоне Соцци.

— Разве и у них была до интербригад своя центурия? — не сдержал я удивления.

— Была, была. И очень боевая. И у французов была, и у поляков, — подтвердил Лукач. — Немало иностранных добровольцев сражалось и под Ируном… Ну, что там? — торопил

он Белова.

Но тот продолжал прижимать трубку то к правому, то к левому уху, меняя руку, когда пальцам делалось невмоготу от идиотски тугой пружины. Лишь после того, как обстоятельный рапорт по телефону был выслушан до конца, Белов изложил его содержание Лукачу. Поначалу у итальянцев все шло очень хорошо. Они быстро продвинулись туда, откуда отступили в первый день, но дальнейшее продвижение стало невозможным, так как, батальон Тельмана не наступал и левый фланг их обнажился, что тотчас же использовали фашисты, ударившие по ним из пулеметов сбоку. Попытка подавить эти пулеметы приданными гарибальдийцам пушками оказалась несостоятельной: прежде чем их выволокли на позицию для стрельбы прямой наводкой, две были накрыты вражеским артиллерийским огнем, а третью хотя и удалось выкатить поближе к цели, однако очередь из «гочкиса» тут же скосила четырех из пяти человек испанской прислуги, и оставшийся в живых невероятным усилием оттянул свою престарелую катапульту в безопасное место. Безрезультатно пролежав под пулями свыше часа, гарибальдийцы были вынуждены отойти в первоначальное положение. По мнению Леоне, без поддержки республиканской артиллерии отвоевывание каждого здания обойдется дорого. И все же стоящий на холме зеленый дом так досадил всем, что они, в штабе Гарибальди, согласны с предложением немецких товарищей и хотят сегодня же взять его.

— Наступление всего двумя, да еще потерявшими до четверти состава батальонами на эти высотки, где дома служат укреплениями, — покушение с негодными средствами, — резюмировал Лукач, — что я и доказывал Клеберу. Но если после всех неудач и потерь народ сам рвется в бой, я не считаю себя вправе препятствовать…

В четыре с чем-то за рощей снова загремел бой. К вечеру стало несомненным, что и он завершился если и не полной неудачей, то — лишь частичным успехом. Гарибальдийцам, правда, удалось вскарабкаться по обрыву до самых стен пресловутого зеленого дома, но, когда они попробовали проникнуть внутрь, подтвердилось то, что мы усвоили еще под Серро-де-лос-Анхелесом: тесак не осадное оружие и протаранить им здесь кирпичную кладку было ничуть не легче, чем там — каменную. В результате гарибальдийцы отхлынули ни с чем, унося убитых и раненых, среди которых находился и командовавший неудачным штурмом Леоне. Зато тельмановцы, пусть и не дошедшие до ненавистной «каса роха», а следовательно, практически не поддержавшие соседей, все же

продвинулись в заданном направлении и захватили несколько построек, а между ними конюшню, относившуюся к Кампо-дель-Поло, и неизвестно к чему относившийся свинарник с ослабевшими от голода и жажды свиньями (марокканцы, испытывавшие к ним завещанное Магометом отвращение, не только не защищали нечистых животных, но и близко не подходили к зловонному помещению). Достижения батальона омрачало тяжелое ранение — в грудь навылет, — полученное молоденьким офицером ударной роты. Лукач, узнав о нем, был сильно огорчен.

— Алекс Маас ранен? Такая жалость! Мальчик же еще совсем, да к тому же начинающий писатель. Туберкулез ему, бедняге, теперь обеспечен.

Мне было абсолютно невдомек, почему, собственно, наш комбриг, профессиональный военный, считает, что начинающего писателя следует жалеть больше, чем законченного шахтера, допустим, или потомственного металлиста, но я благоразумно промолчал.

— Не хочешь остаться, без комиссара, забирай из батальона и держи при себе. А то я наблюдал, как он, вместо того чтоб политработу обеспечивать, побежал, подобрав чье-то ружье, выбивать неприятеля из Паласете, — предупреждал Лукача Фриц по возвращении с передовой. — Подводя же итог остальным моим наблюдениям, я сделал бы следующий вывод — так и товарищам в Мадриде доложу: неподготовленные и недостаточно обеспеченные техникой мелкие операции, вроде сегодняшней, являются напрасной тратой сил, тем более что, потерпев неудачу на данном участке, фашисты, по моему твердому убеждению, здесь больше не сунутся. Уверен, что их командование уже подыскивает новое слабое звено в нашей обороне, и скорее всего где-то поблизости, чтобы избегнуть переброски войск на дальнее расстояние, а тем самым и время сэкономить и не дать нам ее засечь. Задача поэтому не на рожон лезть и попусту расходовать свои скромные ресурсы, а готовиться к отражению нового наступления и для того обязательно держать в резерве одну из двух интербригад. А тут все что требуется — это закрепиться, то есть и днем и ночью, не щадя сил, окапываться, окапываться и окапываться.

По его просьбе я вышел подозвать «опелек». Едва Фриц отъехал, как со стороны рощи донеслось явственное цоканье подков. Юнин, вопросительно оглянувшись, слышу ли я, припал на одно колено и брякнул затвором. Я сдернул винтовку и уже набрал в легкие воздуху, чтобы заорать «alarme!», но своевременно узрел, что на нас надвигается не марокканская

конница, а безоружный боец с повязкой на голове, ведущий под уздцы двух неоседланных коней, будто сошедших с акварели к лермонтовским «Трем пальмам». Впрочем, мне довелось повидать подобных лошадей и наяву на парижском параде этого года по случаю 14 июля, когда по Елисейским полям, обнажив сабли и развевая белыми бурнусами, рысили к президентской трибуне полки спаги на чистокровных арабских скакунах.

Лошади, которых подводил к командному пункту тельмановец с забинтованной головой, были гораздо крупнее, но очень походили на арабских. Особенно хороша была золотисто-рыжая кобыла с белой звездой во лбу. Поравнявшись со мной и Юниным, раненый коновод остановился, и кобыла загорячилась, шарахнулась в сторону, толкнула заложившего уши гнедого мерина и, осаженная, вытягивая точеные, ножки и касаясь асфальта кончиками копыт, заплясала, как балерина на пуантах.

Тельмановец по-французски осведомился, здесь ли генерал и нельзя ли попросить его на минуточку, но Лукач, по всей вероятности услышавший конский топот или случайно выглянувший в окно, уже выходил с Беловым.

— Какие породистые кони! — воскликнул Лукач. — Откуда они? — и он повторил свой вопрос по-немецки.

Видимо, тельмановец, как ни удивительно, плохо знал немецкий, потому что отвечал опять по-французски, что лошади эти — трофей. Они вместе с другими, найдены в захваченной сегодня конюшне и принадлежали, говорят, богачам, игравшим в поло. Командир батальона приказал интенданту отправить их в тыл и передать кому полагается, но бойцы роты, занявшей конюшню, зная, что их генерал кавалерист, решили подарить ему эту красавицу, а для его ординарца отобрали гнедого.

— Переведите, что я от всей души благодарен. Лучшего подарка нельзя было придумать, хотя пока я ничем не заслужил. Спросите товарища, не нужно ли ему отдохнуть, он же ранен. Быть может, он хочет есть или пить?

Но тельмановец отвечал, что ему ничего не надо. А что до ранения, так он ранен легко, пуля лишь содрала полоску кожи с волосами, и все.

— Тогда скажите, что я прошу довести коней до Эль-Пардо, где доформировывается наш эскадрон, и сдать его командиру майору Массару. Или нет, напишите Массару сопроводительную записочку, чтобы он принял их и берег… Хотя будет еще лучше, если я сам черкну пару слов Гримму. Это комиссар эскадрона, и ему можно по-русски, — пояснил он Белову. — Ах, да, чуть не забыл: вам от него привет. Я как-то упомянул про вас, и вдруг оказывается, вы знакомы…

Боец в белой повязке, то и дело приподнимаемый, как на гигантских шагах, уздечками горячих коней, пританцовывающие крупы которых заносило в стороны, был уже далеко, а Лукач продолжал смотреть вслед почти влюбленными глазами.

— Хотел бы я знать, — поделился он с Беловым, — как они пронюхали, что я конник? С Ренном мы, верно, встречались совсем в других обстоятельствах и беседовали по душам, но, кроме него, никто в батальоне про меня ровно ничего ведать не ведает, а Ренн не проболтается.

— В балканской роте полно товарищей оттуда же, откуда и мы, — осторожно заметил Белов. — Как некоторым из них не знать?

— Ты, между прочим, когда я уеду, дозвонись, прошу, до Ренна и сообщи, что меня удивило его распоряжение отправить куда-то там отбитых у франкистов коней. Пускай они ему не нужны, но неужели у него из головы вылетело, что у нас эскадрон в стадии формирования? Прикажи от моего имени всех до одной — у него еще шесть осталось — отвести к Массару. Насчет же свиней, чтобы оставили у себя, сколько им на ближайшие дни понадобится, а прочих сдать Никите. А то пожадничают, а потом не столько съедят, сколько от бескормицы подохнет. А Никита корм найдет, и получится для всей бригады приварок.

Он уехал и появился лишь наутро, но, занятый какими-то неотложными делами, провел с нами не больше двадцати минут: прочитал заготовленные Беловым в двух экземплярах — для командования сектором и для мадридского штаба обороны — рапорты за сутки, а также рапортичку о потерях и численности бригады, подписал их, покачивая головой и бормоча, что часть, лишившаяся в бою трети своего состава, по всем учебникам небоеспособна, аккуратно сложил все четыре еще не переведенные бумажки, спрятал в нагрудный карман и снова укатил. В его отсутствие день, лишенный каких-либо событий, показался мне бесконечным. Наконец наступил вечер, и к Белову вторично приехал Петров. Как и в прошлый раз, роскошная его карета появилась на шоссе, едва сгустились сумерки, и опять остановилась впритирку к двери. Выскочивший из-за баранки Милош так распахнул ее перед своим начальником, что она ударилась ручкой об стену. Петров с достоинством перешагнул через порог, снял измятую фуражку, тряхнул чубом и за руку поздоровался с Беловым, потом со мной и дальше со всеми, кто сидел за столом. Милош, старавшийся после неудачи с дверью двигаться осторожно и забавно напоминавший Гулливера среди лилипутов, опустил около свечи все тот же, не документами чреватый портфель и вынул из него небольшой вяленый окорок,

круг сыра, банку зеленых оливок и громадную, как именинный пирог, плитку шоколада для варки. Бутылку коньяка успешно заменил принесенный отдельно лакированный дубовый бочоночек литра этак на три, лежащий на маленьких, тоже дубовых козлах; аппетитная внешность была, впрочем, обманчива: из краника его вытекал коньяк ничуть не лучшего качества, чем в позавчерашней бутылке. Как бы то и было, но приплюсованный к содержимому петровского портфеля бочонок этот неоспоримо доказывал превосходство интендантства Одиннадцатой интербригады над нашим.

Скоро и пребывавшие за столом и оставшиеся на сене дружно жевали накромсанные тесаком деликатесы, а эмалированная кружка, произведенная в заздравную чару, совершала ритуальный круг. Понемногу и связисты и охрана, выпив по толике коньяку и закусив, расползлись из деликатности по своим местам. Юркнул в свое телефонное святилище и Мориц. Между тем Белов и Петров вовсе не собирались секретничать, и когда я, завершив нарочито замедленный обход, вернулся, начальник штаба бригады окликнул меня:

— Где ты разгуливаешь? Подсаживайся к нам. Только раньше, поскольку ты на ногах, не поленись налить.

И он подал три кружки. Тут я заметил, что бочонок, пока меня не было, успел перекочевать на буфет, где выглядел как нельзя более уместно, а главное разрушал стиль «pompes funèbres»[35], свойственный этому сооружению.

Нацедив коньяку на дно каждой кружки, я поместился рядом с Петровым и рассказал, что Милош взял меня на мушку ручного пулемета, когда я подошел к его машине в темноте.

— Он не дремлет внутри, как другие шоферы, а бдительно охраняет, словно в ней по меньшей мере полковая казна.

— Да, парень старательный, — согласился Петров. — И очень преданный. К сожалению, больше лично мне, чем делу. К тому ж и смелый: ни на шаг не отстанет в самом неуютном месте. Отсылающего к машине — ни в какую, будто не слышит. Вышагивает себе сбоку и всем видом демонстрирует, что он мой телохранитель и я без него пропаду. Будь такой у Дуррути, его б не убили. Силища ведь у Милоша невообразимая — буйвол! Обходили мы с ним недавно позиции колонны полковника Мангада. Проходят они по окраине одного селения, а центр обороны, как часто здесь, сементерио, кладбище то есть. Мне его каменная стена выше бровей, ни черта не видно. Кое-как перелез я через нее, смотрю в бинокль. Милош скок за мной, стал рядом. А его разве что слепой за десять, километров не разглядит: ориентир вроде колокольни. Фашисты сразу начали по нему

стрелять, пошло вокруг нас звенеть и звякать. Надо, решаю, пока не поздно, смываться. Ухватился за верх стенки, подтягиваюсь, позвал Милоша. А он сочно выругался по-сербски… Ты-то не знаешь, — последнее относилось ко мне, — но это точь-в-точь как по-русски.

— Знаю, — уточнил я.

— Тем лучше, если знаешь, сможешь, значит, когда понадобится, поговорить с ним по-родственному, — одобрил Петров. — Итак, выругался мой Милош, расставил ножищи для упора — так художники рисуют охотника на куропаток, — вскинул самопал свой к плечу и давай катать. Представляете? Из ручного пулемета!

— Он откуда, Милош? — спросил Белов.

— Прямым рейсом из Югославии. Из Сараева.

«Может быть, мы с ним даже встречались», — подумалось мне, но я тут же сообразил, что исполнилось ровно одиннадцать лет, как я покинул бывшую столицу Боснии и Герцеговины, удивительнейший гибрид чистенького австрийского городка и турецкого торгового местечка, а следовательно, если я когда-нибудь и встретился там с Милошем, то ли на респектабельной набережной реки Милячки, то ли возле главной мечети, вознесшей стройные минареты над пестрой толкучкой классического восточного базара, где мы оба покупали, конечно, одни и те же лакомства: инжир, рахат-лукум и нугу с орехами, — так этому детине было тогда лет десять…

— Коммунист или комсомолец? — продолжал расспрашивать Белов.

— Какой там коммунист. Он сараевский полицейский, «полицаяц» по-сербски, а точнее — сыщик, агент. Не ожидал? А я, когда его определили ко мне шофером, думаешь, ожидал? Нигде это о нем, имей в виду, не записано, и правильно сделано. Я его за язык не тянул, он по собственной инициативе поведал мне свою эксцентрическую биографию. Все началось с того, что Милош закончил городское училище в период мирового экономического кризиса. Ткнулся туда, ткнулся сюда — нигде не берут, во всех отраслях безработица. И посоветовал ему кто-то, учитывая его данные, наняться в полицию. Особых возражений у Милоша против этого не имелось, и стал он верой и правдой служить кралю Александру Караджорджевичу. Бороться с крамолой Милошу по молодости лет не поручали, а использовали в охране всяких значительных учреждений и высокопоставленных особ. Приходилось ему оберегать и персону начальника сараевской полиции. Тут-то и попутал Милоша бес. Его соблазнила (справедливости ради необходимо отметить, что он

не очень-то разыгрывал прекрасного Иосифа) жена одного начальника. Но каким, спрашивается, тот был руководителем полиции, когда б в скором времени не прознал о шашнях своей супруги с агентом номер такой-то? Каждому, кто знаком с балканской спецификой, ясно, что превысившему полномочия агенту, в данном случае Милошу, грозила жестокая месть, вплоть до смерти от несчастного случая. Милош не хуже нас с тобой понимал это, так что едва жена сараевского Пентефрия, ломая, как в подобных случаях полагается, белые руки, предупредила своего милого, он бежал без оглядки и не оглядывался до самого Парижа, где надеялся завербоваться в Иностранный легион. Остановился Милош в Париже у одного югославского студента, адресом которого снабдили беглеца какие-то общие родственники. Студент этот оказался коммунистом. Узнав о планах Милоша, он пришел в справедливое негодование, пристыдил несознательного родича и сумел внушить ему достаточное отвращение к тому уголовному сброду, каковой стекается со всей Европы во французский Иностранный легион. После этого убедить Милоша, что уж если он готов идти воевать, то лучше воевать за правое дело, а за правое дело сражается испанский народ, и ему помогают юнаки с целого мира, было гораздо легче. Так Милош и оказался среди нас.

— Довольно случайно, надо признаться, — отметил Белов.

— Случайно ли? На жизненном перепутье ему встретился коммунист и указал правильную дорогу. Разве с одним Милошем случилось подобное? И вправе ли мы судить его строго? Ведь он совсем еще юнец: недавно достиг гражданского совершеннолетия. Заметь, я не утверждаю, что это чистый молодой человек. Нет, он отнюдь не tabula rasa. Буржуазия успела исчеркать ее различными пакостными надписями, вроде тех, что пишутся на заборах. Нам надлежит стереть с его души похабные слова и непристойные рисунки, а взамен постараться начертать свои высокие девизы…

Петров засиделся далеко за полночь, а Лукач приехал чем свет, и все же, как ни коротка получилась эта ночь, — которая по счету без сна, — она была форменной пыткой. Подперев щеки кулаками, Белов и я продолжали упрямо восседать за столом, но, сколько ни таращили глаза, ежеминутно засыпали, и тогда локти соскальзывали, и мы падали вперед головами, но, потерев глаза и чертыхнувшись, немедленно засыпали снова, пока, взглянув на ганевские часы, я вдруг не обнаруживал, что опаздываю поднять сменного, и как раз в этот момент Белов громко всхрапывал и, разбуженный своим храпом, вскакивал в испуге, а придя в себя, опускался на стул и засыпал опять. Даже двужильный Мориц ослабел и не находил в себе сил ворчать; непривычная тишина

стояла внизу, где он, никому не доверяя, сторожил коммутатор, и лишь тоненькая струйка табачного дыма, поднимавшаяся оттуда, показывала, что старый унтер лучше нас борется со сном. («Алло! Центральная!..» — стараясь развеселить его, кричал Белов, когда подходило время проверить, бодрствуют ли дежурные в батальонах.)

Лукач, всмотревшись в Морица, вылезавшего из своей-преисподней на источаемый открытым термосом райский аромат кофе, и переведя взгляд на моргающего воспаленными веками Белова, возмутился:

— На кого вы оба похожи! Одни носы торчат! Без промедления катите на моем «пежо» в Фуэнкарраль. Сам ляжешь в мою кровать под балдахином, а для Морица есть в коридоре диванчик. Пришлю за вами Луиджи вечером, к двадцати двум будьте готовы.

Он по-немецки задал вопрос смущенному предложением, пытающемуся отнекиваться Морицу, кого он оставит своим заместителем, и тот, как я и ожидал, назвал Орела, а назвав, собственноручно безжалостно растолкал и, если не накричал, стесняясь начальства, то нашипел по-змеиному.

— Можешь ни о чем не беспокоиться, — успокаивал Лукач торопливо прихлебывающего горячий кофе Белова. — Вдвоем с Алешей мы как-нибудь без твоей милости управимся. А вернетесь, его спать отправлю, он хоть и помоложе, а тоже стал на мумию похож.

Обязательная утренняя перестрелка утихла, как всегда, с рассветом. Еще до завтрака один за другим примчались из батальонов раскрасневшиеся от холодного ветра мотоциклисты. За перчаткой у каждого лежал суточный рапорт. Все, даже рапорт Людвига Ренна, были составлены на французском, и я вслух перевел их.

— Не ошибся я в Белове, — удовлетворенно промолвил Лукач. — Образцовый начальник штаба из него получается. Посмотрите, как быстро и притом без крика и шума он порядки наводит. Теперь подбейте, пожалуйста, все цифры и сразу начисто пишите две бумажки наверх о состоянии бригады на сегодня.

Только я выполнил его задание, как на мосту послышался непонятный гул. Я выскочил узнать, в чем дело.

— По-моему, танки, — предположил Ганев.

И действительно, не от моста, а из парка выполз советский танк, тащивший на цепи второй, маленький, с двумя пулеметами вместо пушки. Не доезжая сторожки, большой застопорил, и буксирная цепь, чуть потоньше якорной, провисла. Из башни

ловко выпрыгнул Баранов и направился к нам. Кожаная одежда скрипела на нем, как, бывает, скрипят новые сапоги. В двери он едва не столкнулся с Лукачем.

— Итальянскую танкетку везешь? — спросил он весело. — Удалось?

— Ее, голубушку, — подтвердил Баранов. — Да она что. Вот танк сколько у них под носом простоял, а спасли, и целехоньким. Попить найдется?

Лукач повел Баранова напиться, а я подошел к танку. Он него несло выхлопными газами и перегретым маслом. Вблизи он казался еще более могучим и грубым. Снаружи к нему кое-где были довольны кустарно прикручены проволокой такие невоинственные предметы, как штыковая лопата, странной формы топор на длинном прямом топорище, напоминающей алебарду, обыкновенное ведро и погнутый лом. Обвешанный всем этим пожарным инвентарем, танк выглядел как-то незавершенно. По сравнению с ним итальянская танкетка поражала своей чуть ли не ювелирной отделанностью. Нельзя было понять, почему фашисты бросили ее: ни пробоин, ни иных повреждений я в ней не обнаружил.

— Эх, хороша! — одобрил подошедший сзади Лукач. — Бонбоньерка! На новогоднюю елку повесить можно.

— Аккуратненькая, — признал Баранов. — Броня, однако, слабовата. Бронебойная пуля из трехлинейки берет. А что нарядная, так да. Наш возле мужик мужиком. Но для войны лучше подходит. Ему б еще плоскости скосить и скорости прибавить. Ну, и чтоб гусеницы держались…

Везя за собой елочное украшение тонн на пять, танк, громыхая, уполз. Я вошел предупредить Фернандо, что пора на смену, когда Ганев постучал в окно, вызывая начальника караула. Мы с Фернандо заторопились. Из тыла, влача шлейф сизого дыма, подбегал запыленный четырехместный «ситроен»; ветровое стекло его было в трещинах, крылья помяты, радиатор носил следы столкновения. При несложном нашем ритуале смена часовых была закончена ранее, чем потрепанная машина остановилась, и на шоссе вышел черненький молодой человек в штатском. Разбитая и грязная таратайка, на которой он прикатил, удивительно не гармонировала с его почти изящной внешностью. На груди у него в светло-желтых футлярах висели два сверхъестественных фотоаппарата. Приятно улыбаясь, молодой человек, по произношению чистейший парижанин, представился корреспондентом «Ce soir» и «Regards» и прибавил, что хочет сделать несколько снимков с интернациональных добровольцев, обороняющих Мадрид, а так как необходимо, чтобы эти товарищи

были разных национальностей, он просит дать ему проводников во все три батальона. В заключение он представил пропуск, в котором на двух языках — испанском и французском — было напечатано, что подателю сего, товарищу такому-то, разрешается посещать районы боевых действий и военные власти повсеместно должны оказывать ему посильное содействие в его миссии. Взяв пропуск, я отправился за указаниями к Лукачу.

— Хочет получить проводников в батальоны? Скажите пожалуйста! А съездить туда на мне верхом ему не хочется? — не дал комбриг договорить. — Гоните его к чертовой матери! Понадавали пропусков кому не лень, всяким подлецам, международным литературным аферистам и даже патентованным шпионам, по совместительству числящимся сотрудниками сомнительных изданий. А господа журналисты не столько в газеты пишут, сколько информируют Франко. Этот же вон еще и фотограф. Сегодня он нас на пленку, а завтра на наши головы бомбы посыплются. Нет и нет! Выпроводите его в три шеи. Не послушается — прикладом!

Я возразил, что «Regards» не сомнительное издание, а иллюстрированный еженедельник, печатаемый Французской компартией, о выходе каждого номера которого обязательно делается реклама в «Юманите», про «Се soir» же и говорить нечего, им руководят Жан Ришар Блок и Луи Арагон. Лукач, слушавший меня с недоверием, как только я назвал Жана Ришара Блока и Луи Арагона, уступил.

— Если так, ладно. Но сюда его не впускайте. Не ровен час щелкнет, а мне фотографироваться не полагается. Про передовую тоже нечего и думать. Безопасно пройти туда сейчас можно лишь затемно, а пока светло, взгнездившиеся на деревья марокканцы сами снимут этого вашего фотографа. Объясните ему все это по-хорошему, он должен понять. А мост, если захочет, пусть себе на здоровье фотографирует. Оно даже бы невредно: мне один человек рассказал, что за границей пишут, будто фашистами захвачены все находящиеся в черте города мосты через Мансанарес, в частности, и мост Сан-Фернандо.

Возвращая молоденькому фоторепортеру его пропуск, я извиняющимся тоном передал ему от имени командира бригады, что ни дать провожатого, ни тем более позволить самостоятельное посещение батальонов он не может: в дневное время это слишком опасно. Зато здесь, около командного пункта, генерал, разрешает фотографировать что угодно. И я довольно неуклюже обратил внимание черноволосого юноши на мост и живописный поворот Коруньского шоссе за ним.

По мере того как я говорил, улыбка сползала с большого рта

фотографа, густые, с изломом, брови сошлись.

— Я, знаешь ли, военный корреспондент. Виды для открыток не моя специальность. Вот этого мальчика я, пожалуй, зафиксирую.

Он навел один из своих телескопов на Фернандо, «лейка» негромко сработала. Небрежно бросив «Salut», но не удостоив меня приветствия сжатым кулаком, обидевшийся парижанин зашагал к своему драндулету.

(Через неделю изображение Фернандо усмехалось с обложки «Regards» по газетным киоскам Франции. К нам в штаб журнал завез Реглер. Равнодушнее всех отнесся к славе сам Фернандо. Ему почему-то представлялось более значительным совпадение, в силу которого он охранял мост, носивший имя его небесного патрона. Меня же портрет поразил. Цыганистый юноша схватил то, во что я не сумел проникнуть. Увековеченная им забавная рожица Фернандо приобрела совсем новое выражение, превращавшее ее в полное значения лицо. Но не в лицо стоявшего на страже солдата, а в интегральный лик вооруженного сына народа, веселого и одновременно уверенного в себе. Выпровоженный нами фотограф обладал глазом совершенного художника, ему удалось создать образ. И, отделившись от реально существующего маленького Фернандо, выросшего на чужбине недоразвитого испанского паренька, образ этот зажил самостоятельной жизнью, более длительной, чем жизнь самого Фернандо. Последнее подтверждается тем, что с суперобложки книги воспоминаний, изданной в 1960 году на словенском языке в Любляне и озаглавленной «Мы были в Испании», смотрит наш Фернандо, о котором я не знаю ровно ничего с 1936 года, с того хмурого декабрьского дня, в какой Лягутт был откомандирован из охраны штаба бригады обратно во франко-бельгийский батальон и верный друг его «Фернан» отпросился с ним. И вот, спустя тридцать лет, я снова вижу Фернандо такого, каким он предстал в давнем номере «Regards». Его надетая набекрень пилотка украшена взамен пятиугольной красной звездочки трехцветной республиканской розеткой (ею Фернандо гордо подчеркивал, что он испанец). Шея закутана поддетым под вельветовую куртку полосатым шерстяным шарфом, принесенным Лягуттом вместе с теплыми носками из домика наверху. На уровне слегка оттопыренного уха приходится рукоять тесака, примкнутого к висящей за плечом винтовке. Неправильное полудетское лицо освещает добродушная усмешка, однако за этим добродушием ощущается неколебимая стойкость. Где-то ты теперь, стойкий испанский солдатик Фернандо?..

По распространенности этого поясного портрета можно судить, какую ошибку невольно совершил Лукач, не пустив фотокорреспондента «Ce soir» и «Regards» на позиции бригады. Но еще большей ошибкой была ссылка на грозящую по пути в батальоны опасность. Недаром, когда я упомянул о ней, выразительные губы молодого человека сердито сжались. Он имел законное право отнестись к моим словам, как к пустой отговорке. Не его вина, если Лукачу не было известно, что двадцатитрехлетний фотограф уже успел широко прославиться не одним профессиональным мастерством, но и ничуть не меньшей азартной смелостью. К сожалению, и мне совершенно не взбрело на ум, что в разваливающемся «ситроене» к нам приехал автор снимка, запомнившегося мне, как и всем, кто его видел, на всю жизнь.

Без преувеличения потрясающая эта фотография была опубликована все в том же «Regards» еще при нас. Она запечатлела мгновение смерти бегущего в атаку республиканца. На спускающемся к реке склоне, опаляемом заменяющим юпитеры испанским солнцем, показан крупным планом немолодой боец. Ноги его на бегу внезапно подкосились, а туловище откинулось, как будто он нокаутирован ударом боксерской перчатки в голову. Всмотревшись, можно обнаружить прядь волос надо лбом, вздыбленную попаданием пули. Веки только что еще живого человека сомкнуты навсегда, правая рука в инстинктивной попытке опереться отведена назад, но мертвые пальцы разжались, роняя карабин. Так как солнечные лучи разят оттуда же, откуда нагрянула и сразившая его пуля, убитый падает прямо на свою тень…

Несмотря на появление в игнорируемом большой прессой коммунистическом еженедельнике, страшный фотодокумент был так выразителен, что телетайпы влиятельнейших агентств разнесли его повсюду. И повсеместно не прошло незамеченным, что редкостный снимок сделан в упор, а следовательно, бесстрашный фотограф шел в бой рядом с павшим. Имя безумца облетело редакции пяти континентов. Его звали Капа — Робер Капа. Мало, однако, кто знал, что это псевдоним и что подлинное имя не имеющего гражданства юного эмигранта из хортистской Венгрии было Андраш Фридман. Не знали этого и мы, и Лукач так ни разу и не побеседовал на родном им обоим языке с Капа, когда тот попадал впоследствии в расположение нашей бригады. Кроме Фернандо, он больше никого в ней не снял. Произошло это потому, что он не находил среди нас натуры, достойной с помощью его «лейки» преобразиться в еще одно произведение фотоискусства, или же Капа навсегда затаил нанесенную ему на

мосту Сан-Фернандо обиду, — не знаю. Впрочем, подруга его, тоже фоторепортер, миниатюрная, необыкновенно хорошенькая Герда Таро, работавшая сначала под его руководством, а затем, когда «Ce soir» отозвал Капа из Испании для Китая, оставшись одна, снимала, приезжая к нам, много и охотно. О том, как ночью в Валенсии она фотографировала меня над гробом Лукача и как через месяц с небольшим, во время моей командировки во Францию, мы выносили к катафалку ее собственный гроб, и о том, какие волнующие похороны устроил бедной девочке антифашистский Париж, потрясенный ее ужасающе бессмысленной гибелью под Брунете, и как плакал безутешный Капа на плече Арагона, я позже еще расскажу. Сейчас же я закончу историю самого Капа.

Он проработал в «Ce soir» с основания и до конца этой газеты, закрытой властями осенью 1939 года за статью Арагона, который в своей ежевечерней беседе с читателями не только логично объяснил, почему Гитлер послал Риббентропа в Москву, но и предложил главе тогдашнего французского правительства Даладье, если он действительно стремится договориться с СССР, направить туда — и для скорости тоже на самолете — своего министра иностранных дел, печально известного Жоржа Бонне.

С закрытием «Ce soir» Капа превратился в безработного. Внимательно наблюдавшее за ростом его дарования парижское представительство «Лайф» воспользовалось моментом и предложило Капа постоянную работу, а за нее — сказочно большие деньги. Он, как и многие левые европейские интеллигенты, выбитый из колеи советско-германским пактом о ненападении, согласился. Применяя подходящую к ситуации спортивную терминологию, можно сказать, что Капа перешел из любителей в профессионалы и, лансированный «Лайфом», быстро вышел в чемпионы. На его долю выпало фотографирование пяти войн, считая испанскую, но лишь одну ее он называл «своей». С приобретаемым опытом и собственным возмужанием мужало и его умение, все острее делался глаз, все неожиданнее та точка зрения, с какой он нацеливал объектив, а так как с годами он не утерял мальчишеской своей смелости и продолжал лезть за материалом в самое пекло, то и сам сделался всемирной знаменитостью, и «Лайф» получал сенсационный материал, полностью удовлетворявший садистское любопытство массового читателя и одновременно приводивший в восторг знатоков. Щедро оплачивая Капа, редакция печатала отнюдь не все, что он присылал, и однажды он устроил выставку своих неопубликованных работ. Отринутые внутриредакционной цензурой и собранные в одном зале, они показывали, как люто

ненавидит этот военный фотокорреспондент войну, как умеет поймать и закрепить в воображении то, что он называл ее «грязной мордой».

Целых восемнадцать лет, с предоставляемыми историей весьма непродолжительными антрактами, Капа фотографировал вблизи ужасы пяти войн, пока фантастическое везение не изменило ему, и в мае 1954 года, готовя по поручению «Лайфа» очередную серию отвратительных гримас грязной морды — на этот раз войны в Индокитае, которая сама полуофициально именовалась грязной, — Капа подорвался на мине. Узнав о его смерти, Хемингуэй, сблизившийся с Капа еще в Мадриде, сказал, что он «был большим и храбрым фотографом», а и в людских масштабах и в храбрости Хемингуэй толк понимал. Об исключительной храбрости Капа писал в посвященном ему некрологе и Арагон, также отметивший, что «исчез один из самых крупных фотографов мира». (Сам Капа отрицал ее в себе. «Храбрость, храбрость… — осуждающе повторил он однажды близкому другу. — Я видел храбрых мужчин. И женщин. И даже детей. Я не таков. Мне часто бывает страшно. Но это не предлог, чтобы не выполнять свою работу».) Эренбург, упомянув о фотографе Капа на испанских страницах «Люди, годы, жизнь», назвал его, несмотря на разницу лет, своим другом; их, конечно, сдружила общая страсть: не будь Эренбург писателем, он сделал бы карьеру как фотограф — порукой тому хотя бы его парижской фотоальбом… Я был слишком далеко от Москвы, чтобы знать, встретились ли они в 1948 году, когда Капа сопровождал Стейнбека в путешествии по СССР, плодом которого явился нашумевший «Русский дневник». Иллюстрировавшие его необыкновенно правдивые фотографии Капа показывали нас такими, какими мы были тогда, но какими не хотели себя видеть, и наша печать отнеслась к книге в целом холодно. Одновременно на Капа вторично обратили за нее неблагосклонное внимание маккартисты, не прощавшие ему Испании…

В тот же день, что и фотокорреспондент «Ce soir», наш командный пункт у моста Сан-Фернандо навестили еще два корреспондента, представлявших, по их собственному определению, «умеренные» газеты, один — бельгийскую, второй — английскую, а также молоденький советский кинооператор, так что Лукач в сердцах назвал этот день «днем печати».

У разъезжающих вдвоем английского и бельгийского журналистов не нашлось пропуска в прифронтовую зону — они якобы забыли его на письменном столе, — и я вежливо, но не дав

им высадиться из машины, попросил этих рассеянных гостей вернуться за их «сальвокондукто» в Мадрид; кинооператора же принимал и уговаривал сам Лукач. По Фрицу я уже заметил, что некоторые советские люди получали в Испании не слишком-то подходящие к ним псевдонимы. Аналогичный случай произошел: и с кинооператором, носившим чисто испанское, но никак не соответствующее его спортсменской наружности имя Кармен, избранное — поскольку оно произносилось с ударением на последнем слоге — под неосознанным влиянием Мериме или, еще скорее, Бизе.

Под руку пройдясь с бодро таскавшим на боку тяжеленною камеру юным кинооператором и, надо думать, доказав необходимость отложить посещение позиций, Лукач проводил его до солидной американской машины, по носу которой вытягивалось вперед украшение из нержавеющей стали, и дружески простился, причем улыбки обоих в равной мере соперничали с рекламой зубного эликсира.

— Способный хлопец, — как бы объясняя оказанное ему внимание, отметил Лукач. — Встречаться с ним самим мне раньше не приходилось, но я слышал о нем и знал его мать.

Я выразил удивление, почему к способному хлопцу приделали имя оперной героини, но Лукач возразил, что это вовсе не псевдоним, а настоящая фамилия. Молодого кинооператора звали Роман Кармен.

Вечером, «пежо» доставило Белова, выскоблившегося до голубизны, и Морица, всего, как бурш-дуэлянт, в шрамах, несомненно, происходивших от тупой бритвы, не случайно именуемой «опасной». Обратным рейсом Луиджи повез меня. Садясь рядом с ним, я поздоровался, но Луиджи ответил ледяным молчанием, означавшим, что он не забыл, как мы с Гурским шуганули его от сторожки, и забывать не собирается, а собирается проучить меня. И впрямь, осторожно отрулив без света на полкилометра, он включил фары и погнал с такой скоростью, какая всякого повергла бы в трепет, но на меня не подействовала, потому что, убаюкиваемый мягкими толчками рессор, я немедленно, как в темную черную воду, погрузился в сон без сновидений, а благодаря ему и предельной быстроте передвижения в мгновение ока, будто по щучьему веленью, очутился перед фуэнкарральским домиком. Не успел я, цепляясь винтовкой и вещевым мешком, выбраться на тротуар, как Луиджи сердито захлопнул дверцу, покрутил баранку, взлетел на противоположный тротуар, дал задний ход, едва не вдавив меня в стену, и скрылся в заклубившемся за ним мраке.

Постучав, я прислушался. За дверью было тихо, да и оба окна

второго этажа зияли беспросветной темью, словно дом необитаем. Впрочем, так же выглядели все ближние фасады. Я постучался громче. Ни малейшего результата. Лишь в водосточной трубе порывами гудел гулявший по крыше ветер. Я несколько раз ударил в дверь кулаком. Звук получался, как при ударах замшевой колотушкой в турецкий барабан, но никто по-прежнему не отзывался. Тогда я принялся стучать ногой, а затем и прикладом. Дверь гремела. Откуда-то издали отражалось слабое эхо, похожее на топор дровосека, но когда я переставал, в Фуэнкаррале вновь наступала кладбищенская тишина. Так протекло изрядное время. Наконец, в одну из передышек, я уловил скрип винтовой лестницы и шаркающие старушечьи шаги, подошедшие к двери, но взамен надтреснутого альта неизвестный простуженный бас свирепо вопросил по-французски, какой там сумасшедший выламывает дверь. Я кротко ответствовал, что это не сумасшедший, а начальник охраны штаба, стучать же так сильно мне пришлось по необходимости: вот уже не меньше получаса, как мне не открывают. Неприветливый бас осведомился, какого, собственно, дьявола мне нужно. Я сказал, что сообщу об этом, когда мне откроют, но голос за дверью объявил, что, пока я не скажу, зачем явился, мне не откроют. Выйдя из себя, я закричал, что хотел бы посмотреть, как это он не откроет, если меня прислал генерал Лукач. Имя и звание Лукача сработали. Засов лязгнул, и дверь приоткрылась. Я толкнул ее и ступил в знакомый коридорчик. Подняв к потолку подсвечник с колышущимся в нем желтым пламенем, меня сверху вниз недоброжелательно рассматривал длинноногий и длинноносый человек в домашних пантофлях и наброшенном прямо на белье полушубке; воротник его, как птичье оперенье, окружал вытянутую шею. Конечно, это и был Гросс, которого Клоди так удачно сравнил с марабу.

— Чего тебе? — нетерпеливо прервал Гросс мои размышления о его сходстве с африканским родственником аистов; он говорил в нос, как говорят страдающие хроническим насморком.

— Дело в том, что я сам не знаю, сколько ночей не спал, и…

— И решил разбудить меня, чтоб поделиться этим? — подхватил Гросс. — Не спится, надо снотворное принимать.

Мне хотелось возразить, что, если б не литра два черного кофе, выпиваемого мною ежедневно; я бы спал на ходу. Захотелось мне также пожаловаться на обстановку командного пункта, и как получилось, что у разводящего нет своего места на сене, и все уже привыкли к этому, и что теперь мне было бы стыдно перед Беловым и стариком Морицем завалиться дрыхнуть

где попало, когда оба они не ложатся, но, посмотрев на зевнувшего Гросса и почувствовав, до чего ему все это неинтересно, я вместо излияний коротко заявил, что прислан выспаться.

— Не могу понять, как генерал, который здесь постоянно ночует, не понимает, что это не отельчик рядом с пляс Пигаль: выбирай на панели девку и веди в номер. В доме всего три кровати и кожаный диван. На двух кроватях отдыхают в своей комнате старые дамы. На диване спал капитан Фернандо, а теперь — я. Уж не рассчитываешь ли ты, что я положу тебя, такого грязного, — он брезгливо оглядел мою одежду, — в постель генерала, чтоб завтра утром эти бедные женщины были вынуждены опять менять ему простыни, которые они сменили вечером после болгарина? Все, что я могу тебе предложить, это нижнюю кухню. Подстели там что-нибудь и спи в свое удовольствие.

Он заложил дверь и повернул к лестнице, унося свечу. Я зажег спичку и вошел в кухню. В ней было абсолютно пусто, как когда мы явились сюда впервые: ни стульев, ни машинки, ни папок. Легко сказать — подстели, а что? Два носовых платка и полотенце? Спичка обожгла пальцы и погасла. Я с надеждой протянул руку к плите и сейчас же отдернул: здесь, понятно, так и не топили. Ткнув мешок в угол между плитой и внутренней стеною, я снял портупею с подсумками, положил на мешок голову и свернулся калачиком в обнимку с винтовкой, стараясь, однако, не касаться металлических частей, но едва закрыл глаза, как холод каменного пола проник к телу даже через кожаную куртку, не говоря уж о хлопчатобумажных брюках, и я вскочил словно ошпаренный. Побродив между сереющим пятном окна и черным даже в темноте проеме двери, я ничуть не согрелся, но лишь почувствовал все возрастающую усталость, от которой болели и подгибались колени, ломило поясницу, плечи и шею. В отчаянии я сел на мешок, но острый край плиты приходился мне прямо против затылка, и не то что уснуть, но даже подремать нечего было и думать.

Я испытывал жестокую обиду, нанесенным мне не грубым равнодушием Гросса, конечно, но Лукачем. Зачем он прислал меня, когда здесь и посидеть не на чем? Разве я просился? Даже в перенаселенной будке дорожного сторожа я, если б захотел, отдохнул бы несравнимо лучше: там можно было хотя бы опустить голову на стол, подложив под нее руки. А теперь они там воображают, что делают мне одолжение — выполняют мои обязанности, пока я тут сплю, развалившись на мягкой кровати и укрывшись теплым одеялом, — тогда как за эту ночь я измучаюсь

в сто раз больше, чем за все предыдущие. Ужасно несправедливо. Сами-то выспались.

Чувство обиды, усиливаемое переутомлением, росло и делалось непереносимым, как в детстве, когда всякая несправедливость казалась нарушением основ мироздания. Но в детстве все разрешалось облегчающими слезами, а сейчас их не было, и от этого становилось невмоготу. И вдруг мне вспомнилось, что товарищам, сидящим в наскоро отрытой траншее, приходится гораздо хуже и Лившиц, например, или Иванов с Трояном лежат в этот момент на ее сыром дне и ждут, не пойдет ли дождь…

Я оправил одежду, подтянул шнурки ботинок и, нащупав в темноте на полу ремни с подсумками, надел их. Уже выйдя на улицу, я поколебался, не разбудить ли Гросса, чтоб он заперся со своими бедными дамами, но, представив его бубнящим в нос, что вот ни днем, ни ночью ему не дают покоя, лишь поплотнее притворил дверь и зашагал по мостовой.

Когда задолго до наступления утра я появился на командном пункте, никто не удивился и ни о чем не спросил. Все были уверены, что это Луиджи смотался за мной так рано, хотя он продолжал беспробудно спать на заднем сиденье «пежо».

День опять занимался пасмурный. Неожиданно, в момент восьмичасовой смены караула, приехал Петров, но привез не набитый едой портфель, а важные новости. Для облегчения взаимопонимания между бойцами и командованием интербригад принято решение о перестройке их по языковому признаку. Отныне в Альбасете не только не будут соединять в одном батальоне роты, с которыми его командир не может объясняться без переводчика, но постараются и бригады формировать на базе одного языка. С той же целью в уже сформированных двух произведут перемещения: батальон Тельмана, оставив в Двенадцатой польскую и балканскую роты, перейдет в Одиннадцатую, а на его место передадут батальон Домбровского.

— Без меня решали, — ударил крепким кулаком по столу Лукач, — придется перерешать. Чтобы я согласился отдать лучший наш батальон? Как бы не так. И почему мне стало с немцами трудно объясняться? Это с итальянцами и французами мне действительно трудно, чтоб не сказать невозможно. Уж если хотят для общего удобства тасовать батальоны, пусть себе на здоровье забирают и Гарибальди и Андре Марти, тогда в Одиннадцатой все будут понимать по-французски, а у нас сосредоточатся немцы и славяне. И с теми и с другими мы уж как-нибудь общий язык найдем, тем более что и в батальоне Тельмана, и особенно в батальоне Эдгара Андре много венгров, а

кто, кроме меня, с ними до полного взаимопонимания докалякается?

Лукач говорил твердым тоном, но сквозь внешнюю уверенность проскальзывала тревога. Не допив кофе, он поехал объясняться и вернулся к обеду расстроенный…

— Опоздал. Все уже за нашими спинами обделано и Марти утверждено, чтоб его душу черт подрал!.. Ладно, ладно, — отмахнулся Лукач от укоряющих взоров Белова и Петрова. — Нечего так на меня смотреть. Без вас знаю, что он и герой Черного моря, и все прочее. Но, как говорится: «Онегин, раньше я моложе и лучше, кажется, была…» На старости лет наш герой мохом оброс и стал превеликим путаником и еще брюзгой, а главное, ничего самостоятельно не решает: или сверху ждет указаний, или же действует по указке Видаля, и что бы этот заносчивый осел ему ни подсунул — все подмахнет. Между тем отчего бы ему сюда не приехать и на месте в наших трудностях не разобраться?.. А то где же логика? По каким глубокомысленным соображениям два французских батальона останутся разрозненными, а два немецких — объединяются? И что итальянцы на девяносто девять процентов эмигранты, живущие во Франции, и все по-французски кумекают тоже из виду упущено. Почему бы их для простоты в одну бригаду с французами и бельгийцами не свести? Пусть бы Клебер ими и командовал, благо имя подходящее и полиглот: ему все равно с кем и по-каковски разговаривать. Так ведь он вовсе не общего удобства ищет, а как бы свою бригаду за счет нашей усилить.

— Он же ее сдал, — возразил Петров. — Он на секторе остается, а Одиннадцатую у него Ганс примет, дело уже заметано.

— Значит, он бескорыстно мне свинью подложил, — не сдавался Лукач. — Ганс-то ведь тоже кроме немецкого и английский, и французский, и отчасти испанский знает. Нет, никто меня не убедит, что Клебер в этой реформе не участвовал.

— Что в принятом решении не слишком много логики, с этим можно согласиться, — откашлявшись, начал Белов. — Но и при соблюдении ее законов неверная предпосылка тоже приводит к неверным выводам. А что итальянский батальон должен воевать непременно хуже немецкого, это, если угодно знать мое мнение, неверная предпосылка.

— Ты что? До сих пор разницы не заметил? — загорячился. Лукач. — Уж кто-кто, а я по мировой войне знаю, какие итальянцы вояки…

— Не будем лучше придавать излишне большое значение личным воспоминаниям и вообще впадать в субъективизм, — с грубоватой веселостью перебил Петров. — Никто из

присутствующих, надеюсь, не думает всерьез, что мобилизованные солдаты империалистической бойни несут в себе извечные свойства народа и тем более — что существуют избранные расы прирожденных воинов и второсортные племена виноделов, пахарей и пастухов?

— Постой, постой, как ты говоришь? — изумился Лукач и вдруг до того искренне расхохотался, что и Белов и Петров невольно заулыбались. — Вот это, должен признать, поддел. Поймал бывшего верноподданного Австро-Венгрии на шовинистических пережитках…

(Как ни поразительно, но книга Людвига Ренна «Der Spanische Krieg», изданная в 1956 году и прочитанная мною в чешском переводе, подтверждает высказанные тогда Лукачем беспочвенные подозрения. Из соответствующей главы ее следует, что при реорганизации двух первых интербригад действительно были приняты во внимание интересы лишь одной из них. Узнав, что Клебер променял первородство и окончательно отрекся от вверенной ему Первой интернациональной бригады ради командования сектором, Ганс Баймлер, в качестве комиссара всех немецких добровольцев законно беспокоясь, в чьих руках они очутятся, высказал пожелание, чтобы ответственность эту разделили два коммуниста из кадровых германских офицеров: Ганс Кале и Людвиг Ренн. А те полюбовно договорились, что первый будет командиром бригады, а второй начальником штаба. Само собой разумеется, что для осуществления этого замысла было необходимо перевести батальон Тельмана в Одиннадцатую.)

Поздно вечером, уже по отбытии Лукача, часовой вызвал Белова наружу. К нему из балканской роты пришел сумрачный старик-болгарин, ростом, горделивой осанкой и орлиным профилем похожий на индейского вождя из иллюстраций к Майн Риду. Фамилия его была Тонев. Дважды уже Тонев так же поздно приходил к Белову, и они подолгу разгуливали в темноте. Хотя беседовали они вполголоса, у меня оба раза создавалось впечатление, что Тонев на что-то жалуется, а Белов его утешает. Так было и в этот вечер. Когда они наговорились и Белов пошел проводить Тонева до разваленного танками барьера, я на всякий случай отправился за ними и скоро встретил идущего назад начальника штаба.

— Сердце сжимается при мысли о потерях балканской роты, Алеша, — поделился он. — Больше трети уже выбито. И знал бы ты, каких людей. Одно можно сказать: Коминтерн не пожалел для Испании лучших своих кадров. В одном только бою за Паласете три товарища из Центральных Комитетов югославской и нашей

партии полегли рядовыми бойцами…

Наступившая ночь после фуэнкарральской и особенно после одинокого марша во мраке переносилась, вопреки ожиданию, не столь тяжело, но к концу ее я спал как сурок на своем стуле, предутренняя смена прошла без меня, а потом никак не мог поднять голову на въедливое, всего в нескольких сантиметрах от моего уха, жужжание телефонного аппарата и даже на обеспокоенный голос Белова, объяснявшегося с кем-то по-французски. Лишь когда в мое сознание через сонную одурь каким-то образом проникло, о чем была речь, я пришел в себя и сквозь негодующие интонации Белова услышал пальбу, снова поднявшуюся на передовой.

Из гневных фраз Белова постепенно выяснялось, что командир франко-бельгийского батальона, по настоянию истомившихся от бездействия своих бойцов, разрешил им на свой страх и риск, подойдя под покровом темноты к расположенному напротив медицинского факультета строению, из которого батальон постоянно беспокоили вражеские снайперы и пулеметчики, внезапным штурмом захватить его. Фашисты, однако, не дремали и, своевременно обнаружив приближающиеся тени, открыли по ним стрельбу в упор. Атакующие в беспорядке отхлынули, оставив многих убитыми и ранеными. Жоффруа позвонил, когда все уже было кончено, и пожаловался, что наступающий рассвет чрезвычайно затрудняет эвакуацию раненых, как если бы от Белова зависело попридержать восход невидимого за облаками светила.

Беспощадно отчитав Жоффруа за самовольство, приведшее к бесцельным жертвам, Белов потребовал от него личного руководства санитарами, выносящими раненых, и предупредил, что за теми, кто останется, Жоффруа придется ползти самому.

— Неуравновешенный он какой-то, этот Жоффруа, — заметил после разноса Белов. — То огнем даже отказывался поддержать наступление Тельмана и Гарибальди под предлогом, что не хочет обнаруживать свои пулеметные точки, то — словно бес его под локоть толкал — без спроса полез. И еще оскорбляется…

На другой день поступил приказ о выводе бригады в Эль-Пардо на десятисуточный отдых и переформирование, но относился он к остававшимся в ней батальонам Андре Марти и Гарибальди, которым надлежало отойти через сутки. Батальон же Тельмана, как наиболее пострадавший, сменялся немедленно, но приказ об этом был отдан накануне уже не Лукачу, а Гансу, еще продолжавшему командовать батальоном Эдгара Андре. Ганс затемно провел свой батальон на позиции не по шоссе, а верхом, и смененные тельмановцы начали выходить по нему, в утренней

мгле и располагаться на привал по засыпанным прелой листвой полянкам и под сомнительным укрытием облетевших деревьев. Около десяти часов Людвиг Ренн и Рихард заехали к нам проститься, а за ними, по случайному совпадению, углубившему переживания Лукача, явился и Клаус, откомандированный в Альбасете. Пока они распивали предложенный гостеприимным Беловым черный кофе с коньяком из неисчерпаемого петровского бочонка, я вышел посмотреть на бывший мой батальон.

Сразу бросалось в глаза, что он уже не тот. И не потому, что ряды его заметно поредели. До того, как его построят, определить это представлялось невозможным. Разительная перемена заключалась в ином: несмотря на присутствие сотен бойцов, вокруг было тихо. Прежняя шумливая школярская веселость куда-то улетучилась. Всматриваясь в тех, кто находился поближе, я, однако, не обнаружил и подавленности. Просто-напросто по бокам от шоссе стояли, сидели или лежали совсем не те приподнято-оживленные люди, вместе с которыми я ехал из Альбасете, среди которых бродил по Чинчону и которые толпились около грузовиков на мадридской площади перед казармой. И все же как ни изнурены и бледны были теперь их лица, покрытые подчеркивающей худобу недельной растительностью, как ни портила их помятая, измазанная, а часто и рваная одежда, тельмановцы не выглядели жалкими, они лишь стали как-то суше, прозаичнее, что ли. Пережитые лишения и опасности, страдания и смерть стольких товарищей сняли с оставшихся невредимыми налет некоторой нарочитости, освободили их слова и жесты от почти неуловимой бессознательной театральности, бывшей неизбежным последствием особого положения интербригад и проявляемого к ним благодарного внимания, а больше всего — произнесенной и написанной по их адресу уймы громких слов. Теперь же ни один из тех, кого я наблюдал с шоссе, не обращал внимания, смотрят ли на него или нет. Каждый делал, что ему хотелось: кто закусывал, кто курил, а кто шил или штопал, и все это — с будничной естественностью.

Сколько ни искал я взглядом своих поляков, нигде не виднелось их пепельного обмундирования. Разочарованный, я уже повернул обратно, когда на веранде виллы усмотрел прикрытые брезентом пулеметы и стоявших поблизости Иванова и Трояна, а заторопившись к ним, заметил и спящего на земле Лившица.

— У тебя такое выражение, будто ты нас с Трояном уже в синодик записал, ан, смотришь, мы живы, — показывая свои бульдожьи нижние клыки, хихикнул Иванов, — Его, как говорится, хоронить, а он в окно глядит!

Вопреки бодрому тону Иванов выглядел плохо. Он осунулся, вокруг глазных впадин появилась масса мелких, но резких морщинок. Троян изменился меньше, но тоже исхудал. Я потянулся за сигаретами, и мы задымили. С момента, как я подошел к ним, во мне все росло ощущение неловкости, почти стыда. Пока они рисковали жизнью, я отсиживался в бетонированной будке, и все, чем занимался, — разводил часовых.

Лежавший на вытоптанной траве Лившиц надрывно раскашлялся во сне.

— Разбуди-ка нашего дохлого интеллигента, Троян, а то еще пуще простудится, — распорядился Иванов. — Слаб, — пояснил он мне. — Старается, как может, но слаб во всех смыслах. Здоровье хлипкое. Разбуди же, разбуди. Ему приятно будет с Алексеем повидаться.

Едва лишь Троян наклонился к Лившицу, как девичьи ресницы того испуганно затрепетали. Он поднял веки, сел, пошарил в кармане, поспешно надел очки с потрескавшимися стеклами и, увидев меня, радостно улыбнулся.

— Здравствуй.

Опираясь руками, он с затруднением поднялся и опять тяжко закашлялся. Одну щеку от отлежал, и она была багровой, другая же и через густую бородку просвечивала болезненной желтизной. Он сильно отощал и от этого подурнел. Поврежденные стекла, вероятно, мешали ему смотреть, так как он часто моргал. В дополнение ко всем бедам он осип, и звучный бас его скрипел и срывался не хуже, чем у Орела. Ясно было, что Лившицу следовало бы подлечиться, и я хотел сказать ему об этом, но сам представления не имел, где и как лечатся на фронте.

Иванова окликнули с веранды. Он отозвался по-немецки и ушел в виллу. И мне и Володе Лившицу было о чем поговорить, но непреодолимое молчание Трояна стесняло нас, и мы обменялись двумя-тремя общими фразами, когда возвратился Иванов.

— Пошли, ребята. Приказано разобрать машинки, почистить и смазать. Времени в обрез. Через час камионы подадут. Работать будем в комнатах. И теплее, и песка не надует. Ну, бывай, Алексей Батькович! — Он протянул мне огрубелую потрескавшуюся руку. — Пусть и в разных бригадах придется дальше воевать, но тут же, под боком. Еще побачимся. Гора с горой не сходятся, а человек с человеком — раз плюнуть.

Троян до боли сжал мою ладонь. Вдвоем они зашагали к веранде. Володя, Лившиц положил длинные грязные пальцы, мне на предплечье, смотря снизу вверх через разбитые очки.

— Прощай, Алеша. Помнишь: «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!..» Увидишь Пьера, передай привет. Скажи, что я держусь. Мне очень-очень трудно, но я держусь.

Глаза его вдруг наполнились слезами. Он хотел еще что-то прибавить, но губы его задрожали. Он принужденно улыбнулся и, волоча слишком большие ботинки, побежал за товарищами.

Ни с Ивановым, ни с Трояном, ни с Володей Лившицем я больше не «побачился», хотя Иванов рассуждал правильно, и рядом с Одиннадцатой бригадой мы оказывались и на Хараме в феврале, и под Гвадалахарой в марте. Но после того как в начале января батальон Тельмана попал возле Паласио-де-Сарсуэла в окружение, оттуда вышло несколько десятков человек, и никого из троих среди них не было.

Один из спасшихся тогда тельмановцев, впоследствии раненный осколком в голову под Бельчите и в качестве инвалида назначенный дежурным сержантом при штабе начальника базы интербригад, где я с ним разговорился, прекрасно помнил пулеметный расчет «русских эльзасцев» и своими ушами слышал, что их пулемет продолжал стрелять и после появления на обоих флангах прямой траншеи нескольких фашистских танкеток, но тут был убит третий номер, подносивший коробки с лентами, и пулемет замолк. Скоро, однако, убедившись, что их маленький товарищ мертв, двое других перетащили пулемет назад, укрылись за поваленным при бомбардировке деревом и снова взялись строчить по танкеткам, которых сгрудилось штук пятнадцать. Только это было без толку — бронебойных пуль они не имели — хотя звон стоял, будто голодная рота, чтоб поторопить поваров, бьет ложками по пустым котелкам.

На вопрос, что же дальше случилось с этими, из Эльзаса, сержант, покачав пробитой головой, отвечал, что их, без всякого сомнения, как большинство в этот день, прикончили пулеметы танкеток или, раненных, прикололи мавры, потому что выносить раненых из почти полного окружения некому было. А что эти двое навсегда остались там, в парке, есть доказательство: когда уцелевшие бойцы и офицеры батальона собрались в Мурсии, обоих среди них не оказалось.

Конечно, я и до беседы с альбасетским сержантом предполагал, что Иванова, Трояна и Лившица нет в живых. Для этого достаточно было убедиться, что в списочном составе нового батальона Тельмана, костяком которого послужили сохранившиеся ветераны, никто из троих не числится. Но после рассказа очевидца предположение превратилось в уверенность, и несмотря на то что я не в первый раз с ноября попал в Альбасете, мне именно теперь особенно реально вспомнился наш приезд, и

как распалась наша группа, и счастливые лица Иванова и Трояна, оцененных и назначенных пулеметными инструкторами, и то, в каком смутном настроении шагал я тогда по этой же улице. Припомнился мне и наш совместный путь из Парижа, и общее волнение, когда Иванов с Трояном отстали от поезда, и знакомство с Лившицем, дисциплинированно спрятавшимся от собственной сестры, которая никогда уже его не увидит. С грустью припомнил я, какими истомленными выглядели они, все трое, при последней нашей встрече у моста Сан-Фернандо, припомнились мне и колючие глаза неунывающего Иванова, и побледневшее неподвижно-красивое лицо Трояна, и — с особой болью — полный слез прощальный взгляд бедного Володи Лившица…

Прошло очень много тяжких лет. В 1957 году латвийское государственное издательство, первым нарушив представлявшийся нерушимым заговор молчания, выпустило сборник воспоминаний участвовавших в испанской войне латышей и некоторых проживающих в Латвии русских. Понятно, как азартно набросился я на него, и еще понятнее, до чего был поражен, прочитав в воспоминаниях Р. Лациса об относящихся к апрелю 1937 года встречах его в альбасетском военном лагере с похороненным еще в январе Ивановым. Вот что я прочитал:

> «В лагере я познакомился с бывшим белогвардейским офицером Ивановым. Он родился и вырос в Орджоникидзе. Ему было всего лишь двадцать лет, когда он окончил офицерское училище в деникинской армии. После разгрома Деникина он пятнадцать лет работал рабочим на каком-то парижском заводе. В Испании он уже шесть месяцев. Был ранен в руку, теперь вышел из госпиталя, но рука еще не обрела прежней силы и подвижности. Пока он руководит в лагере строевой подготовкой и учит солдат обращаться с разными видами пехотного оружия. Он сильно тоскует по своей родине и вечерами с восторгом говорит о том, что нигде на свете нет места красивее Орджоникидзе…»

В том же 1957 году, впервые после нечаянной встречи на Арагоне в начале июня 1337-го, то есть перед самой гибелью Лукача, я увиделся в Москве с другим участником сборника Алешей Кочетковым. От него я узнал, что Иванов сидел вместе с ним в концентрационном лагере Гюрс — одном из многих, куда правительство Французской республики засадило отступивших из Каталонии испанских республиканцев и где содержалась большая часть нерепатриированных интеровцев. Ни Лившица, ни Трояна в

Гюрсе Алеша Кочетков вспомнить не мог. (Выше я уже писал, что он помнил по Гюрсу нашего Дмитриева.)

Поскольку поздней осенью 1937 года я около месяца провел в Альбасете на должности беловского адъютанта и поскольку в лагере для обучения пополнений я Иванова уже не застал, остается предположить, что он отбыл на фронт с обученными им людьми. Провоевав таким образом еще около года, заслуженный пулеметчик, после отвода иностранных добровольцев, подобно итальянским, немецким, польским, венгерским, югославским, болгарским и некоторым другим антифашистам, не имевшим пожелавшей принять их родины, остался скучать в каком-то из специально оборудованных военных поселений каталонского тыла. Когда же Арагонский фронт рухнул, Иванов, как и остальные демобилизованные иностранцы, вторично добровольно взялся за оружие, чтобы в конце концов быть интернированным во Францию.

Прочитанное у Р. Лациса и рассказанное А. Кочетковым заставило меня приступить к собиранию новых сведений, пока я не смог наконец заключить, что из трех моих спутников под Паласио-де-Сарсуэла был убит один Володя Лившиц, Трояна же там лишь тяжело ранило одновременно с Ивановым. Собственно, ничего другого альбасетский очевидец и не утверждал, остальное было его домыслом, причем вполне логичным: в условиях даже неполного окружения печальный конец всех раненых представлялся неизбежным. Трояна спасло то, чего в теоретических рассуждениях учесть нельзя: сам с перебитой рукой, Иванов не только не покинул товарища, но умудрился оттащить на более или менее безопасное расстояние и сдать санитарам соседнего испанского батальона. Судя по всему, дальнейшие прямые пути неразлучных друзей больше не сошлись. Они двигались параллельно. Попав в различные госпитали, Иванов и Троян получили по излечении неодинаковые назначения, из-за чего и во Франции очутились не за одной колючей проволокой, а бежав, присоединились к разным «отраслям» Сопротивления: Иванов — к партизанам, Троян — к подпольщикам.

Года за три до того, как пишутся эти строки, в крохотной московской квартире Николая Николаевича Роллера, бывшего парижского шофера такси, а в Испании по специальности командира роты Первого автотранспортного полка особого назначения при штабе V армии, которой командовал Модесто, я повстречался с приехавшим из Кировоградской области еще одним кадровым парижским таксистом и бывшим комиссаром роллеровской роты Георгием Владимировичем Шибановым. Это у

него, в ноябре 1943 года, собралось одиннадцать в разное время выбравшихся из концлагерей русских парижан, чтобы в присутствии представителя ЦК Французской компартии основать под обобщающим названием «Союз русских патриотов» одну из самых боевых антигитлеровских организаций. В. Г. Шибанов наряду с Н. Н. Роллером был активнейшим ее участником и — что особенно важно — начальником кадров. Едва поздоровавшись, я уже спрашивал, не знает ли он чего-нибудь об Иванове и Трояне.

— Иванов числился у нас не один, но если вопрос относится к тому, что сражался в Испании, то был и такой, по имени, если не ошибаюсь, Николай. Точно сейчас не скажу, но, помнится, убит. А вот Ивана Трояна, этого лично знал. Гитлеровцы вывезли его из лагеря к себе на работы, но он сумел ускользнуть и вернуться во Францию, где нашел связь и скоро стал инструктором от центральной организации, сначала в Дижоне, а там и в Нанси. Действовал неплохо. Одна была с ним беда, — каждое слово клещами приходилось вытаскивать. Он погиб. Попался на задании и был расстрелян. Сомнений, к сожалению, никаких. Наш человек вел наблюдение за тюрьмой, на глазах у него оттуда вывезли на расстрел полный грузовик узников, уже в одном белье. Среди них находился и Троян.

Так устное предание постепенно уточняло послеиспанские биографии двоих из семи, ехавших в одном со мною купе, пока Алеше Кочеткову не посчастливилось, в процессе подготовки его книги, обнаружить у кого-то из старых друзей чудом сохранившиеся разрозненные номера издававшейся в освобожденном Париже на русском языке газеты «Советский патриот», и в одном из них, от 24 августа 1945 года, найти заметку под странным на мой вкус заглавием: «Русские в борьбе с немцами», подписанную «А. Н. Т.» (Над расшифрованием означенных инициалов Кочетков долго ломал голову; не сомневаюсь, что за ними кроется сотрудничавший в этой газете с первых дней Ант. Ладинский, парижский поэт, ныне покойный, советскому читателю известный как автор трех исторических романов.) Во вводной части заметки говорилось, что «было решено отметить годовщину освобождения Парижа и всей Франции от немецких оккупантов выпуском специального номера», для чего «Центральное правление разослало во все многочисленные отделы Союза советских патриотов предложение немедленно же прислать подходящий газетный материал, списки лиц, участвовавших так или иначе в сопротивлении немецким захватчикам, и описание тех боев, в которых принимали участие русские…» А ниже было напечатано:

> «Вот страшный список альгранжского отдела: Троян Иван, родился в Таганроге, лейтенант интернациональной бригады в испанской республиканской армии, активный участник подпольной борьбы с немцами, расстрелян в городе Нанси; Иванов Николай, лейтенант интернациональной бригады, участник партизанского отряда против немцев во Франции, убит; Дмитриев Василий, боец интернациональной бригады в испанской республиканской армии, убит…»

Этой заметкой раз и навсегда документально подтверждалось, что те трое из нашей «языковой» группы, в их числе и «неактивный» Дмитриев, кого я продолжительное время ошибочно считал убитым в Испании, остались тогда живы, чтобы, оправившись от ран, продолжать драться с фашизмом на чужой земле до последнего вздоха, так и не повидав родины, возвращение на которую после конца испанской войны им было твердо обещано[36].

3

Последнюю ночь у моста Сан-Фернандо скучать не пришлось, хотя делать, казалось бы, больше было нечего — центр позиций бригады уже занял батальон Эдгара Андре во главе с новым командиром Одиннадцатой, а батальон Гарибальди на правом фланге должен был начать сменяться в четыре утра, чтобы успеть выйти к шоссе затемно. Но ровно в три, будто учуяв, что готовится смена, фашисты завязали жаркую перестрелку почему-то, впрочем, на левом фланге. Вопреки обыкновению она затянулась и делалась все интенсивнее, но мы ничего не подозревали, пока прерывающийся голос Жоффруа не сообщил, что батальон Андре Марти окружен: по нему стреляют сзади.

Белов, едва я перевел ему страшное известие, даже побледнел и выхватил у меня трубку. Выслушав самого Жоффруа, он еще заметнее побелел, но с совершеннейшим спокойствием принялся расспрашивать, когда и как они обнаружили окружение и сразу ли перестроили оборону. Посоветовав Жоффруа перенести не меньше двух станковых пулеметов на эту сторону, а также обязательно выслать патруль с задачей установить, близко ли подобрался противник с тыла и определить по возможности, насколько плотен обхват, Белов пообещал задержать батальон Гарибальди во второй линии, чтобы на рассвете общими усилиями разорвать вражеское кольцо вокруг медицинского факультета. Бережно, словно Жоффруа мог это почувствовать, Белов положил трубку и приказал мне вызвать Гарибальди. Как назло, в штабе его или все еще крепко спали, или отошли от телефона, во всяком случае он не отзывался. Тем временем Белов, бормоча, что, как ни жалко будить командира бригады, а послать за ним, ничего не сделаешь, придется, положение архисерьезное, набрасывал записку для Лукача. Я продолжал неустанно вертеть ручку аппарата, но тут из подвала вылез Мориц и сконфуженно объявил, что «с того ниц юж не бенджи», так как он послал сматывать провод.

— Сматывать? — занятый своими мыслями, рассеянно переспросил Белов, дописывая. — Зачем сматывать?

— А як же, — удивился Мориц, — хыба брыгада не идже до другего мейстца?

— Ну и что с того?

Мориц, держа руки по швам, пошевелил пальцами и признал, что он, конечно, виноват, крошечку поторопился, но людей мало, и потом, разве это люди, с такими быстро не управиться, а не снять вовремя, как бы совсем провод не потерять, сменщики

захватят.

— Значит, чтоб у нас была связь, это, по-твоему, необходимо, а на остальных начихать? Мы будем десять дней отдыхать, и скатанный провод столько же пролежит без дела, но тем, кто нас заступает, ты и метра не оставишь? Так, что ли?

— Так, так, — подтвердил Мориц, довольный, что его правильно поняли.

Белов, до сих пор, несмотря на весть об окружении франко-бельгийского батальона, сохранявший самообладание, внезапно вскочил, ногою пнул мешавший стул и закричал на Морица, что он форменная собака на сене, но что здесь ему не частная лавочка, а республиканская армия, и все, что у нас есть, включая наши жизни, принадлежит не нам, и кто этого не усвоил, тому не место в интербригадах…

Мориц, перестав шевелить пальцами и лишь часто помаргивая, с испуганным недоумением смотрел на разгневанного начальника штаба, продолжавшего выкрикивать, что если весь скатанный провод сейчас же не будет уложен обратно, то кое-кто может угодить под суд как саботажник. Заметив, однако, по растерянному лицу Морица, что тот не понимает значительной части обращенного к нему крика, Белов остановился на полуслове, вздохнул, поднял стул и обыкновенным своим приглушенным голосом, но тоном, не терпящим возражений, принялся повторно распекать Морица по-немецки. Теперь тот слушал с покорной готовностью, с какой дисциплинированные подчиненные внимают начальству, которое они ни в грош не ставят. Однако чем больше до Морица доходило содержание беловских упреков, а главное, его требование, тем сильнее менялась подвижная физиономия старика. Сперва на ней отражалось, изумление, затем почтительное, но твердое несогласие, а к концу неподдельное отчаяние. Еретическая концепция Белова, нарушающая установившиеся представления о воинском имуществе, не вмещалась в седую головенку начальника связи. Когда же он, наконец, усвоил, что все это не беспоследственная болтовня, но от него всерьез хотят, чтоб вот так, за здорово живешь, он отдал другим километра полтора нелегко добытого провода, несчастный Мориц сник, словно глава преуспевающей фирмы, в результате грязных биржевых махинаций потерпевшей крах. Шепча что-то себе под нос, он начал собираться: надел пояс с висящим спереди, где пряжка, непомерно большим пистолетом, сунул в боковой карман электрический фонарик, взял в руку брезентовые рукавицы, но все это — с до того растерянной миной, что мне вчуже стало жаль беднягу. Получив от Белова дополнительные указания,

касавшиеся батальона Гарибальди, и горестно вздыхая, но ничуть не смягчив каменное сердце начальника штаба, печальный Мориц ушел в темную и холодную ночь.

Я поднялся, чтобы разбудить морщинистого гонца в кожаных латах, и замер: где-то неподалеку застучал «гочкис», по крайней мере, так я в первую секунду воспринял неожиданный звук. У меня промелькнула даже мысль, не по Морицу ли это, но прерывистый гул усилился, и я сообразил, что к нам несется мотоцикл без глушителя. Но вот, отчаянно гремя, он промчался дальше в тыл. Не успел я, однако, шагнуть, как похожее на очереди «гочкиса» тарахтенье снова приблизилось. Видимо, мотоцикл направлялся все же к нам, но во мраке проскочил мимо сторожки и, обнаружив это, повернул назад.

Наш мотоциклист еще не протер глаза, когда, постучавшись, вошел рослый француз с винтовкой поперек спины.

— Кто шеф?

Я указал на Белова. Приехавший вытянулся и приложил кулак к зеленому берету.

— Из франко-бельгийского. Прислан доложить, что мы окружены.

Стул под Беловым заскрипел — начальник штаба всем туловищем подался к вошедшему.

— Извини меня, товарищ, но, может быть, я плохо понял? Повтори, прошу тебя, еще раз, что ты сказал.

— Что наш батальон окружили.

У Белова порозовели скулы. Не произнося ни слова, он испытующе всматривался во французского мотоциклиста. Тот переступил с ноги на ногу.

— Почему ты так смотришь на меня, товарищ?

— Хочу понять, что у вас там происходит. Кто тебя прислал?

— Капитан, наш командир. Я приехал в Испанию на собственном мото. У меня спортивный «индиан», — похвастался мотоциклист. — Еще когда Мулэн был, он назначил меня своим связным. Теперь нас двое. Капитану недавно придали от вас испанского товарища на «харлее».

— Что же капитан Жоффруа велел передать?

— Он позвал меня и попросил, чтобы я возможно скорее разыскал пост командования бригады и рассказал обо всем генералу или его начальнику штаба.

— О чем обо всем?

— О том, что мы окружены.

— Кто тебе сказал это?

— Повторяю: наш капитан.

— Очень хорошо. — Интонация Белова нимало не

соответствовала этому оптимистическому утверждению. — Но мне хотелось бы знать, как ты на своем «индиане» выбрался из окружения. По воздуху?

Француз передернул под ремнем плечами.

— Это замечательная модель, но все же не авион.

— Значит, не воздушным путем?

— Что за шутки. Конечно, нет.

— И не ползком с мотоциклом на спине?

— Я приехал на нем по дороге.

— По какой дороге?

— По той, что ведет оттуда сюда.

— Но ты заявил, что вы окружены.

— Это я не заявил, так сказал капитан.

— А ты сам что думаешь?

— Нас окружили, но не полностью.

— Раз не полностью, значит, не окружили. Круг есть круг. Ты выехал из батальона на своей мотоциклетке (а она у тебя весьма шумная) и не убит, не ранен и в плен не взят. Какое же это окружение? Ты, пожалуй, и свет включал?

— В темноте по такой дороге не проехать, мотоцикл не на четырех колесах.

— По тебе стреляли?

— Перед тем как мне выезжать, стрельба поднялась сумасшедшая, но по мне специально не стреляли, нет.

— Вот видишь.

— Послушай меня, товарищ. Чего ты хочешь, наконец? Я связной. Сижу под лестницей у выхода из школы лекарей, мото со мною, тут же испанский коллега с «харлеем». Фашисты бьют по нас. Наши отвечают. Слышу кричат: меня, к командиру батальона. Бегу. Он и говорит: «Бери, парень, свою керосинку и скачи к нашему русскому венгру. Ни на одном из наречий христианского мира он не объясняется, так что ты через переводчика заставь его понять, что батальон в окружении, пусть думает, как нас выручать. Если генерала нет, скажи начальнику штаба, этот понимает по-французски». Я сделал, что мне было приказано, а ты бомбардируешь меня вопросами. Откуда мне все знать, разве я генерал Миаха?

Он, конечно, произнес «Миажа». Белов хотел что-то ответить, но ему помешало жужжанье все того же ящика.

— Я попрошу тебя подождать снаружи, товарищ, — обратился Белов к мотоциклисту, очевидно, не желая в его присутствии пререкаться с Жоффруа. — Сейчас я напишу твоему капитану.

Как Белов предугадал, звонил действительно Жоффруа, но

теперь начальник штаба и не прикоснулся к трубке. Это мне надлежало от его имени внушить, что если от медицинского факультета до моста Сан-Фернандо мог спокойно проехать мотоцикл с зажженной фарой и без глушителя, то сообщать штабу бригады об окружении батальона было по меньшей мере безответственно. Призрак окружения однажды уже вызвал во франко-бельгийском батальоне постыдную панику, поэтому майор Белов предлагает капитану Жоффруа установить, из каких побуждений и кто был виновником сегодняшней дезинформации, которая, к счастью, не привела к печальным последствиям, но временно ввела в заблуждение не только штаб батальона, но и штаб бригады. Больше на этой теме задерживаться не стоит. Гораздо актуальнее другая — предстоящий отход на отдых. Капитану Жоффруа пора переключить свои мысли на это. К нему на командный пункт должны ранним утром прибыть офицеры из сменяющего батальона. Их необходимо ознакомить с обстановкой: показать расположение огневых точек, поделиться накопленными наблюдениями за неприятелем, где у него, например, пулеметные гнезда, снайперы и так далее. Главное же — сменяться по этапам и абсолютно скрытно… Хотя Жоффруа пытался что-то пролепетать в ответ, я по знаку Белова уложил трубку на место, а так как в ящике сразу же опять загудело, закрыл его и даже для верности застегнул на медные крючочки. И как раз в этот момент послышалось приближение еще одного мотоциклиста.

— Даю голову на отсечение, что и этот прорвался из окружения, — мрачно предрек Белов.

Взамен кокарды на фуражке вошедшего красовалась эмблема испанских самокатчиков — латунный силуэт мотоцикла. Она достаточно определяла, кто перед нами, но кроме того я знал его и в лицо: он неоднократно привозил к нам на багажнике Реглера. Хорошо представлял себе наши познания в испанском и потому, не тратя пороху даром, он молча вынул из раструба рыцарской перчатки сложенную бумажку. На ней каллиграфическим рондо было выведено, что с двух ноль-ноль франко-бельгийский батальон Андре Марти находится во вражеском окружении, обнаруженном по начавшемуся с этого времени интенсивному обстрелу с флангов. Ставя командование бригады в известность об этом, командир названного батальона просит незамедлительно принять эффективные меры, дабы в кратчайший срок ликвидировать нависшую опасность. Ниже последней строчки, выведенной бывшим чертежником или писарем, стояла сделанная нетвердой рукой заковыристая подпись, в которой можно было разобрать только «f», да и то лишь одно из наличных двух. Я

перевел бюрократизированное SOS Белову, демонстративно сложившему на животе руки со сплетенными пальцами.

— Порви, — отрывисто сказал он. — Отвечать не буду. Эти оба пусть едут обратно. Вольвер, камарада! — Это было обращено к испанцу и доказывало, что Белов, когда дремлет, не безрезультатно кладет голову на морицевский карманный немецко-испанский разговорник. — Вольвер, камарада, марча вольвер, — повторял он, должно быть не уверенный, что его можно понять с одного раза.

— Entonces salud, camarada, — обрадовался мотоциклист.

— Нечего сказать, везет французскому батальону на командиров, — сетовал Белов под аккомпанемент удаляющихся мотоциклов, один из коих, «индиан», громыхал почище Ильи пророка в июльский день. — Если первый оказался предателем, так второй едва ли не сумасшедший, что, пожалуй, еще хуже. Мыслимо ли? Определил, что его окружили, по стрельбе на флангах. А ведь ни тот, ни другой не с бору да с сосенки, но рекомендованы Видалем. Был бы крепкий комиссар, так и он никуда. У Мулэна на поводу ходил и у Жоффруа ходит. Если Реглера там постоянно не держать, загубят эти голубчики батальон ни за понюшку табаку…

Конусами лучей раздвигая густой мрак над тянущимся вдоль Мансанареса шоссе, бесшумно мчался «пежо». Весь день Лукач провел в сторожке, пока, уже в сумерках, мимо нее не проследовало последнее отделение в последнем из трех поместительных автокаров, курсировавших вперегонки со штабным автобусом белоголового Варела, между виллой у моста, где их поджидали бойцы, и местом будущего расквартирования. На эти нарядные автокары Лукач нарадоваться не мог, ведь все три вышли из авторемонтных мастерских делового весельчака Тимара, хотя доставлены были в Кольменар-Вьехо в состоянии, исключавшем всякие помыслы о дальнейшем использовании — их расплющенные каркасы этот чудотворец извлек из пропастей по бокам поднимающегося на Гвадарраму серпантина.

Явившись на командный пункт, Лукач первым делом отправил в Фуэнкарраль измотанного Белова. Немногим позже на полуторатонке, привезшей нас сюда, отбыла перепорученная Ганеву охрана и телефонисты с Морицем, сменившим недавнее уныние на прежнюю агрессивную бодрость, после того как долговязый нескладный Ганс выдал ему расписку на принятые от нас столько-то сот метров телефонной проволоки и несколько аппаратов.

Я оставался при Лукаче до конца, и сейчас Луиджи вез нас в Эль-Пардо, летнюю резиденцию испанских королей. «Пежо»

миновал поворот на Фуэнкарраль, и вскоре шоссе раздвоилось. Ответвление его, отойдя от речки, прорезало опушку леса и у выезда в испанское Царское Село уперлось в баррикаду из набитых песком мешков. Перед нею, подняв на вытянутых руках винтовки, стояло несколько освещенных, как на сцене, милисианос. Остановив машину, они тут же, не проверяя документов, пропустили ее, услышав от Луиджи три заговорщицки произнесенных слова: «Досе бригада, интернациональ». Притушив фары и медленно объехав баррикаду, Луиджи повел машину по широкой улице, в конце ее свернул в переулок налево, по нему выбрался на небольшую прямоугольную площадь, образованную, насколько удавалось увидеть, стандартными коттеджами, и остановился перед одним из них.

— Забирайте вещи и выходите, — подсказал сзади Лукач. — Мы с вами переночуем здесь. Луиджи придется опять удовольствоваться машиной, бросать ее без надзора в таком уединенном месте рискованно. Домик для нас я еще вчера присмотрел, — продолжал он, вытаскивая без видимого усилия одной рукой свой тяжеленный чемодан и взяв на локоть другой руки плащ. — Они все пустуют, но я избрал этот, в середине все же надежнее, чем с краю.

Он носком толкнул незапертую входную дверь и, выпростав из-под плаща фонарь, направил свет на нижние ступени лестницы, ведущей на второй этаж.

Наверху Лукач с порога поочередно посветил в углы заставленной приличной мебелью комнаты, потом направил фонарь на портьеры и занавески.

— Никого нет и, кажется, не было. — Он подхватил чемодан и прошел дальше, в спальную. — Здесь расположимся. Надеюсь, выспимся неплохо. Обратили внимание, до чего тихо? В Фуэнкаррале грузовики будят, да и тесно там для всех, а кроме того, я хочу пораньше посмотреть, как народ устроился. Отпущенные нам десять суток пролетят — и оглянуться не успеем. Их надо буквально по минутам рассчитать, чтоб и людям дать отдохнуть, и одновременно подучить их. Однако надо ложиться. Я, если не обидитесь, буду на кровати один, хотя она и супружеская. Вы же спите на диване и лучше — не раздеваясь. Мало ли чего: война-то гражданская.

Я спросил, разрешается ли снять подсумки. Он засмеялся в темноте и ответил, что разрешается и что он дает так называемые общие указания, а детали предоставляет моему усмотрению. Не промахнувшись, он перебросил со своей постели на мой диван громадную подушку и одно из одеял. Я положил мешок на

паркет, а на мешок, чтоб были под рукой, подсумки и взбил подушку. Но тут же снова послышался мягкий голос Лукача:

— Знаете-ка что? Не поленитесь, пожалуйста, перетащите сюда из гостиной кресло, я вам посвечу, и приставьте к двери. В случае кто полезет, оно нас разбудит, а то ключей здесь почему-то ни в одной замочной скважине нет.

Пожелав комбригу спокойной ночи, я некоторое время не закрывал глаз в блаженном предвкушении сна на упругом, обтянутом скрипучим атласом диване. Он был немного коротковат, но я задрал ботинки на боковую ручку, и стало еще удобнее. Благоухающее не совсем выветрившимися дамскими духами стеганое одеяло моментально согрело не только меня, но и ледяную винтовку у моего правого бока. С пятью патронами в замке и шестым в стволе, да еще теплая, она казалась мне живым и близким существом, вроде спящей в ногах верной собаки. «Солдатушки, бравы ребятушки, а где ваши жены?» — прозвучал в уже погасающем сознании неделикатный вопрос из старинной строевой песни. «Наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены», — успел пропеть в ответ басистый, но бесплотный хор…

Много раз в течение ночи я непроизвольно поднимал веки и всматривался в беспросветную тень. Но пробуждало меня не беспокойство, а ничем не объяснимое праздничное настроение. Через мгновение, уловив в ватной тишине легкое и ровное дыхание Лукача, я, беспричинно счастливый, опять засыпал, чтобы вскоре опять на миг очнуться и опять, упираясь затылком в пуховую подушку, с восторгом погрузиться в сон.

За кружевными гардинами начинало сереть, когда простонали пружины и Лукач поставил на коврик короткие ноги в белых шерстяных носках. Я сбросил одеяло и тоже сел.

— Стараюсь вас не разбудить, а вы, оказывается, уже не спите. Ну и отлично. — Он повернул кисть руки часами к брезжущему окну. — Начнем вставать. Пока будем готовы, рассветет. Кстати, имейте в виду, что хотя на этом этаже есть ванная, но ни вода, ни газ не поступают. Придется полоскаться под раковиной внизу.

Пока я на ощупь брился и на мусульманский манер совершал омовение, терпеливо собирая тоненькую струйку в щепоть, заметно посветлело. Из сумрака гостиной выступила мебель, потом проявился орнамент обоев, а на них повисли картины в золоченых рамах и застекленные фотографии. Как только пустую выстывшую квартиру заселили мирные вещи, она стала обжитой и уютной. Ничто в ней не напоминало о происходящем кругом. Вся обстановка выглядела буднично и пребывала в предрассветной дреме, будто мы заехали переночевать к

знакомым и радушные хозяева вот-вот выйдут из своей комнаты и, сдерживая зевоту, приветливо справятся, как нам спалось на новом месте.

Окончательно приведя себя в порядок и привычно забросив винтовку за плечо, я, по указанию Лукача, отправился будить Луиджи, а заодно сунул в машину свои вещи. То ли ему хороший сон виделся, то ли почему другому, но Луиджи впервые с известного инцидента поздоровался со мной по-человечески и даже проронил какие-то примирительные слова.

Поднявшись наверх сказать, что Луиджи сам принесет термос и сумку с едой, я не застал Лукача в спальной. На уже убранной и застеленной покрывалом постели были в образцовом порядке разложены брюки, рубашка, френч и носки. Возле тумбочки каштаново блестели ботинки на входивших в моду толстых, как бутерброд, подошвах и расстегнутые краги, а на тумбочке лежал чемодан с откинутой крышкой. Портупея и пистолет висели на грандиозных изогнутых рогах, увенчивавших шелковисто-черную бычью голову, которая как над мясной лавкой зачем-то висела над супружеским ложем, демонстрируя в обитателях коттеджа не только недостаток вкуса, но и катастрофическое отсутствие юмора. Выйдя на лестничную площадку, я разобрал доносившееся из коридора напротив довольное покряхтыванье. Дверь в темную ванную была полуоткрыта, и оттуда тянуло хвойным экстрактом. Лукач услышал мое приближение.

— Взгляните, что я нашел. Второй день горюю: одеколон у меня кончился. И вдруг такое счастье: почти не начатое обтирание. Не хотите воспользоваться? Там хватит. Но предупреждаю: дерет, как горчичник.

Богатырская голая рука протянула флакон из синего стекла. Я подошел взять его. Невзирая на холод, раздетый донага Лукач, стоя рядом с ванной в снятом с крюка складном резиновом тазу, энергично растирался влажным мохнатым полотенцем. На какой-то миг глаза мои задержались на его мускулистом торсе, и я уже не смог отвести их. Никогда прежде я не видел ничего подобного: вся не по росту широкая спина Лукача была изъедена какой-то ужасной болезнью. Продолговатые рубцы и рытвины исполосовывали всю поверхность от плеч, лишь немного не достигая поясницы. Оглянувшись, он поймал мой взгляд, несомненно, отражавший внутреннее содрогание.

— Белогвардейские шомпола, — просто пояснил Лукач, будто говорил о чем-то обыденном. — Следы от них остаются на вечную память. Да у меня вообще памяток много, — добавил он весело, и лишь тогда я заметил на его теле не порозовевшие от растирания многочисленные белесые шрамы и странную, вроде маленькой

воронки, вмятину. — Как-никак девятнадцать ранений…

Еще с речи на плацу альбасетской казармы я питал к нему уважение, по мере общения все возраставшее. Но при виде изуродованной спины и покрывающих все его тело шрамов уважение перешло в нечто близкое к преклонению. До сих пор о порке шомполами я читал в некоторых романах о гражданской войне, однако описания сопутствующих ей невероятных жестокостей воспринимались мною скорее как излишние натуралистические детали литературного произведения, чем как жизненная достоверность. Во всяком случае применение шомполов для переубеждения инакомыслящих представлялось мне бесконечно удаленным во времени, наряду с битьем батогами или с пропусканием сквозь строй, описанным Толстым в «После бала». Поэтому, неожиданно обнаружив на нашем комбриге не только бессчетные зарубцевавшиеся раны, полученные в боях за Советскую власть, но и полосатое тавро, выбитое на живом теле стальными прутьями, я был без преувеличения потрясен, и больше всего не тем даже, что Лукач перенес подобную пытку, но тем, насколько буднично он упомянул о ней, — поразительным отсутствием в его словах и тени гордости или рисовки.

Уже на лестничной площадке я машинально прочел надпись на наклейке синего флакона, остававшегося у меня в руках, перечел вторично и опрометью кинулся назад.

— Товарищ комбриг! Товарищ комбриг! Это вовсе не обтирание…

Не добежав до ванной, я открыл соседнюю с ней уборную. Так и есть. Над рулоном туалетной бумаги была прикреплена металлическая коробочка с круглыми отверстиями наверху.

Лукач, уже надевший широкие спортивные трусы и домашние туфли, благоухал, словно целый сосновый бор, но кожа его была в нескольких местах раздражена.

— Как не обтиранье?

— Никак нет, не обтиранье.

— Что же это тогда?

— Жидкость для озонатора.

— Ничего не понимаю. Для какого такого озонатора?

Пришлось объяснить подробнее:

— В уборной. Озонатор для уборной. Чтоб не было дурного запаха.

— Черт возьми! — Лукач рассмеялся, но покраснел. — Вот отчего так припекало. Послушайте, — встревожился он, — а там никакой вредной дряни не намешано? Как бы сыпь не пристала. Недаром продолжает позуживать. — Он повернулся к умывальнику, снял с него белый фарфоровый кувшин. — Прошу

вас, не в службу, а в дружбу, нацедите внизу сколько терпенья хватит, надо побыстрее смыть эту гадость.

Когда я принес воду, он поблагодарил, сконфуженно улыбаясь, и через плечо предложил:

— Уговоримся с вами, что это анекдотическое происшествие останется между нами. Согласны? Ну и хорошо. А то дойдет до разных острых язычков, и будут меня до конца жизни разыгрывать, что, дикий гунн, я, попав в Испанию, ел апельсины с кожурой и умывался в унитазе…

Мы позавтракали в спальной, приспособив вместо стола ночную тумбочку. Луиджи, захватив пустой термос и полегчавшую хозяйственную сумку, предоставленную в его пользование, как выяснилось, фуэнкарральскими целибатными дамами, спустился к машине. Я собрался последовать за ним, чтобы успеть покурить до отъезда, но тут Лукач, продолжавший рассеянно вращать пальцами хрустальную пепельницу, остановил меня вопросом:

— А знаете ли вы, что вот об этой неприметной пепельнице можно интересный рассказ написать?

Я ответил, что, помнится, Чехов заявил кому-то, чуть ли не Короленко, нечто подобное. Он в этом разговоре брался написать рассказ на любую, самую пустяковую тему, хотя бы о попавшейся ему на глаза пепельнице. Лукач поднял глаза на меня.

— Читали, значит. У Чехова, правда, был несколько иной тон, но вы правильно излагаете, что он ставил вопрос вполне по-формалистски: стоит мне захотеть, и я о чем угодно, о любой безделушке, напишу. Но пепельница, что у меня в руках, не безделушка, не пустяк — она свидетель истории. Чего-чего, стоя здесь на ночном столике, она не насмотрелась. Ведь в этих особнячках некогда жили приближенные короля. Не вельможи, само собой разумеется, а мелкая придворная челядь. После отречения Альфонса Тринадцатого они, почти все, остались при дворце и его угодьях на прежних примерно ролях: всякими там лесниками, садовниками, истопниками, сторожами и тому подобное. Дымчатая эта пепельница еще недавно принадлежала какому-нибудь лейб-егерю или камер-лакею (по красующейся над нами голове быка законно предположить, что он из бывших матадоров) и представляет самый хрупкий аксессуар столетиями складывавшихся нерушимых устоев. В один прекрасный день они, при всей своей нерушимости, великолепно полетели вверх тормашками. Но эта хрупкая вещица каким-то чудом пережила и крушение католической монархии, и подземные удары Астурийского восстания, и победу Народного фронта, и фашистский мятеж, и его подавление. Людей, обратите внимание,

не осталось, а она целехонька, и, если б умела говорить, мы узнали бы массу интересного. Она рассказала бы, как в темные зимние ночи, вроде прошедшей, ее, стоящую на холодном мраморе, согревал жаркий шепот молодоженов, рассказала бы, как радовали ее по утрам легкие прикосновения прекрасных рук хозяйки, вытирающей пыль, — надеюсь, вы не прозевали ее фотографию на туалетном столике?.. Но шла середина тридцатых годов, в семейную идиллию врывались ветры эпохи. И возможно, наша пепельница до краев наполнялась окурками, пока за непроницаемыми портьерами спальни горячились на тайных сборищах заговорщики из близких друзей хозяина. Но однажды в доме зазвучали незнакомые грубые голоса, гулко ударили в паркет приклады, и отчаянием прозвенел крик молодой хозяйки. Сердце ее, когда увели любимого мужа, разбилось. Хрустальная пепельница, однако, не разбилась, в ней не появилось и трещинки. Постепенно покрываясь густой пылью, она продолжала стоять на своем месте в опустевшей выхоложенной квартирке, пока не появились мы с вами…

Лукач поставил пепельницу на место и поднялся, расправляя складки под поясом.

— Согласитесь, что по сравнению с ее, если можно так выразиться, жизненным опытом монотонное существование той, которую намеревался воспеть Чехов, является беспросветным обывательским прозябанием. Здесь же сюжет не требуется высасывать из кончика пера, он предложен самой жизнью, брошен ею в эту пепельницу. Дело за малым: суметь изложить ее историю хотя бы с десятой частью той силы, какой обладал Чехов. Впрочем, для этой темы лучше принять за недостижимый образец мастерство Горького последнего периода.

Взять его чемодан Лукач не позволил, и, налегке переступая позади него по ступенькам, я размышлял о том, что старшие советские командиры обладают значительно более широким общим развитием, нежели я предполагал. Хотя, может быть, Лукач и не типичен. Все же он венгр. Как бы то ни было, его начитанность впечатляла. Вообще в нем несомненно билась литературная жилка. Импровизация по поводу пепельницы, например, вполне приемлемый черновой набросок новеллы немножко, увы, во вкусе Стефана Цвейга. Похоже, что, посвятив себя военной службе, наш комбриг загубил в себе писателя…

В отрочестве, а то и в первоначальной юности сильная и внезапная радость вызывала удивительное ощущение, будто сердце прыгает. После долгого перерыва я вновь испытал нечто подобное, неожиданно увидев Пьера Гримма. Луиджи подвел «пежо» к ажурным стрельчатым воротам, по ту сторону которых

прохаживался часовой в каске, но не с винтовкой, а держа в обеих горстях эфес обнаженного палаша. За часовым простирался до каменности утрамбованный двор. Вокруг него была вскопана замкнутая дорожка. По ней одна за другой, пофыркивая и поматывая головами, рысили разномастные лошади, а на них в седлах с подвязанными стременами тряслись бойцы. По центру, волоча манежный бич, передвигался обучающий и по временам щелкал, как в цирке. В стороне, ближе к воротам, стояли двое: ближний — спиной к нам, другой вполоборота. В этом втором, невзирая на расстояние и очень изменявшую его фуражку, я сразу узнал Пьера. Он обратил внимание собеседника на машину командира бригады, и оба заторопились к воротам. По мере их приближения стало возможным различить, что худощавый и еще похудевший Пьер благодаря форме выглядел не тощим, но стройным. Выражение же его лица и в комиссарской должности почти не изменилось, в нем, как и раньше, сочеталась грустноватая серьезность взгляда с добродушно насмешливым складом рта. Рядом с Пьером на кривых ногах старого кавалериста — их кривизну подчеркивали высокие, до колен, черные сапоги из толстой кожи, какие носят ездовые в конной артиллерии, — передвигался вразвалку багроволицый брюнет со свисающими острыми усами под орлиным носом. Под мышкой, как носят зонтик, он нес кривую саблю в никелированных ножнах. Ясно, что это и был командир эскадрона Массар.

Лукач выбрался из машины и, постукивая штатской своей тросточкой, пошел навстречу. Я за ним. Раньше нас подоспев к железной двери, Массар вышел на улицу, поставил блистающие ножны между носками сапог и звякнул, вскидывая кулак, громоздкими шпорами с торчащими вверх зубчатыми колесиками. Пьер остановился в полушаге сзади. Шпор он не носил. Лукач подал руку командиру и комиссару и оглянулся на меня:

— Поздоровайтесь же с вашим другом.

Я вторично отдал честь Массару и повернулся к Пьеру. Он взял меня за плечи:

— Рад тебя видеть…

Но Массар, слегка склонив ухо к Пьеру и раздвинув усы улыбкой, заговорил, и Пьер, не теряя времени, перевел шутливый вопрос: зачем это командир бригады нагрянул так рано, уж не рассчитывал ли он застать их спящими? Лукач, тоже улыбаясь, отвечал, что заехал так, по дороге, но раз уж заехал, то хотел бы знать, каковы пригнанные вчера из Гвадалахары лошади. Массар, перейдя на деловой тон, сказал, что он расписался за тридцать шесть одров, четырех же, у которых сил останется лишь до бойни

добрести, не принял. Надо сказать, что все сорок были неплохими строевыми конями, но сначала застоялись — их месяца два из конюшен не выводили, — а затем без передышки пробежали всю дистанцию по асфальту, к тому же сутки непоеные и некормленые. Массар прибавил, что кони тем не менее отойдут, нужно лишь дать им отдохнуть хорошенько, и сена не жалеть, и овса пока не сыпать, и не опоить, конечно.

— С лошадьми, как с женщинами, умелым обращением всего можно достичь, — сострил он.

Лукач на прощание напомнил, что через две недели собирается, как договаривались, произвести смотр эскадрону. Массар с готовностью предложил сейчас же назначить точную дату и назвал пятнадцатое декабря. Держа саблю вертикально, на манер маршальского жезла, он проводил Лукача до машины. Пьер шел со мной. На ходу я успел передать привет от Володи Лившица и повторил ему слова, что, как ни трудно, но он будет держаться. Пьер вздохнул.

— Володя чрезмерно требователен к себе. Как бы не надорвался… А за тебя я горд, — шепнул он перед тем, как захлопнуть за нами дверцу, должно быть, имея в виду, что мне доверена охрана штаба бригады.

— На этом вашем Гримме весь эскадрон держится, — отозвался о нем Лукач, когда мы отъехали. — Мало что говорить может — а комиссару без этого нельзя, — он и работать умеет не покладая рук. Сочетание, встречающееся не часто. А вот с Массаром беда. И ведь всем бы взял: опытный кавалерийский офицер, много лет во французской колониальной коннице прослужил… Забыл, как это называется…

— Спаги?..

— Вот-вот, в спаги. Коня он знает и бойцов может обучить всему, что требуется: и езде, и рубке, и стрельбе. Политические рекомендации отличные: проверенный коммунист. Но пьет. А точнее: алкоголик. Ежедневно с обеда пьян. И что поразительно, по наружности невозможно ничего определить, только налитые кровью белки да хрипота отчасти выдают, а все остальное в полном порядке, особенно если верхом — посадка абсолютно уверенная, даже препятствия берет. Но это в моем присутствии, а чуть я за ворота, он в кровать и спит под полушубком до ужина. За ужином опять нальется и опять в сон на всю ночь. Давно б я его снял, но, во-первых, жалко же человека, ведь тогда ему конец, хочется ж верить, что он опомнится, а потом, кого, спрашивается, на его место? Гримм, какое он ни золото, но массаровского опыта у него нет, да кроме того он же прирожденный комиссар. Ума не приложу, как дальше быть. Одно скажу: если Массар сдержит

слово и до двадцатого представит боеспособный эскадрон, я все грехи ему прощу, а уж во фронтовой обстановке быть не может, чтоб совесть в нем не ожила.

Мы повернули к широкому въезду в казармы, обнесенные глухой стеной. Часовой беспрепятственно пропустил «пежо» на пустой плац, но, выйдя из будки, предупредил с итальянским акцентом, что все в батальоне еще спят.

— Ну и пусть себе спят на здоровье, — решил Лукач. — Тогда мы с вами прокатимся дальше, мне полезно было бы, хоть оно и не близко, одного старого знакомого повидать. Думается, до обеда обернемся, к обеду же они, надо надеяться, проснутся. Фуэнкарраль, — приказал он Луиджи.

По разбитой дороге, связывающей шоссе вдоль Мансанареса с фуэнкарральским, Луиджи вел «пежо» осторожно, и мы подъехали к превращенному в прифронтовой штаб домику священника, когда солнце уже взошло. Оставив меня внизу, в обществе Ганева, вышедшего на звук остановившейся машины, Лукач взбежал к Белову, но едва я собрался отхлебнуть из ганевской фляжки, как комбриг появился на пороге.

— Скажите Луиджи, чтоб вез в Аранжуэц, — открывая дверцу, распорядился он, — а сами сюда садитесь, ко мне, удобнее разговаривать будет.

На «Аранжуэц» Луиджи приподнял невероятно черные, будто накрашенные брови.

— Аран-ху-эс! — поправил он. — У них нет ни «ж», ни «з», ни этого немецкого «тс», как только вы его выговариваете.

Я вежливо повторил, куда ехать, на сей раз произнеся название весенней резиденции испанских Бурбонов правильно. Ох уж эти закрепившиеся у нас французские искажения испанского, на которые постоянно натыкаешься здесь носом, убеждаясь, что привычный «Жуан» в действительности «Хуан», а «Хозе» — «Хосе», а что «гадая по руке Цуниги» и того хуже — одинаково непроизносимо ни по-испански, ни по-французски. Так же переврано все и в географии, вплоть, как только что выяснилось, до самых прославленных наименований. И отныне для моего слуха навсегда испорчена знаменитая строка про «златые дни в садах Аранжуэца».

Между тем «пежо» мчался к Мадриду, и вскоре мы уже проезжали знакомое рабочее предместье, изуродованное устрашающими следами недавней бомбардировки — наваленными среди уцелевших домишек бесформенными грудами камней, балок и щебня. Немного спустя мы пересекли озаренный по-летнему ярким солнцем центр. Несмотря на ранний час, тротуары были переполнены спешащими на работу, а от

гофрированных железных штор продовольственных магазинов уже протянулись очереди женщин, с головы до пят в черном, будто все они носят траур. По мостовым в разных направлениях сновали, неистово гудя, легковые машины, некоторые под трепыхающимися в утренних лучах анархистскими штандартами. На перекрестках громко стучали по рельсам и пронзительно названивали старомодные мелкокалиберные трамваи, обвешанные людскими гроздьями, совсем как в Петрограде в 1917 году.

— Сегодня как пить дать опять город бомбить будут, — заверил Лукач, поглядывая на ясное небо.

Широкая, с двумя облетевшими бульварами по бокам, улица впадала в необъятную необстроенную площадь, через которую бригада проследовала из Чинчона две недели назад.

— Арена для боя быков, — Лукач показал на круглое вавилонское сооружение слева. — Вам приходилось наблюдать это зрелище?

Слегка смущенно, словно это было с моей стороны упущением, я признался, что нет, не приходилось, но, если верить Бласко Ибаньесу, оно захватывает; и потом, я еще читал во французском переводе необыкновенно лирический роман одного американского писателя, так у него бой быков показан ну почти как мистерия в Обераммергау.

— Какая там мистерия! Я-то в Альбасете видел. Одного из быков даже в мою честь убивали, и мне отрезанное ухо с не совсем еще запекшейся на нем кровью преподнесли. Отвратительно. И вообще, по-моему, все это не что иное, как удовлетворение кровожадных инстинктов толпы. Коллективный садизм. Ничуть не лучше римских сражений гладиаторов или скармливания львам христиан… Простите, да вы не про «Фиесту» ли Хемингуэя упомянули?

— Нет. Та книга иначе называется и довольно трудно переводимо с французского: «Все же солнце поднимается», что ли. Но автор тот же, только я не читаю по-английски и думал, что произносить надо «Хэмингвай».

— Тогда это и есть «Фиеста», точное название: «И восходит солнце». А вы его же «Прощай, оружие!» читали?

Ни «Прощай, оружие!» и ничего другого, кроме «Le soleil se lève aussi», я не читал, но такой ответ разочаровал Лукача настолько, что я почувствовал необходимость оправдаться. Ведь последние годы мне было не до чтения художественной литературы. На это попросту не хватало времени. Если прикинуть, что чистка двухэтажных витрин в универсальном магазине «Лувр» занимала в среднем семь часов в день плюс час

на дорогу, да к этому прибавить еженедельную четырехчасовую вечернюю работу (мытье витрин изнутри перед сменой декораций), а каждую субботу часа четыре отнимали окна в конторе кинофирмы Марселя Паньоля, не считая, что иногда приходилось соглашаться, чтоб не раздражать подрядчика, трудиться все воскресенье, то мой рабочий день составлял минимально десять часов, пусть я и зарабатывал не хуже квалифицированного металлиста. При этом я ежедневно прочитывал пять или шесть газет: «Юманите», запоздалую — ее везли через всю Европу поездом — «Правду», леворадикальное «Эвр», где международное обозрение вела Женевьев Табуи, милюковские «Последние новости», выходившие в середине дня, осведомленнейшее, поскольку оно обслуживало биржевых дельцов, «Пари-миди» и конечно же «Се суар»…

— И все равно для «Прощай, оружие!» необходимо было найти время, — прервал мои оправдания Лукач. — Это же лучший антивоенный роман.

Лавируя между мчащимися один на другого грузовиками, автокарами и легковыми машинами, Луиджи на бешеной скорости гнал «пежо» по тому самому перегруженному пригородному шоссе, по которому мы прибыли в Мадрид. Наибольшим испытанием ловкости нашего шофера был момент, когда попутный и встречный транспортные потоки с разгону вжались в главную улицу одноэтажного городка с возвышавшимся над ним, подобно утесу над пенящимся морем, старинным собором.

— Ишь торчит, — не одобрил Лукач, после того как мы целыми и невредимыми выскочили на открытые просторы, причем слова его относились не к громаде собора, а к возвышавшимся по горизонту справа башням. — Неужели не узнаете? Серро-де-лос-Анхелес! Да, да! Всякий раз, проезжая по этой дороге, испытываю досаду и стыд. Знаю, что не могли мы взять его тогда, но разве от этого легче? Оттуда ж и большой кусок валенсийского шоссе как на ладони — каждая машина с юга со всем своим содержимым ими учитывается, — и Вальекас, вот что проехали, под прямой, можно считать, наводкой.

Из похорошевшего под солнечными лучами Чинчона мы повернули к Аранхуэсу. Но прославленных красот его мне повидать не пришлось. У въезда Луиджи взял вбок и остановился перед обособленно стоявшей виллой.

— Идемте, — пригласил Лукач.

Мы прошли в калитку, поднялись по бетонным ступенькам. Входная дверь была приоткрыта.

— Можно? — по-русски спросил он.

— Входите, входите. Кого б ни принесло, гостями будете, — откликнулся чей-то грубый голос.

Навалившийся этаким репинским запорожцем на стол с неубранным завтраком и старательно писавший большой человек в длинном кожаном пальто повернулся к нам, и я убедился, что бритой, пускай и без оселедца, головой, изломом бровей и тяжелыми скулами он и впрямь был неотразимо похож на одного из написанных Репиным запорожцев.

— А, Лукач, здорово.

— Здравия желаю, Григорий Иванович. — Лукач, повесив палку на сгиб локтя, пожал могучую длань даже не привставшего Григория Ивановича и щелкнул каблуками. — Позвольте вам представить… — он на мгновенье запнулся, — моего ординарца Алешу.

— Купер, — произнес сидевший, протягивая мясистую, но оказавшуюся неожиданно твердой ладонь.

«Уж не Фенимор ли?» — мелькнула у меня игривая мысль.

Из соседней комнаты вышел высокий статный военный, чего не могла скрыть полуштатская одежда. Он приветливо, как с добрым знакомым, поздоровался с Лукачем, а подавая руку мне, назвался совершенно фантастически — Вольтером.

— Коньяку выпьешь? — предложил Лукачу, подвигая рюмку, Купер.

— Вы же знаете, Григорий Иванович, не могу: контузия. Сразу голова разболится. Вот пусть Алеша выпьет, он парижанин, привык к коньяку.

Мне очень хотелось попробовать коньяк, но, опасаясь показаться нескромным, я поблагодарил и устоял перед искушением, тем более что и Купер и Вольтер поглядывали на меня не без любопытства. Я в свою очередь украдкой рассматривал их. До чего ж они были разные, эти два советских командира. Дать бы Куперу вышитую сорочку, синие шаровары да свитку — и без грима можно выпускать его на сцену в пьесе Кропивницкого «Невольник» по поэме Шевченко петь с хором плененных турками казаков: «У неділю вранці-рано синє море грало». До революции Купер явно должен был служить боцманом на флоте или, еще вероятнее, подобно Буденному, вахмистром какого-нибудь драгунского полка, а в мировую обязательно стал Георгиевским кавалером всех четырех солдатских степеней. Вольтер же был совсем из другого теста. Выправка, манеры, породистое лицо — все подсказывало, что он из молодых офицеров, примкнувших в революцию к большевикам.

Лукач, блестя глазами, поделился с Купером и Вольтером радостью: наконец-то бригада получила заслуженную

десятидневную передышку и — будьте уверены — сумеет использовать ее как следует.

— Вы нас уже через недельку не узнаете. Вместо того, что сейчас, настоящую шоколадку получите, — пообещал он, приглашая своих собеседников приехать к этому сроку на бригадное учение. — Но раньше чем на одиннадцатый день, что б ни случилось, хоть пропади все пропадом, ни одного человека на фронт не дам. Только через мой труп!.. Мне чрезвычайно бы хотелось, — обратился он к Вольтеру, назвав его по имени-отчеству, причем оказалось, что того зовут совсем не Франсуа-Мари, но Николаем Николаевичем, — чтоб вы нашу батарею проинспектировали. Командира ее, Клауса, у нас, вы знаете, забрали, но нашелся, по счастью, под рукой один толковый мадьяр, тоже из Большой Деревни…

На обратном пути Лукач подчеркнул, что приезд генерала Купера в Испанию весьма знаменателен.

— Он же видный герой гражданской войны, участник обороны Царицына, еще с тех пор лично известный Сталину. Вообще-то, он по специальности артиллерист, но здесь на ролях общевойскового начальника. Сначала помогал организовывать оборону Мадрида, да там вышла одна неловкость, и его передвинули сюда — здесь уже другой фронт считается — советником к генералу Посасу.

— А Вольтер, он кто? — отважился я спросить.

— Он тоже артиллерист, но иной формации. Оч-чень образованный командир и не меньше того инициативный. Испанцы, между прочим, именуют его Во́льтером, и я предпочитаю это ударение, не так нарочито получается.

Я признался, что сразу же угадал в Вольтере, или Во́льтере, бывшего царского офицера и даже решил, что он непременно окончил не какое иное, а именно Михайловское артиллерийское училище.

(Мне и потом доводилось присутствовать при деловых переговорах Лукача с полковником Вольтером, состоявшим советником при начальнике артиллерии республиканской армии. Наиболее часто коронель Вольтер появлялся в нашем расположении в период Харамского сражения, а в последний раз я видел его неподалеку от Фуэнтес-де-Алькаррия в разгар наступления муссолиниевского корпуса на Гвадалахару. К тому времени мне стала известна его подлинная фамилия. Не забыть, при каких условиях я услышал ее через пять лет.

В ночь на новый, 1943 год мы вместе с бывшим секретарем комсомольской организации Института химии Н. И. Родным и кем-то еще, уловив доносившиеся с другого берега реки Воркуты

позывные Москвы, выскочили из барака, репродуктор которого отключался с десяти вечера. Снег под нами визжал от мороза, северный ветер пробивал поношенные лагерные бушлаты, но мы, замерев на месте, вслушивались в вырывающийся из сверхмощного громкоговорителя и подобно гласу архангельскому разносящийся над тундрой нечеловечески торжественный и по-человечески торжествующий голос Юрия Левитана, провозглашающего ошеломляющие итоги шестинедельного контрнаступления на подступах к Сталинграду. Восторг переполнял нас. Мы почти забыли о своей судьбе. Но, во мне к этому бескорыстному восторгу примешивалась гордость: среди перечисленных руководителей грандиозной операции я в раскатах левитановской валторны уловил «генерал-полковника артиллерии Воронова Н. Н.», а между теми, чьи войска отличились в грозных боях, расслышал предшествуемые генерал-лейтенантским званием настоящие имена еще двух товарищей по Испании — нашего Фрица и коронеля Малино, бывшего в середине января 1937 года советником при проведении Двенадцатой и Четырнадцатой интербригадами при участии бригады танков контратаки на Махадаонду.

С той, внезапно озаренной победой беспросветной воркутинской ночи миновало ни много ни мало восемнадцать лет, когда, приглашенный Романом Карменом на премьеру его фильма о Кубе, я в фойе Дома кино увидел возвышающегося над нарядной публикой величественного маршала артиллерии и опознал в нем знакомого испанского коронеля. Кармен под руку подвел меня к нему, и поплотневший, но все такой же, как и четверть века назад, прямой Н. Н. Воронов дружески поздоровался со мной. А года через два, на одном из собраний новорожденной испанской группы Комитета ветеранов, на которое пришел и «Вольтер», я напомнил ему о поездке Лукача к ним в Аранхуэс и не удержался, чтоб не нахвастаться, как сумел тогда по внешнему виду, не колеблясь, угадать в нем артиллерийского офицера старой армии. «Так-таки ничуть не колебались?» — улыбнулся Николай Николаевич. «Нисколько», — подтвердил я, ожидая получить комплимент моей проницательности. «Ну и ошиблись. Никакой я не царский офицер, я, как говорится, из простых и не то что Михайловского артиллерийского училища не кончал, но и обыкновенного реального не смог по бедности закончить. Пришлось работать, а экзамены на аттестат зрелости сдавать экстерном. Только уж после Октябрьской революции я поступил на командные артиллерийские курсы. Они, верно, помещались в здании прежнего артиллерийского училища, но и то не Михайловского, а

Константиновского». Дабы окончательно посрамить себя, переписываю начало мемуаров Н. Н. Воронова: «По странному стечению обстоятельств мой дед Терентий Ермилович некоторое время работал поваром у инспектора артиллерии царской армии. Мог ли он думать тогда, что его внук станет впоследствии командующим всей отечественной артиллерией?»)

Перекусив и посовещавшись в Фуэнкаррале с Беловым, Лукач во второй половине дня отправился посмотреть, как отдыхают батальоны. Он еще не возвращался, когда мотоциклист привез запечатанное сургучом письмо на его имя. Спустившийся вниз Белов сорвал сургуч и, пробежав бумажку, изменился в лице. Но тут подъехал «пежо», и Белов устремился к нему.

— Неприятность, и большая, товарищ комбриг, — раскрывая дверцу, начал он вполголоса. — Тут за минуту до вас записочку доставили. Не зная, когда вы будете, я позволил себе ее распечатать. Оказалось, от Роазио. Скоро после вашего от них отъезда генерал Клебер нежданно-негаданно вызвал к себе командира батальона, объявил, что отдых прерывается, приказал привести людей в боевую готовность и ждать, пока подадут грузовики. У Посуэло-де-Аларкон — это к западу от Каса-де-Кампо — за Аравакой фашисты наступают.

Лукач остался внешне спокоен, будто только того и ждал, но пальцы его впились в спинку переднего сиденья.

— В первую очередь, необходимо заготовить приказ, которым строжайше указать командирам батальонов, командиру батареи, командиру эскадрона, а также начальнику медицинской части, — одним словом, всем, что, находясь в составе Двенадцатой интербригады, они подчинены ее командованию и не имеют права помимо него принимать ничьих приказаний и распоряжений! Закончишь, сажай Алешу с Клоди переводить, а сам — на мотоцикл и в Эль-Пардо, к Гарибальди. Им, между прочим, при мне легкие минометы подвезли. Галло там?

— Там.

— А Реглер здесь не появлялся?

— Был. Уехал к французам.

— Молодец. А то Галло все больше со своими, будто других и нет. Но раз Реглер во франко-бельгийском, я спокоен. А Клебер? Клебер-то каков? Мало ему, что до сих пор батальон Домбровского в своем личном резерве держит, еще и гарибальдийцами через мою голову командует!.. Я покатил в Мадрид. Добиться отмены приказа, если прорыв, не рассчитываю, но нахлобучку за свой образ действий Клебер от наших товарищей получит, или я буду не я. На случай до ночи не обернусь, прошу: повидайся ты с Галло и передай мое требование,

да и сам наблюдай, чтоб, когда ни подадут машины, до полной темноты пусть и близко никто к ним не подходит. Ехать придется по Кордовскому шоссе, а оно где-то рядом с мостом Сан-Фернандо, под прицельным ружейным огнем, говорят. Посему: двигаться с интервалами в пятьдесят метров и хоть шагом, но без фар. Франко-бельгийский тоже поднимай. Хочет того Клебер или не хочет, а переброшена к Араваке будет вся бригада. Я не дам ему выдергивать из нее батальоны, как гадалка тянет из колоды карты.

Опять никто из нас всю ночь не спал. Телефонисты и охрана штаба двинулись в путь позади всех, уже поздним утром. Краснокожий старик Варела, взявшийся, пока штабной автобус ремонтируется, за руль полуторатонки, отвел ее уже километра на два от моста Сан-Фернандо, но почему-то по нас не стреляли. Впрочем, сидя на прикрытом брезентом добре Морица и не без трепета всматриваясь в даль, везде, где она не была заслонена деревьями или строениями, я нигде не углядел малейших признаков неприятельских позиций. А я смотрел сверху, следовательно, из фашистских окопов, при всей близости их к шоссе, оно было еще менее видимо.

Вскоре мы свернули влево и остановились в оголенном зимними ветрами парке. Варела выбрался из-за руля и ушел вперед проверить дорогу. Тишину нарушало вырывавшееся из кабинки сладкое похрапывание Морица. Вернувшийся Варела, учитывая аудиторию, выругался по-французски и проворчал, что так, когда все указатели поснимали, ничего не стоит и к фашистам заехать. По счастью, это была лишь риторика. К фашистам мы не заехали, а, еще раз повернув, подкатили по узенькой, но тем не менее асфальтированной дорожке к стоявшему посреди пустынного сада неприветливому дому с закрытыми ставнями. Возле него среди выцветшей травы чернели плешины от костров, а в ближней из них валялся недогоревший подлокотник кресла или дивана. Мориц, соскочивший с подножки уже, что называется, ни в одном глазу, потребовал, чтобы мы помогли разгрузить его сокровища, после чего Варела уехал за завтраком.

Темный внутри дом оказался почти без мебели; она, очевидно, пошла на поддержание костров, вокруг которых грелись его прежние постояльцы. В обширной угловой комнате, единственной, где были открыты ставни, не осталось ничего, кроме бильярда без луз для игры в карамболь и явно втащенных сюда из сада негорючих чугунных скамеек. Петров, каким-то чудом дознавшийся о нашем новом местопребывании, расстелив на зеленом сукне свою карту величиной с чайную скатерть, что-то

горячо объяснял по ней Белову. Я отсалютовал им, и Белов, оторвавшись от карты, посоветовал поставить часового, и лучше двух, чем одного, не у входа, а в глубине сада, обращенной к врагу, и даже показал мне в окно, куда именно.

Пока я выбрал два места с достаточным обзором и развел по ним Гурского и Казимира, остававшиеся свободными Ганев, Юнин, Лягутт и Фернандо, а также телефонисты, исключая Морица, нахохлившегося снаружи над своим имуществом, завалились спать в одной из темных комнат прямо на полу. Открыв дверь в бильярдную, я увидел, что Белов и Петров подняли головы и прислушиваются, и тоже разобрал приближающийся рокот множества авиационных моторов. Качающиеся за окном сухие ветки мешали разглядеть, что это за самолеты и куда летят, но едва я направился к выходу, как раздался резкий свист и громовые удары разрывов. Стены комнаты заколебались, а из ближнего окна с жалобным звоном вылетело и вдребезги разбилось стекло. Петров бросился раскрывать второе окно.

— Станцию бомбят, а гарибальдийцы, должно быть, еще там, — заволновался Белов.

Моторы низко летящих бомбардировщиков взревели над крышей, темные их тени промелькнули по саду, однако вопреки моему ожиданию бомбы больше не падали. И странно, я почувствовал легкое разочарование, что испытание нас не коснулось.

Минут через десять после того, как мы с Морицем уже не могли рассмотреть растворившийся в бледном небе клин «юнкерсов», приехал Лукач. Насколько я понял, он предложил вскочившему с брезента Морицу отвезти весь телефонный инвентарь в Фуэнкарраль, так как бригада долго тут не пробудет и он не понадобится. Обойдя сад, Лукач одобрительным «толково» оценил притаившихся у ограды часовых, пронаблюдал, как Луиджи устанавливает «пежо» под старым платаном, до того ветвистым, что, хотя с него и опали все листья, сверху машина не могла быть видна, потом спросил, где Белов, и вошел в дом.

К удивлению моему, присутствие Петрова в столь ранний час Лукач воспринял безразлично, но, как вскоре выяснилось из разговоров за сервированным на бильярде в консервных банках завтраком, к нам, вместе с переходом батальона Домбровского, по тому же языковому принципу, переводился на должность заместителя командира бригады и Петров, не знавший никаких языков, кроме болгарского и русского, да еще с грехом пополам объяснявшийся по-сербски.

Во время завтрака Петров информировал Лукача и Белова о положении к юго-западу от Каса-де-Кампо. Он хорошо освоил этот участок уже раньше, в начале сражения за Мадрид. По мнению Петрова, фашисты предприняли наступление на Посуэло-де-Аларкон без далеких целей, но лишь желая расширить опасно узкий выступ, который образовывали в этом месте их линии. Позавчера с утра они крепко пробомбили оборонявшую подходы к Посуэло недавно сформированную испанскую бригаду, вслед за тем провели внушительную артиллерийскую подготовку и только тогда ввели в дело пулеметные танки, а за ними табор марокканцев. Уже обстрелянная Третья бригада — в день попытки захватить Серро-де-лос-Анхелес она совместно с Одиннадцатой и колонной Барсело наступала здесь, на правом фланге, и оттеснила фашистов на два-три километра — в прошлом познакомилась и с авиационной бомбежкой, и с артиллерийскими обстрелами, видывала она, правда, издали, и танкетки и даже марокканцев, но все это вразбивку, по отдельности. Когда же франкисты обрушили на нее весь набор сразу, а находившаяся у нее на фланге колонна Барсело дрогнула, не выдержала и она. Однако ею командовал кадровый военный и в то же время сознательный революционер Франсиско Галан, один из двух братьев известного капитана Галана, расстрелянного в 1930 году за участие в восстании против монархии. Франсиско Галан сумел удержать бегущих. Потеряв окопы перед Посуэло, кладбище и прилегающую к нему окраину, он все же удержал большую часть селения. Клебер подкрепил его спустившейся с Гвадаррамы колонной полковника Мангада, задержал отвод в тыл домбровцев и прервал отдых батальона Гарибальди, чтобы Галан мог контратаковать и вернуть утерянное.

Мы заканчивали завтрак, когда «юнкерсы» совершили второй налет. Теперь они сбросили бомбы намного дальше, и мы сначала услышали бомбардировку и лишь после нее различили усиливающееся гудение. Раньше, однако, чем Лукач, а за ним и все выскочили наружу, «юнкерсы» уже прогремели над потолком. Вдали медленно оседали грязно-бурые тучи вздыбленной земли.

— Надо думать, это в Посуэло, — предположил Белов.. — А к

нам, смотрите, кто-то жалует.

На управляемой красивым молодым шофером американской шестиместной машине жаловал не кто иной, как Фриц. Пока Лукач просил Петрова неотлучно находиться при домбровцах, чтоб никто не вздумал воспользоваться их безнадзорностью и прибрать к рукам, Фриц наскоро прожевал кусочек намазанного джемом хлеба, запил кофе со сгущенным молоком и пешком отправился с Лукачем на поиски командного пункта Галана.

Немного спустя впереди загромыхала артиллерия. Петров перемотал обмотки, повесил на левый бок планшет, на правый — пистолет, бросил «я пошел» и удалился в сопровождении как из-под земли выросшего Милоша с ручным пулеметом за плечами и заменяющим погребец портфелем под мышкой. Бой тем временем не только разгорался, но как будто и приближался. Белов курил сигарету за сигаретой и поочередно почесывал ладони.

Часа через полтора Лукач и Фриц вернулись, и Фриц тотчас же собрался уезжать. Я проводил его и затворил за ним лакированную, с зеркальным стеклом, створку новой черной кареты. Она быстро и бесшумно покатила, но вдруг замедлила ход и осторожно разминулась с замухрышистым «опельком», которым еще вчера пользовался Фриц. Из «опелька», не дождавшись, пока он остановится, выпрыгнул мертвецки бледный Реглер и опрометью кинулся в дом. Поспешив за ним, я из темного коридора услышал, как хлопнула дверь бильярдной и в ней прозвенел отчаянный выкрик:

— Baimler ist tot!

Еще с порога я увидел расстроенное лицо Лукача; он обнимал припавшего к его плечу Реглера. Белов одной рукой утешающе гладил его по спине, другой — подтягивал садовую скамейку. Реглер бессильно опустился на нее. Глаза его блуждали, как у тяжело больного, волосы прилипли ко лбу. Растянув в стороны отвороты полушубка, заместитель комиссара бригады принялся рассказывать, как все произошло. К сожалению, я недостаточно понимал его. Выходило, что Баймлер направлялся на позиции батальона Тельмана не то мимо Университетского городка к Паласете, не то мимо Паласете к Университетскому городку. С Баймлером был Луи Шустер, причем Реглер говорил о нем почти тем же скорбным тоном, что и о самом Баймлере, да и Лукачу с Беловым этот Луи был, по-видимому, хорошо знаком, я же почему-то до сих пор о нем и не слыхивал. Вел Баймлера и Луи Шустера командир батальона, кажется, им стал Рихард. Все трое были в белых полушубках. Когда подошли к заранее известному простреливаемому пространству и ступили на него, раздались всего два выстрела. Баймлер упал как подкошенный, но, упав,

сжал кулак и отчетливо выговорил: «Рот фронт». Опустился на землю и Луи. Командир батальона побежал за санитарами. Они подоспели через несколько минут, но Баймлер и Луи Шустер были уже мертвы. Пуля попала Баймлеру прямо в сердце…

— Какого идиота надоумило раздать руководящим товарищам эти дурацкие белые полушубки? — взорвался Лукач, упуская в гневе, что Реглер не понимает по-русски. — Мы же не в Лапландии. Надо, кстати, не забыть в очередной приказ вставить параграф, строго запрещающий показываться в них ближе чем на две тысячи метров от передовой, иначе мы скоро без командиров и комиссаров останемся. Слышишь, Белов? А сейчас идем. Я отведу тебя к Галану. Находись при нем неотступно, куда он, туда и ты. Выцарапать у него батальон Гарибальди, пока Посуэло под угрозой, нечего и думать, но, по крайней мере, хоть знать будем, где он и что. Встречной операцией здесь больше не пахнет — не до жиру, быть бы живу, — и я таю надежду, что хотя одну роту Галан уже втравил, но батальон в целом так и останется у него в резерве, особенно если ты будешь там. Когда стемнеет и бой прекратится, возвращайся на своих на двоих сюда. А я пока с Густавом в Мадрид смотаюсь. Гибель Баймлера — тягчайшая утрата и может на многом отразиться. Нужно все это взвесить. Ох, до чего мы все же не умеем беречь людей…

Дверь за ними закрылась. Реглер встал, приблизился к окну с вылетевшим стеклом и долго смотрел в мертвый сад. Мне почудилось, что заместитель комиссара бригады всхлипнул, но я, конечно, ошибся: он начал насвистывать какую-то органную мелодию, сбился, поискал в карманах носовой платок, высморкался и принялся шагать вдоль бильярда, иногда порывисто вздыхая. Видимо, он по-настоящему страдал, но меня внутренне коробила излишняя выразительность его переживаний. Не то чтоб он актерствовал, тем более что меня, он, кажется, не замечал, и все же в его поведении ощущалась какая-то аффектированность.

— Ты не можешь себе представить, какого человека мы лишились, — вдруг заговорил он по-французски, показав тем самым, что знал о моем присутствии. — После казни Эдгара Андре фашизм нанес Коммунистической партии Германии второй сокрушающий удар. Рана от него заживет не скоро. Баймлер сочетал в себе сверхъестественную силу воли с непоколебимой верой в идею. Подобная вера не встречалась, может быть, со времен первых христиан, а сейчас она присуща лишь истым пролетариям. Нам с тобой, выходцам из класса эксплуататоров, никогда не достичь той цельности и простоты, какие даны пролетарию от рождения.

Донесшийся со стороны въезда в усадьбу призывный гудок «пежо» прервал реглеровский монолог.

(Известно, что впоследствии Густав Реглер весьма далеко отошел не только от свойственного в тот период большинству пришедших в партию интеллигентов полумистического отношения к пролетариату, но и от самой партии, да и от очень многого другого. В одной из последних своих книг, изданной в ФРГ под знаменательным названием «Ухо Малха»[37], наш бывший соратник утверждает, что «прозрел» еще в 1934 году, пребывая в Москве. Тем тщательнее стараюсь я восстановить слова и дела Реглера в Испании, которых я был свидетелем, дабы читатель смог убедиться, что оно не совсем так, а заодно и задумался, в чем же причина поразительной метаморфозы, происшедшей с этим, несомненно, мужественным и богато одаренным человеком.)

Весь оставшийся день мы провели всемером, бдительно охраняя самих себя, опустошенный дом, осенний сад при нем да еще машину Петрова, замаскированную Милошем до того, что и с земли она походила на кучу хвороста. И весь этот день в направлении Посуэло то усиливалась, то слабела артиллерийская канонада, перебиваемая выхлопами ручных гранат и сопровождаемая пулеметными очередями и ружейной трескотней.

К вечеру, как бывало и у моста Сан-Фернандо, звуки сражения понемногу смягчались, а с темнотой и вовсе заглохли. Мы поставили на бильярд две оставшиеся целыми после неизвестных предшественников жестяные керосиновые лампы, закрыли и здесь ставни, а как только зажгли вонючие эти коптилки, явился Лукач. Узнав, что Белова еще нет, он не захотел ужинать, но принялся, заложив руки за спину, в нетерпении прохаживаться из одного затененного угла в другой. Так он гулял, пока за ставнями не раздался оклик часового. Через некоторое время у входа послышались шаги, и в бильярдную вошли Белов и Петров, а за ними Милош. Положив на бильярд портфель Петрова, он удалился из уважения к начальству на носках. Лягутт подал остывший ужин. Вываливая из своей потрепанной самобранки разные приятные к нему дополнения, Петров успокаивал Лукача насчет польского батальона: слишком за него тревожиться нечего, он прочно пребывает во втором эшелоне, да еще на фланге, где абсолютно тихо и, судя по всему, будет тихо и впредь.

Зато из беловского доклада, при всей его сдержанности, вытекало, что с гарибальдийцами дело обстоит как раз наоборот. Они попали в самую гущу событий. Едва Лукач, высадив Белова,

отъехал, как фашистское наступление на Посуэло возобновилось, и снова на штурм его была брошена поддержанная танкетками марокканская пехота. Батальон бригады Галана вместе с двумя подкреплявшими его пулеметными взводами итальянских добровольцев был выбит из окопов. Неприятель проник в улицы Посуэло. По требованию Галана командир батальона Гарибальди майор Паччарди должен был ввести его в бой. Раньше, однако, чем выступила первая рота, навстречу отступавшим бросился находившийся в штабе батальона Галло. Пристыдив и задержав отходящих пулеметчиков, он заставил их дать несколько очередей по перебегающим марокканцам, и сам лег за одним из «максимов». Это приободрило растерявшихся милисианосов и помогло командиру испанского батальона организовать новую линию обороны. Необыкновенно кстати появившийся броневик стал стрелять из пушки по танкеткам и по занятым врагами домам. Тут подоспел батальон Гарибальди, выбил марокканцев из поселка и гнал до кладбища, но под воздействием укрытых за его каменными стенами тяжелых минометов наступательный порыв скоро иссяк, тем более что осколками одной из мин был ранен, к счастью, легко все время ободрявший людей личным примером комиссар бригады Галло; пострадали также: перебегавший вместе с ним комиссар батальона Роазио и командир испанского батальона — эти двое посерьезнее. К концу дня гарибальдийцы не только занимали все оставленные республиканские окопы, но и отразили несколько контратак. Когда стемнело, их сменили бойцы колонны Мангада.

— Я о ранении Галло узнал в Мадриде и на обратном пути навестил его, — сообщил Лукач, — Допрыгался-таки. Серьезный человек, член ЦК — и такое легкомыслие. Однако с минами шутки плохи. Еще повезло, что жив остался. Прав был Фриц, когда предсказал, что скоро бригада останется без комиссара, тысячу раз прав. Можно считать, уже осталась.

— Галло мне лично после перевязки говорил, что ранен легко и предполагает нести свои обязанности, — возразил Белов.

— Это еще бабушка надвое сказала. Он же весь мелкими осколками исчеркан. Кто гарантирует, что не начнется нагноение?

Белов, помолчав из вежливости, закончил свой отчет похвалами гарибальдийцам. Они действовали с подъемом и, что важнее, кроме подъема продемонстрировали и организованность. Ею, по мнению Белова, батальон в первую очередь обязан своему командиру Рандольфо Паччарди.

— Но и то сказать, удивляться нечему. Он же в империалистическую капитаном был, награжден за храбрость

двумя серебряными медалями и одной бронзовой, а сверх того итальянским крестом «За воинскую доблесть» да еще британским Военным крестом. Можно лишь радоваться, что он антифашист и с нами. Но угадайте, товарищи, кого я сегодня своими глазами видел в Посуэло? Пари держу: не угадаете — Михаила Ефимовича Кольцова, честное слово. И где? В броневике!.. Израсходовав боеприпасы, броневик возвращался в тыл заправляться, но по дороге остановился у штаба Галана. Смотрю: отворяется в броне дверь, а из нее выскакивает Михаил Кольцов собственной персоной. Помахал стрелку, пересел в свою машину, она за домом пряталась, и был таков.

— Еще один, кому жизнь надоела, — возмутился Лукач. — Разве его за тем прислали? Да этот несчастный броневичок, хоть он целый день стреляй, и половины той пользы не принесет, что один кольцовский фельетон… — Он уперся руками в скамейку и встал. — Пора, однако, нам всем на боковую. Давайте так в общих чертах порешим. Вас обоих я попрошу пораньше с утра быть на тех же, что и сегодня, постах. Мы с Галло и Реглером должны присутствовать на похоронах бедного Баймлера. Как освободимся, все втроем поедем к высокому начальству выдирать отсюда Гарибальди, коль скоро положение восстановилось.

Но на следующий день все повторилось. Утром на Посуэло снова были сброшены бомбы, а как только «юнкерсы» удалились, передний край снова принялась громить вражеская артиллерия, а вскоре загремели и мины. И снова фашистские генералы послали в атаку танкетки и марокканцев, и снова они выбили наших из окопов и заняли западную часть Посуэло. И снова Паччарди поднял батальон в контратаку и вернул все утраченное, а вечером снова передал отвоеванные позиции колонне Мангада. И гарибальдийцев, понятно, снова задержали в резерве Галана.

Уже перед сумерками к штабу подошел «пежо», а за ним незнакомая машина и маленький «опель». Из «пежо» вышли утомленные Лукач и Реглер; из второй машины осторожно выбрался Галло; несколько пальцев у него были забинтованы, и бинты уже успели загрязниться; на лбу и на щеке виднелись мелкие продольные струпики, будто его поцарапала кошка.

Втроем они посовещались в бильярдной, после чего Галло проехал дальше к своим, а Реглер еще долго в мрачном возбуждении что-то говорил Лукачу. Наконец и Реглер уехал, но в противоположном направлении. Лукач, поджидая Белова и Петрова, как и накануне, мерил шагами комнату.

— Всю жизнь избегаю похорон, — признался он, когда я вошел зажечь лампы, — но тут никак нельзя было не пойти, приняли бы за неуважение к памяти Баймлера. Ненавижу всю эту

процедуру. Завалят мертвеца, чтоб не пахло, цветами и заводят говорильню: одна речь, вторая, третья. Между речами музыка душу надрывает. Кому это нужно, не мертвецу же. Родным и близким? Тогда зачем проводить весь церемониал над открытым гробом, надолго запечатлевать в их взорах страшный и отвратительный вид покойника, заслоняя уродливой маской смерти живое и дорогое лицо…

Третий день нимало не отличался от первых двух: утреннюю бомбежку сменил артиллерийский обстрел, затем загудели двигатели танкеток, застрекотали их пулеметы, и с кладбищенской стены посыпались визжащие марокканцы. Как и в прошлые разы, защитники Посуэло не выдержали последовательного воздействия стольких впечатляющих средств и отошли. И еще раз в бой пришлось вступить батальону Гарибальди, который вновь отбросил атакующих в исходное положение. На четвертый день все было пошло по заведенному распорядку, но ни с того ни с сего колонна Мангада оказала весьма решительное сопротивление и со значительным уроном отбила врага. Еще более хладнокровно была отражена вторая попытка штурма. Старенький полковник Мангада любезно объяснял перемену в поведении его бойцов придавшим им уверенности дружественным присутствием за их спинами гарибальдийцев, хотя при таком объяснении оставалось неясным, почему это дружественное присутствие не помогало раньше и батальону Гарибальди трижды пришлось отвоевывать Посуэло. Лукач во всяком случае объяснял чудесное изменение иначе и всего одним словом: «Научились!» К его сожалению, или Клебер, или Франсиско Галан, а возможно, и оба не поверили, что колонна Мангада достаточно прочно усвоила преподанную гарибальдийцами науку, так как продолжали придерживать последних в Посуэло.

Все это время наш неуютный дом продолжал пустовать. Петров и Белов ежедневно с утра уходили вперед, а ночевавший в Фуэнкаррале Лукач целые дни находился в разъездах. С утра он непременно летел в Мадрид, где старался добиться выведения бригады на давно запланированный отдых и необходимую реорганизацию, а его убеждали довольствоваться пока отводом батальонов Домбровского и Андре Марти. Гарибальди же обещали отдать попозже, когда возникшая у Посуэло угроза будет окончательно ликвидирована. Однако Лукач оставался кремнем насчет любых форм раздробления бригады, предпочитая лучше держать всю ее во втором эшелоне, чем хотя бы временно выпустить из рук батальон Гарибальди. Из Мадрида расстроенный неудачей комбриг обычно мчался в Кольменар-

Вьехо полюбоваться воскрешаемыми Тимаром из мертвых автомобилями и, утешенный, отправлялся инспектировать интендантство или же, по приглашению начальника медицинской части Хейльбрунна, пересаживался в его машину и ехал обозревать укромно расположенную усадьбу, которую тот приспосабливал под постоянный бригадный госпиталь.

Начало пятых суток поразило нерушимой тишиной. Традиционный утренний налет почему-то не состоялся. Бездействовала и неприятельская артиллерия. Редко-редко с передовой долетал одиночный винтовочный выстрел, и опять водворялась идиллическая сельская тишь. Становилось похоже, что на этом участке фашисты выдохлись.

К полудню в бильярдной собрались Лукач, Галло с подвешенной на перекрутившемся бинте перевязанной рукой, Фриц, Петров, Белов и Реглер. Состоялся форменный педагогический совет, на котором подробно обсуждалась программа занятий на период вполне вероятного теперь отдыха. После обеда Лукач послал меня на мотоцикле к Клоди перевести несколько страниц приказа, больше напоминавшего классное расписание. Им во всех подробностях предусматривалась ускоренная теоретическая подготовка командиров взводов, а также цикл лекций для командиров рот, батальонов и остальных старших офицеров. Все было рассчитано на семь дней, по четыре двухчасовых урока ежедневно.

Я, как всегда, застал Клоди кутающимся в полушубок на кухне фуэнкарральского домика, все более холодной по мере приближения зимы. Топить же плиты было, по-видимому, как и прежде, нечем. Зато начальник нашей походной канцелярии обзавелся за это время настоящим канцелярским столом, на котором, кроме машинки и картонных папок, покоилась набитая до отказа и затянутая ремнями почтальонская сумка; еще несколько стопок писем высилось возле нее. Круглое лицо Клоди выглядело несчастным.

— Вот, полюбуйся. В моем портмоне, — он ткнул запачканным чернилами пальцем в сумку, — содержится больше восьмидесяти тысяч песет: на франки, по теперешнему курсу, тысяч сто с лишним. Это первое жалованье бригады. Я обязан раздать его по батальонам и притом провести разъяснительную работу, то есть сказать ребятам, что правительство Народного фронта приравняло их во всех отношениях к испанским милисианосам. А это означает, что наши бойцы будут получать по триста песет ежемесячно, а следовательно, пусть спокойно подходят расписываться в ведомости, и хватит горланить, будто их хотят превратить в наемников, и так далее. Беда, однако, в

том, что батальоны во второй линии, и никто не хочет мне ответить хотя бы приблизительно, сколько они еще там пробудут. Туда же доставить деньги не позволено, чтоб с ними в плен не попасть. А пока вся сумма висит, как жернов, на моей шее, и всем вам плевать, что я за нее жизнью отвечаю. Оставили меня безоружным, бери, кто хочет, кирпич, стукай Клоди по затылку и уноси кассу.

— У денежного ящика полагается быть часовому. Я тебе сегодня же одного из наших пришлю. Стоять навытяжку ему, конечно, незачем, пусть он днем сидя охраняет твою сумку, а на ночь запирайте дверь получше, окно же здесь с решеткой, словно в настоящем банке. Главнее же не болтать, что у вас миллион хранится. Мне, например, и в голову не пришло, что это у тебя деньги. Я думал, что и там письма.

— Письма мое второе горе. Многие из товарищей давно уже написали домой. Однако никто не мог указать правильного обратного адреса, и ответы стали приходить с фантастическими иногда надписями. Чаще, впрочем, пишут почти верно: такому-то, Интернациональная бригада, мадридский фронт. Но бригад две, и здешняя почта переправляет все письма в Альбасете. Там военная цензура просматривает их и, разобравшись по спискам, опять шлет в Мадрид, отдельно в Одиннадцатую и отдельно нам. В результате двойная потеря времени. Верно, что сейчас уже все комиссары, вплоть до политических ответственных во взводах, предупреждены, что письма для нас должны быть адресованы на Альбасете и какой у какого батальона шифр. Однако посоветуй, что мне делать вот со всеми этими, когда не указано, в какой оно батальон, а и половины фамилий на конвертах мне не прочесть? И скольких из тех, кому они написаны, уже нет! Но все равно, даже если товарищ и не убит, а только ранен, где мне его искать?

Мы быстро, несмотря на его длину, управились с педагогическим приказом, и Клоди уселся за машинку. Под ее однообразный стук я успел от доски до доски прочитать старый номер «Юманите», потом принялся перебирать конверты, без особого, однако, интереса — мне-то ждать было нечего, я еще не писал. Во второй из пачек одна, фамилия привлекла мое внимание. Я перечел ее. Так оно и есть.

— Это же Паччарди, командиру итальянского батальона! — воскликнул я. — Разве ты его не знаешь?

Я показал конверт с французской маркой и парижским штемпелем незадачливому почтмейстеру. Нижняя губа Клоди, к которой прилип давно погасший окурок «голуаз блё», оттопырилась.

— Откуда мне знать, как это читается. Я бы прочел:

«Паксиарди», ты же совершенно по-другому произносишь: мне и не выговорить.

— Я, собственно, тоже не умею читать по-итальянски. Просто догадался, зная фамилию. Давай сюда. Я найду способ передать.

Когда я слезал с мотоцикла, из наших ворот вышли двое, оба высокие, в уже далеко не белых канадских полушубках, и повернули к Посуэло. Вручив Белову соединенные канцелярскими скрепками отпечатанные экземпляры приказа, я прибавил, что привез для Паччарди письмо, хорошо бы его поскорее отправить дальше.

— Досадно. Он сию минуту был здесь с Альбино Марвином, командиром первой роты. Странно, что ты с ним не повстречался.

Я кинулся вдогонку. До конца садовой ограды не было никого, но, добежав до угла, я увидел среди деревьев две удаляющиеся фигуры. Они оглянулись на топот и остановились в ожидании. По белой майорской звездочке на суконном кепи с большим опущенным козырьком я определил, кто из двух Паччарди. Он был постарше своего спутника и очень красив. Взглянув на протянутый ему конверт, Паччарди просиял, улыбка удивительно оживляла его усталое и, как у большинства красивых мужчин, неподвижное лицо.

— Откуда у тебя это письмо?

Я вкратце пояснил.

— Это от моей жены. Первое. Трудно передать, до чего я рад получить его именно сейчас, когда нам, кажется, удалось с честью выйти из серьезного испытания. Спасибо, что ты взял на себя труд доставить письмо известному тебе лишь понаслышке товарищу, да еще столько бежал за мной. Уверяю, что я никогда не забуду этого…

(Паччарди и в самом деле очень долго помнил, что я однажды сыграл роль доброхотного почтальона. В апреле следующего года Лукач послал меня с довольно щекотливым поручением в большое пыльное и бедное селение, на карте обозначенное под роскошным и контрреволюционным названием Фуэнте-де-ля-Рейна, а устно переименованное в ничуть не менее пышное, но вполне благонамеренное Фуэнте-де-ля-Республика, где батальон Гарибальди приходил в себя после гвадалахарской победы. Мне надлежало деликатно убедить Паччарди в необходимости выполнить повторный приказ испанского командования и сдать-таки захваченные под Бриуэгой и застрявшие в батальоне итальянские пулеметы «бреда». Паччарди хотя и был чрезвычайно раздосадован (к этим, добытым в боях и нигде не учтенным пулеметам, о которых пронюхали какие-то

доки в штабе фронта, в батальоне имелся и порядочный запас патронов), но держался со мной неизменно любезно. Учинив своему оружейнику демонстративный разнос за невыполнение полученного ранее приказа и отдав распоряжение без промедления сдать все утаенные трофеи, Паччарди, едва тот удалился, объявил избранным приближенным, что хитрый генерал Лукач знал, кого прислать с настоянием удовлетворить требование чиновников из мадридского интендантства. Если б от штаба бригады с чем-либо подобным явился другой офицер, он вылетел бы из Фуэнте-де-ля-Рейна, как снаряд из пушки, но что поделать, когда он, Паччарди, питает слабость к адъютанту Алеше, который некогда в трудную минуту не поленился пробежать едва ли не километр, чтобы доставить незнакомому человеку письмо от жены.

А еще гораздо позже, в начале 1940 года, инвалид I группы и персональный пенсионер Альбино Марвин, показывая мне в своей новой московской квартирке книгу о батальоне Гарибальди, изданную ее бывшим командиром на итальянском языке в 1938 году, перевел оттуда теплые слова об «Алеше, молодом русском поэте из Парижа», хотя ко времени ее написания со смерти Лукача, когда мы с Паччарди виделись в последний раз, прошло около года и хотя уже в конце 1937-го окончательно определилось глубокое расхождение автора, принадлежавшего к республиканской партии, с итальянскими коммунистами. Расхождение это довело впоследствии Паччарди до того, что он пять лет кряду занимал пост военного министра в последних, реакционных, правительствах де Гаспери и практически осуществлял вхождение Италии в Атлантический пакт. Недаром из послевоенного римского издания «Il battaglione Garibaldi» упоминание о «молодом русском поэте» исчезло.)

Невзирая на затишье, наставшее у Посуэло, батальон Гарибальди был с миром отпущен генералом Клебером лишь еще через четверо страховочных суток. Накануне долгожданного дня Лукач не остался ночевать в Фуэнкаррале, а радостно возбужденный приехал из Мадрида прямо к нам. Он рассказал Петрову и Белову, что приказ о переводе бригады в резерв фронта, с местопребыванием в Эль-Пардо, подписан самим генералом Миахой и что благодаря ходатайству Лукача перед коронелем Вольтером не забыта и батарея Тельмана. По случаю отвода Двенадцатой бригады в тыл генерал Миаха пожелал принять ее командира и не только восторженно отозвался о поведении батальона Гарибальди в боях за Посуэло, но и горячо поблагодарил за стойкость, проявленную всей бригадой у Пуэрта-

де-Иерро, Паласете и Сиудад Университариа.

— Вот ведь и знаю, что он бездарность, пустое место, на кандидатуре которого все партии постольку легко и сошлись, поскольку он ни к одной из них не принадлежит, и вообще — подставная фигура, а все равно приятно. Наконец-то наша заслуга в обороне Мадрида официально признана и, что там ни говори, лицом авторитетным: главой Хунты обороны, и притом кадровым испанским генералом.

— Миаху, это верно, Ганнибалом не назовешь, но он, безусловно, предан Республике, — убежденно вмешался Петров. — Между прочим, фашисты держат заложником его сына, и Кейпо-де-Льяно по радио чуть не каждый вечер грозится расстрелять его, если отец сейчас же не сдаст Мадрид или, по крайней мере, не уйдет в отставку, но Миаха остается неколебим.

— Да, да, Горев упоминал об этом. Он, в частности, считает, что с Миахой можно отлично работать, если конечно, не задевать его самолюбия и терпеливо относиться ко вспышкам старческой раздражительности. По-моему, тоже. Миаха славный старикан. Посмотрите-ка, что он мне подарил.

Только тут я заметил, что на поясе комбрига вместо обычной кобуры висела маленькая из тисненого сафьяна. Расстегнув пуговку, Лукач подбросил на ладони свободно на ней уместившийся белый пистолетик, и даже при свете керосиновой лампы видно было, что он отделан перламутром с золотыми инкрустациями.

— Будуарная вещица, — определил Петров.

— На первый взгляд, даже хуже: просто безделушка, а между тем самая настоящая «астра», хоть и крохотная, кучно бьет на сорок шагов, большего и не требуется. Полюбуйтесь лучше, какая ювелирная работа, чудо. Я б не смог с такой прелестью легко расстаться, а Миаха снял, представляете, с себя и подарил. «Носите, — говорит, — на память о вашем испанском друге, потому что сначала я ваш друг, а уж потом начальник». Слушаю я переводчицу и сам чувствую, что расплываюсь в глупейшей улыбке. Кстати, Алеша, вы жаловались, что ваш Клоди безоружен и вам приходится при нем бойца держать. Можете сейчас же взять у Луиджи мой прежний кольт и, когда найдется время, отвезите Клоди, чтоб и взаправду какие-нибудь примазавшиеся к анархистам бандиты не зацапали бригадные деньги. А теперь — всем спать. Завтра работы — выше горла.

Он вышел в сад и скоро вернулся с подушкой и пледом, захватив заодно из машины и старый свой пистолет. Белов с Петровым, подстелив канадские кожухи, улеглись по обыкновению на железные скамейки, а Лукач отодвинул лампу в

дальний угол, ловко вспрыгнул на бильярд, опустил голову на подушку, натянул плед до подбородка, оставив, чтоб не запачкать его, ботинки непокрытыми, и неожиданно опять сел:

— Чуть не забыл. Клебер, по привычке минуя меня, выхлопотал для Паччарди производство в подполковники за Посуэло. Что ж, я искренне рад. Паччарди вполне того достоин. Но Клебер этим не удовлетворился. Он отдал приказ, адресованный также поверх наших с вами голов, непосредственно Паччарди. Написан приказ, надо признать, очень красноречиво и даже литературно — Клоди с Алешей при всем желании подобным образом не написать, — а главное, по-испански, и преисполнен заслуженных гарибальдийцами похвал, не забыт в нем и подвиг раненого комиссара Роазио, но в конце Клебер заявляет, что горд был командовать таким батальоном, а уж это, с точки зрения нормальной воинской субординации, прямо безобразная выходка, надо надеяться, последняя. Горев мне, можно считать, гарантировал, что подобное не повторится. Ведь партия ребром поставила вопрос о создании регулярной республиканской армии, и мы одна из ее единиц, и расчленить ни нашу, ни любую из вновь сформированных бригад впредь никому не позволят…

К восходу солнца батальоны были доставлены в Эль-Пардо и размещены по пустующим казармам. Заранее мобилизованные окрестные парикмахеры наперегонки с имевшимися в бригаде — только клочья летели — стригли и брили бойцов, после чего те принимали душ, сменяли белье и переодевались в новое единообразное зимнее обмундирование. Затем Клоди с почтовой сумой на одном боку и пожалованным Лукачем пистолетом на другом, да еще под охраной Юнина, выдавал каждому по триста песет. Перед обедом по батальонам были проведены митинги, а после него все желающие поротно, но, естественно, без оружия, были уволены в отпуск и на грузовиках и автобусах отвезены в Мадрид. Лукач очень настаивал на необходимости показать иностранным добровольцам испанскую столицу, под стенами которой они, скоро месяц, проливали кровь, так и не повидав города.

Командование бригады устроилось в том домике, где мы с Лукачем недавно переночевали вдвоем, и окончательно отрабатывало часы и темы занятий в открывающейся назавтра общебригадной школе.

К вечеру Лукач, взяв меня, поехал в Фуэнкарраль. Обе сухопарые дамы, за три недели несколько попривыкшие к страшным постояльцам, встретили нас застывшими улыбками, но не успели мы прикрыть за собой дверь большой комнаты налево,

как старухи вздохнули дуэтом, вероятно, вспомнив своего «куро», иногда, конечно, возвращавшегося с требы столь же поздно.

Лукач предложил мне занять половину непонятно зачем понадобившейся священнику двухспальной кровати, а сам спустился к «пежо» и принес чемодан. Раньше чем я успел помочь, комбриг без видимого усилия одной рукой водрузил его на стол, расстегнул ремни, за цепочку вытащил из кармана брюк связку ключей, выбрал нужный ключик, отомкнул замки и, подняв крышку, стал аккуратно выкладывать лежавшие сверху вещи. Вынув рубашку, галстук, темно-серый спортивного покроя костюм, тот самый, в котором он впервые предстал перед бригадой, и завернутые в бумагу английские полуботинки на плениших меня подошвах из кожи по меньшей мере гиппопотама, Лукач терпеливо уложил остальное обратно. Потом из коридорчика постучался к старухам и просительно повторил одно и то же испанское слово. Вернувшись в комнату, он достал из тумбочки обмотанную бархоткой щетку и баночку с желтым кремом, взял полуботинки и отправился на лестницу. Когда он возвратился, туфли сияли не хуже, чем если бы на них наводил лоск профессиональный чистильщик из американизированного специального заведения на бульваре Монпарнас. Я выразил восхищение ими.

— Да, сносу не будет. Но вы ошибаетесь, принимая их за английские. Это нашенские.

Я был приятно поражен. Такие и в Париже не всегда увидишь, разве что на пересекшем Ла-Манш туристе. Пришлось объяснять, что так как по советским газетам, киножурналам и даже по художественным фильмам нельзя не заметить, что в СССР пока не научились изготовлять предметы широкого потребления, одежду, в частности, а лучшей в мире обувью считается английская, то я и принял эти великолепные полуботинки за made in England.

— Открою вам секрет. Они из предназначенных для экспорта. Мы, если захотим, сумеем, как известно, и блоху подковать, не то что ботинки не хуже прочих сшить. Но это — если очень захотим, или, что то же, когда очень надо. А ширпотреб у нас, вы правы, — ужасен.

Одна из старух поскреблась в дверь и, осклабя лошадиные зубы с бледными деснами, внесла нагретый утюг. Лукач поспешил ей навстречу, приговаривая «мерси», «мерси», перехватил утюг, поставил на перевернутую вверх дном медную пепельницу, расстелил возле чемодана почти несмявшиеся брюки, накрыл куском белой материи и, набрав в рот воды из никелированного стаканчика, спрыснул, как умеют женщины, тряпочку и принялся гладить. За брюками настал черед пиджака,

и тогда выяснилось, что командир бригады возит с собой небольшой деревянный вкладыш, чтобы на нем утюжить рукава и плечи.

— Хочу посмотреть, как наш народ развлекается в Мадриде, — умывшись и зачесав назад мокрые волосы, объяснил Лукач свое переодевание. — Придется, понятно, в ночные бары заглянуть, в штатском оно удобнее, да и никто так не узнает. — Он вынул бумажник, снял с висевшего на кресле пояса новую крохотную кобуру и положил на кровать. — Спрячьте на всякий случай себе под подушку, пожалуйста. Инкогнито так инкогнито. Если понадобится, у Луиджи шоферское удостоверение имеется. Эту же музейную редкость лучше с собой в злачные места не таскать, чтобы ее — не ровен час — где-нибудь в тесноте не срезали. За оружием здесь настоящая охота, и спереть его не считается зазорным. А пропади эта игрушка, я ужасно был бы огорчен: во-первых, подарок, а кроме того удивительная же работа. Хорошие вещи, признаюсь, моя слабость.

(Больше Лукач с перламутровой «астрой» на моей памяти не расставался и часто говаривал, что она когда-нибудь украсит стену его кабинета в Москве. Когда Лукача смертельно ранило под Уэской, подаренный генералом Миахой редкостный пистолет был, как всегда, при нем и — вместе с записной книжкой, бумажником, походной генеральской формой и всем, что было в недавно приобретенном чемодане поменьше, — исчез бесследно. Сохранились и позднее были доставлены семье лишь те личные вещи, что оставались в тылу.)

Я проснулся среди ночи, уловив в ее тишине мушиное жужжание приближавшегося автомобиля, а как только он застопорил под окнами, поспешил вниз, чтоб открыть раньше, чем разбудят Клоди.

— Чутко же вы спите, — вполголоса проговорил Лукач, проходя мимо нижней кухни на цыпочках. — Вроде меня. Ну, раз уж встали, выйдите и скажите Луиджи: пусть запирает хорошенько машину и ложится на вакантный диванчик наверху. Ничего с ней не случится, а начнет кто отмычку подбирать, два таких сторожевых пса, как мы с вами, сразу почуют.

Шутливые интонации, однако, не обманывали меня, я чувствовал, что он чем-то недоволен. Представляя, как должно быть неприятно ему, некурящему, дыхание курильщика, я улегся на своей половине кровати спиной к Лукачу: с него вполне хватит и запаха табачного дыма, въевшегося в мою одежду и волосы. С минуту комбриг повозился позади меня, улаживаясь, и затих.

Прошло порядочно времени. Я решил, что он уже задремал, но Лукач глубоко вздохнул, опрокинулся на спину и заложил руки за голову. Я тоже перевернулся навзничь.

— Вам почему это не спится?

Я ответил, что никогда не был соней, а в последние недели обязанности разводящего приучили меня спать с промежутками.

— А я никак не могу успокоиться после сегодняшних впечатлений. — Он опять вздохнул. — Ну, как вы думаете, где провела свой первый отпуск добрая половина наших бойцов?

Я высказал здравое предположение, что скорее всего в ночных кабаках. Уверенный, что дурное настроение Лукача вызвано неприглядным зрелищем множества пьяных, я прибавил справедливую, хотя и потерявшую от частого употребления часть убедительности ссылку на крепость испанских вин. Нельзя же действительно слишком осуждать людей, в частности французов, привыкших ежедневно выпивать литр своего легкого винца, за то, что здесь тот же литр неожиданно приводит к поистине разительным результатам.

— Не в пьяных суть, — возразил Лукач, кажется, догадавшийся, что я пытаюсь утешить его. — Сам я из-за контузии не пью, но и не фарисействую, презирая тех, кто может себе это позволить, постольку, конечно, поскольку оно не отражается на деле. У одного из дореволюционных русских поэтов что-то такое сказано про уважение к рассудительно пьющему крестьянину.

— «Если он не пропьет урожаю, Я тогда мужика уважаю!» — процитировал я, лишний раз изумляясь столь подробному знакомству Лукача с русской литературой, для комбрига, да еще для венгра, почти сверхъестественному; не слишком четкое отнесение А. К. Толстого к дореволюционной поэзии мало что в данном отношении меняло.

— Вот-вот, — подхватил Лукач. — Можно ли, в самом деле, не понять, если после месяца таких испытаний люди, имея лишние деньги в кармане, заложат за воротник? Но в том-то и фокус, что в какие таверны и кабаре мы с Луиджи ни заглядывали, переполненными их не обнаруживали, а находили лишь небольшие группки интеровцев; между тем в Мадрид уволилось чуть ли не две трети того, что осталось: больше шестисот человек. Где же остальные, спрашивается? И вдруг, при входе в один бар, натыкаюсь на Густава Реглера. Оказывается, в его голову взбрела та же идея: поглядеть, как наш люд веселится. Ну, я тотчас же беру Реглера за жабры — куда, мол, подевались его, так сказать, духовные чада? «Могу показать, — приглашает он в свою маленькую машину, — они там, куда в ночном Мадриде

отпускные фронтовики устремляются, как бабочки на огонь». Шофер у Густава мадридец, и хотя Луиджи видит во мраке словно кошка, но этот по родному городу еще увереннее везет. Не так далеко от центра свернули мы в узкую улочку, выходим. Батюшки светы! Пусто и тьма-тьмущая, но юношей-то я подобные места видывал, а потому сразу сообразил: перед нами квартал публичных домов, только фонари синим закрашены. Но и при этом освещении видно, что тротуары забиты молчаливой толпой, лишь сигареты попыхивают. А из подъезда непрерывно одни выходят, а другие вместо них входят. Протолкались в одно из «богоугодных» заведений и мы. Внутри — дым коромыслом, механическое пианино бренчит и зал действительно битком набит нашими ребятами. Веселья, однако, не ощущается, настроение скорей как в приемной зубного врача, и в довершение сходства в коридоре, перед портьерами каждой двери переминаются с ноги на ногу терпеливые очереди. Я, сами понимаете, не мальчик, но как-то не по себе стало.

Он снова шумно вздохнул. Снаружи не проникало ни лучика, и я не мог рассмотреть выражения лица Лукача, а тем временем вновь послышался его полный горечи голос.

— Пожалуй, напрасно я вам об этом говорю, вы же совсем еще молодой человек, но трудно все удержать в себе. Согласитесь, что подобное зрелище не может не ужаснуть. Добровольцы интернациональных бригад, герои, самопожертвованием которых восхищается мир, и вдруг: в очередях какого-то бардацкого конвейера. Мне, повторяю, сорок лет, перенес я — не всякому на долю выпадет: приходилось и наблюдать и самому переживать жуткие вещи, — но этот лупанарий, действующий среди баррикад революции, меня потряс, он просто не умещается в моем мозгу. Реглер находит, что это вполне естественно, смеется, что ни один армейский капеллан не был бы так смущен, как я, но и не хочу с Реглером согласиться. Пусть и сам не святой и отнюдь не капеллан, а не хочу и не могу. За человека стыдно становится, стыдно и больно, до чего же он жалок, и слаб, до чего беззащитен перед собственными животными инстинктами!..

Должно быть, потому, что я вырос в старом мире, где даже окончание кадетского корпуса товарищи по выпуску отпраздновали (после благодарственного молебна, торжественного акта с концертом и церемониала вручения аттестатов зрелости) коллективным походом «за пятый мост», как в Сараеве топографически определялся соответствующий квартал, но я не был поражен рассказом Лукача. Ведь и в Альбасете многие из приехавших с нами успели «в последний раз» сбегать в

тамошний дом терпимости. Вообще же весь этот древний институт до того укоренился и вошел в привычку, что однажды отнюдь не загнивающий буржуа, а французский рабочий, с которым я чистил витрины «Лувра», осведомившись, верно ли, будто в Советском Союзе запрещены бордели и даже панельная проституция жестоко преследуется, развел на мое подтверждение руками и с чистосердечным недоумением воскликнул: «Но как же они там живут тогда?»

— Реглер, представьте, убеждает, — продолжал Лукач, — что публичные дома на всей республиканской территории социализированы анархистскими профсоюзами и что они получают баснословные доходы от торговли женским телом. Надеюсь, это враки. Но что некоторые анархо-синдикалистские деятели всеми средствами противятся закрытию злачных мест, объявляя это нарушением свободы личности и остроумно приравнивая к американскому сухому закону, насколько мне известно, правда…

В десять утра в бывшей комнате дежурного офицера главной эль-пардоской казармы собрались выбрившиеся и принарядившиеся командиры батальонов со своими штабами и командирами рот. Занятия с ними проводил Фриц. Переводчиком к нему приставили меня, но двух языков не хватало, и каждый произнесенный мною французский период как эхом сопровождался неразборчивым гулом: это в кучках, образовавшихся из непонимающих ни Фрица, ни меня, велся под сурдинку перевод на итальянский, польский и Бог его знает на какой еще. Одним из таких сепаратных переводчиков был долговязый и большеротый Альбино Марвин, прекрасно, по-видимому, знавший русский, так как начинал шевелить негритянскими губами одновременно с началом моего перевода. Фриц увлеченным баском читал лекцию на актуальную тему: «Батальон в обороне на открытой местности», аккуратно нанося мелом, как чертежник рейсфедером, на доставленную из ближайшей школы классную доску иллюстрирующие кроки и схемы. Приятно было слушать лаконичную и точную военную речь Фрица, слушать, но не переводить, ибо незнание французской армейской терминологии сказывалось, и мне довольно часто приходилось останавливаться в мучительном подыскивании нужного слова. Несмотря на эти расхолаживающие задержки, воодушевление Фрица передалось всем, проступил интерес даже в прохладном, выжидающем взгляде Паччарди, и когда, щелкнув от смущения и досады пальцами, я безуспешно пытался припомнить, как же по-французски «отделение», именно Паччарди подсказал, реабилитируя тем самым мою память,

неизвестный мне термин «l'escouade», и сидевший между французами человек лет сорока, с испитой и рассеянной физиономией, в котором я угадал Жоффруа, одобрительно закивал.

После обеденного перерыва занятия возобновились, но теперь Фриц усложнял первоначальную тему вариациями, то посылая на обороняющийся батальон полк марокканской кавалерии, то нанося фланговый удар итальянскими танкетками или рисуя на доске противника, зашедшего в тыл. Наконец, сбив мел с ладоней, Фриц предложил задавать ему вопросы, и они так и посыпались.

А тем временем взводные и отделенные должны были под общим наблюдением Петрова обучать людей правильным приемам стрельбы из винтовки стоя, с колена и лежа, и когда мы вышли на плац, он был усеян распростертыми гарибальдийцами, а над нами стояло звяканье затворов и клацанье курков. Фриц остановился и попросил перевести, что при обучении обращению с незаряженной винтовкой следует запретить нажимать на спусковой крючок, так как частые щелчки ударника по пустому магазину понапрасну изнашивают механизм. Заканчивая перевод, я увидел подкативший к воротам изящный серый «пежо» и с разрешения Фрица поспешил навстречу комбригу.

Выйдя на плац и поравнявшись с направляющимися к выходу поляками, Лукач пожал руку маленькому сильно простуженному и закутавшему шею толстым, шерстяным шарфом командиру батальона Антеку Коханеку, потом поздоровался с остальными и, положив обе ладони на палку, принялся через сносно говорившего по-русски немолодого рябого дядю расспрашивать, как, по их мнению, принесли ли им пользу сегодняшние занятия. Внимательно выслушав ответы и повеселев, комбриг объявил, что завтра из Альбасете должно прибыть пополнение.

С места, где я стоял, можно было наблюдать, как Фриц продолжает, в мое отсутствие через Альбино Марвина, говорить с окружающими, а отделившийся от них Паччарди указывает подскочившему взводному на неправильное положение распластавшегося перед ними гарибальдийца и носком ботинка разводит пошире его ноги. Как раз в это мгновение Лукач посмотрел в ту сторону и нахмурился. Отпустив отрывистым «салуд» польских командиров и сделав мне знак следовать за ним, он упругим шагом подошел к Паччарди, взял под руку и отвел от подчиненных.

— Переведите, пожалуйста, товарищу Паччарди, что он, сам того, очевидно, не подозревая, продемонстрировал только что, я бы сказал, барски-пренебрежительное отношение к бойцу, тронув

его ногой. Знаю, что жест этот был несознательным, но — пусть Паччарди на меня не обижается — я тем не менее был неприятно поражен; ни на йоту не сомневаюсь, что если б он смог взглянуть на себя в тот момент сбоку, то согласился бы со мной. У нас подобные вещи называют отрыжкой прошлого.

Об «отрыжку прошлого» я, конечно, споткнулся и второпях перевел как «икоту», на что Паччарди приподнял было бровь, однако кустарность перевода не затмила смысла сказанного, потому что теньенте-коронель густо покраснел.

— Скажи генералу, что он абсолютно прав. Стоит человеку сменить костюм, как меняется и его психология. Нацепив эти две звездочки и портупею, я невольно воскресил в себе манеры офицера королевской армии. Вот только упрека насчет игры в бывшего синьора я не принимаю: мой отец был мелким железнодорожным служащим. Во всяком случае, как республиканец и демократ, я понимаю, что многое, представлявшееся мне, юноше, нормальным в шестнадцатом году на австро-венгерском фронте, в тридцать шестом и здесь — неприлично. Можешь прибавить, что я обещаю внимательно следить за собой и удерживаться от… икоты.

«Икота» была даже не камешком, а целым кирпичом в мой огород, впрочем, на русский я без запинки перевел ее как «пережиток».

Ночевал я опять во Фуэнкаррале. Лукач, раздеваясь в темноте, по возвращении из паломничества в Хунту обороны, стал рассказывать, что генерал Миаха и сегодня был с ним неизменно любезен, интересовался времяпрепровождением бригады и снова рассыпался в комплиментах.

— Мы-де и такие, и сякие, и немазаные, а вот Одиннадцатая совершенно, мол, не тот коленкор. Я, понятно, вежливенько, но решительно возразил. Заявил, что нам до Одиннадцатой, как до неба: и общая подготовка, а главное, командные кадры ее во много раз превосходят наши, у нас, например, до сих пор фактически нет штаба.

Лукач лег и, как накануне, заложив сплетенные пальцы под затылок, рассказывал дальше:

— Однако слушать мои возражения Миаха не пожелал. «Скромность, — отвечает, — большая добродетель, но слишком много скромности это даже у молодой девушки порок». И вдруг без обиняков задает вопрос, как я отношусь к Клеберу. Не кривя душой, я держу ответ, что в качестве командира Одиннадцатой интернациональной бригады Клебер совершил подвиг прямо-таки исторического значения, остановив фашистов в самый критический момент. Но Миаха, не дослушав переводчицу, как

закричит на нее, как забрызжет слюной. «Э, — соображаю, — да ведь он от меня совсем другого ждал». И действительно, переводчица смущенно бормочет, что роль Эмиля Клебера непомерно раздута иностранными корреспондентами, изобразившими его чуть ли не единоличным спасителем Мадрида. Тут меня наконец осенило: вовсе не к нам генерал Миаха хорошо относится, а это он Клебера терпеть не может, скорее всего из ревности, если не от зависти, и, прослышав про наши с ним нелады, видит во мне союзника. Ан нет, ми хенераль. Я могу Клебера очень даже не жаловать за самоуверенность, а пуще всего — за попытку превратить нашу бригаду в придаток своей, и вообще, чего греха таить, Клебер неоднократно пребольно задевал мое самолюбие, но нельзя ж из-за этого совесть терять и отрицать сделанное им, особенно в первое время.

Мне показалось, что внизу на улице что-то звякнуло. Я сказал об этом. Мы оба с минуту прислушивались, но все было тихо.

— Помстилось, — определил Лукач и продолжал более спокойно: — Как-никак командовать сектором Клебер не сам себя посадил и назначили его не с бухты-барахты. Обеспечивая свои фланги, он завязал дружеские связи с ближайшими соседями, побывал на их позициях, помог толковым советом, подкинул того-сего. Постепенно авторитет командира первой интербригады распространялся вширь, и кончилось тем, что он наладил относительный порядок на самом угрожаемом участке мадридского фронта. Назначив Клебера командовать им, Хунта лишь закрепила фактическое положение. Другое дело, что я бы на месте Клебера ни за что на свете на это не пошел…

В конце третьего дня нахождения в резерве прибыло около шестисот человек подкрепления. Больше половины его составляли итальянские добровольцы, на втором месте стояли французы, но были и поляки, и югославы, и фламандцы, и валлоны, три румына и даже один грек. В отличие от того, как была сформирована наша рота, все новоприбывшие прошли в окрестностях Альбасете не меньше чем десятидневную подготовку, но зато явились без винтовок. Между тем создавшийся в бригаде небольшой запас из сданных ранеными и снятых с убитых был уже частично израсходован, так как в батальоны (главным образом в батальон Гарибальди) за десять дней нахождения в Посуэло перешли из смежных колонн многие десятки испанских бойцов, которых их командиры соглашались отпустить только без оружия.

Выйдя по окончании занятий из казарменной классной, мы смогли наблюдать, как гарибальдийцы сбегались к марширующим по плацу новым товарищам, возглавляемым

небольшого роста респонсаблем с печальными глазами, юношеским румянцем и седой головой. По дороге в Фуэнкарраль Лукач сообщил мне, что респонсабль этот тоже приехал из Советского Союза, что фамилия его Пичелли и что, несмотря на моложавый вид, ему, должно быть, за пятьдесят, поскольку он один из ветеранов, вступивших в бой с фашизмом при самом его зарождении, еще в двадцать втором году, когда, будучи коммунистическим депутатом от Пармы, Гвидо Пичелли организовал в ее рабочих кварталах вооруженное сопротивление чернорубашечникам и отстоял город. Позже Муссолини сослал Пичелли на остров Липари, но тот ухитрился бежать.

— Как видите, Пичелли закаленный революционер и его вступление в нашу бригаду надо считать ценнейшим приобретением. К сожалению, мне передали, будто он одно время склонялся к троцкизму и явился сюда, чтобы смыть это темное пятно на своей биографии. Но хотя и есть строгие указания — это, я попрошу, чтобы осталось между нами, — не доверять раскаявшимся троцкистам и не назначать их на командирские должности, однако официально мне ничего не известно, и я, в согласии с Галло, порекомендовал Паччарди дать Пичелли роту. У него открытый взгляд и, что меня окончательно подкупило — не в обиду вам будет сказано, — удивительно тихий голос.

Еще накануне Лукач, в ожидании подкрепления, распорядился отобрать винтовки у всех шоферов, телефонистов, кашеваров и прочих, дабы снабдить оружием новичков, и на следующее же утро они, распределенные по батальонам, вышли со всеми под холодный дождь на последнюю перед стрельбами отработку ружейных приемов. Одновременно Лукач, в надежде на доброе расположение генерала Миахи, заготовил ордер на пятьсот карабинов, о наличии которых пронюхал Тимар, и собирался не только вооружить эскадроны, но и оскорбленных в лучших чувствах разоруженных товарищей. Однако, в сопровождении переводчицы представ в обычное время перед Миахой, комбриг вместо привычных любезностей неожиданно принужден был выслушать жестокий разнос за безобразия, обнаруженные престарелым командующим в нашей бригаде.

— Побагровел весь, включая и обширную лысину и складку жира на шее, уставился на меня, словно сыч, в очки и давай кричать, — куда только былая вежливость подевалась. Возмутился я, однако молчу, пусть, решаю, выкричится, тем более что переводчица с переляку онемела, и мне невдомек, в чем, собственно, дело, о чем ор, хотя и понимаю: кроют меня почем зря испанским матом. Наконец переводчица залепетала — и, Господи, из-за чего, выясняется, сыр-бор. Мой-то «в первую

очередь друг, а уж потом начальник» собрался вчера под вечер запросто, без свиты, посетить нашу бригаду, с похвальным намерением самолично выразить людям свое благоволение. Первой на его пути была казарма франко-бельгийского батальона: увидев, что ворота ее на запоре, Миаха выбрался из машины и скромненько пешочком засеменил ко входу. Но не тут-то было: часовой потребовал у него пропуск. Это почему-то показалось Миахе обидным, он впал в амбицию. Часовой в ответ сделал «на руку». Миаха давай вопить, что он Миаха, а тот — или не расслышал, или не понял — продолжает держать тесак против миахиного пуза…

— Еще бы ему понять, — заметил я, — ведь французы совсем иначе произносят окончание его фамилии.

— Пришлось в результате Миахе несолоно хлебавши удалиться. И подумать, что столь строгие правила завелись на мою голову во франко-бельгийском батальоне, где еще позавчера я нашел полный двор посторонних и среди них митинговало не меньше десятка мадридских анархистов. А всего через сутки даже Миаху не впустили. Или замечание Белова так подействовало? Он по моей просьбе указал Жоффруа, какой у него кавардак. Теперь не оберешься неприятностей. Самолюбивый старик по гроб жизни этого не забудет. По его мнению — он так мне и сказал, — командующего обороной Мадрида все обязаны знать в лицо…

Три дня подряд я переводил Фрица, и если первая лекция, посвященная поведению батальона в обороне, стоила мне настоящих мучений, то перевод следующей — о батальоне в наступлении — дался значительно легче, а на последней, в которой Фриц рассказывал о связи с артиллерией, а также о взаимодействии пехоты с танками непосредственной поддержки, я почти уже не застревал. Но еще большее удовлетворение доставляли мне приобретаемые в виде бесплатного приложения к деятельности переводчика военные познания. Напряженно ловя компактные фрицевские предложения и тут же повторяя их по-французски, я вдвое лучше наших с ним слушателей усваивал предмет и постепенно приходил к уверенности, что отныне вполне сумею справиться не только с отделением, но и со взводом, а там, смотришь, может быть, даже и с ротой.

По программе четвертые занятия отводились чтению карты и съемке местности, отчего и должны были проводиться на открытом воздухе, но я на них не присутствовал, так как Лукач неожиданно дал мне самостоятельное поручение. Произошло это за ранним завтраком. Под доносящиеся из верхней кухоньки чревовещательные вздохи старшей из старух младшая только что внесла и поставила на пыльную бархатную скатерть две тарелки с

обугленными бифштексами, две чашки даже не пахнущей кофе коричневой жидкости и пересохший хлеб. Лукач поблагодарил вежливым «грасиас, камарада», дождался, пока кузина священника удалилась, отпилил ножом кусочек кремированного мяса, пожевал, проглотил с усилием и, запив бурдой из чашки, поморщился.

— Чистая отрава. Сказать по правде, иногда я без шуток опасаюсь, как бы эти божьи старушки чего-нибудь не подсыпали.

Он терпеливо отделил от сожженного бифштекса еще кусочек, опять долго жевал и опять проглотил непрожеванным.

— Вроде пережаренного голенища. К такому не привыкаешь, наоборот, чем дальше, тем невыносимее становится. Да и помещение никуда. Лень было Фернандо поискать. Нас всего пять с половиной человек, и то не помещаемся: Белов и Петров в Эль-Пардо, Фриц в Мадриде ночует, Мориц с телефонистами в другом конце Фуэнкарраля, поди-ка собери. А меж тем нам давно пора полноценным штабом обзавестись, для него же раньше всего нужен подходящий дом, чтоб человек пятнадцать разместились, а также связь, охрана, обслуга. Вот я и хотел вас попросить, благо Фрицу вы сегодня не очень нужны, они все равно на мелкие группки разобьются: сходите, пожалуйста, в местное отделение комсомола, — кажется, он по-испански после слияния с соцмолом как-то иначе называется, — и разузнайте, не смогут ли они порекомендовать двух-трех хороших девушек или молодых женщин, по возможности таких, чтоб в их присутствии сгущенное молоко, как от этих наших хозяек, не скисало. Ну, и чтоб умели приготовить и подать, и посуду помыть, и простирнуть, когда понадобится. Условия простые: мы зачислим их в бригаду на общих основаниях, другими словами, они станут бойцами и будут получать довольствие и по триста песет в месяц. Если договоритесь, пройдите потом… Нет, это лучше сперва: разыщите-ка здешний комитет Френте популар и попросите для нас другой дом, побольше. Желательно на окраине, и хорошо бы по дороге к фронту.

Утро опять было пасмурным. Проводив взглядом машину Лукача, я перешел улицу и направился к перекрестку, собираясь расспросить у первого встречного, где фуэнкарральский комитет Народного фронта, однако встречных, если не считать холодного ветра, не попадалось. Лишь высокая женщина в демисезонном пальтишке и с плетеной корзинкой под локтем шагала по противоположному тротуару. Так как никого больше не было видно, я решил догнать рано вышедшую за покупками женщину, а она как раз стала пересекать улицу, и тогда я увидел, что это молоденькая девушка, смуглая, черноволосая и черноокая, как

цыганка. Она вышла на мой тротуар всего в нескольких метрах, но даже не взглянула в мою сторону, будто и не слышала стука солдатских башмаков. На ближайшем углу девушка свернула в полого поднимающийся переулок. Я безотчетно последовал за нею. Она ускорила шаги и скрылась в подъезде облезлого трехэтажного дома. Проник в него и я. В полумраке грязной лестницы еще постукивали взбегающие каблуки. Я заторопился, чтобы не прозевать, в какую квартиру войдет молодая работница. Если правда, что на ловца и зверь бежит, то почему бы не пригласить ее к нам в обслугу, при ней, во всяком случае, молоко не свернется.

На последней площадке захлопнулась левая дверь. Перескакивая через ступеньку, я взлетел наверх. Винтовка за плечом придавала мне уверенности, и, убедившись в отсутствии звонка, я постучался. Из глубины как копытца затопотали те же каблучки. Повернулся ключ. На пороге стояла уже успевшая снять пальто худая девушка. Поверх застиранного платья на ней была зеленая вязаная кофточка с кимовским значком над грудью. Увидев меня, девушка так покраснела, что было заметно даже сквозь карменскую ее смуглоту, и низким хрипловатым голосом что-то проговорила. Я по-французски спросил разрешения войти, пояснив, что у меня есть дело. Она не поняла. Тогда я переступил порог и оказался в крохотной прихожей. Из комнаты слева высунулась другая девушка и тотчас же спряталась. Почувствовав неладное, я решительно двинулся туда. В бедно убранной комнатке с раскрашенными бумажными веерами под зеркалом и прикнопленными к выцветшим обоям фотографиями кинозвезд стояли вдоль стен две железные кровати, а между ними некрашеный стол. За ним сидел совсем юный боец с ангельски голубыми глазами и вьющимся, как у пасхального барашка, золотистым, давно не стриженным руном. Он был в форме, но безоружен и тоже испуганно взглянул на меня. Такие желтовато-белые волосы и глаза цвета небесной лазури могли принадлежать только немцу или, может быть, еще голландцу, но никак не испанцу, и я уверенно обратился к обеспокоенному моим вторжением херувимчику с вопросом, что он тут делает. Вопрошаемый неожиданно оказался англичанином и по-французски изъяснялся немногим лучше, чем я по-английски. В нашей бригаде, насколько мне было известно, добровольцев из Англии не имелось, кроме одного-единственного, зато сына лорда, в батальоне Тельмана, но я от кого-то слышал, что в батальоне Эдгара Андре был целый английский взвод. В обоих, следовательно, случаях белокурый красавчик принадлежал к Одиннадцатой. Это подтвердилось. Он кое-как сумел объяснить,

что неделю назад (дата была уточнена растопыренными пальцами) ему предоставили однодневный отпуск в Мадрид. Почему же вместо того, чтоб еще шесть суток назад явиться в свою роту, он очутился в этой комнатушке на восхищенном попечении двух, угадывающих его желания фуэнкарральских мисс, — оставалось лишь догадываться. И пусть бы он был хоть слегка ранен, так нет, разве что в переносном смысле, если судить по влюбленным взорам, бросаемым этим неоперившимся птенцом (бриться ему требовалось явно не чаще двух раз в неделю) на вторую девушку с непропорционально продолговатым, как у боттичеллиевских красавиц, бледным личиком. Впрочем, какое-то чутье подсказывало мне, что большее, вернее, более конкретное отношение к смазливому юноше имела старшая из них, преследуя которую я наткнулся на эту, с точки зрения полевого устава, не вполне законную идиллию, ведь у себя в бригаде бедняга должен был числиться пропавшим без вести.

Знаком предложив хорошенькому мальчику встать, я показал на значок, приколотый к зеленой кофточке, и, вспомнив, как маленький Фернандо называл комсомол, твердо выговорил: «Хувентуд социалиста». Девушки меня поняли. Взволнованно тараторя, они бросились в переднюю, схватили свои пальто и выскочили на лестницу, принужденно улыбающийся их кавалер неохотно двинулся за ними, я держался в арьергарде.

Фуэнкарральский комитет социалистической молодежи занимал отдельное здание неподалеку. Там нашлось сразу несколько человек, достаточно знавших французский, а одна худенькая учительница, ростом скорее похожая на ученицу, произносила так, словно преподавала в парижском лицее. Через нее я быстро договорился с секретарем военного отдела и сдал ему англичанина с тем, что его сегодня же доставят в штаб Одиннадцатой. Еще легче было договориться обо всем остальном. Между прочим, выяснилось, что высокую смуглянку зовут вовсе не Кармен, как ей приличествовало бы и как я называл ее про себя, а Пакой или, ласкательно, Пакитой. Стройная вторая девушка, на которую так жадно смотрел отбившийся от рук англичанин, была, невзирая на совершенное отсутствие сходства, родной сестрой Пакиты и запросто носила такое отягченное реминисценциями имя, как Лаура.

Англичанина, по словам Пакиты, они с сестрой обнаружили у себя в подъезде вчера, возвращаясь поздно из кино. Он спал, положив голову на нижнюю ступеньку. Разбудив его и убедившись, что это один из иностранных camaradas, приехавших защищать Мадрид Непобедимый, они подняли больного и под

руки отвели к себе. Утром же, не успели они накормить гостя, как постучался eso francés. (Под «этим французом» Пакита подразумевала меня. Наконец-то я обрел национальность.)

Свою версию Пакита излагала напористо, но сквозь ее бронзовую кожу пробивался румянец смущения. Больше по инерции, чем в порядке выношенного решения, я все же предложил ей поступить на работу к нам в штаб. К моему удивлению, она не размышляя согласилась и за себя и за сестру, а сверх того пообещала привести еще двух подруг. Секретарь по кадрам безоговорочно подтвердил абсолютнейшую политическую благонадежность всех четверых, хотя у меня зародилось подозрение, что про отсутствующих подружек он услышал впервые в жизни, да, кажется, и Лауру раньше не встречал. Зато Пакиту секретарь, несомненно, знал лично и отечески — хотя выглядел еще моложе ее, — положив руку девушке на плечо, произнес целый рекомендательный спич, который учительница не сочла, однако, нужным переводить и из которого я уловил только, что Пакита una camarada muy seria, то есть очень серьезный товарищ. Под углом сделанных мною наблюдений это утверждение звучало несколько парадоксально, но я тут же напомнил себе, что секретарь имеет в виду серьезность идеологическую.

В представительстве Народного фронта, куда меня взялась проводить все та же крохотная учительница, разговор был еще короче, и я вышел оттуда, держа взамен ордера связку ключей от ворот и дверей нашего нового жилища, оказавшегося мрачноватым бетонным особняком, обнесенным каменной в полтора роста оградой. Осмотрев его и признав отвечающим условиям, выдвинутым Лукачем, я вручил добрых три килограмма ключей Паките, и она пообещала сегодня же подготовить все к нашему приезду.

Под вечер я показал дом Лукачу. Он обошел убранные комнаты, проверил пальцем, не осталось ли пыли на мраморной полке камина, палкой приподнял край одного из матрасов, неизвестно где добытых Пакитой и разложенных прямо на полу, покосился на телефон в передней и решил уже эту ночь провести здесь.

— Подходяще. Без абордажной лестницы стену не перелезть, ворота железные, внутри чистота и порядок. Знаете что? Для поддержания порядка в дальнейшем возьмите пока на себя обязанности коменданта штаба. Я говорю «пока», так как вообще-то решил назначить вас своим адъютантом. Мне он положен по должности, да и нужен, а из вас, полагаю, адъютант получится. Коменданта же мы со временем подберем…

Назначение меня исполняющим обязанности коменданта штаба доказывало, что аистоподобный Гросс не случайно исчез из виду. Сменивший на этом посту капитана Фернандо, но тоже не оправдавший надежд Лукача, Гросс в свою очередь был переведен в помощники к интенданту бригады Никите и проявил себя дельным снабженцем, однако почему-то плохо ладил со своим шефом, вообще-то снисходительным к человеческим — и чужим и собственным — слабостям. Возможно, виной тому были отчасти языковые трудности, поскольку Гросс кроме венгерского владел и французским и немецким, тогда как Никита, по-русски говоривший без акцента и, кажется, не совсем еще забывший сербский, по-немецки объяснялся так, что даже мне становилось тошно. Зато когда Никиту сменил венгр Отто Флаттер, интендантские способности Гросса развернулись полностью, или, как выразился Белов, «расцвели пышным цветом».

После смерти Лукача и перехода в штаб «XIV армейского корпуса», как из конспиративных соображений гиперболически именовались находившиеся под единым руководством, но разбросанные по разным фронтам отряды «герильеросов», я всего один раз смог побывать в родной бригаде, еще Лукачем развернутой в Сорок Пятую интердивизию, и, естественно, ничего не знал о Гроссе. Командированный в начале 1938 года с довольно щекотливым поручением в Хаэн, я по дороге заехал в Альбасете за трехмесячным содержанием интеровцев, сражавшихся в XIV корпусе. Набив портфель нераспечатанными, прямо со станка, пачками ультрафиолетовых кредиток, я — поскольку за отъездом Белова, давно уже отозванного в Москву и сдавшего дела германскому коммунисту генералу Гомесу, мне в альбасетском штабе больше не оказывали прежнего хлебосольного гостеприимства — направился в бывший ресторан, превращенный в офицерскую столовку. Неподалеку от места, где осколком авиабомбы был убит несчастный Клаус, я наткнулся на Гросса. Небрежный и даже грубый с подчиненными, он был насмешливо доброжелателен с равными, и, после того как я стал адъютантом командира бригады, между Гроссом и мной установились окрашенные взаимной иронией поверхностно-приятельские отношения. Но сейчас Гросс не встретил меня очередной остротой. Он был мрачен, как в ту ночь, в которую я, свыше года назад, нарушил его сон, и еще сильнее, чем всегда, сутулился. Его осунувшийся вид и особенно бледность, неестественная в Испании, поразили меня. Было похоже, что Гросс только что выписался из больницы. Вяло подержав во влажной ладони протянутую ему руку, он на вопрос, что с ним

стряслось, принялся, весь дрожа от переполнявшего его негодования, жаловаться на возмутительнейший произвол, жертвой которого он оказался. Его, члена Венгерской коммунистической партии и лейтенанта республиканской армии, ни с того ни с сего арестовали при исполнении служебных обязанностей и, не предъявив никакого обвинения, под конвоем, словно какого-нибудь агента Пятой колонны, препроводили в Альбасете, где заключили в тюрьму для совершивших воинские преступления участников интербригад. Что же он, Гросс, натворил? Может быть, ему инкриминировали, предположим, халатность, приведшую к порче значительных запасов продовольствия, или спекуляцию им? Ничего подобного. Продержав Гросса целую неделю под замком в компании приговоренных военными судами злостных нарушителей дисциплины, всевозможных дебоширов и скандалистов, участников кабацких драк с применением огнестрельного оружия или еще дезертиров, следователь, наконец, открыл карты. Выяснилось, что на Гросса поступил анонимный донос, сообщавший о его тайной принадлежности к троцкистской студенческой организации в Париже. За первым, безымянным доносом, вскоре последовал второй, подписанный кем-то из сослуживцев по интендантству и обвинявший Гросса в ведении пораженческих разговоров, выбалтывании военных секретов, осмеянии командования и в чем-то еще. Между тем интенсивная переписка Гросса с друзьями во Франции давно уже привлекла к нему избытком критических замечаний и общим ироническим тоном неблагосклонное внимание альбасетской военной цензуры, и оба доноса, таким образом, попали на заранее унавоженную почву. Однако продолжавшееся около трех недель следствие ничего конкретного не дало, и Гросса, проведшего в тюрьме в общей сложности немногим менее месяца, пришлось с извинениями освободить. Произошло это всего за два дня до нашей встречи, — а за час до нее Гросса принял генерал Гомес и предложил довольно ответственную работу здесь же, в Альбасете. Гросс не только наотрез отказался, но, заявив, что не может простить нанесенного ему оскорбления, потребовал немедленной демобилизации и отправки во Францию. Слушая кипевшего от ярости «Марабу», я всецело разделял его возмущение, но не мог в то же время внутренне не осуждать его решение бросить все и уехать. Нежелание Гросса поступиться хотя бы и жесточайшей обидой я воспринял как своего рода измену. Пусть и верно, что генерал Гомес извинился перед ним сквозь зубы или что, по мнению Гросса, ему предложили работу в Альбасете, дабы легче было вести за ним наблюдение, но разве от этого борьба с

фашизмом становится менее насущной для каждого из нас? Стоит лишь на миг позволить себе поставить свое, личное, во главу угла, и всякий раз, когда оно будет вступать в неизбежное противоречие с требованиями общего дела, все труднее будет не впадать в индивидуализм, а то и просто в шкурничество. Рано или поздно это не приведет к добру. Так, или примерно так, я рассуждал тогда…

(О том, что дальше произошло с Гроссом, я узнал сравнительно недавно от приезжавшего из Будапешта ветерана венгерского революционного движения Санто Рёже, того самого, сменившего Клауса «толкового мадьяра, тоже из Большой Деревни», о котором говорилось выше. Вкратце поделившись с ним пережитым за шестнадцать с лишним лет тюрем, исправительно-трудовых лагерей и ссылки «навечно» в карагандинскую степь, я с наивной гордостью заверил старого друга, что вплоть до XX съезда ни в чем (если не придавать значения седине и морщинам) не переменился и ни одну из ценностей, представлявшихся нам в годы испанской войны непреходящими, сомнению не подвергал. В этой связи я пренебрежительно упомянул о Гроссе, не выдержавшем и месяца. В ответ Санто Реже рассказал, что Гроссу удалось-таки добиться тогда своего и, демобилизовавшись через медицинскую комиссию, признавшую его к продолжению военной службы негодным, выехать во Францию. Там он вскоре окончательно порвал с партией и никогда уже не вернулся ни в нее, ни на освобожденную родину…

Записав сейчас это о Гроссе, с тем чтобы уже больше к нему не возвращаться, я вместо удовлетворения (ведь предвидение мое оправдалось, и он кончил плохо.) обнаружил в себе некоторое смятение. Последнее десятилетие так много открыло нам, поколебало, а то и начисто отвергло столько представлявшихся незыблемыми догм, что буквально ни к чему из прошлого невозможно относиться с прежних, амвонных, позиций. И вот я ловлю себя на сомнении: что же все-таки преобладало в моей былой неколебимости — беззаветная ли преданность идее или с детства привитая привычка к вере, к передоверию, подкрепленная истинно христианским смирением? И не могло ли, наоборот, при ближайшем рассмотрении выясниться, что Гроссом, при всех его недостатках, руководило тогда не болезненное самолюбие, а глубоко укоренившееся чувство собственного достоинства, без которого полноценный человек немыслим?..

Что же касается дальнейшей судьбы другого неудавшегося коменданта нашего штаба, то она являет собой демонстративное опровержение косных представлений о людях и одновременно

вопиющее нарушение литературных канонов, определяющих внешность и характер положительного героя. В моей беспристрастной (в данном случае) памяти капитан Фернандо предстает пахнущим табачным и винным перегаром тучным сонливым лентяем с обросшей рыжей щетиной физиономией и заплывшими, неприязненно смотрящими глазками. Узнав как-то, что он болгарин, я, наконец, обрел объяснение извиняющимся интонациям Белова, возникавшим всякий раз, когда Лукач начинал жаловаться на Фернандо; сам же последний сделался в моих глазах тем необходимым исключением, без которого ставшее всеобщим достоянием правило о выдающихся боевых и деловых качествах приехавших в Испанию болгарских коммунистов оставалось бы неподтвержденным. С предупреждением переведенный за бездеятельность из штаба бригады в ее интендантство, капитан Фернандо был через короткое время отчислен и оттуда, уж не помню точно, куда, и безвозвратно, как я думал, исчез из моего поля зрения.

Прошло двадцать лет. Гостя летом 1958 года в Болгарии у Белова и Петрова и уже готовясь к возвращению домой, я на прощание посетил Музей истории болгарского революционного движения, и каково же было мое потрясение, когда, завидя среди увеличенных фотопортретов павших героев Сопротивления чье-то, показавшееся мне знакомым, полное лицо, я, несмотря на начертанное под ним ничего мне не говорящее имя, вдруг узнал давно вычеркнутого из памяти капитана Фернандо. В числе других проживавших в СССР болгарских эмигрантов он в конце 1941 года был доставлен на подводной лодке к берегам царской Болгарии, чтобы, нелегально проникнув на родную землю, включиться в борьбу против общего врага. Неизвестно кем заранее проданные, подпольщики, не успев много свершить, были выловлены полицией и преданы военному суду, приговорившему восемнадцать из двадцати семи подсудимых к смертной казни. О том, как мужественно вели они себя перед расстрелом, я уже писал в очерках «Сестра моя Болгария» и повторяться не буду. Здесь важно отметить, что капитан Фернандо, так разительно не соответствовавший образу самоотверженного революционера, геройски умер наравне с остальными, и память его, как одного из восемнадцати, свято чтится в Болгарии. Вернувшись из музея, я все же не скрыл от Белова, что превращение капитана Фернандо в народного героя, хотя бы и под другим, настоящим именем — Симеона Филиппова Славова, — поразило меня. «А я не удивляюсь, Алеша, — заметил Белов, — нисколько не удивляюсь. Как бы в отдельных обстоятельствах ни вел себя наш Фернандо, но ведь он всю жизнь состоял в партии. И когда пришла пора

отвечать за это, он прежде всего перед самим собой не мог держаться иначе и принял смерть, как подобало коммунисту…»)

…Лукач сдержал обещание и переедал в новое помещение в тот же вечер. До него туда перебрались Мориц со своей командой и Клоди, устроившийся вместе с канцелярским столом, машинкой, папками, сумой казначея и приросшим к ней Юниным, в темной комнатке для прислуги рядом с кухней. В самой кухне уже хлопотали над горящей плитой Пакита с Лаурой, им помогали еще две девушки, обе маленького роста, только одна хорошенькая, а другая дурнушка. Хорошенькую молоденькую женщину с круглыми, большими и при таких размерах удивительно быстрыми глазами звали соответствующе Леонорой. Вторую — толстую, курносую, рыжеватую, да еще усыпанную крупными веснушками, величали Асунсьон, что, по аналогии с французским, должно было в переводе означать «Вознесение» и, будучи приложено к этой коротконогой девице, в обтягивающей ее пышные формы засаленной кофте, звучало диссонансом.

Проходя с тяжелым чемоданом к себе, Лукач заглянул в кухню, приветливо произнес «салуд» и проследовал дальше. Девушки ответили ему застенчиво, но не сделали мы и пяти шагов, как из кухни вырвался прямо-таки взрыв азартных женских голосов.

— Как попугаи в вольере, — усмехнулся Лукач. — А у вас, я вижу, губа не дура, — бросил он на меня взгляд искоса. — Девушки ваши, кроме одной, недурненькие. Приятно посмотреть. И опрятненькие. Сразу видно, что городские пролетарочки. А вот четвертая во всех смыслах подгуляла. Именно такой я представляю себе… забыл, как звали Дульсинею Тобосскую на самом деле, Альдонса, что ли?..

Спал я в ту ночь отдельно, да так, что не сразу услышал дребезжанье телефона, а проснувшись и приподнявшись, с сильно бьющимся сердцем, на локте, не успел еще прийти в себя, как Лукач, светя на паркет и бесшумно ступая ночными туфлями, уже прошел мимо меня в переднюю. Соразмеряя голос, чтоб никого не разбудить, и, видимо, не понимая звонившего, он все повторял «алло», пока не подоспел Орел и не принялся — в полной уверенности, что говорит по-испански, — саксофонить в трубку искаженные на испанский лад французские слова. Одновременно он переводил то, что ему удалось понять, на то, что он считал русским языком. Все это тянулось так долго, что я не заметил, как снова заснул.

— Алеша, — тихонько позвал из темноты Лукач.

Я опять привстал на локте, мотая головой, чтоб вытряхнуть

из нее туман сна.

— Что прикажете, товарищ комбриг?

— Жаль вас будить, да нечего делать. Тут ко мне из комендатуры обращаются. Я сам к телефону подошел, думал, может, Горев, ан, слышу, испанец. Хотел было вас кликнуть, да, спасибо, телефонист помог. Они там задержали, понимаете, какого-то типа, заявляющего, будто он наш танкист, и в то же время, что он, черт его знает, протодьякон. Ерунда невообразимая. Поневоле приходится вас поднимать. Беда в том, что эта помесь протодьякона с танкистом ссылается почему-то на меня. Сходите, будьте добры, разберитесь в этой чепухе.

Комендатура находилась в противоположной стороне Фуэнкарраля. Заспанный сарженто карабинеров провел меня к дежурному. Это был терпимо, но чересчур тихо говоривший по-французски подчеркнуто вежливый человек в черном, как у официанта, костюме и с умопомрачительным пробором; из-под пиджака, нарушая стиль кладбищенского регистратора, свисала на ляжку могущая служить прикладом деревянная кобура, из которой угрожающе торчала ручка маузера. Еле слышно и при этом обращаясь на «вы», дежурный пригласил меня сесть и сообщил, что у них под арестом содержится подозрительный иностранец. При обыске у него найден пистолет неизвестного, судя — по выгравированной на вороненой стали пятиконечной звезде, скорее всего советского образца, а взамен документов — безличный разовый пропуск в Мадрид. Человека этого задержали при въезде в Фуэнкарраль. Он управлял легковой машиной, но сами по себе ни шофер, ни машина не вызвали бы в карабинерах особых подозрений, когда б не присутствие в ней молодой женщины, не имевшей — и это много спустя после наступления комендантского часа — ни пропуска, ни даже удостоверения личности. Если наклеенное на ветровое стекло свидетельство о реквизиции не поддельное, то машина приписана к одному из штабов, базирующихся в Алькала-де-Энарес, но дозвониться туда вот уже больше трех часов не удается. Относительно сидевшей в машине женщины можно считать установленным, что хотя она действительно здешняя уроженка, однако не та, за кого себя выдает. Это заставляет с пристальным вниманием отнестись к субъекту, служившему ей шофером, но объясниться с ним не представляется возможным: он по-испански двух слов связать не может и все повторяет единственное, что знает: «танкиста», а еще он несколько раз назвал генерала Лукача.

Дежурный раскрыл тетрадь в клеенчатом переплете.

— Фамилия арестованного: Про-то-ди-а-ко-ноф, — прочитал он по складам. — Она вам что-нибудь говорит?

Фамилия арестованного мне ничего не говорила, но по крайней мере рассеивала основное недоразумение. Я попросил привести Протодьяконова. В комнату ввели рослого худого парня со спутавшимися черными волосами. Он был донельзя подавлен, но при виде меня оживился.

— Послушай, товарищ, — поспешно заговорил он. — Я тебя где-то видел. Объясни ты им: ничего я такого не сделал. Я ж водитель танка старшего лейтенанта Погодина, а они меня, как неизвестно кого, схватили, всего обыскали, автомобиль комвзвода отобрали и даже мое личное оружие. Целую ночь ни за что держат…

Командира танкового взвода Погодина я немного знал, он как-то забегал в наш вечно пустующий штаб возле Аравака. Поэтому мы с Протодьяконовым смогли без затруднений понять друг друга. Выяснилось, что Погодин, шофер которого, испанец, заболел гриппом, поручил водителю своего танка отвезти пакет в Хунту обороны. Когда Протодьяконов ехал обратно, его машину остановила уже в пригороде незнакомая девушка и попросила подвезти — это Протодьяконов понял — до Фуэнкарраля.

— И все. Больше, говорю тебе, ничего промеж нас не было, — заключил он, как мне показалось, с оттенком сожаления.

Дослушав Протодьяконова, я передал его рассказ сверхвежливому владельцу устрашающего маузера. Тот строгим полушепотом попрекнул его: неужели же товарищу танкисту неведом приказ, запрещающий, под страхом отнятия у виновного шоферского удостоверения, перевозить гражданских лиц в машинах военного назначения? Хорошо, если подвезенная этой ночью сеньорита окажется обыкновенной проституткой, а вдруг она шпионка?

Протодьяконов на это поклялся, что ничего про данный приказ сроду не слышал, потому как он не шофер, а водитель танка, насчет же танка и без приказов все ясно, опять же никто в танк и сам не попросится. Другое дело, конечно, если б он знал, а без этого ему просто неудобно было отказать такой симпатичной девушке.

Дежурный по комендатуре молча вынул из ящика стола плоский пистолет, к которому, как к будущему вещественному доказательству, уже был привязан шпагатиком картонный квадратик с надписью, и вручил Протодьяконову. Тот с отвращением оторвал картон, проверил обойму и мрачно сунул пистолет в брючный карман. Кабинет дежурного заполнили карабинеры в их серо-зеленом обмундировании. Они наперебой хлопали Протодьяконова по спине и совали ему несклеенные самокрутки. Протодьяконов неумело, как некурящий, послюнил

одну и взял в рот. Дежурный, чтобы преодолеть общий шум повысивший голос до общечеловеческой нормы, выразил освобождаемому из-под стражи положенные сожаления, но, как только все замолчали, вернулся к своей обычной манере и почти беззвучно добавил, что обижаться Протодьяконову не на кого, ибо он сам во всем виноват.

Мы вышли на улицу. Небо уже светлело. Карабинеры, весело гомоня, вручную выкатывали со двора машину, послужившую орудием преступления.

— Ну, задаст же мне теперь старший лейтенант перцу, — уныло предсказал Протодьяконов. — Хоть бы ты вступился.

Встреча, которую устроил Погодин, до сих пор в беспокойстве за пропавшего товарища не ложившийся спать, ближе всего напоминала ту, о коей повествуется в притче о блудном сыне. Едва Протодьяконов, пригнувшись, шагнул в низкую, прокуренную и заставленную кроватями комнату, как Погодин выплюнул на пол похожую на пушку советскую папиросу и, не произнося ни слова, начал переставлять с подоконника на письменный стол начатые банки с застывшими от холода консервами. Затем он вытащил из-под крайней кровати чемодан и вынул из него сразу две буханки хлеба. Приготовив таким образом достойную замену фигурирующему в притче тельцу упитанну, он выставил еще и не упомянутую в ней бутылку коньяка. С составленных в ряд коек на приготовления к пиршеству смотрели — по двое, с каждой — неблудные сыновья, но в отличие от библейского прототипа не выражали неодобрения радостной щедрости отца-командира.

Пока изголодавшийся Протодьяконов орудовал вилкой и челюстями, низкорослый коренастый Погодин, предварительно прослушав мою защитительную речь, тем не менее взялся — убежденный, видимо, что это входит в его служебные обязанности, — за состоящее из сплошных прописных истин длиннющее поучение своему допустившему промашку подчиненному. Каждый новый дидактический абзац Погодин, набрав воздуха, начинал с одного и того же патетического возгласа: «А еще комсомолец!»

Протодьяконов никак внешне не реагировал на погодинские громы и молнии, наоборот, его поведение до неприличия походило на поведение кота из крыловской басни, с той лишь разницей, что Протодьяконов не позволял себе урчать.

Закончив проповедь, Погодин до краев наполнил коньяком три кружечки, подал одну мне, другую Протодьяконову, а третью поднял сам. Кто-то из возлежавших на превращенных в нары кроватях тяжко вздохнул. Погодин с неодобрением бросил взгляд

в его сторону и снова устремил глаза на кружечку.

— Раз уж так кончилось, давайте будем здоровы. Но смотри, чтоб больше не повторялось. А еще будь благодарным генералу Лукачу, — вскинул он взор на вставшего и немного лишь недостающего до потолка Протодьяконова. — Заодно вот и ординарца его поблагодари, — любезно присовокупил Погодин. — Без вмешательства генерала припухать бы тебе и припухать. Пока б мы еще дознались. Не миновать бы тебе тогда объяснительную, а мне докладную начальству писать. А то все обошлось счастливо, без писанины.

Как осторожно ни ступал я, пробираясь к своей кушетке, Лукач проснулся.

— Ну, как там? Что оказалось? Кого вы у них нашли?

Я доложил и как, и что, и кого.

— Спасибо вам, — мягко поблагодарил он. — Спасибо, что охотно, без внутреннего сопротивления, выполнили мою просьбу. Я ведь хорошо понимал, как вам спать хочется, но все-таки послал. В результате сделано пусть малюсенькое, а доброе дело. Ложитесь же теперь поскорее. Еще часок-другой дадут нам поспать, будем надеяться. Маловато, понятно, получается, но как быть — война. Война это прежде всего бессонница.

Не заставляя долго себя упрашивать, я поспешно разделся.

— Бессонница, помноженная на угрозу смерти, — помолчав, уточнил афоризм Лукач.

Я опустил голову на валик, служивший мне подушкой, и уже начал погружаться в свинцовый сон, но Лукач продолжал:

— Что вырученный вами танкист спит себе сейчас спокойно, должно до известной степени утешать вас в вашей усталости. Но не стоит и преувеличивать. Ничего выдающегося вы не сделали. Его все равно выпустили бы завтра. Стоила ли овчинка выделки, подумаешь: беда какая — часом раньше, часом позже? А могло статься, что вы обнаружили бы там не танкиста, а какого-нибудь уголовника или даже сумасшедшего. Заранее ничего нельзя было угадать, кроме одного: сидит неизвестный в каталажке и — ни бе ни ме, вроде глухонемого. Но когда человек попал за решетку и его не понимают, да и сам он не умеет объясниться, всегда, а особенно в гражданскую войну, — в таких обстоятельствах легко нарушается справедливость. А хуже несправедливости нет ничего на свете. В конце концов весь пафос Октябрьской революции в установлении на земле справедливого общества. Да и здесь мы с вами почему? Потому что боремся за справедливость.

Он заворочался в постели.

— Вы не заснули?

— Никак нет, товарищ комбриг.

— Среди нас нет и не может быть равнодушного отношения к малейшей несправедливости. Она все портит, все искажает и даже незаметно извращает мировоззрение. Будем терпеть ее — она рано или поздно обернется против нас. Несправедливость, если хотите знать, это контрреволюция.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Франко опять не дал нам до конца использовать отдых. Точно в середине его началось еще одно наступление фашистов, теперь на Боадилья-дель-Монте, южнее Посуэло, и обе интербригады, сперва Одиннадцатая, а за нею и мы, снова были брошены на фронт, так и не закончив обучения. Петров, раньше всех побывавший на месте, рассказал Лукачу и Белову, что Одиннадцатой пришлось с ходу вступить в бой на фланге наступающих и она остановила их перед Романильясом, скомпрометировав успех занявшего Боадилья-дель-Монте противника возможностью удара сбоку. Особенно отличился при этом французский батальон «Парижская коммуна» под командованием офицера резерва Дюмона, двадцать лет назад верой и правдой сражавшегося против бошей под Верденом и, в частности, как случайно выяснилось на днях, против своего нынешнего командира бригады Ганса, в ту пору командовавшего ротой. Удача Одиннадцатой омрачалась, по словам Петрова, понесенными ею новыми серьезными потерями.

Наша бригада, подвезенная к противоположному еще сравнительно спокойному флангу, попала пока во второй эшелон.

Ранним утром следующего дня Лукач выехал на позиции из бетонного фуэнкарральского дома (зябкий Белов называл его Алексеевским равелином). Я сопровождал комбрига. Расталкивая туман, «пежо» уверенно пробежал знакомую дорогу до Эль-Пардо, одиноким метеором пронесся по его пустынным улицам, через устланный ковром начавших блекнуть оранжевых и лимонно-желтых листьев старый парк выбрался на безопасную часть Коруньского шоссе и, миновав какой-то еще не проснувшийся поселок, свернул в лес. Здесь Лукач, сверившись с картой, приказал через некоторое время остановиться на краю заросшего оврага.

Из глубины его тянуло дымком. Цепляясь за кусты, мы спустились вниз. По дну протекал ручеек, а возле него, прикрытые от авиации кронами пиний, стояли две походные кухни и два грузовика. Около кухонь возились повара: одни что-то скребли и мыли в ручье, другие кололи дрова. По заменявшим кашне повязкам из алой материи, издали бросавшимся в глаза, я определил, что в овраге расположился обоз батальона Гарибальди — за время отдыха все в нем обзавелись большущими пионерскими галстуками. Кто-то разъяснил мне, что итальянские товарищи решили возродить стародавнюю традицию их боевых предков, волонтеров из отряда Джузеппе Гарибальди, носивших

красные шейные платки.

— Знаете, кто это? Скарселли, — пока мы подходили, сказал Лукач про распоряжавшегося поварами пожилого человека в лоснящейся одежде, с таким же, как у окружающих, шелковым платком, рдеющим вокруг жилистой шеи и лишь подчеркивающим неряшливость Скарселли. — Вы, конечно, про него слышали. Он тот самый командир, которого Паччарди наказал за храбрость, послав командовать кашеварами. Да-да. Паччарди хочет быть уверенным, что бойцы получат горячую пищу под любым обстрелом. Рожа у этого Скарселли, сами видите, полубандитская. Судя по ней, он должен быть отчаянным бабником, пьяницей и ругателем. Не осведомлен, как насчет первых двух грехов, но в отношении последнего нельзя не вспомнить поговорку о бодливой корове. У Скарселли хроническая болезнь горла, и взамен соответствующего его наружности геликонного рыка он только хрипит, бедняга.

Потасканным лошадиным лицом Скарселли и впрямь смахивал на гангстера, и даже вполне конкретно — на того старого чикагского гангстера, кстати, по сценарию тоже итальянца, который в известном голливудском фильме стережет похищенного шайкой не в меру любопытного журналиста.

Поздоровавшись со Скарселли, Лукач через меня поинтересовался, что у них на сегодня готовят. Скарселли не прохрипел даже, а просипел в ответ, покраснев при этом от натуги, что ни макарон, ни рису интендантство ему не отпускает и он боится, как бы ребята не линчевали поваров, а заодно и его, так всем приелись одни и те же гарбансасы и вдобавок не с бараниной или говядиной, а должно быть, с мясом мула, до того оно жесткое.

Пока, поставив ногу в замызганной широкой штанине на ступицу кухонной двуколки, Скарселли жаловался на Никиту, к нам подошел опиравшийся на самодельную палку с загнутым, как у пастушьего посоха, концом высокий осанистый старец. Он носил усы и бородку, но вместо очков на носу его восседало старомоднейшее пенсне, придававшее физиономии старика выражение подчеркнутой официальности. До сих пор я считал, что на всем земном шаре пенсне носит единственно Молотов и что оно такая же отличительная принадлежность его, как белоснежный галстук Лаваля или монокль Остина Чемберлена. Приходилось признать, что у Молотова есть подражатели. Но на бородатом старом офицере пенсне выглядело особенно нелепо, ибо оно сочеталось с тяжелой стальной каской, которую он зачем-то водрузил. Дело в том, что перед самой отправкой на позиции бригада получила каски: батальон Андре Марти — французские,

изящные и легкие, с гребешком, а остальные два — как поговаривали — чешские, сидевшие котлом. До этого старика я никого еще в каске не встречал, тем более она меня в сочетании с пенсне поразила.

Приятно осклабясь и сильно пришепетывая, что очень портило его изысканный французский, он спросил, не прикажет ли генерал вызвать к нему командира батальона, который до такого позднего часа спит там, впереди.

— Поблагодарите товарища Галлеани, но беспокоить теньенте-коронеля совершенно ни к чему. Я всего-навсего хочу пройтись по тылам бригады, где маскировка обычно хромает, и одновременно поразведать, что у нас на флангах творится, есть ли там какие-нибудь посторонние резервы.

Выбравшись из оврага, мы пошли вдоль фронта, легко определяемого по то разгоравшейся, то спадавшей перестрелке. Порой до нас доносились справа неразборчивые голоса, но Лукач не сворачивал на них. Где-то далеко громыхала артиллерия, сливаясь в сплошной гул, вроде того, что бывает, если сильная гроза проходит стороной.

— Кого только не понаехало, — остановился, чтоб я поравнялся с ним, Лукач, — и старый и малый. В пополнении нашелся югослав, которому и семнадцати нет, а Галлеани, этому почти шестьдесят, уже в мировую был офицером со стажем. Он образованный человек, адвокат. При Муссолини эмигрировал в Америку. У него собственная юридическая контора в итальянском квартале Нью-Йорка. Но шестидесятилетний коммунист бросил все: устроенную жизнь, внуков, практику. Поначалу, пока Паччарди не появился, Галлеани назначили было командиром батальона. Сейчас он интендант. И по возрасту, да и по прочим данным так уместнее. Но старик не может забыть, что ему поручили формирование батальона, и ревнует к Паччарди страшно, прямо до ненависти. Что тот ни сделает, все плохо, все не так. Только что слышали? Спит, мол, долго. И смешно и грустно. Главное же, делу мешает. Надо б для общего благополучия забрать Галлеани к нам в штаб, да не прикину, на какую должность его поставить, чтоб не обиделся. Нам комендант позарез нужен, но адвоката назначать комендантом как-то неудобно.

Мы уже возвращались назад, не найдя на своих флангах, как и предвидел Лукач, ни души, когда вдруг слева грянул орудийный залп. Над деревьями прошумели снаряды и через большой промежуток времени разорвались далеко в тылу.

— Хотел бы я знать, куда они метят, — проговорил Лукач. — В этом направлении будто бы никаких военных объектов

поблизости нет. Вот опять. Сразу видно, что их артиллеристы не на голодном пайке: так и жарят.

Словно в подтверждение фашистская батарея снова всколыхнула недвижный воздух, четыре крупнокалиберных снаряда дружно пронеслись на неизвестную цель, и до нас опять долетел гул одновременных разрывов.

Мы обошли знакомый овраг и увидели среди стволов Луиджи, рвущего перья порыжевшего папоротника, похожие на пальмовые ветви. Заметив наше приближение, Луиджи подошел к машине, сбросил уже покрывавший ее папоротник и сел за руль.

Едва мы выехали на шоссе, как обнаружили, что пролетавшие над оврагом снаряды ложатся на маленькое селеньице, через которое часа за два перед тем мы промчались по дороге сюда. Всмотревшись, Лукач знаком остановил машину и вышел на обочину.

С шоссе вражеской батареи было почти не слышно, так же как и полета снарядов, зато раскатистые удары попаданий достигали нас уже через несколько секунд после того, как клубы черного дыма порывисто вздымались над каменными лачугами, а когда эхо в лесу затихало, уши различали даже гудение кирпичей и черепицы, валившихся с неба в расползающуюся грязно-бурую тучу.

— Незачем понапрасну машиной рисковать, — решил Лукач. — Пусть повезет нас к развилке. Оттуда мы с вами полем срежем и опять выйдем на шоссе, миновав опасную зону, а Луиджи объедет проселками и вернется нам навстречу.

Чем ближе подходили мы к разрушаемому селению, тем с большими перерывами стреляла батарея, а вскоре и совсем замолкла. Лукач, однако, продолжал шагать полем. Сбоку нам хорошо были видны последствия артиллерийского налета: разбитые трубы, развороченные крыши, штукатурка, как оспинами испещренная шрамами от осколков, обломки кирпичей и осколки стекла на улицах.

Когда пушки ударили по занятому повседневными утренними делами поселку, жители его инстинктивно бросились к шоссе на Эль-Пардо, хотя несравнимо безопаснее было бы спасаться в обратном направлении, к фронту, так как неприятельские наводчики стреляли без недолетов и ни в одну из расположенных со стороны леса хижин не угодили. Зато за противоположным концом селения темнело вдоль шоссе несколько глубоких воронок.

Возле самой дальней из них, уткнувшись лицом в гудрон, одиноко лежал убитый. Односельчане его не оглядываясь уходили от своих разгромленных очагов, и расстояние между

живыми и мертвецом быстро увеличивалось, тем более что впереди растянувшейся вереницы, пугливо насторожив длинные острые уши, рвались из высоких хомутов грациозные мулы, с трудом удерживаемые своими хозяевами за отцепленные от плугов и борон постромки. Стараясь не отставать от мулов, спешили женщины, некоторые с закутанными младенцами на руках, те же, у кого руки были свободны, гнали коз, несли за ноги кур или клетки с кроликами, придерживая при этом на голове связанное в узел тряпье. Дети помогали взрослым и тоже что-нибудь тащили: кто глиняный кувшин, кто кошелку, а кто и надоедливо мяукавшего котенка; маленькие семенили ножками, держась за материнские юбки. Исход завершали угрюмые небритые мужчины, толкавшие перед собой нагруженные всяким скарбом двухколесные ручные тележки или тянувшие на веревках навьюченных чем попало не желавших торопиться осликов.

Двигаясь наперерез беженцам, мы оказались на Коруньском шоссе раньше их, метрах в двадцати от натягивающих постромки мулов. Тут как раз подоспел и Луиджи. Чтобы не путаться среди шарахающихся то вправо, то влево глупых животных, он заранее развернулся и, высунувшись из раскрытой дверцы, приближался к нам задним ходом. Однако беспорядочно стучавшие подковами мулы уже нагоняли нас, и Лукач остановился их пропустить. Угадав в нем военачальника, откидывающиеся назад и упиравшиеся ногами крестьяне, проходя, приветствовали Лукача поднятыми кулаками.

Пропустив мулов, Луиджи подвел машину вплотную, но от кучки женщин устремилась к нам прямая как жердь простоволосая старуха. Она была до того худа, что черное испачканное известкой платье висело на ней будто на гвозде. По коричневым от до сих пор не сошедшего загара изрезанным морщинами щекам текли слезы, но она не отирала их. Как пойманная рыба, часто, но бесшумно дыша мягким ртом, старуха подходила к Лукачу, устремив на него покрасневшие мокрые глаза. Шаль сползла с ее головы на спину, и белые космы развевались по ветру, но она не замечала этого и шла, не сгибая колен, словно выступающая на котурнах в античной трагедии актриса, и на ходу ритмично ударяла сложенными пальцами во впалую грудь. Лукач, с выражением готовности, поджидал ее, но вздрогнул, до того неожиданно кинулась к нему старая женщина, до того громко завопила, требовательно дергая его за рукав иссохшей рукой, а другой — тыча в сторону покинутого поселка. Кажется, она указывала на лежавший поперек шоссе труп. Может быть, убитый приходился ей близким родственником или даже сыном?..

Лукач, как и я, не понимал ни слова из того, о чем голосила несчастная, но в ее низком, ничуть не старческом контральто слышалась такая боль, такая безысходная мука, что красивое лицо нашего комбрига страдальчески сморщилось и он, сунув мне трость, схватил вдруг растрепанную голову старухи в большие белые ладони, прижал к своему плечу и, приглаживая седые пряди, принялся утешать, почему-то по-русски:

— Ну что ты, бабуся, что ты… Успокойся же, родная моя… Перестань плакать, перестань, голубушка…

Как ни странно, но бедная старуха, будто поняв, затихла и лишь жалостно всхлипывала, припав к широкой груди Лукача. Загрубелые руки других женщин бережно приняли от него ослабевшую товарку и повели дальше. Несколько взволнованных голосов, словно переняв интонацию Лукача, наперебой уговаривали ее. Он почти вырвал у меня палку и шагнул к машине.

— Фуэнкарраль, — коротко приказал он.

Луиджи, не сигналя, осторожно объехал мулов и прибавил газу. Лукач молча смотрел в окошко, потом повернулся ко мне:

— Видели теперь, какая подлость война? Вот поэтому-то я всю жизнь и воюю…

Во второй половине дня бригада получила приказ сменить стоявшую перед нами колонну, и тогда выяснилось, что на левом ее фланге вообще никого нет, да и не было. Вернувшийся из Мадрида с сильной мигренью Лукач, преодолевая ее, еле слышно сообщил, что на рассвете прибудет испанский добровольческий батальон, придаваемый нам, чтоб заткнуть брешь.

— А пока я завернул в эскадрон и распорядился срочно подкинуть туда два спешенных взвода. В конном строю они воевать все еще не готовы, так пусть пёхом патрулируют между нашим левым и правым флангом соседа. Благо здесь по ночам не воюют. Но батальон мы с вами, товарищи, получаем, — он, несмотря на головную боль, даже голос повысил, — во! Комсомольцы один к одному. Называется: Леонес рохос.

— В переводе на русский это ни больше ни меньше как «Красные львы», — весело пояснил Белов.

Еще не светало, когда к командному пункту, устроенному в доме лесничего за тем оврагом, где накануне располагалось хозяйство Скарселли, подкатил мотоцикл. Он доставил сразу двух пассажиров, что само по себе уже говорило об их комплекции, как, впрочем, и об их хладнокровии. Оба приезжих и в самом деле были худенькими парнишками, почти подростками. Застенчиво улыбаясь, они представились: один — командиром, второй — комиссаром батальона Леонес рохос. Лукач, полулежа дремавший

в кресле-качалке, посмотрел на них с некоторым недоумением, но мгновенно пришел в себя и широким жестом пригласил к карте, которую уже раскладывал бодрствующий Белов. Я на всякий случай разбудил ему в помощь маленького Фернандо, однако, раньше чем тот приступил к исполнению своих добавочных обязанностей, оказалось, что читать карту симпатичные мальчики не умеют.

— Ну, а стрелять они хотя бы умеют? — вопросил Петров.

Густо покраснев, юный командир, при молчаливой поддержке еще более юного комиссара, ответил, что да, умеют и что каждый их боец при обучении стрельбе выпустил по мишени три пули. На вопрос, каков состав батальона, застенчивый юноша через посредство не вполне проснувшегося Фернандо, перевод которого я в свою очередь переводил Лукачу и Петрову, рассказал, что батальон Леонес рохос всего неделю как сформирован мадридской организацией профессионального союза парикмахеров. Опасаясь, однако, нарушить бесперебойное функционирование столичных салонов, руководящие профсоюзные деятели порешили не отпускать на фронт квалифицированных мастеров, а записывать в батальон лишь подмастерьев и учеников.

— Оттого получилось, что средний возраст не достигает у нас и восемнадцати лет, — сконфуженно, как бы чувствуя себя виноватым, что сам ничуть не способствует повышению общего возрастного уровня, закончил несовершеннолетний комбат.

Стараясь скрыть разочарование, Лукач сердито потребовал, чтобы с левого фланга немедленно вызвали командира одного из патрулирующих взводов и дали задание вывести необстрелянный батальон на предназначенное ему место обязательно до рассвета. Только тогда обнаружилось, что батальон Леонес рохос лишь после полуночи вышел походным порядком из Эль-Пардо, куда прибыл поздно вечером также пешком, а значит, сможет добраться до нас самое раннее часа через два, то есть когда наступит утро.

Лукач, уяснив это, вспылил так, что и про мигрень забыл. Он закричал, что генерал Миаха не кто иной, как старая глупая баба, окружившая себя для пущей важности целой бандой королевских штабных чиновников, которые неизвестно какой частью тела думают и думают ли вообще, и что неплохо было б прогнать всю эту шатию самих пешочком из Мадрида до Эль-Пардо, а потом, не позволив передохнуть, заставить ночью шагать под Боарилью, вот бы на них тогда посмотреть, на голубчиков.

Отведя душу, Лукач подержался за виски и обычным своим просительным тоном обратился к Белову. Белов, стоя и

поглядывая на носки сапог, выслушал его и уверенно повлек к выходу обоих позеленевших от бессонной ночи мальчуганов. Усадив их в свою, лишь вчера полученную, такую же, как у Фрица, черную машину, начальник штаба помчался в Эль-Пардо мобилизовывать весь имеющийся там бригадный транспорт, чтобы бросить вдогонку бредущему в предутренней сырости батальону парикмахерских подмастерьев и поскорее доставить их на угрожаемый фланг.

Пока Белов отъезжал, Лукач переговорил со своим заместителем, и Петров, неизменно охраняемый Милошем, пошел связываться с соседней испанской частью, попутно хорошенько обследовать местность между нею и нами, после чего должен был встретить подкрепление и незаметно прикрыть дыру, кое-как заткнутую на ночь спешенными кавалеристами.

— Жаль, нет с нами Иисуса Навина, чтоб попридержать солнце за горизонтом. Насколько бы все упростилось, — посетовал Ганев, когда, разбудив его и на день сдавая ему охрану штаба, я поделился последними новостями. — А то не миновать новому батальону боевого крещения при выходе на позиции.

Так и случилось. Пока пять рот Леонес рохос высаживались из подходивших по одному грузовиков, разбирались по взводам и уходили в лес, начало светать, и довольно скоро, когда последние бойцы, хрустя сучьями, скрылись из виду, фашистская артиллерия — гораздо раньше обычного — начала пристрелку. Лукач минут пять обеспокоенно прислушивался к ней.

— Пошли, — бросил он мне.

Обломанные то тут, то там ветки, вмятая в землю поблекшая трава и протоптанные среди пышных лиственных ворохов тропинки указывали, куда проследовал батальон. На опушке мы перепрыгнули через канаву и двинулись по нескошенной лужайке, незаметно превращавшейся в склон пологого холма. Верхушку его покрывал вечнозеленый кустарник.

Мы проделали около половины подъема, когда за холмом снова ухнули замолкшие было неприятельские орудия и над кустарником возникли четыре ватных облачка. Побурев, они мгновенно растаяли, и одновременно мы услышали четыре почти сливающихся разрыва. Звук их удивительно походил на веселые частые хлопки рассыпающегося в ночном небе разноцветного фейерверка, который я наблюдал однажды на празднестве в Версале.

— Шрапнель, — не останавливаясь, пояснил Лукач.

Мы успели пройти не меньше двадцати шагов, пока батарея опять выстрелила, и четыре белоснежных клубочка, розовеющих в косых лучах еще невидимого солнца, вновь встали над гребнем

холма и, безобидно захлопав, исчезли.

Чем ближе подходили мы к его вершине, тем чаще лопалась над нею шрапнель, только теперь стал различим сопровождающий разрывы пренеприятный визг. Однако как раз тогда, когда я подумал, зачем это мы идем прямо на них, очередного залпа не последовало, и наступила ничем, кроме поскрипывания наших ремней, не нарушаемая тишина. Очень скоро, впрочем, огонь установленной где-то за противоположным склоном батареи возобновился, но шрапнельные одуванчики начали вырастать правее, ближе к верхнему краю леса, из которого мы недавно вышли. Зато в кустах впереди поднялась ружейная трескотня.

Мы уже приближались к мелким нижним кустикам, когда сверху, из их чащи, показались три раненых бойца. Двое, совсем мальчики, но более выносливые или получившие ранения полегче, поддерживали под локти едва передвигавшего ноги третьего, несколько постарше, лет уже, может быть, двадцати, который, высоко подняв перед собой, нес как посторонний предмет распухшую до размеров подушечки и почерневшую от запекшейся крови кисть собственной руки. Физиономия и шея раненого были белее рубашки, видневшейся за расстегнутым воротом френча. Два других парня поражали такой же неестественной меловой бледностью, происходившей, вероятно, от боли. Одетые в новенькую, не успевшую даже измяться, должно быть, вчера лишь выданную форму, почему-то, однако, летнюю, все трое тряслись мелкой дрожью на утреннем холоде.

— Стой, — поднял трость Лукач, когда мы сблизились с ними.

Те остановились, лишь почти упершись в нас.

— Спросите, понимает ли кто из них по-французски.

Никто из них по-французски, как и надо было ждать, не понимал.

— О немецком и спрашивать нечего. Черт, до чего все-таки неудобно. Мне обещали прислать сегодня знающего языки испанского командира, а пока вот изволь разговаривай по азбуке глухонемых.

Он повесил палку на сгиб локтя и, осторожно взяв выставленную вперед пробитую кисть среднего из раненых, оглядел ее со всех сторон, соболезнующе поцокал языком, а затем слегка пошевелил кончик одного из опухших пальцев. Боец застонал.

— Ну-ну, пасьянс! — прикрикнул Лукач, надо думать, по французскому названию одинокого времяпровождения над колодой карт зная, что оно означает «терпение». — Пасьянс,

пасьянс, — помягче повторил он в очевидной уверенности, что испанец обязан его понять. — Алеша, дайте-ка сюда ваш индивидуальный пакет.

Индивидуальный пакет, полученный еще в польской роте из рук того разжалованного в санитары неудачника, винтовка которого нечаянно выстрелила в потолок недостроенной виллы, вот уже больше месяца покоился за ненадобностью на дне моего вещевого мешка. Я признался в этом.

— Эх вы-ы, — осуждающе протянул Лукач. — Для чего ж индивидуальные пакеты тогда существуют, как не чтоб постоянно иметь перевязочные средства при себе. А вдруг меня ранят, так вы и первую помощь оказать не сможете? Хорош адъютант. Счастье, что я запасливее вас.

Он приподнял полу куртки и, засунув два пальца в передний карманчик брюк, вытащил оттопыривающий его круглый пакетик. Зубами перекусив крепкие белые нитки, прошивавшие вощеную бумагу, Лукач умело положил марлевый тампон на сочащееся в раздувшейся ладони отверстие, сделал перевязку, перекинул остаток бинта через шею раненого и узлом скрепил с нарочно оставленным свисать другим концом.

— Возьмите у него карабин и подсумки.

Раненый лишь вздыхал, пока я расстегивал на нем кушак с подсумками и продевал его здоровую руку сквозь ремень, чтоб снять со спины карабин той же системы «Маузер», что и моя винтовка.

— Иди теперь туда, камарада, марча туда, — повторял Лукач, легонько поворачивая раненого бойца за освобожденное от веса карабина плечо к дальней опушке леса, откуда мы недавно вышли. — Там найдешь перевязочный пункт. Сервисио санитарио, понимаешь? Ну и молодец, что компренде. Шагай себе потихоньку, шагай, марча… А вы оба немедленно мне по местам! — прямо-таки рявкнул комбриг на легко раненных. — Назад в батальон! Вольвер? Ясно? — И он повелительно ткнул пальцем вверх, за их спины, где стрельба между тем прекратилась так же неожиданно, как началась.

Меня больно задела внезапная грубость и даже жестокость комбрига к оробелым мальчуганам, но они, проводив тоскливыми взорами удалявшегося товарища, покорились и почти бегом направились к своим. Тут только я осознал свою ошибку: откуда, спрашивается, я взял, что и эти двое получили ранения? Никакие они не раненые, а просто из участия сопровождали товарища.

— Если с каждым, кто прекрасно может самостоятельно добраться до перевязочного пункта, по два станут уходить, то тяжелых, будьте уверены, вдесятером понесут, и через час после

начала боя от полновесного батальона одно воспоминание останется, — будто заметив мое секундное огорчение, заговорил Лукач. — Уйти из-под огня кому не хочется, был бы законный предлог, а это же, вдобавок, желторотики. Напомните мне сегодня же вставить в приказ параграф о порядке эвакуации раненых.

Два милосердных самаритянина, возвращенные пускай и непонятным начальственным окриком к выполнению добровольно взятого на себя, но от этого ничем не более легкого долга, еще не достигли верхушки холма, когда над колышущимися кустами возникла голова и могучие плечи Милоша. За ним продрался Петров.

— Проверка исполнения?.. — саркастически вопросил он Лукача. — А коли нет, так здесь и одного из нас, на мой взгляд, больше чем достаточно. Во всяком случае, с рассвета неприятель нигде на секторе ни малейшей активности не проявляет. По некоторым признакам я полагаю, что он отводит на отдых свои утомленные непрестанным наступлением, и, будем надеяться, не без нашего содействия, изрядно потрепанные соединения, оставляя на переднем крае небольшие заслоны. Поэтому пойдемка к себе, поскольку мне удалось убедить товарищей брадобреев начать окапываться на отведенном им рубеже. Каким путем удалось? Непосредственным показом, но главным аргументом послужила, понятно, вражеская шрапнель.

Лукач повернулся и стал спускаться рядом с Петровым.

— По кому они там палили?

— А ни по кому. Пока шрапнель рвалась над ними, большинство залегло, подставляя ей увеличенную площадь попадания в виде спин и задниц. Когда же батарея перенесла огонь, наши львы давай для храбрости пулять по никем не занятому противоположному холму.

— Не они одни так начинали, — заметил Лукач.

— Про всех этого тоже не скажешь. Однако прибавим, если позволишь, шагу. Хочу застать Фрица. Зародилась у меня одна мыслишка, но прежде чем излагать ее тебе, хотелось бы с ним взвесить все pro и contra. Ежели он одобрит, доложу тебе, а уже тогда ты будешь решать, давать ли ей ход и выносить ли на общее обсуждение.

— Ты все же хоть вкратце скажи, в чем дело.

— Да ничего особо оригинального. Просто мне пришло в голову: а не попытаться ли нам, — в случае разведка подтвердит, что фашисты действительно вознамерились передохнуть, — не попытаться ли нам тогда перехватить у них инициативу и неожиданной ночной акцией отбить обратно Боадилью?

Вшестером, вместе с Галло и Реглером, они просовещались до обеда. К концу его на попутном мотоцикле приехал прикомандированный к нашему штабу испанец, высокий, худой, горбоносый, с портфелем под мышкой и большим пистолетом «астра» в руке, словно он собрался немедленно повести нас в атаку. Одет он был не в защитные, а в черные брюки, спускавшиеся на полуботинки с лаковыми носами, и в серый свитер с воротником, отвернутым на манер жабо.

Сойдя с мотоцикла и сняв с багажника сложенное вчетверо зимнее полупальто, приехавший накинул его на плечи, после чего лишь по серебряной звездочке на шерстяной шапке можно было определить, что он как-никак носит первое офицерское звание, — в остальном, если не считать, конечно, «астры», у него была вопиюще гражданская внешность.

В дверях столовой прикомандированный, выставляя вперед локоть, козырнул кулаком, а затем непринужденно, будто на светском приеме, представился. Фамилия штатского алфереса была Прадос. Выяснилось, что он вовсе не студент, как я предположил, исходя из его молодости, а доцент мадридского университета. Главное же, он в совершенстве знал французский, говорил по-немецки, а сверх того владел еще и английским; последнее почему-то произвело на Лукача, да, кажется, и на Белова, наисильнейшее впечатление, хоть для нашей бригады этот язык имел не большее практическое значение, чем древнегреческий.

Из ответов Прадоса на дальнейшие расспросы вытекало, что моложавый ученый принимал участие в штурме Монтаньи, а немного спустя, в числе самых первых, отправился на Гвадарраму преграждать путь прущей через горы на Мадрид колонне генерала Мола. Знание математики привело Прадоса в артиллерию, и вскоре оставшиеся верными республике кадровые артиллеристы избрали столичного интеллигента командиром батареи. К началу декабря одно из трех вконец изношенных орудий разорвалось при выстреле, и уцелевший личный состав батареи был откомандирован в Пятый полк для формирования новой; Прадоса же партия послала в канцелярию начальника республиканской артиллерии. Там он, однако, пришелся не ко двору, перевелся наблюдателем в какой-то тяжелый дивизион, для которого почти не находилось снарядов, а оттуда вот направлен к нам.

Дослушав военную часть прадосовской автобиографии в моем переводе до конца, Фриц и Петров поехали в Мадрид за информацией, а Лукач с новоприбывшим ушли в батальон Леонес рохос и отсутствовали довольно долго.

— Чистое золото, а не ребята, — заявил Лукач по

возвращении. — Достаточно им в глаза посмотреть: так и светятся. Дайте срок, обстреляются и лучше гарибальдийцев будут сражаться.

Он отпустил Прадоса до вечера в Мадрид для устройства личных дел и в ожидании Фрица с Петровым прилег, но не проспал и двадцати минут, как пришлось его будить из-за приезда Ратнера.

Помощник советского военного атташе комбрига Горева, небольшой, всегда идеально выбритый и аккуратно причесанный, одетый в щеголеватый штатский костюм, майор Ратнер своею учтивостью скорее походил на дипломата, чем на военного. Начиная с Посуэло, он нередко заглядывал к нам с поручениями от своего начальника, причем вел переговоры исключительно с Фрицем или Лукачем и обязательно с глазу на глаз. Проведя и сейчас наедине с командиром бригады около получаса, Ратнер, перед тем как удалиться, одинаково любезно поочередно склонял пробор и пожимал руку Белову, хмурому Кригеру, Морицу, в ответ почтительно щелкнувшему каблуками, мне и лишь после такого церемониала направился к выходу.

Я, как полагается, проводил гостя до машины, а когда вернулся, Лукач излагал Белову, с чем приезжал Ратнер. Удивительное совпадение, но Горев прислал своего помощника сообщить, что по имеющимся в распоряжении Штаба обороны сведениям фашистское командование, потерпев неудачу под Романильосом, приступило к перегруппировке своих сил, а также к сведению особо обескровленных частей в новые полноценные единицы. Надо полагать, что это отнимет не день и не два, а значит, защитники Мадрида получают некоторую передышку, которую необходимо наилучшим образом использовать в первую очередь для укрепления занимаемых позиций, устройства наблюдательных пунктов и так далее. Командованию же Двенадцатой интербригады комбриг Горев предлагает обдумать, не найдет ли оно возможным попытаться своими силами отбить Боадилья-дель-Монте.

Я ответил, что полчаса назад советник бригады с моим заместителем отправились прямехонько туда, откуда Ратнер пожаловал — приятный он, между прочим, мужик, — чтобы доложить начальству наш, так сказать, встречный план…

Во время ужина Фриц высказался против ночной атаки.

— Не во гнев товарищу Петрову возражу, что мы с вами, дорогие друзья, до действий в условиях ночи пока еще не созрели. Приурочим лучше дело к самому началу дня, часам эдак к семи.

Поужинав, Лукач, Петров и Белов пересели за круглый столик

к карте, которую расстелил и обставил свечами Кригер, всем своим видом выражая при этом протест против такого унижения его достоинства. Предложение Фрица назначить операцию на семь утра было принято. Порешили до конца этой ночи скрытно рассредоточить на весь притихший бригадный фронт франко-бельгийский и «львят», как после прогулки с Прадосом стал называть Лукач сменивших бритву на тесак начинающих парикмахеров, а батальоны Гарибальди и Домбровского вывести, таким образом, в резерв и на следующие сутки секретно сосредоточить в лесу неподалеку от Боадилья-дель-Монте.

С наступлением темноты мне опять пришлось взять на себя обязанности разводящего, так как возле окруженного лесом дома следовало держать ночью по меньшей мере два поста, на что пяти человек никак не хватало, и потому фактический начальник охраны Ганев от заката до восхода вновь превращался в часового, а я заменял его. Правда, в декабрьском мраке и обладавший зрением рыси Гурский уже в двух метрах не смог бы и медведя разглядеть, а ветер, раскачивавший невидимые деревья и с треском ломавший сухие ветки, помешал бы расслышать приближение целого отряда, так что никакого практического смысла в держании снаружи хотя бы и трех часовых явно не имелось. Гораздо, на мой взгляд, было бы проще, заложив изнутри ставни и покрепче заперев дверь, дать людям отоспаться. Но при всей трезвости этой мысли я соображал, что с военной точки зрения это чистейшее декадентство, и поостерегся предложить ее на рассмотрение Белова, которому подчинялись все службы штаба. В результате расставленные шагах в пятидесяти один от другого часовые пребывали все два часа в таком напряжении, что, войдя после смены в помещение, буквально валились с ног и смыкали отяжелевшие веки, едва успев составить винтовки.

Внимая чужому храпу, я страдал ни капельки не меньше, чем на мосту Сан-Фернандо, тем более что здесь моих мучений никто со мной не разделял: Белов, по настоянию Лукача, впервые залег спать одновременно с Петровым, чуть ли не раньше всех остальных. Питаемый надеждой хотя ненадолго прикорнуть утром, я кое-как дотянул до света, когда смог, наконец, переложить бремя ответственности, за безопасность штаба на широкие плечи Ганева.

Удивительное дело, но после этого мне почти расхотелось спать, а там проснулся Лукач, за ним другие, захлопали двери, поднялся шум. Тощий, как Дон Кихот, доцент Прадос, прежде чем умыться, произвел серию комических телодвижений, долженствовавших изображать утреннюю гимнастику. Петров

принялся разыгрывать умевшего спать непробудно в любых условиях Кригера, будто он проспал ночное нападение марокканцев, и тот сначала поверил, а потом кровно обиделся. Вскоре хорошенькие наши маркитантки, цыганистая Пакита и глазастая Леонора, доставили из Фуэнкарраля в обернутых салфетками нагретых блюдах обильный завтрак, которому я, после всенощного бдения, уделил несравнимо большее внимание, чем выспавшиеся товарищи, за исключением разве болгар. Запив плотный завтрак услаждающим горячим кофе, я по совету Лукача удалился не в нашу с ним — прямо против входа — комнату, а в последнюю по темному коридорчику, где ночевали его заместитель и начальник штаба. Их трехспальное ложе из двух поставленных рядом кроватей освобождалось надолго, так как Петров и Белов отправлялись в штабы снятых с переднего края батальонов для детального рассмотрения плана завтрашнего наступления.

Едва я повесил винтовку на золоченую шишку изголовья и взялся за ботиночный шнурок, как поблизости устрашающе заурчал и залязгал танк. Размышлять было некогда, иначе мне бы вспомнилось, что сейчас обо всем происходящем вокруг должен беспокоиться Ганев, и, вихрем пролетев мимо удивленно вскинувшего голову Лукача, я выскочил на крыльцо и лишь тогда успокоенно передохнул. Безжалостно кроша плицами тонкое покрытие узенького лесного шоссе, к нам, пушкой назад и с откинутой крышкой люка, рывками придвигалась неповоротливая стальная махина. Из башни, держась за толстенные борта, выглядывал Погодин. Кожаный шлем с выкрутасами придавал его мало выразительному, но правильному лицу сходство с марсианином из протазановской «Аэлиты». Судорожно дернувшись, танк застопорил в пяти шагах от невозмутимо стоявшего у него на дороге Юнина. Погодин спиной ко мне, как матрос по вантам, спустился на шоссе.

— Привет. Нашел-таки, — он подал застывшую руку с обломанными ногтями. — Я к твоему хозяину. Проводи.

Не слишком уверенно он доложил Лукачу, что кроме его исправной машины еще три должны быть полностью отремонтированы к следующему утру и все затемно прибудут в расположение бригады для оказания поддержки пехоте в намеченной операции. Лукач радушно усадил Погодина в кресло перед круглым столиком с переселившимся на него неоскудевающим дубовым бочоночком. Пока гость, разыскивая свою карту, копался в висевшей на боку сумке, командир бригады налил ему коньячную рюмочку, которую, с той поры когда узнал от наших девушек, что по-испански рюмка — una copita, иначе

как «копытом» не именовал.

— А вам? — вопросительно взглянул Лукач на меня. — Чтоб лучше спалось!

Но тут с шоссе донесся истошный крик. Я по привычке бросился на него, но увидел, что к месту происшествия на этот раз ранее подоспел с черного хода Ганев. Собственно, и происшествия никакого не было. Просто Юнин проявлял служебное рвение. Задрав голову к открытому люку танка, он как на живое существо орал на него, что это исключительное безобразие начисто загородить проезд и что, будь ты танк или растанк, все одно веди себя по-людски и двигай подобру-поздорову вон туды, в кустики, куды всякий, кто поумней, сам без разговоров отворачивает, чтоб его дуром не забомбили…

Визгливые свои убеждения Юнин перемежал трехэтажной бранью, но произносил ее такой скороговоркой, что известное иератическое трехсловье в ней не различалось, а лишь угадывалось, и возможно, поэтому юнинская ругань не оказывала желаемого воздействия на водителя: он, если только не заснул, снобировал такое нечеткое красноречие, и танк продолжал неколебимой глыбой выситься над выходящим из себя бывалым солдатом.

— Ну, как тут скажете быть? — заметив Ганева и меня и мгновенно остывая, недоумевал Юнин. — Его ж ни штыком, ни прикладом… Лимонкой разве пужануть, — уже острил он, — дак хуже б не натворить беспорядку.

Ганев предупредил задиру, что его время истекает и надо готовиться сдавать пост, и тем прекратив единоборство Юнина с «Т-26», сам через смотровую, щель вступил в переговоры с водителем.

Я пошел обратно. В столовой, водя карандашом по испещренной разноцветными отметками и стрелами карте танкиста, Лукач убедительно просил его о чем-то, но тот не соглашался.

— Очень бы оно, голубчик, полезно было. И не нам одним, но и вам. Неужели тебе непонятно? Это ж очень необходимая военная хитрость, и тебе ровно ничего не стоит. Знаю, что ты спешишь помочь своим в ремонте, но вся же затея полчаса не отнимет.

Погодин вяло отнекивался: он не имеет указаний, самоуправство с его стороны получится.

— Лейтенант Погодин! — раздалось сзади.

Я оглянулся на крик и с удивлением обнаружил, что он исходит от вышедшего из своей комнатки и куда-то опять собравшегося Фрица. Вероятно, ему был слышен весь

предыдущий разговор, и он счел необходимым вмешаться.

— Лейтенант Погодин! — повторил Фриц, хотя и не так громко, как в первый раз, но ничуть не менее резко. — Уж не воображаете ли вы, что трусость украшает командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии?

Погодин одновременно со мной обернулся на выкрикнутые свои звание и фамилию, а увидав Фрица, вскочил и вытянулся. Лицо его, пока Фриц говорил, покрылось пятнами, на щеках проступили желваки, но он ничего не ответил на оскорбительный вопрос. Прижав кулак к шлему, Погодин повернулся кругом, опустил руку и, печатая шаг, вышел. Лукач с состраданием смотрел вслед.

— Не слишком ли ты строг, родной? — мягко упрекнул он Фрица.

Натягивая перчатки, Фриц непреклонно молчал.

В столовую вошел Прадос и, почище Морица щелкнув каблуками, подал Лукачу надписанный, но не заклеенный конверт.

— Чуть совсем не позабыл, — вынув из него бумагу с напечатанным на машинке испанским текстом и подписывая ее, признался Лукач, по-немецки поблагодарил Прадоса и перевел взгляд на меня. — Сумели бы вы, Алеша, найти место, куда мы вчера ходили? Ну, где раненого еще встретили, а потом товарища Петрова?

— Сумею, товарищ комбриг.

— Тогда придется вам, дружок, поспать немного позднее, а сейчас сходите туда, возьмите только вдоль кустарника примерно на километр вправо, до леса. Там найдете новый командный пункт испанского батальона. Отдайте это командиру или политкомиссару — кто первым попадется. А то все разговариваем да разговариваем, пора, наконец, разговоры эти на бумагу переводить и приобщить наших львов к необходимому канцелярскому минимуму и вытекающей из него ответственности. Кстати, не забудьте, когда вручите, чтоб, кто примет, проставил на конверте дату и час получения и обязательно расписался.

— Куда ты? — окликнул меня Погодин, появляясь из-за до сих пор не сдвинувшегося с середины шоссе танка и вытирая ветошью испачканные руки.

Я объяснил.

— Садись, подвезу. Нам вроде туда же.

Он взобрался в башню и протянул мне руку. В мгновение ока я был с ним.

— Становись вот сюда, да держись, смотри. Это тебе не

«эмка».

Мои ботинки едва уместились на плоском подобии велосипедного седла, увенчивающего высоченные подпорки. Ненадежная эта штука походила отчасти на штатив старинного фотоаппарата, отчасти на жреческий треножник.

Танк страшно взвыл и рванул с шоссе. Я вцепился в броню, но оказалось, что тренога подо мной достаточно устойчива, а многотонная бесколесная машина против ожидания легка на ходу и бежит без особых толчков, лишь равномерно качаясь, как челнок на волнах.

Вдавливая в землю кусты, мы понеслись вверх, влетели в мелколесье, и тогда я увидел, что и небольшие деревья без сопротивления, будто камышинки, ложатся под грудь танка. Сокрушающее могущество его плавного бега вызывало ощущение некоторого неправдоподобия, словно я находился не в его башне, а сидел в кино и не наяву, а на экране наблюдал, как он подминает под себя высокие стройные деревца.

Не замечая обуревавшего меня гордого восторга, Погодин в скупых словах изложил, чего добивался от него Лукач. Комбригу хотелось, чтобы погодинский танк показался противнику на различных участках занимаемого двумя батальонами фронта бригады, чтобы создать видимость, будто здесь находится танковая рота, и отбить у врага охоту что-либо предпринять на этом направлении в ближайшие сутки, а также заставить его оттянуть сюда имеющиеся поблизости противотанковые средства.

— На опушке придется колпак нахлобучить, там мы на виду, — предупредил Погодин, когда танк вломился в настоящий лес и, лавируя, меж многолетними деревьями, но по-прежнему безжалостно валя молодняк, двинулся туда, где виднелся просвет.

При закрытом люке не только стало темно, но сразу же сделалось жарко, а сверх того к запаху нагретого машинного масла начал примешиваться чрезвычайно едкий дымок. Ухватившись за какие-то поручни, я вспомнил, что еще не поздоровался с Протодьяконовым, и нагнулся к трюму машины, как вдруг снаружи послышался частый стук, будто град ударил.

— Это нам как горох в стену, ихняя шрапнель! — прокричал Погодин, прильнув к светлеющей полоске толстого, как броня, желтоватого стекла. — Абы чем другим не попотчевали! Давай, Вадим, отверни, где потише, вон и человека пора высадить.

Когда я возвратился в штаб, здесь все уже знали, что мне удалось покататься в танке, и Лукач, приняв у меня конверт со школярским росчерком командира Леонес рохос, принялся расспрашивать, куда Погодин направился дальше.

— Так я и думал, что в конце концов он со мной согласится, — выслушав, произнес командир бригады. — А что ему этого до смерти не хотелось, понять можно. Пока танков так мало, они нарасхват, и танкистам достанется еще больше, чем всем остальным. К ним следует относиться поснисходительнее.

И он рассказал, что первые пятнадцать советских танков прибыли под Мадрид еще в конце октября, а остальные тридцать или тридцать пять — в первых числах ноября. Скоро два месяца, как они не выходят из боев, не зная отдыха ни днем ни ночью: днем — война, а ночью — ремонт. Бывает некогда не то что поспать, но и поесть. Потери же у них пропорционально не меньше, чем в пехоте. Броня броней, но при прямом попадании любой снаряд прошивает ее, как картон, если ж учесть, сколько в танке горючего и взрывчатки, то можно представить, до чего легко он превращается в крематорий.

— Но не в одном этом суть, — продолжал Лукач. — Ведь танкисты обыкновенные советские парни, если понадобится, готовые без громких фраз пожертвовать собой. Однако на войне надо уметь не только умирать, но и убивать, а ведь это совсем не то, что стрельба по мишеням. Мне один человек говорил, что когда танковая рота, получавшая боевое крещение под Сесеньей, вырвалась из нее, потеряв три машины с экипажами, но уничтожив огнем и раздавив гусеницами в узких каменных улочках фашистскую батарею с прислугой и до взвода марокканской конницы, то у ребят спервоначалу был такой вид, будто ничего особенного не произошло. Но как они были потрясены, сойдя и обнаружив на броне запекшуюся кровь, а между траками лохмотья лошадиного и человеческого мяса. И только бы потрясены, а то одного стошнило…

Хотя четыре танка под предводительством Погодина и принимали участие в запроектированном наступлении на Боадилья-дель-Монте, но с ним самим я больше не видался. Уже весной кто-то из приданных нам танкистов, когда при нем упомянули о Погодине, сообщил, что он был ранен и направлен на излечение куда-то к морю. Летом 1937 года я случайно встретил Погодина на улице в Валенсии. Рана его зажила, он поправился, загорел и в сшитом у приличного портного светло-сером костюме выглядел франтом. Узнав незадолго перед тем из «Правды», что произведенный в капитаны Погодин за «выполнение особых заданий партии и правительства» удостоен звания Героя Советского Союза, я обнял его и горячо поздравил. Он пригласил меня к себе в гостиницу и, невзирая на жару, налил, как некогда в Фуэнкаррале, две рюмки коньяку. Мы чокнулись, что и послужило поводом поздравить Погодина

вторично. Поставив опустошенную залпом рюмку, он стал подробно расспрашивать о гибели Лукача, и оказалось, что Погодину неизвестно о ранении Фрица в этой же машине. В бесчисленный раз я повторил, как все случилось.

— Особенный человек был, не одинаковый с другими, — промолвил Погодин. — Большое, однако, счастье, что и Фрица при нем не убило.

— Очень меня тогда огорчило, когда он, помнишь, так тебя обидел.

— Никак он меня не обидел, — запротестовал Погодин. — Фриц — начальник справедливый. Я еще должен быть ему благодарным. Ослаб я тогда несколько, а он мне напомнил, кто я есть.

В номер не постучавшись вошел Протодьяконов, показавшийся мне еще выше в штатском. Распространившееся по двойному номеру благоухание убедительнее припудренных после бритья и массажа щек и отливающих бриллиантином кудрей свидетельствовало, что он прямиком из парикмахерской.

— Можешь поздравить и лейтенанта Протодьяконова, — подчеркнул звание Погодин, — орден Красного Знамени получил.

(Через двадцать лет Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск С. М. Кривошеин — в Испании он был полковником «Меле» — на мои расспросы о Погодине исчерпывающе ответил: «Убит в Отечественную, в звании полковника». А еще через десять лет мне позвонил председатель бюро испанской группы Союза ветеранов дивизионный комиссар запаса И. Н. Нестеренко: «Ты интересовался танкистом Протодьяконовым? Так он жив и работает в одном из московских научно-исследовательских институтов…»)

Снаружи проник звук подъехавшей машины.

— Товарищ Фабер! — октавой неопохмелившегося хориста, хотя он не пил, возвестил Кригер.

Но взамен неведомого товарища Фабера вошел запомнившийся мне советский майор Ксанти, тот самый, который был советником у Дуррути и через меня передал о его смерти Лукачу. Что я не обознался, подтверждалось и появлением хорошенькой маленькой переводчицы в белом цигейковом комбинезоне, делавшем ее похожей на плюшевого медвежонка.

— Линочка! — просиял Лукач.

— Пр-р-ривьет, товар-р-рисчи, — жизнерадостно ответствовала Лина, и по одним раскатистым «р» можно было не колеблясь определить, что испанский ее родной язык.

Ксанти поздоровался с Лукачем, со мной и через стол

протянул руку Кригеру, причем тот снова назвал его «товарищем Фабером». Я счел, что Кригер путает Ксанти с кем-то еще, но в просвете двери, как в раме, поразительно напоминая на темном фоне коридора старый портрет конкистадора, возник горбоносый Прадос и радостно воскликнул:

— Салуд, камарада Фабер! Лина, салуд!

Оставалось предположить, что «Фабер» — псевдоним Ксанти, и притом приятно скромный, поелику он, несомненно, исходил от фаберовских карандашей и еще более знаменитых фаберовских самопишущих ручек, а не был, как у многих, позаимствован со страниц литературной энциклопедии. Впрочем, мое логическое предположение оказалось тут же опровергнутым, поскольку Лукач почему-то называл Ксанти-Фабера третьим именем: «Хаджи», а так как у меня с ним не связывалось ничего, кроме толстовского «Хаджи-Мурата», получалось, что и в данном случае без литературы не обошлось, тем более что черноглазый советский командир, с талией в рюмочку, мог быть кем угодно, но не горцем. Пусть он сейчас произнес всего одну или две фразы, но еще в клеберовской приемной я успел заметить, что, хотя его основная фамилия и была скорей всего греческой, он изъяснялся по-русски без ничтожнейшего призвука южного произношения, не говоря уж о неистребимом кавказском акценте.

Оставив Лину потараторить с Прадосом, Ксанти на четверть часа уединился с Лукачем в нашей спальной. Когда они, довольные друг другом, вышли, Ксанти присел за круглый столик и, пока Лукач, оттеснив Прадоса на второй план, любезничал с Линой, набросал на вырванном из блокнота листке несколько строк и отправил с ними разрумянившуюся в тепле девушку. Едва машина отошла, Ксанти предложил Лукачу «размяться». Сопровождать их отправился хмурый Кригер.

Я собрался наконец прилечь, но меня задержал Прадос, принявшийся восхвалять Фабера и его самообладание, которое ему представился случай наблюдать в Аранхуэсе во время ужасающей бомбардировки. В ответ на вопрос, почему он величает Ксанти фамилией немецкого карандашного фабриканта, Прадос срезал меня, заявив, что, во-первых, так звали маршала Франции, известного военного инженера и предшественника Вобана, а во-вторых, что и Ксанти, без сомнения, тоже ненастоящая фамилия. Иначе бы все русские не называли Фабера еще одним именем, только его язык сломаешь, а не выговоришь. Вообще же Фаберу вполне подошли бы и три конспиративных клички. Он ведь за двоих, если не за троих действует, да и деятельность у него специальная. (При последнем слове Прадос многозначительно поднял указательный перст и даже произнес

его не по-французски, а на испанский лад: «эспесиаль».) Мало сказать, что она секретна, она сверхсекретна. Поэтому о подвигах Фабера никто никогда не узнает, разве если он доживет до глубокой старости и напишет мемуары, но и это сомнительно, ибо такие люди долго не живут, да и мало шансов, чтобы и через четверть века позволено было открыть подобного рода тайны. Прадос честно сознался, что сам он о деяниях Фабера ничего конкретно не знает, но друг Прадоса работает с Педро Чека и кое-что дал понять.

Обнаружив по моему лицу, что имя и фамилия, им названные, незнакомы мне, Прадос с упреком заметил, что за два проведенных в Испании месяца не мешало бы запомнить состав Политбюро Испанской коммунистической партии. Между тем Педро Чека не просто член политбюро, он даже среди высших партийных руководителей во всех отношениях выдающаяся фигура, и не случайно на него сейчас возложена ответственность за мадридскую партийную организацию, а значит, и за Мадрид в целом. Так вот Педро Чека считает, по словам друга Прадоса, что из находящихся в столице советских товарищей наибольшую пользу принес пока Фабер. И еще Педро Чека говорит, что Фабер самый отчаянный и одновременно и самый в момент опасности находчивый из всех, с кем Педро Чека имел в своей жизни дело. В заключение Прадос постарался намеками дать понять, чем, по его догадкам, занимается Фабер, но напустил такого словесного тумана, что и сам в нем заблудился и меня совершенно сбил с панталыку.

Решительно мне в этот день сопутствовала прямо-таки исключительная удача. Именно тогда, когда Прадос окончательно запутался в хитроумных недоговоренностях, вернулись Петров и Белов. В результате, вместо того чтоб покоиться в кровати, я был принужден — подобно участвующему в родео ковбою — взлетать над багажником мотоцикла, пытавшегося сбросить меня в одну из бессчетных выбоин по дороге в Фуэнкарраль, где нам с Клоди предстояло заняться приказом о завтрашнем наступлении.

Из заготовленного Беловым проекта явствовало, между прочим, что Клебер не преминул скорректировать выношенные в нашем штабе планы, совпавшие с намерениями советника при генерале Миахе. Проявилось это не в том, понятно, что приказ приписывал инициативу Петрова командующему сектором — такая достаточно общая формулировка была лишь данью воинской вежливости, — но в том, что батальоны Гарибальди и Домбровского сводились на время наступления в оперативную группу, подчиненную командиру первого из них. Вот в этом мы с Клоди усмотрели не только хорошо известное особое

благорасположение Клебера к Паччарди, но и косвенное выражение недоверия к Лукачу, из рук которого изымалось таким способом непосредственное руководство боевыми действиями.

Уже перед сумерками, сдав Белову конверт с отпечатанным приказом и должным числом копий, я в предвкушении вожделенного сна взялся уже за ручку самой отдаленной двери, но тут же на крыльце послышалось шарканье вытираемых о ступеньки многих подошв. Это пришли Лукач, Ксанти и Кригер. Пришлось, сдержав вздох, выпустить ручку: могло случиться, что я понадоблюсь командиру бригады.

Пока Петров и Белов обменивались с Ксанти-Фабером рукопожатиями, мне показалось, что кто-то из них тоже назвал его «Хаджи», но подтверждения этому я не дождался, так как майор с разными именами отбыл на давно дожидавшейся его машине.

В дополнение ко всему сохраненному о нашем комбриге моей памятью именно здесь уместно присоединить и то, что в двадцать пятую годовщину его смерти поведал мне Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи-Умар Мамсуров, пока мы с ним прогуливались по фойе Центрального Дома литераторов, где происходил посвященный памяти Лукача вечер.

— Вот слушаю я все эти звучные речи, — по обыкновению медленно говорил Хаджи, — и почему-то мне припоминаются не какие-нибудь исторические слова или очень значительные поступки Лукача, а одна совсем, можно сказать, ничтожная мелочь. Было это накануне дня, в какой ваша бригада намеревалась предпринять наступление на Боадилья-дель-Монте, во второй, выходит, половине декабря. Заехал я тогда за Лукачем, и отправились мы с ним в командирскую разведку. Идти следовало нам через лес, к тому месту на краю его, где предполагалось сосредоточиваться для броска. По дороге, занятые каждый своими размышлениями, мы почти не разговаривали. «Взгляни, Хаджи, какая прелесть!» — вдруг восклицает Лукач. Смотрю, а он остановился перед каким-то лесным цветочком, довольно, по правде говоря, невзрачным, так, вроде подснежника. «И когда вздумал распуститься — в декабре! Ну не чудо?» — продолжает восторгаться Лукач. «Оригинал он все же, — думаю. — Нашел чем перед боем заниматься». А Лукач чего-то вокруг глазами ищет, потом наклоняется и подбирает с земли увесистый камень, за ним — другой. Набрав полные руки, опускается, вижу, перед цветком на колено и давай его каменной изгородью окружать. Я терпеливо жду, пока он завершит это странное занятие. Вероятно, Лукач заметил мое недоумение,

потому как, оградив цветок, отряхнул брюки, рукава и немного смущенно объясняет: «Под утро здесь до двух тысяч солдатских башмаков протопает, непременно б его раздавили, жалко же». Непонятным мне тогда поведение Лукача показалось, сентиментальным каким-то. А теперь, когда, бывает, вспомню о нем, мысль обязательно к этому случаю обращается, но сейчас он представляется мне в другом свете. Ведь вот как хотел человек воевать: чтоб лишнего цветочка его бойцы не растоптали…

И о самом Хаджи. Пусть мне не раз предстоит возвращаться к нему в дальнейшем, но в этом отступлении вполне кстати добавить, что дошедшая до меня через Прадоса хвалебная оценка, которую давал Ксанти-Фаберу «самый сдержанный из них», как охарактеризован Педро Чека в «Испанском дневнике», недавно нашла авторитетную поддержку в книге Фрица[38]. Завершив абзац об одном из своих сподвижников по обороне Крымского перешейка «человеке-легенде» А. В. Мокроусове, знакомом ему по Арагонскому фронту под псевдонимом «Савин», бывший «Фриц» прибавляет:

> «За долгую свою жизнь я встречал много интересных людей, но, пожалуй, еще только один человек обладал такой же страстной целеустремленностью и неутомимой изобретательностью в борьбе с врагом — это генерал Х. Д. Мамсуров. В Испании наш дорогой Ксанти (так его там величали) помогал защитникам республики организовывать разведку. К сожалению, еще не настало время, чтобы в полный голос рассказать о деятельности этого человека, а когда настанет — люди будут читать, и удивляться, и радоваться, что среди нас живут такие натуры…»

С темнотой к дому лесничего стали сходиться командиры, комиссары и штабные обоих выведенных из первой линии батальонов, а также командиры и комиссары рот. Явился и кубический артиллерист со своим заместителем, единственным остававшимся в бригаде немцем.

Лукач, Галло, Петров, Белов, Реглер, Мориц, Кригер и Прадос устроились за отодвинутым к стене обеденным столом. Сюда же подсел и командир батареи, начавший перешептываться по-русски с Беловым. Остальные разместились на стащенных из всех апартаментов креслах, стульях и пуфах, лицами к входной двери, рядом с которой на трех черных ногах стояла привезенная из Эль-Пардо знакомая аспидная доска. На ней переливался нежными акварельными красками план Боадилья-дель-Монте, исполненный

Прадосом. Фриц, со школьной указкой в руке, держался по одну сторону доски, я — по другую. До вечера мне так и не пришлось прилечь, и перед совещанием я, чтоб приободриться, хлебнул из лягуттовской фляжки холодного кофе с анисовой.

Кроме Лукача, Фрица и меня, кажется, все без исключения закурили, и кругом горевших на столе и по углам доски свечей густо — гуще, чем в церкви во время кадения, — клубился сизый дым.

Фриц воодушевленно заговорил о перспективах имевшей быть на рассвете операции, а я, за последние дни поднаторев в этом, переводил без запинки. Но когда небольшой паузой отметив конец вводной части, Фриц приступил к подробной разработке темы, со мной произошло нечто непонятное.

Стремясь лучше сосредоточиться, я на секундочку прикрыл глаза, а открыв, обнаружил, что, продолжая держать руки по швам, быстро иду на аудиторию. В ужасе я сообразил, что заснул стоя, и, чтобы не упасть вперед, инстинктивно сделал во сне два или три шага. Сидевший на моем пути командир польского батальона Шклиняж с изумлением, близким к испугу, вскинул на меня воспаленный взор, а кто-то позади его хихикнул.

— Встряхнись, Алексей, — строго произнес Белов. — Возьми себя в руки.

— Переутомился он. Не лучше ль кем-нибудь заменить? — вполголоса спросил Лукач.

Только этого не хватало. И без того я был достаточно сконфужен. Отступив к доске, я, не желая вторично опозориться, расставил для устойчивости ноги и откинулся назад так, чтобы острый косяк двери пришелся между лопатками. Фриц испытующе посмотрел на меня, постучал указкой и повторил сказанное до случившейся со мной аварии. Не могу утверждать, что это прозвучало непринужденно, но все же я выразил его мысль по-французски. Вообще, если б не сверхъестественная усталость, сам по себе перевод произносимых отчетливо и к тому обходящихся почти без придаточных предложений и вводных слов, логически вытекающих одна из другой фрицевских фраз не представлял бы труда. Я, вжав ногти в ладони и вскидывая поминутно опускающуюся голову, механически воспроизводил их на французском. Однако сонливость и при напряженном сопротивлении ей моментами одолевала меня, и пусть я больше не падал, но то, видя, как Фриц шевелит губами, внезапно переставал слышать его бодрый басок, то, наоборот, пелена тумана застилала мне зрение, и я, продолжая улавливать каждое слово, усиленно тер веки, чтобы обращенные ко мне лица снова выступили из небытия, то вдруг у меня подламывались ноги,

будто кто ребром ладони неожиданно ударял под коленками. И еще одна странность: я абсолютно не схватывал общего содержания того, что переводил, оно скользило мимо моего как бы выключенного сознания.

Наконец Фриц кончил и положил палочку. Но за ним, к моему отчаянию, принялись высказываться другие. Правда, когда первым взял слово Паччарди, потому ли что все потекло в обратном порядке — слух воспринимал французские предложения, а язык должен был превращать их в русские, — то на какой-то период мне сделалось легче.

После Паччарди целую речь произнес Петров, и снова потребовалось переключаться, но он так искренне выкрикивал общеизвестные лозунги, так картинно встряхивал казачьим чубом, как крыльями, взмахивая руками, что помог мне продержаться. Зато после него посыпались вопросы с мест, и так как одни задавали их по-французски, другие — по-польски, а третьи — по-русски, то от вавилонской этой мешанины сделалось окончательно невмоготу. Лишь ценой неописуемых усилий мне кое-как удалось дотянуть до счастливого мига, когда Лукач привстал, опираясь согнутыми пальцами о стол, пожелал всем успеха на завтра и закрыл совещание.

И тогда под общий гомон, сам не заметив, как это случилось, я проехал спиной по косяку и, раньше чем опустился на корточки, почил мертвым сном, пока Лукач сам не поднял меня и под руку не отвел в нашу спальную. Пробудился я от нестерпимой боли в ребрах. Ее причиняла лежащая под боком винтовка, на которую я навалился, перевернувшись. День уже наступил. Больше того: по проникавшим ко мне шумам и запахам было понятно, что штаб уже позавтракал. Одновременно по каким-то неуловимым признакам я догадался, что с наступлением не в порядке. Вскочив и поспешно оправив одежду, я вышел в столовую.

Все были в сборе кроме Петрова, Кригера и простуженного, а потому отправленного в Фуэнкарраль отлежаться Фрица. Перед водруженным на круглый столик ящиком с полевым телефоном мирно дремал в кресле Мориц.

Пока я закусывал, Прадос поделился со мной тем, что было известно. Оказывается, в батальонах не сумели организовать продвижение через лес ночью, и, вместо того чтоб перейти в наступление на рассвете, они только недавно добрались до исходных позиций. Впрочем, и танки все равно опоздали. В результате начало атаки перенесено с семи на четырнадцать ноль-ноль.

Я взглянул на лонжиновский хронометр Прадоса. Впереди был почти целый час. Но не успел я закурить после еды, как

задребезжали стекла и пол задрожал: где-то недалеко бомбили.

В ящике зазудело. Мориц встряхнулся и подал трубку Белову. По телефону, доведенному до командного пункта Паччарди, сообщали, что сию минуту девять «юнкерсов» сбросили бомбы на лес, в котором сосредоточились оперативная группа и танки. Танки невредимы, но в людях из-за скученности есть небольшие потери.

— Терпеть не могу такие дамские выражения, — высказался Лукач, когда Белов пересказал содержание телефонного разговора. — Надо цифру называть, а то: небольшие. Сколько это? Для того, кто убит, они непомерно большие.

В начале третьего Паччарди доложил, что оба батальона двинулись в атаку. И действительно, даже при закрытых дверях в доме лесничего стал различим гул канонады. Лукач заерзал на стуле.

— Это они по нашим бьют. Разве три несчастные семидесятишестимиллиметровки Баллера способны этакий тарарам поднять?

Почему-то сливающаяся воркотня вражеской артиллерии скоро начала затихать, и тогда сделались различимы редкие залпы батареи Тельмана. Затем она смолкла. Белов, как всегда, если нервничал, поочередно почесал ладони и приказал Морицу связаться с Паччарди. Обнаружилось, однако, что линия повреждена. Лукач поднялся и снял с вешалки фуражку, но тут пришли Петров и Кригер.

Раскрасневшийся от ходьбы Петров взволнованно объявил, что наступление сорвано. Весь расчет на успех строился на внезапности, а ее-то и не было. Ведь только глухой мог не слышать грохотания танков, от которого, пока они приближались, весь лес ходуном ходил. Засек, конечно, противник и скопление людей возле опушки. Во всяком случае, профилактической бомбардировкой он не ограничился, а принял и другие меры, в частности, подтянул технику, в том числе и новейшую. Стоило танкам высунуться из-за деревьев, как их встретили противотанковые орудия: один был сразу подбит, а остальные благоразумно дернули. Хорошо еще, что и пострадавший легко отделался — башню ему заклинило — и допятился до леса. Насчет же пехоты, так ее перекрестным огнем «гочкисов» сразу же от танков отсекли, а потом еще артиллерийский барраж поставили.

— В общем, с моего одобрения, Паччарди принял единственно возможное решение: отставить. Я, прежде чем он подал команду, хотел согласовать и звонил сюда, но на линии был обрыв.

— Танки там все перепахали, ну и полетел провод к дьяволу, — со своим финским акцентом проворчал Кригер.

— Не успели мы вывести людей из-под огня, Клебер явился, — продолжал Петров. — Выслушал он Паччарди, выслушал меня и будто из духа противоречия предлагает с утра возобновить наступление. Я спорю, что это бессмысленно, что здесь теперь не двум батальонам, а и одному танку не пройти, или надо сюда со всего фронта артиллерию стащить, но разве Клебера переговоришь. Он холодно возразил, что командование и располагает придать нам бронепоезд.

Петров еще отвечал на расспросы Лукача, нетерпеливо при этом посматривая в сторону своего, по выражению Белова, «подшефного» бочоночка, когда перед входом заскрипели автомобильные тормоза, дверь распахнулась шире, чем если б ее открыл Милош, и через порог шагнул Купер, в том же почти до пят кожаном пальто и в абсолютно неподходящей к нему светло-серой кепке. Купера сопровождал не ниже его ростом тонконогий переводчик с черными усиками а-ля Альфонс XIII и с еще большим, чем у последнего, поистине невероятных размеров носом, делавшим его похожим на тукана. Все встали.

— Здоров, Лукач, — бросил Купер, не уделяя внимания остальным присутствующим. — Есть у тебя где побалакать?

Лукач пригласил его к себе в комнату, а переводчик, как с добрым приятелем, развязно хлопнув его по плечу, заговорил с Прадосом. Нельзя было, однако, не заметить, что рыцарски вежливый наш доцент с этим гостем держался довольно сухо.

Купер провел с Лукачем не больше десяти минут. Кивнув на прощание всем толпившимся в столовой, он тяжело, но быстро ступая проследовал к выходу. Лукач провожал его до машины. Замешкавшийся переводчик опрометью кинулся вдогонку, напоминая разбегающегося при взлете журавля.

— Не люблю я этого типа, — признался мне Прадос, знавший, как выяснилось, всех и каждого. — Он из Аргентины. Лина тоже аргентинка, а какая разница. Хотя лучше не будем брать в пример Лину: она аргентинка из Москвы. Но в Испанию, несмотря на расстояние и всяческие барьеры, прибывают добровольцы из самой Аргентины и, должно быть, из всех без исключения государств Латинской Америки. Этот же приехал иначе. Он, на его счастье, знает русский — семья еще до революции, когда он был ребенком, эмигрировала из Южной России — и смог через наше консульство в Буэнос-Айресе завербоваться за деньги переводчиком. Решил на нашей беде капитал приобрести. С известным риском, конечно, но не рискуя и в покер не выиграешь. Только, веришь ли, чуть близко выстрел — бледнеет. Еще бы: нас

с тобой убьют, и все, а тут еще и заработанные доллары пропадут.

И без прадосовской характеристики переводчик Купера не внушил мне симпатии. Слишком уж откровенно переключился он с приторной любезности в общении с Лукачем на снисходительное панибратство в отношении всех прочих, будто находящийся в услужении у знатного барина лакей, который свысока обращается к слугам господ рангом пониже.

— И тебя, дорогой, и тебя, вас двоих я буду просить, — взял Лукач под руки Белова и Петрова, — сейчас же, не откладывая, как говорится, в долгий ящик, проехать по Коруньскому шоссе к Эль-Плантио и дальше, до переезда через железную дорогу. В двух шагах от него начинается туннель, где прячется от авиации этот самый бронированный змей-горыныч, а над входом в туннель стоит пустая будка путевого обходчика. Товарищ Купер отправился к Клеберу, а от него, не позже чем через час, туда прибудет. Вы его там дождитесь и совместно подыщите по карте точку, откуда бронепоезду можно бы завтра с толком пострелять. Купер, имейте в виду, некоторый опыт по части бронепоездов имеет. Я же, пока суд да дело, прямиком с Алешей пройду. До смерти хочется мне на злосчастную эту Боадилью в бинокль посмотреть.

Мы бродили по лесу около часа. Сначала Лукач зашел на командный пункт Паччарди, обозленного неудачей, в которой винил танки. От Паччарди — на перевязочный, откуда раненых уже успели эвакуировать. Потыкав острием палки в разбросанные по утоптанной ложбине бинты с черными пятнами засохшей крови, Лукач отметил, что «доктор Хейльбрунн ворон не считает», и мы двинулись в направлении неприятеля. Лавируя между спящими вповалку бойцами, мы подошли к опушке, но едва начали продираться сквозь колючие кусты, как впереди захлопали выстрелы и вокруг засвистели пули.

— Ишь, до чего бдительны, — рассердился Лукач. — Какой уж тут, к чертям собачьим, фактор внезапности. И послушайте: раз так, обоим нам валять дурака совершенно незачем. Отойдите-ка и подождите за первыми деревьями.

Стараясь, чтоб кусты не шелохнулись, он медленно продвинулся сквозь крайние, росшие над канавой, спрыгнул в нее и, прикрыв оправу бинокля пальцами, долго водил им по горизонту.

Безотчетно удостоверившись, что индивидуальный пакет при мне, я продвигался едва ли не осторожнее самого командира бригады, пока не остановился над ним за последним покрытым колючками кустом. Ров, окаймлявший лесок, служил естественным укрытием для передового поста гарибальдийцев.

Засунув озябшие руки в рукава, они предплечьями придерживали винтовки и с любопытством обратили лица к Лукачу. Он, конечно, не мог не слышать, что я не вернулся назад, но приказания своего не повторил.

Фашисты не прекращали обстрела, причем каждый выстрел звучал, будто стреляют в упор, но пули теперь пролетали не по бокам, а у меня над головой. Да и вообще, когда я стоял над Лукачем, они как-то меньше, чем прежде, тревожили меня.

Насмотревшись, Лукач уложил бинокль в футляр, поднял часы к глазам, взялся за пук высохшей, как сено, травы и легко выскочил из рва. Прикрываясь кустами, мы пошли вдоль опушки, но лес стал распространяться влево, кусты кончились, и мы увидали несколько промятых танками широких полос. Дойдя до них, Лукач круто свернул к тылу, и вскоре мы очутились в зарослях, где не было даже тропинок.

— Недурная получается прогулка, вы согласны? — довольным голосом спросил Лукач. — Будто и не на войне.

Лес понемногу редел. Появилась тропинка, ее пересекла другая, рядом завиляла третья. Незаметно они слились в дорожку, которая вывела нас в красивый парк. Мелкой растительности здесь уже не было, и деревья далеко отстояли одно от другого, но зато это были вековые богатыри с необхватными стволами. Справа завиднелся просвет.

— Ну, вот и дотопали, — сказал Лукач. — Железнодорожное полотно пролегает вон там, а туннель, где маринуется бронепоезд, чуть впереди. Я не случайно говорю: маринуется. Все дело в том, что он единственный экземпляр не только под Мадридом, но чуть ли не на всю Испанию, уникум, одним словом. Им и дорожат соответственно. Вроде как священной реликвией — не дай Бог потерять. В результате он все равно что потерян: почти все время бездействует.

Там, где была железная дорога, нарастал шум. Приближаясь, он переходил в громыхание, словно по рельсам с бешеной скоростью несся тяжелый состав, скорее всего это и был бронепоезд. Но Лукач внезапно ринулся вбок и присел за широким и прямым, как соборная колонна, стволом. Оглядываясь на меня, комбриг нетерпеливо показывал, чтоб и я прятался. Не успел я, кидаясь к ближайшему дереву, догадаться, что это вовсе не бронепоезд, а налет бомбардировщиков, как сквозь гул их моторов прорвался пронзительный свист, земля подо мной заколебалась, будто во время землетрясения, в лесу потемнело, и, сливаясь в один ужасающий удар, ухнуло подряд несколько взрывов, а вместе с ними раздался душераздирающий треск, словно молния попала в столетний дуб и расколола его.

В оба уха сильно кольнуло, и все звуки сделались приглушенными, как бывает, если при нырянии наберешь в уши воды. Полностью слуха я, однако, не потерял, так как улавливал и удаляющееся гудение моторов и даже глухой стук падения возвращающихся с неба камней. Едкий запах взрывчатки начал распространяться по парку, и на землю медленно опускалась мелкая, похожая на пепел пыль.

Лукач выпрямился, передвинул футляр с биноклем больше назад и зашагал дальше. Я бросился догонять его и немедленно нашел объяснение оглушительному треску: невдалеке лежал срубленный бомбой и отлетевший метров на десять от своего расщепленного пня громадный платан. Его с уважением рассматривали непонятно откуда взявшиеся Петров и Белов. Тут в ушах у меня зазвенело, и — будто вода вылилась — я нормально услышал, как Лукач на расстоянии прокричал:

— Целы? А Григорий Иванович? Разве не приехал?..

Вместо ответа Белов вскинулся, как человек, которому напомнили о самом главном, и бросился бежать, за ним кинулся Петров. Побежали и мы с Лукачем. Поглядывая вперед на Белова, я заметил, что брюки его как-то странно, вроде юбки, развеваются на бегу, а под ними мелькает белое. По-видимому, обе штанины были разорваны от паха и почти до колен.

Выбежав из парка, Белов повернул к путейской будке, окруженной давно потерявшим листву фруктовым садиком. Перед ним зияли две свежие воронки, но садик устоял, зато с будки начисто снесло крышу, и земля перед входом была усеяна битой черепицей.

К будке мы подоспели уже все вместе и через сорванную с одной петли дверь рассмотрели комнату, заваленную рухнувшим посередине потолком. Слева на некрашеном стуле сидел Купер и о край стола выбивал из кепки черную пыль; великолепное пальто его тоже было покрыто печной сажей. Натянув кепку на бритую голову, Купер, пока мы входили, стряхнул куски штукатурки и кирпичные осколки с лежавшей на столе карты, снял ее со стола, несколько раз ударил по оборотной стороне костяшками пальцев и, раскладывая, проговорил как ни в чем не бывало:

— Что ж, можно бы продолжить, да, видать, бесполезно. Хоть на мой слух в бронепоезд и не попало, но ничего не возразишь: по нему целили. Теперь его из туннеля калачом не выманишь.

Купера прервал часто-часто запыхтевший где-то поблизости паровоз, залязгали буфера.

— По-вашему и есть, Григорий Иванович, — отозвался на эти звуки, как будто донесшиеся из забытого мирного времени, Лукач. — Слыхали? Невредим и уползает к себе в нору. Но

разрешите напомнить, что поддержка огнем с бронепоезда рассматривалась как необходимое условие повторного наступления. Если ж ее не будет, и без того несолидная затея превращается в абсурд. И чтоб вам, Григорий Иванович, было известно, я по совести на это пойти не могу. Так кому нужно и скажу, а там пусть делают со мной что хотят…

— Ты заранее не кирпичись. Приедешь нынче вечерком в подвал и доложишь свое мнение. Что без артиллерии не воюют, Горев не хуже твоего знает.

Я прикоснулся к плечу Белова и обратил его внимание на чуть не пополам распоровшиеся брюки. Он глянул и покраснел.

— Вот это да. В Большой зал консерватории в подобном виде, пожалуй, не впустили бы. Одного не понимаю: где я так?

— А когда мы с тобой из-под «юнкерсов» улепетывали. — Петров усмехнулся. — Выходит, слишком ты далеко ноги выбрасывал. Не воображай только, что ты один. Просто нитки моих штанов оказались крепче, хотя тоже трещали. Садись, однако, и поскорее зашивай: до консерватории-то еще дожить надо, пока же смотри, чтоб собственный шофер перед тобой дверцу машины не захлопнул.

— Просто сказать: зашивай, но чем? — Белов обвел взглядом полуразрушенное помещение. — В этом мусоре не легче иголку сыскать, чем в стоге сена.

На счастье начальника штаба, в нагрудном кармане запасливого комбрига нашлось несколько штук английских булавок, и Белов уселся на табурет подкалывать свои прорехи.

— Что-то моего переводчика больно долго нету, — отметил Купер. — Никто из вас его не бачил? Перед налетом он снаружи на лавочке оставался. Уж не накрыло ли его?

Купер, Лукач, Петров и я отправились на розыски. Обойдя будку и осмотрев садик, мы начали описывать расходящиеся круги.

— Э-ге-гей!.. — мощным, словно в мегафон, басом позвал Купер, как егерь борзую, но откликнулось только эхо.

Пока они с Петровым проверяли пространство вдоль железной дороги, Лукач и я прочесали ближнюю часть парка.

— Отполз, раненный, и потерял сознание, если, конечно, не убит, — прокричал мне Лукач из-за деревьев. — В ямах надо и в кустах искать…

Но в том-то и дело, что ни кустов, ни ям, кроме воронок от бомб, в парке не было. Я добросовестно осмотрел все. Из них пахло могилой, но запах носил символический характер. Во всяком случае, убитого я в них не обнаружил.

— Я на ту сторону пройду!.. К машинам!.. — донесся

поставленный голос Петрова. — Может, он в машине жде-о-от!..

Побродив еще, мы ни с чем вернулись к будке и присели на скамейку. Подошел Купер, присоединился к нам и Белов. Он кое-как скрепил лохмотья и выглядел менее смущенно. Через четверть часа от переезда показался Петров.

— Рано вы, товарищ Купер, своего Сирано де Бержерака похоронили, — немного задыхаясь от быстрой ходьбы начал заместитель комбрига. — Если он где-нибудь не споткнулся и не разбил свой выдающийся нос, то вот-вот объявится. Его мой Милош видел, когда самолеты уже пролетели. Говорит, что толмач ваш «потрчао као зец». Иначе говоря, промчался мимо машин как заяц и, по мнению Милоша, безусловно, побил рекорд братьев Знаменских на пять тысяч метров.

Купер так и не дождался впечатлительного переводчика и уехал, пообещав во всеуслышание, если тот к нему заявится, отправить его к распронепечатной матери.

Вскоре после возвращения в дом лесничего подтвердилось, что старый артиллерист был в душе вполне согласен с Лукачем, так как еще до поездки комбрига в Мадрид пришло распоряжение, которым повторение неудавшейся операции отменялось. Лукач тотчас же послал за Тимаром и обязал его за ночь перевезти батальоны Гарибальди и Домбровского обратно в Эль-Пардо. Находившиеся на передовой франко-бельгийцы и Леонес рохос были без осложнений сменены под утро.

Батальон Леонес рохос оставался в Двенадцатой интербригаде до середины января и участвовал в успешном новогоднем наступлении в районе Сигуэнсы. Громогласное наименование, больше подходящее для индейского племени из романа настоящего Купера (Фенимора), продолжало, пока не приелось, обыгрываться у нас, и за глаза мы величали новичков то «Красными котятами», то «Когортой рыкающих брадобреев», то еще как-нибудь. Когда через сутки после отвода в Эль-Пардо нас опять перебросили на следующий угрожаемый участок и я, по исполнении очередного поручения Лукача, прибыв на новый командный пункт, спросил, где Петров, то Белов невозмутимо ответил: «На львов охотится». Озабоченный порученным мне, я не сразу понял шутку, и начальник штаба пояснил, что наши Леонес рохос, как это до недавнего времени было принято, на ночь покинули отведенное им под открытым небом месторасположение и ушли отогреваться и отсыпаться в ближайший населенный пункт; так вот Петров загоняет их назад. Однако подобное и в общем безобидное зубоскальство процветало не долго. Пообстрелявшись, батальон, которым

вплотную занялись назначенный начальником оперативного отдела штаба бригады испанский майор Херасси, а также Густав Реглер, вскоре стал вполне боеспособен. Но именно тогда, ко взаимному огорчению, батальон Леонес рохос у нас забрали и влили в одну из формируемых испанских бригад, хотя некоторое число особенно привязавшихся к нам мальчиков сумело в момент перевода незаметно осесть, главным образом в батальоне Гарибальди, а также Домбровского.

В середине следующего дня, когда штаб бригады покидал дом лесничего, Лукач приказал мне съездить в батальон Андре Марти, задержанный на всякий случай в небольшом местечке возле Коруньской дороги, и передать Жоффруа, чтоб он подготовился к погрузке на машины. Они подойдут самое позднее через час и как миленьких прокатят его ребят до эль-пардоской казармы для продолжения прерванного отдыха.

— Оставайтесь там, пока не убедитесь, что всех вывезли, а то в последний раз они целый взвод в тылу забыли. И пусть за воздухом смотрят повнимательней: день летный. Важно, чтоб в пути дистанцию между грузовиками соблюдали и ни в коем случае не допускали пробок.

Воняя и стрекоча, «харлей», управляемый все тем же ожесточенным старообразным Алонсо, доставил меня в незнакомый грязный поселок. Круглая, как арена, площадь, где мы остановились, и вытянутая вдоль шоссе главная улица были пусты. Но едва мотоциклист выключил газ, стало слышно нестройное пение, вырывающееся из таверны на углу. Пели французскую «Молодую гвардию» на слова Вайяна Кутюрье, популярную не только среди французов, но исполняемую революционной молодежью повсюду, вплоть до Южной Америки (тогда как советская комсомольская песня под тем же названием, написанная раньше Безыменским, почему-то за пределами СССР не распространилась, хотя он и заимствовал для нее музыку тирольской народной песни, использованную и Моцартом и Бетховеном, а в начале века превратившуюся в гимн германской молодой гвардии пролетариата). Где-то подальше охрипшие голоса орали еще и «Карманьолу», но до того фальшиво, что я угадал ее лишь по ритму. Впрочем, французы вообще плохо поют хором, как не любят и не умеют ходить в ногу.

Держась за кожаные плечи Алонсо, я слез со смягчающего багажник одеяла и на одеревеневших ногах пошел разыскивать батальонный штаб. Скоро выяснилось, что это не так просто: из троих, встреченных мною, двое в зеленых беретах, цеплявшиеся друг за друга как утопающие, лыка, что называется, не вязали, а третий, в рогатой обшитой красной тесьмой пилотке, оказался испанцем, и хотя был трезв как стеклышко, и даже понял, когда я повторил вопрос на сомнительном подобии кастильского, но не имел ни малейшего представления, где помещается «эль эстадо майор де лос интернасионалес».

Наконец когда я, обойдя площадь, зашагал по продолжению главной улицы, мне повезло, и через раскрытые дощатые ворота низкого, с окошечками под крышей, здания — вероятно, раньше в нем был хлев — я разглядел группу бойцов на корточках перед

разобранным пулеметом. Повернув к ним, я услышал, что из полумрака кто-то окликнул меня по имени, и увидел поднявшегося навстречу Пьера Шварца. Он, как все мы, похудел и сильно изменился, на лбу и от углов рта прорезались морщины, кисть левой руки была перебинтована, но серые глаза смотрели уверенней, чем в Альбасете. На правой ладони Пьера Шварца лежала в замасленной тряпочке деталь пулеметного замка. Она помешала рукопожатию, и мы поцеловались, как парижане, не обнимаясь.

Пьер Шварц рассказал, что ранен еще в Университетском городке, но что рана пустяковая и позволила остаться в строю. Да и как иначе: для французов «максим» не свой брат. Теперь они, надо признать, вполне его освоили, и вообще в пулеметной роте сравнительный порядок благодаря ее командиру Бернару, пехотному лейтенанту резерва. Он социалист — конечно, левый, — однако сторонник не Жиромского (у Пьера Шварца, как и у меня, язык, должно быть, не поворачивался произнести по-французски: «Зиромски»), а этого непостижимого путаника Марсо Пивера, но было б неплохо, если бы все коммунисты вели себя вроде пивертиста Бернара. А то комиссар Жаке хоть и член коммунистической партии, но понимает свою роль так, словно политкомиссар является заступником сражающихся масс перед эксплуатирующим их командованием. Нечто в стиле профсоюзного работника в войсках…

Я спросил, что представляет из себя Жоффруа.

— Задница, — исчерпывающе определил Шварц. — Не дурак, имей в виду, не трус, а именно задница. Пока не выпьет, мягкотел, как слизняк: никому ни в чем отказать не может, не говоря уж чтоб кого-нибудь наказать, все кому не лень на нем верхом ездят. Зато тяпнувший Жоффруа — аки скимен рыкающий. Но всем ясно, что скимен этот всего-навсего пьяный неврастеник. Удивительно ли, если в батальоне бедлам? А между тем люди в нем примерно те же, что везде: люди как люди. Есть, правда, небольшой процент люмпена, но чего ж ты хочешь? Ведь французские и бельгийские добровольцы это не политические эмигранты, как, например, немецкие или венгерские, такого предварительного отбора они не проходили.

Узнав, что сейчас должны прибыть грузовики, Шварц заторопился: он командир пулеметного взвода и ему надо успеть дочистить и собрать второй «максим». Все же, сунув тряпицу с деталью одному из пулеметчиков, Шварц взялся проводить меня к Жоффруа. По дороге я попытался разузнать о Белино. Но Шварц такой фамилии не помнил и твердо ничего сказать не мог. По его словам, соответствующий моему описанию толковый парень в

батальоне был, только он, кажется, убит или тяжело ранен…

С Белино, подвигнувшим нас в Фигерасе на подвиг Геракла, я впоследствии раза два или три встретился. Случайные эти встречи были поневоле краткими. Если память мне не изменяет, первая — произошла уже после сражения на Хараме. Так или иначе, но, оправившись от ранения, Белино окончил, помнится, офицерскую школу в Посорубио и лейтенантом вернулся в батальон Андре Марти, где командовал ротой. Сравнительно скоро он был ранен вторично, а затем служил в Четырнадцатой интербригаде. Со второй половины 1937 года я потерял его из виду. Велико же было мое волнение, когда в декабре 1962 года, читая в «Юманите» о совершавшихся на кладбище Вильнев-ле-Руа, близ Парижа, похоронах бывшего командира Четырнадцатой интербригады Марселя Санье (сменившего на этой должности Дюмона, который после батальона «Парижская коммуна» командовал ею, приняв у генерала Вольтера), я в перечислении присутствовавших «многочисленных руководителей и членов Содружества французских добровольцев в Испании» наткнулся на Фернана Белино. А летом 1966 года поистине черная зависть к счастливым друзьям и товарищам — дважды Герою Советского Союза генералу армии П. И. Батову, дивизионному комиссару запаса И. Н. Нестеренко, профессору Д. П. Прицкеру и другим делегатам от испанской группы Советского комитета ветеранов войны, представлявшим нас в ГДР на международном съезде участников интербригад, — обуяла меня. Ведь та же «Юманите» напечатала, что французскую делегацию возглавляет Белино, и на несовершенном газетном оттиске я без колебаний узнал в седом как лунь представительном, с моложавым лицом человеке одного из героев этой книги.

Споткнувшись, Шварц покривился и большим пальцем перевязанной руки зацепился за петлю расстегнутого сверху френча; когда она была опущена, рана, должно быть, еще побаливала.

— Знаешь что, — вдруг воодушевился он, — почему бы тебе не предложить командиру бригады собрать таких, как мы, воедино? Насколько я умею считать, на взвод нас еще наскребется. В одном нашем батальоне восемь человек есть, считая не только кто из Союза возвращения, но всех русского происхождения. И нам бы вместе веселей, и виднее было бы, как мы деремся. А то в балканскую роту батальона Домбровского один неплохой мужик попал — я его давно знаю, — так, несмотря что он член партии, некоторые на него как на белую ворону

взирают.

Я пообещал доложить о его предложении Лукачу. Не дойдя до конца улицы, Шварц издали показал мне дом, где находился штаб, и ласково протянул руку. Простившись, мы отдали друг другу честь: он приложив кулак к звездочке на берете, а я — к неразлучной винтовке, и уже повернулись, чтоб разойтись, но из глинобитной лачуги, перед которой мы остановились, вышел матово-бледный низенький француз с пистолетом на животе, как любят носить немцы.

— Подожди меня, Шварц, будь любезен, я в твой взвод направляюсь, — вежливо попросил он с тем неаффектированным произношением, с каким во Франции изъясняются лишь школьные учителя, священнослужители и престарелые высокопоставленные дамы; при этом он отчетливо произнес немецкое «ц», что совсем уж было редкостно.

— О-о, товарищ Бернар, — приостановился Шварц, и после Бернара его русский акцент резал ухо. — Подожди, Алексис, я хочу представить тебя командиру нашей роты. Это мой приятель, — обратился Пьер к Бернару. — Из штаба бригады. Он с поручением к капитану Жоффруа.

Бернар, о котором только что так хвалебно отозвался Пьер Шварц, меня разочаровал. Уж слишком мал он был ростом; чуть повыше моего плеча. Особенно несолидно выглядели его коротенькие ножки, похожие в обмотках на бильярдные. Лицо Бернара следовало признать красивым, если бы при его росте оно не было б непропорционально большим; бледность же командира пулеметной роты, оттеняемая коротко остриженными мягкими черненькими усиками, просто пугала: казалось, Бернар вот-вот шлепнется в обморок. Знакомясь, он, однако, с силой мне сжал пальцы и, скороговоркой произнеся положенное «enchante», преувеличенно соответствующее нашему «очень рад», прямо-таки чарующе улыбнулся. Впрочем, женственно-прелестная улыбка тотчас сбежала с его губ, и Бернар поинтересовался, в чем, если не секрет, заключается моя миссия, а узнав, что батальону предстоит немедленное возвращение в Эль-Пардо, очень серьезно заметил:

— Это будет не так легко: многие из ребят не очень в форме.

Вход в штаб батальона не охранялся, и я беспрепятственно проник в грязный коридор. Из раскрытой справа двери вырывался ужаснейший гам и такие тучи дыма, словно там начинался пожар; на самом же деле это так накурили наполнявшие помещение и о чем-то исступленно споривши бойцы. Дальше по коридору была открыта налево вторая дверь в комнату поменьше. В ней на расстеленных по каменному полу матрасах полулежал Жоффруа;

рядом, скрестивши по-турецки ноги, сидел Жаке, оба были в некогда белых полушубках. Несколько человек, закутавшись с головами в одеяла, но показывая голые между ботинками и задравшимися брюками голени, спали на соломе под окном. Знакомый по мосту Сан-Фернандо мотоциклист надраивал фланелью свой и без того сверкающий ярко-красным лаком «индиан». В комнате сильно пахло бензином, но это не мешало Жоффруа курить.

Исполнив положенное воинской субординацией, я передал Жоффруа что было приказано, но второпях вместо необходимого в применении ко всему живому глагола «rassembler» употребил «ramasser», что тоже означает «собирать», но в значении собирать с земли, подбирать. Жоффруа усмехнулся и снисходительно исправил мою ошибку, а затем приказал владельцу «индиана» предупредить командиров рот, чтоб готовились к погрузке.

Не прошло и получаса, как в главную улицу втянулось десятка три грузовиков. Весело покрикивая, Тимар рассредоточил их по переулкам, и посадка началась, но если пулеметная рота со своими восемью «максимами» уже через десять минут была в машинах, то остальные пока стояли полупустые, а то и вовсе пустые.

Тимар, отправив пулеметную роту, принялся ходить по домам, уговаривая собираться поскорее, но даже в тех случаях, когда его слушались и «ЗИС-5» более или менее быстро наполнялся, поднять опущенный задний борт было нельзя, так как из кузова неслись вопли, что не хватает Жана, или Франсуа, или сразу двоих Жаков плюс еще Анри.

Обходя квартал за кварталом, мы с Тимаром повсюду обнаруживали людей, находившихся то в излишне приподнятом настроении, то — наоборот — непобедимо сонливых. Нередко нам на поторапливанье отвечали воркотней, а порой и грубой руганью, и тогда лишь парижское острословие Тимара разрешало наэлектризованную атмосферу.

Во внутреннем дворике одного поместительного, как и большинство здесь, покинутого хозяевами дома мы наткнулись на Жаке, окруженного взбудораженными бойцами. Его теребили за рукава, дергали за полы полушубка, наседая с вопросами, когда же весь этот винегрет прекратится и наконец им дадут передохнуть, ну пусть всего на двое суток, однако чтоб в это время никуда не таскали и дали б если не выспаться — после таких двух месяцев за сорок восемь часов разве отоспишься? — то хотя б в сортире посидеть не спеша…

Жаке пытался утихомирить особо разбушевавшихся, обещая, что завтра же добьется от командования бригады не меньше

трехдневной передышки, но и этот посул не внес ожидаемого успокоения. Если б не винтовки и не военная форма, со стороны можно было б подумать, что перед нами импровизированное профсоюзное собрание, на котором рабочие выражают негодование неожиданно тяжелыми условиями труда на новом месте и не слишком притом доверяют своему делегату, видимо продавшемуся хозяевам.

Помитинговав, недовольный начальством взвод, после пересыпанного солеными шутками вмешательства Тимара, все же погрузился пусть не в образцовом, но в достаточном порядке. По крайней мере, здесь не было ни отставших, ни упившихся до положения риз, тогда как в других взводах нам с Тимаром не раз приходилось выводить под руки и подсаживать некоторых, еле державшихся на ногах, а двоих, мертвецки пьяных, мы при помощи расстроенного Жаке, раскачав за руки и за ноги, закинули прямо на колени их товарищам.

В конце концов Тимар обозлился и потребовал, чтобы его проводили к командиру батальона. Повел озверевшего Тимара я. В схожих с опустевшими стойлами помещениях была тишина. В недавно такой шумной комнате справа не осталось ни души. Никого, кроме Жоффруа, возлежащего на грязном матрасе в позе давидовской мадам Рекамье и безмятежно покуривающего, не оказалось и в другой. Эпикурейское спокойствие Жоффруа окончательно взбесило Тимара, и он с места в карьер начал орать. Однако вопли его красноречия не произвели на Жоффруа заметного впечатления, и когда Тимар выдохся, он логично ответствовал, что, раз командир батальона болен гриппом и в текущие дела не вмешивается, среди его подчиненных неизбежно обнаружатся беспорядки, иначе для чего б в каждой армии назначали командиров батальонов да еще платили бы им жалованье.

Тимар на это только рукой махнул и выбежал вон, я же не отказал себе в удовольствии объявить Жоффруа, что не так уж ошибся, произнеся «ramasser» вместо «rassembler»: батальон пришлось буквально подбирать с земли.

Поскольку Тимару пора было уезжать, он попросил меня проследить за отправкой двух последних камионов, отходивших от площади, что вполне меня устраивало, ведь морщинистый Алонсо остался со своим «харлеем» где-то там.

Первый из грузовиков я нашел почти готовым в дорогу. На него уже водрузили походную кухню, а теперь закрепляли ее и обкладывали мешками с гарбансасами и прочим громоздким имуществом батальонного интендантства. Зато второй — стоявший поодаль — был пуст, хотя возле него и собралось

человек двадцать о чем-то дискутирующих. Проводив интендантскую машину, я направился к следующей и еще издали без всякого удовольствия различил в шумливой толпе Бубуля, как и многие, повязавшего анархистский шейный платок. Вообще анархистские цвета и значки ФАИ попадались сегодня в батальоне Андре Марти очень часто.

Мне оставалось до грузовика метров пятьдесят, когда на площадь, едва не задев стоявший в начале ее мотоцикл, вылетел серый «пежо». Уже проскочив толкущихся возле «ЗИС-5», Луиджи притормозил, на ходу открылась дверца машины и на шоссе вышел Лукач в коротенькой замшевой курточке.

Я заторопился к комбригу доложить, как выполняются его приказания, но гораздо раньше к нему приблизился отделившийся от остальных боец. Он был без винтовки, распоясан и даже без головного убора. За ним поспешал Бубуль. Оба ступали нетвердо.

Мне не удалось разобрать, что сказал нетрезвый боец, подходя к Лукачу, но командир бригады нахмурился и вопросительно, как бы в ожидании перевода, посмотрел в мою сторону. Не получая ответа, подошедший хрипло выругался — это я уже хорошо расслышал — и, схватив Лукача за плечо, попробовал повернуть к себе. Резким движением комбриг сбросил его пальцы, отступил на шаг и молниеносно выкинул вперед полусогнутую правую руку, одновременно описав корпусом полоборота. Раздался глухой звук, как при ударе боксерской перчатки в тренировочную грушу. Незнакомый боец лязгнул зубами, всхрапнул и опрокинулся навзничь, ноги его расползлись в стороны. Бубуль, словно только того и ждал, подхватил его под мышки и поволок назад к грузовику. Лукач, не оглядываясь, подошел к «пежо», дернул дверцу и остановился, поджидая меня. Я замахал Алонсо, показывая, что уезжаю, влез за комбригом и, потрясенный происшедшим, опустился рядом с ним на сиденье, поставив приклад между ботинками.

Несколько сот метров мы проехали молча. То, что наш комбриг, всегда такой вежливый и предупредительный, мог ударом в челюсть сбить с ног одного из своих подчиненных, пусть даже вдрызг пьяного, но, как-никак, все же товарища, нарушало самые незыблемые мои представления, переворачивало все во мне вверх дном. Рукоприкладство ассоциировалось у меня исключительно с отрицательными литературными персонажами, вроде унтер-офицера Пришибеева или городничего Сквозник-Дмухановского, и примирить его с образом революционного военачальника я не мог.

Лукач потер между тем ладонью ушибленную наружную

часть правой руки, потянул отдельно каждый палец и вздохнул.

— Пропадает батальон, пропадает ни за понюшку табаку, — огорченно произнес он. — И что делать, не представляю. Где для ваших французов командира взять?

Я продолжал молчать. Если б это позволил себе кто другой, я б кинулся к Лукачу жаловаться, что у нас в бригаде ударили человека, а сейчас к кому кинешься? Из всех, кого я узнал здесь, Лукач был самым справедливым и снисходительным. Бесспорно, что тот тип вел себя больше чем нахально и, не стукни его комбриг, зашел бы, возможно, еще дальше, а все же… Я тоже вздохнул.

Машина, насколько я угадывал, бежала в направлении на Эль-Пардо. Держась за кожаную петлю, Лукач рассеянно смотрел в окно. На мой вздох он повернул голову и пристально посмотрел мне в глаза. От этого, как будто проникшего в мои мысли и прочитавшего в них осуждение, взгляда мне стало неловко. Еще некоторое время протекло в молчании.

Машина выкатила из векового парка на площадь перед королевским дворцом, взяла направо и помчалась по шоссе, ведущему к мосту Сан-Фернандо, но вдруг убавила скорость и свернула в ворота того самого загородного особняка, куда я однажды приезжал к генералу Клеберу. Стоявший на часах Лягутт распахнул чугунные створки, и мы очутились на бетонном дворе, где выстроились замаскированные перевернутыми ковриками и половиками машины Петрова, Фрица и Белова, а под ничего не скрывающими ветками фруктовых деревьев, растущих из оставленных в бетоне лунок, прятались штабные мотоциклы.

Внутри дом хотя и утратил господствовавший при Клебере военно-придворный стиль, но сохранял прежнюю роскошь и поражал непривычным простором. Ставни окон, выходивших на Мансанарес, оставались закрытыми, и во всей той половине горел среди бела дня электрический свет, а в зале радужно сверкала подвесками хрустальная люстра.

Когда был накрыт нескончаемо длинный стол и мы уселись за накрахмаленную, как пластрон, скатерть, уставленную тарелками с коронкой и переплетенными вензелями под ней, а на своем приборе каждый узрел туго свернутую салфетку в серебряном кольце, и когда принаряженные Пакита и Леонора принялись обносить нас, нельзя было не наслаждаться столь разительной, по сравнению со сторожкой у моста Сан-Фернандо, переменой. Да и сами мы выглядели уже иначе. Не говоря о том, что с подъезжавшими как раз к ужину Галло и Реглером нас оказалось ровно десять, — все явились к столу выбритыми, вычищенными, в блестящей обуви. Пример, который постоянно

подавал Лукач, сказывался.

Под стать такой внешности было и содержание дымящихся мельхиоровых посудин. Охваченный гастрономическим энтузиазмом, Петров во всеуслышание выдал комплимент, что оба блюда не посрамили аристократический фарфор, на каковом их подавали. И это не прозвучало преувеличением: давно никто из нас так не едал. Объяснение было просто. Неоднократно наблюдавший скудные наши трапезы Паччарди несколько дней назад предложил отчислить в распоряжение штаба бригады немолодого гарибальдийца, по профессии ресторанного повара, и сегодня на кухне впервые орудовал высокий полный человек с лоснящейся посреди прилизанных черных прядей плешью. Для повара, а тем более итальянца, он был удивительно тих. Бросивший теплое и сытное место в Париже, чтобы вступить в ряды «волонтеров свободы», он не был ловкачом и, конечно, не сумел бы сварить пресловутый солдатский суп из топора, но продукты ему обеспечивал другой итальянец — Беллини, недавно занявший в штабе должность заведующего хозяйством.

Беллини был из тех, кто начал еще на Арагоне в центурии Гастоне Соцци. Пули его пощадили, но он тяжело пострадал в автомобильной катастрофе. От традиционного завхоза он отличался худобой дервиша. Беллини был на редкость некрасив: лицо его казалось выструганным стамеской из мореного дуба, между втянутых щек вздымался над бровями и выдавался далеко вперед узкий нос, казавшийся приклеенным, да притом еще криво. Лишь влажные воловьи глаза скрашивали общее впечатление. В отличие от повара завхоз был неутомимым говоруном и обладал к тому же звучащим на весь штаб, где бы его обладатель ни находился, металлическим тенором. Но безостановочно говоря, Беллини был поразительно расторопен и успевал вовремя сделать все, что требовалось, и даже гораздо больше, чем требовалось. Со всеми четырьмя штабными девушками он отлично поладил, и они беспрекословно ему подчинялись. Белов, по обязанности постоянно находящийся в штабе и раньше других присмотревшийся к Беллини, заявил, что никто из нас и не воображает, какое это редкостное существо. Ему же, Белову, представилась возможность убедиться, что заведующий хозяйством знает наизусть, начиная с первого такта увертюры и до последнего аккорда финала, ровно двенадцать итальянских классических опер и среди них такие, которые за пределами Италии известны лишь узкому кругу специалистов. Что же касается подбора, то в мозговую фонотеку этого меломана входят не только Россини, Верди или Пуччини, но и Чимароза, и Доницетти, и Леонкавалло, а уж всеконечно великий тезка его —

Беллини.

— Истый феномен, говорю вам. Я проверял его. Не всякий дирижер столько в памяти удержит. А он пролетарий, да еще эмигрант, оторванный от родной почвы. Вот это народ, а? Вот у кого музыкальная культура!..

За ужином Галло предупредил, что его от нас забирают. Он будет назначен комиссаром-инспектором всех интербригад. Ведь кроме двух сражающихся под Мадридом, уже формируется еще одна — Тринадцатая и начинает формироваться Четырнадцатая.

— Непонятно только, почему, если создаются новые, надо ослаблять старые? Удивительная все-таки система, — негодующе отреагировал Лукач. — Спасибо еще, что у тебя есть заместитель, и мы с ним сработались.

Но Галло сообщил, что вместо него к нам переводится комиссар Одиннадцатой бригады Марио Николетти, Реглер же, как и раньше, останется его помощником.

— Твой Николетти тебе не замена, — еще более недовольно отозвался Лукач.

Галло, сдержанно улыбаясь (если б он знал, как приятно изменяется при этом его аскетическое лицо, он, наверное, улыбался б почаще), возразил, что Николетти весьма масштабный работник и, несомненно, принесет на новом месте не меньшую пользу, чем принес на старом. Да и он, Галло, всегда будет рядом, в Мадриде, сердце же его, где б он ни находился, навсегда принадлежит родной Двенадцатой бригаде.

— Скажи лучше: не Двенадцатой вообще, но батальону Гарибальди, тогда я поверю. Что ж, и то хлеб.

Проводив Галло, все собрались расходиться на покой, когда Мориц — почему-то шепотом — пригласил Лукача к телефону. Вернулся комбриг темнее тучи. Звонили ему из Мадрида. Приказано сниматься и к утру быть на северо-восточной окраине Каса-де-Кампо. С середины дня отмечается активизация фашистов в Университетском городке.

— Какую-то пожарную команду из нас делают, ей-богу, — заключил Лукач. — Где ни загорится или хотя б дымом запахнет — давай. А все потому, что мы на своих колесах.

— Ни сна, ни отдыха измученной душе, — своим концертным басом напел неунывающий Петров. — Мне, как всегда, вперед выезжать?

— Нет, уж ты сегодня отдохни. У нас же есть теперь начальник оперативного отдела, ему и карты в руки. Геноссе Герасси!

И он стал по-немецки давать указания только что назначенному на этот пост розовощекому, но преждевременно

плешивому испанскому майору.

Прадос уже успел рассказать мне про Херасси (Лукач неверно произносил первую букву его фамилии), что он парижский художник, принявший испанское гражданство всего пять лет назад, после падения монархии, так как он марран, то есть потомок насильственно крещенных испанских евреев, несмотря на обращение в католичество, изгнанных инквизицией из королевства еще в XV столетии. С тех пор предки Херасси проживали в Турции, и будущий республиканский майор родился в Константинополе. Все эти пять веков по меньшей мере пятнадцать поколений рода Херасси, вернувшись, естественно, к вере отцов, блюли тем не менее верность жестокой родине и сохранили в неприкосновенности ее звучную речь.

(Увольняясь по воскресеньям в отпуск из корпуса, я часто встречал на улицах Сараева смуглых горбоносых старух в обвешанных золотыми цехинами шелковых головных уборах, напоминающих кораблики с приподнятыми кормою и носом; по всей вероятности, они и послужили прообразом современных рогатых пилоток. Между собой и с черноокими девами, которых старухи бдительно опекали, они объяснялись на непонятном, необыкновенно музыкальном языке, и наш бессменный первый ученик Виктор Иванов, в свободное время по собственной инициативе усердно изучавший испанский, утверждал, что прекрасно их понимает, а также что присутствие в Сараеве колонии «шпаньолов» не меньше, чем минареты, напоминает о недавнем турецком владычестве над Боснией и Герцеговиной…)

Когда разразился генеральский мятеж, Херасси, достаточно к тому времени признанный в Париже, а следовательно, и достаточно обеспеченный материально, бросил любимую работу и любимую жену с маленьким сыном, чтобы вместе с несколькими другими монпарнасскими испанцами встать в ряды защитников Ируна. После его падения Херасси не задержался во Франции, но в сопровождении жены, польской украинки, надеявшейся принести пользу в роли переводчицы, оставив ребенка на чье-то попечение, выехал в Мадрид. До назначения к нам он успел повоевать и, командуя батальоном, отличиться.

Первое поручение Лукача — изучить до подхода бригады местность, на которой ей придется действовать, завязать отношения с соседями, собрать сведения о противнике, а также выбрать подходящий командный и наблюдательный пункты — все это вновь назначенный начальник оперативного отдела выполнил, по оценке комбрига, «на ять». Впрочем, энергия

Херасси оказалась израсходованной втуне. Первые же два батальона — Андре Марти и Домбровского, едва успев высадиться на опушке Каса-де-Кампо, были «по способу пешего хождения», как определил любивший иронически употреблять архаические обороты Белов, передвинуты к Университетскому городку и уже в восемь, имея в резерве гарибальдийцев и Леонес рохос, контратаковали с задачей выбить врага из Клинического госпиталя.

Бригадный командный пункт был в свою очередь перенесен в пустующий дворец какого-то маркиза (возможно, он был герцогом, но Петров, не утруждавший себя запоминанием титулов и фамилий отсутствующих особ, чьим вынужденным гостеприимством мы пользовались, называл их всех «маркизами Карабасами»), как ни поразительно ничуть не пострадавший ни от фашистской авиации или от артиллерии, ни от последовательных постоев других республиканских штабов. К сожалению, маркизово «паласио» было расположено на слишком почтительном удалении от передней линии, осуществить же замену подысканного Херасси наблюдательного пункта в спешке вообще не удалось, и Лукачу в результате предстояло руководить боем, как на мосту Сан-Фернандо, вслепую.

Неудивительно, что через час-полтора после его начала произошло недоразумение, которое мало было назвать досадным. Телефонист, посланный во франко-бельгийский батальон, на вопрос осведомленного о цели операции Морица, как оно там, с той поганой клиникой, ответил, что она в наших руках. Мориц, в восторге, что первым может сообщить Лукачу счастливую весть, бросился к нему. Как назло, именно в эту минуту позвонил из Мадрида майор Ратнер, и довольный Лукач поспешил порадовать его приятной новостью. Однако через какое-то время Жоффруа доложил Белову, что считает овладение Клиническим госпиталем без эффективной артиллерийской подготовки исключенным. Не поверивший своим ушам Белов минут пять уточнял, правильно ли понял командира батальона, после чего взял за бока Морица, и тогда выяснилось, что телефонист просто-напросто спутал университетскую клинику со столь памятным французам медицинским факультетом, продолжавшим оставаться у республиканцев.

Белов уведомил обо всем Лукача. Комбриг пришел в ярость, потребовал, чтоб ему мигом дали этого типчика Жоффруа, и, хотя не мог не сознавать, что тот абсолютно ни при чем, гневно обрушился на него через меня по телефону. Правда, словесные громы и молнии Лукача гремели лишь над моей головой, а до Жоффруа доходили вроде отблеска далеких зарниц, ибо я, считая

разнос незаслуженным, взял на себя роль амортизатора и не только опустил в переводе те специфические и не поддающиеся переложению на французский выражения, какие принято именовать «непарламентскими», но и позволил себе смягчить и общий смысл адресованных Жоффруа упреков. Впрочем, произносимые в третьем лице («генерал говорит, что…»), они и без того в значительной степени выветривались.

Отдав трубку Морицу, я в наказание за чересчур вольный перевод вынужден был выдержать весьма выразительный взгляд Белова, безмолвно выслушавшего все от слова до слова, но, кроме этого красноречивого взгляда, ничем больше не выразившего своего осуждения. Лукач же прошелся по столовой, заложив по привычке пальцы в передние карманчики брюк, и уже остывая выразил в заключение уверенность, что подобные безобразия неизбежны и впредь, пока батальоном будет командовать этот законченный психопат Жоффруа, а состоять комиссаром при нем такой олух царя небесного, как Жаке. Чувствовалось, однако, что дело сейчас вовсе не в них, а в том, что наш комбриг мучительно стыдится переданного им самим ложного сообщения и что сознаться в этом перед введенными в заблуждение старшими товарищами ему очень нелегко. Собравшись, наконец, с духом, он связался с Ратнером, но, до того как открыл ему неприятную правду, вид у комбрига был такой, что жалко смотреть.

Единственное, чем деликатный Ратнер наказал Лукача за дезинформацию, было предложение самому довести ее до сведения оперативного отдела фронта. Тяжелую эту миссию комбриг переложил на Прадоса.

Непрерывно, как у швейной машины, вертя рукоятку и вместо «алло, алло» настойчиво повторяя магическое «ойга» или еще для разнообразия «эскуче, камарада», Прадос, после нескольких отбоев дозвонился-таки до некоего высокопоставленного теньенте-коронеля. Однако тот мало что отказался дослушать заранее заготовленный в письменном виде Беловым дипломатически-покаянный документ, но и накричал на ни в чем не повинного доцента, причем между ними, если не считать нескольких километров телефонного провода, никакого буфера не было.

Узнав от взмокшего Прадоса, что дежурный по оперативному отделу отказался принять и наши извинения и самое поправку, поскольку вечерняя сводка уже составлена и утверждена генералом Миахой, Лукач поморщился, схватился за виски и закрыл глаза. Просидев в таком положении с минуту, он вынул из круглой коробочки таблетку, положил на язык, запил водой, глубоко вздохнул и, щурясь от головной боли, попросил Реглера

пойти в батальон Андре Марти и находиться там неотлучно до окончания операции, продолжайся она хоть месяц, чтоб по крайней мере было от кого узнать, что там действительно творится.

Во второй половине дня шум боя стал утихать, но Лукач, решивший во что бы то ни стало удержать на этот раз батальон Гарибальди в резерве и опасавшийся, как бы его, помимо командования бригады, опять куда-нибудь «не втравили», направил Кригера к Паччарди со строгим указанием ничего без ведома штаба бригады ни в коем случае не предпринимать. С тою же целью он послал Херасси ко «львам», а Петрова — на фланг, к его старым друзьям по Одиннадцатой — домбровщакам.

Довольно скоро с командного пункта Жоффруа позвонил Реглер. Пока Лукач дотошно расспрашивал его, высокие цветные, под церковные витражи, окна столовой угрожающе загудели. Фриц щелкнул ключом в двери на веранду и вышел, подняв лицо к небу. Я последовал за ним.

Воздух насыщало низкое, как на пасеке, жужжанье, но самолетов видно не было. Открытая веранда не имела выхода наружу, так как прямо под ней простирался заросший деревьями обрыв, настолько глубокий, что их верхушки не доставали до перил. Противоположный склон не был крутым и по нему тянулись пинии, километрах в двух перевернутые их зонтики наглухо закрывали горизонт. Было холодно, однако небосвод сиял ясной, как летом, голубизной. Высоко-высоко в ней появился уступчатый строй серебряных на солнце бомбардировщиков.

— Ого, восемнадцать, — сосчитал Фриц.

Гудя все громче, самолеты опустили носы и начали плавно снижаться вправо. За лесом прогрохотало, и на пути бомбардировщиков возникла кучка распускающихся снежков, а после небольшого промежутка до нас долетели барабанные удары разрывов. Из-за леса снова загрохотало, и перед трехмоторными «юнкерсами» — их можно было уже узнать — еще ближе к ведущим машинам вспыхнули заградительные облачка. Республиканские зенитные орудия перешли на беглый огонь, но бомбардировщики, не нарушая строя, продолжали неумолимо снижаться среди клубящихся вокруг них маленьких тучек, вроде тех, на которых изображают херувимчиков с крылышками.

— Видел? — воскликнул Фриц, обращавшийся ко всем на «ты», когда был в добром расположении духа, и на «вы», если пребывал в дурном. — Видел? — восхищенно повторил он. — Дисциплина-то, а? Что значит кадровые германские авиаторы! Учиться, учиться у них надо. Без дисциплины не развоюешься.

Зенитки стреляли беспрерывно, но фашистские

бомбардировщики, устрашающе рыча и по-прежнему, словно на параде, соблюдая равнение, снижались к своей цели сквозь разрывы, пока не скрылись за лесом. Вскоре дворец, как во время землетрясения, задрожал от донесшейся откуда-то издалека массированной бомбежки.

— Не пойму, что за цель они нашли в том направлении, — возвратившись с веранды, недоумевал Фриц. — Или дорогу на Эскориал бомбят?

Прадос по просьбе Лукача принялся названивать в Мадрид, но никакие «ойга» на сей раз не помогли. Выдохшегося Прадоса сменил у аппарата Мориц, однако срывавшиеся с его губ польские проклятия принесли не больше пользы, и Мориц, отчаявшись, призвал на подмогу Орела. В его пальцах рукояточка полевого телефона запела еще тоньше, но столь же безрезультатно: поочередно то тот, то иной из промежуточных коммутаторов на вызов не отвечал.

В разгар этих бесплодных усилий раскрылась дверь передней, и Фернандо впустил необычайно красивого молодого блондина; я узнал в нем того самого одетого, как денди, английского волонтера, которого с месяц назад видел у Клебера и который показался мне перенесенным в современность Дорианом Греем.

— Омбре![39] Дуран! — пылко вскричал Прадос, бросаясь к англичанину.

Они обнялись, хлопая один другого по спине и что-то приговаривая по-испански. Высвободившись из объятий Прадоса, вошедший подтянуто приветствовал Лукача, откуда-то знавшего его и дружески протянувшего руку. Поздоровался с ним как со старым знакомым и Фриц, после чего Лукач представил гостя Белову. При всей своей белокурости и голубоглазости Дуран оказался не британцем, а самым настоящим испанцем, да притом еще — видным испанским композитором. Сейчас композитор командовал бригадой, занимавшей позиции поблизости от нас, возле какого-то виадука. Дуран пришел к нам пешком, желая узнать, кого так жестоко бомбардировали фашисты где-то за Эль-Пардо. Воочию убедившись, что установить это нам самим не удается, он пообещал непременно заехать на обратном пути из штаба сектора, куда он собирался попозже, и рассказать все, что узнает.

— Вы посмотрите: один — доцент, второй — художник, третий — композитор, — перечислял Лукач, когда Дуран, обворожив всех, даже Морица, и не столько, конечно, наружностью, сколько истинно джентльменской вежливостью, удалился. — Счастлив народ, интеллигенция которого в час решительных испытаний с ним.

Вряд ли Дуран успел дойти до своего командного пункта, когда по телефону, таинственным образом отлично работавшему в обратном направлении, Лукача вызвали в Мадрид.

А уже к вечеру бригаду срочно, почти не таясь, вывели из Университетского городка и Каса-де-Кампо, чтобы окружным путем, через Эль-Пардо, отвезти вновь на Коруньское шоссе, но далее, чем раньше, к западу. По наблюдениям фронтовой разведки (надо предполагать, что сегодняшний налет восемнадцати трехмоторных бомбардировщиков имел отношение к ее выводам), фашисты стали проявлять повышенный интерес к этому, очень плохо защищенному району: именно там, судя по всему, и назревает опасность следующего их наступления.

По решению Лукача большая часть штаба должна была провести ночь в бывшей клеберовской резиденции, где все время оставались Беллини с девушками и молчаливый повар. Вперед, уже в темноте, выехали возглавляемые Морицем телефонисты, я и четыре человека его охраны. Лукач и Белов, отправившиеся к батальонам, должны были присоединиться к нам позже.

После длительного виляния по извивающемуся, как хвост бумажного змея, шоссе, полуторатонка была задержана у въезда в какой-то поселок. Однако остановил машину не местный патруль, а ждавший на обочине и продрогший до того, что в кузове было слышно, как он дрожит, Орел. Он вспрыгнул на подножку, и мы поехали дальше между белеющих во мраке каменных оград, за которыми тянулись сады. На фоне более светлого, чем все вокруг, неба порой вырисовывались черные островерхие крыши редких домов. Из отсутствия сплошных построек нетрудно было сделать вывод, что мы минуем пригородные дачи мадридских богачей.

На выезде из дачного поселка Орел показал вправо, и машина, свернув с шоссе, зашуршала по усыпанной гравием дорожке и скоро уперлась тусклыми фарами в чугунную решетку. Вероятно, видневшаяся за ней вилла была избрана под штаб по признаку обособленности, но при этом явно никто не удосужился заглянуть за калитку. Во всяком случае, когда мы с Морицем, пока остальные разгружались, взошли по ступенькам и проникли в холл, то сразу же сделали два неутешительных открытия. Во-первых, здесь отсутствовал ток. С этим, однако, следовало примириться, поскольку электрического освещения не было, очевидно, нигде вокруг, по крайней мере, по дороге мы не заметили ни единой светящейся между ставнями щели, ни одной озаренной изнутри шторы, и только идеальной светомаскировкой это объясняться не могло. Но тем дело, к сожалению, не ограничивалась. Чиркнув спичкой и подойдя к двустворчатой двери, ведущей во внутренние покои, я обнаружил на ней

амбарный замок, а сверх того и продетый сквозь те же шурупы, на которых он висел, замысловато завязанный шнур, скрепленный сургучной печатью.

Мориц, когда моя спичка погасла, посветил на замок фонариком и осторожно потрогал ногтем, нельзя ли не повредив снять сургуч, но печать держалась прочно, и старик высказал догадку, что «влаштителув» виллы «можливе заарештовали», но произвести обыск (Мориц назвал его «ревизией») не поспели и пока опечатали.

Продолжая зажигать спички, я обошел холл и удостоверился, что дверей в нем, кроме входной, больше нет, как нет и меблировки, за исключением приткнутых к стене стульев с кожаными сиденьями и высокими спинками, да еще за портьерой ниши привратника я нашел деревянный диванчик и тяжелый круглый стол на массивной, как у боровика, ножке.

Завершив разгрузку и отпустив грузовичок, орлы Морица (Белов, очевидно, отправляясь от фамилии Орела, иначе не звал наших телефонистов, внешне больше схожих со стайкой взъерошенных и безостановочно чирикающих воробьев) поставили ящик с коммутатором на круглый стол, забросили под диванчик вещевые мешки, свалили запасные катушки провода в углу, — а с остальными, предшествуемые неутомимым Морицем, ушли тянуть линию, сами, кажется, твердо не зная, куда именно.

Чтобы не разбивать сна, Фернандо пожелал стать на часы первым, и я подыскал для него подходящее местечко сбоку от калитки за стынущими на ветру густыми прутьями не то жасмина, не то сирени.

Гурский, Казимир и Лягутт, усевшись в ряд на диванчике с винтовками между колен, немедленно уснули: оба поляка — затылками к стене, а Лягутт — опустив голову на грудь. Я пристроился на краешке и так, не сидя и не бодрствуя, протянул что-нибудь около часа, когда послышался шум приближающихся машин.

И Лукач и Белов очень удивились, узнав, что вилла опечатана. Заглянув за портьеру и окинув сочувственным взором спящих, перед которыми прямо на крышке телефонного аппарата доплывала пожертвованная Морицем свечка, Лукач посоветовал мне тоже поспать и прибавил, что они с Беловым лишь дождутся связи с батальонами, а там подремлют, сколько останется, в своих машинах.

Мне подумалось, что правильнее будет перевести Фернандо поближе к шоссе, чтобы машины со спящими в них не оставались без присмотра, и я вышел, а когда вернулся, услышал, что Лукач и Белов негромко переговариваются на стульях в глубине холла.

Вжавшись между Лягуттом и боковой ручкой дивана, я пальцами погасил свечу и с наслаждением прикрыл глаза, но почти каждое слово, произносимое в холле, доходило до меня, и так как это было продолжение затянувшегося разговора, я понемногу составил себе представление и о том, что в нем уже не говорилось. Так я узнал, что наши батальоны, в ожидании рассвета и дальнейших указаний, расположились в лесу за ближайшим населенным пунктом (Лукач назвал его «Махадахондой», а Белов — «Махадаондой») рукой подать от нас и километрах в двух или трех от передовой. Белов считал, что теперь можно ни о чем не тревожиться, однако Лукач с ним не соглашался. У него сердце не на месте. Сколько б ему очки ни втирали, а он верхним чутьем чует, что сплошной линии фронта здесь нет, а тогда ночное время в тысячу раз опаснее дня. Главное же, в чем Белов проявлял, по утверждению Лукача, ничем не оправданный оптимизм, это насчет батальона Домбровского. Если поляки до сих пор не прибыли, куда им назначено, объясняется это одним: батальон где-то влип, предположительно, в том же Каса-де-Кампо, еще до посадки на камионы. Белов возразил, что ему представляется и более простое объяснение. Не надо забывать, что во главе батальона стоят люди мужественные и дисциплинированные, но недостаточно подкованные: не сумели они прочитать карту и выгрузились не там, где следовало, вот и вся недолга…

Что сказал на это Лукач, до моего сознания уже не дошло. Проснулся же я от топота. Светя себе фонариками, в ложу привратника вереницей входили телефонисты, в полузабытьи показавшиеся мне возвращающимися в свою пещеру гномами из немецкой сказки. Ни Морица, ни Орела с ними не было, но голос начальника связи, что-то взволнованно излагавшего, заполнял холл.

Я хотел спросить у вошедших, где же Орел, но вздрогнул от резкого звука, напоминавшего треск будильника, у которого отвинтилась крышка. Кто-то из телефонистов, покрутив ответно трубку коммутатора, зашипел в трубку, что да, пришли, но не сошел ли Орел с ума так трезвонить, чуть-чуть генерала не разбудил, досталось бы ему тогда на орехи, и вообще нечего каждые десять минут проверять линию. Мориц приказал, иначе как в самом крайнем случае, его не тревожить. Похихикав после этой отповеди, телефонисты составили в свободном углу пустые катушки и, даже не закурив, повалились веером на пол, головами к бочкообразной ножке стола, погасили последний фонарик и, подобно коммутатору, отключились от всего.

В холле тоже настала тишина, нарушаемая приближающимся

шарканьем. Направляя на пол снопик лучей, вошел Мориц. Я поднялся, зажег огарок и, хотя старик отнекивался, настоял, чтобы он занял мою долю скамейки. Поломавшись для приличия еще немного, Мориц забился в самый уголок, поднял воротник канадки, засунул руки в рукава и заснул, будто усталый ребенок, едва успев закрыть глаза. Я собирался пойти взглянуть, как там Фернандо, но меня заставили остановиться слова Лукача:

— Или тебе, или мне: больше некому. Не старика же гнать. Но если уж выбирать из нас двоих, то — меня. Я там бывал, а ты нет.

Белов начал уговаривать его отложить до рассвета. В темноте легко заблудиться в собственной комнате, не то что в лесу. Но у себя самое худшее лоб разобьешь, а в Ремисе как бы в объятия фашистов не угодить.

— Не могу же я бросить батальон на произвол судьбы. А ехать отсюда в Ла-Плайя и будить Кригера или Герасси, это же не меньше как часа полтора или два потерять. Все равно что по принципу: утро вечера мудренее, как ты советуешь, рассвета ждать. Мало ли чего за два часа произойдет. Впереди же там, если Мориц правильно информирован, анархисты. Нет-нет, ничего не поделаешь, нужно самому отправляться, тем более что у нас не устное распоряжение, а отпечатанный приказ с собственноручной подписью Миахи. — Было слышно, что он встал со стула. — Пока я засупонюсь, разбуди, будь добр, этого большого поляка, что по-русски понимает. Я возьму его с собой от греха.

Белов принялся доказывать, что командир бригады не имеет права подменять связного и бегать, если можно так выразиться, у себя самого на побегушках и что, раз уж решено не откладывать до света, то поедет, конечно, он, Белов.

Непонятно было, почему ни тот, ни другой не вспомнили обо мне. Я задернул за собой портьеру, повернулся в их сторону, поставил винтовку и сдвинул каблуки:

— Разрешите мне, товарищ комбриг.

Наступившая тишина показалась особенно продолжительной во мраке. Прервал ее Белов.

— А и правда. Пошли Алешу.

Вторая пауза была покороче.

— Послать нетрудно, — в голосе Лукача сквозило сомнение. — Но толку что? Он же представления не имеет, где это. И батальона не найдет, и сам потеряется.

— Никто не гарантирован, что то же не могло б случиться и со мной, и даже с тобой.

— Вы давно не спите? Все слышали?

— Никак нет. Только последнее. Что некого послать.

— Право, не знаю, как с вами быть. Вы хоть карту читать умеете?

Почти не кривя душой, я отвечал утвердительно. Разве в последнем классе корпуса ради тех, кто не оставался еще на год в дополнительном, восьмом, для сдачи экзаменов на аттестат зрелости, а, приняв югославское гражданство, переходил в белградскую офицерскую школу, с нами не провели два или три занятия по топографии? Другой вопрос, что от этих уроков осталось.

— Тогда подойдите, — решил Лукач.

Он включил свой цилиндрический фонарь, дал подержать Белову, достал из планшета карту, развернул, нашел необходимый квадрат, аккуратно загнул карту так, чтоб он был сверху, положил на стул и опустился перед ним на одно колено. Белов светил ему через плечо.

— Собственно говоря, мы все там побывали, но вот с этого боку, видите? Вам же нужно попасть сюда. Минут пять назад мы узнали от Морица о местопребывании батальона Домбровского. Спасибо старику, он не успокоился на том, что штаба Шклиняжа на месте, куда указано было подать провод, нету, а догадался послать человека на шоссе проезжих шоферов расспрашивать, и тому невообразимо повезло: попалась машина польского интендантства. Представьте, какой-то испанский подполковник — у них все кадровые офицеры почему-то подполковники — воспользовался, что домбровцы перебрасывались не со всей бригадой, а вдоль фронта, перехватил их, когда они двигались мимо его участка, ссадил с машин и, ссылаясь на указание свыше, оставил в своем резерве. Перед вами задача добраться до них и передать мой приказ: незамедлительно сниматься и шагать, пока темно, по шоссе вот сюда, а начнет развидняться — рядом с ним, перелесками! Поняли?

— Вполне, товарищ комбриг.

— Теперь слушайте еще внимательней и хорошенько запоминайте. Мы с вами вот здесь, в Лас-Росас-де-Мадрид. — Он показал ногтем мизинца. — Название-то, а? «Розы Мадрида». Прямо как духи…

Ногтем он прочертил весь предстоящий мне путь. Сперва Луиджи подвезет меня по магистральному шоссе дотуда, где оно сближается с железной дрогой. По первому же переезду необходимо повернуть направо, к лесу. По нему продвигаться сугубо осторожно, без фар, на самой малой скорости, лучше даже временами выключая газ, чтоб можно было вслушаться и всмотреться. Вообще-то, Ремиса как будто целиком у республиканцев, но чем черт не шутит. Миновав перекресток,

надлежит машину остановить и развернуть, чтоб в случае необходимости она смогла бы сразу дать ходу. От перекрестка идти пешком по правой дорожке до конца леса и дальше лугом, а вернее, лесонасаждениями. Где-то в них, параллельно железнодорожному полотну, и тянутся окопы, в которые засадили поляков. Это вторая линия. Первая расположена приблизительно на километр к югу, у опушки другого леса, в нем уже фашисты.

Заставив меня повторить за ним и самому все показать по карте, Лукач поднялся с колена.

— На свою память вы можете положиться. Карта, что и говорить, еще надежнее, но запасной у нас нет, рабочую же в разведку не берут, а это задание отчасти схоже с разведкой. Забирайте с собой всех имеющихся в вашем распоряжении свободных людей и будите Луиджи. С момента, как оставите машину, смотреть в оба и ушки держать на макушке. Исполните, и поскорее назад. Учитывайте, что до вашего возвращения у меня к тревоге за поляков прибавится беспокойство за моего адъютанта.

Свободных людей в моем распоряжении имелось всего двое. Растолкав Гурского и Казимира, я спросил, согласны ли они пойти на поиски батальона Домбровского. Оба, ничего не отвечая, потянулись так, что захрустели суставы, и начали собираться. Заодно я привел в чувство и Лягутта, которому надлежало сменить Фернандо. Узнав, что мы куда-то уходим, Лягутт стал проситься с нами, но пришлось ему отказать: не мог же в самом деле Фернандо простоять без смены всю ночь.

Пока я втолковывал не поднимающему глаз Луиджи, зачем его будят, Лягутт привел покашливающего Фернандо, и тот, несомненно по его наущению, объявил, что, раз так, придется ему, Фернандо, подежурить еще сколько нужно, пусть только ему выдадут кружку вина и пяток сигарет. Вина у нас не было, но Гурский отвинтил пробку своей фляжки и дал простуженному малышу подкрепиться спитым кофе пополам с коньяком, после же моего напоминания, что, где мы будем, о курении нечего и думать, для Фернандо набрали в складчину с десяток самокруток.

Меня всегда поражала способность Луиджи вести машину при помощи одних закрашенных синим верхних фар, но когда, свернув в лес, он щелкнул выключателем и перед радиатором сделалось так же темно, как и повсюду кругом, а мы тем не менее продолжали катить почти с прежней скоростью, — это уже смахивало на фокус. Благодаря одному тому, что сейчас я сидел рядом, мне частично удалось проникнуть в секрет Луиджи. Заметив, что он все время посматривает вверх, и устремив глаза туда же, я увидел белесоватую полосу неба, тянущуюся подобно

каналу между нависающими с обеих сторон, как крутые черные берега, верхушками деревьев и соответствующую просеке, по которой пролегала наша дорога. По этой указующей полосе Луиджи и правил.

Памятуя полученные наставления, я дважды прикасался к его рукаву, и тогда Луиджи снимал ногу с педали, «пежо», поскрипывая, пробегал по инерции еще немного, резко останавливался, и мы, затаив дыхание, вслушивались в нигде ни единым выстрелом не нарушаемое безмолвие ночи.

За перекрестком, тоже отчетливее различимом в небесах, чем на земле, мы, старались не шуметь, вчетвером вылезли из машины, послали по патрону в ствол, закинули винтовки за плечи, пожелали Луиджи спокойной ночи и гуськом двинулись по правой просеке. Перед уходом я опять напомнил Луиджи, что надо развернуться и время от времени прогревать мотор.

Воздушный туннель, пролегавший над головой и показывавший нам путь, был тускл, будто освещенный ночником, но понемногу глаза привыкали, и пробивающиеся сквозь облака рассеянные лучи позволяли различать уже не только серое покрытие шоссе под ногами, но и канавки по бокам его, когда же представлявшийся дремучим лес вдруг кончился и мы вышли на открытую равнину, показалось, что совсем светло. Во всяком случае матовый плафон облаков давал здесь достаточное освещение, чтобы своевременно разглядеть перед собой ямку или бугорок. Впрочем, мне, идущему впереди, было виднее, чем остальным, но я не оглядываясь знал, что Гурский напряженно соразмеряет шаги, стараясь попадать точно в мои следы. Разговаривать и даже шептаться я запретил и не слышал на ходу ничего, кроме расплывчатого шмяканья разом опускаемых на мягкую почву четырех подошв, ровного дыхания Гурского и шорханья трущихся одна об другую собственных штанин.

Теперь от меня требовалось одно: не сбиться с воображаемой и притом не вполне прямой линии, по которой, параллельно невидимой и к тому ж именно здесь изгибавшейся железной дороге, я вел Гурского, Казимира и Лягутта.

Пройдя с километр между помогавшими ориентироваться рядами лесных насаждении, я решил, что пора, и под прямым углом повернул налево. Важно было подобраться к занятым домбровцами окопам сзади, а не сбоку, чтоб нас не приняли — со всеми вытекающими отсюда последствиями — за вражеский патруль.

Идя не вдоль, а поперек посадок, мы были принуждены на каждом третьем шагу переступать через соприкасающиеся нижними веточками крохотные пинии, и походка наша поневоле

приобрела легкомысленный танцевальный ритм. Так, пританцовывая словно в менуэте, мы шествовали минут двадцать или тридцать, и непроницаемая стена мрака на одном и том же расстоянии, колеблясь и клубясь, отступала перед нами.

Внезапно лесонасаждения кончились, а за черным занавесом мрака смутно забелели, как если бы он был тюлевым, очертания насыпи. Я поднял руку, и Гурский, а за ним и все остановились. Однако из окопа нас, вопреки ожиданию, не окликнули. Над ним витала та же неживая гнетущая тишина, что и позади нас.

Сделав Гурскому знак не шевелиться, я стал пригнувшись подходить к окопу, с замиранием допуская, что из него может хлопнуть выстрел. Но прямая, как межа, узкая траншея молчала. Я махнул Гурскому рукой, и он в три тигриных прыжка очутился рядом со мною. Вдвоем мы безбоязненно приблизились к окопу вплотную и, заглянув вниз, убедились, что он пуст. Мало того, даже в темноте было видно, как он мелок — не глубже чем по грудь, так что и окопом считать его по-настоящему не следовало. Должно быть, здесь начали рыть запасные позиции и за ненадобностью бросили. Меня смущало, что Лукач не упомянул об этой, третьей линии, но ведь он мог и не знать об ее существовании. Перепрыгнув с низкого края недорытого окопа на высокий, мы в том же порядке зашагали дальше.

Теперь мы шли по вспаханному землеройками сухому лугу, и шли долго. Наконец впереди завиднелась новая насыпь, и вскоре стала различима траншея с обращенными к нам ходами. Забыв о предосторожности, я бросился к ней бегом, и каково же было разочарование, когда обнаружилось, что и здесь никого нет. Лишь попадавшиеся под ноги пустые консервные банки, использованные обоймы да слабо мерцавшие кое-где по насыпи стреляные гильзы доказывали, что тут по крайней мере были люди и даже вели отсюда огонь.

Я прошелся вправо и влево по окопу, чуть не провалился в замаскированный хворостом отвод к тылу, но находил лишь жестянки, тряпки, обрывки газет и прочие свидетельства недавнего пребывания какой-то колонны или бригады. Что оставалось делать? Я с разбегу перепрыгнул и через это препятствие и повел свою команду в глубь ночи, чувствуя себя все менее и менее уверенно. Да и как иначе? Если даже не считать незаконченную траншею, то почему поляков не оказалось в этой? Или я с самого начала сбился с пути? Но такое предположение было маловероятным. В худшем случае я мог бы отклониться в сторону, но тогда мы прошли бы мимо позиций, то же, что мы пересекли их, как раз и доказывало правильность направления.

Тем временем местность понемногу изменялась. То там, то

здесь нам стали попадаться мелкие кустики, а затем — и такие большие, что их надо было обходить. Между кустами все чаще росли молоденькие деревья, но не посаженные рядами или в шахматном порядке, а торчащие где попало. Во мраке трудно было различить голые их стволики, и я неоднократно натыкался на верхние прутья лицом. Мы, несомненно, входили в подлесок, на карте, как я помнил, почему-то не показанный. Раньше, однако, чем моя тревога приняла осознанное содержание, непредвиденные заросли сами собой исчезли, и я успокоился, к сожалению не надолго, потому что в глубине отступавшей темноты зачернело нечто вроде горного хребта. Я убеждал себя, что это обман переутомленного зрения, поскольку в этих местах до Боадилья-дель-Монте — да и за ней — никаких гор не предвиделось. И действительно, вскоре определилось, что мы приближаемся не к горе, а к лесной опушке. Правда, и лесу здесь до самого переднего края тоже как будто неоткуда было взяться. Надеясь, что и он, надвигающийся на нас подобно Бирнамскому, сейчас, в свою очередь, окажется галлюцинацией, я одновременно поспешно соображал, какого рожна означает его появление на нашем пути.

Беспокойство заставило меня прибавить шагу, и через несколько десятков метров никаких сомнений не осталось. Ночь уже поворачивала к рассвету, и серое небо заметно светлело, так что, далеко не доходя до леса, я смог различить стволы отдельных деревьев и даже разглядеть темнеющий за ними силуэт здания, до удивительности схожего с домом лесничего, в котором еще вчера помещался наш штаб. Впрочем, заранее было ясно, что тот дом никоим образом не мог перенестись из глубины другого леса на опушку неизвестно какими судьбами выросшего перед нами.

Едва меня посетила эта трезвая мысль, как я увидел и охраняющего спящий дом часового в наброшенном на плечи и выдающем его светлом одеяле. Как и полагается часовому, он неторопливо прохаживался вдоль угадываемого фасада, и когда повернулся к нам, я определил, что это кавалерист: он стоял на часах не с винтовкой, а с карабином поперек спины и с обнаженной саблей, лежавшей клинком на плече и тускло поблескивавшей при поворотах. Должно быть, расслышав, что кто-то идет, часовой остановился лицом в нашу сторону. И тогда я не то что бы увидел, но с содроганием угадал, что никакое на нем не белое одеяло, а широкий, ниспадающий до земли бурнус. Пока это проникало в мое сознание, за домом в довершение всего тревожно и звонко заржала лошадь. От неожиданности у меня перехватило дыхание, а по спине, начиная с шеи, будто муравьи

забегали. Однако я продолжал автоматически маршировать прямо к насторожившемуся марокканцу, в то время как думавший, наверное, что я его не углядел, Гурский одними губами шелестел, словно подсчитывая: «Attention… attention… attention…»

Целый вихрь отчаянных мыслей бился у меня между висками, поспешно подсказывая разные неприемлемые решения: воспользовавшись темнотой, бежать со всех ног, пока не поздно, или скорее ложиться и незаметно отползать поодиночке, но я старательно — насколько это было возможно по дерну, — печатая шаг, подошел к обрамлявшей грозный лес канавке, произнеся в уме: «Ать-два!» — остановился, повернулся кругом (опять под мысленное «ать-два!») и, перехватив ремень винтовки левой рукой, повелительно вытянул правую, указывая Гурскому, куда идти. Умница, он великолепно меня понял, с почти гвардейской выправкой выполнил поворот под прямым углом и затопал вдоль опушки. За ним, как деревянный, то же проделал Казимир. Каким-то чудом и Лягутт, которому все заслоняли саженьи спины поляков, все же умудрился оценить обстановку и хотя не так исправно, но так же послушно зашел правым плечом вперед.

Ощущая вспотевшие лопатки, будто кто травинкой пощекотывал их под рубашкой, я пристроился в затылок Лягутту и пошел в ногу, изо всей силы ударяя подошвами, как заправский сарханто, ведущий сменившийся караул с отдаленных постов.

Медленно проплыла одна страшная минута, вторая… Я почувствовал, как по напряженному позвоночнику потекла холодная струйка. Мы не оглядываясь шагали по опушке, и хотя опасность выстрела в спину еще не миновала, ликующий внутренний голос твердил, что марокканец в белом бурнусе, от которого нас отгораживали все новые и новые древесные стволы, должен был принять нас (и принял!) за свой, франкистский, патруль, на что я, безумно, конечно, рискуя, и понадеялся.

На всякий случай мы еще несколько минут продолжали идти по кочкам почти церемониальным маршем, но когда поравнялись с росшим прямо в канаве старым деревом, я юркнул за него и осторожно, словно белка, выглянул в обе стороны. Нигде никого и ничего. Мы были спасены. Но, испытывая неимоверное облегчение, я неожиданно со стыдом почувствовал, что, когда непосредственная опасность миновала, у меня вдруг в полном смысле слова затряслись поджилки, и догонять своих мне пришлось как в кошмарном сне на кажущихся ватными ногах.

Заняв свое место впереди Гурского, я сразу же увидел, что перед нами замаячила кромка леса, образующего здесь выступ, а значит, он скоро преградит нам дорогу. Я снял винтовку и

достаточно выразительно махнул рукой влево. Подтверждать жест голосом не понадобилось. Все наперегонки понеслись по лугу и бежали, пока не оказались в знакомом перелеске, только более густом, чем там, где недавно его пересекали. Задыхаясь почти как под Серро-де-лос-Анхелесом, мы с Гурским первыми повалились под кусты и жадно хватали ртами холодный воздух. Казимир и Лягутт не отстали. Отдышавшись, Гурский сел, отцепил от пояса неиссякаемую фляжку, отпил, передал ее Лягутту и на курьезном своем французском произнес форменный спич на тему о том, какой я сообразительный парень и как бы нас посекли в капусту, если б мы, заметив, что забрели не туда, растерялись и дали б стрекача, а не шли, будто так и надо, дальше. Затем он лег навзничь и, подсунув ладони под шапку, принялся смотреть в нависшее небо, а заговорил Лягутт. Он тоже похвалил меня, но еще больше — добрый марокканский обычай носить белые накидки, без чего нас ничья сообразительность не спасла б. Казимир, хлебнувший кофейно-коньячной смеси больше других, — мне осталось лишь на донышке — выразил свое одобрение, хлопнув меня по спине, да так, что я поперхнулся. Все эти выраженные и словами и действиями комплименты не вскружили мне голову. Слишком хорошо я помнил, как недалек был от того, чтоб броситься удирать при виде белого бурнуса куда глаза — ничего не видевшие в двадцати метрах — глядят.

Однако пора было сниматься. Отдыхали мы в лучшем случае на ничьей земле. Небо за это время еще посветлело. Но увеличивающаяся видимость, как ни странно, скорее мешала ориентироваться, поскольку не позволяла уже всецело полагаться на умозрительные прямые линии, но соблазняла выбирать тропы побезопасней, пусть даже извилистые, а следовательно, могущие незаметно отклонить от правильного направления. И потому, когда после часа блужданий по чаще я еще до наступления утра вывел своих товарищей прямо на асфальтированную дорогу, по какой мы въехали в Ремису, то сам счел себя достойным похвалы, а осмотревшись и разглядев, что почти растворившаяся в молочном тумане светло-серая машина (которую Луиджи и не подумал развернуть) стоит на краю шоссе всего в каких-нибудь ста шагах от нас, — проникся поистине сатанинской гордыней…

Когда отсыревший внутри «пежо» свернул с шоссе и, разбрызгивая гравий, понесся к опечатанной вилле, я еще издали с жалостью усмотрел нахохлившегося, как воробей в стужу, Фернандо, а чуть поодаль и Лукача, выскакивающего из беловской вороной кареты.

— Напрасно, вышло, я вас посылал, но машина, вижу, цела и сами все, слава Богу, живы-здоровы, — встретил нас комбриг,

пока мы через разные дверцы, сгибаясь, вылезали из низкого «пежо». — Сказал бы: «молодцы», да что-то вы завозились. По моим расчетам, раз уж окопы были пусты, вам давным-давно следовало быть здесь. Я даже беспокоиться начал.

Я изумился. Откуда ему известно, что мы не нашли поляков, и почему он нас тогда хвалит? Но Лукач рассеял мое недоумение. Выяснилось, что командир батальона Домбровского, подчинившись требованию испанского подполковника и заняв окопы неполного профиля, где под обстрелом пришлось бы лазать на четвереньках, внял своему комиссару Матушчаку и послал адъютанта батальона в Ла-Плайя доложить об их положении командованию бригады. За отсутствием Лукача польского товарища приняли Петров и Херасси, получившие возможность через его посредство пообщаться между собой. В качестве начальника оперативного отдела Херасси выехал на место, где, будучи испанцем, учинил превысившему власть подполковнику субординированный скандал, а домбровцам приказал выбираться на Эль-Пардо и сюда. Сейчас они уже за Махадаондой.

Отправив всю охрану, включая и Фернандо, отдыхать, я рассказал о наших похождениях. Когда Лукач узнал, что мы чуть не нарушили сон аванпостов марокканской кавалерии, он в досаде обеими руками ткнул палкой в землю.

— Вот и посылай вас! Да как же вы не догадались, что вторая траншея и была передним краем, А что не занята, так просто анархисты ее покинули. Необходимо сейчас же дать знать об этом, пока враг не разобрался, что фронт открыт. Как бы еще не пожалеть, что мы поляков вывели…

Он оторвал листок записной книжки, поставил ногу на переднее колесо, положил на колено планшет, набросал записочку — и, одной рукой протягивая ее мне, постучал карандашом в стекло к Луиджи.

— Берите опять мою машину и в штаб Одиннадцатой. Он здесь же, в Лас-Росас, но мы на выезде, а они на въезде. Луиджи знает. Отдайте это Гансу или Ренну. У них прямая связь и с Мадридом, с сектором. Пусть сообщат, хотя очень может быть, что анархистская колонна снималась только на ночь, а сейчас возвратилась и уже жарит в воздух. Прислушайтесь-ка. Похоже, это в той стороне.

Не успел я договорить, куда ехать, и захлопнуть за собой дверцу, как издерганный Луиджи уже рванул, и меня боком бросило на сиденье. Но едва я выпростал винтовку и уселся поудобнее, он сбавил газ: приехали.

Во дворике мрачной виллы, сложенной из ноздреватого

камня, захлебывался в кашле боец, с головой укутанный в одеяло. Он стоял не около крыльца, а у решетчатой ограды, отделявшей пустынный дворик от соседней виллы, и обеими руками опирался на дуло винтовки, почему-то без тесака. На мое появление часовой никак не среагировал, и во избежание недоразумений я сам направился к нему, чтобы легализоваться.

Подходя, я увидал, что одно ухо часового перебинтовано и он из-за этого без шапки, потому, верно, и накинул свою попону на голову. Я стал на своем неудобоваримом испанском изъясняться, откуда и зачем прибыл, как вдруг узнал того черненького юношу из центурии Тельмана, с которым познакомился в поезде по дороге из Барселоны в Альбасете. Но то, что я опознал своего тогдашнего собеседника, сделало честь моей зрительной памяти, до такой степени он изменился. И в те времена он далеко не был толстяком, но теперь, судя по обтянутому носу и высовывавшимся из-под одеяла кистям рук, от него остались лишь кожа да кости. На белый с синими прожилками лоб спускались давно не чесанные, свалявшиеся в космы поблекшие волосы, горькие складки обозначались в уголках рта, а зрачки хотя и блестели, смотрели куда-то мимо. Однако еще сильней, чем эта истощенность, его меняла какая-то общая опущенность, написанное на истощенном лице безразличие ко всему.

Он тоже узнал меня, но радости не выразил и даже не улыбнулся. Тем не менее я в искреннем порыве схватил его за руку и не мог не заметить, до чего она горяча. Продолжая сжимать ее, я посоветовал вызвать сменщика, принять антигриппин и лечь, но он сердито мотнул забинтованной головой. Я спросил, тяжело ли он ранен, и узнал, что легко: ему осколком оторвало мочку уха. После этого мне осталось задать банальнейший вопрос, как с той поры, что мы расстались, идут дела.

— Очень плохо, — надорванным тенорком отвечал он. — Очень плохо. Один из всего взвода остался. Лучшие товарищи погибли… — Голос его сорвался, и мне стало страшно, что несчастный расплачется, но его опять сотряс припадок кашля. — Самые лучшие, — сплюнув, повторил он. — Друзья еще по Арагону. — Он высморкался в заменявшую носовой платок тряпочку и, пряча ее, повозился под одеялом. — Скоро никого из нас не останется, — добавил он с тоскливым раздражением. — Но чего другого ты хочешь со всеми этими штабными…

Я оторопело выпустил его руку. Сказанное звучало само по себе более чем дико, но еще сильнее содержания меня потрясло, что вместо общеупотребительного «juifs», означающего «евреи», он позволил себе употребить омерзительное слово «youpins»,

оскорбительное как пощечина. Во Франции его можно было услышать лишь на ультрафашистских сборищах, в печати же им, кажется, пользовался единственно Шарль Маррас, а так как собраний дориотистов я не посещал, а также не читал «Аксьон Франсез», то о существовании этого охотнорядского выражения и во французском языке узнал сравнительно недавно по начертанным на стенах Латинского квартала афоризмам, среди коих, рядом с «Долой агентов Москвы!» или «Блюма на столб», попадались и прямые антисемитские лозунги. Но я-то переехал из Праги в Париж в июле 1930 года, а этот немецкий эмигрант бежал от Гитлера года четыре спустя и все же не только удосужился усвоить столь специфическое речение, но и запросто произносил его. А ведь в Испанию он явился задолго до создания интербригад и, пока все мы раскачивались, уже успел повоевать. Все это плохо умещалось в голове. И я, растерявшись до того, что даже не обрезал так понравившегося мне тогда знакомца, отвернулся от него и поспешил к крыльцу. В конце концов у бедняги повышенная температура, к тому же он пусть и легко, но ранен, и эти его высказывания нельзя воспринимать иначе как бред. В противном случае пришлось бы признать, что вирус коричневой чумы, которого он в свое время таки наглотался, раз родной его брат заделался гитлеровцем, — гораздо заразительнее, чем принято думать. И потом, Одиннадцатой бригадой руководят два кадровых германских офицера. Даже для отпетого национал-социалиста евреи в данном случае были бы ни при чем. Ясно, что у надорвавшегося юноши неблагополучно с психикой…

Успокоив себя этими рассуждениями, я переступил порог чужого штаба. В просторной комнате с несколькими слева и справа закрытыми дверями, будто это не настоящий дом, а декорации к пьесе Гауптмана, стояли под окном прямо против входа две табуретки. На одной помещался открытый ящик с телефонным аппаратом, на другой, положив локти на подоконник, спал телефонист примерно одних лет с Морицем. Больше в комнате не было ни людей, ни вещей — хоть шаром покати.

Вскинув голову на скрип половиц, телефонист по-немецки недовольно вопросил, чего мне надо, а выслушав мой французский ответ и, видимо, не поняв его, негромко позвал:

— Геноссе Адди!

Одна из многочисленных дверей открылась, и вышел молодой, интеллигентного вида немец в канадке и в маленьком, наподобие ермолки, темно-синем беретике. Уже по одному этому парижскому головному убору можно было предположить, что

геноссе Адди должен знать французский. Так оно и было. Уведомившись, что я привез от Лукача записку для передачи Гансу или Людвигу Ренну, Адди чрезвычайно учтиво пояснил, что камарад Ренн все еще болен и находится на излечении в тыловом госпитале, а камарад Ганс всего с час как прилег после бессонной ночи и будить его сейчас было б слишком жестоко. Тогда я сообщил Адди, о чем идет речь в записке, и он сказал, что это меняет дело, и ушел в одну из неисчислимых дверей, но не в ту, из какой вышел.

Немного погодя послышались тяжелые шаги, и появился непомерно высокий, длиннорукий и длинноногий человек с опухшим от сна костлявым продолговатым лицом. Он тоже был в полушубке, натянутом на плечи, тоже в темном берете, но побольше, чем на Адди. Телефонист, при Адди продолжавший дремать, вскочил, ударив ладонями по ляжкам и слегка отставив локти. Я взял под козырек. Ганс молча протянул руку, и я вложил в его длинные, как у пианиста, пальцы записочку Лукача.

Ганс развернул ее и, собрав на лбу кожу, стал читать. К концу чтения большие прозрачные уши его порозовели. Придерживая одной рукой полы полушубка, а другой через плечо передав Адди записку, он коротко распорядился по-немецки, и Адди направился к телефонисту, который уже яростно накручивал аппарат. Меня Ганс отпустил, показав лошадиные зубы и на хорошем французском поручив сказать Лукачу, что все необходимое будет предпринято.

Выйдя во двор, где продолжал исходить кашлем больной и телом и духом тельмановец, я прошел мимо, не обменявшись с ним приветствием: бред бредом, а отношений с этим центурионом мне больше поддерживать не хотелось.

За время, что мы с Луиджи отсутствовали, беловская машина и крытая брезентом полуторатонка куда-то ушли. Ни командира бригады, ни начальника штаба в холле тоже не было. Зато из каморки привратника вырывался хорошо оркестрованный храп. Я прошел туда. Телефонисты уже разошлись, и оглушительный храп был достижением всего четырех, а еще точнее — трех человек, так как Фернандо, лежавший ничком, не храпел. Храпели, собственно, лишь двое: Гурский и Казимир. Но как! Рядом с ними о Лягутте можно было сказать, что он лишь подхрапывает.

Перед сном все четверо сняли обувь, отчего воздух в комнатушке приобрел тот специфический оттенок, в связи с которым у нас в корпусе всегда поминалось знаменитое изречение Бабы Яги: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..» Поводя носом, я уже собрался спасаться в холл, но обнаружил,

что деревянный диванчик никем не занят, а на нем постелено сложенное вдвое одеяло и даже положена принадлежавшая Лукачу подушечка, которую он обыкновенно возил с собой в машине, чтоб, когда предстоял долгий путь, можно было подремать. Сейчас и эта подушечка, и весь диванчик явно предназначались для меня. И я не устоял. Сопротивление обоняния было сломлено. Черт с ним, с русским духом!

Прислонив винтовку к стене, я лег на спину, не снимая, однако, ни подсумков, ни ботинок. «Привезут завтрак — разбудят», — успел я подумать, закрывая разболевшиеся — будто в них мыльная пена попала — глаза.

Его привезли без промедлений. По крайней мере, едва я впал в свинцовый сон, как кто-то принялся беспощадно трясти меня. Но спать мне хотелось в тысячу раз сильнее, чем есть или даже пить, и я никак не мог поднять тяжкие, словно у Вия, веки.

— Ну же, ну, проснитесь! Проснитесь! — издалека проник в мои будто ватой заложенные уши знакомый и притом встревоженный голос.

Полубессознательно узнав баритон Лукача, я сбросил ноги со скамейки и сел, хотя и с закрытыми глазами.

— Вставайте! Вставайте же! — повторял он, подхватив меня под мышки и энергично встряхивая.

Я с трудом разлепил глаза. Казимир, Гурский, Лягутт и Фернандо в одинаковых позах сидели на полу и согнувшись торопливо зашнуровывали ботинки. Лукач, чтоб я не завалился назад, придерживал меня за плечи. Глаза мои начали непроизвольно закрываться, и он потер мне уши.

— Проснулись? Тогда вот что. Перед калиткой ждет полуторка. Все свободные телефонисты и Беллини, который привез еду, уже в ней. Забирайте своих и гоните в Махадаонду. Слышите, что делается?

Тут только до меня дошло, что непрерывный гул, колебавший воздух и стекла привратницкой, это сливающиеся разрывы.

— Улавливаете? По ней бьют. А связь с батальонами с первых же снарядов порвана. Мориц с двумя телефонистами побежал ремонтировать, но когда она еще будет? Боюсь, не ожидаемый ли это прорыв на Махадаонду, иначе б зачем им устраивать такой тарарам? А с другой стороны, наши батальоны перед ней и отходить им больше некуда, кроме как сюда. В общем, ваша задача со всеми, кто имеется, залечь за крайними домами Махадаонды, вместо передовой, что ли, заставы. Машину сейчас же назад отсылайте. И смотрите, не стрелять, пока твердо не удостоверитесь, что на вас не свои идут. Как связь будет восстановлена или иначе положение прояснится, я за вами

пошлю.

Полуторатонка прошипела шипами по дорожке, вползла на шоссе и помчалась по нему, так подскакивая на ухабах и ухая в выбоины, что то лязгали зубы, то под ложечкой сосало, будто при спуске в шахтной клети. Грохот падающих гранат становился все ближе. Из-за невозможности что-либо рассмотреть за покрывавшим кузов брезентом, натянутым туго и без щелей, чтоб нигде не продувало, разрывы представлялись страшнее обычного. В отсутствие Морица я мог бы, конечно, сесть в кабину, но когда, провожаемые Лукачем, мы впятером высыпали из виллы, место рядом с шофером уже занимал Беллини, не выставлять же его было.

Оттого ли, что под брезентом стоял полусумрак, или же от бессонницы, но лица у всех казались бледными, как у покойников. Вдруг машина дернулась вперед и понеслась еще быстрее. Разрывы загремели уже по сторонам, и в их слитном громыхании можно стало отличить мерзкий скрежет разлетающихся осколков. А еще через несколько секунд мы, поверх незавешенного заднего борта увидали огромный черный гейзер, поднявшийся метрах в двадцати от места, через которое мы только что проехали.

Сразу после этого машина до того круто, что все попадали друг на друга, свернула вправо, скатилась куда-то вниз и застопорила в начале сельской улочки. Подгоняемые устрашающим грохотом, мы выпрыгивали и, огибая радиатор, бросались в переулок налево за опередившим всех Беллини. Навстречу нам, подвывая, летели тяжелые гранаты и оглушительно лопались позади.

Переулок вывел нас на окраину Махадаонды, дальше тянулось поделенное на лоскуты поле. Мы рассыпались вдоль ограничивающей его низкой каменной ограды. Снаряды в эту часть селения не попадали, и заметных разрушений здесь не было. Будто в мирное время, на соседнем дворе какая-то женщина кормила кроликов, а ее муж или брат подводил под уздцы к сложенной из плитняка конюшне пару мулов, которые поводили ушами и приседали на все четыре ноги, как легавые собаки, за мулами волочилось концом по земле и путалось под копытами длинное дышло.

Пока я обходил людей, проверяя, как они подготовились к обороне, снаряды фашистов все реже пролетали над нами, а когда я вернулся к дворику с ручными кроликами, обстрел Махадаонды и перекрестка за нею и совсем прекратился. На некоторое время сделалось удивительно тихо, но вскоре из конца в конец селения, словно опомнившись, возмущенно загорланили петухи.

Минут через двадцать на шоссе, с той стороны, откуда мы ждали неприятеля, замаячили три человеческие фигуры. Скоро по фантастической меховой черной феске, собственноручно сшитой из шкуры козленка, я узнал Орела, после чего нетрудно было различить ковыляющего рядом Морица и догадаться, что за ними, с катушкой на горбу, шкандыбает наиболее безотказный из дружков Орела.

Я крикнул, чтоб собирались, и люди потянулись к шоссе по задворкам Махадаонды. Едва все выбрались к нему, как из Лас-Росас-де-Мадрида выкатила полуторатонка. Когда она подъехала, я, к неудовольствию большинства, сначала послал белоголового Варела за Морицем и его «орлами». Подобрав их, он залихватски притормозил возле нас, и бойцы остервенело бросились на грузовичок, будто на абордаж его брали, только подгонял их не страх, а голод.

— Тревога была ложная, и тем лучше, — встретил меня Лукач. — Все же бригаду на неопределенное время задерживают здесь. Кушайте и отдыхайте. До сумерек часового можно не ставить.

Не успели, однако, мы, поторапливаемые собиравшим посуду Беллини, позавтракать, как нарядный мадридский мотоциклист привез второй за день приказ. Белов почти без запинки перевел его Лукачу с испанского. Бригаде, как всегда, неожиданно и, как всегда, в сжатые сроки, предписывалось сменить к западу от Ремисы выводимую на переформирование колонну. Комбриг замысловато, хотя и без пафоса выругался. Отсутствие прежней горячности в негодовании Лукача свидетельствовало, что он начинал привыкать к вдохновенному импровизаторству генерала Миахи и его окружения.

— Как говаривал император Наполеон: л'ордр, контрордр сэ дэзордр, — с вопиющим балканским акцентом флегматично проговорил приехавший незадолго перед тем Петров и, должно быть, для Лукача пояснил: — Приказ, потом контрприказ — получится беспорядок…

Никакого беспорядка, впрочем, не получилось. Морщинистый наш «мотористa» с места в карьер погнал за Тимаром, и тренированная бригада, описав за несколько часов почти полную окружность, ибо по прямой от Лас-Росас-де-Мадрида до Ремисы было два шага, перенеслась в еще не освоенную часть знакомого лесопарка, а батальон Домбровского немедленно вошел в соприкосновение с противником. Бригадный командный пункт на сей раз поместился в богатом двухэтажном доме, мало чем уступавшем дворцу маркиза, который мы недавно занимали.

Несмотря на близость к фронту, и этот дом не был нигде

поврежден снаружи и, что еще больше поражало, сохранил неприкосновенным роскошное внутреннее убранство, начиная с гобеленов и кончая расставленными по полкам комодов и буфетов бронзовыми и фарфоровыми безделушками.

Я выразил Прадосу свое удивление по этому поводу: и он заверил меня, что франкисты сознательно не бомбят и не обстреливают окружающие столицу феодальные имения. Ведь возросшая под их сенью титулованная молодежь сражается в рядах «рехетес», да и сами владельцы обладают достаточными связями, чтобы родовые их гнезда были пощажены порой даже в ущерб военной необходимости. То же, что республиканцы так бережно относятся к имуществу своих врагов, Прадос считал абсолютно нормальным.

— Все это принадлежит народу, да и вообще мы, испанцы, не дикари, — с достоинством заключил он.

За сервированным в двусветном зале второго этажа запоздалым и тем более вкусным обедом Белов доложил Лукачу о местоположении батальонов, прибавив, что Леонес рохос рвутся в бой и обижены пребыванием в резерве. К несчастью, во франко-бельгийском батальоне проявились прямо противоположные настроения. Группа человек в сорок, официально заявившая о своей принадлежности к анархистам, отказывалась ехать на позиции, ссылаясь на крайнее переутомление, и Реглеру понадобилось около получаса, а также все его красноречие, чтобы переубедить их. Показательно, что при этом печальном инциденте Жоффруа вел себя крайне нерешительно, а комиссар Жаке сперва даже поддерживал товарищей-забастовщиков.

Лукач, внимавший начальнику штаба с внешним безразличием, пожелал выслушать как участника событий Реглера, и тот, катая хлебные шарики, довольно долго с кривой усмешкой излагал все по-немецки. Когда он замолчал, Лукач распорядился, чтоб к нему сейчас же пригласили Жоффруа и Жаке.

После обеда меня отозвал Ганев и попросил завтра же отчислить его в одну из польских рот. Все попытки отговорить его ни к чему не привела Он мягко отводил неопровержимые, казалось бы, возражения и продолжал настаивать на своем. Перспектива разлуки с Ганевым чрезвычайно меня огорчила, но еще больше смущала внезапность принятого им решения. Уж не я ли был тому причиной? Ведь последние сутки я в одностороннем порядке подменил его, да еще заставил охранять Ла-Плайя на пару с Юниным.

Я без обиняков спросил Ганева, не в обиде ли он на меня, однако он рассмеялся и ответил, что конечно же нет, а просто в

своем возрасте боится закиснуть и незаметно превратиться в бородатого обозника. Так как до сего дня Ганев ничего похожего не выражал, у меня возникло другое подозрение, что его нежелание оставаться в охране связано со вчерашним назначением на должность коменданта штаба серба Бареша.

Среднего роста круглоголовый увалень, он прибыл вместе с доставившими обед Беллини и Пакитой. Раненный в ногу еще в октябре где-то в Эстремадуре, куда была направлена для зачина партизанского движения первая группа добровольцев из проживавших в СССР политэмигрантов, югославский коммунист Бареш хотя и выписался из госпиталя, но передвигался, прихрамывая и опираясь на палочку. Представившись Лукачу и Белову (у меня создалось при этом впечатление, что с начальником штаба они встречались ранее), вновь назначенный комендант отказался от обеда и тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Начал он вполне логично с ознакомления со списочным составом штаба и с тем, как поставлена его охрана. Побеседовав с бойцами ее, он затем отдельно переговорил с Ганевым. Не отсюда ли все? Было б лучше самому ввести Бареша в курс дела, но я не захотел навязываться, и вот что получилось…

Сейчас не оставалось ничего иного, как попросить Ганева прежде всего не торопиться и отложить окончательный разговор на завтра, чтоб еще разок все хорошенько взвесить и продумать. Вообще же рассмотрение его просьбы отныне, увы, было вне моей компетенции, заниматься ею полагалось коменданту штаба, в ведении которого находится охрана.

Ганев с улыбкой возразил, что он все обстоятельно взвесил и продумал, а ко мне обратился не формально, но из товарищеской, или, лучше сказать, дружеской лояльности, поскольку до сих пор охраной распоряжался я. Что же касается нового коменданта, то с ним вопрос утрясен и он нисколько не противится переходу. Наоборот, Бареш уже предупредил, что собирается завести полноценный взвод охраны, но укомплектовывать его будет лично известными ему людьми, в первую очередь теми, кто выписывается из госпиталей.

Принцип этот был сам по себе настолько справедлив, что я перестал спорить, а принялся уговаривать Ганева, взявшись обеими руками за его пояс, не терять со мной связь после ухода и хоть раз в неделю давать знать о себе. Он пообещал.

Предаваться дальнейшему обмену дружескими чувствами, помешало появление давно не мытого драндулета с Жоффруа и Жаке. Я провел их к Лукачу. Туда же вошел Реглер и затворил за собой дверь.

Сравнительно скоро Жоффруа вышел и, сохраняя

свойственное ему в трезвом состоянии сардоническое выражение, уехал, а проводивший его до порога Реглер подозвал меня и объявил, что ему необходимо быть в Мадриде на совещании у Галло и потому собеседование Лукача с Жаке предстоит переводить мне.

То, что Реглер определил как собеседование, было монологом. Лукач произносил его, я повторял по-французски, а Жаке слушал. Тона Лукач придерживался дружески-доверительного и каждый раз, пока шел перевод, клал для контакта руку на обшлаг рукава батальонного комиссара.

Начал комбриг с того, что посочувствовал Жаке, который должен тяжелее всех переживать сложившуюся во франко-бельгийском батальоне ситуацию. Между тем исправление положения больше чем от кого другого зависит именно от товарища Жаке. Мешает ему только одно: неправильное представление о своих собственных функциях. Товарищу Жаке следовало бы поинтересоваться, во что после долгих исканий выковался институт комиссаров в Красной Армии. Тогда бы товарищ Жаке усвоил, что основная задача политкомиссара любого ранга это обеспечение недостаточно сказать беспрекословного — беспрекословное имеется и у противной стороны, — но сознательного выполнения приказов командования, выполнения не за страх, а за совесть. Для достижения такого послушания комиссар должен уметь найти слова, западающие в сердце бойцов, а когда понадобится, и увлечь их личным примером. Однако одними словами согрет и сыт батальон не будет, и потому комиссар обязан делить с командиром заботы о своевременной доставке горячей пищи, а тем более боеприпасов, внимательно следить за степенью износа одежды и обуви, обеспечивать регулярную смену белья и уж конечно не забывать о раненых и контролировать работу санчасти. Кроме того, через находящихся в его подчинении политруков и политделегатов комиссар осуществляет еще наблюдение за морально-политическим состоянием своего подразделения, наблюдение, само собой разумеется, не назойливое, не превращающееся в соглядатайство. Надо ли подчеркивать, что в интербригадах, где объединены добровольцы различных национальностей и разных партий, а большинство составляют беспартийные антифашисты, комиссару-коммунисту необходимо обладать тактом и паче огня бояться, как бы не проявить сектантских замашек или же пуститься обращать всех в свою веру и тем заслужить упрек в нарушении доверия, в недобросовестном использовании высокого поста ради прозелитизма…

Все эти сами собой разумеющиеся вещи Лукач выговаривал так задушевно, искренне и убежденно, что они казались сию минуту произведенным открытием и заражали меня, заставляя строить французские фразы с особым старанием и даже с увлечением.

Однако, если судить по его позе, на Жаке не оказывали заметного действия ни теплые интонации Лукача, ни мое французское красноречие. Он сидел полусогнувшись, уперев глаза в пол, ничем не выражая своего отношения к тому, что говорилось. По одной этой каменной неподвижности можно было догадаться, что Жаке заранее не согласен со всем, что бы пришлось ему здесь выслушать, будь то и прописные истины.

До Лукача, по-видимому, дошло это пассивное сопротивление. Он прекратил свои увещевания и пожелал узнать, как же в конце концов товарищ Жаке сам оценивает боеспособность франко-бельгийского батальона, чем объясняет, стоит лишь тому оказаться в тылу, недопустимо большое число пьяных и многие другие факты грубейшего нарушения дисциплины, а главное тот дух раздражения и недовольства, который отличает батальон от других, не говоря уж об испанском.

Жаке поднял голову и, обращаясь ко мне, холодно ответил, что, если принять во внимание, до какой степени физического и нервного истощения доведены французские и бельгийские добровольцы, он не видит в их поведении ничего выходящего из нормы. Общее же недовольство обусловлено серией непростительных ошибок командования, начиная с Серро-де-лос-Анхелеса. Поколебленный тогда авторитет штаба бригады нельзя восстановить дисциплинарными мерами. Со своей стороны и штаб, в котором — в скобках — нет ни одного француза, предвзято относится к мельчайшим нарушениям порядка в батальоне. Между ними отсутствует взаимопонимание, хуже того — существует глубокий антагонизм. Необходимо вывести батальон Андре Марти из Двенадцатой бригады и объединить с «Парижской коммуной», назначив командовать ими француза. Иного выхода нет.

Я повторил все, слово в слово, Лукачу. Он вздохнул, потом поинтересовался, сколько, лет Жаке в партии. Тот ответил, что с тридцать четвертого, но не понимает, какое это имеет значение. Ему говорили, что командир бригады с восемнадцатого, но разве этим что-нибудь определяется.

— Враги народа, которых недавно судили в Москве, все насчитывали десятилетия партийного стажа, но разве он уберег их сперва от ошибок, а затем и от ужасных преступлений? А наш Дорио не был, что ли, членом политбюро?..

Я перевел и это, показавшееся мне логичным, замечание.

— Надеюсь, товарищ Жаке не хочет сказать, что долголетнее пребывание в партии превращает честного коммуниста во врага народа? — вставая проговорил Лукач. — Если б оно не имело значения, год вступления в партию не вписывался бы в партбилет. Но это так, примечание… Попросите Жаке хорошенько обмозговать, о чем я перед ним распинался. Лишний раз подчеркните, что между комиссаром батальона в военное время и профсоюзным деятелем на капиталистическом предприятии в мирное — ничего общего…

После того как Жаке уехал на вернувшейся за ним и, судя по внешнему виду, за всю войну не мытой таратайке, за которой вился сизый шлейф бензиновой вони, с передовой пришли командир польского батальона Шклиняж и рябой командир первой роты. Он был уже в годах, но все и среди поляков и у нас фамильярно звали его Янеком. В переговорах Шклиняжа с командованием бригады Янек выполнял функцию толмача, успешно переводя с русского на польский и гораздо хуже — с польского на русский.

Шклиняж и Янек привели с собой батальонного казначея, произведенного, по словам Янека, из жолнеров в финансисты за грамотность. Казначей явился дополучать деньги на сержантов, офицеров и комиссаров, потому что сначала всем нам выплатили поровну, а недели через три после утверждения приказа о присвоении званий из Альбасете прислали запечатанный брезентовый почтовый мешок, в котором взамен писем лежали обклеенные крест-накрест бумажными лентами брикеты спрессованных ассигнаций. Понятно, что Клоди (пусть он и носил свой кольт наготове и уверял, будто научился, как чикагские бандиты, стрелять из кармана) стремился поскорее сбагрить их по назначению.

Я провожал отъезжающего Фрица, когда польский казначей, таща под рукой набитый так, что не застегнуть, портфель, вышел из пристройки, где занимался банковскими операциями Клоди. Должно быть, по совету последнего неопытный инкассатор в другой руке сжимал маленький браунинг. В ожидании Шклиняжа и Янека их «финансист» сел на холодные мраморные ступени и, переложив портфель под правую руку с зажатым в ней обнаженным огнестрельным оружием кабинетного образца, виртуозно закурил одной левой.

Я предложил ему войти обогреться, так как его товарищи, по моим наблюдениям, не должны скоро освободиться, но он отказался и, отбросив окурок, зашагал к передовой в одиночестве и правильно сделал, потому что Шклиняж и Янек, прихлебывая

черный кофе и пригубливая коньячок, еще добрый час пробеседовали с Лукачем, Петровым и Беловым. Ушли они, нескрываемо довольные результатами переговоров, уже около четырех.

Скоро, однако, Янек прибежал обратно.

— Доложь о мне генералу.

Очевидно, в батальоне что-то стряслось. Я повел Янека по широкой лестнице из твердого, как железо, заморского дерева на второй этаж, в столовую, где наши девушки под надзором Беллини уже накрывали к ужину.

Тяжело переводивший дыхание Янек еще с порога закричал, вставляя от волнения польские слова, что их казначей вместе с только что полученными почти пятнадцатью тысячами песет задевался незнаемо куда и, сколько его ни шукали, он як бы скрозь землю провалился, но до окопов не достиг. Только батальонные кухари, замаскированные в лощинке не так далеко от позиций, видели, что мимо них прошел человек с полным портфелем и пиштолей в руке. Им даже подумалось, чи не слишком влево тен с портфелем забирает, но только захотели они про то кликнуть, как фашистовски орудия узялись обстшеливать лес к заду от кухонь, видать, у гадов излишковые снаряды остались. Кухажи попрыгали в щель, потому все ж близко падало, а як повылазили, платника уж и след простыл…

Лукач не прерывал Янека, пока тот сам не остановился, а тогда движением головы пригласил его в свою комнату, пропустил за ним Петрова, Белова и Реглера, вошел сам и бесшумно притворил дверь.

Минут через десять Реглер рывком распахнул ее и на своем сливающемся картавом немецком потребовал, чтобы Мориц связал его с калье Веласкес. Все знали, что в мадридском особняке на улице Веласкеса помещается политкомиссариат интербригад. Значит, происшествие признано серьезным и Реглер будет докладывать о нем Галло. И действительно, заместитель комиссара бригады приподнятым тоном сообщил по-французски комиссару-инспектору о таинственном исчезновении польского кассира, прибавив, что спешенные патрули из эскадрона вот уже около — двух часов прочесывают заросли между командным пунктом бригады и штабом батальона. Пока поиски безуспешны, и бесплодность их натолкнула некоторых товарищей на подозрение, не перебежал ли этот человек к фашистам, прихватив в качестве убедительной рекомендации доверенную ему солидную сумму…

По нервной физиономии Реглера, когда он замолк, крепче прижав к уху трубку, промелькнула гримаса недовольства. По

всей вероятности, Галло делал ему за что-то внушение.

После того как Янек удалился руководить, пока не стемнело, поисками, звонил в Мадрид и Белов. Он в свою очередь, но приглушенным голосом и по-русски известил кого-то о необъяснимом исчезновении кассира с казенными деньгами, а закончив разговор, доложил комбригу, что к нам для расследования немедленно выезжает Стефанович. Лукач отнесся к этому сообщению прохладно:

— Ты будто рад, но что ни говори, а появление контрразведчика с таким заданием, хочешь-не хочешь, набрасывает тень на бригаду…

Пакита и Долорес еще убирали со стола, когда по ковровой дорожке лестницы бесшумно поднялся высокий сутулый офицер. Худобой, бледностью, узкими бескровными губами и особенно неестественным блеском глаз он напоминал немецкого киноактера Конрада Фейта, на котором доброе десятилетие держались многосерийные фильмы ужасов, где он играл сомнамбул, вампиров и садистов вроде Ивана Грозного и Цезаря Борджиа. Войдя в столовую, офицер объявил, что он Стефанович.

Переговорив с нашими начальниками и отдельно, по-немецки, с Реглером, он устроился в углу за ломберным столиком, положил на него папку с бумагами, на папку — самопишущую ручку и попросил вызвать Клоди. После Клоди он пригласил Фернандо, потому что тот стоял на часах, когда приходил польский «платник». Затем наступила и моя очередь. Не знаю, о чем и через кого Стефанович, недостаточно владевший французским, расспрашивал Клоди и Фернандо, но меня, излишне твердо выговаривая по-русски, он засыпал совершенно шерлок-холмсовскими вопросами. Стефановича чрезвычайно интересовало, как держал себя пропавший без вести до получения денег, и не изменилось ли его поведение потом, когда он вышел от Клоди, и много ли он курил, и не тряслись ли у него руки, а самое главное — очень ли он торопился уйти. Ответы мои Стефанович бисерным почерком заносил на бумагу, ставя черточки не только над «т», но и над «п» и над «г», как полагается при писании по-сербски.

Услышав, что это я посоветовал пропавшему не ждать Шклиняжа и Янека, Стефанович перестал строчить и вперил в меня прямо-таки факирский взор. Но тут, к счастью, появился Бареш и сообщил своему земляку, что связной из польского батальона прибыл, и — словно кто выдернул вилку из штепселя — горящие глаза Стефановича вдруг погасли. Открыто потеряв всякий интерес к тому, что я могу еще сказать, он небрежным кивком отпустил меня и принялся укладывать бумаги

в папку.

С передовой он вернулся уже поздним вечером и настойчиво попросил Белова возобновить с наступлением дня тщательнейшие поиски в нашей части леса, поскольку все товарищи исчезнувшего казначея в один голос твердят о его честности и никто не хочет верить, что он перешел к Франко: однако сам он, Стефанович, по роду своей службы не имеет права считать эту гипотезу исключенной и сейчас направляется в госпиталь разыскать и допросить двух раненых, еще по Франции знавших заподозренного в измене.

2

Через двое суток к Лукачу заехал бывавший у нас ранее с Ратнером штатский товарищ, а на самом деле советский майор, которого благодаря роговым очкам, отлично сшитому темно-серому костюму, умело повязанному галстуку и аккуратной прическе я сперва принял за солидного европейского журналиста. По примеру многих других и он носил явно бутафорскую и тоже литературную фамилию, пусть и не классика, но все ж знаменитого на рубеже веков французского экзотического романиста Пьера Лоти.

Майор Лоти при мне рассказал Лукачу и болгарам о перехваченной вчера фашистской радиограмме. В ней сообщалось, что патруль, засевший накануне в засаду на стыке между двумя батальонами красных, захватил направлявшегося в разведку иностранного наемника. Тот оказал сопротивление, и его прикололи, а все, что нашли при нем, представили — вместе с отделенной от туловища головой — своему офицеру. Далее в передаче подчеркивалось, что в карманах убитого марксистского лазутчика было обнаружено немногим менее трех тысяч песет, — вот, мол, какие деньги выплачивают анархо-большевистские узурпаторы каждому из представителей международного уголовного мира, завербованных для удержания Мадрида.

— Как сами догадываетесь, это и есть заблудившийся польский товарищ, которого кто-то у вас уже поспешил объявить перебежчиком. Хотя эти сеньоры фантастически переврали его имя, но узнать все же можно. А тому, что наличности при нем оказалось почти в пять раз меньше, чем было, объяснение напрашивается простое: пока ее, вместе с отрезанной головой, передавали по инстанциям, три четверти денег поприлипало к разным окровавленным лапам. Ну, а насчет документов, подтверждающих, что он бежал с кайенской каторги, так это просто выдумки. Они же врут без зазрения совести даже в сводках. Хотите прослушать отрывок из реляции о взятии Боадильи?

Лоти вынул из бокового кармана пиджака блокнот, полистал:

— Я перевожу: «…В битве нами были взяты три вражеских знамени — одно ФАИ, одно СеНеТе и еще одно с надписью по-русски: «Третья интернациональная бригада»…

— Ну и брешут! Она ж еще и не сформирована, — не выдержал Лукач.

— Положим, сформирована, — поправил Лоти. — Но, во-первых, именуется Тринадцатой, а во-вторых, только что выехала

из Альбасете, но не на Мадрид, а через Валенсию к Теруэлю. Слушайте же дальше: «Количество врагов, оставшихся на поле боя, точно…» Очень уместно здесь последнее слово, оно подразумевает, что можно ведь считать и не точно. Но продолжаю: «…точно сто двадцать пять, но из них лишь один испанский милисиано. Кроме того, солдаты Пятнадцатого полка красных перешли в наши ряды…» Это уж не простая брехня, а феерическая. Им, выходит, до сих пор неизвестно, что в природе нет не только Пятнадцатого полка, но и что вообще за республику сражаются не полки, а бригады. Однако и бригады под таким номером пока не существует. Сейчас в стадии формирования Четырнадцатая…

…На следующий день Петров, как всегда, еще с утра отправившийся на передний край, опоздал к обеду. Поскольку пренебрежительное отношение к еде было не в характере его друга, Белов еще до того, когда стали садиться за стол, проявлял заметное беспокойство. Некоторое время все прождали заместителя командира бригады над пустыми тарелками, затем Лукач демонстративно повернул левую кисть циферблатом к глазам, покосился на пустовавший справа стул и распорядился, чтоб подавали.

В антракте между супом и жарким мне послышалось, что к подъезду подошла машина, но это не мог быть Петров, так как на лестнице раздался бешеный топот, будто по ней взбегало целое отделение. Разговоры прекратились, и все в недоумении повернули головы к входу. Спустя секунду пришлось убедиться, что весь этот шум производил Милош в единственном числе. Грохоча непомерными башмачищами и размахивая висящим на широком ремне неразлучным ручным пулеметом, он взлетел на лестничную площадку. Пилотка его сбилась на ухо, румяная красивая рожа была перекошена. Дышал он как загнанная лошадь.

— Пуковник е ранен! — провопил он, вбегая в столовую.

Мы повскакали с мест.

— Где он? Что с ним? Куда попало? — выделялись в гуле голосов и отодвигаемых стульев взволнованные возгласы, среди которых старческим фальцетом солировал Мориц, бессмысленно повторявший излюбленное немецкое ругательство.

— Опасно ранен? Опасно? — дергая Милоша за рукав, переспрашивал Белов.

Но тот лишь растерянно обегал округлившимися глазами наши встревоженные лица, вряд ли улавливая, чего от него хотят.

— Свяжитесь с Хейльбрунном, — приказал мне сохранивший хладнокровие Лукач, — от него все узнаем.

Прежде чем я передал приказание, Мориц так завертел ручку аппарата, что он взвыл вроде сирены.

В этот момент с лестницы донеслись странные звуки, будто неизвестным образом занесенный сюда расшалившийся ребенок скачет на одной ножке со ступеньки на ступеньку.

Милош насторожился и неожиданно опрометью кинулся вниз. Не успели мы сообразить, в чем дело, как на верхних ступенях лестницы появился Петров. Он был ужасающе сер, лоб усеивали бисеринки пота, сивые кудри склеились на висках, белой, без кровинки, рукой он прижимал к груди фуражку и портупею с кобурой. Передохнув на ровном месте, он стал подвигаться к нам, выкидывая одну ногу в сторону, словно протез, и сразу же переступая на другую, при этом он помогал себе взмахами незанятой руки. Его громадный телохранитель, с выражением неискупимой вины и беспомощного сострадания, на цыпочках следовал за «пуковником».

— Не ожидал, признаться, что Милош панику поднимет, — с резко усилившимся акцентом заговорил Петров, отдуваясь. — Решил я завернуть сюда по дороге в санчасть и послал его попросить Белова спуститься на минутку ко мне. Слышу шум, поднялся. Переполошил мой Милош, соображаю, честной народ. Пришлось самому наверх топать, дабы убедить сомневающихся, что беспокоиться о моем здоровье нечего. Хотя могло и хуже кончиться. Под «гочкис» мы угодили и, нельзя не признать, очень дешево отделались: Милош невредим, а мне мякоть вот здесь прошило…

Но уже Белов и я подхватили его под руки, почти поднесли к подкатываемому Милошем легкому креслу, бережно усадили, подставили второе и насовали под простреленную ногу диванных подушек с вышитыми шелком японскими пагодами и голубыми цаплями.

Жадно проглотив с четверть стакана коньяку, поднесенного Беловым, Петров крепнущим голосом принялся описывать, как его ранили и как Милош, громко плача, на руках отнес его за кусты, без дороги пригнал туда машину и повез, всхлипывая…

Белов опять налил в стакан на два пальца подкрепляющего, но дальнейшим излияниям и возлияниям помешал начальник медицинской службы бригады немецкий коммунист доктор Хейльбрунн. Блуждающий взгляд его цыганских, с поволокой, глаз, рассеянная ангельски невинная улыбка, фуражка блином и обвисшая, всегда измятая, будто он спал в ней, одежда — все это никак не соответствовало его известным каждому выдающимся организаторским способностям и воистину сверхъестественному, затмевающему даже лавры Морица, уменью хоть из-под земли

добыть недостающее.

Забыв по обыкновению поздороваться, Хейльбрунн в сопровождении двух санитаров с носилками приблизился к составленным креслам и жестом отстранил толпящихся. После этого он собственноручно размотал петровскую обмотку, надрезал ножницами и одним движением распорол снизу доверху заскорузлую от засохшей крови штанину, осмотрел выходное отверстие, нашел еле заметное входное, безжалостно помял вокруг пальцами, обмыл рану перекисью водорода, присыпал йодоформом и наложил повязку. Опустив на нее разодранную штанину, Хейльбрунн присел на ручку кресла, по-птичьи наклонил голову набок и пощупал у пациента пульс. Затем он встал и, засунув, подобно Льву Толстому на репинском портрете, обе ладони за слишком свободный пояс, ломающимся басом по-немецки объявил Лукачу и Белову, а для Петрова повторил отдельно по-французски, что кость не задета и недели через три, если не произойдет непредвиденных осложнений, камарад Петров сможет танцевать этот русский танец, когда почти садятся на пол и дрыгают ногами, как лягушки.

Петров выслушал его с превеликим вниманием, ничем не выдавая, что не понимает; в паузах он довольно кстати кивал головой и при каждом кивке приговаривал: «Мерси… мерси… мерси…» При последнем «мерси» санитары бесцеремонно подхватили заместителя командира бригады, переложили на носилки и — впереди Милош, поднявший их с первой же ступеньки на вытянутых руках, а сзади оба санитара — потащили вниз возлежащего на локте и в позе триумфатора на щите и прощально машущего нам Петрова.

— Сколько я с ним знаком, а не перестаю удивляться его железной выдержке, — тоном, в котором сквозила гордость за друга, начал Белов, когда все вернулись к прерванному обеду. — Пусть-ка мне покажут другого, кто б с пробитой пулей ляжкой, не опираясь на палку и не поморщившись притом, взобрался бы на второй этаж, и все лишь бы никто не тревожился.

— Да, крепкая закалка у человека, — согласился Лукач, едва ли не сейчас окончательно преодолевший последние остатки неприязни к Петрову, которая восходила еще к поре, когда тот был инспектором пехоты у Клебера.

Но сегодняшнему обеду, видно, не суждено было протекать гладко. Только все с неостывшим аппетитом приступили к подогретому второму, как далеко за окнами забарабанил мотоцикл. Двухтактная дробь усиливалась, достигла сотрясающего стены рычания, и мотоцикл, к общему облегчению, испустил дух у подъезда. Походкой попугая Бареш поспешил вниз

и привел забрызганного гонца с зашнурованной книгой под мышкой — последним и полезным нововведением мадридских военных канцеляристов.

Курьер уже знал начальника штаба в лицо и, мотнув кулаком к кожаному шлему, протянул Белову чернильный карандаш, а потом раскрыл книгу на одном из заложенных в ней пакетов. Белов расписался, вытер столовый нож о хлебную корку, разрезал обшлепанный печатями конверт и, прочтя приказ, тяжко вздохнул. Под удаляющиеся раскаты мотоцикла мы узнали, что бригаде предстоит этим же вечером смениться и вернуться в Эль-Пардо.

Частое повторение одной и той же внезапности привело к тому, что мы стали воспринимать ее как повседневность, и новость была встречена ледяным молчанием. Его нарушил Лукач, из своего председательского кресла громыхнувший многоэтажной тирадой, подействовавшей вроде команды. Все зашевелилось. Понеслись во все концы мотоциклисты. Заработали телефонные ящики. Потянулись к передовой Херасси, Кригер и Прадос.

Пребывавшие в бригадном резерве батальоны Андре Марти и Леонес рохос, а также эскадрон пришли в движение почти сразу, но Гарибальди и Домбровский, за день неоднократно подвергавшиеся артиллерийскому обстрелу, застревали едва ли не до утра, пока не подойдет сменяющая нас колонна.

Лишь после ужина появились, наконец, ее представители, и, уже за полночь проводив их, Лукач порешил ночевать на месте.

В занимаемой комбригом комнате стояла одна двуспальная кровать с пологом, и мне постелили на полу.

Несмотря на усталость, я, и после того как Лукач задул свечу, долго не смыкал глаз. Сначала мешал холод, а когда толстое шерстяное одеяло понемногу согрело, я по учащенному дыханию Лукача определил, что и он не спит. Причина была мне ясна.

С час назад — мы уже хотели раздеваться — к нам постучал Херасси. Он только что приехал из Эль-Пардо и зашел доложить, что там делается. С Лукачем он говорил по-немецки, но кое-что я уловил.

Херасси сообщил, что эскадрон Леонес рохос и Андре Марти — одни в седлах, другие на колесах — благополучно прибыли в Эль-Пардо и разместились на старых квартирах и что испанский батальон в полном порядке, в эскадроне сравнительно ничего, а вот во франко-бельгийском… — и, для вящего эффекта выдержав небольшую паузу, Херасси произнес незнакомое составное слово, судя по интонации, в высшей степени осуждающее. Дальше он принялся перечислять доказательства, что сильное выражение употреблено им не напрасно. Постепенно

Херасси разгорячился, стал брызгать слюной, и я перестал его понимать, так что из всего до меня дошел один, зато действительно печальный факт: на проведенной по требованию Херасси вечерней поверке в батальоне недосчитались двадцати семи человек и, если я правильно понял, ни командир батальона, ни комиссар и никто иной сами не знали, точны ли давно не пересоставлявшиеся списки и не правильнее было б переписать их в каждой роте по фактической наличности. Кажется, Херасси полагал, что, с одной стороны, и списки устарели, но с другой — и людей в батальоне растеряли.

После того как Херасси пожелал Лукачу спокойной ночи и я запер за ним, наш комбриг перестал скрывать дурное расположение духа, навеянное докладом начальника оперативного отдела. Обычно Лукач любил поговорить перед сном, а сейчас мрачно молчал. Буркнул, правда, что хочет спать, но я-то слышал, как он ворочается с боку на бок. Вдруг он сел в кровати.

— Раз не спите, я скажу вам одну вещь… — И он стал в сердцах жаловаться, до чего ему трудно с этими французами, ужасно трудно, сладу нет. Ведь и Жоффруа и Массар хронические алкоголики, вокруг них все разваливается. С эскадроном еще чуточку легче. Тоже, конечно, не сладко, но там хоть комиссаром — человек, а с батальоном, где комиссар хуже половой тряпки, просто-напросто гроб.

Я высказал недоумение, почему он не заменит Жоффруа и Массара.

— Да некем, некем, поймите вы, — вспылил Лукач, — а то б я десять раз обоих выгнал. И потом, не в одних этих пьяницах суть, мне, признаться, и бойцы не слишком нравятся. Вот уже два месяца я к ним присматриваюсь, и у меня впечатление, что ваши хваленые французы в большинстве какие-то полуанархисты.

Мне многократно доводилось выслушивать упреки в адрес «моих» французов, будто я не то сам француз, не то несу за них в некотором роде ответственность. Такая постановка вопроса меня задевала и за себя и за французов, но пока на эту тему прохаживались Петров и Белов, приходилось терпеть, тем более что они проделывали это больше шутя. Принимать же такое всерьез, и притом от Лукача, было нестерпимо. Поэтому я тоже сел на своем матрасе и почти закричал в темноту, что французы уже полтора века революционнейший народ на свете, что Великая буржуазная революция, которая покончила с абсолютизмом повсюду в Европе, кроме Балкан и России, дело рук французов, что без Парижской коммуны не было б и Октября, что и «Марсельеза» и, наконец, «Интернационал» созданы французами.

А разве самая многочисленная коммунистическая партия капиталистических стран не во Франции? Насчет же франко-бельгийского батальона, так если поставить Жоффруа во главе гарибальдийцев, — и они в два счета разложатся, хотя вообще-то среди итальянских или, например, немецких добровольцев, поскольку и те и другие почти без исключения политэмигранты, случайных людей, естественно, меньше, а люмпена и вовсе нет. Но все равно, будь у франко-бельгийцев подходящий командир, картина получилась бы совсем иная.

— Что ж прикажете делать, когда между нашими французами никого лучше Жоффруа нет? — уже спокойно вымолвил Лукач, откинувшийся, пока я говорил, на подушки.

В ответ я рассказал о Белино и о том, как он сумел организовать нас в Фигерасе и как все признали его своим руководителем, и пусть даже он ранен, но, когда выздоровеет, его бы и назначить командиром батальона. Но, едва я кончил агитировать за Белино, в моем воображении встало бледное, но твердое лицо большеглазого Бернара, мушкетерские его усики, изредка раздвигающая их девичья пленительная улыбка. И неожиданно для самого себя я начал весьма напористо убеждать Лукача, что Белино, по излечении будет превосходным комиссаром, но что в батальоне Андре Марти есть и сейчас лейтенант по фамилии Бернар, которого можно без колебаний выдвинуть на место Жоффруа.

Когда я иссяк, Лукач так долго молчал, что я счел его спящим. Всмотревшись, я убедился, что оно и в самом деле так: комбриг недвижно лежал на боку с закрытыми глазами, подложив ладонь под щеку. Обиженный, я отвернулся от него и уже задремал, когда за моей спиной прозвучал негромкий голос:

— Доброй ночи. А этого вашего Бернара, как встанем, вызовите. Посмотрим, кого вы рекомендуете.

Было еще темно, когда я отправил за Бернаром пересаженного в отсутствие Петрова на мотоцикл Милоша, и еще до кофе мой протеже был доставлен на голом багажнике. Выскочив наружу прежде чем Бернар, удивленно моргавший своими дамскими загнутыми ресницами, слез с багажной решетки, я хотел проводить его наверх, однако Лукач услышал прибытие «харлея» и уже спускался в вестибюль. Скорее всего по вине плохого освещения Бернар показался мне сегодня еще меньше, а голова его — еще несоразмернее с ростом, чем когда я с ним познакомился.

Оттого ли, что комбриг был натощак или же сожалел, что поддался на мои уговоры, он, окинув приезжего критическим взглядом с нижней ступеньки и задержав взгляд на обмотках,

благодаря которым ножки Бернара выглядели еще толще и короче, кивком ответил на его приветствие и, не приглашая сесть, стал задавать отрывистые вопросы. В переводе я по возможности смягчал их.

Бернар стоял перед комбригом составив каблуки, но ослабив одно колено, и отвечал в тон, односложно. В первую очередь Лукача интересовало его звание во французской армии, а также давно ли он в запасе и какая у него штатская профессия. Когда устная анкета дошла до партийности, Бернар произнес четыре буквы, обозначающие полное наименование французской социалистической партии и принадлежность ее к Рабочему (Второму) Интернационалу, присовокупив, что примыкает к крылу Марсо Пивера. Для ясности я перевел «ЭсЭфИО» просто как «социалист», а на Марсо Пивере чуть не поперхнулся в уверенности, что на этом имени моя протекция будет окончательно скомпрометирована. Но Лукач, ничем до сих пор не проявлявший своего отношения ни к одному из ответов Бернара, спокойно воспринял и упоминание об этом одиозном лидере, видимо, не зная его шумных выступлений против московского процесса.

— Теперь спросите, как он расценивает боеспособность батальона в целом?

— Крайне низко.

— Чем он объясняет это?

— Я не хотел бы касаться…

— Пусть не финтит, а отвечает прямо.

— Командование плохое.

— Есть ли у них в батальоне офицер, которому можно было б доверить командование вместо Жоффруа?

— Да. Сержант пулеметной роты Пьер Шварц. Он храбр и бывший русский офицер.

— Не подходит. Нужен француз… Взгляните, однако, Алеша, где ж там Белов или на худой конец Клоди?

У меня мелькнула нелепая мысль, что он решил назначить басовитого Клоди командовать франко-бельгийским батальоном, но раскрылась входная дверь и — легок на помине — тот появился с поднятым, как полагается, воротником и с отпечатанной на «ремингтоне» бумагой между пальцами. Вручив ее Лукачу, Клоди бросил любопытный взгляд на Бернара, подмигнул мне и удалился. Комбриг повернулся к лестнице, на ступеньку выше переставил ногу, положил на нее бумагу и расписался.

— Переведите капитану Бернару, что приказ о его производстве в этот чин и о назначении командиром батальона

Андре Марти, точно так же как и об освобождении с этого поста капитана Жоффруа и переводе его на командование пулеметной ротой, подписан мной и отправлен на подпись комиссару бригады Николетти. Пока же, чтоб не тратить зря времени, вот распоряжение. В нем капитану Жоффруа предписывается немедленно сдать обязанности капитану Бернару. Предупредите, что я даю ему неделю для приведения их архаровцев в христианский вид. Через неделю буду спрашивать по всей строгости.

Слушая меня, Бернар одновременно просмотрел распоряжение и, сложив, спрятал в нагрудный карман.

— Пусть отправляется, — распорядился Лукач.

Я перевел Бернару, что командир бригады просит его отбыть в батальон. Бернар молча приложил кулак к фуражке, в упор, не мигая, посмотрел в глаза Лукачу, повернулся и пошел к выходу. Я побежал распорядиться, чтобы Милош отвез его обратно.

Когда я возвратился, Лукач был в нашей комнате и, уложив последние вещи, запирал чемодан.

— Знаете, — начал он, наматывая цепочку от ключей на палец, — пожалуй, вы не ошиблись в этом Бернаре. Что-то в нем есть. Ведь и ухом не повел, когда услышал, что так вдруг, за здорово живешь, назначен командовать батальоном. А еще хорошо — ломаться не стал. Отдал честь и зашагал, даже не оглянулся. А между тем его назначение вовсе не синекура. Навести порядок в их бедламе — не раз плюнуть, да и не совсем безопасно. А сначала я даже рассердился на вас. Ну, думаю, ничего себе мальчика с пальчик подыскал мой Алеша.

После завтрака все заторопились в Ла-Плайя. Первым уехал Белов и его ближайшие сотрудники, а также Милош, возглавляющий трио мотоциклистов, затем смотали свое имущество телефонисты, загрузив им целый «ЗИС-5», за ними двинулись и мы с Лукачем в сопровождении полуторатонки с Барешем и охраной.

Перед бывшим клеберовским командным пунктом ждал на бордовом «индиане» мотоциклист из батальона Андре Марти, некогда прорвавшийся к нам через мифическое кольцо окружения. Пока открывали ворота, Бареш прихромал к французу, но, поскольку тот не понимал ни по-русски, ни по-сербски, объясниться с ним наш комендант не сумел. Мне собственник «индиана» объявил, что привез письмо командиру бригады, но иначе как в собственные руки не отдаст. Я показал на Лукача, и мотоциклист вручил ему согнутый пополам листок. Лукач разогнул его, заглянул и передал мне.

Записка была от Бернара. Мелким, но четким почерком, с

правильно расставленными знаками препинания и надстрочными ударениями — недаром новый командир батальона в мирной жизни был преподавателем лицея — он докладывал, что, приступая к исполнению своих обязанностей, встретил противодействие капитана Жоффруа, каковой до получения составленного по всей форме приказа не собирается выполнять предварительное распоряжение, ибо подпись под ним не скреплена печатью. Капитана Жоффруа поддерживает, если не подталкивает, комиссар Жаке, который не соглашается с решением штаба бригады на том основании, что преобладающая масса бойцов батальона сочувствует коммунистической идее, а потому назначение командира социалиста противоречит принципам демократии. В заключении Бернар писал, что среди добровольцев идет бурное обсуждение всего этого, брожение в батальоне усиливается, и просил, во избежание непоправимых нарушений дисциплины или даже эксцессов, как можно быстрее прислать с надежным офицером обещанный приказ.

Пока я оглашал письмо Бернара по-русски, мне послышалось, что Лукач скрипнул зубами. Я поднял глаза, но нет: он был абсолютно спокоен, только прищурился.

— Садитесь в мою машину, — приказал он обыкновенным голосом, разве более чем всегда повелительным. — Возьмите двух человек, поезжайте в Эль-Пардо к французам, арестуйте Жоффруа и Жаке и привезите сюда. Ни в какие объяснения ни с ними, и ни с кем другим, даже с Бернаром, не вступать. Действовать решительно, иначе можете попасть в переплет. Луиджи предупредите, чтоб машины не покидал и газ не выключал ни на секунду. Выполняйте.

Он открыл «пежо», вытащил свой чемодан и понес к дому. Я крикнул Луиджи, что едем в Эль-Пардо, подскочил к остановившемуся сзади грузовичку и скомандовал Гурскому с Казимиром, чтоб мигом пересаживались в машину командира бригады. Пока мы подоспели к ней, Луиджи уже отпятился от ворот и на месте крутил баранку вправо. По моему знаку Казимир и Гурский, согнувшись пополам и стараясь не ободрать «пежо» прикладами, уже лезли с двух сторон на заднее сиденье. Я прыгнул к Луиджи, и у меня едва не вырвало из рук дверцу, так он дернул. Стрелка спидометра сразу метнулась к 80, дрожа перешла 90, потом 100 и уперлась в 110. Запели шины, зашуршал воздух. Луиджи, видно, догадывался, что у нас серьезное дело. Сведя бархатные брови к переносице, он напряженно обегал своими маслинами несущийся под машину гудрон и, как всегда, на большой скорости, раскачивал баранку.

Через плечо я по-французски, чтобы дошло до Луиджи,

приказал Казимиру и Гурскому примкнуть тесаки, пояснив, зачем и куда мы едем, а ему самому передал указание Лукача не покидать машину и держать ее наготове. В ответ он кивнул головой и довел скорость до 120 километров.

Не снижая ее и непрерывно сигналя, мы прорезали Эль-Пардо. Перед кирпичной казармой Луиджи взял к левой обочине, колеса истерично взвыли, машину занесло, она накренилась, но каким-то чудом не перевернулась и, угрожающе трубя, свернула в раскрытые ворота. Зазевавшийся часовой еле успел спасти свою жизнь, отпрыгнув к будке. Распугивая находящихся на плацу, как кур, «пежо» описал дугу и, взвизгнув тормозами, остановился у ступенек батальонного штаба.

Я выскочил и, закинув винтовку за спину, взбежал по ним; следом топотали оба поляка. В коридоре были люди, но, видя, что мы торопимся, уступали дорогу. Через раскрытую дверь в конце его я увидел фигурку Бернара, полуокруженного галдящими и жестикулирующими бойцами. В этот момент откуда-то сбоку, должно быть, предупрежденный о прибытии генеральского «пежо», вышел Жоффруа. Судя по походке и насмешливому виду, он был трезв.

— Это всего лишь ты? — с облегчением воскликнул он. — А мне сказали: шеф. Чего ты здесь ищешь?

— Капитан Жоффруа, — отчеканил я и сам удивился, до чего у меня металлический голос. — Вы арестованы. Сдайте личное оружие.

Раньше чем Жоффруа опомнился, я приблизился вплотную, расстегнул на нем кобуру и вытащил пистолет. Гурский с винтовкой в руке просунулся вперед, зашел за спину пожелтевшего Жоффруа и, положив ему на плечо свою лапищу, толкнул к выходу. Жоффруа, упираясь спиной, вяло переставлял ноги. Из находившихся в коридоре ни один не проронил ни слова, но кто-то ринулся в дверь, из которой только что вышел Жоффруа. За ней послышались возбужденные возгласы, и в коридор выбежал Жаке.

— Вы сумасшедшие! — выкрикнул он. — Что вы себе позволяете! Хотите, чтоб вас укокошили?

— Товарищ Жаке, по приказу командира бригады вы арестованы, — повторил я тем же бряцающим голосом, запоздало почувствовав, что слово «камарад» не очень-то вяжется со всеми последующими, и шагнул к Жаке, но меня упредил Казимир. Он рывком оторвал от пояса Жаке кобуру, на которую тот уже положил руку, и подтолкнул его к Жоффруа.

Не теряя времени, Гурский и Казимир повлекли арестованных к выходу, за ними двигался я. Вдогонку заспешило

несколько человек, и я тоже взял винтовку в руки, а выйдя на ступеньки, инстинктивно взвел боек. По плацу со всех сторон сбегались люди и обступали нашу машину, но позади в коридоре раздалось негромкое приказание Бернара, дверь за моей спиной сейчас же захлопнулась, и стало слышно, что ее запирают изнутри на ключ. В это же мгновение Луиджи принялся прогревать мотор, да так, что он взревел вроде танкового. Каким способом он этого достиг, осталось мне неизвестным, но ни до, ни после изящная машина никогда не издавала столь устрашающего рыка. Одновременно Луиджи протянул руку назад и открыл левую дверцу, чего никогда не делал даже для Лукача. Казимир, сообразив, что крепкий Жаке способен на людях оказать сопротивление или хотя бы позвать на помощь, поспешно пропихнул его перед собой в машину, не слишком деликатно усадил и опустился перед ним на одно колено. То же проделал со своим инертным подопечным и Гурский.

Сбежавшиеся, числом до пятидесяти, бойцы, некоторые молча, большинство же наперебой вопя и заглушая друг друга, так что кроме отдельных ругательств ничего было не разобрать, толпились с правого бока, а многие — чтобы не дать нам отъехать — спереди, поэтому мне пришлось лезть в ту же дверцу и навалиться на Гурского, а он, в согнутом положении, тщетно старался закрыть ее за мной. Луиджи между тем ладонью надавил на шляпку клаксона и рванул с места, но не вперед, а назад, где никого не было. Двое или трое из облокотившихся на радиатор, потеряв равновесие, попадали. Откатившись задним ходом и с открытой дверцей метров на сорок, «пежо» снова затрубил и дернулся вперед с такой силой, что дверца захлопнулась сама собой.

С ревом, превосходящим сигнал пожарной машины, мы обогнули справа бегущую наперерез группу в анархистских галстуках и повернули к воротам. На счастье, их не додумались закрыть. Часовой, правда, поднял, чтоб нас остановить, винтовку, но машина просвистела мимо, словно снаряд, и вылетела на улицу, где нас подкарауливала опасность во сто крат более страшная, чем все, что могло грозить во франко-бельгийском батальоне.

Вырвавшись на середину шоссе, мы увидели, что прямо на нас неуклонно, как паровоз по рельсам, мчится груженный снарядными ящиками выше верха кабины трехосный американский грузовик. Я невольно зажмурился. Столкновения, однако, не последовало. Луиджи своих глаз не закрывал и каким-то непостижимым образом увернулся от грозившей всем нам — и агнцам и козлищам — гибели. За встречным надтреснутым

ветровым стеклом мелькнуло искаженное ужасом лицо везущего снаряды шофера, грузовик, уже поравнявшись с нами, запоздало крякнул, и мы как ни в чем не бывало, словно не находились только что на волосок от смерти, быстро пересекли безлюдное Эль-Пардо и направились к фронту.

Я осторожно переступил через Гурского, толкнув Казимира, перебрался через спинку переднего сиденья и со вздохом облегчения опустился на него, но едва стал отходить от избытка сильных ощущений, как Луиджи издали указал сизым подбородком на Лукача, прогуливавшегося в обществе Реглера перед штабом.

Завидев приближение «пежо», Лукач сделал знак палкой, что надо развернуться, и Луиджи, проскочив мимо, как циркулем очертил скатами вписанную в дорогу окружность и остановился артистически точно перед комбригом.

— Выходите, — обратился ко мне Лукач. — И ребятам скажите, пускай выходят. Товарищ Реглер хочет сам доставить этот ценный груз в комиссариат, к Галло. Он окончательно и решит, куда их девать. Мое предложение: откомандировать в распоряжение Марти. Его кадры — пусть он с ними и цацкается.

Перед тем как занять мое место, Реглер стиснул мне пальцами локоть и тихо предупредил по-французски:

— Не воображай, между прочим, что тебе еще когда-нибудь представится привилегия арестовывать комиссаров. Дважды подобная ошибка не повторится.

Лукач молча отблагодарил Гурского и Казимира крепким рукопожатием, а меня обхватил за плечи и повел к дому.

— Ну-те, рассказывайте, что вы там видели и как вам удалось изъять эту парочку. Я, знаете ли, почти уверен был, что вам и в казарму не попасть. Не впустили б, и вся недолга. Как генерала Миаху.

Я по порядку и со всеми деталями описал ход событий, не забыв рассказать о неоценимой помощи, которую оказал при этом Луиджи: одно то, как он вел машину, заранее вселяло в нас уверенность, а на супротивный должно было навести страх Божий.

— Это вы верно говорите. За рулем на него находит иной раз настоящее вдохновение. А мне тут Реглер домашнюю сцену за вас устроил: как я мог поручить арестовать Жаке не политработнику того же ранга, а вам. Командира — это, мол, еще куда ни шло, но комиссара… Честь мундира! Однако все хорошо, что хорошо кончается. Теперь остается надеяться, что Бернар нас с вами не подведет…

Что Бернар не подвел, ветеранам Двенадцатой интербригады и Сорок пятой интердивизии хорошо памятно. Надеюсь, мне еще когда-нибудь удастся подробнее написать о нем, о его скромности, мужестве и доброте. Сейчас достаточно упомянуть, что спустя десять дней франко-бельгийский батальон на равных правах с другими участвовал в разработанном Фрицем новогоднем наступлении неподалеку от Сигуэнцы и выбил франкистов из Альгоры. Бернар был при этом ранен, однако через месяц вернулся в строй и доблестно командовал батальоном Андре Марти при отражении муссолиниевских дивизий от Гвадалахары.

Посоветовав мне выпить чашечку кофе («весьма полезно после острых переживаний»), Лукач удалился к себе.

— Пойду немножко поваляюсь. А вас очень попрошу: не забудьте через полчасика постучать. До обеда мне непременно надо с Беловым кое в чем разобраться, а сейчас у него гости.

Попивая кофе, я старался пропускать мимо ушей гортанный крик, прорывавшийся из комнаты Белова, несмотря на то, что от столовой ее отделяло две двери и коридор. Крик время от времени сменялся настораживающей тишиной, но настораживаться было нечего — кричал командир балканской роты болгарин Христов, часто приходивший к Белову, тишина же наступала, когда говорил Белов, а Христов слушал. Без крика даже в переговорах с начальством он обходиться не умел, да и вообще был личностью неуемной. Он и ходил-то не как все люди, а с каблука, невероятно выбрасывая ноги, будто бегал на гигантских шагах. Вместо общеупотребительного головного убора он носил самодельную круглую папаху, отчасти схожую с той, какую сшил себе Орел, и представлявшую нечто среднее между гайдуцкой шапкой и поповской камилавкой, сходство с которой увеличилось еще и тем, что и она не могла прикрыть давно не стриженные, черные как смоль власы Христова (назвать их волосами было бы нарочитой дегероизацией, тем более непростительной, что красивые турецкие глаза его, сидящие в глубоких, как у неандертальца, орбитах, почти не метафорически сыпали искры, когда Христов впадал в раж, а практически командир балканской роты из него и не выпадал — состояние, близкое к бешенству, было у него хроническим).

К несчастью для окружающих и особенно подчиненных, Христов обожал по любому поводу, а подчас и без него произносить — точнее выкрикивать — не имеющие ни начала ни конца патетические речи. При этом, по моим подозрениям, не только малочисленные в балканской роте греки и румыны или

югославское национальное большинство, но и сами болгары вряд ли понимали буйного оратора, на таком смещении полузабытого за годы эмиграции болгарского с недостаточно усвоенным русским изъяснялся Христов. Во всяком случае, когда мои барабанные перепонки были впервые подвергнуты испытанию хри́стовским красноречием, я не смог уловить в нем ничего, кроме отдельных слов, и решил в простоте душевной, что Христов македонец и говорит по-македонски.

При всех своих чудачествах он пользовался общим уважением и за впечатляющую храбрость — чуть не из каждого боя Христов возвращался весь исцарапанный осколками им же брошенных ручных гранат, — и за то, что, получив пускай и не смертельную, но болезненную рану, кое-как заткнул ее и роту не покинул. Вызывала уважение также поразительно личная и, можно сказать, животрепещущая ненависть к фашизму и фашистам, исходившая от Христова как от пышущей жаром печки.

Стряхивая пепел в пустую чашку, я докуривал с тем наслаждением, какое доставляет сигарета после черного кофе или рюмки хорошего вина, но тихое мое блаженство было прервано стуком башмаков, и через столовую, делая метровые шаги, пронесся Христов. Его аллюр своей стремительностью — если б не средний рост и не отсутствие палки с набалдашником — напрашивался бы на сравнение с изображенным на серовской картине «Петр Первый на Лахте», тем более что Христов похоже задирал голову и носил петровские усики, а кроме того, заменяя отстающую свиту и тоже отставая, за ним поспевал Николай Оларь, во всех отношениях — размашистыми жестами, и переливающейся через край пылкостью, и шумливой храбростью — дублер Христова. Одним Николай решительно отличался от своего принципала: это несравнимо большей связностью речи, а главное, умением объясняться по-русски, по-болгарски, по-румынски и на родном молдавском — раздельно, не путая эти языки.

После Христова и Николая в столовую мягкой, слегка утиной своей походкой вошел Белов. Опершись рукой о стол и опустив голову, он молча переждал, пока за его посетителями последовательно отбухали все двери, вплоть до входной, бочком присел на стул и почесал ладонь.

— Вынужден опечалить тебя, Алексей. Поверь, и я глубоко огорчен. Но мы на войне и должны быть готовы ко всему. Ганев убит.

— Чепуха, — возразил я с развязной уверенностью. — Его с кем-то спутали. Он же ушел в батальон, когда смеркалось, а тут как раз и смена.

— И тем не менее оно так, — не отступал Белов. — Мне сейчас ребята рассказали. Все правильно: и в батальон он заявился на ночь глядя, и боя не было, и все-таки убит. Невезение действительно ужасное. Вообще-то его собирались использовать связным, на первую ночь поставили в охранение. Знаешь, как это делается: прибыл из тыла, значит, выспался. А что он полтора месяца недосыпал, кому какое дело… Перед рассветом Ганев выбрался из индивидуального окопчика и прикорнул в траншее, да как назло по полякам из минометов ударили. Видит он, что не заснуть, и попросился у командира роты, у Янека, назад отползти, за кустарник, там отлежаться. Янек позволил. Через какое-то время начался этот злосчастный обстрел, мы еще недоумевали, что сей сон означает. И надо такое: первым же перелетом накрыло Ганева. С перевязочного пункта видели, как граната упала прямехонько на спящего. Подбежали санитары с носилками к воронке, но не то что раненого — и убитого-то не нашли. Начисто разнесло. Был человек и нет…

…Когда летом 1958 года я гостил в Софии у тогдашнего болгарского министра иностранных дел Карло Луканова (мне стоило немалого труда отвыкнуть называть его Беловым), мы с ним, говоря о прошлом, не забыли и Ганева. Вспоминал о нем в один из своих наездов в Москву и Семен Чебан, настоящее имя, отчество и фамилия которого Семен Яковлевич Побережник и который только в 1957 году, после новых жестоких злоключений, вернулся-таки на жительство в давно освобожденное родное село Клишковцы, славное крестьянскими революционными традициями Хотинского района нынешней Черновицкой области. Ну, а кроме нас троих еще хоть кто-нибудь на свете помнит Ганева? Трудно сказать. «Иных уж нет, а те далече…» Да и погиб-то он, не успев произнести для потомства какой-нибудь запоминающейся фразы, которую можно было б рассказать журналистам, и не оставив после себя ничего вещественного, никакого наследства, ни синь-пороха, как говорится, исчез без следа, и даже торжественно-горестные слова хемингуэевского реквиема о наших мертвых, спящих в земле Испании, к Ганеву не применимы или применимы лишь весьма фигурально. Интересно, однако, что если из ориентировочно трехсот добровольцев, отправившихся в Испанию через партийную организацию Союза возвращения на родину, свыше ста было убито, то всего трое удостоились чести увековечения на изданной тридцать лет назад во Франции с благотворительной целью мемориальной открытке. И один из них — Ганев.

Вот она лежит передо мною, сама имеющая историю. Уже во

второй половине 1937 года, будучи командирован во Францию моим новым начальником Фабером-Ксанти, я приобрел ее в Париже на каком-то вечере в поддержку Испании. Когда в январе 1940 года, почти ровно через двадцать лет после того, как отчим вывез меня за границу, я возвратился в СССР, в моем чемодане вместе с бесчисленными фронтовыми фотографиями и другими испанскими сувенирами находилась и эта открытка. Спустя три месяца она была наряду с прочим взята у меня при аресте. Вторично вернувшись в Москву, на сей раз через шестнадцать с половиной лет, я обратился куда следовало с наивной просьбой разыскать и возвратить мне персональный испанский архив, но получил авторитетное разъяснение, что в годы культа личности все изъятые у арестованных рукописные, печатные и фотографические материалы, как личного так и общего характера, после окончания следствия в непременном порядке уничтожались. Достаточно подготовленный к этому всем предыдущим, я, памятуя мудрую народную поговорку, что снявши голову по волосам не плачут, слишком не сокрушался. Да и какое моральное право имел я бить себя в грудь, если при подобных же обстоятельствах навсегда пропала третья часть кольцовского «Испанского дневника»?

Тем бурнее была моя радость, когда при оформлении моем в запас в звании капитана я вдруг услышал от обстоятельнейшего полковника Шустова из отдела кадров Управления, за каковым я числился в момент ареста, что в моем деле сохранилось несколько фотографий, относящихся к испанской войне, что, поскольку для Управления они интереса не представляют, мне, буде я пожелаю, их могут отдать. Так в моем владении вновь очутились тринадцать драгоценнейших для меня реликвий.

Какими неисповедимыми путями они перепорхнули с Малой Лубянки на Гоголевский бульвар из следственного дела НКВД в личное, сохранявшееся в Наркомате обороны, и почему их там оказалось тринадцать, и не все сорок или пятьдесят, я объяснить не берусь, — это производственная тайна бериевских органов безопасности. Ничуть не легче объяснить и то, каким образом четырнадцатой при тринадцати фотографиях оказалась упомянутая открытка, в особенности если принять во внимание, что на ней изображено.

Чтобы исключить ее использование в качестве почтовой карточки и не подвергаться налоговому обложению, на оборотной стороне была поставлена эллипсовидная печать с французским текстом по овалу: «Международный комитет помощи испанскому народу», а в середине — до чего, однако, Вася Ковалев отошел от прежней конспиративности! — «Русская секция». На лицевой

же — в круге, занимающем большую часть открытки, прескверный одноцветный отпечаток с откровенно ремесленной акварели: одномоторные бомбардировщики несуществующего типа долбят неизвестно чьи проволочные заграждения, на которые сверх того надвигается и бутафорский танк. Слева на эти условные ужасы войны наложен отрезок кинопленки с тремя кадрами. В каждом — портрет. Над и под клише помещена надпись по-французски и по-русски, исполненная по последнему слову типографского шика того времени, то есть без знаков препинания и заглавных букв: «русские эмигранты погибшие в борьбе с фашизмом в Испании», а в самом низу и тоже на двух языках: «цена 1 франк». Верхний из трех портретов отпечатан явно с фотокарточки, содранной с какого-нибудь удостоверения, скорее всего когда будущий герой Арагона еще был регентом хора, почему и сфотографирован в белой вышитой косоворотке: но даже подпись «Glinoetzky» не позволяет согласиться, что этот изможденный старик, с непокрытой белой головой и провалившимися щеками, — он. Под Глиноедским — Ганев в шинели и берете. Он получился великолепно, и французское начертание его фамилии могло бы понадобиться лишь тем, кто с ним не встречался. В третьем кадре всегда веселый острослов Федя Лидле, он в таких же, как на Ганеве, шинели и берете, в зубах его гнутая трубка. Лидле был убит авиабомбой значительно позже, летом 1937 года, под Брунете, на должности комиссара роты автотранспортного полка в армии Модесто, а командовал ротой его закадычный друг Николай Николаевич Роллер. В общем, Ганев посмертно попал в достойное общество. Глиноедский был одним из организаторов Арагонского фронта, стал начальником его артиллерии, и хоронила «коронеля Хименеса Орхе» вся Барселона; благодаря Кольцову и Эренбургу доброе имя Владимира Константиновича Глиноедского вернулось на родину. Лидле у нас никому не известен, но он был очень популярен в Париже как один из создателей и руководителей русской группы унитарного профсоюза шоферов такси. Пав в Испании, Лидле оставил вдову и маленькую дочку.

Я всматриваюсь в фотографию помещенного между ними Ганева и поражаюсь, до чего он был молод. А тогда он казался мне пожилым. И как иначе: когда мы познакомились в куле грязного вагона III класса, везшего нас из Парижа в Перпиньян, мне только что исполнился тридцать один год, а Ганеву было за сорок, — чем не старец.

Продолжаю с печалью вглядываться в его открытое смелое лицо.

Вечная память!

Древний возглас, пением которого завершается панихида, сам срывается с моих губ, хотя я отлично знаю, что он имеет в виду отнюдь не человеческую утлую память. «Увы, утешится жена, И друга лучший друг забудет…» Недавно появились новые звучные и обнадеживающие слова: никто не забыт и ничто не забыто. Они скромнее «вечной памяти» и мудро не предопределяют сроков действия. Было б, пожалуй, еще лучше, если б они оставались благим пожеланием: никто не должен остаться забытым… Ничем другим, как горячим желанием продлить насколько это в моих возможностях память о человеке, умершем на чужой земле за правду и справедливость, вызвано все, что рассказано здесь о Ганеве. Именно этим свидетельским долгом оставшегося жить перед павшими в Испании друзьями и товарищами из интербригад и перед поистине великим испанским народом, первым вступившим в бой с фашизмом за свою и нашу свободу, продиктована и вся эта книга.

Хотя на следующий день бригаду никуда не дергали, это не значило, что он обошелся без треволнений. Начать с того, что еще перед завтраком величественный дом на берегу Мансанареса затрясся мелкой дрожью, даже подвески люстры зазвенели в гостиной. Бомбили где-то в отдалении, но весьма впечатляюще, в чем мы смогли убедиться, высыпав на шоссе и с уважением рассматривая затмившую на северо-востоке полнеба и продолжавшую распухать вулканическую тучу.

— Похоже, опять за Махадаондой, — вздохнул Белов.

Во дворе ко мне подошел Луиджи и попросил узнать у генерала, нужна ли ему в ближайшие полтора или два часа машина, если нет, Луиджи хотел бы немного покопаться в моторе: вчера в нем начинало слегка позвякивать. Лукач ответил, что собирается выезжать ровно в двенадцать, другими словами, для проверки клапанов в запасе не два, а почти четыре часа, и Луиджи обрадованно поспешил к «пежо», стоявшему в гараже с уже поднятым капотом.

После завтрака, зная, что мы никуда не едем, я написал в Париж, но конец письма пришлось скомкать, так как Белов объявил, что в отсутствие Херасси и Прадоса, отправившихся в оперативный отдел фронта за картами, мне необходимо немедленно съездить в Эль-Пардо и передать командирам батальонов, эскадрона и батареи утвержденный комбригом распорядок на время проблематического отдыха.

В тот момент, когда норовистый мотоцикл Алонсо, совершив неизменную попытку стряхнуть меня при переезде через сточную канавку между гаражом и воротами, выруливал влево на середину шоссе, справа возник стремительный серый болид, в

котором я с покорной безнадежностью угадал наш «пежо», после возни с мотором испытываемый Луиджи на взлетной скорости. До боли скривив шею, я успел различить за стеклом гримасу испуга на лице Луиджи, а падая — Алонсо, чтобы ослабить удар, сообразил положить мотоцикл — продолжал смотреть, как под душераздирающий визг тормозов «пежо», уподобившись брыкающемуся мустангу, вскинул багажник, с лязгом перевернулся через передние колеса на крышу, ударился о гудрон задними шинами, пружинно подлетел опять, перекувырнулся вторично и, громыхая, завалился в кювет. Выпростав ногу из-под мотоцикла, я, прихрамывая, бросился вслед за Алонсо к Луиджи, спасшему нас, рискуя собой; из ворот выбегали на подмогу шоферы и мотористы.

«Пежо» лежал в канаве на правом боку. Дверца со стороны водителя была полусорвана, наверное, ее открыл сам Луиджи, но выпрыгнуть не успел и теперь неподвижно скорчился за нею подошвами кверху. Несчастного извлекли и потащили через дорогу: руки и ноги его болтались, как у мертвого.

Когда мы с Алонсо вернулись в Ла-Плайя, «пежо» уже не было в кювете. Бареш еще на пороге рассказал, что Луиджи, которого мы оставили без признаков жизни, спустя минут сорок — раньше чем прибыл вызванный к нему Хейльбрунн — вдруг открыл глаза и вскочил как встрепанный, порываясь к разбитой машине. Хейльбрунн, однако, удостоверившись, что на пострадавшем нигде ни царапины, все же на сутки уложил его в постель, но это так, для блезиру, а вот с машиной похуже: она оказалась менее выносливой, за ней пригнали автокран и на дыбках уволокли в Кольменар-Вьехо, недели на две командир бригады как без ног остался.

Но обходительный Тимар уже на другое утро утешил донельзя огорченного Лукача, приведя ему из Мадрида взамен «пежо» последнюю новинку автомобильного рынка — весь будто вороненый восьмицилиндровый «форд», еще не обкатанный. Последнее обстоятельство вызвало неудовольствие Луиджи, который, едва Тимар вышел из «форда», уже, презрев советы медицины, с хозяйским видом инспектировал его. По убеждению Луиджи, обкатку Тимар обязан был взять на себя, а так на первое время это не авто, а скорее погребальные дроги.

Словно чтоб оправдать эту терминологию, первый рейс на новой машине Лукач совершил к месту еще одной аварии, со смертельным на сей раз исходом. Лишь накануне приданный нам для связи с мадридским штабом мотоциклист — молодой сарxенто карабинеров, и фигурой и лицом похожий на луврскую статую Гермеса, только переодетого в серовато-зеленую форму и

в карабинерское фуражке вместо крылатой шапочки, — пролетая по Коруньскому шоссе на своем огнедышащем «харлее», потерял вдруг над ним контроль и со всего маху врезался лбом в телеграфный столб. Перед тем как убрать обезглавленное тело и останки мотоцикла, Бареш пригласил на место катастрофы Лукача. Вернулся комбриг чернее ночи и сердито потребовал от Белова, чтоб, если мы не хотим терять в тылу больше, чем в боях, в сверхсрочном порядке проверить, умеют ли в конце концов ездить те, кому доверена баранка автомобиля или руль мотоцикла. То же комбриг повторил по-немецки Реглеру и, насвистывая бравурную мелодию, что обыкновенно служило признаком охватившей его меланхолии, удалился к себе.

— Раз человек передвигается по земной поверхности со скоростью в сто и больше километров, удивляться, собственно, надо не тому, что он разбился, а тому, что жив остался, — философски заметил Белов. — И единственное, что для избежания несчастных случаев необходимо, — это запрещение превышать разумный предел в восемьдесят, а еще лучше в шестьдесят километров. Но предварительно проанализировать, подготовленные ли у нас на транспорте люди, тоже, разумеется, небесполезно.

Он послал к Клоди за соответствующими списками и вместе с Реглером и Барешем принялся их рассматривать. В общем, все обстояло благополучно: среди водителей штаба не нашлось ни одного, не обладавшего шоферскими правами, некоторые же не имевшие свидетельства мотоциклисты предъявили справки об окончании краткосрочных курсов при пятом полке. Но въедливый Бареш при этом обнаружил, что жизнь командира бригады попала в явно ненадежные руки. Графа партийной принадлежности гласила, что Луиджи, который считался швейцарским комсомольцем, в действительности состоял в каком-то сомнительном «Клубе молодых радикалов».

Луиджи немедленно притянули к ответу. Он покраснел, но не отрицал своей причастности к инкриминируемой организации. Его отослали и стали выяснять, каким путем этот классово чуждый юноша пролез в шоферы к Лукачу. Народный фронт, конечно, Народным фронтом, но все-таки… По бумагам ничего установить не смогли, и Реглер позвонил Галло, не помнит ли тот случайно, кто рекомендовал его не слишком благонадежного тезку. Оказалось, Галло превосходно помнит, так как это сделал он сам, и притом вовсе не случайно, а потому, что шофера, подобного Луиджи, не сыскать; ведь он, несмотря на свои неполные девятнадцать лет, работал на испытаниях гоночных моделей фирмы «Фиат». Насчет же принадлежности к откровенно

буржуазной, по мнению Реглера, чуть ли не масонской организации, то название ее не совсем прямо определяет политическое кредо участников. В кантоне, откуда Луиджи, запрещены и коммунистическая партия и коммунистический союз молодежи, вот товарищам и приходится прибегать к камуфляжу и под вывеской «Клуб молодых радикалов» скрывать не что иное, как местную комсомольскую организацию. Под конец объяснений Реглера с Галло появился Лукач, которому все, что касалось Луиджи, было с самого начала известно, и недоразумение разрешилось общим смехом.

Мы провели этот день в Ла-Плайя, а вечером снова перебазировались в Фуэнкарраль, где взамен отвергнутого Беловым «равелина» Бареш подыскал на той же, противоположной Мадриду окраине обсаженную фруктовыми деревьями двухэтажную кокетливую виллу с кухней во дворе. В ней было заметно тесней, чем в бывшей клеберовской резиденции, но уютнее, а также теплее, и наладившаяся за последнее время штабная работа потекла здесь как по маслу.

Благодаря четкому разграничению обязанностей и прав, все пусть и с напряжением, но успевали за день справиться с текущими делами и по ночам могли спать спокойно, тем более что общий сон теперь охранялся не только часовыми снаружи, но и дежурным офицером внутри. И пусть тому из нас, кто прободрствовал у телефона до рассвета, надо было с утра отправлять свою должность наравне со всеми, но эти всенощные бдения, на которые поочередно назначались Херасси, Кригер, Прадос, Мориц, Бареш, Клоди и я, выпадали на нашу долю всего раз в неделю и переносились легко.

Если и на фронте Лукач добивался, чтобы все садились за стол одновременно, тем строже соблюдалось это правило в тылу. Утренний завтрак подавался в семь, а за минуту до того каждый обязан был находиться перед своим прибором в ожидании выхода комбрига. В семь тридцать Беллини давал девушкам знак убирать посуду, непринужденная беседа обрывалась и офицерская столовая превращалась до обеда в кабинет начальника штаба, где он ежедневно принимал адъютантов батальонов, командиров эскадрона и батареи, начальников интендантской и медицинской служб, заведующего автохозяйством, бригадного оружейника, а в заключение — Клоди, с которым подбивал числовые итоги и подготавливал для печатания на машинке необходимые распоряжения.

С недавних пор мадридский комиссариат стал бесперебойно доставлять нам испанские газеты всех партий Народного фронта вплоть до анархистской и поумовской, а также сравнительно

свежие — двухдневной или трехдневной давности — французские: леворадикальную «Эвр», социалистическую «Попюлер» и, понятно, «Юманите», так что мы имели представление о совершающемся в мире и о том, как он реагирует на испанские события. А иногда Лукач привозил из Мадрида пачку зачитанных номеров «Правды», и мы старались угадать будущее между строками корреспонденции и статей находившегося здесь же, рядом, всезнающего и всепонимающего Михаила Кольцова.

Достаточно регулярно начала поступать из Альбасете и почта. Не писали и не получали писем лишь те из нас, кто приехал в Испанию из СССР. Белов объяснил мне, почему. Из конспиративных соображений для советских граждан, как военнослужащих, так и коминтерновских, было решено организовать переписку через дипкурьеров. Однако почему-то доставка и отправка корреспонденции этим путем до сей поры не была налажена, и мне случалось улавливать грустящий взгляд Белова, бросаемый им на еще не распечатанный сиреневый, с французской маркой, конвертик в моих пальцах.

Но больше всего Белов завидовал нашему комбригу, хотя к этой зависти и примешивался оттенок осуждения, так как Лукач позволил себе презреть в отношении переписки полученные строжайшие инструкции. Оставив в Москве русскую жену и дочь, только что перешедшую в десятый класс, он скрытно тосковал по ним, вероятно, не меньше Белова, но, вылепленный из другого теста, как-то еще в ноябре, в доме фуэнкарральского священника, то улыбаясь, то вздыхая, написал длинное письмо, заклеил и, старательно перенеся на конверт из своей записной книжки адрес, попросил меня проверить, правильно ли он скопирован. Адрес оказался, к моему удивлению, парижским. Я нашел все в порядке, но полюбопытствовал, откуда у проезжего из Москвы завелась знакомая француженка в Париже?

— Открыть вам правду, никакая она не знакомая, а просто дежурная за конторкой гостиницы, боюсь, встреть я ее сегодня, и не узнал бы. Но она согласилась послужить каналом для связи с моими. Пока обещанная спецпочта закурсирует, неизвестно, сколько воды утечет. Я-то знаю, как эти пакеты второстепенного назначения собираются и отправляются. Сам дипкурьером был. Поэтому, предвидя вероятность всяческих заминок, я и договорился с этой доброй тетей — она по счастью чуточку по-немецки понимала, — что буду посылать письма ей, а она переложит в другой конверт: я их несколько штук надписал и марки приклеил. А чтоб по дороге никто не прочитал, я пишу по-венгерски. Ни жена, ни дочь венгерского языка не знают, но у них

там переводчик под рукой — мой племянник…

Скептицизм Лукача в отношении сроков переправки писем от советских добровольцев в Испании их родным и ответных оправдался. И он, и Белов, и Петров впервые законным путем получили весточки из дому лишь к концу января. Фриц же за все проведенное с нами время, то есть до марта, не получал ничего, и ему оставалось довольствоваться просьбами к жене дальновидного Лукача, переданными через два или три контрабандных послания, чтобы та позвонила и передала привет.

Вообще же у меня создалось впечатление, что в Коминтерне к организации регулярной переписки между сражавшимися в Испании и их семьями относились серьезнее, чем в Наркомате обороны. Доказательством может послужить хотя бы следующий красноречивый факт. Уже в начале 1938 года, незадолго до своего отъезда на родину, саперный лейтенант, с которым, к исходу декабря 1937-го, мы совместно проводили некую операцию к западу от Теруэля и о котором я только и помню, что его звали Иваном и что он был командирован в Испанию из Белорусского военного округа, показал мне полученное на днях единственное письмо от жены. Поскольку текст его характеризовал не одну работу спецпочты, он врезался мне в память так, что и через тридцать лет я цитирую начало его почти дословно: «Здравствуй, Ваня! — писала бедная молодая женщина. — Не могу тебе высказать, до чего мы с Витей (Иван пояснил, что Витя — его друг) переживали и сколько я плакала, после того как тебя вызвали в штаб округа и ты исчез бесследно. Уж, прости, но мы долго думали, что с тобой приключилось совсем плохое[40], и лишь недавно, прочтя в газете «Правда», что ты награжден орденом боевого Красного Знамени за выполнение особых заданий партии и правительства, мы с радостью догадались, где ты…»

Изменения к лучшему в быту штаба отразились и на нашем внешнем виде. Пусть, за исключением Лукача, никто из нас не выделялся особой элегантностью, но по крайней мере никто больше не забывал побриться, а также почистить обувь и одежду. Известную роль в этом, несомненно, сыграло утверждение высшими инстанциями приказа по бригаде о присвоении званий. По нему залечивающий рану «пуковник» Петров обрел право официально именоваться «коронелем», что, однако, не являлось производством, а лишь переводом его звания на испанский, ибо Петров окончил, как выяснилось, академию имени Фрунзе, после чего был зачислен в запас РККА полковником; по этому же приказу Белов, в качестве бывшего болгарского капитана

артиллерии, имевшего опыт войны 1914—1918 гг., был произведен в майоры — по-испански «команданте»; Кригер сделался капитаном, который в Испании произносится точно так же, как в России; Херасси, уже носивший этот чин, остался при своих; Мориц и я получили производство в лейтенанты, вернее, в «теньенте», а Клоди стал алфересом.

Время оказывало воздействие даже на русский язык, на котором говорили между собой венгр Лукач, болгары Петров и Белов, немец Кригер, серб Бареш и я. В нашу речь постоянно вклинивались и от частого употребления оседали в ней французские или испанские термины, а порой и целые обороты. Так, за батальоном Андре Марти, обычно называемом «франко-бельгийским», постепенно, взамен этого пятисложного определения, закрепилось трехсложное: «франко-бельж»; медицинская часть также под французским влиянием понемногу превратилась в «санитарную службу»; передний край соответственно — в «первую линию»; станковые пулеметы именовались теперь «тяжелыми», а ручные — «легкими», самолеты — «авионами», а грузовики — в рифму — «камионами», командный пункт — по начальным буквам французского словоупотребления — «Пе-Се», а и без того не русская маскировка — «камуфляжем». Что же касается испанской терминологии, то она пока проявлялась преимущественно в области транспорта, и вместо «бензин» все приучились говорить «газолина», вместо «мотоциклист» — «моториста», а легковую машину звали «коче»; впрочем, и окоп все чаще заменялся эквивалентным и общепонятным «тринчера».

Но наиболее значительная перемена произошла в наших внеслужебных отношениях, делавшихся с каждым днем все более и более дружественными. Не у всех, правда, со всеми. Реглер, например, продолжал относиться ко мне с прохладной иронией, не возникло близости также между мной и Херасси (с которым зато заместитель комиссара бригады коротко сошелся). Настороженно относился ко мне и Бареш. Зато Лукач держался со мной все ласковее, тепло обращался Белов, из тех же, с кем я был на равной ноге, у меня не только сохранялась прежняя дружба — с Клоди, но возникла и новая — с Прадосом. В свободные минуты он все чаще заводил со мной нескончаемые отвлеченные беседы.

Как-то, еще в Ла-Плайя, Прадос повел речь о своеобразии испанской культуры, а с нее незаметно соскользнул на особенности испанского национального характера. Тема эта оказалась коньком Прадоса. Об исключительности психологии среднего испанца, о непобедимом его индивидуализме он говорил долго и увлеченно: томные, как у восточной красавицы,

глаза его загорелись, голос зазвучал запальчиво, а французские предложения потеряли завершенность, и в них стали попадаться кастильские обороты и речения. Многое в утверждениях Прадоса неприятно напоминало мне опостылевшие эмигрантские толки о вселенской миссии российского народа, о сверхъестественной широте его натуры, о нашей извечной самобытности и прочем. Я не скрыл от Прадоса, на какие ассоциации навели меня его речи, и добавил, что у русских эмигрантов подобные затхлые разговорчики в обязательном порядке попахивают Достоевским, Прадос на него, к счастью, не опирается, но зато ссылается на Гойю. Но есть ли что-нибудь общее в их видении мира или нет, неважно. Важно, что восторженное любование оригинальными чертами своего народа ничего общего не имеет с интернационализмом. Да и можно ли сбрасывать со счетов, к какой историософии практически привело проникшее в душу немецкого бюргера романтическое убеждение в особой исторической роли Германии?

Мои обличения не смутили Прадоса.

— Ты рассуждаешь прямолинейно, как церковный служка, — возразил он. — Между самым преувеличенным и даже восхищенным интересом к духовной жизни своего народа и стремлением к мировому господству ровно ничего общего. И потом, ты как-то свысока упомянул о Достоевском. Марксистам не пристало презрительно отмахиваться от него, а тем более — большевикам. Пусть его влияние распространяется на все читающее человечество, но прежде всего он русский гений, и проблематика его тоже в первую очередь русская, а уж во вторую — универсальная. И неужели же ты собираешься отрицать, что Октябрьский переворот и есть начало предсказанного великим писателем мессианского подвига России?

Для меня подобного рода рассуждения были возвратом назад, если не просто ересью, а потому я рубанул сплеча, что Достоевский это, мол, плюсквамперфектум, архаика, да, и кроме того, пророчествуя, что Россия спасет все человечество, он имел в виду отнюдь не социальную революцию.

На том наш диспут и прервался, но, несмотря на уверенность, что я высказывал одни апробированные, почти директивные истины, нечто в выражении лица Прадоса помешало мне испытать удовлетворение, он по крайней мере не выглядел посрамленным. Не случайно поэтому, едва у нас обоих появилась некоторая передышка, он пожелал продолжить спор, только приступил ко мне уже с другого боку. Прадос высказал убеждение, что принятый в коммунистическую партию

интеллигент не имеет морального права смиренно растворяться в массе менее образованных товарищей на том основании, что они принадлежат к ведущему классу, а он — в большинстве случаев — выходец из мелкобуржуазной среды. Нет, будь он хоть аристократом, интеллигентный марксист обязан преодолеть комплекс классовой неполноценности и настаивать на своем долге и праве критически, а не религиозно осваивать наследство основоположников, и прежде всего настойчиво сопротивляться попыткам некоторых, лично вполне достойных рабочих деятелей схематизировать сложнейшее и всеобъемлющее учение, вульгаризировать его в целях общедоступности. Борьбу против этой, как выразился Прадос, профанации он считал важнейшей задачей каждого философски грамотного революционера, способного воспринять идеи Маркса и Энгельса, а также Ленина во всем объеме. Особенно возмущался Прадос выхватыванием из логичной и взаимосвязанной научной системы отдельных положений, подгоняемых к требованиям текущего момента цитат, превращаемых в исчерпывающие и самодовлеющие афоризмы. Выражаемое подборкой таких легкоусваиваемых лозунгов учение Маркса уподобляется какому-то безикинглишу, или богословию, изложенному языком школьного катехизиса.

В отличие от предыдущей дискуссии Прадос произносил все это сравнительно сдержанно, но под этой почти академической формой скрывался прежний упрек в недостаточной самостоятельности моего мышления. Я не мог не обнаружить его, так как в заключение Прадос припечатал, что от самого искреннего повторения самых удачных передовиц того или иного партийного органа революция ничего не выигрывает, а в излишне частом цитировании передовиц «Юманите» он уже меня упрекал.

Несмотря на то что в высказываниях Прадоса бесспорно имелись крупицы истины, в целом я не мог с ним согласиться. Возможно, в другое время его протестантское свободомыслие и привлекло бы меня, но сейчас было не до полемических излишеств, сейчас от всех одинаково требовалась дисциплина и полнейшая согласованность действий. В конце концов и сам Прадос проповедовал одно, а поступал по-другому: на словах он требовал чуть ли не какой-то автономии для решившихся стать членами партии интеллигентов, а на деле, не мудрствуя лукаво, отправился рядовым бойцом на Гвадарраму, да и будучи произведен в офицеры продолжал на моих глазах беспрекословно выполнять любые задания старших начальников.

Пока я про себя оправдывал его, Прадос начал с подробностями рассказывать, как, еще совсем недавно, трудно приходилось ему, интеллигенту, в его партийной организации, с

каким снисходительным, а то и открыто недоверчивым отношением он повседневно сталкивался. В интонациях Прадоса улавливалась почти детская беззащитность и такая искренняя обида, что мне стало жаль бедного доцента. Я понял вдруг, что излишняя напористость его обличений порождена не духом противоречия, а невежественным недопониманием и подозрительностью тех, к кому он пришел с открытым сердцем.

Жалобы Прадоса вспомнились мне через тридцать лет — в начале 1967 года, — когда я читал в «Юманите» речь Луи Арагона на XVIII съезде Французской коммунистической партии. Отвечая Жанетт Торез-Вермеш, от имени политбюро приветствовавшей знаменитого поэта и романиста по случаю сорокалетия пребывания его в рядах ФКП, Арагон между прочим сказал:

> «Когда я вступал в партию, для интеллигентов моего типа было нелегким делом пребывать в ней. Я вступил одновременно с другими. Некоторые из них до сих пор среди нас… Но некоторые, вступившие вместе с нами, довольно быстро вышли из нее. Я упоминаю об этом не для того, чтобы их упрекнуть, потому что очень хорошо понимаю, как в тот период им трудно было остаться. Не сочтите мои слова неуместными и не удивляйтесь, что я произношу их на одном из наших съездов. Представьте себе, что среди этих людей был один, который состоял тогда в организации, кажется мне, всего три недели, но который снова вступил в нее в наиболее опасный момент, в 1943 году, чтобы стать гордостью и честью нашей партии, я говорю о Поле Элюаре…»

— Ну, ехать так ехать, — вставая после ужина, сказал Лукач. — Алеша, вы тоже собирайтесь. И вообще, будьте всегда наготове, чтоб куда я, туда и вы. Адъютант вы или не адъютант, в самом деле?

В непроглядном мраке едва угадывались очертания стынувшего перед подъездом вороного «форда». Луиджи повел его через Фуэнкарраль с помощью еле пробивавшихся через закрашенные нижние фары почти ультрафиолетовых лучей. Метрах в трех перед ними мостовая освещалась какими-то потусторонними лучами, а дальше густела первозданная чернота. На прямом шоссе, ведущем в Мадрид, Луиджи включил верхние прожекторы, но едва в отдалении мелькнула выложенная из камня на цементе двустворчатая баррикада с оставленным между ее стенами узким проездом, как шофер погасил свет, и в кромешной тьме впереди светлячком запорхал ручной

электрический фонарик, призывая нас остановиться. Однако Луиджи лишь еще замедлил и без того неторопливый бег автомобиля, а подъехав вплотную к баррикаде, высунулся под желтый снопик фонарика, и мы без долгих разговоров миновали ее: видимо, и Луиджи и его новую машину здесь знали в лицо.

Вскоре по бокам стали различимы расплывчатые очертания невысоких домиков, составлявших северное предместье столицы. Потом мы проехали незастроенный участок, а за ним потянулись какие-то бесформенные кучи, должно быть, развалины рабочего квартала Куатро каминос, который франкисты нещадно разбомбили.

Но вот, заслоняя черное небо, впереди замаячили еще более черные тени многоэтажных домов, и на въезде в город мы остановились перед новой баррикадой. Силуэт человека с ружьем приблизился к опустившему стекло Луиджи и заговорщицки, так что я не расслышал, выговорил пароль. Луиджи дал бравурный отзыв: «…у victoria!» — силуэт отступил, и «форд» пробрался между уступами баррикады.

С недавних пор в штаб бригады ежевечерне доставлялся объемистый конверт с затерявшейся на дне его полоской папиросной бумаги, на которой лиловели напечатанные через копирку пароль и отзыв для наступающей ночи. Они, эти пароли и отзывы, отличались не только строгой идеологической направленностью, но представляли также высокие образцы ораторского искусства. Если, например, пароль был: «Мадрид непобедимый…» — то отзыв гласил: «…будет могилой мирового фашизма!»; а когда часовой начинал: «Идем все вместе…» — отвечать следовало: «…к окончательной победе нашего великого дела!» Чаще всего пароль состоял из одного слова «viva», и тогда легко было сбиться, потому что сегодня на него надлежало отозваться: «…la República española», завтра полагалось ответить: «…наша прославленная авиация!», затем шла «наша меткая артиллерия», за нею начиналась «нуэстра кабалерия» в сопровождении еще какого-нибудь украшающего эпитета, и так, поочередно, все роды войск, чтоб никому не нанести обиды.

На площади за баррикадой дул леденящий ветер, почти незаметный в Фуэнкаррале, да и мрак в Мадриде казался гуще, чем за городом. Затемнение соблюдалось завидным образом — нигде ни лучика. Меня, однако, не слишком удивляла столь высокая сознательность жителей столицы: как раз вчера Прадос посмеиваясь рассказал, что мадридские ночные патрули поддерживают светомаскировку, если учесть зимние холода, довольно радикальным способом: без предупреждения разряжают винтовки по малейшему проблеску в окне, а в Испании этой

зимой спрос на новые стекла превысил едва ли не годовое их производство и в ней самой и в соседней Франции.

Громады лишенных признака жизни домов превращали потонувшие между ними улицы, мертвые после наступления комендантского часа, в неизведанные ущелья, в которых зловеще стенал ветер. Прорывавшиеся через его стены одиночные выстрелы придавали погруженной в прифронтовую ночь столице жутковатую таинственность. «Форд» ощупью продвигался по невидимой мостовой.

— На вас тоже действует? — негромко спросил Лукач, кладя в темноте свою теплую руку на мои застывшие пальцы. — Не правда ли, удивительное впечатление производит этот огромный город, притаившийся во мраке словно живое существо. Я всякий вечер, попав сюда, испытываю одно и то же сложное чувство: одновременно и праздничное возбуждение и смутную тревогу, а ледяной, будто из глубины неба обрушивающийся ветер представляется каким-то дыханием рока, ветром истории. Хотите знать, на что это больше всего похоже? На революционный Петроград, каким я его себе представляю по блоковской поэме. Так и чудится, что где-то там, за поворотом, проходят здешние «Двенадцать».

Я согласился, что духовное сходство, пожалуй, и в самом деле есть, хотя я тоже сужу о Петрограде тех времен по литературе, ведь мне в двенадцать лет бродить по ночным улицам не приходилось, да и покинул я его на Пасху восемнадцатого года.

Проспект, по которому мы ехали, вывел не то на большой перекресток, не то на маленькую площадь. Здесь, на расстоянии от зданий, стало заметно светлее и можно было издали увидеть стоявшую посреди и напоминавшую крепостцу полукруглую баррикаду. Луиджи притормозил возле нее и хотел обойтись этим, но разводящий, не удовольствовавшись и отзывом, строго приказал остановиться, навел фонарик на прилепленное изнутри к переднему стеклу свидетельство о реквизиции «форда», обойдя его, проверил номер, а потом еще затребовал с Луиджи и пропуск. Придирчиво осмотрев печати и посветив в машину, начальник караула нехотя возвратил «сальвокондукто» оскорбленному такой демонстрацией недоверия швейцарскому комсомольцу.

Мы уже въезжали в одну из противоположных уличных расселин, когда, придерживая руль левой рукой, он зачиркал колесиком зажигалки и прикурил. Но раньше чем ее огонек погас, сзади бабахнул выстрел, еще громче прокатилось по крышам эхо, а в машине коротко треснуло. Рявкнув свое «порка[41] мадонна!», Луиджи круто свернул в сторону, въехал на тротуар и отключил

газ. Тут, за прикрывшим нас от площади углом, Луиджи снова защелкал зажигалкой и, заслонив ее пламя, посветил на пробитую в верхней части стекла, чуть повыше приклеенного документа, круглую черную дырочку.

— Марча! Марча! — закричал Лукач. — Аделанте!.. Скажите ему, чтоб дурака не валял и, если дорожит жизнью, под выстрелами больше не останавливался, надо ж хоть немножко соображать!.. Разве в этой адской тьме угадаешь, кто и откуда стрелял, — проговорил он спокойнее, пока Луиджи спустил машину с тротуара и повел из запоздалой предосторожности даже без нижних фар, которые Лукач как-то назвал освещением, подходящим для появления привидений. — Мне кажется, выстрелили не с баррикады, — продолжал он, оборачиваясь и указательными пальцами прощупывая стекло. — Так и есть, вон как низко вошла. Вполне возможно, однако, что это вовсе не Пятая колонна, а всего-навсего повышенная бдительность в смеси с южным темпераментом. Но стекло-то каково, а? Ни трещинки вокруг, будто алмазом просверлено.

Через несколько мгновений Луиджи, так и не включив хотя бы синие фары и управляя «фордом» посредством шестого чувства, вогнал его в еще более компактную черноту и остановился среди каких-то кустов, что можно было определить по шороху задетых машиной сухих веток. Лукач обеими ногами вперед, как, не зная глубины, лезут в воду, выбрался наружу и постоял, чтоб попривыкло зрение. Но оно никак не привыкало, и проворчав, что у него, кажется, куриная слепота объявилась, комбриг медленно пошел, ощупывая дорожку носками ботинок. Я осторожно ступал за ним. Вдруг из бархатного мрака вырвался близкий, насквозь простуженный голос, негромко, но твердо повелевший: «Альто!» Лукач, должно быть этого ждавший, отдернул назад выставленную для следующего шага ногу и застыл, так что я чуть не толкнул его в спину. Невидимый караульный негромко выговорил пароль. Лукач отозвался. «Паса!» — разрешил бесплотный голос и откашлялся. Лукач уверенно двинулся на него. Перед нами со скрипом отворилась дверь. Проход за нею был завешен шерстяным одеялом; с одной стороны оно не достигало стенки, и свет, проникавший из этой щели, резал глаза. Лукач шагнул внутрь. Неразличимый наружный часовой подтолкнул меня и захлопнул дверь. Комбриг откинул одеяло. За ним открылась уходящая вниз бетонная лестница, она упиралась в каменный пол площадки, освещенной ввернутой прямо в потолок лампочкой. Против нижней ступеньки, прикрывая своей спиной следующую дверь, опирался на винтовку с примкнутым тесаком карабинер.

— Салуд… — начал он, прежде чем мы стали спускаться.

— …и виктория! — подхватил Лукач.

Карабинер отступил, отдавая честь. За дверью начинался подземный коридор с ответвлениями. Лукач без колебаний шел по нему, повернул в ничем не отмеченный проход слева, еще раз повернул и открыл плохо пригнанную дверь в деревянной перегородке, отчего вся она заходила. Переступив через высокий порог, мы очутились в еще более узком коридорчике, образованном капитальной стеной подвала и параллельной ей, окрашенной в фисташковый цвет, второй дощатой перегородкой со многими дверями. Лукач направился к одной из них.

— Подождите-ка меня минуточку…

Из-за перегородки послышались вкрадчиво-ласковые рулады его голоса. Таким воркующим горловым баритоном Лукач, как я замечал, объяснялся исключительно с женщинами, и притом лишь с молоденькими. Скоро моя догадка подтвердилась. Рядом с его башмаками затопотали дамские каблучки, и Лукач, придержав дверь, пропустил старавшуюся изо всех сил соблюсти строгую официальность незнакомую, очень скромно одетую девушку. Проходя мимо, она и не взглянула на меня, но Лукач дотронулся до моего предплечья.

— Я тут с Лидочкой, с переводчицей, зайду ненадолго к генералу Миахе, уж поскучайте еще немножко.

Опять я остался один в пустом ярко освещенном подземелье. Где-то поблизости, как ручной пулемет, стрекотала пишущая машинка, а сквозь ее треск прорывались далекие голоса, спорящие по-испански. Лукач с переводчицей возвратились скорее, чем я ожидал. Он, со смеющимися глазами, наговаривая ей что-то на ушко, проводил уже не сдерживающую улыбки девушку до ее двери и, подхватив под локоть, помог перешагнуть через доску, изображавшую порог.

— Пошли, — пригласил комбриг, на ходу бросая через плечо: — Злопамятный черт. Злится на нас по-прежнему. Я прослышал от верного человека, что «максимов» малую толику Мадриду подбросили, и надеялся разжиться, но куда там: старик, как кот от крупы, от меня нос воротит.

Мы дошли до конца коридора, и Лукач, постучав согнутым пальцем в обклеенную обоями дощатую дверь, сделал знак, чтоб я не отставал, и вошел во вместительное помещение с низкими сводами, заполненное людьми. Цементный пол в этом углу подвала был устлан невероятной квадратуры ковром. Во всю длину его протянулся нескончаемый стол, перенесенный сюда то ли из банкетного зала соседнего ресторана, то ли из правления какого-нибудь банка. К столу были приставлены стулья, судя по

резным спинкам, более высокого происхождения, но собравшиеся в подземной комнате предпочитали беседовать стоя, разбившись на две основные группы. В одной я обнаружил нашего Фрица; своим густым баском он что-то оживленно излагал обступившим его Ксанти, Лоти, Ратнеру и четвертому, маленькому даже по сравнению с Фрицем, средних лет товарищу в зашнурованных до колен французских офицерских сапожках. В центре второй, многочисленной, группы возвышался бритоголовый Купер, и здесь не снявший долгополого кожаного пальто. Между военными и полувоенными выделялся сшитым у первоклассного портного штатским костюмом, модной, с остроугольным воротничком, шелковой рубашкой и умело повязанным неброским, но дорогим галстуком стройный и, несмотря на это, внушительный человек. Он стоял во главе стола над картой, зажав в зубах прямую трубку, и молча слушал рослого Вольтера. Я догадался, что это и должен быть военный атташе Советского Союза комбриг Горев, о котором столько говорилось. Его можно было б счесть красивым, если бы не оттопыренные ушные раковины, не вяжущиеся с волевым лицом Горева, хотя при повторном взгляде эти мальчишески торчащие уши шокировали уже меньше, до того значительным выглядело в Гореве все остальное.

Когда Вольтер закончил и Горев поднял взгляд от карты, Лукач приблизился к нему и щелкнул каблуками:

— Здравия желаю, Владимир Ефимович!

Горев левой рукой вынул изо рта трубку и, улыбнувшись одними глазами, протянул правую. Поздоровавшись, Лукач подманил меня.

— С вашего разрешения, представляю моего адъютанта. Прошу, как говорится, любить и жаловать.

Горев подал руку и мне. Рукопожатие его было жестким, он по-английски тряхнул мою кисть и, прищурив веки, пристально заглянул мне в зрачки (ничего похожего на «любить и жаловать» в его взоре я не обнаружил), после чего повернулся к Лукачу.

— Как у вас дела?

Лукач ответил, что час назад, выезжая из Фуэнкарраля, оставил все в полном порядке, если, конечно, не считать, что пополнений давно нет, а также хронической болезни: в одной бригаде пять марок стрелкового оружия и снабжать пехоту в бою приходится патронами пяти разных калибров.

Дверь за нашими спинами постепенно открывалась, и в помещение входили все новые и новые люди. Горев выбил трубку в сделанную из осколка бомбы пепельницу.

— Полковник Сворт! — в наступившем молчании произнес он, и к нему, покинув кружок около Фрица, заторопился перетянутый портупеей человечек в шнурованных сапожках; деревянная коробка маузера путалась в его ногах.

— Это советник при Модесто, — шепнул мне Лукач. — Бывший царский артиллерийский офицер. Говорят, аннинский темляк имел и Владимира с мечами, в артиллерии-то.

Пока Горев разговаривал со Свортом, к собравшимся прибавилась группа танкистов, которых я узнал по шлемам с кренделями, а за танкистами вошли еще четыре здоровенных парня, тоже в кожаных куртках и незастегнутых шлемах, но другого типа — со свисающими наушниками; здоровяки эти, без сомнения, были летчики. Немного спустя почти ворвался, очевидно, запаздывавший дядя в кепке и зимнем полупальто, перепоясанном испанским офицерским ремнем. При виде Фрица обветренная грубоватая физиономия запоздавшего расцвела, и он бросился к нему с распростертыми объятиями.

— Ба… — радостно начал он.

Но наш советник поспешно перебил его:

— Фриц! Фриц! Фрицем меня зовут!

— Фрицем так Фрицем, — охотно согласился коренастый. — А меня и вовсе Гансом прозывают.

Под смех присутствующих они трижды расцеловались. Горев вторично постучал трубкой о пепельницу.

— Попрошу занимать места. Кто не уместится за столом,

устраивайтесь по-походному на ковре. Не членам ВКП(б) оставить кабинет.

Мне показалось, что при последних словах Горев покосился в мою сторону. Никогда в жизни я не краснел, даже когда очень смущался, как-то не умел этого, но тут почувствовал, что кровь прихлынула к моим щекам, и хотя наружно, как всегда, ничего не было заметно, но внутри я сгорал со стыда. И зачем только Лукач завел меня сюда? Для того, чтоб мне быть с позором изгнанным?

Не чуя ног и опустив глаза, я устремился к выходу. Позади, скрипя ремнями, рассаживались прибывшие на собрание советские командиры. Среди них были хорошо знакомые: Вольтер, Ксанти, Ратнер, Лоти, был и ставший близким Фриц. Все они по-товарищески относились ко мне, так что я чуть не забыл о разделявшей их и меня пропасти.

Притворив дверь, я в растерянности остановился. Где-то вблизи продолжала стучать машинка. Сильно пахло масляной краской. Дольше мне здесь делать было нечего. Следовало бы выбраться на свежий воздух, но как найти дорогу в этих катакомбах? Неожиданно дверь за мною растворилась, и в ярко освещенный коридор вышли танкист и два летчика.

— Тоже комсомолец? — дружелюбно обратился ко мне танкист, тем самым подтверждая неприличную мою моложавость. — С какого округа?

Испытывая невыразимое облегчение — меня удалили не в единственном числе, — я вместо ответа спросил, не знают ли товарищи, как из этого лабиринта податься наверх. Танкист повинился: он тут впервой, статочное ли дело с одного разу запомнить здешние муравьиные ходы, в них можно заплутать не хуже как в тайге без компаса; зато летчики пригласили следовать за ними; их, четверых, вызвали, а не предупредили, что сегодня вроде закрытое партийное собрание, сколько времени дуром потеряно, к рассвету ж — на аэродром. Скорей надо спать, завтра все само узнается.

Ничего не видя со свету, я все ж чудом набрел на «форд», забрался в него и забился в угол. Мое появление не разбудило Луиджи, он негромко похрапывал спереди и слева. Было слышно, как летчики, с которыми я сейчас распрощался, рукояткой заводили свою машину и потом долго прогревали мотор. Перед тем как сдвинуться с места, кто-то из них, наверное, по рассеянности, включил главные фары, и на мгновение из мрака вырисовались те же кусты — каждая их веточка и даже уцелевший на одной листик выступили словно выгравированные, — но от здания, брякнув прикладом, свирепо заорал часовой, и прожекторы погасли, и сделалось еще темней, чем раньше, будто

черная пелена застлала глаза. Тишина же вернулась не такая глухая, в ней был различим однообразный ровный шепот ослабевшего ветра, похожий на шум в морской раковине.

Прошло минут сорок или час. Но вот заскрипел блок на двери в подземелье, и она захлопнулась. Звуки эти повторялись все чаще, выходящие, переговариваясь вполголоса, разыскивали ожидавшие их машины и разъезжались. Уловив приближение Лукача, я разбудил Луиджи, открыл машину и подвинулся.

— «Палас»-отель, — указал Лукач, куда ехать.

Луиджи ощупью повел «форд». Лукач шутливо толкнул меня в бок.

— Дуетесь? И не вижу, а чувствую. Бросьте. Зачем все так к сердцу принимать. Я как-то говорил с Горевым про вас, и уверяю, он к вам лично и вообще к таким, как вы, относится без всякого предубеждения. Но что он оглашал сегодня, было строго секретно и предназначалось исключительно для членов партии. Скажите лучше, как он вам понравился?

Я отвечал, что в Гореве чувствуется властный военачальник, но что он не слишком типичен для советского командира, какими по крайней мере я до сих пор их себе представлял. В нем очень заметна внешняя отшлифованность, то, что называется умением себя держать и что делает его похожим на западноевропейского офицера.

— Вы просто еще не встречались с вырабатывающимся у нас за последнее время совершенно новым типом образованного и широко начитанного командира, а их немало. Образцом для них для всех является маршал Тухачевский. Горев из таких. Он предан, храбр, умен и по моим наблюдениям честолюбив, значит, далеко пойдет, тем более что сейчас, когда ему нет и сорока, он уже комбриг. Насчет же лоска, так он был танковым атташе в Лондоне, под началом Путны. Слыхали про него?

Как и всякому читающему газеты, мне было кое-что известно про комкора Путну. В частности, что он из литовских крестьян и в мировую войну вышел в прапорщики, — чин, по поводу которого Пушкин приводит поговорку, приписываемую еще Петру I: «Женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер». В гражданскую — этот «не офицер» выдвинулся в народные полководцы и был награжден тремя орденами Красного Знамени. В мирные годы он усиленно учился и теперь в английских военных кругах к Путне относятся с заслуженным уважением, как и к его коллеге комдиву Венцову — во Франции.

Выложив все это, я спросил, почему штаб обороны Мадрида расположился в каком-то неприспособленном подвале.

— Как не приспособленном? Против авиационных налетов

очень даже приспособленном. По подсчетам специалистов, он неуязвим даже для пятисоткилограммовой бомбы. Ведь это здание министерства финансов, в его подвалах хранился золотой запас.

— А кто такой этот старый друг Фрица, который бросился его обнимать?

— Здесь он называется Гансом. Только он вовсе не старый друг: они познакомились в поезде по пути в Испанию. А до того Ганс служил в Ленинградском военном округе, где-то на границе, а Фриц — командир третьего полка Пролетарской дивизии, то есть лучшего по всем показателям полка лучшей не в одном лишь Московском округе дивизии. Вот каков наш Фриц!

Машина вползла в двойной густоты мрак, образованный тенью высившегося как отвесная скала громадного дома, и плавно, точно гондола, причалила к нему.

Мы поднялись по выступающим из темноты белокаменным ступеням. За толстенными стеклами и лаком парадного и тут висела маскирующая драпировка. Грандиозный холл гостиницы был мертвенно освещен синими лампочками, и пахло в нем не сигарами и духами, а кабинетом зубного врача. Этот запах и ряды больничных коек в глубине под люстрами в чехлах, еще недавно сверкавшими над столиками первоклассного ресторана, напоминали, что «Палас»-отель превращен в главный военный госпиталь.

Из необходимости экономить ток лифт бездействовал, и Лукач, словно юноша, взбежал по мраморной лестнице на верхний — шестой или седьмой — этаж (во Франции первый — называется «редешоссе», а второй — иногда первым, а иногда бельэтажем, и тогда первым становится третий, здесь господствовала та же система, и установить истинное число этажей было непросто). Я, с винтовкой на весу, не отставал. На последней площадке Лукач повернул направо в отделанный красным деревом коридор.

— Сказать, кого вы сейчас увидите? Самого Михаила Ефимовича Кольцова. Живьем.

Лукач рассчитывал меня поразить, и это ему удалось. Среди советских журналистов Михаил Кольцов был светилом, и подобно миллионам читателей «Правды» я восхищался им. И хотя где-то в конце двадцатых годов по страницам московской печати и проскользнуло недоброжелательное утверждение, будто он всем обязан покойной Ларисе Рейснер, без помощи и уроков которой Кольцову никогда бы не достичь уже тогда сопутствовавшего ему успеха, а некоторые из блюстителей чистоты русского языка упрекали несравненного фельетониста (и, по-моему, не без

оснований) в излишней разухабистости стиля, а порой и в прямых ошибках, однако все написанное им было так хлещуще талантливо, а вместе с тем так дельно, так экономно и отличалось такой азартной убежденностью, что случайные языковые погрешности охотно прощались, а злоупотребление полупечатными выражениями и склонность к скабрезностям воспринимались как прием, способствующий демократизации жанра, приближению его к массам. (О том, как далеко заходил подчас Кольцов в этом отношении, свидетельствовала пародия, которую вставил в свою фантастическую повесть один из любимейших мной попутчиков Михаил Булгаков, автор остроумнейших рассказов, написанных необыкновенно точной и музыкальной прозой, и недопечатанного романа «Белая гвардия». Повесть называлась «Роковые яйца», и в ней помимо прочего рассказывалось о гибели в РСФСР от мора почти всего поголовья домашней птицы и возникновении угрозы, что страна останется без куриного мяса и яиц. И тогда в ответ на злопыхательские выступления американского сенатора Юза «прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, — у вас есть свои!..»)

Впрочем, талант Кольцова окончательно окреп и возмужал в тридцатые годы, когда к способности и умению писать прибавились умение и возможность отбирать тему, и притом не одного домашнего значения. Именно в это время и появилась серия его зарубежных фельетонов, построенных на злободневном политическом материале, а среди них повергшие меня в понятный восторг «В логове зверя», о посещении Кольцовым инкогнито «Российского общевоинского союза» на рю Колизэ в Париже, и «От друзей и знакомых», основанием которому послужило письмо автора в редакцию монархической газеты «Возрождение», гротескно имитирующее те, якобы присланные из СССР, какие она постоянно печатала, — редакторы клюнули на удочку Кольцова и поместили его «разоблачения» среди своих… Удивительно ли, что в предвкушении встречи с ним из меня будто испарились последние капли испитого час назад унижения?..

В богато обставленном номере, с пушистыми коврами и плотными гардинами, было сильно накурено. За круглым столом располагались пятеро в полувоенной одежде, все словно на подбор белокурые, однообразно растрепанные и с одинаково — как некогда у солдат лейб-гвардии Павловского полка — вздернутыми носами. Тем более заметен был между ними шестой: черноволосый да еще причесанный на безукоризненный пробор и

в костюме. Посреди стола на подносе стояли окруженная рюмками полуопустевшая бутылка коньяку и переполненная окурками пепельница. Пока мы входили, брюнет в штатском закончил, видимо, очень смешной рассказ, потому что похожие один на другого светлоголовые командиры как по команде расхохотались. На кровати с раздвинутым пологом сидел, покачивая ногой, низенький человек с большим белым лицом; на нем была кожаная куртка, а шея сверх того обмотана шерстяным кашне, переносицу оседлывали телескопические стекла в роговой оправе, размером оправдывавшие сделанное Маяковским футуристическое сравнение очков с велосипедом. В изголовье облокотился на подушки кинооператор Роман Кармен, тоже в кожаной куртке. На тумбочке перед ним красовалась целая батарея бутылок с пробками различной конфигурации и заманчивыми наклейками.

Бледнолицый в очках Гарольда Ллойда поднялся с кровати поздороваться с Лукачем, и по часто помещавшимся в советской прессе снимкам я узнал Михаила Кольцова. Наяву он оказался значительно меньшего, чем я представлял, роста; черты его, как маска, неподвижной, но при всем при том удивительно выразительной физиономии были мягче и приятнее воспроизводимых ротационными машинами и всегда искаженных грубой ретушью.

— Алеша, о котором я вам говорил, — подвинул меня к нему Лукач.

— Знакомьтесь с присутствующими сами, Алеша, — протягивая вялую ладонь, предложил Кольцов, — садитесь, где найдете место, и пейте что угодно и сколько угодно, конечно, в пределах допускаемого вашим трезвенным начальством.

Не расставаясь с винтовкой (немыслимо было прислонить ее к штофным обоям, а тем более к лакированной мебели), я обошел всех, начиная с Кармена, которого можно было считать старым знакомцем. Штатский с пробором, вставая и подавая руку, неожиданно назвался полковником Меле, о каковом я был достаточно наслышан. Это он доставил в Аликанте первые танки, собрал их и, отправив на защиту Мадрида, взялся за подготовку испанских экипажей. Блондины, пившие с ним коньяк, были его помощники, приехавшие проводить полковника: Москва отзывала его…

В следующий раз я увиделся с ним через двадцать лет в Москве. Свел нас Хаджи. Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск С. М. Кривошеин вспомнил — или из вежливости сделал вид, что вспомнил, — нашу встречу у

Кольцова в мадридском «Паласе». Продолжаем мы с Семеном Моисеевичем иногда встречаться и теперь. Несмотря на сравнительно короткое пребывание в Испании, он немало написал о ней, однако участие в величайшей и ужаснейшей из войн, которую Сталин так провинциально и архаично назвал Отечественной, естественно, заслонило испанскую, и память порой изменяет «полковнику Меле»…

Лукач, оседлав сафьяновый пуф и смакуя подогретый на спиртовке черный кофе, пожаловался Кольцову, что этим вечером в самом центре города какие-то осатанелые анархисты едва не подстрелили Луиджи, во всяком случае, повредили заднее и переднее стекла новехонького восьмицилиндрового «форда», а такие сейчас черта с два достанешь… Он поставил чашечку и вернулся к тому, до чего ж потрясающ Мадрид ночью, опять помянул революционный Петроград и блоковскую поэму.

Кольцов, как грач склонив набок голову, иронически рассматривал сквозь очки разошедшегося комбрига.

— Вы, товарищи, отложили бы все эти романтические реминисценции до лучших времен, — заговорил, он холодно. — С ними далеко не уедешь. На дворе у нас не начало восемнадцатого года, а конец тридцать шестого, и вместо того, чтоб, элегически вздыхая, оглядываться на петроградское прошлое, куда полезнее трезво вглядеться в мадридское настоящее. Тогда станет ясно, что здесь сейчас не поэзия нужна, а проза — проза продуманнейшей организованности, проза железной дисциплины. Что же касается вышагивающих и самочинных патрулей и пуляющих в белый свет как в копеечку тутошних Хуана и Педро, то при всем впечатляющем сходстве с Ванькой и Петькой из «Двенадцати» не умиляться следует, а разоружать их пока не поздно. Вряд ли случайно и Алеша ваш выдержан в стиле восемнадцатого года: лохмат, штаны латаные и даже кофе пить без винтовки не садится. Ходячий анахронизм, а не адъютант: будто взял и спрыгнул с экрана в публику при демонстрации «Мы из Кронштадта» или «Чапаева». А давно бы пора начать перестраиваться и носить положенную форму, знаки различия, уважение прививать к офицерам республики…

На обратном пути Лукач выговаривал мне:

— Что это вы в самом деле вздумали повсюду с винтовкой разгуливать? И одеты черт знает как! Краснеть за вас пришлось, да, признаться, и за себя тоже: куда, спрашивается, сам-то смотрел? Завтра же сдайте винтовку Севилю, браунинг я вам раздобуду. А одеться прилично необходимо не вам одному. Прав Михаил Кольцов. Нашивки та же политика. Раз регулярная армия, пусть такой и будет. Издали чтоб видели, что офицер идет, а не

респонсабль какой-нибудь…

Лукач не любил откладывать что бы то ни было в долгий ящик, и уже на следующий день к обеду, когда всем полагалось находиться в сборе, Варела привез в новую фуэнкарральскую виллу полдюжины ангельски улыбающихся закройщиков с будто пробритыми проборами и со свисающими с шей желтыми ленточками метров. Предводительствовал ими наш интендант Никита, по поводу имени которого я не переставал недоумевать, с какой целью этому немолодому сербу с испитым лицом приделали столь редкое русское имя, да еще преимущественно боярское. Сопоставляя обрывки случайных разговоров, я давно сообразил, что Никита, так же как Бареш и рыжий Фернандо, принимает участие в испанской войне дольше большинства из нас: еще с неудачной попытки организовать партизанское движение в Эстремадуре. Не требовалось особой наблюдательности и для еще одной догадки: Белов и Петров, несомненно, знали Никиту не первый год, при этом сквозь их дружественное к нему отношение нет-нет да и проскальзывала ирония. Как-то Белов поведал мне, что в прошлом наш интендант весьма представительная личность и даже был одно время коммунистическим депутатом скупщины.

— Между прочим, — дополнил Белов, — этот сдержанный, как сам наблюдаешь, человек даже в югославском парламенте отличался своей горячностью, а также пристрастием к так называемым «непарламентским» выражениям. И повеселев, Белов по секрету рассказал, как однажды Никита по время дебатов открыл стрельбу из карманного «бульдога» по крайне правым, прервавшим его выступление оскорбительными выкриками.

Невзирая на такую красочную биографию, в интенданте бригады начисто отсутствовали какие бы то ни было внешние проявления революционного романтизма. Наоборот, он просто поражал своей обыкновенностью, будто даже щеголяя ею: обожал поболтать о девочках, без конца повторял одни и те же заплесневелые анекдоты, где остроумие заменялось похабством, и нередко бывал под градусом.

Во главе отряда закройщиков Никита появился с выражением угнетенной добродетели, но засуетился, увидев Лукача. Дисгармония между скорбной миной и заискивающим поведением Никиты объяснялась тем, что накануне ему крепко нагорело от комбрига за безынициативность вообще, а в частности, за невнимание к нашей экипировке. Под беспокойным оком «пистолероса», как Белов и Петров, намекая на пальбу в здании парламента, иногда именовали между собой бывшего депутата, прилизанные закройщики, по его словам,

принадлежавшие к персоналу лучшего ателье столицы, управились со снятием мерок в два счета. При этом держались они с нами как с настоящими денди, прямыми наследниками законодателя мужских мод и первейшего прожигателя жизни последнего принца Уэльского, около года назад взошедшего на английский престол под именем Эдуарда VIII.

Измерив всех вдоль и поперек, учтивые портные представили Лукачу альбом с образцами шерстяных тканей разной толщины, качества и всевозможнейших оттенков хаки. Комбриг, обстоятельно рассмотрев и прощупав лоскутки, посоветовался с мастерами и показал Никите, на чем остановиться.

К ужину Варела вторично смотался в Мадрид, теперь за сапожниками, и в сроки, обычно назначаемые отрицательными героями сказок положительным, — то есть через две ночи и один, заложенный между ними день — штаб бригады стало не узнать.

— Недаром Козьма Прутков сказал: «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары», — процитировал Белов, поворачиваясь перед трюмо и обозревая свою фигуру, облеченную в идеально сшитый френч с латунным значком пехоты в петлицах и нововведенной широкой майорской нашивкой над обшлагами рукавов.

Поскольку генералитет, поднявший регулярную армию против народного волеизъявления, естественно, соблюл в ней прежнюю форму, при каковой чины обозначались посеребренными звездочками (поменьше или покрупнее для обер- и штаб-офицеров), носимыми с левой стороны груди и на пилотке с традиционной залихватской кисточкой, то республиканцы ввели по примеру Франции нарукавные знаки различия из золотых галунов разной соответственно ширины, в качестве кокарды установили красноармейскую пятиконечную звезду, но без серпа и молота, кисточку отменили, эмблемы же и цвета родов войск оставили неизменными.

Не прошло и недели, как вслед за нами в такое же, сшитое по заказу, обмундирование, фуражки и высокие сапоги из желтой кожи приоделись и штабы батальонов и командиры рот, политработники же, до сих пор носившие особое, присвоенное лишь им, темно-синее одеяние, которое не хуже чем канадские полушубки помогало марокканским стрелкам издали засекать и выбивать комиссаров, переоблачились в несколько менее бросавшееся в глаза — коричневое. Одновременно бойцам бригады были пригнаны теплые суконные куртки и брюки.

Подчиняясь приказанию Лукача, я сдал свою винтовку, но не заместителю Тимара по оружейной части Севилю, а Барешу, потому что она числилась за охраной штаба. Когда Бареш

равнодушно принял ее из моих рук, у меня возникло чувство, словно я навсегда расстаюсь с последним, что связывало меня с начальными днями и с людьми, вместе с которыми я вышел из-под олив Серро-де-лос-Анхелеса. К охватившей меня грусти примешивалось и сознание моей неполноценности — ведь впервые с Альбасете я оказался безоружным, обещанная же Лукачем замена мало утешала: браунинг представлялся мне не командирской принадлежностью, но скорее аксессуаром семейных драм.

В ближайший вечер Лукач, пока не была готова моя форма, опять отправился в Мадрид один. Возвратился он, как обычно, ночью, вошел в комнату, держа одну руку за спиной, подошел ко мне и внезапно выложил на стол, под заколыхавшееся пламя свечки, никакой не браунинг, но выходящий за предел самых безудержных мечтаний массивный парабеллум.

— Ваш.

Я обеими руками ухватился за него. Уже один вес показывал, что это за штуковина. Сожаление о боевой подруге, подмененной по ошибке кем-то, пока я спал мертвым сном в фашистской траншее, тут же испарилось.

— Знаете, у кого выклянчил? — спросил Лукач, протягивая две коробки патронов. — У Лоти. До чего ж хороший человек. Только я начал, что вот для моего Алеши нужно бы револьвер где-то приглядеть, как он открывает ящик стола и достает эту пушку. «Бери, — говорит, — все равно без пользы валяется. В задний карман такое чудище не вопрешь, а кобуры к нему у меня нет, так что я при себе ТТ таскаю, он потранспортабельнее». Ну, мне только оставалось «спасибо» сказать, да и вы не забудьте при случае Лоти поблагодарить. А кобуру я вам сейчас выну, у меня в чемодане запасная от большой «астры» имеется. Должна подойти.

Увы, даже предназначенная для большой «астры» кобура не подошла. Парабеллум, правда, втискивался в скрипучую кожу, однако застегнуть покрышку не давала широченная казенная часть могучего пистолета. Я не мог скрыть разочарования, но Лукач, начиная раздеваться, принялся уверять, что это не важно, временно сойдет и так, было б, как говаривал один старый гусар, что засунуть, а куда — найдется.

Обмотав ремешок кобуры вокруг оттопырившихся боков, я бережно уложил ее в изголовье и тоже стал готовиться ко сну и лишь тогда заметил, что веселость Лукача напускная, на самом же деле он чем-то чрезвычайно озабочен. Ложась в постель, он тихонько вздохнул, а задув свечу, не уснул, как умел, сразу, едва голова коснулась подушки, но заворочался с боку на бок.

— Поссорился я с Горевым, — признался он вдруг из

темноты. — Оч-чень, оч-чень поссорился…

Лукач снова вздохнул и на этот раз так глубоко, что даже кровать скрипнула.

— Хоть он и семи пядей во лбу, — после продолжительного молчания продолжал Лукач, зная, что я не засну, если он не спит, — хоть и академию с блеском кончил, а такую несуразицу придумал, что впору дурню безграмотному. И все под флагом особого к нам доверия…

Он опять завертелся в постели.

— Пусть это останется между нами, — заговорил он спокойнее, — но Горев предложил в течение трех суток подготовить бригаду… Ну, как бы вы думали к чему?.. К рейду по тылам противника. Место, ничего не скажешь, подобрано подходящее: в горах за Гвадалахарой, в районе Сигуэнсы. Сплошного фронта там нету. Только по населенным пунктам гарнизоны стоят, да еще по дорогам заставы. Словом, все условия приемлемы, кроме одного: мы же не конница. Я напрямик и заявил, что, дожив до сорока с лишним, о пехотных рейдах не слыхивал, может быть, товарищ Горев принимает нашу бригаду за кавалерийскую? А он свысока этак ответствует, что нет, не принимает. Но ему известно, что Двенадцатая, единственная из республиканских бригад, фактически моторизована. «Шутить, — говорю, — изволите, Владимир Ефимович». Но мой Владимир Ефимович заявляет, что и не думает шутить, берет бумажку и перечисляет, сколько у нас чего: отдельно сколько камионов, да сколько автобусов и даже сколько командирских коче. Взорвало меня: кто-то, вижу, у нас болтает много, но держу себя в руках и вежливенько задаю вопрос: а много ли в этой моторизованной бригаде танков и бронированных автомашин на гусеничном ходу, раз решено пустить ее погулять во вражеском тылу? И, представьте, Горев не моргнув глазом обещает, что, если я приму его предложение, роту танков он в мое распоряжение придаст. Ну, тут я совсем вспылил и выкладываю, что лучше б, чем слать на верную гибель одну из интербригад, собрать все наличные танки да вместо наших автобусов и двинуть, по крайней мере, и теория это допускает, и практикой на маневрах испытано.

Я потрясенно внимал комбригу. Он замолк, вслушиваясь в посторонние мерные звуки: под окном прошагал обходящий виллу часовой.

— Короче, выложил я все, что на сердце накипело, а Горев, скажу вам, к возражениям не привык… Хорошо, что Хаджи к нему постучался. Если б он, как конник конника, меня очень тактично не поддержал, не знаю, до чего бы дошло. Думаю, однако, Горев все равно не простит мне сегодняшнего афронта. Как это я

позволил себе обозвать его затею беспрецедентным легкомыслием. Но как иначе прикажете? Про авиацию он что, запамятовал? А налетят бомбардировщики на автоколонну в семьдесят — восемьдесят машин, взбирающихся по узкому серпантину, хорошо получится? Кладбище в масштабе бригады! Да разве одна авиация! Разве не могут отказать моторы у двух или трех грузовиков, куда я с них людей или боеприпасы дену? Говорить тошно…

Перечитав предыдущее, я испытал острое искушение опустить его. Мне живо представилось, с каким недоверием, если не возмущением, отнесутся к этому эпизоду не только все встречавшиеся с комбригом В. Е. Горевым, но и все, кто читал, как отзывались о нем более, чем он, счастливые коллеги его: Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, маршал артиллерии Н. Н. Воронов, адмирал Н. Н. Кузнецов, генерал армии П. И. Батов и другие. Правдоподобно ли, чтобы умный, волевой и образованный командир его ранга, стремясь снять неслабеющее давление фашистов на Мадрид и — самое важное — попробовать перехватить у них инициативу, собирался очертя голову пуститься в столь откровенную авантюру? Конечно, я пишу воспоминания, а не преследующий заранее заданную цель исторический опус, для которого из всего множества фактов отбираются лишь подтверждающие замысел. И все же. Особенно, если знаешь о страшном конце Горева… А с другой стороны, разве то, чем в одну из предпоследних ночей декабря 1936 года поделился со мной Лукач, бросает тень на посмертно реабилитированного? С военно-академической точки зрения может быть и так, вообще же эта непродуманная и потому не осуществленная тактическая импровизация заставляет предположить, что внешняя холодность, пожалуй, даже чопорность Горева была напускной, благоприобретенным в бытность танковым атташе при лондонском полпредстве стилем, за которым открывался совсем еще, в сущности, молодой и увлекающийся человек, пылко желавший победы над бесчеловечным врагом. А раз так, обязательным для меня было одно: попытаться проверить, насколько точен записанный впервые через тридцать один год рассказ Лукача. Желая установить это, я обратился к самому надежному из доступных мне источников. Тут же набрал телефонный номер Хаджи, занимавшего ответственный пост в министерстве обороны, и спросил, не сохранилось ли у него случайно воспоминания о том, как Горев уговаривал Лукача организовать всей бригадой этакое «ралли» за фашистскими линиями.

— Как же. Прекрасно помню такой разговор, а вернее, спор, — послышался в трубке уверенный и веселый голос Хаджи. — Хочешь знать, именно эта не очень зрелая мысль и послужила отправным пунктом для вашей новогодней операции, которую разрабатывал и проводил Фриц.

Подтверждение Хаджи рассеяло мои колебания. Поскольку описанный случай имел место, меня не должно касаться, соответствует ли это общим представлениям о Гореве или его служебной характеристике. Мой долг возможно более последовательно и как можно более правдиво излагать запечатлевшиеся в памяти события, психологическое же их согласование, их историческое осмысление предоставляются читателю.

Незадолго перед католическим рождеством Лукач обзавелся переводчиком — барселонским строительным рабочим из венгерских политэмигрантов. Фамилия его была Крайкович. Прожив несколько лет в Барселоне, он бегло говорил по-испански и по-итальянски, а так как ранее помыкался по Франции, то и по-французски. Крайкович был венгерским коммунистом, однако в Испании вступил в анархистский профсоюз. Но когда я возмутился такой беспринципностью, Крайкович, помаргивая белесыми ресницами, возразил, что на стройках иначе нельзя: попробуй не вступи в СеНеТе — на тебя или полная раствора бадья с лесов перекувырнется, или кирпич в башку угодит.

Светлый шатен с серыми, навыкате глазами, Крайкович был демонстративным антиподом любому встречному испанцу, но при этом единственный из нас, не считая, понятно, Херасси и Прадоса да еще маленького Фернандо, хорошо знал обычаи страны, понимал психологию ее народа и в этом смысле стал для Лукача незаменим.

Несмотря на то что Крайкович повоевал — сначала в каталонской дивизии Карла Маркса на Арагонском фронте, а затем в батальоне Эдгара Андре, — в этом аккуратно носившем форму кряжистом краснолицем бойце с крохотной кобурой на поясе проступало нечто неискоренимо штатское, этакий себе на уме мужичок. В общении с комбригом, он держался почтительно, но не тянулся и больше походил на исправного фермера, беседующего с управляющим поместьем, чем на солдата перед генералом. Лукач как-то сказал, что Крайкович, несмотря на странствия по заграницам и длительный рабочий стаж, остался типичнейшим венгерским крестьянином. Плохо себе представляя, чем, собственно, кроме фольклорных признаков, венгерский крестьянин отличается от всякого другого, я принял слова

комбрига на веру, но при виде иногда посещавшей неподвижную физиономию Крайковича хитрой ухмылки мне начинало казаться, что если хорошенько его откормить, то и светлая масть не помешает ему по всем остальным статьям сойти за Санчо Пансу. Пока же недокормленный до художественного образа Крайкович прочно занял в машине мое место справа от Луиджи, а я отныне на правах адъютанта восседал рядом с комбригом.

Во время длительных поездок Лукач часто вступал в продолжительные беседы со своим переводчиком, но мадьярский язык, в котором обязательно ударение на первом слоге, был до того не схож ни с каким из европейских, так дремуче непонятен, что однажды, соскучившись, я допустил вольность и в паузе задал вопрос комбригу, в самом ли деле венгры, говоря по-своему, понимают друг друга или только мистифицируют посторонних. Лукач улыбнулся, извинился за невнимательность ко мне, но прибавил, что обижаться мне все-таки не следует. За двадцать лет оторванности от Венгрии его язык не мог не выцвести, не обеднеть без практики, а даже самое частое общение с другими проживающими в СССР мадьярами заметных результатов не дает: за многие годы варения в собственном соку речь их тоже вылиняла. Разговоры же с Крайковичем, сравнительно недавно покинувшим отчий край, помогают восстановить словарь, обогащают его народными речениями и оборотами, как бы спрыскивают если не омертвевший, то коснеющий во рту родной язык живою водою…

Почти одновременно с Крайковичем в штабе бригады на должности водителя шестиместной машины Фрица объявился все такой же изможденный Семен Чебан. По ходатайству Лукача жизнерадостный Тимар уступил бывшего моего респонсабля в обмен на краснощекого молодого мадридца, который до сих пор возил нашего советника, но с которым тот мог объясняться лишь как в пантомиме. И у меня, и у Семена времени было в обрез, во всяком случае на сепаратные собеседования его не хватало, случалось, что целую неделю мы ограничивались беглым приветствием при встрече, но по крайней мере я теперь знал, что этот огнеупорный, но внутренне нежный человек — здесь, совсем близко. Во всяком случае, мне предоставлялась порой возможность с чувством, близким к умилению, полюбоваться на каменный профиль Семена, когда он подавал черную карету Фрица, до мрачности серьезный, словно это была погребальная колесница.

Примерно тогда же оперативный отдел пополнился переведенным из батальона Гарибальди чуть ли не шестидесятилетним капитаном Галлеани. Стесняясь гонять его по

поручениям, Белов тактично приспособил высокорослого патриарха, с бородкой клинышком, к роли штабного виночерпия и хлебодара, к чему у доброго старика явно имелось душевное предрасположение. И уже на третьи сутки пребывания среди нас Галлеани, похвастав сногсшибательной американской авторучкой, прикинул на бумажке какие-то цифры и объявил, что на одном интендантском пайке съедобного меню не получится, а потому нам всем надлежит вносить на улучшение офицерского стола по две-три песеты в день. С той поры мы зажили. Беллини, встретивший поставленного над ним Галлеани враждебной иронией, постепенно смирился или притерпелся к его брюзжанию, отругиваясь, правда, по-итальянски себе под громадный нос на каждое слово. Зато повара, распознав в Галлеани искушенного гурмана, относились к нему, как и все виртуозы к тонким ценителям, почти подобострастно. Поваров у нас к этому времени было уже двое: к ранее по милости Галло заведшемуся итальянцу из парижского ресторана недавно — в знак внимания к национальной принадлежности командира бригады — прибавился еще и венгр, как и его итальянский коллега тоже прошедший парижскую выучку, тоже рослый, полный и не менее тихий. В одинаковых фартуках, с шумовками в руках, они походили на приставленных к плите парных часовых и различались лишь тем, что итальянец был лыс: прилизанные смоляные пряди начинались у него повыше лба и за висками, откуда, понемногу густея и завиваясь, спускались на шею; венгр же был плешив, и редкие каштановые волосы окружали голое темя нимбом, как на изображениях апостола Павла. Кроме разных шевелюр у наших поваров были и разные кулинарные пристрастия, в основном национального происхождения. В результате устраивавшую большинство французскую кухню постоянно оттесняли то ризотто с шафраном или родственные сибирским пельменям равиоли, то вдруг прожигающий внутренности паприкаш, приводивший не столько даже Лукача, отвыкшего от него, сколько Белова в форменный гастрономический энтузиазм.

Удивительно ли при всем этом, если прибывшие в штаб, бригады по делам или заглянувшие проездом товарищи охотно принимали приглашение отобедать с нами. Чаще других наши трапезы разделяли: теньенте-коронель Паччарди, обычно привозивший с собой кого-нибудь из младших офицеров, третий по порядку командир польского батальона длинношеий Павел Шклиняж в неизменном сопровождении рябого Янека Барвинского, напоминающий параллелепипед артиллерист Мигель Баллер (Белов звал его попросту Мишей, что полностью

оправдывалось правильностью, с какой Баллер изъяснялся по-русски), иногда садился с нами за стол и шумный Массар, но без Пьера Гримма. Из испанцев часто обедали походивший на английского кадрового офицера в киплинговском стиле и командовавший бригадой композитор Дуран да еще подлинный кадровый испанский полковник Мангада, разговорчивый и легкий, больше похожий на дряхлеющего дирижера, чем на командира колонны, пять месяцев оборонявшей проходы через Сьерра-де-Гвадаррама, а сейчас спустившейся оборонять Мадрид. Нередко пользовались хлебосольством Лукача и Белова попадавшие в Фуэнкарраль и советники: майор Лоти, майор Ратнер, а однажды и Михаил Кольцов. В период кратковременного затишья наши по французскому обычаю поздние, заменявшие ужин, обеды затягивались, за кофе гости засиживались, случалось, до полуночи, и тогда наша столовая превращалась в подлинный клуб.

С Паччарди обыкновенно приезжал адъютант батальона теньенте Браччаларге — лет двадцати двух или трех стройный итальянец из Аргентины, с овальным лицом и небрежно-изящными манерами, по убеждениям анархист. Представляя нас одного другому при первом появлении адъютанта в штабе бригады, Паччарди назвал Браччаларге моим коллегой, пояснив, что он «тоже поэт». И пожимая по-обезьяньи длинную руку, как бы подтверждавшую право ее обладателя носить такую фамилию (кто-то из говоривших по-русски итальянцев, переводя ее, назвал Браччаларге в шутку «князем Долгоруким»), я вновь испытал неловкость, как и, всякий раз, когда мне напоминали, что во время оно я не избежал участи всех сентиментальных молодых людей и тоже кропал стишки.

Кроме лирического анархиста Браччаларге с Паччарди периодически являлись и коммунисты братья Марвины: старший Романо, именовавшийся у нас привычнее — Романом, и Альбино. Для родных братьев они были поразительно несхожи и внешностью (не считая одинаково высоченного роста и сшитой у общего портного униформы) и характером. Грубую, но правильную физиономию Романа портило выражение угрюмого недовольства, подобно Кригеру, он постоянно находился в состоянии раздражения на кого-нибудь или на что-нибудь, самые невинные остроты выводили его из себя, и даже держа руки по швам перед вышестоящими, он смотрел на них исподлобья. В противоположность брату очень некрасивый, большеротый и губастый Альбино, с маленькими глазками, запрятанными глубоко под брови, излучал по-детски непосредственную жизнерадостность, по словам очевидцев, не покидавшую его и в

пережитых батальоном тягчайших передрягах. К начальству — от ближайшего и до Клебера — он относился с подкупающим доверием, но вел себя не слишком по-воински, а скорее как комсомолец двадцатых годов, получающий ответственное партийное задание от авторитетных старших товарищей; со всеми прочими Альбино держался на дружеской ноге, а с некоторыми — в том числе почему-то и со мной — словно мы знакомы со школьной скамьи. Единственный, кто вечно вступал с Альбино в пререкания, был его брат Роман, что вызывалось, вероятнее всего, оскорбленным родовым чувством: будучи старшим, он командовал взводом, тогда как Альбино еще в Альбасете был назначен командиром роты, в каковом качестве помимо мужества проявил и незаурядную распорядительность.

Братья Марвины приехали из Москвы, где, надо думать, обучались в военной школе, потому что кроме русского языка владели и военной терминологией на нем, не случайно также оба сразу же получили командные посты, а главное, знали превеликое множество красноармейских строевых песен. И Роман и особенно Альбино, как и положено итальянцам, отличались музыкальностью и на профессиональном уровне исполняли дуэтом неаполитанские песни, но не давным-давно замызганные сперва граммофонами, затем патефонами, а никогда никем из нас не слышанные, мелодически не уступающие, однако, самым популярным. Мы подолгу восхищенно внимали разливающимся соловьями братьям, а они, переглянувшись, вдруг сменяли репертуар и нарочито одичалыми голосами солдатских запевал заводили в темпе егерского марша:

Есть, комроты!
Да-йешь пулеметы!
Да-йешь батарей,
Чтобы было веселей!..

И тогда все, за исключением снисходительно улыбавшегося Паччарди, Херасси с Прадосом и Морица, не скрывавшего отвращения к поднимаемому нами шуму, подхватывали:

Хором, хором по-ойте дружно,
Комсомо-ольцам эта-та нужно,
Па-айдем, па-айдем
За сове-ецкую власть помрем!..

Понемногу и в отсутствие Альбино с Романом застольные

хоры по вечерам, после кофе, привились и закрепились в нашем быту. Распевались преимущественно русские и французские революционные песни. По-русски начинали со старых — с «Варшавянки»,и «Смело, товарищи, в ногу…», потом переходили на советские, периода гражданской войны: «По долинам и по взгорьям…», «Белая армия, черный барон…», «Каховку», дальше — на комсомольскую «Вперед, заре навстречу…» (почему-то минорную), а там и на вошедшую повсеместно в моду, благодаря фильму «Юность Максима», шуточную и лирическую «Крутится-вертится шар голубой…» или на величаво-патриотическую «Широка страна моя родная…». Последние две сходили за революционные, поскольку все, приходившее из СССР, казалось, несло в себе дыхание Октябрьской революции. Исчерпав запас русских, переключались на французские, которые в той или иной степени были доступны всем (за изъятием Бареша и, конечно, Морица, при первых же тактах «Марсельезы» демонстративно удалявшегося спать). Лукач, например, и не зная слов, старательно подтягивал. За «Марсельезой» наступала очередь «Са ира» в традиционном сплаве с «Карманьолой», а там и французской «Молодой гвардии» — мажорной — на стихи Вайяна Кутюрье… А однажды темпераментное трио в составе Белова, Христова и Николая Оларя исполнило бравурную болгарскую «Работници, работнички…», и жаль стало, что она хотя и долетела с Балкан до Пиренеев, в остальной Европе неизвестна.

Текст некоторых распеваемых нами песен подвергался конструктивным изменениям в духе времени. Так «Дальневосточная партизанская» завершалась в новом варианте довольно самоуверенно: «И на узком Гибралтаре Свой закончим мы поход». В «Са ира», взамен прозвища Марии Антуанетты «Мадам Вето», фигурировал «месье Франко», и он, естественно, «обещал перерезать горло» не «всему Парижу», а «всему Мадриду», да и рефрен призывал теперь вздергивать на фонари не всех «лэ буржуа», но «ту лэ фасист». С каким бы, однако, подъемом ни подпевал Лукач этим мобилизующим песнопениям, он не скрывал, что все же предпочитает им другие — обычные народные, сложенные в мирные времена, и в первую очередь, конечно, родные мадьярские, которых он знал неисчислимое количество и смаковал, словно увлеченный собиратель венгерского песенного фольклора, причем пел их Лукач всегда поневоле соло, так как Баллеру, по его словам, «медведь на ухо наступил», а перегруженный Тимар в штабе не задерживался. Не менее, кажется, чем свои мадьярские, Лукач любил украинские песни и не повсюду распространенные, вроде «Реве та стогне

Дніпр широкий…» или «Розпрягайте, хлопці, коні…», но и мало вне Украины известные, из которых ближе всего к его сердцу лежали «Стоїть гора висока, Попід горою гай, гай…» и особенно «Вербо, вербо, де ти росла…». Нечего и говорить, что мы быстро освоили их и стали петь хором.

При содействии Прадоса наш репертуар обогатился и двумя испанскими номерами. Первым была рожденная в окопах на редкость выразительная песня о пятом полке; в припеве ее чистосердечно перечислялись по фамилиям те его командиры, с какими бойцы предпочитали идти в огонь — с Галаном, с Модесто, с Листером и с Кампесино; к ним при каждом перечислении присовокуплялся и комиссар команданте Карлос. Вторая — прелестная старая песенка «Четыре погонщика мулов», в которой взамен бесхитростной вдовьей жалобы на глупого мула, утонувшего при переправе через реку вместе с ее мужем, погонщиком, был подставлен актуальный текст о четырех наступающих на Мадрид мятежных генералах; сочетание чисто испанской — горестной и одновременно бойкой — мелодийки с полусатирическим содержанием придавало этой песенке невыразимое очарование; мы без конца повторяли ее, и нас ни капельки не смущало, что, вопреки содержавшимся в ней заверениям, фашисты уже давно занимали преобладающую часть Каса-де-Кампо и захватили Французский мост, ибо суть была отнюдь не в том, в чьих руках все это, а в чьих (несмотря на все это!) Мадрид.

Как-то раз Альбино Марвин, заехавший к нам в обед с записочкой от Паччарди и прихвативший с собою брата, запив последний глоток красного вина первым глотком черного кофе, положил руку на плечо Романа, откинулся на задних ножках стула, подманил Беллини, выставившего нос из кухни, и втроем они запели по-итальянски марш, звучный, как хорал. К ним немедленно подключились наши испанцы, за ними Лукач с Беловым и сидевший рядом со мною Кригер, заметно фальшививший. Внезапно мурашки волнения щекотнули мне шею и щеки: я узнал песнь, которую пели югославские добровольцы на крепостной стене Фигераса под колыхавшимся в лучах восходящего солнца анархистским стягом.

— Итальянская «Бандьера росса». По-русски «Красное знамя». Странно, как можно не знать. Революционеры всего мира поют ее, — кольнул меня Кригер, когда я захотел узнать, какую песню они спели.

Судя по тому, что тогда ее пели югославы, а сейчас трех итальянцев поддержали венгр Лукач, болгарин Белов, испанцы Херасси и Прадос и даже он, немец, Кригер был прав. Тем не

менее за шестилетнее пребывание в Париже мне ее слышать не доводилось. Недаром французскую культуру называют сферичной. Она и впрямь очень замкнута, и объяснить это нетрудно: французам ее в общем хватает, в частности — и в области революционных песен, как-никак, но и «Карманьола», и «Са ира», и выразившая порыв целого века «Марсельеза», наконец, и сам «Интернационал» сложены во Франции.

Впрочем, одно из подтверждений международного признания «Бандьера росса», то, что ее знал наизусть германский коммунист Кригер, было непоправимо скомпрометировано уже на следующий день. Альбино Марвин, явившийся за ответом на вчерашнюю бумажку своего командира батальона, войдя, поздоровался, как всегда, по-русски со мной и с писавшим в углу докладную Кригером и тут же, как я решил, по рассеянности, обратился к нему на итальянском. К изумлению моему, начальник разведки застрочил в ответ на чужом языке словно швейная машинка, как умеют одни итальянцы. Когда нимало не удивленный этим Альбино прошел к Белову, я отпустил Кригеру комплимент, до чего, мол, здорово для немца он чешет по-итальянски, на мое ухо немногим хуже Марвина. Но Кригер, с оправданной на сей раз обидой, возразил, что я порю чушь. Ну откуда я взял, будто он немец, когда он родился в Италии от итальянских отца и матери и всегда был, есть и будет итальянцем…

— Как откуда взял? — смятенно оправдывался я. — А фамилия…

— Фамилия! — фыркнул Кригер. — Кто тебе сказал, что она настоящая? Почему ж тогда братьев Марвиных с их фамилией ты держишь за итальянцев, у них она тоже не итальянская, да и сами они словенцы…

В январе, после прибытия на Центральный фронт Четырнадцатой интербригады под командованием генерала Вальтера, Кригер с согласия Лукача перевелся в нее. Вскоре генерал Вальтер, превыше всего ценивший в подчиненных храбрость, понаблюдав Кригера в боевой обстановке, доверил ему приданный бригаде испанский батальон. Справедливости ради скажу, что если Лукача не удовлетворяла деятельность бригадной разведки под началом Кригера, то и после его ухода она не стала функционировать лучше, хотя во главе ее был поставлен выписавшийся из госпиталя Алекс Маас, тот самый немецкий поэт, тяжелое ранение которого так огорчило в свое время Лукача. Что же касается Кригера, то очень долго я ничего о нем не слыхал, пока проездом через Альбасете осенью 1937, года не

узнал от Белова, что Кригер по-прежнему у Вальтера, только уже в штабе его дивизии, и произведен в майоры.

— Знал бы ты, как он проводил отдых…

Я высказал догадку, что скорее всего у моря под Валенсией, там есть места почище, чем на Лазурном берегу.

— Как бы не так, — очень довольный, что может меня поразить, отозвался Белов. — Ты, я вижу, позабыл нашего Кригера. Получив заслуженный десятидневный отпуск, он сперва решил провести его там, где ты предположил, в Беникасиме, но сначала завернул сюда, показаться в итальянском отделе кадров. Узнав от меня, что не сегодня завтра начинается наступление на Сарагосу и что Тридцать пятая дивизия в нем участвует, Кригер плюнул на все и помчался обратно на Арагон, а там, не являясь в дивизионный штаб, поскольку числился в отпуске, раздобыл винтовку, понавешал на пояс ручных гранат и пошел с атакующей пехотой брать Кинто. Честное слово. Говорят, отпускник и первым же на колокольню взбежал, откуда фашистские пулеметчики продолжали поливать площадь уже освобожденного селения…

Впервые после того как мы распрощались в Эскориале, я повидался с Кригером там же, в Альбасете, на праздновании годовщины основания интербригад. Он и в самом деле носил на рукавах такие же, как у Белова, широкие золотые полоски, показывающие, что ему присвоено звание «команданте», в остальном же ничуть не изменился, разве только обижался реже. Последняя наша встреча относится к марту 1940 года. Мы прямо-таки столкнулись на углу Моховой и улицы Горького, в двух шагах от подъезда «Националя» и, хотя до того никогда не видели один другого в штатском, не обознались. То ли от неожиданности, то ли на него подействовала сменившая небывалые морозы той зимы оттепель, но Бьянко, как по-настоящему звали Кригера, отнесся ко мне теплее, чем когда-либо прежде, и мимо американского посольства мы прошли еще в обнимку. Я проводил бывшего Кригера до улицы Коминтерна, но так как он из конспирации сказал, что идет в Ленинскую библиотеку, я сделал вид, что верю, и от приемной Калинина повернул обратно. Больше мы не видались. Пока я отбывал в Заполярье определенный мне ОСО срок заключения, Кригер вернулся на свою солнечную, как Испания, но освобожденную от фашизма родину. После моей реабилитации и возвращения в Москву Кригер дважды наезжал в нее, чтобы навестить дочь Ольгу Винченцевну Бьянко, заведующую кабинетом славяноведения в ФБОН, но оба раза болезни — сначала моя, потом его — помешали нам свидеться.

Незадолго до конца года на мадридском фронте произошло

одно малозаметное, но немаловажное событие: сняли Клебера. Официально его, собственно, не снимали, просто в связи со стабилизацией положения упразднили сектор; которым он командовал, нового же назначения не предложили. И в результате Клебер остался не у дел. Новость привез Фриц, но, изменяя своей прирожденной дисциплинированности, сообщил ее с оттенком неодобрения в голосе. Неожиданно для меня Лукач открыто возмутился. Он обозвал генерала Миаху завистливой бабой и плешивым иезуитом, а отбушевав, подошел к окну, припал к стеклу лбом и, барабаня пальцами по раме, долго рассматривал, как Пакита и Леонора развешивают выстиранное белье. Насмотревшись, комбриг прошелся из угла в угол и велел подать машину.

Через четверть часа «форд», прорезав Эль-Пардо, уже останавливался перед бывшей жилплощадью испанских королей. Оставив меня в машине, что он делал крайне редко, Лукач по пустому каменному двору проследовал к левому крылу дворца, без наружных часовых выглядевшего как закрытый для перемены экспозиции музей; а ведь еще вчера в той части, куда вошел Лукач, размещался штаб сектора и перед высокой сквозной оградой толпились автомашины и мотоциклы, а по каменным плитам не смолкал гул шагов. Прошло не больше получаса, и комбриг вышел в шинели нараспашку. Звонко постукивая тростью, он направился к открытой рядом с замкнутыми воротами калитке. Пока Луиджи мчал нас домой, Лукач говорил, удовлетворенно откинувшись на спинку сиденья:

— Может, мне с Клебером, продолжай он сидеть у нас на шее, сроду не удалось бы покалякать по душам, а при таких обстоятельствах получилось. Но начал я не с комплиментов, а выложил перво-наперво, что не могу забыть, как он себя в ноябре с нами повел, упрекнул и в том, что он интербригаду на чечевичную похлебку променял, а уж после высказал и другое. В частности, что не совсем зря его еще недавно «спасителем Мадрида» величали, пусть даже так ни про кого говорить нельзя: не будь на то воля самого народа, не пойди он на невиданное самопожертвование, никакой военный гений не смог бы уже почти взятый город отстоять. Однако Клебер, как ни крути, а больше любого другого в часы пик сделал, и с ним отвратительно поступили — неблагодарно и неблагородно. Мало того, для самооправдания пустили версию, будто он столковывался с анархистами против Ларго Кабальеро. Убежден, что клевета!.. И все же Клебер, между нами говоря, остается для меня загадкой[42].

Дней за пять до католического рождества, которое по многовековой традиции празднуется во Франции всеми, вплоть до активных атеистов, я напомнил Белову, что телефонисты и охрана штаба первого набора едва ли не единственная из бойцов бригады, кто с Фигераса не увольнялся в отпуск. Белов, с легкой иронией похвалив меня за заботу о людях, тут же дал соответствующие указания Барешу и Морицу.

Бареш не проявил энтузиазма, но произнес «будет исполнено» и немедленно подсадил на уходящий в Мадрид камион Казимира на пару с Гурским. Мориц же, занявший своих гномов перематыванием нескольких километров провода на новые, облегченные катушки, затрясся от негодования и начал опротестовывать решение Белова такими доводами, словно ходил в заместителях Емельяна Ярославского, в бытность того предводителем воинствующих безбожников. Опешивший было от столь идейно выдержанного отпора Белов принялся уламывать старика, но Мориц, поджав узкие губы и уставившись в пол, был глух ко всем доводам, и хотя ему ничего не оставалось, как подчиниться, он, даже уходя, продолжал спиной выражать упрямое сопротивление.

И оно было, не пассивным. Спустя некоторое время Мориц постучался опять и, с плохо прикрываемым стеклами очков торжеством во взоре, предъявил Белову протокол общего собрания штабных связистов. На нем присутствовали все девять бойцов, сарженто Ожел и теньенте Мориц, председательствовать же этот хитрец пригласил Клоди, недавно назначенного комиссаром служб штаба бригады. Из протокола вытекало, что по предложению сарженто Ожела участники собрания единогласно приняли резолюцию, осуждающую те несознательные элементы, которые совместно с реакционерами всех мастей празднуют мифический день рождения никогда, как установлено наукой, не существовавшего Иисуса Христа. В заключение резолюция провозглашала, что телефонисты штаба в столь решительный для судеб мировой революции момент категорически отказываются от предложенного отдыха, а тем более от всяческих увеселений, вплоть до окончательной победы над ненавистным фашизмом. Соединение в резолюции газетного стиля с напористостью свидетельствовало, что автором ее был не Клоди и уж, конечно, не Мориц, удовольствовавшийся ролью тайного вдохновителя, а вероятнее всего — Ожел.

— Вот, последовал твоему гуманному совету, — попрекнул меня Белов, отпустив восвояси Морица, на затылке которого победоносно вздыбился седой хохолок, — и в результате в мракобесы попал. И поделом. Ведь наши-то телефонисты все как

один поляки еврейского происхождения, отцы, небось, еще в синагогу ходили, а я силком заставляю их христианское рождество отмечать…

Гурский и Казимир вернулись в Фуэнкарраль еще засветло и не навеселе, как можно было ждать, а наоборот, в чрезвычайно строгом настроении.

Пригласив меня по старой памяти в помещение охраны, большая часть которой была мне уже мало знакома, Гурский потребовал, чтоб я завтра же устроил перечисление их обоих в батальон Домбровского, прошло, почитай, с месяц, как я обещал это, сколько же можно откладывать.

На мой вопрос, чего это вдруг им так приспичило, Гурский рассказал, как они сегодня повстречались в мадридском кафе с отпускными домбровцами, а меж них углядели — подумать! — трех хлопаков из собственного их шахтерского городка, может, и слыхал, это к северу от Лилля. Если я вправду им с Казимиром товарищ, то обязан, понять, что служить больше в штабе бригады им вовсе не можно, стыд берет…

Бареш, когда я подсунул ему рапорт Гурского и Казимира, немного для фасона поломался, но, поскольку он лишь предвосхищал его же намерения, поставил под их закорючками свою подпись.

Я и позже, посещая по делам польский батальон, неоднократно встречался с Казимиром и Гурским, а раз им даже удалось довольно жестоко подшутить надо мной. Случилось это в конце января северо-восточнее Арганды на заключительной стадии маневров, перед подготовлявшимся республиканским наступлением к западу от реки Харама. На них присутствовал начальник оперативного отдела штаба Центрального фронта полковник Касадо, который через два с небольшим года прославился как предатель, обеспечивший военную часть противокоммунистического переворота в Мадриде, а тем самым и сдачу его Франко. Лукач, давно, с первого контакта, интуитивно невзлюбивший Касадо, обязан был в продолжение всех маневров неотлучно находиться при нем. Касадо сопровождал недавно появившийся в Мадриде новый советник с сербской фамилией Петрович, в которой все вокруг да и он сам переставляли ударение на привычный лад, произнося ее как русское отчество.

Почти с зари коронель Касадо, хенераль Петрович, еще один неразлучный с ним советник, называвшийся ни больше ни меньше, как Валуа, но, слава богу, не требовавший, чтоб его титуловали герцогом, переводчица Хулиа, похожая на некрасивую испанку с бесформенной фигурой, зато, как говорили, абсолютно

бесстрашная, Лукач, Фриц, Херасси и я блуждали по крутым холмам вслед за то всползающими на них, то сбегающими вниз батальонами. Наконец на занятой поляками высотке Касадо задержался и навел бинокль на дальние склоны, как муравьями усеянные передвигающимися гарибальдийцами. Хотя по календарю полагалось быть зиме, полуденное солнце пригревало по-весеннему, и всем, особенно же одетым в теплое бойцам, сделалось жарко. Меня же, кроме прочего, мучила жажда, так как в утренней спешке я отказался от слишком горячего кофе.

Воспользовавшись остановкой, я отошел к отделению, занимавшему оборону по гребню холма, и спросил, нет ли у кого напиться. Никто из лежавших поблизости не отозвался, но правофланговый, не разобрав, должно быть, на расстоянии, что мне нужно, вопросительно повернулся ко мне, и я узнал Гурского. Получив разъяснение от соседа, он, как всегда, предварительно прочистил горло и сипло крикнул, что в такое пекло у каждого, что было, давно вышло, но у Казимира, у того должно еще оставаться. Лежавший спиной ко мне Казимир, которого я не опознал из-за каски, перекинул через нее ремень фляжки и, не оборачиваясь, протянул назад. Фляга действительно оказалась почти полной, а ее суконная обшивка, чтоб содержимое не нагревалось, была облита водой. Всем существом предвкушая утоление неистовой жажды, я потянул цепочку от пробки и, чтоб не дотрагиваться до горлышка губами, запрокинул голову и поднял флягу. Уже переворачивая ее, я краешком глаза подметил, что Казимир, а с ним и многие из отделения выжидающе смотрят на меня, Гурский же, с риском получить замечание, даже на локтях приподнялся. Но на догадки, что бы это могло означать, времени не осталось. Желанная влага струей хлынула мне в горло, однако на первом же глотке я жестоко поперхнулся, и пароксизм раздирающего грудь кашля обуял меня; одновременно внутренности как огнем обожгло. Проклятая фляжка оказалась налитой ничем не разбавленным коньяком, попав в пересохшую гортань он подействовал вроде крутого кипятку. Заткнув рот платком, я старался — под безжалостный хохот справа — унять напоминающий припадок коклюша неприличный кашель. Когда это удалось, я незаметно вытер проступившие слезы, забил пробку и шагнул к продолжавшему посмеиваться Казимиру. Теперь я овладел собой достаточно, чтобы, отдавая флягу, внятно поблагодарить его и даже присовокупить, что вот, мол, какой нехороший коньяк стали продавать — наполовину с водой. Разочарованный тем, как жертва легко выкарабкалась из подстроенной ей ловушки, Казимир досадливо заявил, что я, видать, совсем упился, скоро начну анисовую за молоко

принимать.

Приблизительно через две недели, в роковое для батальона Домбровского 13-е число февраля, на точно таком же холме, но по ту сторону Арганды при выходе из почти полного окружения Казимир был убит.

Гурский тогда уцелел. Уцелел он и в тягчайших мартовских боях против экспедиционного корпуса Муссолини, но вскоре трагически погиб в тылу. По приказанию Янека, который того же 13 февраля вступил в командование батальоном вместо раненого Павла Шклиняжа, несчастный Гурский был расстрелян за самочинную пальбу из винтовки по «юнкерсам», пролетавшим над расположенным в стороне от магистральных дорог, возле местечка Меко, тихим селением, где стояли на отдыхе домбровцы. Дело было ночью, а в распоряжении Гурского имелась обойма трассирующих, поэтому сочли, что он демаскировал местонахождение батальона, да сверх того существовал и специальный приказ. Бареш, неисповедимыми путями всегда осведомленный обо всем, что бы ни произошло в бригаде, бесстрастным тоном сообщил мне эту невероятную весть. Она была слишком страшна, чтоб легко принять ее на веру, а потому я при первой же возможности в лоб спросил Янека, правда ли, что он расстрелял Гурского. И Янек спокойно подтвердил: да, его пришлось расстрелять, но раньше, чем мое негодование успело прорваться, прибавил, что вина Гурского не в одних нахальных нарушениях дисциплины. Тен Гурский уже давно был взят на подозрение. Он, к примеру, позволял себе задавать провокационные вопросы комиссару роты, вступал в споры на политбеседах, а когда его арестовали, как злостного нарушителя отданного командованием бригады аж в ноябре минувшего года приказа о запрещении вести индивидуальный огонь по фашистским авионам, так при обыске нашли захованную под подушкой троцкистскую литературу. Чего еще надо? Советский товарищ, который представляет в Мадриде органы, едва ему доложили, что у нашего бойца конфискованы антипартийные брошюры на французском, а именно стенограммы московских процессов с предисловием, берущим под защиту отъявленных врагов народа, порасспросил, какие приметы Гурского, взглянул на его карточку и ответственно указал, что вне всякого сомнения он и является тем подлым изменником, какой завязал тайные сношения с пилсудчиками из здешней польской легации. И опытный этот товарищ объяснил, что с месяц назад наблюдатели засекли неизвестного бойца интербригад, как раз очень высокого, который, прогуливаясь по столице, словно нечаянно забрел в квартал дипломатических представительств. Бродил этот тип по

нему, бродил, а как завидел польский флаг — шмыг под него в двери посольства. Побыл он там недолго, ровно столько, сколько нужно, чтоб шпионские сведения передать, а после ловко замешался в толпу на Гран-Виа…

Немало пережив бок о бок с Гурским и зная его непокладистый нрав и склонность к противоречию, я не мог поверить довольно в общем черствому Барешу. Янек же был не только бесстрашным, но и добродушным человеком, очень, кроме того, неглупым, а тут еще и ответственный советский товарищ… Словом, мне ничего не оставалось, как примириться с казнью Гурского. Но вот миновало двадцать лет. Весной 1958 года, гостя в Болгарии по приглашению Белова и Петрова, на устроенном последним (дома его звали Фердинандом Козовским) обеде в мою честь, я познакомился с заведующим отделом ЦК другаром Рубеном Аврамовым, занимавшим довольно значительный пост и в Испании. Беседуя с ним, я в какой-то связи упомянул о Янеке Барвинском и впервые услышал, что его в 1938 году освободили от обязанностей командира Тринадцатой интербригады (Рубен Аврамов выразился менее обходительно: «мы сняли его») не в порядке, как я думал, обязательного тогда сомнения в благонадежности чуть ли не каждого польского коммуниста, а за то, что Янек был излишне скор на руку. Постепенно узнавалось и многое-многое другое. И теперь, вспоминая о Гурском, я вижу в нем одну из бесчисленных жертв безвременья, которое мы в верноподданническом экстазе величали «сталинской эпохой» и в которое люди, беззаветно преданные идее, ради нее готовые на смерть (в частности Янек Барвинский — он же Йозеф Стшельчик — был в декабре 1941 года заброшен в СССР в захваченную гитлеровцами Польшу и вскоре погиб неподалеку от родной Лодзи), под ее дурманящим воздействием, и притом с чистой совестью, истребляли себе подобных и совершенно невинных одного за другим…

Вслед за уходом на передовую Ганева, а затем Гурского с Казимиром, поддался общему поветрию и Юнин. Отказавшись от предложенной ему поездки в Мадрид («чего я там не видал»), он выклянчил у Клоди лист чистой бумаги, из экономии разрезал его пополам и, ссылаясь на свое неразборчивое письмо, пристал ко мне, чтоб я изготовил под его диктовку прошение Барешу. Зная, что Юнин не умеет писать и даже читать, но, стыдясь этого, когда просит что-нибудь ему прочесть, всякий раз жалуется на отсутствие очков, а если почему-либо берется за перо, сейчас же под предлогом дурного почерка передает его товарищу (расписываться Юнин, впрочем, научился), я не мог отказаться и слово в слово записал, все как ему хотелось. Бареш, обнаружив,

что ему подано «прошение», впал в транс, от которого, однако, не онемел, а наоборот, прочел Юнину полноценную лекцию о том, что прошения царские рабы писали, а свободные советские граждане подают заявления, хотя начинать их с «прошу» и не возбраняется. Преподанные Барешем правила современной бюрократической стилистики не обескуражили Юнина. Он послушно взял вторую половину бумаги и продиктовал мне положенное заглавие, однако вместо того, чтоб заявить о своем желании перейти в роту Остапченко, вторично продиктовал прежнее, начиная с затверженного: «Настоящим покорнейше прошу…» Осторожно, словно крапиву, держа между большим и указательным пальцами скрепленное грифом Бареша свое покорное прошение, вызывающе названное заявлением, Юнин зашел ко мне попрощаться, а заодно и объясниться.

— Одно с тобой, Лексей, другое с энтим братушкой. Очень уж он сомнительный! Никому-то он не верит, все-то тебе в душу зырит, все пытает, а не из кулаков ли, да как я во Францию иначе попал и прочее. Однако хрен с ним. Поважнее, что охота есть. Прежде, бывало, сколько разов безо всякого желания разных живых мужиков на мушку берешь, к примеру, немцев или хотя бы австрияков, потому как офицерье наказывало, а нынче своя воля, ну, не меньше чтоб пяток гадов снять за Ганева. И еще причина: наш дружок сердечный, Остапченко-то, с лазарета вызволился и, пишет, не сёдни завтра вертается, а с ним, не в обиду тебе сказать, служить всего сподручней, быдто, как по несознательному говорится, у Христа за пазухой.

То ли ему невероятно везло, то ли и вправду старого солдата пуля милует, но Юнин, не будучи хоть бы легко ранен, продержался в строю до решения Комитета по невмешательству о выводе всех сражающихся с обеих сторон иностранных добровольцев, то есть до осени 1938 года. С согласия возглавлявшегося Хуаном Негрином республиканского правительства все истинные добровольцы — бойцы, комиссары и командиры интербригад после душераздирающих всенародных проводов были под наблюдением международной контрольной комиссии репатриированы. Франкисты же к чему-то там придрались, а в результате моторизованные войска Муссолини, а также гитлеровский легион «Кондор», не упоминая уж о марокканцах, продолжали драться за Франко, и это именно итальянцы, предваряемые марокканскими патрулями, первые вступили в Барселону.

Так как Франция принимала обратно только собственных граждан да еще предоставляла транзитные визы имеющим

соответственную въездную американцам, канадцам, англичанам, бельгийцам, скандинавам, чехословакам и некоторым другим, чья родина была достаточно гостеприимна, то Юнин, Остапченко и прочие, подобные им, а в первую очередь итальянские, немецкие, польские, югославские и венгерские эмигранты остались в республиканской Испании на положении почетно интернированных. Когда же началось фашистское наступление на Каталонию и возникла угроза Барселоне, все они по призыву Андре Марти нашли в себе силы второй раз добровольно взяться за оружие и рядом с сохранявшими традиции Пятого полка лучшими испанскими бригадирами прикрывали исход беженцев и отступление воинских частей, неся, как всегда, в арьергардных боях особенно чувствительные потери. На французской границе защитники Испанской республики, а в их числе и остатки «волонтеров свободы» были разоружены, и Французская республика — последних вторично, но уже без всякого почета — интернировала их.

В конце 1956-го или в начале 1957 года мне позвонил Роман Кармен, с которым незадолго перед тем и ровно через двадцать лет после Испании мы очень тепло встретились, и сообщил, что меня очень хотел бы видеть «Женя Долматовский». Побывав в оправляющейся от трагедии Венгрии и напечатав в «Литературной газете» серию оптимистических путевых очерков, он в связи с ними получил взволнованное читательское письмо из Красноярского края, интересное не только тем, откуда оно направлено, но и тем, что читатель был не простой, а интербригадовец. В письме Долматовскому он горько жаловался, что вот в то время как в Венгрии, если верить статьям о ней в «Литературной газете», все участники интербригад награждены орденом с профилем Матэ Залка, в СССР их держат на поселении в Красноярской тайге. Чтобы как следует разобраться, насколько полученное им письмо соответствовало действительности, и установить, что представляет собой его автор, и правда ли, что он сражался в интербригадах, Долматовскому нужна помощь кого-либо в этих делах осведомленного. Поскольку его корреспондент утверждает, что служил под командованием генерала Лукача, орденом с изображением которого награждают венгерских ветеранов, Кармен рекомендовал Долматовскому меня.

Через час я уже стучался в дверь одного из кабинетов Центрального Дома литераторов. Долматовский принял меня без того плохо скрытого сострадания, какое проступало тогда почти у всех при обращении со свежеиспеченными реабилитированными, и, не теряя времени на предисловие, протянул мне распечатанный конверт. Содержание письма показалось мне,

несмотря, на тишину кабинета, поистине вопиющим, каждое слово в нем стенало, каждая строка кричала о нестерпимой несправедливости, хотя бывший доброволец из батальона Андре Марти излагал невероятные факты скорее сдержанно.

Как почти все бойцы и командиры интербригад, у кого не было признательного или хотя бы снисходительного к ним отечества, он по окончании испанской войны попал в концентрационные лагеря на французской территории. После двух лет содержания в них, а в период петеновского режима — в особо строгом Верне, измученных и телесно и душевно людей переправили в Алжир, где опять же поместили за проволоку, Лишь весной 1943 года советская комиссия по репатриации вызволила выходцев из России. Сначала морем, а там через Палестину, Ирак и Иран их доставили в Красноводск, где около полугода ими занимались органы безопасности, пока наконец всем желающим и физически пригодным не разрешили вступить в Красную Армию. Нежелающих не оказалось, однако вскоре центр подготовки получил свыше указание отчислить трехкратных добровольцев и отправить в Красноярск в распоряжение крайисполкома. На месте им, как выразился автор письма, «выдали желтый билет — лицо без гражданства» со всеми вытекающими из этого состояния последствиями, то есть: поселением в пределах края под гласным надзором МГБ.

— Помните ли вы этого человека? — спросил Долматовский, когда я отдал ему письмо.

Фамилия Гельман мне ничего не говорила, но, даже обладая хорошей памятью, я не мог упомнить по имени всех, с кем встречался два десятка лет назад, даже и тех, кто состоял в Союзе возвращения: в одной нашей бригаде их было человек сорок. Однако по некоторым, имевшимся в письме подробностям, я мог поручиться, что Гельман служил в Двенадцатой, и притом именно во франко-бельгийском батальоне, и вообще тот, за кого себя выдает. А сверх всего для оказания ему полного доверия были основания и посущественнее написанных его пером и которые еще труднее вырубить топором: содержа Гельмана в Гюрсе, потом в Верне, а позже перебросив в Джельфу, французская полиция, особенно вишистская, знала, с кем и почему так обращается, и ее отношения лучше всяческих анкет и справок отражало политическую сущность Гельмана, как и всех, кто был с ним.

Долматовский поблагодарил меня, сказал, что сам, думает так же, а потому уже набросал вчерне обращение к Ворошилову, прося его по праву Председателя Президиума Верховного Совета вступиться за обиженных и восстановить законность.

После выхода первого издания книги О. Савича «Два года в

Испании» Я. Л. Гельман, переселившийся к тому времени в Новомосковск под Тулой, вступил с бывшим мадридским корреспондентом «Комсомольской правды» в переписку, а позже побывал у него в Москве. Через Савича несложно было разыскать и меня. Беседуя за стаканом чая с Я. Л. Гельманом, я внезапно, будто прожектор вдруг осветил наше общее прошлое, в пожилом усталом человеке узнал молодого черноглазого бойца, с которым часто встречался в первые недели обороны Мадрида. Теперь мне даже странным показалось, как это можно было не вспомнить его фамилию сразу.

Многое поведал в тот вечер Я. Л. Гельман. От него я узнал, что Остапченко, еще при мне, после повторного ранения в грудь под Гвадалахарой, заболевший туберкулезом, находился вместе с другими в Верне, а потом в Джельфе, сошел там с ума и скончался в больнице за день до того, как его товарищи и друзья отплыли в СССР. Зато Юнин, хотя и постарел, но выдержал все удары судьбы, доехал целым и невредимым до Красноводска, где был актирован, а тем самым избавлен от лесоповала в сибирской тайге, и, надо надеяться, добрался-таки в конце концов до родной деревни, откуда некогда его выдуло ветрами революции и вернуться куда он всю жизнь так страстно мечтал.

Лягутт и Фернандо были последними из старой ламараньосской гвардии, кого Бареш отпустил в Мадрид. Следующим утром в конце завтрака к Белову, закинувшему правую руку за спинку стула, а левой державшему над пепельницей сигарету, приблизился со спины круглолицый наш комендант и на ухо что-то доложил. Белов через плечо обменялся с Барешем двумя-тремя фразами и кивком подозвал меня.

— Вот он неприятную вещь сообщает: Лягутт вчера не возвратился из города, как должен был, к вечеру. Нет его и сейчас. Как ты это понимаешь?

— А по-моему, нечего и понимать, товарищ Белов, — вмешался Бареш, прежде чем я успел произнести хоть слово. — Самый недисциплинированный боец в охране этот ваш Лягутт, без уважения к старшим и легкомысленный какой-то, одни на уме шуточки да смехоточки. Подозреваю, не дезертировал ли?

— Ну, ну! — прикрикнул на него Белов. — Не торопись с подозрениями, на всю бригаду тень бросаешь. Посмотрел бы, как этот недисциплинированный в одних лохмотьях — голое тело просвечивало — ноябрьские ночи напролет простаивал, охраняя командный пункт на Пуэнте-сан-Фернандо. А если окажется, что товарища бандиты из Пятой колонны навахой в темноте пырнули? Ты как смотришь, Алексей? Не сходить ли тебе, — не дав ответить, продолжал он, — порасспросить Фернандо, они же

вместе увольнялись, Может, тот что знает?

Но Фернандо знал не больше нас. Он расстался с Лягуттом еще днем неподалеку от Пуэрта-дель-Соль, там они рядом в ресторане пообедали, очень дорого, но дешево только где по карточкам. Оттуда Фернандо отправился на поиски своих мадридских родственников, которых никогда раньше не видал. Однако по адресу, присланному летом, они уже не проживают, съехали неизвестно куда. Фернандо из квартала 32 Пласа-де-Торос зашагал обратно, погулял по центральным улицам, посмотрел на развалины после бомбежек и заранее пошел на Калье-де-Алкала, откуда коче должно было отвезти отпускников в Фуэнкарраль. Между тем Лягутт в назначенное время не явился, и сколько ни ждали, а пришлось уехать без него, и Фернандо ужасно беспокоится, что могло случиться с его приятелем.

У меня интуитивно возникло ощущение, что, Фернандо недоговаривает, но ни слова больше я выжать из него не сумел. Миновали вторые сутки. За ужином Белов доложил Лукачу об исчезновении Лягутта, но комбриг, которого мучила жестокая мигрень — последствие давней контузии, — отнесся к этому известию почти безучастно: сказал, что нужно куда следует написать, пусть ищут, и ушел спать. Белов тут же продиктовал Клоди необходимую бумагу и распорядился отправить ее немедля. Но и докладная в засекреченную инстанцию не помогла. Лягутт исчез бесследно, хотя его, вернее его тело, искали и в моргах. Протекли еще сутки, а на рассвете следующих потенциальный покойник приковылял самолично. Такое чрезвычайное происшествие заставило разводящего взбудить Бареша, а он, не умея объясниться с Лягуттом, без лишних разговоров арестовал его и, пока суд да дело, посадил в кладовую возле кухни, запер на висячий замок да еще часового приставил к превеликому неудовольствию девушек во главе с Пакитой, которым невозможно стало ходить по коридору. Исполнив свой долг, Бареш приступил к повседневной деятельности, но едва начальник штаба поднялся, доложил ему о возвращении Лягутта и о примененных к нему методах пресечения.

— И куда ты спешишь? — укоризненно удивлялся Белов. — Ходишь после ранения вразвалочку, опираясь на батожок, а все равно умудряешься всех опередить. Расспросил бы для начала парня, что с ним произошло, а ты сразу хвать за шиворот… Постой, постой. Опять торопишься. Раз уж посажен, пусть уж теперь посидит, подумает. Слушай, — повернулся Белов ко мне. — Как-никак, а Лягутт твой воспитанник, ты с ним и разберись. Только не сентиментальничай. Мы на фронте. Сам должен понимать, что такое самовольная отлучка перед лицом

врага.

Лягутт, привалившись к стенке чулана, расслабленно сидел на мешке с чечевицей и в полутьме походил и позой и лицом на снятого с креста; сходство с Иисусом Христом увеличивала наметившаяся за время отсутствия черная бороденка. Когда я вошел, оставив дверь открытой, Лягутт поднял на меня потухший взор и снова уронил подбородок на грудь. Я участливо спросил, что с ним случилось. Не поднимая головы, Лягутт глухо, но твердо ответил, что с ним ничего не случилось. Я чего угодно ждал, но не такого ответа, и несколько опешил.

— Как не случилось? А где же ты все это время был?

Лягутт поднял лицо. Мои глаза привыкли к кладовке, и я убедился, что, хотя оно пугающе исхудало, ничто, кроме худобы, и отдаленно не сближало его с ликом, о котором мне напомнила поза. Костлявая обросшая физиономия Лягутта выражала лишь усталость да еще какую-то обреченную виноватость, сродни той, что разлита по морде всегда послушного дворового пса, ни с того ни с сего сорвавшегося с цепи и пропадавшего Бог знает где, когда он, наконец, с запавшими боками и поджатым хвостом юркнет в свою конуру.

— Говори правду, где ты был? — строго повторил я, испытывая жалость к Лягутту, но одновременно и брезгливость к его немытым рукам с черной каймой на ногтях, к его спутавшимся жирным волосам, к измятой одежде, от которой исходили запахи пропотевшего сукна и въевшегося в него табачного дыма.

— Я скажу всю правду, пусть тебе и не понять ее, — согласился Лягутт. — И никому, никому не понять. Возможно, меня ждет расстрел, но я ни о чем не жалею, а если б и пожалел, все равно не смог бы поступить иначе…

Он замолк. Угадывалось, что ему не легко высказаться.

— Ты хочешь знать, где я был?.. Четыре ночи и три дня я провел в борделе, — обескураживающе просто признался он. — Фернан знал, куда я пошел, но Фернан настоящий друг. Я вижу, ты про себя подумал: «Что за важность, почему бы это помешало явиться в срок?» — взволновался Лягутт, заметив, что я передернул плечами. — Но, мой бедный старик, это был совсем не тот дом, что остальные. Я никогда не входил в такой, ручаюсь, что и ты подобного не посещал. Раньше это был бордель люкс, он обслуживал лишь самых богатых господ, в него собирали девушек, каких нигде больше не найдешь. И мне досталась лучшая из всех… Что ты смотришь на меня? Не веришь? Клянусь, за всю мою жизнь я не дотрагивался до такой, она была красивее знаменитейшей из кинозвезд. Мог ли я взять и уйти от нее потом,

как от какой-нибудь пятифранковой старой трески, завлекающей клиентов в темную подворотню?..

Лягутт засунул ладони между колен и покачал головой.

— Пойми, я с первого взгляда полюбил ее больше себя. Это как удар молнии…

Он опять замолчал. Я тоже не нашелся что сказать. Прервал паузу Лягутт:

— Пусть только скорей судят, раз нельзя иначе. Но что, ты хочешь — это было сильнее меня. Я и сегодня не ушел бы от нее, если б хватило денег. Они кончились еще вчера, но она позволила мне остаться еще на ночь и внесла за нее из своих. А когда я уходил утром, она расплакалась…

Лягутт потер веки рукавом и отвернулся. Я вышел из чулана. Часовой, плечом и щекой придерживая тесак винтовки, запер замок и отдал ключ. Зайдя на кухню, я попросил Беллини покормить Лягутта и направился доводить грустное дело до конца.

Оправившийся от мигрени Лукач, еще с тенями на лице, но сразу повеселевший, тоже находился в столовой. Я подробно передал начальнику штаба исповедь Лягутта. Белов, пока я говорил, крепился, но едва я привел последние слова моего «воспитанника», с размаху хлопнул ладонью по столу.

— Экий, мать его в лоб, герой Ги де Мопассана среди нас выискался! Но что всего больше возмущает, так это христианское всепрощение, которое так и прет из тебя! Послушать, ты будто непредвзято излагаешь факты, но тоном незаметно стараешься пробудить сочувствие к безобразно проштрафившемуся типу. А ведь твой Лягутт саморазоблачился, теперь всякому ясно, что никакой он не пролетарий, а выросший в болоте разврата жалкий люмпен, завсегдатай парижских клоак. Да солдата любой буржуазной армии за трехсуточное без уважительных причин опоздание из отпуска на верных полгода упекли бы, и то — в мирное время… Что будем делать с этой паршивой овцой, товарищ комбриг, пока, она нам все стадо не перепортила? Я за то, чтоб для примера принять самые суровые меры.

— Тебе сколько лет? — без видимой связи поинтересовался Лукач.

— Сороковой пошел, а что? — поднял Белов брови.

— А то, что Лягутту навряд ли больше двадцати пяти. Так, Алеша?

— Так точно: ровно двадцать пять:

— Видишь. Между этим парнем и нами с тобой пятнадцать годиков дистанции. Об этом надо помнить. Или ты забыл, как тебя в двадцать лет к девкам тянуло? Наказать его должно, но не

напоказ, для всеобщего устрашения, а соразмерно провинности и учитывая смягчающие обстоятельства. Считаю, однако, что оставлять его в охране штаба нецелесообразно: провинился он здесь, у всех на виду, и если мы чересчур мягко с ним обойдемся и вернем Барешу, как бы последний резонно не упрекнул нас в мягкотелости. Давай же направим великого грешника Лягутта подобру-поздорову туда, откуда он произошел, — во франко-бельгийский. Вы, Алеша, позаботьтесь в этих целях, чтобы ваш приятель написал ходатайство об уходе от нас по собственному желанию, пусть себе вернется в батальон незамещенным, на прощание же прочитайте ему от моего имени мораль, да покруче. Согласен, Белов? Значит, быть по сему. Нам-то с тобой равно что казнить, что миловать, а тому, кого милуют или казнят, — о-ох до чего ж не все равно…

О дальнейшей судьбе Лягутта я знаю очень мало, да и то понаслышке, — своим романом в публичном доме он набил мне некоторую оскомину… Сколько помню, в начале января, при взятии Альгоры, он был легко ранен, а по выздоровлении вернулся в строй, но когда во время боев на реке Харама я спросил о Лягутте командира батальона Бурсье, заменявшего раненного там же, под Альгорой, капитана Бернара, оказалось, что он никакого Лягутта не знает. Четвертый же по счету комиссар батальона (о Жаке читателю известно; ставленник Реглера, прекрасный комиссар Боман был очень скоро убит, а сменивший его Марсель Пэмпо еще скорее ранен), сухонький рыжий лионец Маниу рассказал, что Лягутта отпустили в Париж на похороны матери, но что-то уже около месяца его нету…

С того момента, когда необычно молчаливый Лягутт и старавшийся болтовней развлечь его Фернандо, с вещевыми мешками за спинами, прошли в калитку фуэнкарральской виллы и влезли в кузов интендантского грузовика, последние мои личные связи с охраной оборвались, но зато внутренне напряженные отношения с ревновавшим меня к ней Барешем сделались ровнее. Наблюдая неторопливую, но неугомонную деятельность этого, в отличие от всех окружающих, глубоко штатского человека и в форме похожего не на коменданта, а скорее на рачительного управдома, я лишний раз поражался умению Лукача приспособить каждого к будто специально для него предназначенной работе. Бареш отличался от всех нас не одной выправкой, но и определенными хозяйственными способностями, отнюдь не превращавшими его, однако, в этакого расторопного и беспринципного завхоза. Барешу было присуще бескомпромиссное чувство долга, предопределявшее

справедливую, хотя подчас и мелочную требовательность к подчиненным, но прежде всего к самому себе, последнее же качество помогало поддерживать на нужном уровне не только порядок в обслуге, но и воинскую дисциплину среди охраны. Главное же, с появлением Бареша штаб начал наконец обзаводиться собственным добром, жить без которого дольше становилось все трудней. Отныне, при спонтанных наших переездах с места на место, за нами следовал «ЗИС-5», издали напоминавший не то цыганскую подводу, не то воз с сеном, — так он был нагружен скатанными матрасами с подушками, простынями и одеялами внутри, мешками с турецким горохом, узлами, бутылями с оливковым маслом, бочками вина, котлами, тазами, оцинкованными корытами, кастрюлями, столовой посудой, чемоданами и прочей перетянутой веревками кладью. На самом верху, держась за них, восседали Беллини и взвизгивающие на ухабах четыре наших девушки. Все это хозяйство, вплоть до каждой бутылки и даже куска мыла, состояло под бдительным надзором Бареша и хранилось на запоре, ключ же доверялся одной Паките. И объяснялось это не скептическим, отношением к людям, а педантичной бережливостью Бареша, искренне рассматривавшего все, полученное в интендантстве стариной Галлеани, а тем более все изъятое из покидаемых вилл и палаццо, как находящуюся в нашем пользовании собственность испанского народа. За порчу или утерю самого ничтожного предмета Бареш долго и нудно пилил виновного, и от его нотаций не был избавлен никто, за исключением Лукача, по справедливости в них не нуждавшегося (мне никогда еще не приходилось встречать человека со столь ярко выраженным уважением к вещам), да еще Белова и Петрова — из чинопочитания.

Сама по себе хозяйственная въедливость Бареша вызывала во мне сочувствие. Чего я не мог понять, это пристрастия к письменной отчетности, которая каждодневно отнимала у Бареша бездну времени, тогда как одна-единственная авиационная бомба в несколько секунд уничтожала больше материальных ценностей, чем все, что было изведено на штаб бригады за двухмесячное его существование. Но однажды, когда я слегка проехался по поводу бухгалтерской мании Бареша, как всегда, усевшегося вечером подсчитывать потери и убытки за истекшие сутки, Белов осадил меня:

— Ежели ты воображаешь, что он ведет учет битым рюмкам и прожженным сигаретами салфеткам, то сильно заблуждаешься. Бареш число за числом описывает все происходящее в бригаде, рассказывает о боях, в каких она принимала участие, заносит

особо выдающиеся подвиги, поименно называет убитых. Одним словом, он взял на себя труд вести наш, так сказать, бортовой журнал, или лучше — летопись. Известно, что особой образованностью летописец наш похвалиться не может, но для летописца она и необязательна. Для последовательного и нелицеприятного изложения фактов важнее добросовестность, а ее Барешу не занимать. Но, помяни мое слово, этому рядовому, ни на что в личном плане не претендующему революционеру за его школьнически-аккуратные записи, над которыми не один ты посмеиваешься, еще когда-нибудь ученые люди в ножки поклонятся. Через какую-нибудь четверть века его дневник послужит надежным источником для всякого, кто будет заниматься историей испанской антифашистской войны, не говоря уже о незаменимом подспорье для тех из нас, кому суждено дожить до старости и кто возьмется писать воспоминания о делах давно минувших дней…

(Увы, но предсказание Белова не сбылось, и автору этой книги барешевская хроника ни в чем не помогла, как не поможет и никому другому. Но не надо предполагать, что коменданту осточертел его неблагодарный труд и он забросил его. Нет, день за днем он продолжал регистрировать все попадавшие в его кругозор события, во всяком случае, до мая, то есть до переформирования Двенадцатой интербригады в Сорок пятую интердивизию, когда, уступая уговорам Белова и Петрова, Лукач отрядил Бареша к Христову для укрепления штаба батальона Джуро Джаковича, развернутого на базе балканской роты. С того момента я лишь изредка встречался с Барешем, а после смерти Лукача и перевода меня в Четырнадцатый армейский корпус совсем потерял из виду нашего летописца. Тем не менее я и сейчас могу легко вызвать из глубины памяти его округлое крестьянское лицо, рыхлую, без талии, фигуру, обтянутую слишком узким френчем, палочку в левой руке и гроссбух под мышкой правой. В 1958 году, в Софии, я расспрашивал Белова, не знает ли он чего-либо о бывшем нашем коменданте, но кроме того, что Бареш после Испании провел несколько месяцев за колючей проволокой во Франции, а затем был вызволен и вывезен в Москву, к семье, Белов ничего не припомнил.

В начале шестидесятых годов ко мне пришла молодая женщина, отрекомендовавшаяся научным сотрудником Института славяноведения Надеждой Йованович. Эта сербская фамилия мне ничего не сказала, но незнакомка пояснила, что такова подлинная фамилия участника интернациональных бригад, которого я, возможно, встречал под именем Бареша и которому она приходится дочерью. На вопрос, где ее отец и что с ним, Надя

Йованович ответила, что она была еще девочкой, когда он пропал без вести в самом начале второй мировой войны. Сообщив печальную весть, дочь Бареша добавила, что, став взрослой, она вот уже многие годы тщетно пытается разузнать подробности исчезновения отца, да и вообще хочет получше его себе представить. С этой целью она разыскивает тех, кто его знал. Недавно она прочла книгу О. Савича «Два года в Испании» и посетила ее автора, а он посоветовал ей побеседовать со мной. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Бареш пропал при весьма неясных обстоятельствах, не удается даже с достаточной определенностью установить, был ли он мобилизован или же вновь призван на коминтерновскую службу. Надя Йованович побывала на родине отца, где повидалась с его товарищами по партийной работе и по интербригадам (среди последних она называла бывшего комиссара балканской роты, а позже и балканского батальона Дудека, которого я знавал); так вот они все убеждены, что ее отец был не мобилизован, но репрессирован. Дослушав ее монолог до конца, я рассказал все, что знал о Бареше и что, как может судить читатель, не слишком ее обогатило.

Протекло еще несколько лет. Однажды на происходящее по вторникам деловое собрание советских ветеранов испанской войны явился молодой человек, представившийся сыном Бареша и выразивший желание поговорить с кем-либо, кто встречался с его отцом в Испании. Молодого человека познакомили с Н. Оларем и со мной. Не знаю как Оларь, но я, должно быть, сильно разочаровал своего собеседника, поскольку ничего не смог прибавить к тому, что ранее рассказал его сестре, переселившейся, по его словам, в Югославию. Зато я услышал от сына Бареша некоторые факты, относящиеся к эпилогу биографии последнего, и притом настолько интересные, что их стоит привести здесь.

Главным и наиболее неожиданным из них было то, что, пока Бареш пребывал на испанских полях сражений, в Москве посадили его жену, а дочь и сына поместили в детдом. Так как задержание жены в связи с арестом мужа, как и наоборот, хотя и не являлось неотвратимым, но было достаточно широко распространено. Бареш по возвращении в Москву мог ожидать применения этой практики к себе и, следует полагать, находился в состоянии перманентной тревоги. Видимо, под ее влиянием он и решил перебраться куда-нибудь на расстояние от наводящих на дурные мысли мест и переехал в Киев. Именно там одинокий Бареш и сгинул безвозвратно в первые же дни войны, но что именно стряслось с ним, навсегда осталось загадкой. Во всяком

случае Министерство обороны до сей поры не смогло сообщить реабилитированной вдове ничего определенного. Точно так же никаких касающихся Бареша входящих или исходящих не обнаружили в своих архивах и органы госбезопасности. С другой стороны, кто-то из сохранившихся и осведомленных сотрудников отдела кадров Коминтерна заверил дочь Бареша, что ни малейших видов, по крайней мере в обозримом тогда будущем, на использование по этой линии скомпрометированного товарища не имелось. Так семья и осталась ни с чем: ни дорогой могилы, ни доброй памяти. Супруг и отец — да простится очень здесь подходящий старый штамп — навеки канул во мрак неизвестности. Вдова могла утешать себя лишь тем, что на первый период войны приходятся десятки тысяч подобных исчезновений, от своей множественности не делающихся, впрочем, менее трагичными в каждом частном случае. И потом, такой, почти астральный, переход в небытие до ужаса не соответствует всему существу Бареша, его рассудительной уравновешенности, его, я бы сказал, прозаичности, а главное, стопроцентной благонадежности. Стоит ли упоминать, что вместе с ним также потусторонне испарилась и его увесистая рукопись).

3

В католический сочельник мы раньше обычного выбрались из Фуэнкарраля, и, воспользовавшись этим, Лукач после того как наш шофер обменялся с разводящим круглой баррикады расходным афоризмом на приближающуюся ночь, назвал Луиджи какой-то неизвестный адрес… Свернув с ежевечернего маршрута, «форд» вскоре остановился в незнакомом переулке перед мрачным по вине затемнения, как и все мадридские дома, барским особняком. Тронув кнопку звонка, Лукач терпеливо подождал, пока откроют, однако дом был явно необитаем, в нем, едва отзвучала мелодичная трель, восстановилась прежняя нерушимая тишина. Лукач позвонил вторично, но снова напрасно потревожил нежилую пустоту. Он уже повернулся к машине, когда чуть звякнула задвижка глазка: кто-то пытался в сгущавшейся темноте рассмотреть звонившего.

— Салуд, камарадес, и мучас бомбас! — повторяя распространенную шутку, обрадованно крикнул комбриг. — Hier ist Лукач, эль хенераль эспаньоль Лукач!

Изнутри донесся смешок. Английский замок щелкнул. В неосвещенной передней с мавританским потолком и стенами из резного дерева, укрывая за дверью горящую свечу и еще заслоняя ее розовой ладонью, нам открыла та самая венецианская красавица, которой я издали любовался при первом посещении Клебера. Как и тогда, рядом с ней находился ее муж, похожий на патриция оперный певец. Лукач непринужденно, как со старыми знакомыми, поздоровался с ними. Оба, и муж и жена; искренне обрадовались ему. Хозяйка особняка, подняв свечу как факел, повела нас по мягким, словно перины, коврам через темные и нетопленые хоромы. Даже при свете синего, пригасавшего на ходу огонька они поражали своей роскошью.

Пройдя зал с громадным, как соборный орган, камином, в котором не только не горело ни поленца, но от которого, наоборот, веяло холодом, мы вошли в угловую комнату. Судя по обстановке, это был будуар. В медной, вроде большого таза, жаровне дотлевали угли, и к аромату тонких духов примешивался запах угара, но зато здесь было теплее, чем в соседнем зале. Когда хозяйка поставила подсвечник, оказалось, что нас ввели не в будуар даже, а просто-напросто в спальню, так как в глубине ее виднелись две, придвинутые одна к другой, пышные двуспальные кровати. Нетрудно было сообразить — особенно тому, кто жил в такой же промерзшей квартире на Мойке в 1918 году, — что во всех апартаментах одна эта комната жилая: в ней и спят, и едят, и

принимают гостей.

Лукача и меня усадили в кресла и налили нам жидкого кофе, наполовину с цикорием и притом без сахара, в антикварного фарфора чашки. Компенсировать качество кофе должна была неподражаемой формы, с изображенной на наклейках сургучной печатью, темно-зеленая бутылка, из которой нас попотчевали неподдельным бенедиктином; полакомиться им соблазнился даже Лукач, любивший сладкое. Между ним и светски любезной хозяйкой завязалась оживленная беседа по-немецки; хозяин учтиво улыбался, но участия в ней не принимал. Я тоже.

— Знаете, где мы были и кто это такие? — спросил Лукач, когда парадное закрылось и нас обступила беспросветная ледяная мадридская ночь. — В альянсе писателей, — ответил он на собственный вопрос таким торжественным тоном, будто речь шла о местопребывании небожителей. — Он ее председатель, знаменитый испанский поэт Рафаэль Альберти, друг Гарсиа Лорки. Слыхали, конечно? И жена его, такая красавица, и тоже писательница — Мария Тереза Леон. Дворец этот, понятно, не их, он реквизирован под альянсу. Хотя очень может быть, у Марии Терезы есть где-нибудь свой домишко немногим не хуже: она из аристократической семьи.

О Федерико Гарсиа Лорке я впервые услышал, вернее узнал из газет прошлым летом, когда все они принялись петь ему посмертные дифирамбы, после того как франкисты убили поэта; имена же Марии Терезы Леон и Рафаэля Альберти мне ничего не говорили. Но в данном случае это было второстепенно, первостепенным же и не перестающим меня удивлять был тот постоянный и повышенный интерес, какой неизменно проявлял наш комбриг к литературе, и то взволнованное уважение, с каким он относился к литераторам.

На этот раз Луиджи высадил нас в застывшую тьму не у черного входа, но перед главным подъездом министерства финансов, откуда тоже можно было проникнуть в подземелье.

Просторный кабинет старшего мадридского советника сегодня против обыкновения не был переполнен. Как всегда элегантный, без тени усталости на лице, советский военный атташе, сжав в зубах мундштук прямой трубки, выслушивал Ратнера, что-то почтительно ему излагавшего. После размолвки с Лукачем Горев стал держаться с ним подчеркнуто сухо и сейчас ответил на его приветствие лишь кивком. Лукач же вел себя так, словно не замечает перемены в отношении к нему, но я-то знал, до чего он про себя переживает ее. И теперь, приняв горевский кивок как должное, наш комбриг обошел собравшихся советников по старшинству и каждому пожал руку, но едва лишь начал

рассказывать группке танкистов какой-то, судя по оживившимся физиономиям, доходчивый анекдот, как Горев принялся выбивать трубку, и все, кроме меня и младшего лейтенанта, водившего броневичок, в котором разъезжало танковое начальство, двинулись к столу.

Матово поблескивая под электрическими лампочками будто полированным черепом, Купер попросил разрешения курить, и я внутренне оценил джентльменскую утонченность этого проявления воинской дисциплинированности, потому что если Горев и занимал более высокую должность, то по званию и положению в РККА Купер стоял значительно выше.

Переждав, пока тот сделает первую затяжку, Горев приступил к обзору положения на фронтах по вечерним сводкам. Говорил он не громко, но обладал такой дикцией, что до меня доходило каждое слово, хотя, понимая, что эта информация предназначена не для моих ушей, я лояльно старался не слушать, да и находился достаточно далеко, поскольку, даже бывая здесь последнее время каждый вечер, все не мог забыть, как меня выставили, и на всякий случай оставался поближе к выходу. Но так как Горев, кроме умения отчетливо произносить слова, на редкость экономно расходовал их, строя одно, точно выражающее мысль предложение за другим, будто выводя на плац шеренгу за шеренгой, то вопреки моей воле я ознакомился с состоянием республиканских фронтов на текущий момент не хуже, чем если бы старший советник растолковал мне это персонально, с глазу на глаз. Главное, что я усвоил, было печальное состояние дел с подготовкой резервов и продолжающийся недостаток всех видов вооружения. Заключил Горев, однако, тем, что самым опасным он считает не продолжающееся преобладание противника в численности на решающих участках и не громадное его превосходство в технике и выучке войск, но охватившее кое-кого из нас самодовольство. Еле-еле отобьется только что сформированная бригада от потрепанного неприятельского полка, подкрепленного двумя танкетками, — и уж сам черт ей не брат.

— Излишняя, ничем реально не обоснованная самоуверенность порождает опасную беспечность. Каждому из нас надлежит своевременно замечать и преодолевать в командующих, при которых вы состоите, первые же ростки зазнайства. Покоящаяся на точном знании обстановки и революционном подъеме бойцов уверенность в себе командиру необходима, но задирание носа к небу мешает смотреть на землю, приводит к недооценке противника, а всем, кроме духа, он пока сильнее нас. Ничего нет вреднее развязного шапкозакидательства.

Не успело отзвучать это словцо эпохи несчастной русско-японской войны, как помещение заполнил густой голос Купера:

— Вы, товарищ Горев, мрачно смотрите. Наступление фашистов выдохлось, это точно. Что нам сейчас нужно — не теряя минуты приступать к активным действиям.

Горев так резко вскинул голову, что одна из зачесанных назад прядей упала на широкий лоб.

— Позвольте заметить, — с холодной иронией начал он, — что пока никто из здесь присутствующих вашего просвещенного мнения не спрашивал и вряд ли спросит. — И с внезапной яростью добавил: — Пора бы знать свое место, а для этого усвоить, что вы всего-навсего много о себе возомнившая старая ж…!

Площадное ругательство прозвучало как оплеуха. Наступила напряженная тишина. У Купера побагровело лицо, налились кровью уши, покраснела и лоснящаяся макушка. Он раскрыл рот, набрал воздуха, но, овладев собой, сжал губы и начал пятнами белеть. Горев отвернулся от него и, словно ничего не произошло, предложил Ратнеру огласить приказ генерала Миахи на завтрашний день. Я бесшумно отворил дверь за своей спиной, попятился в коридор и от смущения на цыпочках заторопился из этого склепа наружу.

— Горев с ума спятил, — опускаясь через четверть часа на сиденье «форда», заявил Лукач. — Можно понять, что старающийся играть первую скрипку и во все встревающий Купер надоел ему до чертиков, тем более раз старик вставляет ему палки в колеса и даже недавно помимо Горева отправил через консульскую службу особое мнение насчет развития здесь событий. Но как-никак, а Купер комкор, и потом, нельзя же забывать ему Царицын…

Последний раз я видел Купера близко, насколько помню, в начале января, после того как франкисты заняли Махадаонду и Лас-Росас, перерезав тем самым Коруньское шоссе и прямую связь Мадрида с Гвадаррамой. Именно по этому случаю наша бригада только что поспешно перебазировалась из-под Сигуэнсы к Мадриду, но еще не вся разгрузилась, когда Лукачу позвонили, что на участке Одиннадцатой возникло угрожающее положение.

Было уже темно, когда комбриг вышел из машины на эль-пардоской дороге неподалеку от Паласио-де-Сарсуэла и приказал перевести Луиджи, чтоб тот не дремал, а если услышит приближающуюся стрельбу, пусть без оглядки дует обратно в Фуэнкарраль, мы как-нибудь и на своих на двоих выберемся. После такого успокоительного предисловия Лукач перескочил

через канавку, но не свернул к Паласио-де-Сарсуэла, а быстро зашагал истоптанными тропинками парка в направлении Эль-Плантио. Пригнувшись, мы перебежали через перерезанное где-то поблизости шоссе и углубились в хорошо знакомый лес, во дворце посреди которого еще так недавно стоял наш штаб, а теперь в сторожке лесника должен был находиться командный пункт Ганса.

Мы нашли командира Одиннадцатой за столом освещенной коптилками комнаты, чуть побольше той, в какой теснились сами у моста Сан-Фернандо. Подперев щеки костлявыми кулаками, Ганс воспаленным взором уставился на горящий в жестянке с оливковым маслом фитиль. За две недели, что я не видел Ганса, его еще обтянуло, отчего непропорционально крупные нос, губы и уши его, казалось, еще выросли, делая грубо вытесанное лицо комбрига Одиннадцатой схожим с физиономиями таинственных статуй на острове Пасхи. Кроме Ганса в комнате находился лишь Адди, приветливо помахавший мне рукой, и два запаренных телефониста. Оба они беспрерывно вращали рукоятки стоявших на подоконнике аппаратов, но сколько Адди ни хватался то за одну, то за другую трубку, сколько ни дул в них, а связи не было.

Лукач и Ганс, чтобы не мешать ему, заговорили полушепотом, и по все более обеспокоенным глазам моего комбрига я понял, что Ганс подтверждает давешние дурные новости. Время от времени блок на входной двери взвизгивал, и в сторожку вваливались чуть не падающие от изнеможения, небритые, грязные и все до одного простуженные офицеры, большей частью испанцы. По жесту Ганса они присаживались к столу и многие, положив головы на скрещенные руки, немедленно засыпали. За ним уже почти не оставалось места, когда из второй темной комнаты вышел в наброшенном на плечи полушубке Людвиг Ренн, на ходу протиравший очки носовым платком. Только надев их, он узнал Лукача, пожал ему руку и поставил себе стул немного позади и между обоими командирами бригад.

Ганс привстал, чтобы открыть совещание, но груз под блоком взвился, дверь распахнулась, и появился никем, даже переводчиком, не сопровождаемый генерал Купер. Войдя, он громогласно поздоровался по-русски. Все вскочили и нестройно ответили — кто по-испански, кто по-немецки. Он показал рукой, чтобы садились, перешагнул через скамейку рядом со мной и поманил Лукача перейти на эту сторону. Лукач покорился, и ему пришлось воспроизвести на немецком обращенный к Гансу вопрос Купера, какова в данный момент обстановка на прикрываемом Одиннадцатой бригадой участке. Ганс принялся

докладывать, а единственный среди всех румяный, как яблочко, молоденький немец начал довольно чисто переводить с другого конца стола. Выяснилось, что Одиннадцатой было передано шесть испанских батальонов и Ганс выдвинул их в образовавшийся вчера прорыв, оставив три батальона интеровцев в резерве. Днем позиции были подвергнуты налету бомбовозов, а затем небывало мощной артиллерийской подготовке, после которой на построенные несомненно кретином, если не вредителем, вытянутые в нитку окопы двинулось десятка два пулеметных танков и пехота. Танкам удалось обойти правый фланг бригады, и он начал в беспорядке ретироваться, увлекая за собой остальных. Направленные навстречу отступающим батальоны Эдгара Андре, Тельмана и «Парижской коммуны» поправить положение, притом, что неприятель имел по крайней мере трехкратное преимущество в численности, не смогли, когда же начали окапываться на новых рубежах, то в свою очередь подверглись атаке танков, и если это, учитывая отсутствие противотанковой артиллерии, не привело к катастрофическим последствиям, то лишь благодаря приближению сумерек. Бригада тем не менее понесла существенные потери, особенно из числа контратаковавших, но так как телефонная связь до сих пор не восстановлена, не только реальных цифр убитых и раненых — само местопребывание батальонных командных пунктов еще не уточнено. Едва последнее будет сделано, начальник штаба займется кропотливой работой учета. Но в создавшихся условиях, не располагая ни сведениями о расположении противника, ни даже уверенностью, что на его пути имеются боеспособные подразделения из состава бригады, ее командование считает своей обязанностью предупредить товарища генерала Купера, а в равной степени и товарища генерала Лукача, которых долг службы не принуждает задерживаться здесь, что оно не может гарантировать их безопасность, и в этой связи…

Но тут генерал Купер, не пожелав дослушать предостережение Ганса, перебил краснощекого переводчика и, обращаясь к Лукачу, выразил желание поделиться своими соображениями о причинах сегодняшней неудачи. Но румяный юноша автоматически сработал в другую сторону, и Лукач, поместившийся справа от меня, так что я оказался зажатым между ним и Купером, облегченно вздохнул, радуясь освобождению от обязанностей толмача.

Ганс, присев на кончик стула и одним этим подчеркивая, до чего ему некогда, не смог все же не дать высказаться столь влиятельному советскому товарищу, но заранее нетерпеливо повернулся к переводчику. Однако на Купера мимика Ганса не

оказала никакого действия, он выпростал кисти из рукавов, положил локти на стол, сплел пальцы и тоном, не допускающим возражений, провозгласил, что Одиннадцатая интербригада не справилась с порученным ей ответственным заданием командования исключительно из-за неправильного построения боевых порядков. Этим постулатом, частично подтвержденным жалобой Ганса на неправильно отрытую траншею, Купер, однако, не ограничился, но принялся излагать, как должен батальон располагаться в обороне, и уже после двух или трех вводных предложений я обнаружил, что Купер воспроизводит лекцию, которую с месяц назад я переводил за Фрицем. Невыгодная для Купера разница заключалась в том, что тогда это было для меня внове, да и Фриц передавал людям свои знания с воодушевлением, Купер же снисходительно повторял раз и навсегда усвоенные формулировки когда-то вызубренного назубок урока.

Слушатели сперва бодрились, изо всех сил расширяя смыкающиеся веки и устремляя зрачки на внушительного советского Genosse, почти без интонаций выговаривающего период за периодом на мучительно непонятном языке; когда же Купер умолкал и его заступал переводчик, они с возрожденным интересом переводили взгляды на него. Но так как перевод перевода не давался, ничем не питаемое внимание испанских командиров и комиссаров быстро ослабело, и один за другим они погружались в сон. Постепенно монотонное гудение куперовского баса начало усыплять и немецких товарищей. Многие из них, выслушав переводчика, успевали отключиться от действительности за время следующей дидактической литании Купера. Продолжали держаться лишь Ганс, Ренн, Адди да еще кто-то — наперечет. Нельзя было при этом не заметить, что Ганс с трудом сдерживает ярость. Смешанное с беспокойством раздражение проступало и у других, только Людвиг Ренн всматривался в Купера с недоуменным любопытством.

— Честное слово, комкор наш тронулся, — зашептал мне Лукач вне себя. — И Ганс и Ренн кадровые германские офицеры, нельзя же с, ними как с допризывниками! У них хлопот полон рот, бригада гибнет, под угрозой Эль-Пардо, а он свою жвачку жует…

Едва ли не впервые я тогда внутренне не согласился с комбригом. Самоуверенная навязчивость Купера представлялась мне не грубой бестактностью, но преследовала определенную цель: своим тяжеловесным спокойствием и тягучим повторением азов генерал Купер рассчитывал подавить естественную нервозность командного состава бригады, предотвратить

возможность возникновения паники. А раз я так понимал поведение Купера, оно мне импонировало, особенно в связи с предупреждением об уязвимости командного пункта.

Насколько реальна была угрожавшая ему опасность, определилось уже к рассвету, когда штабу Одиннадцатой пришлось в пожарном порядке покинуть домик лесника, поскольку метрах в ста от него обнаружился вражеский патруль, а полуокруженная бригада была вынуждена отойти к Паласио-де-Сарсуэла, пожертвовав батальоном Тельмана (в нем осталось под ружьем около 30 человек, о чем я уже рассказывал в связи с подвигом Иванова, Трояна и Лившица), а также большей частью батальона «Парижской коммуны» командир которого Дюмон был серьезно ранен, и доброй половиной батальона Эдгара Андре, в частности, его английской и венгерской ротами…

В скором времени после запомнившегося мне «психологического» воздействия на командные кадры Одиннадцатой генерал Купер был отозван в Москву, где его ждала головокружительная карьера, ничем, кроме благоволения Сталина, не объяснимая.

Об одном из проявлений этого сугубо личного расположения мне в начале 1940 года, между прочим, поведал Савич. Незадолго перед тем Г. И. Кулик отмечал день своего рождения и созвал на торжественный ужин множество именитых гостей. Среди них был и А. Н. Толстой, приглашенный, несомненно, не в качестве литературного туза вообще, но как участник происходившего в Испании международного антифашистского конгресса писателей и, главное, как автор продиктованного «социальным заказом», но художественно недопеченного «Хлеба», в котором не раз упоминается «батарея Кулика», а в конце — и «артиллерия Кулика». Возможно, именно поэтому присутствующие избрали Толстого тамадой.

Управляемое им пиршество текло своим веселым чередом, когда резко задребезжал звонок, и трепещущая домработница вызвала хозяина дома в переднюю. Там его ждало несколько чинов в штатском, старшего из коих он знал в лицо. Не объясняя причин, незваные гости затребовали у рожденника список всех находящихся в квартире, начиная с членов семьи и кончая обслугой, сами же тем временем быстро обследовали комнаты, и с наибольшим тщанием кухню, где уделили пристальное внимание приготовляемым праздничным блюдам. Затем, прихватив заказанный список и приставив одного из своих к кухарке, а другого к входной двери, оперативные визитеры смылись, будто их и не было.

Минут через пятнадцать снова затрещал звонок и пожаловал

Сталин. Сняв в прихожей ушанку и шинель, он шутливо попенял зардевшемуся от радости виновнику торжества, что тот не позвал его на свой юбилей: нехорошо, мол, очень нехорошо зазнаваться и забывать старинных друзей, особенно из числа царицынских соратников.

Потирая руки, вождь проследовал к столу, извинился за опоздание перед вставшими при его появлении приглашенными и небрежно развалившимся в кресле тамадой, отказался занять уступленное «именинником» почетное место, но скромно сел сбоку и, по настоянию Толстого, безропотно выпил полный кубок грузинского вина в качестве штрафного. Между тем заигравшийся в роли тамады маститый писатель продолжал как ни в чем не бывало деспотически повелевать пиром, обращаясь по обычаю ко всем без разбора на «ты», и вообще держал себя так, словно чокаться со Сталиным для него — плевое дело. А когда великий продолжатель дела Ленина пожелал произнести тост, вконец расшалившийся Толстой дошел до того, что прервал его: пусть Иосиф Виссарионович у себя в Кремле, на заседаниях Политбюро, говорит, если хочет, или предоставляет выступать своим верным соратникам, — здесь же, на пиру, царь и бог — тамада, а он слова не в очередь никому не давал. И Сталин хоть бы что, только усмехнулся в усы. Зато Кулик под каким-то предлогом выманил разошедшегося Алексея Николаевича в коридор, впихнул в ванную и, взяв за грудки, захрипел, что если бывшему графу Толстому с десяти рюмок все нипочем и трын-трава, так пусть он себе хоть колесом ходит или сам себя с кашей ест, да не у него, у Кулика. И, приговаривая нечто в том же увещевательном духе, он собственноручно напялил на академика шубу, нахлобучил шапку и, вызвав порученца, приказал доставить захмелевшего инженера человеческих душ до дому.

Кроме этого, глубоко меня тогда поразившего кулуарного анекдота Савич несколько позднее сообщил мне о Кулике и кое-что в ином жанре, тоже, впрочем, не попавшее в печать. Знакомый военный корреспондент, возвратившийся с финского фронта, рассказал коллеге с испанского, как во время дорого нам стоившего прорыва линии Маннергейма начальник Главного артиллерийского управления Г. И. Кулик самолично вывел на открытые позиции для стрельбы прямой наводкой дивизион тяжелых орудий и командовал им под огнем финских пулеметов и скорострельных пушек, пока не раздолбал до фундамента находившиеся перед ним железобетонные сооружения. Что ж. Мне этот штрих напомнил, что Купер-Кулик происходил из кадровых фейерверкеров российской армии, о чем я (и на сей раз без ошибки) догадался в Аранхуэсе. А вот как бывший

фейерверкер справлялся с возложенным на его могучие плечи бременем ответственности за подготовку советской артиллерии к решающей схватке с фашизмом и вел себя в начале ее, будучи представителем Ставки, на эти вопросы можно найти однозначный ответ в многочисленных горьких сетованиях на страницах мемуаров виднейших наших военачальников, в частности, маршала артиллерии Н. Н. Воронова и генерала армии П. И. Батова.

Чудодейственное вознесение завершилось, как известно, столь же впечатляющим падением. Маршал Кулик выбрался из окружения под Ельней, переодетый в крестьянское платье, чуть ли не в лаптях, был разжалован и довоевывал на более соответствующих его кругозору средних командных должностях. По окончании войны генерал-майор Г. И. Кулик вышел на пенсию, но в 1947 году был вдруг арестован и погиб. Остается лишь строить догадки, почему «старый друг» столь жестоко расправился с опальным визирем, уж не потому ли, что тот был одним из последних оставшихся в живых участников обороны Царицына и мог невзначай поделиться с кем-либо подробностями ее, не вполне совпадающими с изображенными в «Хлебе»? Или же «верховный» решил просто-напросто стереть с лица земли собственную ошибку в подборе руководящих военных кадров?

В дополнение к фрагментарному по понятным причинам испанскому портрету Купера, а заодно для разъяснения, какой казус подразумевал Лукач, вскользь упомянув о перемещении Купера с поста мадридского советника в Аранхуэсе, к генералу Посасу, уместно привести здесь то, чем недавно поделилась со мной Лина, некогда переводчица Хаджи, а последние тридцать лет его жена и мать двух его дочерей. От нее, теперь уже вдовы, я узнал, что в период отступления от Талаверы ее приставили к старшему советнику Куперу, пребывавшему тогда в Мадриде. Ранее никогда не выезжавший за границу и плохо представлявший себе обстановку в Испании генерал Купер как-то, при выходе из одного артиллерийского штаба, не остерегся и позволил поймать себя в фотообъектив неизвестному испанскому офицеру. Тот, и помимо фотографий собрав кучу ценных сведений, перешел к Франко, а через несколько дней пролетевший над Мадридом трехмоторный «юнкерс» (это происходило еще до первых бомбежек) сбросил на улицы тысячи листовок, на которых красовался в неизменном кожаном пальто и серой кепке не слишком-то фотогеничный Купер, а рядом похожая на хорошенькую негритянку Лина; под клише стояла подпись, в переводе означавшая: «Вот кто руководит красными в Мадриде — русский генерал и комиссарша из Аргентины». После

такого, свалившегося с неба реприманда, учитывая возможность пренеприятных отголосков в Комитете по невмешательству, только и оставалось, что отодвинуть Купера в аранхуэсскую тень, московская же аргентинка Лина (и ко всему дочь члена ЦК Аргентинской компартии) на некоторый период подверглась профилактическому карантину, то есть сделалась «штатской» переводчицей Романа Кармена, в каковой роли и увековечена в «Испанском дневнике».

Сейчас трудно установить, приложил ли руку к страшному концу Горева публично им оскорбленный Купер-Кулик. В свое время такие слухи циркулировали. Однако Горев и без того был обречен — с него вполне хватало лондонского сотрудничества с комкором Путной, одним из «однодельцев» маршала М. Н. Тухачевского. Но способствовал ли Кулик предрешенной и без его содействия гибели Горева или нет, а ровно через десять лет ему самому пришлось последовать за этим талантливым молодым военачальником, чью деятельность в Испании я надеюсь в будущем осветить подробнее.

25 декабря выдалось пасмурным, но не дождливым. По случаю главного католического праздника в Мадриде ждали всяческих подвохов со стороны франкистов, а потому в бригаде, продолжавшей числиться в резерве, была объявлена боевая готовность. Около одиннадцати Лукач решил съездить в Эль-Пардо, чтобы взглянуть, как этот приказ соблюдается. По пути комбриг, со слов Реглера, рассказал, что генеральный секретарь Испанской компартии Хосе Диас в связи с рождеством Христовым обратился к верующим милисиано, встречающим его в опоясывающих предместья Мадрида окопах, с прочувствованным поздравлением.

— Какой молодец! — восхищался Лукач. — Вот это политик! Руководитель коммунистов и обязан всегда быть обращенным лицом к народу. Проникнуться не показным, но искренним доверием к нему, а потому с уважением относиться к его традициям и привычкам. Борьбу с поповщиной можно вести, только преодолев ее в самих себе…

Машина колыхалась и, ныряя, ползла по изуродованной дороге, соединяющей Фуэнкарраль с эль-пардоским шоссе. Луиджи нервничал, то переваливая через ухабы, то, где можно, объезжая их. Мы уже приближались к небольшому поселку, за которым начинался подремонтированный отрезок пути, когда Луиджи беспокойно поднял голову, то же сделал и Крайкович. За ними и мы с Лукачем увидели три бомбардировщика, снижавшиеся наперерез нам к селению, куда мы въезжали. Луиджи прибавил газу, «форд» дернулся и загремел по рытвинам.

Мы поравнялись с последними домиками, когда рев налетающих «юнкерсов» заглушил удары шин о выбоины и дребезжание машины, а позади послышался устрашающий свист падающих бомб. Но могучий восьмицилиндровый мотор уже вынес нас за пределы досягаемости, и разрывы загрохотали сравнительно далеко за нами.

Луиджи погудел, намереваясь обогнать отчаянно мчащийся впереди порожний «ЗИС-5», но когда до него оставалось лишь несколько метров, водитель грузовика внезапно взял влево. Луиджи сделал все, что было в его силах, чтобы погасить скорость. Он снял ногу с педали, выключил зажигание и тоже повернул влево. «Форд» визжа приложился правой стороной к борту грузовика, потом левым боком проскрежетал, сокрушая ее, вдоль кирпичной ограды одиноко стоящей фабричонки и уже выскользнул было, пусть и помятый, на оперативный простор, но в этот миг «ЗИС-5» ударил ему во фланг передними скатами, и он, изменив направление, врезался радиатором в железную опору фонарного столба.

Все эти сокрушительные толчки, лязг и треск продолжались какую-нибудь секунду, так что я даже не успел испытать страх, а глаза тем не менее успевали фиксировать изогнувшегося как кошка и мертвой хваткой вцепившегося в баранку Луиджи, а также Крайковича, беспомощно взлетающего с растопыренными руками, но, к счастью, всякий раз попадающего лбом в скатанную и прилаженную над ветровым стеклом подушку комбрига. Сам он, еще раньше чем мы ударились о борт грузовика, бросился, весь сжавшись, на днище между передними и задними сиденьями и сейчас, когда машина остановилась, а в ней и вокруг нее оседала похожая на туман мельчайшая пыль, неторопливо поднимался, ладонью обивая колени. Я все время продолжал держаться за висячую кожаную петлю и тоже остался невредим, только незаметно для себя хватил правым плечом об стенку, потому что оно онемело.

Первым, выпрыгнул из разбитой машины Лукач. За ним выбрался Луиджи и остановился рядом с комбригом, со слезами смотря на задравшийся вверх разорванный капот, вмятый, будто он картонный, радиатор и упершийся в швеллер голый мотор. Потирая шею, вышел на дорогу и Крайкович. Последним был я, так как мне пришлось открывать дверцу левой рукой, правая что-то не слушалась. В небе еще звучали басовые струны удаляющихся бомбовозов, да злополучный грузовик, удирая что было духу, тарахтел, словно вместо шин у него на колесах были набиты ободья. Ступив на землю обеими ногами, я почувствовал, что она кренится, и пошатнулся. Ушибленную руку тянуло вниз,

как если б я держал в ней на весу пятидесятикилограммовую гирю. Обойдя машину, Лукач бросился ко мне.

— Что с вами? Вам дурно? Вы бледны как мел. Садитесь скорей на подножку. Неужели так испугались?

Я пояснил, что, должно быть, ушиб плечо о выступ возле дверцы.

— Вы за петлю держались? Тогда еще хорошо, если это растяжение. И ведь во всем я виноват, забыл вас предупредить, что в случае аварии за эту висюльку нельзя цепляться. Она ж сперва швырнет вас вроде катапульты, а потом даст такой рывок назад… Да садитесь, говорят вам.

Я послушался. В правом плече начинало ломить. Ломота все усиливалась и усиливалась, пока не стало дергать, как при зубной боли. Лукач заметил мое состояние.

— Старайтесь не шевелиться, а то хуже разболится. Сейчас мы остановим, кто будет проезжать.

Как по заказу, из селения, над которым еще не рассеялась грязная туча, выкатила санитарная машина. Крайкович побежал ей наперехват.

В плече будто созревал огромный нарыв, да так интенсивно, что меня подташнивало. Кремовая машина с красным крестом поравнялась с нами. Лукач сам подсадил меня. Крайкович взобрался за мной, полуобняв, посадил на нижние носилки и опустился рядом. От тряски боль сделалась нестерпимой, и я не мог удержаться, чтоб не постанывать. Путь до прифронтового госпиталя бригады, устроенного в двухэтажной даче, немного не доезжая Эль-Пардо, был бесконечен.

Наконец машина остановилась, послышались шаги по гравию, и шофер открыл снаружи створки. Крайкович спрыгнул, принял меня на вытянутые руки, помог преодолеть палисадник и подняться по ступеням. С помощью сердобольного седого санитара усадив меня в приемном покое на блистающий белой эмалевой краской табурет, Крайкович простился и отправился на поиски комбрига.

На пороге, завязывая на спине тесемки халата, появился хирург Хулиан, несмотря на молодость, в недавнем прошлом, по рассказам Хейльбрунна, медицинская знаменитость и гордость той самой университетской клиники, развалины которой мы недели две назад пытались взять. Хулиан был даже излишне для мужчины хорош собой, неизменно весел и отлично владел французским, а так как я располагал солидным запасом парижских острот, отражавших модное в те годы пренебрежительное отношение к медицине, то мы со старшим бригадным хирургом, когда он попадал в штаб, постоянно

пикировались. Стараясь отвлечь мое внимание от разрывающегося на части плеча, Хулиан напомнил свою угрозу, если я когда-нибудь попаду к нему на операционный стол, в первую очередь отрезать мне язык, сам же осторожно расстегнул мою новенькую, подаренную на днях Лукачем светло-желтую курточку из тонкой — почти как лайковые перчатки — кожи. Еще бережнее обошелся мой словесный недруг с верхними пуговицами и крючками на воротнике френча, раздвинул его, заглянул под рубашку и тихонько свистнул. Пожилой санитар или фельдшер подал на никелированном подносике ножницы необычной формы величиной с портновские. Хулиан взял их и, не поднимая больной руки, легонько натянул на ней обшлаг.

— Мясник! — воскликнул я, но тут же сбавил голос, потому что он болезненным эхом отдался в плече. — Чтоб я позволил кромсать такую вещь? Раньше ты превратишься в труп! — Я угрожающе положил левую ладонь на незастегивающуюся кобуру.

— Что ты, старина, что ты, — рассмеялся Хулиан моему испугу. — Я не собираюсь портить твои кожаные доспехи. Мы отнимем тебе руку до плеча и как раз по шву, так чтобы пришить потом рукав на место было нетрудно.

Я собрался ответить ему в тон, но кто-то, подойдя сзади, запрокинул мне голову, набросил на лицо мокрую марлю и прижал. В ноздри проник удушливо сладкий запах. Дыхание пресеклось. Я рванулся и потерял сознание.

В себя я пришел лежа навзничь на койке в маленькой комнатке. Косой потолок показывал, что она под самой крышей. В ногах висела на стуле моя одежда, но рукав драгоценной куртки был разрезан по всей длине до ворота. На тумбочке лежала кобура с парабеллумом, аккуратно обмотанная ее ремешком, чтоб он не выпал. Несмотря на тошноту, бывшую неприятным последствием хлороформа, я испытывал невыразимое облегчение: плечо больше не терзало меня, оно как бы отсутствовало. Я робко прикоснулся к нему. Оказалось, что оно стянуто широченными бинтами, прижимавшими к телу предплечье, локоть и положенную ниже груди кисть, и притом так туго — невозможно и пальцем шелохнуть.

Облегченно вздохнув, я на несколько минут или часов — не знаю — погрузился в полузабытье, пока из коридора не донесся сбивчивый звон шпор. Ко мне ввели зареванного молодого бойца с распухшей ручищей на перевязи. Я узнал в нем белоруса Казимира, того, что помог нашему отделению ознакомиться с «гишпаньской» винтовкой, а затем, перед отправкой из Альбасете, был взят в кавалерию. Седовласый санитар молча стащил с него топорные, будто из чугуна, сапожищи, какие носят

артиллерийские ездовые, раздел до белья, опять просунул обложенную ватой раздутую лапу в перевязь, откинул одеяло и вышел. Казимир остался сидеть, свесив босые ноги с койки, и как грудного ребенка укачивал здоровой рукой покалеченную.

Я спросил, где его ранило, — бригада же в резерве. Всхлипывая, он объяснил, что, когда их польский взвод возвращался с похорон, Казимиров жеребец ни с того ни с сего поддал задними ногами и сбросил его, да потом еще на дыбки встал и опустился прямо подковой на запястье. Посочувствовав Казимиру, я заинтересовался, с каких это похорон они возвращались.

— Як то с каких? Комиссажа захоронили.

— Кого-кого? — безотчетно переспросил я, но, раньше чем Казимир ответил, понял — кого, и сердце мое сжалось.

— А нашего, со швадрону. Гримм он звался.

Я до того ослабел от перенесенной утром боли да и от наркоза, что по щекам самопроизвольно покатились слезы. Вероятно, действие хлороформа еще не полностью прекратилось, потому что сквозь них я отчетливо, как наяву, посередине проступающей в предвечернем сумраке белой двери увидел худое умное лицо Пьера. Быстро разрастаясь, оно приближалось ко мне, но я сморгнул застилавшие глаза слезы, и все пропало.

По распространившемуся в палате винному перегару я понял, что Казимир вывалился из седла по пьяному делу. Мне стало противно и не захотелось ни о чем больше расспрашивать, но Казимир и без расспросов пустился, порой икая, рассказывать, что Пьера похоронили на горке возле Фуэнкарраля, где решили устроить отдельное кладбище для интербригадовцев. На похороны был отряжен польский взвод, как самый справный. Когда Гримма закопали, они дали три залпа в небо, а потом, оставив лошадей коноводам, пошли помянуть комиссара и помянули как надо, от души. Только кони пьяных не терпят, потому жеребец и взбрыкнул, да так, что Казимир полетел через голову.

Постепенно трезвея, он выражался все более связно, особенно перейдя к обстоятельствам, при которых был убит Гримм. Двое суток назад, как случалось и прежде, спешенный кавалерийский патруль по приказу сверху должен был всю ночь охранять подбитый между линиями танк, чтобы фашисты, воспользовавшись темнотой, не уперли его. Тут как раз Массар заболел воспалением легких, и Гримм справлял должность и за комиссара и за командира. В первую же ночь он подъехал к передовой и пошел проведать своих хлопцев в карауле. Из-за холода весь патруль сидел с пехотой в окопе, а у танка сменялись

по двое. Гримм пополз к ним, посмотрел, как они мерзнут и немного робеют, одни впереди всех, угостил для согрева коньячком, побеседовал по-комиссарски, что за танковой броней не должно быть страшно, и для примеру, чтоб поддержать их бодрость, вздумал обойти танк кругом. Но фашисты заслышали, что кто-то ходит, и ударили на звук из пулемета. Комиссар упал и даже на помощь не позвал — по животу ему очередь пришлась, мало насовсем не перерезала…

Вечером пришел все тот же немолодой санитар и сделал по уколу морфия мне и Казимиру. Тот позевал-позевал и скоро заснул. А я не мог спать, и никакой морфий не помогал. Мешала боль, вновь возникшая в плече, пока еще терпимая, но понемногу усиливающаяся, но еще больше мешали мысли о Пьере Гримме. Почему-то мне не столько даже было жаль его самого — хотя, конечно, ужасно жалко, — как его жену, которую я никогда не видел. Мне представлялось, до чего ей должно быть одиноко в их комнатке, и до чего постылым стал казаться аккуратненький брюссельский отельчик, и как пусто бывает у нее на сердце, когда ранним утром она бежит на работу, и как тревожно — когда, возвращаясь, она спрашивает консьержку, нет ли ей письма, и та смотрит в конторку и отвечает, что для мадам писем нет.

И не будет. Вместо письма через неделю, а то и через две придут товарищи из городского комитета партии и скажут, чтоб она крепилась, и, переглянувшись, снимут кепки, и один из них объявит, зачем они пришли. И тогда она услышит, что камарад Пьер умер за свободу испанского народа и за счастье трудящихся всего мира. А она уже все поняла, едва они вошли, и с трудом удерживается, чтоб не закричать на них, что никакой он для нее не камарад, и не Пьер даже, а любимый ее умница Петенька, дорогой ее Петушок. И они с виноватыми лицами, бормоча бесполезные утешения, поочередно пожмут ей руку и уйдут. И она останется одна в бывшей их с Пьером комнате, навсегда одна, и не только в комнате, но и на целом свете. Но пока она еще ничего не подозревает и продолжает, волнуясь, ждать письмо от Пьера, хотя его сегодня похоронили с воинскими почестями. Возможно, ей и на могиле не удастся побывать, пока мы не победим или, по крайней мере, не отгоним врага от Мадрида… [43]

Закрывая за мной и Крайковичем санитарную карету, Лукач пообещал сегодня же заехать и сдержал свое слово, правда, день давно уже перешел в ночь. Словно ребенка погладив меня по голове, комбриг участливо осведомился, очень ли болит, положил на тумбочку апельсин, схожий с оранжевым мячом средних

размеров, придвинул к кровати свободный стул и, оглянувшись на похрапывающего Казимира, вполголоса поделился последними новостями.

Самой скверной из них была та, что на «форде» придется поставить крест — по оценке механиков, он пострадал настолько, что для его восстановления надо прежде найти обломки другого такого же. Однако этот маг и волшебник Тимар заверил, что не позже послезавтра выпустят из ремонта «пежо», на том, впрочем, условии, чтоб Луиджи был разжалован в мотористы, слишком уж много он задает им работы в качестве шофера. Взамен Тимар рекомендует добросовестного и серьезного испанца и уже представил его. На первый взгляд, он совершеннейшее дите, прехорошенькое притом, но у него, как ни удивительно, полных два года шоферского стажа: до революции он водил «кадиллак» какой-то престарелой герцогини, а значит, приучен к осторожности.

Побыв со мной минут десять, Лукач опять провел рукой по моим волосам, пожелал спокойной ночи и уехал. К несчастью, весь ее остаток сон не шел ко мне, и не только из-за плеча, которое разболелось не на шутку да еще с отдачей в лопатку при каждом ударе сердца, но и потому, что Казимир так громко всхрапывал, как вряд ли сумел бы даже сильно испугавшийся его жеребец.

Уже под утро к нам заглянул самый молодой из врачей бригады каталонец Пуччоль. Как и Хулиан, только позже, он учился в Мадриде и лишь в июне истекающего рокового года начал практиковать. На Гвадарраме, куда он устремился в одно время с Прадосом и тоже простым бойцом, Пуччоля ранило в плечевой мускул небольшим осколком. По извлечении его, авторитетно определив, что ранение у него пустяковое, Пуччоль остался помогать единственному на всю колонну врачу, однако в рану попала какая-то дрянь, возникло заражение, опять понадобилась операция, последовало новое осложнение и новое хирургическое вмешательство. В результате правая рука Пуччоля висела как плеть, и, стесняясь окостеневших пальцев, он носил кожаную перчатку, как на протезе. Став инвалидом, Пуччоль поступил анестезиологом в «Палас», когда же на мадридский фронт одна за другой прибыли две интербригады, он пожелал вступить в любую из них, хотя бы братом милосердия. Хейльбрунн взял Пуччоля ассистентом к Хулиану, а присмотревшись, сделал экономом бригадной санитарной службы и одновременно чем-то вроде своего начальника штаба.

Войдя в палату, Пуччоль направился к койке Казимира и одной рукой как-то так повернул ему голову, что сотрясающий

воздух храп сам собой прекратился. Совершив это чудо, Пуччоль обратился ко мне с вопросом, давно ли я проснулся, а услышав, что и вовсе не засыпал, сел на переставленный Лукачем стул, пощупал мой пульс и поинтересовался самочувствием.

Я пожаловался на все возрастающие боли, такие, что, невзирая на укол, не дали мне уснуть. Пуччоль возразил, что укол все равно должен был помочь, независимо от большей или меньшей боли, вероятнее другое: пусть и довольно редко, но попадаются больные, на нервную систему которых морфий почти не влияет. Печально, если я принадлежу к ним, потому что вывихи обычно чрезвычайно болезненны, особенно осложненные, и мне предстоит помучиться.

Полная противоположность Хулиану, невзрачный, ниже среднего роста, никогда не улыбающийся Пуччоль показался мне в этом разговоре похожим не на доктора, призванного облегчать физические муки и обыкновенно отличающегося оптимизмом, пусть и показным, а скорее — на грустного и доброго кюре, несущего страждущим духовное утешение.

Я признался Пуччолю, что его слова пугают меня, я от природы недостаточно терпелив. Но он заметил, что в этом вопросе нет и не может быть общего, объективного критерия, некоей шкалы терпения, по которой можно было б определить, кто достаточно терпелив, а кто плохо владеет собой. Все зависит от той или иной восприимчивости к болевым раздражениям. Во множестве случаев больной, которого сиделки ставят другим в пример, просто обладает более грубой нервной конституцией, а тот, кого упрекают в слабости, несравнимо острее переживает боль и, может быть, проявлял выдержку, во много раз превосходящую, пока, наконец, страдания не исчерпали его сил.

Прав ли был Пуччоль или его рассуждения всего-навсего расслабили мою волю, но к завтраку боли перешли за пределы выносимого, и у меня вырывались стоны. От еды я, естественно, отказался, зато Казимир, которому полегчало, поел за двоих. Едва он запил поглощенное им второй кружкой кофе со сгущенным молоком, лег и удовлетворенно захрапел опять, как меня навестил Белов. Он вошел в нашу мансарду на цыпочках и положил рядом с гигантским апельсином две темно-зеленые пачки распространенных в Париже американских сигарет «Лаки страйк».

— Вот, кури. Твоих любимых с верблюдом не достал, но эти не хуже. Может, тебе коньячку для душевной бодрости прислать? А то ишь как ты осунулся.

Но я, поблагодарив, отказался. Какой там коньячок, если я глотка воды еще не выпил и даже не закурил, — до того

отвратительный вкус все еще держался во рту после наркоза.

Под соболезнующим тоном Белова улавливалась избыточная жизнерадостность. Причина ее открылась, как только он разговорился. Оказалось, что «пуковник» должен на днях возвратиться и приступить к исполнению обязанностей заместителя командира бригады. За ним, куда-то под Валенсию, где Петров долечивался в санатории на берегу моря, сегодня отправлена его машина, но повел ее не Милош, а тот рослый красивый испанец, что раньше возил Фрица. Петров вчера дозвонился до Фуэнкарраля, и Белов предупредил его, что решил оставить Милоша сархентом мотористов, а то как бы этот безрассудный юнак не довел нашего коронеля до могилы. Белов, кстати, признался, что и Луиджи отстранен по его настоянию, как начальник штаба, он дал соответствующее предписание Тимару и Барешу.

— Комбриг, сам понимаешь, был против, но этот голубчик за какие-нибудь десять дней две такие машины вдребезги расколошматил. Хорошо еще, что вы все живы остались, но ты как-никак надолго выведен из строя. А чему удивляться? На то он и гонщик. Сам Барешу похвалялся, что в прошлом году, делая больше двухсот при опробовании какого-то болида, переехал корову, выскочившую сдуру на трек. Представляешь? Может ли он после того как нормальный человек водить? Да для него скорость в сто километров — черепаший шаг. Нет, уж раз ему хочется всегда на предельной гонять, пусть одной своей башкой рискует, ну да еще мотоциклом, все ж два колеса стоят дешевле четырех…

Тотчас после обеда, которому Казимир — в его распоряжении осталась, к счастью, правая рука — оказал двойную честь, меня снова проведал Лукач, хотя, судя по торопливости движений, он был очень занят. Крайкович внес за ним целую кошелку апельсинов, и Лукач удивился, что вчерашний до сих пор лежит.

— В вашем положении необходимо минимум штуки три в день съедать. При заживлении ран или других телесных повреждений витамины — первое условие.

Вечером Казимиру и мне в присутствии Пуччоля опять сделали по уколу, но на меня морфий и на этот раз не подействовал: я забылся очень ненадолго.

На третий после аварии день Лукач приехал еще перед завтраком, когда Казимира увели на перевязку. Присев на краешек кровати и проведя ладонью по моей щеке, комбриг сообщил, что бригаду перебрасывают в горы, довольно далеко от Мадрида, там она проведет наступательную операцию.

— Принесем фашистам новогоднее, так сказать,

поздравление. Должно получиться. Фриц, золотая голова, замечательно все продумал. О подробностях пока молчок. Вас же я распорядился эвакуировать на юг. Будете выздоравливать под кипарисами и прогуливаться по пляжу. У вас ведь, не хочу скрывать, препаршивая история: полный вывих с частичным разрывом сумки, растяжением связок да еще с трещинами в кости плеча и в лопатке. Хейльбрунн считает, что есть опасность потерять руку — высохнет, как у этого бедняжки Пуччоля. Короче, нам с вами приходится месяца на полтора, а то и на два расстаться. Поправитесь, я всегда вас к себе возьму.

Я принялся умолять никуда меня не эвакуировать. Прекрасно все и здесь заживет, а занимать в машине, а тем более в лечебнице на валенсийском побережье место, предназначенное для кого-нибудь из настоящих раненых, когда я пострадал по собственной глупости в нелепой автомобильной катастрофе, — от стыда с ума сойдешь. А главное, ужасно не хочется от бригады отрываться, я ко многим так привык…

Глаза Лукача потеплели.

— Я сам к вам привык и послать вас в тыл хотел для вашего же блага. Ладно. Отлеживайтесь здесь сколько необходимо, а там перебирайтесь в Фуэнкарраль и ждите нас. Если понадобится, организуем ваше доизлечение у мадридских специалистов.

На следующее утро, стараясь не обращать внимания на неутихающую боль, я решил попробовать одеться и побриться, чтобы выйти хоть на часок подышать свежим воздухом. Казимир помогал мне, и в две руки мы кое-как напялили на меня одежду. Труднее всего было натянуть галифе и сапоги, освоить же бритье одной левой оказалось легче, чем я предполагал. Френч с тоже отнюдь не по шву разрезанным рукавом, надетый поверх прибинтованного к ребрам локтя, неожиданно застегнулся на все пуговицы, а вот портупею, продеваемую под правый погончик, пришлось снять, пистолет же повис, как всегда, на правом бедре.

В таком относительно приличном виде — распоротый рукав Казимир приладил под поясной ремень, — хватаясь за перила, как юнга в качку за поручни трапа, я осторожненько спустился вниз и, миновав запертую операционную, проник в обширную и холодную полувераңду, служившую приемным покоем.

В дальнем углу ее завтракали два санитара в накинутых на плечи шинелях и шофер, с латунным автомобилем на кожаной фуражке. Перед каждым стояла миска с остатками хлебова из гарбансасов, а посередине — литровая бутыль мутного белого вина. Все трое насыщались в сосредоточенной тишине. Рядом с входной дверью, головой к застекленной стене, лежал на вынутых из санитарной машины низких носилках бледный, давно не

бритый и не стриженный милисиано. Он был по шею укрыт одеялом, но, несмотря на это, его знобило. С беспокойством и надеждой он возвел на меня лихорадочно блестевшие глаза, но увидев, что я не принадлежу к медицинскому персоналу, закрыл их. У него было вытянутое, как у апостолов и аристократов на картинах Эль Греко, и такое же одухотворенное лицо, хотя никакой он был не аристократ, а вероятнее всего кастильский крестьянин, — подобные тонкие и желтые лица часто попадались в испанских колоннах.

Раненого или плохо положили, или носилки оказались коротки, но его ноги торчали из-под одеяла — одна в облепленном присохшей грязью ботинке, другая разутая и без носка. Босая нога была наспех перевязана, и по бинту расползлось большое темное пятно с розовыми краями.

Санитары перестали звякать за моей спиной, и я расслышал слабый звук — будто где-то поблизости редкие капли падали из протекающего крана в раковину, но тут же мои глаза углядели расползшуюся по кафельному полу под пяткой раненого густую лужицу. Забыв про плечо, я резко повернулся и чуть не охнул, так его рвануло изнутри. Санитары кончили питаться, и один из них вековечным испанским жестом вскинул бутылку вверх дном, и вино, булькая, полилось ему прямо в горло, не попав на подбородок и даже не замочив губ.

Любопытно, откуда взялись эти сволочи? Безусловно, они не нашей бригады, у всем известного добряка и притом блестящего организатора Хейльбрунна не смогли бы прижиться этакие бесчеловечные твари. Их и в конюхи взять нельзя, не то чтоб допустить ухаживать за ранеными. А на вид люди как люди, и не анархисты даже, во всяком случае, никаких внешних черно-красных признаков, разве что кожаная фуражка, анархисты обожают их…

Еще сдерживаясь, хотя злоба вскипала во мне, я по-французски, но для понятливости вставляя, когда они попадали на язык, испанские слова, вопросил, почему это раненый — este camarada herido — валяется на полу и кровь — la sangre — течет из его pierna, а они — ellos — со всеми своими красными крестами — con todos estés cruzas rojos — вместо того чтобы вызвать врача и оказать помощь, расположились поесть?

В противоположность мне, вклинивая в испанский французские слова, шофер без тени смущения пояснил, что этот милисиано чужой, не из нашей бригады, что она сейчас, как я сам, наверно, знаю, не в бою, и ее санитарная служба тоже имеет право отдохнуть, но что им пришлось отвезти на фронт, в бригаду Нино Нанетти, товарища Хулиана, потому что он обещал помочь

тамошнему доктору в одной трудной операции, а оттуда товарищ Хулиан приказал им забрать этого их раненого, которым некому было заняться. Но когда они приехали, час еды уже прошел, почему ж им было не позавтракать, ведь рана у этого человека в стопу и сквозная…

Я не дал ему разглагольствовать дальше. Сердце мое бешено заколотилось, в висках застучали молоточки, а проклятое плечо задергало хуже, чем ночью. Вне себя орал, что они, все трое, настоящие гиены, хуже всяких фашистов, и что если раненый сию же минуту не будет перевезен и уложен в постель, то я их как собак пристрелю.

Я был в таком озлоблении и так яростно изрыгал бессмысленные ругательства и угрозы, а кроме того изловчился левой рукой — пребольно толкнув себя при этом под прибинтованный к ребрам локоть — вытащить парабеллум и до того остервенело размахивал им, что санитары засуетились и, раньше чем из внутренних помещений выбежал на мои вопли незнакомый заспанный врач, уже потащили носилки с насмерть перепуганным виновником скандала в операционную.

От резких ли телодвижений или от волнения, но руке стало хуже, и я провел ужасную, насквозь бессонную ночь, а утром ко мне зашел Хейльбрунн, приветливо поздоровался И своим переламывающимся голосом предложил мне, раз я уже могу вставать, переселиться в помещение штаба. Завтра все до одного врачи и почти вся обслуга выезжают с бригадой на большое расстояние, и квалифицированной медицинской помощи я здесь все равно не получу. Некому будет лечить меня и в Фуэнкаррале, однако в привычной обстановке я, безусловно, почувствую себя спокойнее.

Радостно согласившись, я хотел было пожаловаться Хейльбрунну на творящиеся в его отсутствие безобразия, но какое-то сложное чувство удержало меня. Почему-то мне вдруг вообразилось, что Хейльбрунн хотя и скрывает это, но уже знает обо всем, однако находится не на моей стороне, даже недоволен мною; уж не желанием ли избавиться от сующего нос не в свои дела и много себе позволяющего пациента подсказана ему и сама идея моего переезда в Фуэнкарраль?

Как бы там ни было, а за двое суток до Нового года я снова, но на положении выздоравливающего, оказался в штабе бригады. Так как боли неизвестно почему не ослабевали, я большую часть времени проводил лежа на продавленном клеенчатом диванчике в коридоре второго этажа у дверей в комнату Лукача; поселиться как раньше вместе с ним мне мешала боязнь, что преследующей меня по ночам непреодолимой бессонницей я буду беспокоить

его.

Бригада в основном уже перебазировалась. За нею перекочевал и штаб. Кроме Лукача, Белова и меня в фуэнкарральской вилле оставался лишь Бареш с частью охраны, два телефониста, а также Пакита с подругами.

Тридцатого, во второй половине дня, собрался и Белов. Вместе с ним отбывал Бареш, последние бойцы охраны и телефонисты. Перед тем как садиться в машину, Белов постучался к Лукачу, а выйдя, задержался подле меня.

— Еще одно несчастье у нас, Алешка. Тимар ранен. Надолго потерян ценный работник. И глупо-то как. Там, в местах для нас новых, настоящего фронта, понимаешь ли, до сей поры нету. Известно только, что такой-то населенный пункт — у нас, а такой-то — у фашистов. Но между ними пусто — ни тех, ни других, ничья земля. Война прошла лишь поперек шоссе: на определенном километре имеется республиканский патруль, супротив, метрах в трехстах, а то и в пятистах — ихний; порой и баррикады из мешков с песком нет или сторожки. Тимар ехал в Бриуэгу, где назначено быть штабу бригады, да, видно, шофер не там свернул. Едут, едут — нет и нет Бриуэги, и спросить некого. Наконец завидели впереди пост. Приближаются. Те выходят на дорогу, поднимают на вытянутых руках винтовки, требуют, как положено, остановиться. Уж совсем немного до них осталось, и вдруг шофер Тимара пригнулся за рулем, — «фачистас!» — кричит. Не успел Тимар сообразить, что происходит, шофер, не сбавляя ходу, как крутанет — на два колеса «рено» встало — и давай драть обратно, да еще кидать машину то вправо, то влево, чтоб из-под прицела увильнуть. И было ускользнули: фашисты-то сначала опешили. Но одна посланная вдогонку пуля, из положения «лежа», надо полагать, пробив кузов и подушку, попала, и прескверно — через зад вдоль берцовой кости прошла и в колене застряла. Хорошо, если Тимар хромым навсегда не останется… Мне, однако, пора. Помни: с завтрашнего дня здесь за исключением тебя и девчат ни души не останется. Советую с вечера держать ворота и дом на запоре, дабы к вам кто не залез. Затем, прощай.

Белов расправил под поясом френч и заторопился к лестнице, деревянные ступеньки ходуном заходили под ним.

А утром пришло время проститься и с Лукачем. Снеся чемодан вниз, он вернулся, надел шинель, повесил палку на локоть и, держа фуражку за козырек, подошел ко мне.

— Вы с детства по заграницам жили и, возможно, не знаете, что был такой русский обычай — перед дорогой обязательно присесть… Ах, знаете? Тогда, дайте-ка я у вас в ногах сяду.

Надеюсь, когда вернемся, застать вас в более или менее нормальном виде. Я условился с Пуччолем — ему оттуда придется в Мадрид за медикаментами гонять, — что-бы он всякий раз к вам заворачивал. Плохо вы, ничего не скажешь, Новый год встречаете, а он ведь юбилейный — в нем исполнится двадцатая годовщина Октября. Мы-то, лучше и не придумаешь, в бою его встретим. Однако не огорчайтесь слишком. Война затягивается не на день и не на два, так что достанется еще и на вашу долю. Но что бы нам всем ни предстояло, как бы в дальнейшем ни повернулись события, в одном можно быть твердо уверенным: Мадрид выстоял, и в лоб его фашистам ни за что уже не взять. А в этом есть и наша заслуга, раз мы с вами входили в число его защитников, и она — помяните мое слово — не забудется. И когда мы доживем до глубокой старости, и буду я, уже седой и в морщинах, прогуливаться как-нибудь по улице, допустим, Будапешта, или вы — по улице Парижа, а скорее — Москвы, все равно, и попадется навстречу влюбленная парочка, и остановится, и посмотрит тому старцу вслед, и скажет юноша своей красотке: «Ты видела, какая у него медаль? Знаешь, кто это прошел? Думаешь, обыкновенный старик? Нет. Помнишь, мы по истории учили, как Испания воевала с фашизмом, а рядом с испанцами сражались иностранные добровольцы? Так вот этот старый человек — один из них. Он был под Мадридом…»

Лукач потрепал меня по колену, поднялся, проговорил: «До скорого свидания. Пожелайте нам ни пуха ни пера», — и ушел. Внизу открылось и закрылось парадное. Потом стало слышно, как Пакита и ее подруга кричат что-то командиру бригады на прощание. Проскрипели петли железной калитки. Девушки, переговариваясь, прошли под окном в глубину двора, где стоял кухонный флигелек. Но напрасно я ловил ухом отъезд «пежо», его мотор работал совершенно бесшумно.

Мне сделалось как-то не по себе. Впервые с Парижа я оставался наедине с самим собою, и меня охватила тоска. Ее усиливала нудная боль. Чтобы развлечься, я взялся за один из английских полицейских романов во французском переводе, оставленных мне Прадосом. Роман назывался банально: «Кто убил Роджерса?» — и написан был дамой, да еще со старомодным именем Агата, и поначалу я отнесся к поискам убийцы безучастно, но чуть ли не с пятой страницы равнодушие сменилось азартнейшим интересом, и я не отрывал глаз от книжки в желтой обложке до обеда, а наскоро пообедав, опять улегся на свой диванчик (который Лоти, любивший Лескова, назвал вчера «досадной укушеткой») и уже не смог оторваться от захватывающей интриги, пока не проглотил произведение

мистрисс Агаты до конца. Он, однако, оказался до того неожиданным, что мне захотелось проследить, каким образом ловкая авторша до последних строчек ухитрялась прятать концы в воду, и, засветив керосиновую лампу, я принялся перечитывать «Кто убил Роджерса?» вторично. С непривычки — в последнее время я ничего, кроме газет, в руки не брал — голова моя гудела, но цель была достигнута: дурное настроение рассеялось.

Повалявшись еще немного, я встал, умылся, привел в порядок одежду (даже сапоги одной рукой почистил) и спустился в гостиную. В ней все оставалось как при хозяевах, людях, обладавших, судя по обстановке, достатком, но не вкусом. Кто-то из девушек догадался зажечь в камине выломанные откуда-то доски, и в громадной комнате с закрытыми ставнями, заставленной мебелью, загроможденной массой статуэток, ваз и других ненужных безделушек, и от этого представлявшейся меньше, чем в действительности, стало почти тепло и даже уютно.

На столе стоял холодный ужин; мясо было предусмотрительно нарезано на мелкие кусочки. До полуночи оставалось немного. Я поел, выпил большой бокал неплохого вина и закурил. Было ли это воздействие вина или того, что все эти дни я почти не курил, но ничем не объяснимая дневная тревога вернулась ко мне. Если бы я верил в предчувствия, то решил бы, что в новом году нас ждет что-то дурное. Неужели же мы не добьемся в нем победы?

Пакита, Леонора, Лаура и Асунсьон, принаряженные, с напомаженными волосами и умытые так, что щеки блестели, явились поздравить меня с наступающим годом и пожелали скорейшего выздоровления. Я как сумел поблагодарил их, пожал каждой шершавую от стирки, мытья полов и посуды, дощечкой выставленную ладонь, и они, собрав со стола, но оставив начатую бутылку, удалились к себе во флигель, а я опять остался в одиночестве.

Медный маятник беззвучно мотался из стороны в сторону за стеклом узких стоячих часов, и, как он — время, я мерил пространство, шагая из угла в угол по ковру, и все то же беспредметное беспокойство не покидало меня. Мне вспоминалось, как весело встречал я предыдущий год со старыми друзьями и товарищами, в обществе их умных и красивых жен, как беззаботно желали мы друг другу счастья, как вкусно ели и пили, как пели и танцевали до утра. Могло ли мне тогда вообразиться, что приближение следующего первого января я буду ждать один-одинешенек в реквизированном пустом доме, одетый в испанскую военную форму, с заряженным парабеллумом

на боку и с бездействующей, мучительно ноющей рукой?

Но в то же время эта невероятная перемена почему-то не казалась мне невероятной или фантастичной. Пожалуй, наоборот. Совершенно нереальной и даже нежелательной мне представлялась сейчас возможность перенестись обратно в ту, мирную, жизнь, к дорогим, но непреодолимо далеким людям.

Маятник незаметно досчитал последние секунды уходящего в историю старого года. Я левой рукой неловко налил бокал до краев. В часах звякнуло, и они стали бить. Я вытянулся, поднял бокал до высоты циферблата и залпом выпил за нашу бригаду, где-то среди гор в эти, самые первые минуты первого января ощупью двинувшуюся на сближение с ничего не подозревающим врагом. Часы продолжали мелодично отзванивать: …десять… одиннадцать… двенадцать!..

Начинался 1937 год — двадцатый с Октябрьской революции.

1963—1968

notes

Примечания

1

Вокзал д’Орсэ *(франц.)*.

2

Американские сигареты.

З

Привет *(франц.)*.

4

Вечерняя газета.

5

«Пушки и самолеты для республиканской Испании!» *(франц.)* — лозунг на левых митингах Франции во второй половине 1936 года.

6

Марка столового вина.

7

Старинная мера, равная полупинте, в настоящее время название пол-литровой бутылки *(франц.)*.

8

Чаша вроде пиалы *(франц.)*.

9

Простое красное вино *(франц., арго)*.

10

Поможем республиканской Испании! *(франц.)*

11

Полевые жандармы *(франц.)*.

12

«Vél’ d’Hiv» — сокращение от Vélodrome d’Hiver, Зимний велодром *(франц.)*.

13

Знамя *(исп.)*, здесь: батальон.

14

Советы повсюду *(франц.)*.

15

«Боевые кресты» *(франц.)* — самая многочисленная из французских фашистских организаций.

16

Газета французских монархистов.

17

Славянская душа *(франц.)*.

18

Испанский темперамент *(франц.)*.

19

Военный билет *(франц.)*.

20

Сокращенное (по первым буквам: — C. G. T. — Confédération générale du travail) наименование бывших реформистских профсоюзов.

21

Внимание, товарищи! *(франц.)*.

22

Свет с востока *(лат.)*.

23

Шеф мирового анархизма *(исп.)*.

Война утомительна, знаешь ли *(франц.)*.

25

Тихо! *(нем.)*

26

Герои Черного моря *(франц.)*.

27

Наименование Югославии до 1929 года (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца).

28

Выше голову, Мориц! *(нем.)*

29

Скорей, скорей, черт подери! *(нем.)*

30

За ваше *(франц.)*.

31

Прозвище французских солдат (волосатики) в первую мировую войну.

32

Мы окружены, товарищи!.. Мы окружены!.. Нас предали!.. *(франц.)*

33

Там дрыхнут. Это замок Спящей красавицы *(франц.)*.

Но ты настоящий сумасшедший *(франц.)*.

35

Похоронное бюро *(франц.)*.

36

Глава была уже закончена, когда 19 ноября 1965 года Президиум Верховного Совета СССР опубликовал указ «О награждении орденами и медалями СССР группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии». По нему награждены шестеро героев, среди них: В. Г. Шибанов орденом Отечественной войны 1-й степени и тем же орденом 2-й степени — И. Н. Троян (посмертно). А 20 ноября я прочитал в «Правде» статью о награжденных, в которой сообщалось среди остального, что подвергнутый жестоким пыткам Троян «проявил большую стойкость и на допросах ничего не сказал». Плохо же знали гестаповцы Трояна, если рассчитывали заставить его разговориться, когда это даже Иванову ни разу не удалось!

37

«Das Ohr des Malchus» («Симон же Петр, имый нож, извлече его и удари архиереова раба и уреза ему ухо десное. Бе же имя рабу Малх», — пишет евангелист Иоанн. Именно по поводу этого раба и сказано: «Возврати нож твой в место его, вси бо, приемши нож, ножем погибнут»).

38

Дважды Герой Советского Союза, генерал армии П. И. Батов. В походах и боях. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., 1966.

39

Фамильярное испанское обращение, буквально: человече.

40

Дело было в 1937 году.

41

Свинья *(итал.)*.

42

Вскоре Клебер (Манфред Штерн) был отозван из Испании в Москву и арестован. А. Жигулин, встретивший его в сентябре 1950 года в Озерном лагере, пишет: «После отбытия десяти лет… Штерн поступил на работу в больницу, но вскоре (в 1948 году) был снова взят, как все тогдашние повторники. Светлый был человек, добрый, хороший».

43

После публикации в «Новом мире» журнального варианта «Двенадцатой интернациональной» я получил от Семена Чебана-Побережника письмо, из которого узнал, что его и Пьера старый друг и товарищ по работе в Бельгийской компартии В. И. Птушенко, также бывший боец нашей бригады (а ныне черноморский моряк, плавающий на пассажирском теплоходе), в 1938 году «встречался с женой Петра… она тоже была в Испании».